This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

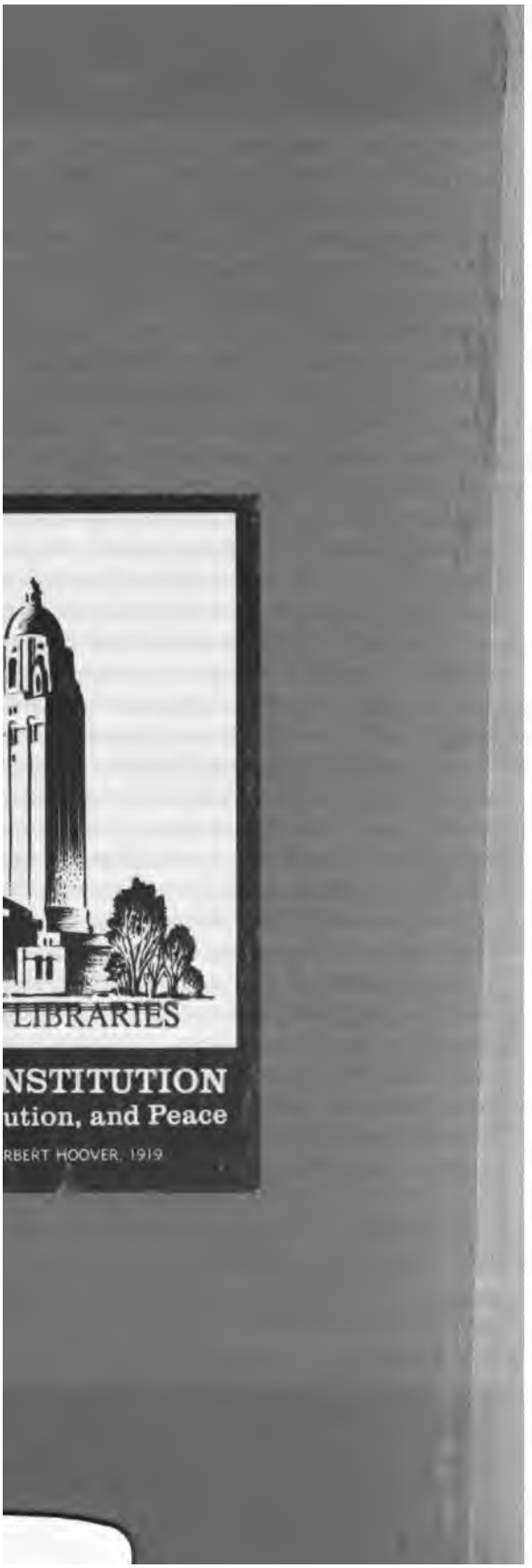
О программе Поиск кпиг Google

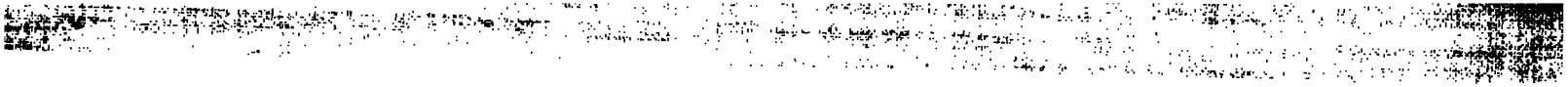
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY ARTS

Buslaev, F. I.

Moi vospominanía.


LIBRARIES
NSTITUTION
ution, and Peace
RBERT HOOVER, 1919



МОИ ВОСПОМИНАНІЯ.

Академика

Ѳ. И. Буслаева.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

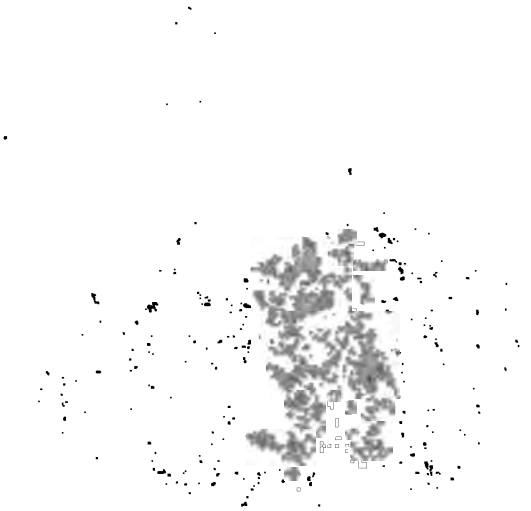
ИЗДАНІЕ

В. Г. Фонъ-Бооля.

МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и А. Гешеля,
преемн. Н. Лисснера и Ю. Романа.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.
1897.

Фототипія О. Ренаръ.

Ѳедоръ Буслаевъ



МОИ ВОСПОМИНАНІЯ.

АКАДЕМИКА Ѳ. И. БУСЛАЕВА.

Съ портретомъ автора.

Изданіе В. Г. Фонъ-Бооля.

МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и А. Гешеля,
прежняя Э. ЛИССНЕРА и Ю. РОМАНА.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.
1897.

PG2064
B8A3

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

От издателя V

Первая часть „Моихъ Воспоминаній“.

Эпоха дѣтства автора и его школьное обученіе (главы I—IX) 1

Вторая часть „Моихъ Воспоминаній“.

Дѣятельность автора въ эпоху царствованія императора Николая I (главы X—XXVI) 131

Третья часть „Моихъ Воспоминаній“.

Дѣятельность автора въ эпоху царствованія императора Александра II (главы XXVII—XXX) 329

Ѳедоръ Ивановичъ Буслаевъ родился 13 апрѣля 1818 г., умеръ 31 іюля 1897 г. Тотчасъ по окончаніи курса въ московскомъ университетѣ въ 1838 г. онъ началъ свою педагогическую, а съ 1842 г. литературно-ученую дѣятельность; первая окончилась въ 1881 г., когда Ѳ. И. отказался отъ чтенія лекцій въ московскомъ университетѣ; ученыя же занятія Ѳ. И. прекратились вмѣстѣ съ празднованіемъ его пятидесятилѣтняго юбилея въ 1888 г.[1]).

Еще до своего юбилея Ѳ. И. сталъ замѣчать, что лѣвый глазъ его сталъ худо видѣть; призванный окулистъ нашелъ появленіе желтой воды. Несмотря на принятыя мѣры, вскорѣ и другой глазъ былъ пораженъ тѣмъ же недугомъ, и зрѣніе Ѳ. И. стало все болѣе и болѣе ухудшаться. Лѣтомъ 1888 г. Ѳ. И. еще самъ подготовлялъ новое изданіе своего учебника русской грамматики, дѣлая въ немъ дополненія и измѣненія. Это была послѣдняя его работа; въ теченіе зимы зрѣніе его настолько ослабѣло, что ему было запрещено самому читать. Хотя онъ съ полною покорностью и съ христіанскимъ смиреніемъ перенесъ это тяжелое испытаніе, но уменьшеніе привычной самостоятельной умственной дѣятельности, видимо, вредно отозвалось на немъ: онъ сталъ замѣтно слабѣть. Одинъ изъ его друзей посовѣтовалъ ему заняться диктовкой своей біографіи и своихъ воспоминаній. Сначала Ѳ. И. не соглашался на это, говоря, что

---

[1]) Мы не помѣщаемъ здѣсь ни біографіи покойнаго Ѳ. И., ни перечня его ученыхъ и литературныхъ трудовъ, такъ какъ въ теченіе второй половины 1897 г. объ этомъ печаталось во всѣхъ столичныхъ и даже провинціальныхъ газетахъ и журналахъ. Подробныя указанія его ученыхъ трудовъ помѣщены въ V томѣ Критико-біографическаго словаря С. А. Венгерова (С.-Пб. 1897 г.).

онъ не можетъ сообщить ничего интереснаго; однако, послѣ настояній и уговоровъ, согласился приняться за эту работу, а начавши ее, продолжалъ уже не только охотно, но даже съ увлеченіемъ Трудъ этотъ наполнилъ его жизнь, и онъ опять повеселѣлъ и сталъ бодрѣе. Воспоминанія свои Ѳ. И. писалъ въ теченіе 1889, 1890 и 1891 годовъ; они, какъ впрочемъ все, выходившее изъ-подъ его пера, оказались написанными талантливо и даютъ весьма важныя указанія для уясненія недавняго прошлаго русской литературы и исторіи московскаго университета.

Съ осени 1892 г., когда „Воспоминанія“ были окончены, друзья Ѳ. И. были озабочены доставленіемъ ему новаго занятія. Было задумано описать собраніе его рукописей; предполагалось составить полный каталогъ этихъ рукописей, при чемъ Ѳ. И. долженъ былъ указать время появленія каждой изъ нихъ, литературное и историческое значеніе ея и сдѣлать оцѣнку какъ самой рукописи, такъ и тѣхъ миніатюръ, которыя въ ней находятся. Работа эта до такой степени заинтересовала Ѳ. И., что онъ, постоянно думая о ней, находился въ возбужденномъ состояніи и, по словамъ его близкихъ, даже бредилъ о ней ночью. Чтобы не слишкомъ утомлять Ѳ. И., рѣшено было заниматься только по воскресеньямъ и праздникамъ отъ 12 до 4 часовъ. Въ первое же воскресенье всѣ рукописи были разобраны по отдѣламъ; въ понедѣльникъ и вторникъ Ѳ. И. сталъ разсматривать ихъ, но глаза его отъ напряженія стали быстро утомляться; отъ сознанія и огорченія, что онъ не въ состояніи заняться этой работой, у него разболѣлась голова, появился жаръ, и онъ слегъ въ постель. По всей вѣроятности, это дало только толчокъ для развитія какой-то скрытой болѣзни его, такъ какъ онъ проболѣлъ всю зиму 1892—93 г., хотя самая болѣзнь и не была точно опредѣлена докторами. Во всякомъ случаѣ, пришлось отказаться отъ задуманной работы, и самъ Ѳ. И. во время болѣзни не разъ высказывалъ глубокое сожалѣніе о томъ, что онъ не можетъ исполнить столь интересный для него трудъ: „Если бы, — говорилъ онъ, — однимъ годомъ раньше надоумили меня взяться за него; теперь же глаза мои уже не могутъ болѣе смотрѣть: я почти слѣпъ“.

Только лѣтомъ 1893 г. Ѳ. И., живя на дачѣ Наживина (около Покровскаго), окончательно поправился.

Гуляя лѣтомъ по парку, Ѳ. И. любилъ спутнику своему разсказывать изъ прошлаго своей жизни. Часть этихъ разсказовъ

потомъ онъ помѣстилъ въ „Мои Воспоминанія“, но очень многое не было внесено въ нихъ, поэтому одинъ изъ его друзей началъ самъ записывать его разсказы, и однажды прочелъ ему его же разсказъ, прося позволенія, послѣ каждой бесѣды съ нимъ, записывать и потомъ прочитывать ему слышанное отъ него. Ѳ. И. не только согласился на это, но даже взялся самъ диктовать ему различныя событія, не вошедшія въ отпечатанныя уже „Мои Воспоминанія“. Такимъ образомъ появилась интересная рукопись, которую самъ Ѳ. И. озаглавилъ: „Дополненія къ Моимъ Воспоминаніямъ“. Съ 24 августа 1893 г. по 1 марта 1896 г. Ѳ. И аккуратно одинъ разъ, а когда могъ, то и два раза въ недѣлю, диктовалъ „Дополненія“ и довелъ ихъ до конца (рукопись заключаетъ въ себѣ 406 страницъ листового формата). Въ заключеніе „Дополненій“ Ѳ. И. хотѣлъ еще продиктовать двѣ главы: одну педагогическаго, другую психологическаго содержанія, которыя, по его словамъ, составили бы его profession de foi; но послѣ 1 марта (на страстной недѣлѣ) онъ заболѣлъ инфлюэнцей и слегъ. Болѣзнь разомъ подкосила какъ физическія его силы, такъ и его память: онъ не могъ ходить и сталъ забывать самыя обыкновенныя событія. Лѣто онъ провелъ на дачѣ въ Люблинѣ, гдѣ хотя и поправился, но ни физическія силы, ни память его уже не возстановились. Вотъ почему, по возвращеніи въ городъ въ августѣ, онъ отказался диктовать выше упомянутыя двѣ главы; вмѣсто этого онъ думалъ привести въ порядокъ свои замѣтки о слогѣ Тургенева. Замѣтки эти Ѳ. И. составлялъ много лѣтъ; но онѣ были разбросаны на различныхъ клочкахъ бумаги и отчасти на поляхъ книгъ; эту-то работу Ѳ. И. хотѣлъ привести въ систему зимой 1896—97 г. Однако и эта работа оказалась ему не подъ силу, и всю зиму онъ могъ только слушать то, что ему читали и говорили. Онъ былъ настолько слабъ, что съ пріѣзда въ городъ ни разу не рѣшился выйти на воздухъ. Въ іюнѣ 1897 г. Ѳ. И. поѣхалъ на дачу опять въ Люблино, гдѣ вскорѣ окончательно слегъ и 31 іюля его не стало...

Настоящее изданіе „Моихъ Воспоминаній“ Ѳ. И. Буслаева мы сохранили въ томъ видѣ, въ какомъ они были напечатаны въ „Вѣстникѣ Европы“ въ 1890, 1891, и 1892 годахъ; при этомъ мы возстановили ту орѳографію, которой держался самъ авторъ, указывая при диктовкѣ своихъ записокъ на тѣ слова, въ правописаніи которыхъ онъ не соглашался съ Гротомъ. Что касается „Дополненій къ Моимъ Воспоминаніямъ“, то хотя четыре

главы ихъ и были напечатаны при жизни Ѳ. И. (три главы въ „Починѣ“ Общества Любителей Россійской словесности 1896 г. и одна въ „Вѣстникѣ Европы“ 1896, № 1), но мы ихъ здѣсь не помѣстили, чтобы не нарушать цѣльность его записокъ, признавая въ то же время печатаніе „Дополненій“ въ полномъ видѣ *пока* неудобнымъ. Если „Дополненія“ эти когда-нибудь появятся въ печати, то отдѣльной книгой, составивъ вторую часть „Моихъ Воспоминаній“.

Москва, 1897 г.,
декабрь.

Издатель.

Приложенный къ этой книгѣ портретъ Ѳ. И Буслаева былъ снятъ съ него фотографически въ 1889 г.

МОИ ВОСПОМИНАНІЯ.

(Посвящается моимъ ученикамъ и ученицамъ.)

I.

...Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1834 г. отправился я изъ Пензы въ Москву держать экзаменъ въ университетъ вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ Аниловымъ. Мнѣ только что минуло 16 лѣтъ 13 апрѣля, и былъ совсѣмъ еще маленькимъ мальчикомъ, и голосъ у меня былъ совсѣмъ ребяческій. Выросталъ я уже потомъ, въ теченіе всего четырехлѣтняго университетскаго курса.

Рѣшительно ничего не помню, какъ я разставался съ своей матушкой, отъ которой мнѣ еще ни разу въ жизни не приходилось отлучаться; не помню, вѣроятно, потому, что я сильно поглощенъ былъ этимъ необычайнымъ переворотомъ въ моей жизни, горестью разлуки, страхомъ ожиданія будущаго.

Поѣхали мы въ кибиткѣ парою, на долгихъ, не торопясь, шажкомъ. По дорогѣ останавливались кормить лошадей и переночевывать. По всему шестисотъ-верстному пути, должно быть, мнѣ рѣдко случалось глазѣть по сторонамъ, потому что я, не переставая, читалъ и училъ наизусть всеобщую исторію, кажется — Іерекка, которою тогда была замѣнена въ гимназіяхъ Кайданова. Живо помню только одно, сильно подѣйствовавшее на меня, впечатлѣніе. Проѣхавъ дней шесть, мы остановились у одной почтовой станціи. Передъ ней стоялъ полосатый верстовой столбъ. На сторонѣ, обращенной назадъ, было начертано: „Отъ Пензы 300 верстъ“, а на сторонѣ впередъ тоже: „Отъ Москвы 300 верстъ“. Должно быть, сильно поразила меня тогда мысль, что я стою на линіи великаго для меня жизненнаго перевала.

Впослѣдствіи случалось мнѣ не разъ вспоминать объ этомъ верстовомъ столбѣ всякій разъ, когда я читалъ, какъ Вильгельмъ Мейстеръ, въ „Wanderjahre“, отправившись изъ дому въ далекое

странствіе, добрался, наконецъ, въ самой верхней долинѣ высокихъ горъ, до перевала, отдѣляющаго теченіе потоковъ и рѣкъ: одни спускались назадъ, по дорогѣ, уже имъ пройденной, а другіе — впередъ. И когда онъ только что сталъ спускаться, живо почувствовалъ, что онъ вступилъ въ другія воды и на другіе берега, и сердце его сжалось тоскою по родинѣ и тяжелымъ недоумѣніемъ: что-то ждетъ его впереди!?

Наслышавшись дома, какъ бѣлокаменная Москва, подражая древнему Риму, разлеглась на семи холмахъ, мы съ нетерпѣніемъ ждали, когда приближались къ ней, и вперяли свои взоры вдаль, чтобы увидѣть на горизонтѣ ея пресловутыя золотыя маковки, и, конечно, мы насладились бы невиданнымъ для насъ зрѣлищемъ съ Поклонной горы, если бы ѣхали по смоленской дорогѣ. Но со стороны Рогожской заставы мы и не замѣтили, какъ попали въ Москву, и ѣхали уже по Рогожской улицѣ, полагая, что это еще какая-нибудь слобода; мы все не переставали ждать и надѣяться, что вотъ, наконецъ, представится уже намъ и сама Бѣлокаменная на одномъ изъ холмовъ съ своимъ Кремлемъ и соборами. Но слобода все тянулась и тянулась. Избы и деревянныя лачуги смѣнялись изрѣдка домиками и домами, а затѣмъ пошли и цѣлыя улицы съ сплошными каменными зданіями. Мы обманулись въ своемъ ожиданіи и очутились въ Черкасскомъ переулкѣ, между Никольской и Ильинкой, въ темноватой и затхлой комнаткѣ съ однимъ окномъ, выходящимъ на длинную галерею, окружающую дворъ гостиницы, или, какъ говорилось тогда, подворья. Таково было первое впечатлѣніе при водвореніи моемъ въ древней столицѣ, гдѣ мнѣ суждено было съ 16-лѣтняго возраста прожить до глубокой старости. Привыкнувъ къ широкому раздолью гористой Пензы съ окружающими ее полями и дремучими лѣсами, я почувствовалъ то, что, вѣроятно, должна почувствовать птичка, попавшая въ клѣтку или въ западню. Можетъ быть, это тяжелое впечатлѣніе помутилось и чувствомъ разлуки съ матушкой, которое тогда съ особенной силой меня обуяло, а можетъ быть и потому, что только теперь во всемъ ужасѣ предстало передо мной рѣшеніе ожидающей меня судьбы.

Не помню, сколько дней прожили мы въ гостиницѣ, только не долго. Она оставила во мнѣ одно странное воспоминаніе, которое и до сихъ поръ иногда возобновляется, когда я прохожу по Черкасскому переулку. Это — какое-то особаго рода зловоніе, какого я прежде никогда не ощущалъ: это — своего

рода запахъ отъ всякихъ нечистотъ съ приправою гнилыхъ лимонныхъ корокъ, которыми во множествѣ усѣяны были помойныя ямы нашей гостиницы. Это были лимонные кружки изъподъ чая, которые выбрасывали половые.

Помнится, водворились мы въ гостиницѣ около вечеренъ. Солнце еще было высоко на горизонтѣ. Въ этотъ же день мы пошли на поиски. Даниловъ, какъ человѣкъ несравненно практичнѣе меня, долженъ былъ намъ найти квартиру, разумѣется, со столомъ, а я отправился съ письмомъ отъ матушки къ Кастору Никифоровичу Лебедеву. Жилъ онъ у Протасовыхъ, въ ихъ собственномъ домѣ на Собачьей площадкѣ, въ Дурновскомъ переулкѣ. Домъ этотъ стоитъ и теперь, — первый на правой сторонѣ переулка, вслѣдъ за дровянымъ дворомъ, который выходитъ угломъ на площадку. Бо́льшую часть жизни проведши въ этой мѣстности, всякій разъ во время моихъ прогулокъ, проходя этимъ переулкомъ, никогда не могъ я не вспомнить того далекаго времени, когда я съ трепетомъ ожиданія и надежды вошелъ въ ворота между флигелемъ направо и домомъ налѣво, поднялся на крылечко и постучался въ дверь, — потому что въ письмѣ матушки былъ мой талисманъ, — и, перешагнувъ черезъ порогъ, я дѣлалъ первый шагъ въ манящее меня грозное будущее.

Надобно знать, что Лебедевъ былъ сынъ самой близкой пріятельницы моей матушки и давалъ мнѣ уроки, будучи ученикомъ гимназіи, когда я мальчикомъ лѣтъ 9 былъ въ приготовительномъ пансіонѣ его матери, Маріи Алексѣевны Лебедевой, собственно предназначенномъ только для дѣвочекъ, между которыми я составлялъ привилегированное исключеніе. Когда я постучался къ нему въ Дурновскомъ переулкѣ, онъ уже былъ кандидатъ московскаго университета и магистрантъ по исторіи, любимецъ профессора Погодина, который пользовался тогда извѣстностью какъ ученый и литераторъ. Рекомендуя меня Погодину, Лебедевъ могъ обезпечить и облегчить мое вступленіе въ университетъ вліяніемъ такого авторитетнаго профессора. Но мои волненія и ожиданія были напрасны. Лебедевъ, точно, жилъ у Протасовыхъ, но вмѣстѣ съ ними уѣхалъ въ деревню, а вернется въ Москву не раньше сентября, т.-е. когда уже будутъ покончены вступительные экзамены въ университетъ и когда рѣшится моя судьба. Однако мой талисманъ, какъ увидите, оказалъ свое спасительное дѣйствіе, и вліяніе Лебедева, хотя и заочное и безъ его вѣдома, и совершенно случайно, дало самый благопріятный исходъ всѣмъ моимъ заботамъ и треволненіямъ.

Очень скоро и удачно мой милый товарищъ нашелъ квартиру, во всѣхъ отношеніяхъ для насъ удобную и удовлетворительную, а главное вблизи отъ университета, именно на Арбатѣ, не доходя до Николы Явленнаго, наискосокъ противъ церкви, между Аѳанасьевскимъ и Староконюшеннымъ переулками. Домъ этотъ существуетъ и теперь — и носитъ имя того же хозяина: Аріоли, — одноэтажный, съ мезониномъ. Наша квартира была не въ этомъ домѣ, а на дворѣ въ двухъэтажномъ каменномъ флигелѣ, который и до сихъ поръ прямо въ глубинѣ двора виднѣется съ улицы изъ воротъ. Наняли мы себѣ помѣщеніе въ квартирѣ сапожника, во второмъ этажѣ, куда ведетъ прямая лѣстница съ навѣсомъ. Въ нижнемъ этажѣ была мастерская сапожника и жили его мастера. Нашъ хозяинъ и его жена были еще очень молодые люди. Хозяйка, Анна Андреевна, очень заботилась о насъ обоихъ, кормила досыта, и до сихъ поръ я не забылъ ея вкусную стряпню. Хозяина не помню какъ звали, Кузьмою или Кузьмичомъ. И нихъ было двое маленькихъ дѣтей, сынъ и дочь. Помню, мы ими забавлялись, играли съ ними, отдыхая отъ утомительнаго долбленія, приготовляясь къ экзамену. Впослѣдствіи, лѣтъ черезъ 20 слишкомъ, дошли до меня вѣрныя свѣдѣнія, что мальчикъ, съ которымъ мы игрывали, выросъ здоровеннымъ и ловкимъ акробатомъ, напяливалъ на себя въ обтяжку трико, искусно плясалъ на канатѣ, перекидывая изъ одной руки въ другую тяжелыя гири. Дѣвочка превратилась въ балаганную примадонну и отличалась звонкимъ голосомъ въ пѣніи. Все это я узналъ отъ ихъ матери, которая лѣтъ 25 тому назадъ, когда я былъ уже женатымъ профессоромъ, иногда заходила къ намъ, и мы вмѣстѣ съ ней вспоминали о томъ, какъ она насъ съ Даниловымъ угощала, лелѣяла и покоила. Что касается до ея мужа, то и онъ тогда еще здравствовалъ, но увлекся артистическою карьерою своихъ дѣтей, бросилъ ремесло сапожника, обѣднѣлъ и пристроился къ театру въ качествѣ барышника, предлагающаго театральные билеты то у Большого, то у Малаго театра, гдѣ я нѣсколько разъ сряду и встрѣчался съ нимъ какъ со старымъ знакомымъ...

Сколько возможно, я успокоился, углубившись въ приготовленіе къ экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердцѣ, а тревожиться было отъ чего: во-первыхъ, какъ разъ съ 1834 г. были назначены пріемные экзамены строгіе, и ихъ требованіямъ не могли удовлетворить мои познанія, полученныя въ пензенской 4-классной гимназіи, а во-вторыхъ, — и это

самое главное, — для меня настоятельно необходимо было выдержать экзаменъ не для того, чтобы только поступить въ университетъ, а чтобы обезпечить самое свое существованіе, т.-е. быть принятымъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ, и притомъ какъ можно скорѣе. Не выдержи я экзамена, мнѣ пришлось бы въ Москвѣ помереть съ голоду, а о возвращеніи въ Пензу нечего было и думать безъ копѣйки въ карманѣ. Въ наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнаціями, по теперешнему 8 рублей съ копѣйками; этого едва хватало на два мѣсяца за квартиру со столомъ. Экзаменъ былъ для меня только средствомъ для достиженія этой цѣли, и грозная мысль о существованіи заслоняла въ моихъ думахъ заботы объ экзаменѣ. Это было для меня какое-то смутное время, и я рѣшительно ничего не помню, какъ я пришелъ въ первый разъ въ стѣны университета и къ кому явился подать просьбу о допущеніи меня къ экзамену, и какъ потомъ справлялся, въ какіе дни и часы будетъ онъ назначенъ, и такимъ образомъ, будто проснувшись отъ тяжелаго сна, я вдругъ очутился на первомъ экзаменѣ въ большой аудиторіи, наполненной толпою незнакомыхъ мнѣ юношей.

Этой аудиторіею была тогда въ старомъ зданіи университета та большая библіотечная зала, въ которой десятки лѣтъ происходили публичныя засѣданія Общества Любителей Россійской словесности. Экзаменующіеся размѣстились по лавкамъ, разставленнымъ въ нѣсколько рядовъ противъ оконъ, а впереди на пустомъ пространствѣ стояло четыре или пять столиковъ въ разстояніи одинъ отъ другого, и за каждымъ по экзаминатору; они сидѣли задомъ къ окнамъ.

Рѣшительно не помню, съ какого предмета я началъ свой экзаменъ и какъ я продолжалъ его и довелъ до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и какъ я отвѣчалъ. Все это осталось въ моей памяти какими-то темными пятнами, изъ-за которыхъ ярко выступаетъ одно великое для меня событіе, которое, какъ я глубоко убѣжденъ, рѣшило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это разсказываю, живо представляется мнѣ во всѣхъ подробностяхъ, какъ я стою у столика, а передо мною сидитъ профессоръ богословія Петръ Матвѣевичъ Терновскій, съ окладистой бородою и строгими взорами — онъ казался мнѣ тогда такимъ величественнымъ и недоступнымъ — и слушаетъ, какъ я ему разсказываю довольно подробно какое-то событіе изъ священной исторіи. Въ это самое время подходитъ

къ нему молодой человѣкъ лѣтъ 30 въ форменномъ фракѣ, остановился, посмотрѣлъ на меня и сталъ слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взглядъ точно приласкалъ меня, воодушевилъ, и я продолжалъ разсказывать съ такой искренностью, съ такимъ убѣжденіемъ, которыми я будто хотѣлъ отвѣтить на дружеское привѣтствіе стараго знакомаго. Когда я кончилъ, молодой человѣкъ спросилъ меня, откуда я родомъ и гдѣ учился. Отвѣчая ему, я назвалъ своихъ учителей и между прочими упомянулъ о Касторѣ Никифоровичѣ Лебедевѣ. Мнѣ показалось, что его взглядъ вдругъ просвѣтлѣлъ и легкая улыбка мелькнула по чертамъ лица. Онъ отвѣчалъ, что Кастора Никифоровича хорошо знаетъ, и своимъ задушевнымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „если что вамъ понадобится, приходите ко мнѣ“. Когда я съ радостью возвратился на скамейку къ товарищамъ, мнѣ сказали, что я говорилъ съ Михаиломъ Петровичемъ Погодинымъ.

Да, это былъ первый лучъ радости, освѣтившій меня по пріѣздѣ моемъ въ Москву.

При содѣйствіи Михаила Петровича, я благополучно выдержалъ экзаменъ, а въ сентябрѣ, при его же содѣйствіи, былъ принятъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ.

II.

Общежитіе наше называлось не бурсою, какъ принято въ семинаріяхъ, и не институтомъ, какъ были тогда дворянскій и педагогическій институты, а просто казенными номерами. Помѣщалось въ нихъ по комплекту полтораста человѣкъ, и именно сто студентовъ медицинскаго факультета и пятьдесятъ философскаго, раздѣлявшагося тогда на два отдѣленія — на словесное и физико-математическое. Номеровъ было около пятнадцати, одни: подъ рядъ, для медиковъ, а другіе, тоже подъ рядъ, для остальныхъ пятидесяти студентовъ.

Наше общежитіе занимало весь верхній этажъ такъ называемаго стараго зданія московскаго университета, въ отличіе отъ новаго, въ которомъ теперь читаются лекціи, и которое тогда еще не было готово. Лекціи читались въ томъ же старомъ зданіи подъ нашими номерами, и только съ 1835 г. были переведены онѣ въ новое.

Къ намъ наверхъ было два входа: одинъ съ параднаго крыльца, черезъ обширныя сѣни, которыми въ послѣднее время

входили въ университетскую библіотеку, а другой — со стороны задняго двора, съ праваго угла зданія.

Въ номерахъ мы проводили весь день и вечеръ до 11 часовъ, а спать уходили въ дортуары, которые были значительно больше нашихъ номеровъ и находились въ правомъ крылѣ университетскаго зданія, если смотрѣть со стороны Моховой. Номера и спальни размѣщались по обѣ стороны коридора, который тянулся по всему зданію отъ лѣваго крыла, выходившаго на Никитскую, и до праваго. Между дортуарами и номерами была большая зала, въ которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стѣнъ ея стояли сплошные гардеробные шкафы съ нашимъ платьемъ и бѣльемъ, а по серединѣ — двѣ громадныя посудины. На каждой въ видѣ огромнаго самовара или паровика резервуаръ для воды, которую умывающійся добывалъ, поднимая и спуская вложенный въ отверстіе ключъ. Такихъ ключей въ посудинѣ было не менѣе десяти, такъ что въ самое короткое время успѣвали умыться всѣ полтораста студентовъ. Здѣсь же цырюльники брили усы и бороду болѣе пожилымъ изъ насъ, или точнѣе болѣе совершеннолѣтнимъ, на которыхъ, озираясь назадъ отъ той машины во время умыванья, мы взглядывали съ уваженіемъ и особенно, когда бреемый вскрикивалъ и давалъ пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо въ моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, такъ какъ подрядчикъ-цырюльникъ обыкновенно командировалъ къ намъ неумѣлыхъ мальчишекъ, чтобы напрактиковать ихъ въ бритьѣ.

Номеръ, въ которомъ я жилъ въ теченіе всѣхъ четырехъ лѣтъ университетскаго курса, занималъ задній уголъ зданія съ окнами на Никитскую и на задній дворъ университета, гдѣ и теперь еще находится садъ, въ которомъ мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейкахъ, читали книги или заучивали свои лекціи.

Пить чай, обѣдать и ужинать мы спускались въ нижній этажъ, въ громадную залу, въ которой за столами, разставленными въ два ряда, могли свободно размѣститься мы всѣ въ числѣ полутораста человѣкъ.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что въ томъ же верхнемъ этажѣ, при нашихъ номерахъ, находились еще двѣ комнаты, одна побольше, для нашей библіотеки, такъ сказать, фундаментальной, съ книгами болѣе дорогими и многотомными, а другая поменьше, съ однимъ окномъ, выходящимъ на задній дворъ съ садомъ — для карцера. Съ тѣхъ поръ, какъ

явился къ намъ попечителемъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ въ 1835 г., вмѣстѣ съ инспекторомъ Платономъ Степановичемъ Нахимовымъ, комнатка эта навсегда оставалась пустою. Но въ первый годъ моего студенчества, еще въ попечительство князя Сергія Михайловича Голицына и его помощника Дмитрія Павловича Голохвастова, въ ней приключилась великая бѣда.

Карцеръ помѣщался какъ разъ надъ большою аудиторіею перваго курса, находящеюся подъ упомянутою выше библіотечною залою, съ окнами также на задній дворъ. Дѣло было осенью. Лекцію читалъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ, на каѳедрѣ, стоящей къ стѣнѣ между окнами. Мы съ своихъ лавокъ слушали и смотрѣли на профессора и въ окна. Вдругъ направо за окномъ мгновенно пролетѣла какая-то темная, длинная масса и вмѣстѣ съ тѣмъ раздался страшный, раздирающій душу вопль. Мы всѣ повскакали со скамеекъ. Степанъ Петровичъ опрометью бросился съ каѳедры, и всѣ мы вмѣстѣ съ профессоромъ стремглавъ ринулись изъ аудиторіи на заднее крыльцо (дверь на него изъ большихъ сѣней теперь уже задѣлана). Налѣво отъ него, на каменномъ помостѣ лежалъ ничкомъ человѣкъ въ солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человѣка три изъ университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Онъ былъ уже мертвъ, съ окровавленнымъ и изуродованнымъ лицомъ. Это былъ казеннокоштный студентъ, наканунѣ посаженный въ карцеръ за то, что былъ мертвецки пьянъ, а на другой день въ 12 часовъ дня бросился изъ окна, какъ и почему — осталось неизвѣстнымъ. Тотчасъ же вслѣдъ за этой катастрофой было приказано въ это окно вставить желѣзную рѣшетку.

Живя въ своихъ номерахъ, мы были во всемъ обезпечены и, не заботясь ни о чемъ, безъ копѣйки въ карманѣ, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многіе изъ своекоштныхъ. Все было казенное, начиная отъ одежды и книгъ, рекомендованныхъ профессорами для лекцій, и до сальныхъ свѣчей, писчей бумаги, карандашей, чернилъ и перьевъ съ перочиннымъ ножичкомъ. Тогда еще перья были гусиныя и надо было ихъ чинить. Безъ нашего вѣдома намъ мѣнялось бѣлье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундирѣ. Въ номерѣ помѣщалось столько студентовъ, чтобы имъ было не тѣсно. У каждаго былъ свой столикъ (конторки были заведены уже послѣ). Его доска

настолько была велика, что можно было удобно писать, разставивъ локти; подъ доскою былъ выдвижной ящикъ для тетрадей, писемъ и всякой мелочи, а нижнее пространство съ створчатыми дверцами было перегорожено полкою для книгъ; можно было бы класть туда что-нибудь и съѣстное или сласти, но этого не было у насъ въ обычаѣ и мы даже гнушались такого филистерскаго хозяйства. Если случалось что̀ купить съѣстного, мы предпочитали истреблять тутъ же или на улицѣ. Въ нашемъ номерѣ былъ только одинъ запасливый студентъ, изъ математиковъ. Онъ какъ-то ухищрялся экономить свои сальныя свѣчи, и такимъ образомъ держалъ въ своемъ столикѣ всегда порядочный ихъ запасъ и ссужалъ того изъ насъ, у кого не хватало свѣчи.

Столики были разставлены аршина на два съ половиной другъ отъ друга вдоль стѣнъ, но такъ, чтобы садиться лицомъ къ окну, а спиною ко входной двери, ведущей въ коридоръ. Вдоль глухой стѣны помѣщался широкій и очень длинный диванъ съ подушкой, обтянутой сафьяномъ, такъ чтобы двое могли улечься въ растяжку головами врознь, не толкая другъ друга ногами. Надъ диваномъ висѣло большое зеркало. Впрочемъ, не помню, чтобы кто-нибудь изъ насъ интересовался своей личностью и любовался на себя въ зеркало, кромѣ — одного. Это былъ самый неуклюжій и безобразный изъ насъ, колченогій, весь перекосился, съ блѣднымъ рябымъ лицомъ, съ безцвѣтными, посоловѣлыми глазами, съ такими же безцвѣтными, бѣлесоватыми бровями и такими же волосами, которые топырились дыбомъ, съ широкимъ носомъ и толстыми губами на продолговатомъ лицѣ. Мы его звали Квазимодо, потому что были уже знакомы тогда съ романомъ Гюго. Это былъ нѣкто Шнейдеръ, кончившій курсъ въ такъ называвшемся тогда холерномъ заведеніи, — т. е. для сиротъ, родители которыхъ померли холерою въ 1830 году. Зданіе, въ которомъ помѣщалось это учебное заведеніе, впослѣдствіи было передѣлано и дополнено новыми корпу̀сами для военнаго училища, находящагося на углу Знаменки и Пречистенскаго бульвара. Какъ только заковыляетъ Шнейдеръ по номеру, ужъ непремѣнно остановится передъ зеркаломъ и внимательно смотрится въ него, устраивая себѣ умильные взоры и привлекательныя выраженія.

Въ помѣщеніи, гдѣ съ утра и до поздней ночи собрано до десятка веселыхъ молодыхъ людей, никакими предписаніями и стараніями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствіе.

У насъ въ номерѣ не выпадало ни одной минуты, въ которую пролетѣлъ бы надъ нами тихій ангелъ. Постоянно въ ушахъ гамъ, стукотня и шумъ. Кто шагаетъ взадъ и впередъ по всему номеру, кто бранится съ своимъ сосѣдомъ, а то музыкантъ пилитъ на скрипкѣ или дудитъ на флейтѣ. Привычка — вторая натура, и каждый изъ насъ, не обращая вниманія на оглушительную атмосферу, усердно читалъ свою книгу или писалъ сочиненіе. Такъ привыкаютъ къ мельничному грохоту, и самая тишина въ природѣ, по ученію древнихъ философовъ, есть не что иное, какъ сладостная гармонія безконечно разнообразныхъ звуковъ. Я не отвыкъ и до глубокой старости читать и писать, когда кругомъ меня говорятъ, шумятъ и толкутся.

Для сношеній съ начальствомъ по нуждамъ товарищей и для какихъ-либо экстренныхъ случаевъ, въ каждомъ номерѣ выбирался одинъ изъ студентовъ, который назывался старшимъ. Онъ же призывался къ отвѣту и за безпорядокъ или шалость, выходящіе изъ предѣловъ дозволеннаго. Послѣдніе два года до окончанія курса старшимъ студентомъ былъ назначенъ я.

Ближайшимъ начальствомъ нашимъ былъ дежурный субъ-инспекторъ. Тутъ же изъ коридора былъ для него небольшой кабинетъ, нѣчто въ родѣ канцеляріи, такъ что во всякое время каждый студентъ могъ обратиться къ нему съ своимъ дѣломъ.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплинѣ. Мы вставали въ семь часовъ утра, въ восемь пили въ столовой чай съ булками, а въ девять отправлялись на лекціи, возвращались въ два часа, и въ половинѣ третьяго обѣдали, а въ восемь ужинали, въ одиннадцать ложились спать. Кто не обѣдалъ или не ужиналъ дома, долженъ былъ предварительно увѣдомить объ этомъ дежурнаго субъ-инспектора, а также испросить у него разрѣшеніе переночевать у родныхъ или знакомыхъ съ сообщеніемъ адреса, у кого именно.

Кормили насъ недурно. Мы любили казенныя щи и кашу, но говяжьи котлеты казались намъ сомнительнаго достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкою съ корицею, гвоздикою и лавровымъ листомъ. Изъ-за этихъ котлетъ случались иногда за обѣдомъ исторіи, въ которыхъ дѣйствующими лицами всегда были медики. Дѣло начиналось глухимъ шумомъ; дежурный субъ-инспекторъ подходитъ и спрашиваетъ, что̀ тамъ такое; ему жалуются на эконома, что онъ кормитъ насъ падалью. Обвиняемый является на судъ, и начинается расправа, которая обыкновенно ни къ чему не приводила. Хорошо помню

и исторіи, потому что и мнѣ, и многимъ другимъ изъ насъ ѣ очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочемъ, эти мелочи заслоняются передо мною однимъ тя-лымъ воспоминаніемъ, которое соединено со стѣнами нашей оловой. Былъ одинъ медикъ уже послѣдняго курса, можно азать пожилой въ сравненіи съ нами, словесниками, средняго ста, съ одутлымъ лицомъ и густыми рыжеватыми бакенбар-ми, даже немножко лысый. Фамиліи его не припомню. При-димъ мы обѣдать, и только что разсѣлись по своимъ мѣстамъ,— пустомъ пространствѣ между столами появилась фигура солдатской шинели, и медленными шагами, понуривъ голову, ала приближаться. Это былъ тотъ самый студентъ. Мы были волнованы и потрясены неожиданнымъ впечатлѣніемъ жалости горя, потому что хорошо понимали весь ужасъ этого шутов-ого маскарада. Медленно и тихо прошелъ онъ далѣе и сѣлъ окна за маленькимъ столикомъ, назначеннымъ для его обѣда.

За большіе проступки наказывали тогда студентовъ солдатчи-ю. На первый разъ, въ видѣ угрозы и для острастки другимъ, новный только облекался вмѣсто вицмундира въ солдатскую рмягу и какъ бы выставлялся на позоръ; если же потомъ ова провинится, ему брили лобъ. Само собою разумѣется, эсказанный случай могъ произойти только въ первый годъ мо-о пребыванія въ университетѣ при князѣ Сергіи Михайло-чѣ Голицынѣ, который былъ попечителемъ только для парада; ѣми же дѣлами по управленію округа завѣдывалъ Дмитрій авловичъ Голохвастовъ. Тогда зачастую слышалась угроза сол-тчиною, и спустя много лѣтъ послѣ того мерещилось мнѣ огда во снѣ, что мнѣ бреютъ лобъ, и я надѣваю на себя лдатскую амуницію. Слава Богу, что на слѣдующій годъ явился намъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ и привезъ съ бою нашего милаго и дорогого инспектора Платона Степано-ча Нахимова. Съ тѣхъ поръ страхи и ужасы прекратились, наступило для студентовъ счастливое время.

Описывая топографію нашего общежитія, я долженъ при-вокупить, что цѣлую половину дня, свободную отъ лекцій, проводили не въ номерахъ, а въ трактирѣ. Онъ назывался Желѣзнымъ", потому что помѣщался надъ лавками, въ кото-хъ и теперь торгуютъ желѣзомъ — насупротивъ Александ-вскаго сада, гдѣ онъ оканчивается угломъ къ Иверской. Со-ржалъ его купецъ Печкинъ. Для насъ, студентовъ, была обая комната, непроходная, съ выходомъ въ большую залу

съ органомъ, или музыкальной машиной. Не знаю, когда и какъ студенты завладѣли этой комнатой, но въ нее никто изъ постороннихъ къ намъ не заходилъ; а если, случайно, кто и попадалъ изъ чужихъ, когда комната была пуста, немедленно удалялся въ залу. Вѣроятно мы обязаны были снисходительному распоряженію самого Печкина, который такимъ образомъ былъ по времени первымъ изъ купечества покровителемъ студентовъ и, такъ сказать, учредителемъ студенческаго общежитія. Въ той комнатѣ мы читали книги и журналы, готовились къ экзамену, даже писали сочиненія, болтали и веселились, и особенно наслаждались музыкою „машины“, а собственно изъ трактирнаго продовольствія пользовались только чаемъ, не имѣя средствъ позволить себѣ какую-нибудь другую роскошь. Впрочемъ, когда мы были при деньгахъ, устраивали себѣ пиршество: спрашивали порціи двѣ или три, раздѣляя ихъ между собою по частямъ.

Особенную привлекательность имѣлъ для насъ трактиръ потому, что тамъ мы чувствовали себя совсѣмъ дома, независимыми отъ казеннокоштной дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; въ зданіи же университета это удовольствіе намъ строго воспрещалось. Чтобы соблюдать экономію, мы приносили въ трактиръ свой табакъ, покупая его въ лавочкѣ, и то не всегда цѣлой четверткой, а только ея половиною, отрѣзанною отъ пакета. И чай пили экономно: на троихъ, даже на четверыхъ и пятерыхъ спрашивали только три пары чаю, т.-е. шесть кусковъ сахару, и всегда пили въ прикуску несчетное количество чашекъ, и потому съ искуснымъ разсчетомъ умѣли подбавлять кипятокъ изъ большого чайника въ маленькій съ щепоткою чая. Съ того далекаго времени и до сихъ поръ я не иначе пью чай, какъ въ прикуску, только не такой жиденькій. Разумѣется, многіе изъ насъ были безъ копѣйки въ карманѣ, а все же каждый день ходили въ трактиръ и пользовались питьемъ чая и куреньемъ. Всегда у кого-нибудь изъ насъ оказывался пятиалтынный на три пары. Сверхъ того, намъ повѣряли и въ долгъ.

Чувство благодарности заставляетъ меня сказать, что кредиторомъ нашимъ въ этомъ случаѣ былъ не самъ Печкинъ и не его приказчикъ Гуринъ, завѣдывавшій этимъ трактиромъ, а просто-напросто половой нашей трактирной комнаты, по имени Арсеній (онъ называлъ себя „Арсентіемъ“, и мы его звали такъ же), ярославскій крестьянинъ лѣтъ тридцати пяти, средняго роста, коренастый, съ русыми волосами, подстриженными

въ скобку, и съ окладистой бородой того же цвѣта, съ выраженіемъ лица добрымъ и привѣтливымъ. Онъ былъ грамотный, интересовался журналами, какіе выписывались въ трактирѣ, и читалъ въ нихъ не только повѣсти и романы, но даже и критики — и особенно пресловутаго барона Брамбеуса. И жена Арсентія, въ деревнѣ, тоже была грамотна и учила своихъ малыхъ дѣтей читать и писать. Арсентій былъ намъ и покорный слуга, и усердный дядька, въ родѣ тѣхъ, какіе еще водились тогда въ помѣщичьихъ семьяхъ. Только что мы появимся, тотчасъ же бѣжитъ онъ за непремѣнными тремя парами и вслѣдъ затѣмъ непремѣнно преподнесетъ нумеръ журнала, въ которомъ вчера еще не была дочитана нами какая-нибудь статья; а если вышелъ новый нумеръ, тащитъ его намъ прежде всѣхъ другихъ посѣтителей трактира и преподноситъ, весело осклабляясь.

Въ финансовомъ отношеніи значительно отличались казенно-коштные студенты двухъ младшихъ курсовъ отъ старшихъ: первые пробавлялись немногими рублями, изрѣдка получаемыми отъ родителей или родственниковъ, а послѣдніе могли добывать очень крупныя, въ нашихъ глазахъ, суммы отъ уроковъ; медики же, кромѣ того, промышляли и практикою.

Кто бы изъ товарищей по номеру ни получилъ денегъ, это событіе доставляло общую радость всѣмъ намъ, и особенно ближайшему другу счастливаго получателя. И вотъ начинается забавная и трогательная процедура полученія присланной суммы. Изъ университета надо итти на Мясницкую въ почтамтъ съ повѣсткою; но вѣдь тамъ толкотня, народу гибель, какъ разъ вытащатъ изъ кармана драгоцѣнный конвертъ. Надо итти вдвоемъ, и получатель, подъ охраною своего товарища, выноситъ изъ толпы пять или много десять рублей ассигнаціями. Теперь новая забота: ассигнація слишкомъ крупна для издержекъ, надо ее теперь же размѣнять. Для этой цѣли мы обыкновенно заходили въ трактиръ, что̀ наискосокъ противъ почтамта, и тамъ уже не требовали обычныхъ трехъ паръ, а съѣдали цѣлую порцію чего-нибудь на цѣлый двугривенный или на четвертакъ.

Разсказываю всѣ эти мелочи для того, чтобы дать вамъ понятіе, какъ лишенія и нужда, давая цѣну избытку, воспитывали въ насъ способность умѣючи распоряжаться своими средствами, отдавать въ нихъ себѣ отчетъ и, довольствуясь малымъ, быть счастливыми:

Впослѣдствіи, съ третьяго и даже со второго курса мы, какъ сказано, стали богатѣть и могли уже позволять себѣ нѣ-

которую роскошь, а именно, соединяя пріятное съ полезнымъ, иной разъ, какъ говорится, покутить не въ одиночку, а всегда въ товариществѣ, не забывая при этомъ излишекъ суммы употребить на пріобрѣтеніе любимыхъ книгъ; такъ напр., будучи уже на второмъ курсѣ, я купилъ себѣ на французскомъ языкѣ „Эрнани“ Виктора Гюго и на нѣмецкомъ „Фауста“ Гёте.

Чтобы дать вамъ нѣкоторое понятіе о нашихъ пиршествахъ и забавахъ, приведу два-три примѣра.

Пиршества, происходившія обыкновенно по ночамъ, разумѣется, въ извѣстной уже вамъ комнатѣ „Желѣзнаго“ трактира, состояли въ умѣренномъ количествѣ блюдъ, которыя мы запивали пивомъ и мадерою или лиссабонскимъ. Пили немного, но съ непривычки чувствовали себя совершенно пьяными, можетъ быть, по юношеской живости сочувствія къ тѣмъ изъ насъ, которые дѣйствительно хмелѣли отъ водки. Насъ опьяняло веселье, болтовня, шумъ и хохотъ, опьянялъ насъ разгулъ, и мы выносили его вмѣстѣ съ собой на улицу, не хотѣлось съ нимъ разставаться и итти домой, чтобы заспать его на казенной подушкѣ; надобно дать ему хоть немножко простору на свѣжемъ воздухѣ, вдоль „по улицѣ мостовой“. Разгоряченнымъ головамъ нужно было чего-нибудь особеннаго, небывалаго, надо, напр., прокатиться на дрожкахъ, но не такъ, какъ катаются люди, а на свой особенный манеръ. И всѣ мы, человѣкъ пять или шесть, должны размѣститься порознь, и каждый садится верхомъ на лошадь, ноги ставятъ вмѣсто стременъ на оглобли, а чтобы не свалиться, руками ухватится за дугу, а самъ извозчикъ сидитъ на мѣстѣ сѣдока и правитъ лошадью. И вотъ, при свѣтѣ луны вдоль Александровскаго сада плетется гуськомъ небывалая процессія, оглашаемая хохотомъ и криками. Это, по-нашему, была пародія на „Лѣсного Царя“ Гёте и на „Свѣтлану“ Жуковскаго.

Другой разъ мы охмелѣли въ воинственномъ расположеніи духа; мы были въ мундирахъ со шпагою и съ треуголкой на головѣ. Намъ пришла счастливая мысль обревизовать будочниковъ, исправно ли они сторожатъ при своихъ будкахъ, и кто изъ нихъ не сдѣлаетъ намъ чести подъ козырекъ, подобающую нашему офицерскому чину, того колотить. Не знаю, сколько мы совершили опытовъ такого дозора, хорошо помню только вотъ что: каждый разъ, какъ только кто изъ насъ обидитъ будочника, тотчасъ же сунетъ ему въ руку гривенникъ или пятиалтынный сердобольный Каэтанъ Андреевичъ Коссо-

вичъ, который тогда находился въ числѣ насъ. Разныя курьезныя подробности о немъ прочтете въ слѣдующей главѣ.

Самый курьезный образчикъ нашихъ кутежей я приберегъ къ концу. Дѣло было зимою, въ Николинъ день. Мы были при деньгахъ и вечеромъ собрались въ „Желѣзномъ“ повеселиться уже подъ моимъ предсѣдательствомъ, такъ какъ я былъ тогда старшимъ нашего номера. Было насъ человѣкъ пять, шесть, между прочими и два брата Езерскіе, Игнатій и Феликсъ, поляки, изъ люблинской гимназіи; старшій братъ, Игнатій, отличался веселымъ нравомъ и находчивостью. Рѣшительно не помню, какъ мы пировали и какъ сошли внизъ по лѣстницѣ, чтобы отправиться домой.

Настоящая исторія начинается съ этого пункта. Были ли мы дѣйствительно пьяны, или воображали себя пьяными, только мы чувствовали, что не можемъ ступить шагу по оледенѣвшему тротуару. На улицѣ, въ глухую ночь, ни одного извозчика. Кому-то изъ насъ пришла счастливая мысль перебраться съ грѣхомъ пополамъ, хоть ползкомъ, на ту сторону мостовой къ угольнымъ воротамъ Александровскаго сада: тамъ, по рыхлому снѣгу можно какъ-нибудь доплестись до воротъ у манежа, а оттуда рукой подать — университетъ. Но и по расчищенной дорожкѣ сада было скользко, и мы догадались свернуть въ сторону и направились по сугробамъ, погружая ноги въ снѣгъ по самыя колѣни. Такой способъ переправы оказался очень удобенъ; онъ давалъ надлежащій устой для поддержки всего корпуса, а если иной разъ и свалишься, та на рыхлую постель снѣга. Направлялись мы, хорошо помню, отъ одного дерева къ другому, цѣпляясь за сучья и стволы. Переправа совершалась, вѣроятно, долго. Намъ было весело; мы кричали и пѣли пѣсни. Затѣмъ ужъ не помню какъ попали мы на передній дворъ университета, выходящій на Моховую. Нѣтъ сомнѣнія, что мы во время своего странствованія по снѣгамъ успѣли настолько отрезвиться, что могли бы хоть ползкомъ взобраться по лѣстницѣ главнаго входа; но веселье, хохотъ, юный разгулъ до того насъ опьянили, что намъ казалось совершенно невозможнымъ попасть наверхъ. Иные изъ насъ, какъ сейчасъ вижу, карабкались даже по стѣнѣ, чтобы вмѣсто ступенекъ подняться, такимъ образомъ, до верхней площадки. Тогда, въ качествѣ старшаго между своими товарищами, я вмѣнилъ себѣ въ обязанность позаботиться о водвореніи ихъ на мѣсто жительства. По серединѣ двора, передъ главнымъ входомъ, былъ

высокій столбъ; на немъ подъ навѣсомъ висѣлъ колоколъ, а отъ его языка внизъ спускалась веревочка. Я добрался до столба и ударилъ въ набатъ. Благоразумная мѣра оказалась дѣйствительною. Явилось нѣсколько солдатъ изъ нашихъ служителей, помогли намъ взобраться по лѣстницамъ и благополучно уложили насъ спать.

На другой день поутру, только что мы проснулись, началась расправа. Платонъ Степановичъ насъ требуетъ къ себѣ каждаго по одиночкѣ, только братьевъ Езерскихъ обоихъ вмѣстѣ. Несмотря на суровый видъ и рѣзкость голоса, во всемъ его существѣ чувствовалось мнѣ трогательное безпокойство, — точно онъ потерялъ какую дорогую вещь или очень нужную офиціальную бумагу и не можетъ найти, чего ищетъ. До сихъ поръ онъ считалъ меня самымъ примѣрнымъ по благонравію студентомъ, и вотъ теперь не можетъ вѣрить, не можетъ понять, чтобы я такъ преступно провинился. Онъ удивляется и жалѣетъ меня. Разумѣется, я сердечно раскаивался и вышелъ отъ него со слезами на глазахъ.

Не знаю, какой нагоняй далъ онъ другимъ. Вѣроятно, значительно рѣзче, чѣмъ мнѣ, но братья Езерскіе составляли исключеніе по своимъ умственнымъ и нравственнымъ достоинствамъ, и насъ очень интересовало, какъ ихъ приметъ инспекторъ и какъ будетъ распекать. Онъ продержалъ ихъ долго, конечно, жалѣлъ и стыдилъ ихъ столько же, какъ и меня, наконецъ они являются въ номеръ, — Феликсъ солидный и спокойный, какъ всегда, а Игнатій прыгаетъ, кривляется и хохочетъ до упаду. — „Ну что? что такое?“ спрашиваемъ его. — „Потѣха!“ — кричитъ онъ, а самъ хохочетъ, передразнивая Платона Степановича: „а ужъ какъ я на васъ надѣялся во всемъ, ужъ такъ-таки во всемъ ставилъ я васъ обоихъ въ примѣръ всѣмъ прочимъ студентамъ изъ царства польскаго; какъ же вамъ не стыдно, какъ не грѣшно измѣнить мнѣ, обмануть меня такою неслыханною шалостью; да вѣдь вы, Игнатій, и старше другихъ, и должны держать себя разсудительнѣе и благоразумнѣе своихъ товарищей“. — Да вѣдь это самое я и чувствовалъ тогда, — говорю ему, — и сколько могъ воздерживался; вотъ и братъ тоже; но что же намъ было дѣлать? между русскими товарищами мы, поляки, находились въ исключительномъ положеніи, и вы, Платонъ Степановичъ, на нашемъ мѣстѣ не отказались бы отъ лишняго стакана: вѣдь вчера были именины государя императора, все пили за его здоровье, — какъ же

намъ-то, полякамъ, было отказываться отъ такого тоста!“... — Ну, по добру по здорову, и отпустилъ насъ: „Довольно, убирайся съ своимъ братомъ! тебя не переговоришь никогда“.

По старинному обычаю Платонъ Степановичъ въ разговорѣ съ нами употреблялъ и „ты“ и „вы“, смотря по расположенію духа и по тому, съ кѣмъ изъ насъ и о чемъ была рѣчь.

И подумайте только, что все это творилось въ царствованіе императора Николая Павловича, знаменитое своей строгой дисциплиною, и безнаказанно спускались такія шалости, доходившія до рѣшительнаго буйства! Насъ не выгоняли, не отдавали въ солдаты, и за пьяную никольщину, оглашенную набатомъ, никто изъ насъ и въ карцерѣ не посидѣлъ. Платонъ Степановичъ только припугнулъ насъ графомъ (этимъ нарицательнымъ именемъ называли попечителя графа Сергія Григорьевича Строганова): „Ну, а что скажетъ графъ, когда я ему доложу? Смотрите у меня, берегитесь!“ Это была его обычная фраза и самая высшая угроза.

Чтобы оріентироваться въ сосѣдствѣ нашего студенческаго общежитія, я долженъ нѣсколько познакомить васъ съ населеніемъ всѣхъ корпусовъ университетской усадьбы въ предѣлахъ Моховой, Никитской и Долгоруковскаго переулка, соединяющаго эту послѣднюю улицу съ Тверской. Платонъ Степановичъ занималъ лѣвое крыло главнаго корпуса, идущее по Никитской, но не все: часть его, съ окнами на передній дворъ, отдѣленная коридоромъ, служила квартирою секретарю правленія Рàгузину. Правое крыло, также раздѣленное коридоромъ, вмѣщало въ себѣ квартиры главнаго субъ-инспектора Степана Ивановича Клименкова, который до Нахимова исправлялъ должность инспектора, синдика университетскаго правленія Назимова и субъ-инспектора Зайковскаго.

На заднемъ дворѣ длинный двухъэтажный корпусъ, который тянется по Никитской до угольныхъ воротъ, выходящихъ на улицу противъ Никитскаго монастыря, былъ занятъ клиникою и такъ называемыми кандидатскими номерами, въ которыхъ помѣщались ассистенты клиники и оставляемые при университетѣ лучшіе изъ кончившихъ курсъ кандидатовъ. Тутъ же была и квартира университетскаго священника, профессора богословія Терновскаго.

Надобно припомнить, что такъ называемая клиника на углу Рождественки и Кузнецкаго моста еще составляла тогда самостоятельное учрежденіе, подъ названіемъ медико-хирургической

академіи, куда пріемъ студентовъ былъ значительно легче и менѣе разборчивъ, нежели въ университетъ.

Корпусъ, о которомъ я говорю, въ то время не былъ перегороженъ поперечною пристройкою, такъ что между нимъ и садомъ былъ свободный проходъ отъ главнаго зданія въ ворота на Никитскую. Намъ, студентамъ, доставляло особенное удовольствіе избирать въ лѣтнюю пору именно этотъ путь. Въ сторонѣ корпуса, ближайшей къ главному зданію, въ нижнемъ этажѣ тянулась открытая галерея; по ней любила прогуливаться взадъ и впередъ очень красивая дѣвица, стройная, бѣлая и румяная, съ роскошными русыми косами; и тутъ же на балконѣ обыкновенно сиживалъ старичокъ, ея отецъ. Это былъ мужъ главной акушерки, по фамиліи Армфельдъ, которая завѣдывала родильнымъ отдѣленіемъ клиники, помѣщавшемся въ этой части корпуса.

Ея дочь вскорѣ вышла замужъ за профессора политической экономіи Чевилёва, который былъ друженъ съ ея братомъ и вмѣстѣ съ нимъ воротился изъ-за границы въ 1835 г. Молодой Армфельдъ былъ медикъ и получилъ въ московскомъ университетѣ каѳедру исторіи медицины.

Подробности эти очень живо представляются мнѣ потому, что онѣ неразрывно связаны въ моихъ воспоминаніяхъ съ двумя катастрофами, разразившимися черезъ десятки лѣтъ потомъ въ семьѣ обоихъ этихъ профессоровъ.

Несчастная дѣвица Армфельдъ, сосланная въ Сибирь по суду въ политическомъ преступленіи, была дочь этого самаго профессора исторіи медицины. Чевилёвъ, оставивъ университетскую каѳедру, занялъ довольно видное мѣсто въ петербургской администраціи. Въ концѣ 50-хъ годовъ съ своимъ семействомъ — у него уже былъ тогда и сынъ лѣтъ 20 — проводилъ онъ лѣто въ Царскомъ Селѣ, занимая помѣщеніе въ такъ называемомъ Софійскомъ дворцѣ, внизу города, за громаднымъ царскосельскимъ прудомъ. Однажды ночью въ квартирѣ его произошелъ пожаръ; загорѣлось въ тѣхъ комнатахъ, которыя составляли его кабинетъ и спальню. Пожару не дали распространиться, только пострадала спальня. На постели желалъ обгорѣлый трупъ Чевилёва. По свидѣтельствованіи оказалось, что онъ былъ предварительно политъ керосиномъ. Изъ кабинетнаго стола было похищено — не помню десять или двадцать тысячъ рублей. Слѣдствіе и судъ были ведены въ большомъ секретѣ. По городу ходили разные слухи, которые не хочу повторять. Что

сталось съ сыномъ Чевилёва, не имѣю никакихъ свѣдѣній. Вотъ какая злосчастная судьба постигла молодую особу, которая, гуляя по своей террасѣ, бывало, отвѣчала намъ привѣтливою улыбкою, когда мы, проходя мимо, отвѣшивали ей усердные поклоны.

Позади сада, въ которомъ, какъ сказано выше, мы гуляли и читали, между анатомическимъ театромъ и клиникою стояла деревянная башня; ея верхняя часть имѣла видъ садовой открытой бесѣдки съ крышею на столбахъ, или деревянной колокольни съ пролетомъ. На мѣстѣ большого колокола въ этой бесѣдкѣ довольно часто въ лѣтнюю пору висѣлъ съ перекладины человѣчій скелетъ, кое-какъ связанный по суставамъ веревочками. Надобно вамъ знать, что въ подвалахъ анатомическаго театра былъ складъ труповъ для лекцій по анатоміи; изъ нихъ выбирался одинъ для скелета; служители-солдаты клали его въ котелъ, вываривали кости, и потомъ для просушки вывѣшивали въ пролетахъ башни, гдѣ обыкновенно сушилось солдатское бѣлье.

На университетскомъ дворѣ, направо, у самыхъ воротъ, выходящихъ въ Долгоруковскій переулокъ, стояло тогда невысокое каменное зданіе, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабскаго и персидскаго языковъ, очень добраго и всѣми уважаемаго. Онъ былъ тогда человѣкъ уже пожилой, очень любилъ молодого профессора эстетики, Надеждина и далъ ему помѣщеніе у себя, а Надеждинъ, въ свою очередь, въ одной изъ своихъ комнатъ держалъ при себѣ Бѣлинскаго, впослѣдствіи ставшаго знаменитымъ критикомъ, а тогда не болѣе какъ студента, который, не кончивъ университетскаго курса, былъ сотрудникомъ и правою рукою Надеждина, издававшаго въ то время журналъ „Телескопъ“. Особенное удобство для этого изданія состояло въ томъ, что оно тутъ же, въ стѣнахъ этого корпуса, и подвергалось цензурѣ, такъ какъ ректоръ Болдыревъ былъ вмѣстѣ и цензоромъ.

Однажды вечеромъ приходимъ мы въ „Желѣзный“, опрометью бѣжитъ къ намъ Арсентій и вмѣсто трехъ паръ чаю подноситъ намъ нумеръ „Телескопа“. „Вотъ, — говоритъ, — вчера только-что вышелъ: прелюбопытная статейка, всѣ ее читаютъ, удивляются; много всякаго разговора“. Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумѣется, тотчасъ же принялись ее читать. Съ того времени и до сихъ поръ мнѣ ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню и теперь изъ нея

одну только фразу: „Россія приняла христіанство изъ рукъ растлѣнной Византіи“.

Дней черезъ десять послѣ этого у насъ въ номерахъ разнесся слухъ, что „Телескопъ“ запрещенъ, и что ректору и Надеждину грозитъ великая бѣда. Я пользовался расположеніемъ субъ-инспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны, и былъ къ нимъ вхожъ. Чтобы разузнать подробности дѣла, лучше всего было обратиться къ нимъ. Ольга Семеновна страшно взволнована, въ слезахъ; говоритъ, сама захлебывается, жалѣетъ Болдырева, негодуетъ на Надеждина, называетъ его предателемъ, злодѣемъ. Она была очень дружна съ Болдыревыми, да и кромѣ того отличалась горячимъ и чувствительнымъ до раздраженія темпераментомъ, и теперь какъ было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидѣтельницею преступленія, которое въ конецъ погубило ея друзей. Поуспокоившись немножко, вотъ что она мнѣ разсказала. Дня за три до выхода въ свѣтъ той книжки „Телескопа“, она и Рагузина вечеромъ играли въ карты съ Болдыревымъ. Болдыревъ очень любилъ по вечерамъ отдыхать отъ своихъ занятій, съ большимъ увлеченіемъ играя по маленькой съ дамами. Въ этотъ вечеръ Надеждинъ не давалъ имъ покоя и все приставалъ къ Болдыреву, чтобы онъ оставилъ карты и процензуровалъ въ корректурныхъ листахъ одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы нумеръ вышелъ въ свое время; но Болдыревъ, увлекшись игрою, ему отказывалъ и прогонялъ его отъ себя. Наконецъ, согласились на томъ, что Болдыревъ будетъ продолжать игру съ дамами и вмѣстѣ прослушаетъ статью, — пусть читаетъ ее самъ Надеждинъ, — и тутъ же, во время карточной игры, на ломберномъ столѣ подписалъ одобреніе къ печати. Когда статья вышла въ свѣтъ, оказалось, что все рѣзкое въ ней, задирательное, пикантное и вообще не дозволяемое цензурою, при чтеніи Надеждинъ намѣренно пропускалъ. Зная, съ какимъ увлеченіемъ по вечерамъ играетъ въ карты Болдыревъ съ своими сосѣдками, Надеждинъ умышленно устроилъ эту продѣлку.

Не замедлила изъ Петербурга и грозная резолюція по этому дѣлу: Болдырева, какъ дурака, отрѣшить отъ службы, Надеждина, какъ мошенника, сослать изъ Москвы, а Чаадаева, какъ сумасшедшаго, держать подъ строгимъ надзоромъ, приставивъ къ нему двухъ полицейскихъ врачей для наблюденія за его здоровьемъ. Это свѣдѣніе мнѣ сообщила та же Клименкова.

III.

Дружескія отношенія, скрѣпляемыя общими интересами, согласіемъ въ идеяхъ и стремленіяхъ, взаимною симпатіею, даже самою привычкою жить сообща, преимущественно ограничивались тѣснымъ кругомъ товарищей нашего номера. До извѣстной степени все это нѣсколько обусловливалось возрастомъ и временемъ совмѣстнаго пребыванія въ номерѣ, то-есть, или четыре года цѣлаго курса, или одинъ, два года.

При нашемъ поступленіи въ университетъ, для философскаго факультета былъ курсъ трехгодичный, а для медицинскаго — четырехгодичный; прибавка еще года на тотъ и другой факультетъ началась именно съ насъ, такъ что въ 1837 г. выпуска студентовъ изъ университета вовсе не было, и потому оба послѣдніе года мы были студентами старшими, и на третьемъ курсѣ, и на четвертомъ.

Вступивъ въ общежитіе нашего номера, я засталъ въ немъ двухъ студентовъ третьяго курса, Шпака и Лавдовскаго, и нѣсколькихъ второго и перваго. Всѣ они были словеснаго отдѣленія, за исключеніемъ того математика, который, помните, ссужалъ насъ свѣчами. Изъ моихъ близкихъ друзей и товарищей всѣ были словесники.

Отношенія мои къ двумъ студентамъ третьяго курса ограничивались почтительностью съ моей стороны и большею или меньшею снисходительностью съ ихъ стороны. Шпакъ, изъ варшавской гимназіи, былъ довольно любезенъ со мной, говорилъ о своихъ ученыхъ работахъ; я питалъ къ нему большое уваженіе, узнавъ отъ него, что онъ переводитъ съ латинскаго и польскаго разные историческіе документы для одного русскаго вельможи, Муханова, находящагося въ Варшавѣ, который издаетъ свое сочиненіе о Самозванцѣ и о смутномъ времени. Другой третьекурсникъ, по фамиліи Лавдовскій, не помню хорошенько, изъ Вологды или Костромы, — изъ семинаристовъ, и говорилъ на *о*. И по наружности, и по нраву онъ походилъ на Собакевича; я его очень уважалъ и побаивался, и относился къ нему, какъ ученикъ гимназіи къ учителю. Особенное, такъ сказать, благоговѣніе питалъ я къ нему за то, что онъ перевелъ съ нѣмецкаго всѣ три тома Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзіи, по указанію профессора Ивана

Ивановича Давыдова, который потомъ и помѣстилъ этотъ переводъ въ третьемъ томѣ своего курса словесности.

Когда, по окончаніи курса, я поступилъ младшимъ учителемъ русскаго языка во вторую московскую гимназію, тамъ засталъ Лавдовскаго уже старшимъ учителемъ словесности, и нѣкоторымъ образомъ официально подпалъ подъ его начало. Моя робость передъ его авторитетной суровостью не изгладилась и тогда, когда я, возвратившись черезъ два года изъ Италіи въ Москву, въ 1841 году, однажды встрѣтился съ нимъ на улицѣ. — „Ахъ, здравствуйте, — говорю я, — очень радъ васъ видѣть“. — „Чему же вы радуетесь?“ — спрашиваетъ онъ. — „Конечно, — отвѣчаю ему, — нечему особенно радоваться“... Такъ и разошлись.

Особенно обязанъ я въ умственномъ развитіи и успѣшномъ занятіи учебными предметами вліянію и содѣйствію двухъ товарищей, которыхъ я засталъ на второмъ курсѣ; оба они были поляки и оба поступили въ университетъ изъ полоцкаго коллегіума. Это были Класовскій и Коссовичъ.

Владиславъ Игнатьевичъ Класовскій съ ранней молодости получилъ солидное образованіе. Кто были его родители, я не зналъ, но дѣтство свое до шести или семи лѣтъ онъ провелъ въ женскомъ монастырѣ у своей тетки, монахини; она была француженка и говорила съ нимъ всегда только по-французски,— потому онъ отлично зналъ этотъ языкъ. Затѣмъ его взялъ къ себѣ въ мужской монастырь его дядя, который съ нимъ говорилъ бо̀льшею частью по-латыни, что̀ дало ему отличную подготовку для изученія римскихъ классиковъ. Послѣдніе года два обученія въ полоцкомъ коллегіумѣ онъ жилъ на квартирѣ одинъ, въ одномъ домѣ съ Коссовичемъ. Это, какъ мнѣ кажется, было какое-то надворное строеніе очень малыхъ размѣровъ; внизу была квартира Коссовича, выходившая въ сѣни, и тутъ же изъ сѣней была лѣстница на чердакъ, по которому надо было сдѣлать нѣсколько шаговъ, чтобы попасть въ маленькую каморку, въ которой пріютился Класовскій. Эти подробности намъ пригодятся, чтобы нагляднѣе представить себѣ одинъ курьезный случай, о которомъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Если въ первые два года моего пребыванія въ университетѣ я значительно успѣлъ во французскомъ и латинскомъ языкахъ, то этимъ я обязанъ Класовскому. Не знаю почему, онъ особенно полюбилъ меня и сошелся со мной ближе, чѣмъ съ кѣмъ-либо другимъ изъ русскихъ студентовъ. Все, что зада-

валось изъ классиковъ на лекціяхъ латинскаго языка, онъ прочитывалъ со мною, заставляя меня переводить и объясняя текстъ грамматическими и реальными комментаріями. Иногда, работая надъ Виргиліемъ или Гораціемъ за своимъ столикомъ, я наталкивался на какое-нибудь затрудненіе и тогда перекликивался съ нимъ черезъ весь номеръ, какъ перевести или понять такую-то фразу, а онъ сидитъ въ другомъ углу тоже за своимъ столикомъ и отвѣчаетъ оттуда наизусть цѣлымъ стихомъ, или двумя стихами, гдѣ стоитъ затрудняющее меня выраженіе, и переводитъ цѣлое мѣсто.

По-французски онъ читалъ со мной изъ „Германіи“, мадамъ Сталь, и весь романъ Виктора Гюго „Notre-Dame de Paris“. Во французскомъ я успѣлъ настолько, что, будучи на второмъ курсѣ, могъ уже осилить одинъ, безъ помощи Класовскаго, „Исторію цивилизаціи Европы“ Гизо.

Сверхъ того, онъ упражнялъ меня въ польскомъ на чтеніи стихотвореній Мицкевича. Я и до сихъ поръ помню нѣкоторые выученные мною тогда наизусть стихи, напр., изъ „Крымскихъ сонетовъ“ или изъ поэмы „Дѣды“.

Этими уроками польскаго языка ограничивалась для меня тогда вся область славянскихъ нарѣчій, потому что этотъ предметъ еще не введенъ былъ при насъ въ университетское преподаваніе, и только на четвертомъ курсѣ читалъ намъ Каченовскій исторію славянскихъ литературъ по книгѣ Шафарика.

Вліяніе Класовскаго на меня не ограничивалось обученіемъ языковъ. Онъ любилъ со мною бесѣдовать подолгу о разныхъ интересующихъ меня вопросахъ философіи, религіи и такъ называемой морали; это бывало обыкновенно по вечерамъ, въ сумерки, когда мы вмѣстѣ съ нимъ взадъ и впередъ гуляли по длинному коридору нашего общежитія. Онъ не высказывалъ прямо и рѣшительно своихъ убѣжденій, но умѣлъ ловкими намеками и извилистыми путями доводить меня до того пункта, который назначалъ онъ своею цѣлью. Его, очевидно, забавляла моя наивность, и ему было интересно производить надо мною опыты сознательнаго уразумѣнія добра и зла, и онъ до нѣкоторой степени успѣлъ бросить въ смутное броженіе моихъ понятій первыя искры свободомыслія. Получивъ раннее воспитаніе въ двухъ католическихъ монастыряхъ, мужскомъ и женскомъ, онъ былъ плохой католикъ и потому не затрогивалъ моего православія. Онъ былъ матеріалистъ, поскольку это было возможно въ эпоху романтизма, и о высшихъ предметахъ духовнаго міра

отзывался слегка, впрочемъ не оскорбляя моей религіозной совѣсти. Какъ бы то ни было, но въ душѣ моей совершился рѣзкій переворотъ, которымъ отдѣляется беззаботная юность съ ея безотчетными помыслами отъ того возраста смѣлыхъ порывовъ мысли и неудовлетворяемыхъ желаній, который я назвалъ бы періодомъ бури и стремленія (Sturm und Drang), какъ нѣмцы характеризуютъ свою литературу второй половины XVIII вѣка.

Я былъ тогда уже на второмъ курсѣ. Товарищи видѣли мою дружбу къ Класовскому; она была такъ сильна и постоянна, что ее не могъ не замѣтить даже и Коссовичъ, который по своей разсѣянности не обращалъ вниманія рѣшительно ни на что его окружающее. Однажды, не знаю по какому поводу, онъ сказалъ мнѣ съ обычнымъ своимъ добродушіемъ: „А ты полагаешь, Класовскій не вѣритъ ни въ Бога ни въ чорта? А я тебѣ скажу, что онъ самолично видѣлъ чорта, и я былъ при этомъ свидѣтелемъ. Это было мѣсяца за два до нашего поступленія въ университетъ; мы жили тогда въ Полоцкѣ, вмѣстѣ, въ одной хибарѣ, я внизу, а онъ на чердакѣ. Разъ ночью меня разбудилъ страшный стукъ и крики, раздававшіеся сверху. Очнувшись, слышу голосъ Класовскаго. Онъ зоветъ меня, а самъ причитаетъ: „ай, ай, дьяволъ, спасите меня! о, Господи, Jesus-Maria!“ Я бросился къ нему на чердакъ, и только-что влѣзъ по лѣстницѣ, наткнулся на что-то мягкое и косматое. Это былъ козелъ. Я увидѣлъ изъ мрака темное очертаніе козлиной головы съ рогами, которое обрисовывалось въ полусвѣтѣ окна изъ растворенной двери, а Класовскій все бѣсновался и звалъ меня на помощь. Я вбѣжалъ въ его комнату и насилу успокоилъ его. Въ тотъ день хозяинъ купилъ козла, чтобы по ночамъ онъ оберегалъ лошадей. Козелъ, на незнакомомъ еще ему дворѣ, вмѣсто конюшни, забрелъ черезъ отворенную дверь къ намъ въ сѣни, а оттуда, по своей привычкѣ лазать, попалъ на чердакъ. Теперь видишь, что Класовскій вѣруетъ въ чорта, а кто вѣруетъ въ чертей — вѣруетъ и въ ангеловъ“.

Класовскій былъ самаго нервнаго темперамента, можно сказать — женоподобнаго, въ которомъ раздражительность соединяется съ деликатною мягкостью. И въ наружности онъ отличался женоподобіемъ: По нѣжной, какъ бы прозрачной бѣлизнѣ лица его то и дѣло вспыхивалъ легкій румянецъ, при малѣйшемъ движеніи чувства; самые волосы его, свѣтло-русые, очень рѣдкіе и какъ бы разсыпчатые, до того были мягки и нѣжны,

какъ шелковыя пряди, что при всякомъ движеніи головы мѣняли свое мѣсто и болтались, какъ бахрома, спускаясь на виски и на большой и широкій лобъ. Эти растрепанныя космы соотвѣтствовали, казалось мнѣ, растрепанности блуждающихъ помысловъ его горячей, безпокойной головы. Роста онъ былъ средняго, худощавъ, необыкновенно живъ въ движеніяхъ, но безъ всякой угловатости; вообще личность далеко не дюжинная, богатая внутреннимъ содержаніемъ, то неотразимо привлекающая, то вовсе неожиданно отталкивающая, именно изъ такихъ натуръ, которыя болѣе обречены на то, чтобы волноваться и страдать, а не радоваться и спокойно наслаждаться жизнью.

Когда я переходилъ со второго курса на третій, онъ, по выдержаніи экзамена на кандидата, оставилъ университетъ и отправился куда-то далеко отъ Москвы учителемъ гимназіи, гдѣ и прослужилъ всѣ шесть лѣтъ, обязательныя для казеннокоштнаго студента. Въ теченіе всего этого времени я съ нимъ не видался.

Когда, по возвращеніи изъ двухлѣтняго пребыванія моего въ Италіи, я получилъ мѣсто учителя русской словесности въ старшихъ классахъ третьей московской гимназіи по ея реальному отдѣленію и жилъ у графа Сергія Григорьевича Строганова въ домѣ князя Гагарина (нынѣ Бутурлиныхъ) на Знаменкѣ, противъ Александровскаго военнаго училища, Класовскій перебрался въ Москву и былъ назначенъ младшимъ учителемъ русскаго языка въ той же гимназіи. Наше положеніе значительно измѣнилось. Я возмужалъ, многому научился, работая самостоятельно въ Неаполѣ и въ Римѣ, и всего насмотрѣлся вдоволь; а онъ остался тѣмъ же, чѣмъ былъ, въ неподвижной обстановкѣ провинціальнаго захолустья; онъ какъ-то сократился на мой взглядъ, присмирѣлъ и глубже ушелъ въ себя. Впрочемъ, потерянное равновѣсіе прежней дружбы и товарищества по видимости мало измѣнило наши старинныя отношенія, которыя мы все же продолжали скрѣплять товарищескимъ „ты“.

Онъ помѣстился очень удобно, около самой гимназіи въ Варсонофьевскомъ переулкѣ, съ Лубянки на правой сторонѣ, длинномъ, невысокомъ, двухъэтажномъ каменномъ домѣ, который весь былъ занятъ меблированными комнатами, раздѣленными на отдѣльные номера, съ большою общею залою въ верхнемъ этажѣ, для всѣхъ живущихъ по номерамъ. Это было нѣчто въ родѣ такъ называемыхъ пансіоновъ. Тутъ квартировали учителя разныхъ учебныхъ заведеній, гувернантки и учи-

тельницы, а также окончившіе курсъ кандидаты и дѣйствительные студенты. Дамы жили въ верхнемъ этажѣ, мужчины — въ нижнемъ. Всѣ они въ общую залу собирались обѣдать, а по вечерамъ отдохнуть отъ своихъ дневныхъ трудовъ и занятій, поболтать между собою, веселиться, а иногда и танцовать, такъ какъ тутъ было и фортепіано. Между живущими были артисты и артистки. Ежедневно придавали они этимъ вечернимъ собраніямъ разнообразіе и новый интересъ пѣніемъ и игрою на инструментѣ. И мнѣ случалось бывать на этихъ танцовальныхъ и музыкальныхъ вечерахъ, когда я навѣщалъ Класовскаго. Въ собраніяхъ этихъ слышались звуки болѣе иностранныхъ языковъ: нѣмецкаго, французскаго, польскаго, нежели русскаго.

Такъ продолжалось никакъ не больше полугода. Класовскій будто скучалъ, сталъ молчаливѣе и раздражительнѣе. Его уныніе я объяснялъ себѣ тѣмъ, что онъ недоволенъ своимъ положеніемъ младшаго учителя въ гимназіи.

Однажды, очень рано поутру, меня разбудилъ и переполошилъ мой товарищъ по университету, Каменскій, который квартировалъ въ томъ же пансіонѣ. Онъ бросился ко мнѣ поскорѣе сообщить о великой бѣдѣ, постигшей Класовскаго, съ тѣмъ, чтобы я до девяти часовъ утра успѣлъ передать о ней графу и такимъ образомъ предупредить офиціальное донесеніе отъ оберъ-полиціймейстера или отъ директора гимназіи. Вотъ что случилось съ Класовскимъ. Онъ влюбился въ одну изъ дѣвицъ пансіона; осталось неизвѣстнымъ, пользовался ли онъ ея взаимностью. Равнодушіе ли этой особы къ нему, или ревность, или что другое довело его до отчаяннаго поступка, только въ эту ночь онъ рѣшился застрѣлиться. Каменскій, сообщая мнѣ о катастрофѣ, выразилъ свое недоумѣніе, какъ сосѣди Класовскаго по обѣимъ сторонамъ его номера могли къ нему ворваться въ самый моментъ стрѣлянія изъ пистолета и какъ спасли его отъ самоубійства: далъ ли пистолетъ осѣчку, или не попалъ въ цѣль, но во всякомъ случаѣ по слѣдствію оказалось, что дверь отъ Класовскаго въ коридоръ была не заперта, а только изнутри загорожена мебелью.

Въ половинѣ девятаго, когда графъ имѣлъ обыкновеніе пить кофей, я къ нему явился и передалъ сообщенное мнѣ Каменскимъ. „Эхъ! все одно и то же, обыкновенная исторія; вѣчно польскіе фокусы!“ сказалъ графъ и поручилъ мнѣ позвать къ нему самого Класовскаго. Я узналъ потомъ, что графъ обошелся съ нимъ снисходительно и тогда же порѣшилъ помѣстить

его учителемъ дѣтей графа Чернышова-Кругликова, отправлявшагося вскорѣ за границу на два года.

Класовскій жилъ тогда долго въ Италіи и давалъ мнѣ о себѣ вѣсть подарками; такъ, онъ прислалъ мнѣ изъ Рима очень хорошенькій прессъ-папье изъ чернаго мрамора съ мозаическимъ изображеніемъ Св. Петра, съ Ватиканомъ и площадью. Эта вещица, какъ дорогое воспоминаніе, до сихъ поръ у меня въ кабинетѣ на столѣ. Кромѣ того, оттуда же онъ внесъ въ мое собраніе гравюръ очень любопытную итальянскую карикатуру на характеры и нравы XVIII вѣка.

По возвращеніи въ Россію, онъ основался въ Петербургѣ; вскорѣ издалъ очень дѣльное описаніе Помпеи съ рисунками и небольшую монографію о характерахъ и физіономіи. Тогда же получилъ мѣсто учителя въ пажескомъ корпусѣ, а вслѣдъ за тѣмъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ преподавателемъ русскаго языка и словесности дѣтямъ великой княгини Маріи Николаевны; въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, онъ преподавалъ тѣ же предметы и покойному цесаревичу Николаю Александровичу въ объемѣ гимназическаго курса.

Въ это время я былъ вызванъ въ Петербургъ Яковомъ Ивановичемъ Ростовцевымъ, по порученію котораго я тогда изготовлялъ мою Историческую Грамматику и большую Историческую Хрестоматію для пособія учителямъ военно-учебныхъ заведеній и, разумѣется, навѣстилъ Класовскаго. Онъ только что женился на миленькой нѣмочкѣ, бѣлой и румяной толстушкѣ. Она показалась мнѣ очень доброй и изящно-простой въ обращеніи. Въ ея отсутствіе я передалъ Класовскому пріятное впечатлѣніе, произведенное на меня его женою; онъ мнѣ на это отвѣтилъ, что главное ея достоинство состоитъ въ томъ, что у нея нѣтъ ни души родныхъ; былъ отецъ, да и тотъ, возвращаясь однажды со службы, пропалъ безъ вѣсти.

Разговаривая съ нимъ о русской литературѣ, мы коснулись XVII вѣка, когда она сильно подчинена была польскому вліянію. Я ему, между прочимъ, сказалъ: „Вотъ вамъ бы, Владиславъ Игнатьевичъ, заняться этимъ періодомъ; вамъ, конечно, коротко знакома польская литература того времени“. Мы въ то время уже другъ другу „выкали“, называя другъ друга по имени и отчеству. „Почему это вы такъ думаете?“ отвѣчалъ онъ вопросомъ: вы это сдѣлаете гораздо лучше моего, я и по-польски-то ничего не понимаю. Да вотъ еще что я хотѣлъ вамъ замѣтить: вы забыли, какъ меня зовутъ. Вѣдь я не Владиславъ,

а Владимиръ". — „Вотъ тебѣ на!" подумалъ я. Съ тѣхъ поръ я не видался съ нимъ до декабря 1859 года, когда я вызванъ былъ въ Петербургъ преподавать исторію русской литературы покойному цесаревичу Николаю Александровичу.

Разумѣется, я не замедлилъ обратиться къ Класовскому за полученіемъ свѣдѣній о степени познаній цесаревича въ русскомъ языкѣ и словесности, для того чтобы въ строгой послѣдовательности завершить гимназическій курсъ, пройденный его высочествомъ, своими лекціями въ подлежащемъ объемѣ университетскаго преподаванія.

Въ теченіе всего 1860 года я видѣлся довольно часто и съ Класовскимъ, и съ его женою, принималъ участіе въ ихъ семейныхъ интересахъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ по возвращеніи въ Москву я получилъ письменное извѣстіе отъ жены Класовскаго о его смерти, съ приложеніемъ выдержки изъ газетъ, гдѣ помѣщено надгробное слово его духовника. Въ этомъ словѣ въ умилительныхъ выраженіяхъ было высказано, какимъ примѣрнымъ, глубоко вѣрующимъ христіаниномъ окончилъ онъ свою жизнь. Миръ его праху и треволненной душѣ!

Теперь пора воротиться намъ къ нашему студенческому общежитію. Каэтанъ Андреевичъ Коссовичъ представлялъ собою самую рѣзкую противоположность Класовскому. Это была натура цѣльная, наивная, или, какъ говорится, непосредственная, въ себѣ самой сосредоточенная, всѣмъ довольная, но безъ малѣйшей тѣни личнаго эгоизма, натура счастливая, надѣленная благодатной способностью не вѣдать зла, не понимать возможности его существованія. Константина Дмитріевича Кавелина, бывшаго профессора московскаго университета въ сороковыхъ годахъ, товарищи называли „предвѣчнымъ младенцемъ": этотъ почетный титулъ съ бо́льшимъ еще правомъ могъ бы носить Каэтанъ Андреевичъ.

Онъ былъ великій чудакъ. Бо́льшаго оригинала мнѣ никогда не случалось знать. Въ Петербургѣ слылъ за курьезнаго оригинала Костомаровъ, но его чудачество было болѣе или менѣе сознательное, и мнѣ самому случалось лично отъ него слышать о его собственныхъ оригинальныхъ выходкахъ. Коссовичъ былъ вполнѣ безсознательный чудакъ. Все въ немъ было не такъ, какъ у другихъ. Онъ не обращалъ никакого вниманія на мелочи обыденной жизни. Онъ ихъ не презиралъ, но онѣ сами проходили мимо него, не нарушая его, такъ сказать, олимпійскаго самодовольствія: этотъ эпитетъ, впрочемъ, и не будетъ

при его особѣ фразою, потому что въ то время онъ постоянно витalъ на высотахъ Олимпа, погруженный всецѣло въ чтеніе римскихъ и греческихъ классиковъ. Онъ углубился въ это дѣло безъ всякаго предварительнаго плана, безъ всякаго обдуманнаго намѣренія. Удовольствіе бесѣдовать съ классиками, проводить въ ихъ сообществѣ цѣлые дни само собою, безъ его личной воли, увлекало его, и онъ, прочитавъ одного классика, тотчасъ же бралъ другого, и такимъ образомъ съ безпримѣрной неутомимостью перечиталъ ихъ всѣхъ до одного по изданіямъ, какія могъ онъ найти въ нашей университетской библіотекѣ. Когда я поступилъ въ университетъ, онъ доканчивалъ чтеніе латинскихъ авторовъ, и все остальное время пребыванія въ университетѣ употребилъ на чтеніе греческихъ.

Сосредоточенность Коссовича была изумительна. Книга всегда у него въ рукахъ: то сидитъ онъ за своимъ столикомъ, согнувшись надъ книгою, а самъ покачивается, то вдругъ вскочитъ, но не отнимая глазъ отъ читаемой страницы, ходитъ взадъ и впередъ по номеру съ своей книгой, то медленно, чуть шагая, то остановится, то вдругъ побѣжитъ, натыкаясь на проходящихъ. Особенно забавно было смотрѣть на него, когда онъ, бывало, носился взадъ и впередъ съ какимъ-нибудь огромнымъ фоліантомъ, иной разъ вѣсомъ до полупуда. Однажды случился вотъ какой курьезъ. Съ такимъ фоліантомъ онъ помѣстился на нашемъ большомъ диванѣ, положилъ его вмѣсто подушки, а самъ легъ ничкомъ и читаетъ, ногами подрягиваетъ и весь какъ бы сотрясается и бормочетъ: должно быть, этими судорогами онъ отбивалъ себѣ тактъ, читая стихи. Вмѣстѣ съ нимъ сотрясался и фоліантъ и понемножку скатывался съ дивана, а Коссовичъ, ухватившись за него обѣими руками, продолжалъ чтеніе; но фоліантъ вдругъ скатился на полъ, а вмѣстѣ съ нимъ скатился и самъ Коссовичъ, безостановочно продолжая свое чтеніе и растянувшись тоже на полу.

Я съ нимъ былъ друженъ и онъ любилъ меня, — впрочемъ кого же онъ могъ не любить? — но я принадлежалъ къ тому тѣсному кружку товарищей, въ удовольствіяхъ котораго онъ принималъ участіе, какъ я уже разъ упомянулъ вамъ объ этомъ. Въ моихъ занятіяхъ онъ принесъ мнѣ не малую пользу, объясняя затрудненія при чтеніи греческихъ классиковъ. Сверхъ того, впослѣдствіи, когда оба мы уже вышли изъ университета, въ началѣ сороковыхъ годовъ, онъ же училъ меня по-санскритски. Тогда этотъ языкъ сдѣлался его главною спеціальностью.

Будучи профессоромъ этого предмета въ петербургскомъ университетѣ, онъ съ обычнымъ своимъ увлеченіемъ предался изученію и другихъ восточныхъ языковъ, между прочимъ и арабскаго, и женился на аравитянкѣ въ тѣхъ видахъ, чтобы имѣть случай постоянно говорить съ нею на ея родномъ языкѣ. Я лично не зналъ ея и передаю, что мнѣ разсказывали. Se non è vero, è ben trovato.

Изъ моихъ товарищей по первому курсу разскажу вамъ только о двоихъ: о Новакѣ, который уже года за два до меня сидѣлъ въ университетѣ, и о Н. В. Еленевѣ, поступившемъ въ одно время со мною.

Новакъ (по имени никогда его не называли, — такъ онъ и слылъ у всѣхъ только Новакомъ) былъ, по его словамъ, венгерецъ, учился въ Воспитательномъ домѣ, въ мужскомъ институтѣ, теперь давно уже закрытомъ. Ростомъ былъ маленькаго, нрава спокойнаго и веселаго, большой забавникъ и балагуръ и вмѣстѣ человѣкъ положительный, равнодушный къ такъ называемому міру идей; не придавалъ большой цѣны познаніямъ и наукамъ и съ снисходительнымъ презрѣніемъ относился къ тѣмъ, кто тратитъ время на такіе пустяки. Понятно, что мы были ему не подъ пару, и онъ не любилъ съ нами водиться. Онъ сильно испивалъ и выбралъ себѣ товарища по душѣ между медиками изъ семинаристовъ, по фамиліи Холуйскаго. Это былъ парень лѣтъ двадцати пяти, долговязый и сухопарый. Худоба этого верзилы особенно бросалась въ глаза благодаря его чрезмѣрной высотѣ, которая на глазомѣръ увеличивалась еще и тѣмъ, что мы его постоянно видѣли подъ пару съ маленькимъ Новакомъ, казавшимся тогда уже совсѣмъ карликомъ. Когда, по окончаніи курса, Холуйскій былъ командированъ въ качествѣ военнаго врача куда-то далеко на Кавказъ, о немъ ходила у насъ легенда, будто онъ имѣлъ обычай, вмѣсто лошади, выѣзжать изъ крѣпости не иначе, какъ на верблюдѣ верхомъ, чтобы не волоклись по землѣ его долгія ноги.

Оба они брезговали всякими мадерами и сотернами и кромѣ водки ничего не пили. Бывало, когда намъ случалось вмѣстѣ съ ними выходить изъ университета, направляясь въ „Желѣзный“ трактиръ, оба они оставляли насъ на полудорогѣ, повертывая въ находившійся по пути кабакъ или полпивную. Странное дѣло: мы видѣли, что это вовсе не хорошо, — однако, какъ будто имъ и завидовали, что они могутъ дѣлать то, чего мы опасались, и даже относились какъ бы съ уваженіемъ къ ихъ молодечеству.

Платонъ Степановичъ хорошо зналъ, что Новакъ порядочно испиваетъ, и часто журилъ его, но относился къ нему милостиво и даже любилъ его, т.-е. ужъ очень жалѣлъ и старался его исправить. Ему нравился веселый и разбитной нравъ Новака и искреннее, какъ ему казалось, даже слезное раскаяніе и обѣщаніе исправиться. Призывая его къ себѣ, Платонъ Степановичъ встрѣчалъ его словами: „Опять пьянъ, смотри у меня!“ (Онъ всегда говорилъ Новаку „ты“). — „Никакъ нѣтъ-съ, Платонъ Степановичъ, ни росинки во рту не было“. — „Ну-ка, подойди, дыхни на меня“. И затѣмъ начинается длинная процедура дыханія или выдыханія: Новакъ никакъ не можетъ широко раскрыть свой ротъ, а если и раскроетъ, не дышитъ какъ слѣдуетъ, явственно, — точно сказочный дуракъ, котораго ягабаба сажаетъ на лопату, чтобы бросить въ пылающую печь, а онъ не умѣетъ на лопатѣ усѣсться. Къ такимъ розсказнямъ о себѣ Новакъ обыкновенно прибавлялъ: „Этотъ опытъ продѣлывалъ со мною Платонъ Степановичъ всегда натощакъ, а послѣ обѣда никогда, потому что, какъ извѣстно, и самъ любитъ выпить, и стало-быть, моего духу не расчухаетъ“. Разъ Новакъ насъ потѣшилъ такой, очевидно, выдумкой, будто онъ явился къ Платону Степановичу совсѣмъ пьяный, лыка не вяжетъ, и на его вопросъ: „Ну, чѣмъ же ты натрескался, пьяница этакая?“ — „Да только сладкой водочкой“, будто бы отвѣчалъ Новакъ, желая какъ бы смягчить свою вину. — „Эхъ ты, голытьба! Пилъ бы, по крайней мѣрѣ, простую сивуху“.— „Онъ, — присовокупилъ Новакъ, — такъ выразился, должно быть, не потому только, что сладкая водка мнѣ не по карману, а и потому, что она не пользительна для желудка, какъ ему самому хорошо извѣстно по опыту“.

Въ видахъ нравственнаго исправленія Новака, Платонъ Степановичъ заботился о его религіозной совѣсти въ исполненіи православныхъ обрядовъ; потому внимательно слѣдилъ, чтобы онъ посѣщалъ церковную службу. Новакъ пораньше заберется въ церковь и непремѣнно какъ-нибудь юркнетъ въ глаза Платону Степановичу, какъ только онъ появится, а затѣмъ тотчасъ же уходитъ. Однажды, возвращаясь отъ всенощной, Платонъ Степановичъ на углу университета столкнулся съ Новакомъ, который, переходя Моховую, направлялся къ университету. Инспекторъ поймалъ студента съ поличнымъ и, не говоря ни слова, потащилъ его къ себѣ въ кабинетъ. — „Такъ-то ты молишься за всенощной! ну, говори, пьяница, гдѣ ты былъ?“—

„Я былъ на Никольской, въ греческомъ монастырѣ: тамъ ужъ очень умильно служатъ и поютъ хорошо“. — „А отъ своей православной всенощной ушелъ?“ — „Помилуйте-съ, Платонъ Степановичъ, вѣдь и греческое служеніе такое же православное, какъ и наше: и равноапостольнаго князя Владимира обратили въ крещеную вѣру греческіе священники, и Кириллъ и Меѳодій съ греческаго же перевели намъ на церковный языкъ и обѣдню и всенощную“. — „Полно врать-то свою ученость и ступай вонъ“.

Такъ разсказывалъ намъ Новакъ; но мы мало придавали вѣры его розсказнямъ. Вообще надо замѣтить, что въ анекдотахъ о Платонѣ Степановичѣ много было выдуманнаго и баснословнаго; но въ нихъ была и значительная доля правды, которая вымышленныя подробности всегда освѣщала одной и той же идеею. Мы, старые студенты московскаго университета, въ своемъ миломъ Платонѣ Степановичѣ видѣли какъ бы воочію эпическаго героя русскихъ былинъ и высоко цѣнили въ немъ подвиги благодушія, милосердія и снисходительности, которыми онъ въ своей простотѣ и наивности могъ достигать того, что̀ недоступно суровому правосудію съ его крутыми мѣрами.

Нѣсколько лѣтъ никому изъ насъ не было извѣстно, что̀ сталось съ Новакомъ по выходѣ его изъ университета, разумѣется, въ званіи только дѣйствительнаго студента; но во второй половинѣ сороковыхъ годовъ онъ очутился въ Москвѣ и сталъ показываться своимъ университетскимъ товарищамъ, но уже въ рабьемъ образѣ крайней нищеты: на немъ была изодранная офицерская шинель и военная фуражка. Онъ просилъ подаянія, упорно оставаясь въ передней. Сначала мы давали ему по рублю, онъ тотчасъ же пропивалъ; стали давать меньше — и это тащилъ въ кабакъ. Потомъ мы узнали, что онъ на улицѣ попалъ подъ экипажъ и былъ взятъ въ больницу, гдѣ и померъ.

Вмѣстѣ со мною поступилъ въ университетъ и былъ принятъ въ студенческое общежитіе Еленевъ. Это былъ юноша моихъ лѣтъ, а, можетъ, годомъ и постарше, и нѣсколько выше меня ростомъ; бѣлый и румяный, съ большими глазами навыкатъ и съ полными, сочными губами, а надъ ними показался уже пушокъ народившихся усиковъ. Юноша пухлый и не то чтобы дряблый, а скорѣе женоподобный, и голосъ у него былъ нѣжный: онъ могъ бы пѣть теноромъ. Къ такимъ бываютъ благосклонны энергическія дамы, которыя любятъ покровительствовать и распоряжаться по-своему... Подобные типы Жоржъ-

Зандъ нерѣдко выводитъ въ своихъ романахъ. Еленевъ потому интересовалъ меня, и я не разъ вызывалъ его на признанія о его сердечныхъ дѣлахъ, но онъ всегда отмалчивался и заводилъ рѣчь о другомъ предметѣ. Онъ напоминалъ мнѣ счастливаго пажа въ рыцарскихъ романахъ, который, пользуясь благосклонностью прекрасной хозяйки замка, упорно хранитъ свою тайну, но не столько потому, что онъ великодушенъ и скроменъ, а потому, что смертельно боится, какъ бы чего не узналъ ея мужъ.

Науками Еленевъ интересовался мало и не любилъ углубляться мыслями во что-нибудь серьезное, зато очень любилъ романы и читалъ ихъ съ увлеченіемъ. Въ этомъ отношеніи онъ оказалъ нѣкоторое вліяніе и на меня, и я познакомился тогда съ произведеніями Вальтеръ-Скотта въ русскомъ переводѣ, кажется, Шапплета. Изъ области свободныхъ искусствъ онъ особенно предпочиталъ бильярдную игру, и въ этомъ дѣлѣ былъ большой мастеръ. Бывало, какъ только улучитъ свободную минуту, катаетъ себѣ шары въ бильярдной, въ томъ же „Желѣзномъ“ трактирѣ. Студенческій вицмундиръ на немъ всегда въ мѣлу, будто у математика, который трется у своей черной доски, выводя на ней мѣломъ математическую задачу. Бильярдная страсть до того врѣзалась во все существо его, что гдѣ бы онъ ни былъ — въ комнатѣ, на улицѣ, въ аудиторіи, даже въ церкви, онъ всегда съ бильярдной точки зрѣнія вглядывался въ предметы, когда они случайно оказывались разставленными, какъ шары на зеленомъ полѣ бильярда, и прицѣливался воображаемымъ кіемъ, чтобы ударить однимъ предметомъ въ другой. Особенно соблазняли его воображеніе головы людей, по своей округлости больше всего подходящія къ бильярдному шару. Однажды, во время экзамена, въ аудиторіи, я сидѣлъ съ нимъ рядомъ на передней скамейкѣ; за столомъ, близъ каѳедры, сидѣли экзаминаторъ, его ассистентъ, Голохвастовъ, который былъ помощникомъ попечителя и при графѣ Строгановѣ, и четвертый — Платонъ Степановичъ Нахимовъ. Еленевъ сидитъ неподвижно, весь выпрямился, а самъ подниметъ обѣ руки къ правому глазу и опуститъ, подниметъ и опять опуститъ. Я его спрашиваю: „Что ты дѣлаешь? глазъ что-ли у тебя болитъ?“ А онъ мнѣ совсѣмъ серьезно: „А вотъ я прицѣливаюсь, чтобы Платономъ Степановичемъ положить въ лузу Голохвастова“.

Между мною и Еленевымъ не могло возникнуть искренней, настоящей дружбы, но мы были хорошими товарищами. Насъ

связывала обоюдная польза. Я ему помогалъ въ лекціяхъ и приготовленіи къ экзамену, а онъ сблизилъ меня съ семействомъ Клименкова, который былъ ему землякомъ, изъ Смоленска, и давалъ ему постоянно пріютъ у себя въ квартирѣ, такъ что Еленевъ большую часть времени проводилъ не въ номерѣ, а у Клименковыхъ, и я туда часто приходилъ къ нему.

По своей спеціальности Степанъ Ивановичъ Клименковъ былъ медикомъ очень искуснымъ и имѣлъ большую практику; состоя въ должности главнаго субъ-инспектора, онъ былъ вмѣстѣ и врачомъ студенческой больницы, для которой была отведена особая камера при клиникѣ. Во второмъ семестрѣ перваго курса я опасно захворалъ горячкою и пролежалъ въ больницѣ около мѣсяца. Клименковъ во́-время захватилъ мою болѣзнь и заботился обо мнѣ, какъ о родномъ; а когда я, выздоровѣвъ, быстро сталъ подрастать, — любовался на меня и говаривалъ, что моя болѣзнь была къ росту. Когда явился къ намъ инспекторомъ Платонъ Степановичъ, Клименковъ рекомендовалъ ему меня, какъ хорошаго и благонравнаго студента. Тогда онъ былъ еще совсѣмъ молодой человѣкъ и недавно женатъ. Дѣятельность его была неимовѣрная: вѣчно суетится, то въ аудиторіяхъ, то у насъ въ номерахъ, то въ студенческой больницѣ, а между тѣмъ рыщетъ по всей Москвѣ, посѣщая своихъ больныхъ, а вечера, чтобы отдыхать отъ своихъ трудовъ и занятій, обыкновенно проводилъ въ клубѣ за картами. Онъ былъ человѣкъ очень добрый, ласковый, и студенты его любили.

О его женѣ, Ольгѣ Семеновнѣ, я вамъ уже говорилъ по дѣлу о Чаадаевѣ, Надеждинѣ и Болдыревѣ. Тогда ей было около двадцати лѣтъ. Это была особа очень красивая, въ полномъ цвѣтѣ свѣжей молодости, бѣлая и румяная, — какъ говорится, кровь съ молокомъ; росту была небольшого, какъ разъ подъ пару своему мужу, который былъ невысокъ. Я вамъ уже говорилъ о ея нервномъ темпераментѣ и о ея наклонности принимать живѣйшее участіе во всѣхъ, кого знаетъ. Каждое движеніе сердца отражалось въ чертахъ ея лица: то поблѣднѣетъ, то вспыхнетъ густымъ румянцемъ, а то вдругъ зальется горькими слезами. Я могъ нѣсколько познакомиться съ ея характеромъ потому, что и она, какъ и ея мужъ, ласкала меня, обращалась не какъ съ чужимъ и любила со мной иногда побесѣдовать вечеркомъ. Мнѣ случалось оказывать ей и нѣкоторыя услуги.

Когда я возвратился изъ-за границы, Еленевъ былъ уже

учителемъ гимназіи въ одномъ изъ губернскихъ городовъ. Тамъ онъ вскорѣ и женился, и женился на такой красавицѣ, какую рѣдко мнѣ случалось и видывать. Онъ обладалъ тонкимъ вкусомъ въ женской красотѣ, и за то былъ награждаемъ вниманіемъ прекраснаго пола. Потомъ въ томъ же городѣ онъ промѣнялъ учебную службу на гражданскую, былъ чѣмъ-то въ родѣ совѣтника какой-то палаты или правленія и повышался въ чинахъ, благодаря вліянію своей жены.

Когда мы перешли на второй курсъ, въ нашъ номеръ прибыло студента два-три изъ только что поступившихъ въ университетъ. Между ними я нашелъ себѣ отличнаго товарища, который потомъ сдѣлался моимъ истиннымъ другомъ. Это былъ Войцѣховскій, изъ Литвы, хотя и первокурсникъ, но постарше меня: онъ уже брился. Бываютъ люди такого нѣжнаго сердца, которымъ на роду написано любить преданно и неизмѣнно до той крайней степени самоуничиженія и вѣрноподданности, какая доступна только сердцу женщины. Войцѣховскій принадлежалъ именно къ разряду такихъ друзей. Такъ какъ нѣкоторыя лекціи читались младшимъ курсамъ вмѣстѣ со старшими, то вдвоемъ съ Войцѣховскимъ мы составляли лекціи, учились и читали. Поступивъ въ университетъ, онъ зналъ уже по-еврейски и сталъ меня учить этому языку. И теперь еще помню изъ его уроковъ первый стихъ книги Бытія: „Брешúт барà элогúм эт гашамáин бет гаáрец“.

Наше близкое товарищество не ограничивалось учеными занятіями. Войцѣховскій былъ моимъ неразлучнымъ спутникомъ во всѣхъ забавахъ и веселыхъ похожденіяхъ, неизмѣнно вмѣстѣ со мной сидѣлъ за трактирнымъ столомъ при трехъ парахъ чаю, вмѣстѣ съ нимъ мы лакомились какой-нибудь вкусной порціей, и онъ, какъ старше меня и опытнѣе, позволялъ себѣ тогда рюмку водки. Оба мы были не избалованы роскошью, и такія исключенія въ продовольствіи доставляли намъ истинное наслажденіе. Никогда не забуду одной наивной сцены, которая и теперь отзывается во мнѣ чѣмъ-то трогательнымъ. Войцѣховскому нѣкоторое время нездоровилось, онъ похудѣлъ; къ тому же дѣло было передъ экзаменомъ, и мы съ нимъ много работали. Не помню, у кого изъ насъ въ карманѣ былъ достаточный капиталъ для хорошей, дорогой порціи. „Пойдемъ,— говоритъ онъ, — закусимъ чего-нибудь поплотнѣе: я отощалъ и похудѣлъ, надо хорошенько подкрѣпиться“. Приходимъ въ „Желѣзный“, спрашиваемъ себѣ раковый супъ, — блюдо, ко-

торое, по понятіямъ Войцѣховскаго, преимущественнѣе другихъ придаетъ силу, свѣжесть и полноту. Такое же дѣйствіе онъ приписывалъ и рюмкѣ водки. Итакъ, сначала онъ выпилъ рюмку водки, а потомъ вмѣстѣ принялись мы уписывать раковый супъ. Во время ѣды вдругъ онъ остановилъ меня: „Погоди немного“, — говоритъ, — а самъ сжалъ свои толстыя губы, отъ чего нѣсколько надулись его щеки, — и, помолчавъ немного, спрашиваетъ меня: „Посмотри-ка мнѣ въ лицо; кажется, я ужъ немножко пополнѣлъ“; — и опять сдѣлалъ такую же мину, поглаживая и осязая пальцами обѣ свои щеки. — „Постой, что-то не разберу“, — отвѣчаю я: — „ты сжалъ губы и задержалъ дыханіе: оттого, можетъ, и разботѣло твое лицо, а ты открой-ка маленько ротъ“. Онъ нѣсколько раздвинулъ свои губы, и я съ удовольствіемъ замѣтилъ ему, что онъ и вправду будто немножко пополнѣлъ.

Въ нашихъ разгульныхъ похожденіяхъ былъ онъ неоцѣненнымъ товарищемъ. Собираясь кутить, мы заранѣе гордились возможностью охмелѣть настолько, что не будемъ въ состояніи вести себя какъ слѣдуетъ и непремѣнно растеряемъ изъ кармана деньги, и потому всѣ ихъ отдавали ему; а онъ, какъ бы пьянъ ни былъ, аккуратно берегъ нашъ капиталъ и въ точности расплачивался, сберегая всякую копѣйку.

Въ сороковыхъ годахъ, когда я жилъ у графа Строганова, Войцѣховскій былъ уже учителемъ гимназіи въ одномъ изъ ближайшихъ къ Москвѣ губернскомъ городѣ. Мы съ нимъ переписывались, и онъ въ письмахъ продолжалъ упражнять меня въ еврейскомъ языкѣ, посылая мнѣ свои грамматическія замѣчанія на еврейскіе тексты. Тогда я читалъ псалмы Давида. Бывало, начнетъ письмо всякой всячиной, и затѣмъ вдругъ переходитъ къ еврейской грамотѣ. Нѣкоторыя изъ его писемъ, какъ дорогое воспоминаніе, хранятся у меня и до сихъ поръ.

Онъ съ пылкой страстью предавался тому, что̀ изучалъ или просто читалъ. Онъ такъ же сердечно относился къ книгѣ и вообще къ міру идей, какъ онъ отнесся бы къ любимой женщинѣ. И онъ дѣйствительно влюбился и подъ вліяніемъ этой страсти восторженно писалъ мнѣ о греческихъ идеалахъ, о римскихъ завоеваніяхъ и о молитвословіяхъ еврейскаго народа. Привожу цѣликомъ это письмо, чтобы дать вамъ понятіе о милыхъ крайностяхъ идеализма того поколѣнія, которое слыветъ теперь подъ названіемъ „людей сороковыхъ годовъ“.

„Да, братъ,— писалъ онъ,— не то хорошо, что̀ хорошо,

а то хорошо, что̀ кому нравится, — а то хорошо, что̀ кто любитъ, а то еще лучше, во что̀ кто влюбился. Я все думалъ, думалъ, что̀ значитъ влюбиться? — и увидѣлъ, что влюбиться можетъ не всякій; а счастливъ тотъ, кто влюбился... Влюбиться — значитъ: пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ! Не знаю, какъ ты думаешь, а по-моему влюбляется не только частный человѣкъ, а даже цѣлые народы. Кто любилъ, тотъ жилъ; а кто влюбился, тотъ будетъ жить весь вѣкъ, если не здѣсь, такъ тамъ, т.-е. если не въ тѣлѣ, то въ духѣ цѣлаго человѣчества. Да, братъ! взгляни на прежніе вѣка и спроси, кто былъ влюбленный народъ??? Грекъ любилъ свою землю,— онъ былъ влюбленъ въ свою природу, въ свое небо, онъ жилъ и умеръ для природы. Онъ олицетворилъ свою природу въ тысячѣ боговъ, онъ воплотилъ свою природу въ милліоны лучшихъ произведеній рукъ, ума и фантазіи, и оставилъ намъ любоваться ими, или лучше *ею;* — онъ образовалъ свой языкъ для природы. Какая чудная была его природа! Явилась другая любовь и пожрала, и съѣла греческую любовь. Влюбленный въ войну и завоеванія, римлянинъ пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ нѣжно влюбленную Грецію. Да, римлянинъ любилъ войну и влюбился въ войну. Вся римская добродѣтель (virtus???), вся римская честь и слава — въ войнѣ. Весь пламенный патріотизмъ подчинялся войнѣ. Кто изъ римлянъ не воевалъ, тотъ не жилъ; кто не завоевалъ, тотъ проклятъ Римомъ. Итакъ, у грека вся его добродѣтель *(τὸ καττόν)*, его отечество, заключались въ его изящной природѣ; остановили его любовь къ природѣ, запачкали и осрамили его землю — и онъ погибъ вмѣстѣ съ своимъ языкомъ. У римлянина вся добродѣтель подчинялась войнѣ; его отечество было тамъ, гдѣ онъ могъ воевать и завоевать; онъ дрался съ самимъ собою; изъ-за чего? — чтобы только воевать. Ему не дали воевать, и онъ пропалъ вмѣстѣ съ своимъ языкомъ, который ему нуженъ былъ только для войны и для войны. Арабъ влюбился въ Алкоранъ (al-horan), въ маленькую книжечку — и какъ онъ жилъ весело, роскошно! Да, братъ, не будь Корана, арабъ не болѣе былъ бы извѣстенъ, какъ чухна. Вся слава его, вся поэзія пламенная, какъ стихъ корана, все это — отъ Корана и для Корана; всякая малѣйшая пьеска начинается заглавными словами корана. Но явилась другая любовь и уничтожила арабскую любовь. Ты знаешь ее. Вотъ что̀ значитъ любить и влюбиться. Но я тебѣ разскажу еще про одну любовь. Былъ великій и геніальный поэтъ и ученый. Онъ все умѣлъ, все зналъ, все имѣлъ, хотѣлъ любить, да не было

кого,— хотѣлъ пламенно влюбиться, да все было не по немъ; пролетѣлъ на крыльяхъ генія всю вселенную и встрѣтилъ онъ Іегову, влюбился весь въ него, да влюбился не такъ, какъ тѣ влюблялись: онъ — всю науку свою, весь геній свой и себя самого отдалъ Іеговѣ; онъ болѣе не смѣлъ сказать мудрецамъ міра: смотрите, что я дѣлаю! онъ говорилъ: смотрите, вотъ чудеса Іеговы! Всю свою душу, свою вѣру, своихъ боговъ и божковъ заковалъ въ цѣпи и именемъ всѣхъ своихъ боговъ, которыхъ, можетъ быть, до милліона было, назвалъ своего Іегову; этого мало — онъ охватилъ міръ и принесъ его въ жертву одному слову Іеговы; вотъ какъ онъ любилъ! Какъ любилъ онъ, такъ пламенно любили и его потомки. Да, Израэль болѣе любилъ своего Іегоцу, нежели кто-нибудь кого-нибудь — онъ своихъ собственныхъ чадъ въ жертву обрекъ было Іеговѣ, да только Іегова не захотѣлъ этого. Израэль всей душой, всей жизнью влюбленъ въ Іегову, который для него все — сынъ и отецъ вмѣстѣ,— и укрѣпитель счастія Израэля. Да, Израэль все посвятилъ своему возлюбленному — своему жениху... своему единственному Іеговѣ. Тѣло и духъ, умъ и фантазію онъ употребилъ для славы, для чести, для прославленія Іеговы. Онъ болѣе любилъ его, нежели боялся, онъ болѣе обожалъ его, нежели страшился. Я думаю, никто такъ не любилъ, какъ Израэль, никто такъ не влюбленъ, какъ Израэль; кто хочетъ любить и не умѣетъ, пусть тотъ читаетъ еврейскіе памятники; кто не влюблялся, кто еще не жилъ любовью пламенною, любовью всего сердца, любовью всей души, тотъ пусть прочитаетъ все, что было пѣто о любви къ Іеговѣ, — и онъ будетъ любить, — и влюбится пламенно, горячо, безконечно, всѣмъ сердцемъ, всѣмъ воображеніемъ. Это такъ. Да и теперь какъ онъ его любитъ!!! Разсѣянъ по лицу земли, а все влюбленъ въ Іегову. Вотъ какъ оправдывается истинная любовь! Грекъ и не помнитъ о томъ, что было. Подлый грекъ.

„Посмотри далѣе. Французъ влюбленъ въ ассамблеи и, слѣдовательно, ежедневную перемѣну платья; нѣмецъ до безумія влюбленъ въ свой Geist, для котораго онъ пожертвовалъ своей жизнью, своей поэзіей, всѣмъ своимъ *я*, для котораго онъ исковеркалъ свой языкъ; я думаю, что нѣмецъ самъ себя не понимаетъ: онъ вѣдь и чужое все (греч. и римск.) коверкаетъ на свой ладъ. Во что влюбленъ русскій-славянинъ? какъ ты думаешь? Ну, братъ, скажи свое мнѣніе. По-моему, русскій-славянинъ влюбленъ во все, а во все быть влюблену не-

возможно; не правда ли? Мнѣ кажется, что русскій-славянинъ долженъ просто влюбиться въ свой языкъ; онъ долженъ принести въ жертву все свое знаніе, всю свою жизнь языку. Онъ долженъ учиться греческому и латинскóму языку для своего русскаго языка; онъ долженъ знать по-итальянски, чтобы дать ту пѣвучесть своему языку, — по-французски, чтобы подарить всѣ тѣ нѣжности и комплименты своему языку, — по-нѣмецки, чтобы уломать свой языкъ къ ученымъ понятіямъ (вѣдь и нѣмецкій языкъ не родился съ тѣми словами, какія встрѣчаются теперь), — по-англійски, чтобы увѣнчать свой языкъ той высокой поэзіей Шекспира и Байрона. Учись по-англійски, и мнѣ послѣ покажешь. Но греческій и латинскій языки онъ долженъ учить не на нѣмецкій ладъ, а на русскій ладъ; пока русскій будетъ учиться греческому и латинскому языку по-нѣмецки, все это ни къ селу ни къ городу. Извини, братъ, я заболтался.

„Я перевелъ тебѣ два псалма *буквально;* совѣтую тебѣ выучить наизусть по-еврейски. Ты можешь 150-й псаломъ пѣть почти на голосъ: „Ты не повѣришь, какъ ты мила“... Они простеньки и очень легки, потому что повторяются все тѣ же слова“.

„Всегда твой — Войцѣховскій“.

И вотъ полюбилъ, наконецъ, и мой милый другъ Войцѣховскій, и не тою собирательною, всенародною любовью, а полюбилъ лично, самъ по себѣ и самъ для себя. Восторженно и страстно влюбился онъ въ дочь директора той гимназіи, гдѣ служилъ, и влюбился „напропалую“, въ настоящемъ, полномъ и страшномъ значеніи этого слова: онъ не снискалъ себѣ взаимности, и въ минуту отчаянія погибъ отъ безнадежной страсти.

Однажды утромъ призываетъ меня къ себѣ въ кабинетъ графъ Сергій Григорьевичъ и тревожнымъ голосомъ сообщаетъ только-что полученное имъ офиціальное донесеніе о внезапной кончинѣ Войцѣховскаго. Онъ зарѣзалъ себя бритвою.

Когда я перешелъ на третій курсъ, въ нашъ номеръ поступили два новыхъ товарища, только-что принятыхъ въ университетъ изъ одной провинціальной гимназіи, въ которой оба они кончили курсъ. Это были Александръ Ивановичъ Сéлинъ (а не „Селúнъ“, какъ потомъ его стали называть) и Сергій Дмитріевичъ Шестаковъ. Когда попечитель, графъ Строгановъ, ревизовалъ свой округъ, онъ замѣтилъ того и другого еще на гим-

назической скамьѣ, какъ отличныхъ учениковъ, приласкалъ ихъ, а когда они стали студентами, постоянно интересовался обоими и слѣдилъ за ихъ успѣхами. Тотъ и другой стали потомъ профессорами: Сéлинъ — русской литературы, въ кіевскомъ университетѣ, а Шестаковъ — латинской, въ московскомъ.

Между всѣми моими университетскими товарищами Сéлинъ отличался особенною своеобразностью. Оригиналомъ назвать его не могу, какъ я назвалъ Коссовича, но ему дана была отъ природы способность оригинальничать, вѣчно играть роль, всегда позировать, всегда казаться чѣмъ-то другимъ, а не тѣмъ, что онъ есть, такъ что, бывало, не разберешь, таковъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ или только кажется такимъ. Росту онъ былъ средняго, худой и тщедушный; на блѣдномъ лицѣ иной разъ пятнами мелькалъ слабый румянецъ, глубоко ввалились глаза подъ густыми бровями, щеки впали, образуя по сторонамъ губъ продольныя морщинки. На широкій лобъ падали каштановаго цвѣта кудри, но, въ противность пословицѣ, не „со радости вились эти кудри и не сѣклись они со печали“, потому что онъ всегда былъ грустенъ и печаленъ, всегда удрученъ жизнью; скорбящей наружности его вполнѣ гармонировалъ и скорбный голосъ, не то безнадежныя рыданія, не то задержанные вопли отчаянія, не то замогильные звуки пришельца съ того свѣта. И все это не раздавалось громко, а какъ слабое эхо, иногда доходящее до шопота, таинственно передавало то глубокое и далекое, что бушевало на днѣ души его. Даже въ самыхъ жестахъ его выражалось что-то не отъ міра сего: когда онъ говорилъ съ волненіемъ, онъ касался руки слушателя оконечностями своихъ пальцевъ такъ нѣжно, будто дуновеніе легкаго вѣтерка.

Я бы назвалъ Сéлина предвѣстникомъ теперешнихъ поэтовъ міровой скорби и безнадежности, если бы онъ скорбѣлъ о бѣдствіяхъ всего человѣчества и о безотрадномъ и безвыходномъ его положеніи,— напротивъ, его скорбь была сосредоточена въ себѣ и на себѣ; но о чемъ онъ горевалъ, что онъ оплакивалъ, никто не зналъ и понять не могъ. Въ университетѣ учился онъ хорошо, всегда былъ изъ лучшихъ студентовъ; даже по его отрывочнымъ признаніямъ и намекамъ его близкіе товарищи — въ томъ числѣ и я — могли догадываться, что ему жилось хорошо, что онъ любилъ и былъ любимъ, что его ласкали и даже баловали, что какая-то свѣтская дама дарила его своими милостями, что было какое-то похищеніе новой Елены, даже черезъ заборъ, или свиданіе съ нею, когда Сéлинъ сидѣлъ на заборѣ,

а она въ саду — не помню хорошенько, только изъ его отрывистой рѣчи съ обычнымъ шопотомъ удержались въ моей памяти заборъ и видѣніе прекрасной Елены.

Таковъ былъ Се́линъ въ молодости, на студенческой скамьѣ; съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ на профессорскую каѳедру, я ужъ съ нимъ не встрѣчался ни разу до самой его смерти. Но тогда мы видѣли въ немъ олицетвореніе Гамлета, размѣняннаго по мелочамъ, и именно въ томъ его типѣ, какой придалъ ему знаменитый въ то время трагикъ Моча́ловъ, съ прикрасою своихъ обычныхъ жестовъ — лѣвой рукою бить себя въ лобъ, а правой хлопать себя по ляжкѣ; только Се́линъ, въ согласіи съ тихимъ унынiемъ своей души, смягчалъ эти жесты: медленно и нѣжно касался лба рукою, а по ляжкѣ вовсе не колотилъ, вѣроятно находя это неграціознымъ.

Впослѣдствіи изъ него вышелъ краснорѣчивый профессоръ. Студенты любили его. На публичныхъ лекціяхъ въ Кіевѣ онъ производилъ эффектъ.

Шестаковъ былъ годомъ моложе Се́лина, а можетъ быть и двумя. Думаю, что онъ поступилъ въ университетъ однихъ лѣтъ со мною, скорѣе немножко помоложе меня; онъ также выросталъ уже будучи студентомъ, на моихъ глазахъ. Былъ нѣжный и миленькій мальчикъ, смуглый, съ большими кроткими глазами, съ крупными чертами лица; густыя пряди каштановыхъ волосъ легкою волною спускались на его широкій лобъ. Онъ былъ самый младшій изъ товарищей нашего номера, игривый и шаловливый, какъ ребенокъ. Войцѣховскій, витая въ области библейскихъ типовъ и образовъ, называлъ его Веніаминомъ нашего товарищескаго кружка. Его лелѣяли и оберегали, а я, какъ старшо́й номера, взялъ его подъ свое покровительство. Этимъ началась наша дружба и съ годами усиливалась до самой его кончины.

Еще на студенческой скамейкѣ сблизился онъ коротко съ своимъ товарищемъ по курсу, Петромъ Николаевичемъ Кудрявцевымъ, который былъ потомъ профессоромъ всеобщей исторіи въ московскомъ университетѣ, а затѣмъ, по выходѣ изъ университета, подружился съ Павломъ Михайловичемъ Леонтьевымъ и жилъ съ нимъ вмѣстѣ до самой своей смерти. Товарищеская связь съ обоими этими учеными скрѣплялась единствомъ научныхъ интересовъ, какъ это должно быть извѣстно всякому, кто слѣдилъ за разработкою всеобщей исторіи, классическихъ древностей и классической литературы.

Преждевременная, ранняя смерть Шестакова лишила меня самаго искренняго, горячо мною любимаго друга, а ученую литературу — высокодаровитаго и неустанно трудившагося дѣятеля.

IV.

Подробно разсказалъ я вамъ о моихъ товарищахъ и друзьяхъ для того, чтобы вы могли составить себѣ нѣкоторое понятіе о томъ, каковъ я былъ тогда самъ, по пословицѣ: „скажи, съ кѣмъ ты знакомъ, — и я скажу, кто ты таковъ“. Но такъ какъ мое знакомство не ограничивалось предѣлами университетской усадьбы, то поведу васъ своими воспоминаніями по московскимъ урочищамъ и улицамъ съ переулками.

Поведу васъ сначала опять на Собачью площадку, въ Дурновскій переулокъ, гдѣ, помните, я постучался къ Кастору Никифоровичу Лебедеву. Когда онъ возвратился въ Москву, принялъ во мнѣ живѣйшее участіе, которымъ, впрочемъ, я не могъ долго пользоваться, потому что онъ черезъ нѣсколько времени перебрался въ Петербургъ. Ему не удалось пристроиться къ университету. Онъ раздражилъ противъ себя нѣкоторыхъ изъ профессоровъ, представивъ научные ихъ взгляды и убѣжденія въ карикатурномъ видѣ, въ написанной имъ сказкѣ о царѣ Горохѣ. Можете сами прочесть ее: она была напечатана, кажется, въ „Русской Старинѣ“. Въ Петербургѣ онъ промѣнялъ ученую карьеру на юридическую, успѣшно и съ отличіемъ служилъ чиновникомъ министерства юстиціи и скоро вошелъ въ милость у министра, графа Панина; былъ командированъ за границу, именно въ Пруссію, для нагляднаго и практическаго ознакомленія съ судебнымъ дѣлопроизводствомъ, и по возвращеніи напечаталъ подробный отчетъ о своихъ наблюденіяхъ. Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ занималъ должность оберъ-прокурора Правительствующаго Сената въ Москвѣ, а потомъ должность сенатора въ Петербургѣ.

Теперь переберемся за Москву-рѣку, на Донскую улицу, къ церкви Ризъ Положенія. Наискосокъ противъ этой церкви къ сторонѣ Калужскихъ воротъ въ то время выходилъ на улицу длинный заборъ; воротами входишь на большой дворъ, будто площадь, покрытый зеленой травой. На этомъ лугу, налѣво стоялъ небольшой каменный домъ, построенный въ XVIII сто-

ı, двухъэтажный, съ толстыми-претолстыми стѣнами, окна
нькія, внизу съ желѣзными рѣшетками, заржавѣлыми отъ
олѣтія; наружная дверь тоже была желѣзная и такая же
ая; къ ней поднимались по двумъ каменнымъ ступенямъ,
тымъ и истертымъ донельзя. Отдѣленный отъ двора рѣ-
ою, простирался большой лугъ; на немъ кое-гдѣ высокія
ѣтнія дерева съ голыми сучьями наверху. Тутъ лѣтомъ
ись двѣ-три коровы. Въ правомъ углу этой луговины
ми тянулись грядки со всякимъ овощемъ, огороженныя
немъ. Этотъ пустырь, не тронутый въ 1812 г. францу-
, описываю вамъ для того, чтобы дать понятіе, какъ тогда
ось въ Москвѣ широко и привольно. Не даромъ иностранцы
вали нашу древнюю столицу колоссальной деревнею. Я
ввожу въ одно изъ помѣстій этой деревни. Этотъ домъ,
е похожій на крѣпость или тюремный замокъ, принадле-
ъ Натальѣ Васильевнѣ Кушечниковой, старой дѣвицѣ лѣтъ
ятьдесятъ; она занимала верхній этажъ, а въ нижнемъ
ı ея родственница и старинная подруга, Елизавета Рома-
а Верховцева, вдова, съ своимъ сыномъ Аполлономъ Ильи-
. Она была родная сестра моего вотчима, который давно
скончался, когда я прибылъ въ Москву.

Аполлонъ Ильичъ былъ замѣчательно красивый молодой
вѣкъ, лѣтъ двадцати пяти, съ правильными, такъ назы-
ыми античными чертами лица, съ большими карими глазами,
ветъ; позднѣе носилъ длинныя и тонкія бакенбарды, кото-
изящно обрамляли его смуглое лицо. Въ обществѣ онъ
зводилъ эффектъ, какъ своей наружностью, такъ и отлич-
ъ голосомъ: у него былъ замѣчательный теноръ. Онъ слу-
ъ въ опекунскомъ совѣтѣ и впослѣдствіи дослужился до
ія почетнаго опекуна. До глубокой старости умѣлъ сохра-
свою красоту разными искусственными средствами. До
ѣдняго времени его можно было видѣть предсѣдательствую-
ъ на выпускныхъ экзаменахъ Екатерининскаго и Алексан-
скаго институтовъ.

По пріѣздѣ въ Москву я не замедлилъ отправиться на
скую улицу. Елизавета Романовна и Наталья Васильевна
яли меня какъ родного. Я у нихъ проводилъ по праздни-
ъ цѣлые дни, а случалось и гостилъ по недѣлямъ въ ва-
ное время. Лѣтомъ мнѣ привольно было гулять по боль-
у лугу и читать свою книгу подъ тѣнью развѣсистаго дерева.
лонъ Ильичъ оказывалъ мнѣ дружеское снисхожденіе и

при случаѣ давалъ мнѣ уроки, какъ вести себя въ обществѣ прилично, по-свѣтски, съ соблюденіемъ собственнаго достоинства.

Изъ лицъ, которыхъ мнѣ случалось видѣть у Верховцевыхъ, самымъ интереснымъ былъ для меня Сергій Николаевичъ Глинка, авторъ пользовавшихся нѣкогда большой извѣстностью „Писемъ русскаго офицера“. Онъ всегда являлся во фракѣ и бѣломъ высокомъ галстукѣ, на ногахъ ботфорты.

Къ обѣимъ обитательницамъ стариннаго дома у Ризъ Положенія вотъ что̀ писала моя матушка, отъ 7 августа 1834 г.:

„Почтенныя, добрыя, милыя мои сестры, Елизавета Романовна и Наталья Васильевна! Голубушки мои, очень вы обрадовали меня вашимъ письмомъ. Я не сомнѣвалась, чтобы вы приняли моего Ѳедора чужимъ. Матушки мои, васъ Богъ наградитъ за вашу родственную ему ласку. Боюсь, не охладилъ бы онъ васъ: онъ холоденъ и угрюмъ. Извиняйте ему, если вы его найдете такимъ: это его характеръ, — и его кромѣ наукъ ничто, кажется, не разгорячитъ. И если что̀ вамъ въ немъ не будетъ нравиться, пожалуйста останавливайте, не смотря на его ростъ, а помните его лѣта; выдерите уши, если онъ заслужитъ. Да вотъ онъ уже и заслужилъ. Каково невниманіе! Не писалъ. Если бы не вы, мои друзья, то я не знала бы на что̀ и подумать. Теперь, слава Богу, покойна, что онъ живъ. Родныя мои, узнайте, что за квартира, можно ли ему стоять на ней“.

Еще къ нимъ же отъ 16 октября того же года: „Милыя мои, добрыя, безцѣнныя сестры! Голубушки вы мои, если бы вы знали, какъ вы меня обязываете вашей лаской къ моему Ѳедору. Васъ за это Господь наградитъ. Вы, мой другъ, сестрица Наталья Васильевна, пишете, что въ одной комнатѣ спите съ Ѳеденькой. Это мы часто съ нимъ дѣлали дома, и вѣрно, когда онъ ночуетъ у васъ, то полагаетъ, что онъ близокъ къ матери“.

Затѣмъ, мое знакомство въ Москвѣ ограничивалось пріѣзжими изъ Пензенской губерніи, — больше изъ уѣздныхъ городовъ и деревень, нежели изъ самой Пензы. Ихъ было довольно, но я обращу ваше вниманіе только на двухъ помѣщицъ: на Капитолину Яковлевну Никифорову и Марѳу Андреевну Владыкину. О первой я много слышалъ хорошаго, но лично не былъ съ нею знакомъ; вторую же зналъ коротко, давно пользовался ея расположеніемъ и очень любилъ ее.

Когда Никифорова ѣхала въ Москву, мой двоюродный дядя,

Андрей Сергѣевичъ Сергѣевъ, рекомендовалъ ей меня, а мнѣ написалъ, чтобы я явился къ ней непремѣнно. Изъ его письма я зналъ, что она пріѣхала съ сыномъ, годомъ старше меня, который поступаетъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, и съ дочерью моихъ лѣтъ. Это было въ концѣ сентября, я только что поступилъ въ университетъ, чувствовалъ себя на верху блаженства, но ни мундира ни вицмундира у меня еще не было. Какъ же мнѣ явиться къ новымъ знакомымъ въ старенькомъ сюртучишкѣ? Я уже заранѣе гордился своимъ студенческимъ мундиромъ, при шпагѣ, съ треуголкой. Дамъ, дескать, себя знать передъ будущимъ гвардейцемъ и передъ его молоденькой сестрицей, и положилъ итти къ нимъ тогда, когда будетъ готова моя амуниція. Ждалъ, ждалъ, наконецъ надѣли на меня вицмундиръ, а мундира все еще нѣтъ. Я уже рѣшился было надѣть чужой, отъ кого-нибудь изъ товарищей старшихъ курсовъ, но у нихъ форма была еще съ малиновыми воротниками и только съ насъ, новобранцевъ, пошли синіе воротники, тѣ самые, какіе приняты и теперь. Ничего больше мнѣ не оставалось, какъ надѣть мундиръ Класовскаго съ малиновымъ воротникомъ и явиться, наконецъ, къ Никифоровымъ на Спиридоновку. Разсказываю вамъ эти пустыя подробности, да и вообще упоминаю о Никифоровыхъ для того только, чтобы вы прочли, какъ моя матушка дѣлаетъ мнѣ выговоръ.

Отъ 11 декабря того же года: „Да вотъ еще твоя глупость непростительная. Тебя благодѣтельный твой дядя рекомендовалъ почтеннымъ своимъ знакомымъ: первое, ты его не благодарилъ, а второе, не былъ у почтенной Никифоровой, и велишь, чтобы я за тебя благодарила дядю. Меня это все очень огорчаетъ и даетъ мысль о тебѣ, какъ о неблагодарномъ и нечувствительномъ. А тебѣ ли разбирать приличныя платья? У тебя есть вицмундиръ, онъ одинъ у тебя, и ты вездѣ, гдѣ должно, можешь въ немъ быть, и эта твоя нечувствительность къ почтенному и лестному для тебя знакомству меня огорчила. Я не воображала, чтобы мой сынъ былъ такъ нечувствителенъ къ благодѣяніямъ милаго и добраго своего дяди. А я за все это сержусь на тебя. Подумай хорошенько, и ты почувствуешь, что ты стоишь этого. И если ты хочешь со мной помириться, то исполни все это: пиши дядѣ приличное его благодѣяніямъ письмо, сходи, или даже ходи къ Никифоровой и извинись, что не могъ раньше быть, потому что не хотѣлъ показаться имъ невѣжливымъ и быть въ вицмундирѣ, но не дождался

мундира. Если тебѣ покажется грубо письмо мое, то подумай хорошенько и ты увидишь, что я правду отъ тебя требую и прошу въ такихъ обстоятельствахъ быть почувствительнѣе. У Никифоровой будь непремѣнно. Доброму, милому Кастору Никифоровичу мою душевную благодарность и почтеніе скажи, милымъ сестрамъ тоже. Аполлону Ильичу также кланяйся. Я радуюсь, что ты въ восхищеніи отъ своихъ лекцій; но, мой другъ, и еще скажу, что одно безъ другого не годится: приличіе и благодарность — это чувства не послѣднія для молодого человѣка"...

Теперь прошу васъ вмѣстѣ со мною отъ Спиридоновки перенестись въ Зубово, къ Неопалимой Купинѣ, въ деревянный домъ съ мезониномъ, въ переулкѣ, который съ задней стороны этой церкви тянется параллельно Смоленскому бульвару. Въ этомъ домѣ поселилась пріѣхавшая въ Москву изъ Чембарскаго уѣзда помѣщица Марѳа Андреевна Владыкина съ своимъ сыномъ, годомъ моложе меня, Алексѣемъ Степановичемъ, и съ его гувернеромъ французомъ, Александромъ Богдановичемъ Ломбаромъ, который при мнѣ былъ учителемъ французскаго языка въ нашей гимназіи. Моя матушка давно была съ нею знакома, и когда обѣ онѣ овдовѣли, матушка — послѣ моего вотчима, а Владыкина — послѣ мужа, ихъ знакомство перешло въ дружбу; обѣ — молодыя вдовы и ровесницы. У Владыкиной я нашелъ такой же радушный родственный пріемъ, какъ и у Верховцевыхъ. Сверхъ того, мои посѣщенія Владыкиныхъ приносили намъ обоюдную пользу. Марѳа Андреевна поручила мнѣ давать уроки русскаго языка и исторіи ея сыну, который тогда готовился къ поступленію въ военную службу. Впослѣдствіи онъ служилъ въ гусарахъ.

Изъ посѣтителей, которыхъ мнѣ случалось встрѣчать у Владыкиной, назову вамъ Бѣлинскаго, котораго она знала еще мальчикомъ и говорила ему „ты". Его отецъ, уѣздный лѣкарь, въ теченіе многихъ лѣтъ былъ у ней въ имѣніи домашнимъ врачомъ и пользовался ея расположеніемъ и довѣріемъ. При этомъ замѣчу вамъ кстати, что и Бѣлинскій былъ моимъ учителемъ русскаго языка въ 1829 г., когда я только что поступилъ въ первый классъ гимназіи, а онъ, только что кончивши въ ней курсъ, не могъ за недостаткомъ средствъ отправиться въ московскій университетъ, какъ онъ намѣревался, и, оставаясь въ Пензѣ, въ званіи ученика гимназіи, занималъ вакантную должность учителя. Странно, что именно отъ той

алекой поры врѣзалось въ мою память, какъ у него въ классѣ ы учили наизусть:

О Ты, пространствомъ безконечный,
Живый въ движеньи вещества...

И еще:

О, дѣти, дѣти! Какъ опасны ваши лѣта!
Мышенокъ, не видавшій свѣта,
Попалъ было въ бѣду. И вотъ какъ онъ объ ней
Разсказывалъ въ семьѣ своей...

V.

Чтобы дать вамъ нѣкоторое понятіе о томъ, при какихъ словіяхъ слагался мой характеръ въ періодъ студенчества, я олженъ познакомить васъ съ письмами моей матушки. Въ нихъ находилъ для себя и чувствовалъ охранительную силу, которая должна была сдерживать и утолять мои стремленія и порывы въ охватившей меня новой жизни казеннокоштнаго товарищества. Но сначала мнѣ слѣдуетъ разсказать вамъ, кто акая была моя матушка и какова была она.

Моя матушка, дочь армейскаго офицера Ивана Андреевича Андреева, участвовавшаго въ Суворовскомъ походѣ черезъ Альпы въ Италію, родилась въ г. Керенскѣ въ 1802 г., а въ 1816-мъ, четырнадцати лѣтъ отъ роду, вышла замужъ за своего отца Ивана Ивановича Буслаева, состоявшаго въ должности керенскаго уѣзднаго стряпчаго. Въ началѣ XVIII столѣтія его прадѣдъ Акимъ Никитичъ былъ „съ приписью подьячій“ керенской канцеляріи воеводскаго правленія, жалованъ указомъ Петра Великаго въ 1723 г. помѣстнымъ окладомъ „ста шестидесятью четвертями“.

Будучи шестнадцати лѣтъ, моя матушка родила меня 13-го апрѣля 1818 г., а когда мнѣ минуло только что пять лѣтъ, я остался при ней сиротою. Вотъ что значится въ ея записной книжкѣ, которую я берегу вмѣстѣ съ ея письмами: „Первое свое замужество — въ 1816 г. ноября 8-го дня. Жила съ мужемъ шесть лѣтъ и шесть мѣсяцевъ и двадцать пять дней, то-есть, онъ скончался 1823 года іюня 3-го числа, и съ тѣхъ поръ-то веду дни бѣдственные“.

Мнѣ очень хотѣлось бы покороче ознакомить васъ, во-пер-

выхъ, съ чертами лица и вообще съ наружностью моей матушки и, во-вторыхъ, съ ея характеромъ; но ни того ни другого сдѣлать не могу, какъ слѣдуетъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ себя чувствовать, мы жили съ ней одною жизнію, совокупно радовались однѣми и тѣми же радостями, горевали въ однѣхъ и тѣхъ же печаляхъ, однообразно проводили день за днемъ въ тѣхъ же привычкахъ, и потому я не могъ сознательно отрѣшиться отъ этого нераздѣльнаго существованія и сдѣлать мою матушку предметомъ для своихъ наблюденій. Иное дѣло — казеннокоштные студенты, мои товарищи по номеру, которыхъ я могъ характеризовать вамъ подробно: тутъ было мнѣ въ глаза новизною, непривычныя впечатлѣнія останавливали на себѣ мое вниманіе и изощряли во мнѣ наблюдательность, а потомъ въ продолженіе многолѣтнихъ сношеній и знакомства съ этими товарищами и друзьями они окрѣпли и глубоко врѣзались въ памяти, какъ готовый матеріалъ для воображенія. Что касается до моей матушки, то я жилъ съ нею вмѣстѣ только до шестнадцати-лѣтняго моего возраста, да еще потомъ провелъ съ ней одинъ мѣсяцъ въ Москвѣ, куда она пріѣзжала зимою навѣстить меня, когда я былъ уже на второмъ курсѣ. Послѣ этого я уже не видалъ ее: она скончалась въ 1836 г., тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду. Обо всемъ этомъ я разскажу вамъ подробно, гдѣ слѣдуетъ.

Моя матушка была высокаго роста, тѣлосложенія крѣпкаго, ни худа, ни полна. Портрета отъ нея не осталось. Какъ ни стараюсь, рѣшительно не могу въ своемъ воображеніи представить ея лицо въ полной совокупности его очертаній; вѣроятно, и прежде никогда не могъ я этого сдѣлать. Впрочемъ, нѣкоторыя подробности ея физіономіи иной разъ мелькнутъ въ моей памяти, и затѣмъ мерещутся, будто смутныя фигуры въ потемкахъ.

Лобъ у ней былъ, кажется, широкій, но какіе были глаза — совсѣмъ не помню, голубые или сѣрые, а носикъ — хорошо помню — былъ немножко вздернутъ, что придавало ей на мой взглядъ особую грацію. Губки были прехорошенькія. Но что особенно рисуется въ моемъ воображеніи, такъ это ея длинные и густые русые волосы. Она заплетала ихъ въ двѣ толстыя косы и накладывала ихъ себѣ на голову въ видѣ вѣнка. Она была блондинка и, какъ я хорошо помню, гадала о себѣ въ картахъ на бубновую даму.

Когда я зажмурю глаза, эти отдѣльныя черты, каждая по себѣ, разсыпаются врознь, мелькая передо мною, какъ звѣздочки

въ небѣ, и никакъ не хотятъ собраться вмѣстѣ, чтобы слиться въ одно цѣльное и полное представленіе дорогого мнѣ образа. Здоровья она была необыкновенно крѣпкаго, „гигантскаго и неизносимаго“, какъ она сама о себѣ говорила. Она не знала усталости и не остерегалась ни холода, ни даже мороза. Въ зимнее время она выходила наружу, не набросивъ ничего на свое платье, не покрывъ головы и не надѣвши теплыхъ сапогъ на легкія туфли, и такъ перебѣгала по снѣжному двору во флигель или по хозяйству въ кухню, а то и въ амбаръ. Въ лѣтніе жары, когда все живое изнемогаетъ отъ духоты, она любила прохлаждаться въ погребѣ, сидя съ какимъ-нибудь рукодѣльемъ на одной изъ ступеней лѣстницы, спускающейся въ яму. Съ крѣпкимъ здоровьемъ въ ней соединялась физическая сила. Она любила ухаживать за опасно больными, безъ сна проводить у ихъ изголовья цѣлыя ночи, поворачивать и поднимать ихъ. Когда мнѣ было шесть и даже семь лѣтъ, она носила и держала меня на рукахъ подолгу, если это оказывалось почему-либо нужнымъ.

Говорить вообще о ея характерѣ и объ умственныхъ и нравственныхъ ея качествахъ я не буду изъ опасенія, чтобы не дать вамъ повода заподозрить мои слова въ пристрастіи сыновней любви. Обо всемъ этомъ можете судить сами изъ подробностей повѣствованія, къ которому теперь и возвращаюсь послѣ этого краткаго эпизода.

Мы остановились на кончинѣ моего отца, о которой вы узнали изъ словъ моей матушки въ ея записной книжкѣ. Онъ опасно занемогъ еще въ Керенскѣ и для излѣченія былъ переведенъ въ Пензу, гдѣ мѣсяца черезъ два и померъ. Моя матушка не могла уже воротиться на житье въ Керенскъ, гдѣ была она такъ счастлива съ своимъ мужемъ, и съ тѣхъ поръ навсегда водворилась въ Пензѣ, въ которой прежде не бывала ни разу.

Вскорѣ купила она себѣ домъ на высокомъ, крутомъ берегу рѣки Пензы, въ гористой мѣстности, на вершинѣ которой разстилается городская площадь съ соборомъ, съ присутственными мѣстами, съ гимназіею, съ семинаріею, дворянскимъ собраніемъ и театромъ, принадлежавшимъ тогда нѣкоему Гладкову, а также съ казенными зданіями для губернатора и архіерея. За площадью черезъ нѣсколько домовъ поднималась широкимъ гребнемъ старая березовая роща, которая называлась тогда „гуляньемъ“. Отъ рощи гора понижается крутыми спусками, покрытыми кустарникомъ, которые ниспадаютъ на широкую и далекую равнину съ лугами и нивами. Съ этой низменности

направо отъ „гулянья“ поднимается церковь Боголюбской Божіей Матери при кладбищѣ, на которомъ покоится прахъ моего отца.

Крутой берегъ, на которомъ стоялъ нашъ домъ, направо идетъ въ городъ къ городской площади, а налѣво постепенно спускается на разстояніи домовъ двадцати пяти и, наконецъ, ниспадаетъ до уровня воды широкою песчаною полосою тамъ, гдѣ у послѣдняго дома рѣка круто поворачиваетъ налѣво. Дома черезъ четыре внизъ отъ нашего, перекинутъ мостъ черезъ рѣку съ этой нагорной стороны на низменную, прямо къ нашей приходской церкви Казанской Божіей Матери. Не знаю, какъ теперь, но въ мое время тамъ вразсыпную торчали кое-гдѣ вдоль берега только убогія лачуги съ огородами, а за ними далеко и широко простиралась песчаная низменность, которая въ весенній разливъ вся покрывалась водою.

Нашъ домъ былъ съ мезониномъ и выходилъ къ набережной палисадникомъ, въ которомъ были разбиты между клумбами цвѣтовъ дорожки, покрытыя пескомъ; вдоль рѣшетчатаго забора поднимались невысокіе кусты сирени и воздушнаго жасмина. Передняя часть дома состояла изъ залы и гостиной, которая для насъ съ матушкой была вмѣстѣ и кабинетомъ, гдѣ мы оба читали какую-нибудь книгу или я училъ уроки, а она что-нибудь работала.

Въ то время бумажныхъ обоевъ еще не было въ употребленіи, и стѣны этой комнаты были покрыты темнолазуревой краской, а бѣлый потолокъ разрисованъ гирляндами и букетами изъ тюльпановъ, розъ и всякихъ другихъ цвѣтовъ.

У стѣны, отдѣляющей гостиную отъ залы, стоялъ диванъ, а передъ нимъ круглый столъ. Надъ диваномъ висѣли въ рамкахъ подъ стекломъ двѣ небольшія гравюры, одна подъ другой. Верхняя, поменьше, должна была изображать Наполеона I на островѣ Святой Елены, хотя самого императора на ней не было видно. Былъ только представленъ высокій беретъ надъ моремъ, налѣво роща, переднее дерево которой рѣзко вырисовывалось по бѣлому фону причудливыми изгибами своего ствола и сучковъ. Рядомъ съ этимъ деревомъ, немного отступя, стояло тоже искривленное деревцо, немного пониже. Вотъ и все. Вамъ говорятъ, что это Наполеонъ на островѣ Святой Елены, а вы его не видите и до тѣхъ поръ не найдете, пока вамъ не укажутъ на бѣлую полосу бумаги, очерченную извилистыми линіями обоихъ деревъ. Тогда вмѣсто полосы пустого пространства вы увидите бѣлую мраморную статую самого императора, стоящаго

бокомъ, съ античнымъ профилемъ его лица, въ треугольной шляпѣ и мундирѣ: онъ стоитъ, по своему обычаю, скрестивъ руки на груди. И когда вы разгадаете этотъ фокусъ, вы уже всегда будете видѣть между двумя деревьями не пустое пространство, а мраморную статую, въ формѣ силуэта.

Да, и въ ту пору для насъ съ матушкой „онъ былъ властитель нашихъ думъ“.

Нижняя гравюра была побольше и значительно длиннѣе въ ширину; на ней въ трехъ кругахъ было изображено по портрету: на одной сторонѣ поясной портретъ императора Николая Павловича, на другой — императрицы Александры Ѳеодоровны, а между ними въ серединѣ — цесаревича наслѣдника Александра Николаевича, семи лѣтъ отъ роду, въ курточкѣ и съ отложнымъ и очень широкимъ полотнянымъ воротникомъ. Отъ матушки я уже зналъ тогда, что онъ мнѣ ровесникъ, что родился въ томъ же году и въ томъ же мѣсяцѣ, какъ и я, только четырьмя днями моложе меня. „Гляди на него, мой дружокъ (она любила называть меня такъ): онъ вѣдь будетъ твоимъ царемъ“.

Спустя многіе десятки лѣтъ, черезъ цѣлое полстолѣтіе, въ скорбные дни, послѣдовавшіе за 1-мъ числомъ марта 1881 года, — не знаю, какими судьбами вдругъ воскресла въ моей памяти эта гравюра съ тремя портретами, давнымъ давно забытая мною, и свѣтлый образъ милаго мальчика съ добрыми, привѣтливыми глазками не переставалъ носиться въ моемъ воображеніи, будто утѣшая меня и озаряя своимъ присутствіемъ мои мрачныя, горькія думы.

Особенно помнится мнѣ угольное окно нашей гостиной. Подолгу сиживали мы у него съ матушкой другъ противъ друга. Она повѣряла мнѣ свои заботы и планы, свои надежды и опасенія, свои горькія печали и немногія радости, которыя рѣдко выпадали на ея долю послѣ того, какъ она лишилась моего отца. Эти дружескія бесѣды сливаются въ моихъ воспоминаніяхъ съ широкою панорамою, которая изъ окна передъ нами разстилалась. Направо верхняя часть города своими спусками круто ниспадала къ самой рѣкѣ, а налѣво за рѣкою поднимались холмы, покрытые темною зеленью дремучаго сосноваго бора. Передъ окномъ изъ-подъ крутого берега тянулась широкая и далекая равнина. На ней на разстояніи версты отъ города съ лѣвой стороны виднѣлась роща, передъ которой бѣлѣла церковь Всѣхъ Святыхъ съ городскимъ кладбищемъ; направо же, верстъ на двѣнадцать по небосклону, тянулась гора, при подошвѣ ко-

торой стояло село Валяевка, куда ходили на богомолье к источнику святой воды.

Вдоль задней стороны дома тянулась крытая галерея с крыльцомъ. Передъ ней на дворѣ стояли рядомъ амбаръ с сусѣками для овса, крупы и всякаго другого снадобья, сара съ сѣноваломъ наверху и конюшня, а при ней собачья конур съ большимъ чернымъ псомъ, Барбосомъ, или — какъ его обы кновенно кликали — Барбоскою. По другую сторону двора образуя прямой уголъ съ этими строеніями, стояли кухня, фли гель и у самыхъ воротъ погребъ. Небольшое пространств между погребомъ и флигелемъ, покрытое кровлею, предназна чалось для курятника.

Въ самомъ углу, который приходился прямо противъ воротъ былъ входъ въ садъ съ разными фруктовыми деревьями. Отлог спускался онъ внизъ къ длинной полосѣ огорода съ попере ными грядами капусты, огурцовъ и всякой другой зелени Тамъ же внизу была построена баня.

У матушки, по наслѣдству отъ ея отца, а моего дѣда, был крѣпостная дворня. Овдовѣвъ, осталась она съ хорошими сред ствами, которыя не только обезпечивали ея существованіе, н и давали возможность располагать удобствами жизни.

Самыя раннія мои воспоминанія относятся ко времени, когд мы поселились въ нашемъ пензенскомъ домѣ. Прежде всег возникаетъ передо мною глубоко врѣзавшееся въ моей памят событіе, которое поразило меня ужасомъ и нестерпимою жа лостью. Это было утромъ послѣ обѣдни въ день Свѣтлаг Христова Воскресенія. Матушки не было дома; я ждалъ е въ гостиной. Вдругъ слышу говоръ, шумъ и суетню, и вслѣд за тѣмъ опрометью вбѣгаетъ матушка, хватаетъ меня въ объят и прижимаетъ къ своему окровавленному лицу. Вотъ тольк этотъ одинъ моментъ, ошеломившій меня, какъ ударъ грома и застрялъ въ моей памяти. Не будь его, я бы давно забыл и не разсказалъ бы вамъ о благочестивомъ обычаѣ, которы въ день Пасхи справляла моя матушка, въ первые года своег вдовства. Послѣ обѣдни она отправлялась въ острогъ христо соваться съ колодниками и одѣлять ихъ кусками кулича пасхи. На этотъ разъ между заключенными былъ одинъ сума сшедшій. Онъ сидѣлъ въ особой каморкѣ. Въ порывѣ востор женнаго состоянія духа моя матушка непремѣнно должна был похристосоваться и съ нимъ, вѣруя и надѣясь, что благовѣсті о воскресеніи Христа и въ этомъ безумномъ воскресить осто

бѣнѣлыя его мысли и просвѣтитъ померкшій разсудокъ; но безумный стремглавъ бросился къ ней и укусилъ ее въ щеку.

Къ этому же далекому времени относится и другое событіе, но оно не промелькнуло передо мною однимъ мгновеніемъ, а протянулось въ моей памяти длиннымъ слѣдомъ томительной и жуткой боязни. Съ ранней молодости у моей матушки была горячо любимая ею подруга, которая потомъ вышла замужъ за городничаго въ уѣздномъ городѣ, отъ Пензы верстахъ въ сорока, именно въ Мокшанѣ. Передъ самымъ началомъ весенней оттепели, послѣ трудныхъ родовъ, она опасно захворала и вызвала мою матушку къ себѣ. Рѣшительно не помню, какъ мы попали въ Мокшанъ, долго ли моя матушка ухаживала за своею больною подругой и какъ на ея рукахъ она и скончалась. На другой или на третій день послѣ ея похоронъ матушка рѣшила почему-то немедленно же оставить домъ городничаго и вернуться въ Пензу, несмотря на весенній разливъ Суры и впадающей въ нее рѣки Пензы, который теперь отдѣлялъ Мокшанъ отъ нашего дома.

Въ Мокшанъ мы пріѣхали на саняхъ, а оттуда отправились на колесахъ въ тарантасѣ. Путь шелъ большою дорогою по песчаной низменности, на которую спустился сосновый лѣсъ съ тѣхъ темно-зеленыхъ холмовъ, которые — помните — виднѣлись изъ угольнаго окна нашей гостиной. Передъ нами прямо тянулась столбовая дорога, которая вдали превращалась въ каналъ, а по обѣимъ сторонамъ его вмѣсто береговъ поднимался сосновый лѣсъ. Сначала мы ѣхали по грязи и по мокрому песку и вскорѣ затѣмъ по водѣ, въ которую мало-по-малу сталъ погружаться нашъ экипажъ; она покрыла уже и ступицы колесъ, но не успѣла еще подняться до кузова, какъ мы подъѣхали къ платформѣ, пристроенной къ какому-то домику, стоящему — какъ сейчасъ вижу — на правой сторонѣ затопленной разливомъ дороги. У платформы стояла большая лодка съ нѣсколькими гребцами; мы перебрались въ нее со всѣмъ нашимъ багажомъ и тронулись съ мѣста. По мѣрѣ того какъ уровень дна спускался ниже, разливъ становился все глубже и глубже. Сначала мы измѣряли его верстовыми столбами. Вотъ высунулся изъ воды одинъ только наполовину, а слѣдующій затѣмъ торчалъ ужъ одной верхушкой, будто кочка. Теперь пришлось соображаться только съ высокими стволами деревъ этой необычайной аллеи; но и стволы, чѣмъ дальше впередъ, тѣмъ глубже и глубже тонули въ водѣ. Наконецъ, дорога съузилась

отъ торчащихъ съ обѣихъ сторонъ сучьевъ сосноваго лѣса. Надобно было держаться по самой серединѣ, чтобы лодка не задѣла сучокъ и не опрокинулась. Тутъ еще легко можно было справиться, покамѣстъ слѣды нашей аллеи обозначались по обѣимъ сторонамъ хотя бы маленькими зелеными вѣтками сосновыхъ верхушекъ. Но и онѣ потонули, и гребцамъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ приходилось такъ направлять нашу лодку, чтобы она не наткнулась на невидимый подъ водою сучокъ и не перевернулась вверхъ дномъ. Однако мы еще не спаслись отъ всѣхъ бѣдъ опаснаго плаванія; самая большая ожидала насъ далѣе. Передъ нами разстилалась гладкая, какъ зеркало, равнина широкаго разлива, но не въ далекомъ разстояніи по ней поперекъ перекинулась широкая волнистая полоса бураго цвѣта. Это былъ слѣдъ, отмѣченный русломъ бурливой рѣки на поверхности стоячей воды разлива. Когда мы стали приближаться къ этой полосѣ, намъ казалось, что мы направляемся по прозрачному хрустальному берегу къ водовороту мчащагося впередъ потока. Чтобы безопасно перебраться черезъ него, надобно было умѣючи попасть въ него и умѣючи изъ него выбраться: нельзя было направить лодку ни подъ прямымъ угломъ, ни подъ слишкомъ косымъ; въ томъ и другомъ случаѣ она непремѣнно перекувыркнулась бы. Но пензенскіе лодочники были мастера своего дѣла, и мы благополучно спустились въ шипучій водоворотъ, понеслись по волнамъ потока и долго не могли изъ него выбраться: это гораздо опаснѣе и труднѣе, чѣмъ попасть въ него. Тутъ нужна ловкая сноровка, пріобрѣтаемая опытностью и привычкою, и, благодаря Бога, мы успѣшно проскользнули на другую сторону.

На всѣ эти подробности моихъ смутныхъ и тоскливыхъ впечатлѣній, вѣроятно, наводила мое вниманіе матушка, соображаясь съ веселою болтовнею лодочниковъ, которые привыкли неустрашимо бороться съ опасностями водной стихіи.

Да, въ характерѣ моей матушки твердая рѣшимость соединялась съ геройскою отвагою ея отца, суворовскаго солдата, который переходилъ въ альпійскихъ горахъ черезъ Чортовъ мостъ.

Лѣтомъ 1825 года проѣзжалъ черезъ Пензу императоръ Александръ Павловичъ. Его ждали въ соборѣ. День клонился къ вечеру. На площади толпилась сплошная масса простонародья и поднималась вверхъ по длиннымъ ступенямъ широкой и высокой лѣстницы, ведущей къ южнымъ вратамъ собора.

Отсюда долженъ былъ войти государь. Начинало уже смеркаться, а собравшуюся въ церкви такую же сплошную толпу нарядныхъ дамъ и мужчинъ въ парадной формѣ ярко освѣщали зажженныя паникадила, лампады и свѣчи. Тутъ были и мы съ матушкой. Она держала меня на рукахъ. Когда государь вошелъ въ соборъ, она въ сумятицѣ разступившейся передъ нимъ публики приноровилась такъ, что мы очутились впереди, и онъ близехонько прошелъ около насъ.

Въ томъ же году зимою мы были съ матушкой свидѣтелями другой церемоніи, которая своей мрачной безотрадностью составляла рѣзкій контрастъ съ этимъ свѣтлымъ торжествомъ. Дѣло было ночью. На площади, тоже у собора, только съ сѣверной его стороны, а не съ южной, тоже собрался народъ, но не сплошною толпою, какъ тогда, а кучками врозь, которыя тихо двигались изъ стороны въ сторону, медленно подходили къ церкви и отступали назадъ. При свѣтѣ луны на бѣломъ снѣгу и у бѣлой стѣны собора поднималась громадная черная колесница безъ лошадей, подъ чернымъ же балдахиномъ; на колесницѣ стоялъ саркофагъ, въ саркофагѣ былъ гробъ, а въ гробу — усопшій императоръ Александръ Павловичъ. Вотъ какъ онъ возвращался съ далекаго юга въ свою сѣверную столицу черезъ Пензу, гдѣ недавно встрѣчали его въ радостномъ ликованіи.

Вокругъ печальной колесницы стояли карауломъ дежурные генералы и офицеры. Между ними находился тогда молодой тридцати-лѣтній флигель-адъютантъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ, бывшій впослѣдствіи попечителемъ московскаго университета.

Около этого времени матушка моя сблизилась и вскорѣ подружилась съ Марьей Алексѣевною Лебедевой, матерью Кастора Никифоровича, о которомъ я уже не разъ говорилъ вамъ. Главною причиной этого сближенія, я полагаю, было желаніе матушки отдать меня въ приготовительную школу, которую содержала Лебедева для приходящихъ дѣвочекъ, изъ зажиточныхъ семействъ города. Въ этой школѣ и я былъ приходящимъ и учился въ ней до 1828 года, когда 10 лѣтъ отъ роду поступилъ въ I классъ пензенской гимназіи.

Марья Алексѣевна была вдова, годами десятью старше моей матушки, и по тогдашнему времени довольно образована, т.-е. говорила по-французски и играла на фортепьянахъ. Черезъ нее матушка познакомилась съ моимъ вотчимомъ и, вѣроятно, при

ея же посредствѣ вышла за него замужъ въ 1825 году, всего двадцати трехъ лѣтъ отъ роду; въ 1826 году у ней родилась дочь Софья, а въ 1827 — другая дочь, Серафима. Первая была брюнетка и похожа на своего отца, вторая же уродилась въ матушку — блондинкою. Ихъ обѣихъ я очень любилъ, особенно послѣднюю. Давно уже скончались онѣ, еще въ царствованіе Николая I.

Первые года вторичнаго замужества моей матушки остались у меня въ туманѣ. Кажется, мой вотчимъ ласкалъ меня; по крайней мѣрѣ, я не помню, чтобы онъ чѣмъ-нибудь меня обидѣлъ или оскорбилъ. Впрочемъ, въ моихъ воспоминаніяхъ о немъ ничего не осталось яснаго и опредѣленнаго до той поры, когда его дурное поведеніе, доходившее до возмутительнаго безчинства, повергло матушку въ бездну несчастій.

У меня не хватаетъ духу входить въ подробности нашего бѣдственнаго положенія. Мнѣ самому становится до крайности стыдно при одномъ о нихъ воспоминаніи и оскорбительно для памяти моей матушки. Вотчимъ не только пьянствовалъ, пропадалъ по цѣлымъ недѣлямъ и возвращался домой какъ бѣшеный, но и въ конецъ разорилъ состояніе моей матушки.

Ничто такъ не скрѣпляетъ дружбу, какъ страданіе вдвоемъ, и въ это скорбное, безнадежное время я сталъ для матушки не только горячо любящимъ сыномъ, но и задушевнымъ искреннимъ другомъ, съ которымъ она вмѣстѣ страдала и проливала горькія слезы.

Несчастіе сильно способствуетъ развитію дѣтей. Будучи только двѣнадцати лѣтъ, я уже чувствовалъ и поступалъ какъ взрослый, когда дѣло касалось моей злополучной матери. Однажды, зимою 1829 и 1830 годовъ, вотчимъ пропадалъ безъ вѣсти недѣли двѣ, если не больше. Въ это время матушка родила мнѣ сестрицу Надю. Дѣвочка была хворенькая; ее надобно было поскорѣе окрестить; я былъ ея крестнымъ отцомъ. Къ вечеру она скончалась, а на другой день вмѣстѣ съ моей нянькой мы повезли ее хоронить на кладбищѣ у той церкви Всѣхъ Святыхъ, что виднѣлась изъ окна нашей гостиной. Живо помню, какъ мы съ нянькой проѣзжали далекую снѣжную равнину по ухабистой дорогѣ, старательно придерживая на колѣняхъ маленькій гробикъ, чтобы онъ при ухабѣ какъ-нибудь не выскользнулъ изъ нашихъ рукъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1830 года Пензу постигла небывалая еще въ Россіи страшная болѣзнь — холера. Мой вотчимъ про-

должалъ вести свою разгульную жизнь и попрежнему пропадалъ изъ дому. Однажды утромъ привезли его къ намъ зараженнаго холерою. Онъ едва держался на ногахъ; какъ сейчасъ вижу его посинѣлое лицо, обезображенное судорогами. Тотчасъ же его перенесли на кровать, а меня матушка немедленно отправила изъ дому гостить въ коротко намъ знакомомъ семействѣ прокурора фонъ-Фриксіуса; сама же осталась одна-одинехонька при умирающемъ, потому что вся прислуга въ испугѣ разбѣжалась изъ дому и попряталась кто въ кухнѣ, кто во флигелѣ, а кто въ сараѣ или въ конюшнѣ. Цѣлыя трое сутокъ тянулась агонія умирающаго, и матушка ухаживала за нимъ безъ посторонней помощи; никто изъ дворовыхъ не осмѣливался ступить ногою въ зараженныя комнаты, и если ей что нужно было вынести, или что̀ взять, она выходила на заднюю галерею и подзывала къ себѣ кого-нибудь изъ прислуги.

Подробностей о томъ, какъ она проводила эти дни и ночи, я отъ нея никогда не слыхалъ, и рѣшительно не могу представить себѣ, какъ доставало ей силъ выносить страшное зрѣлище отвратительныхъ корчъ, обыкновенно сопровождающихъ эту моровую язву, и нестерпимое зловоніе заразительныхъ изверженій. Она покорно и твердо исполняла свой долгъ и во̀время успѣла пригласить священника для напутствованія Святыми Дарами умирающаго, который внушалъ ей теперь только милосердіе и состраданіе.

Озлобленіе и ненависть были чужды ея всепрощающему великодушію, и, признавая моего вотчима виновникомъ ея бѣдствій, она умѣла сохранить безпристрастіе къ его родной сестрѣ, не переставая питать къ ней дружеское и сердечное расположеніе, о чемъ вы сами можете судить изъ приведеннаго выше письма ея къ Елизаветѣ Романовнѣ Верховцевой. Вообще, въ перепискѣ съ ней умѣла она съ простодушіемъ и съ искреннею откровенностью соединять тонкое чувство деликатности, чтобы не нанести оскорбленія, когда рѣчь касалась щекотливыхъ намековъ на ея вторичное замужество.

За годъ до своей кончины и спустя пять лѣтъ по смерти моего вотчима, вотъ что писала она къ его родной сестрѣ, отъ 4 іюня 1835 года:

„Вотъ, моя родная, что сдѣлало мое безразсудное замужество! Оно отняло у меня рѣшительно все: имя, состояніе и даже гигантское, неизносимое бы въ лучшей жизни мое здоровье. Голубушка вы моя, не оскорбила ли я васъ своимъ ропотомъ?

Но благоразуміе ваше — я знаю — такъ велико, что вы не оскорбитесь ропотомъ страдающей женщины".

Тотчасъ же по смерти моего вотчима будто тяжелая гора свалилась у насъ съ плечъ. Наконецъ-то мы съ матушкой дохнули свободно. Правда, мы очутились въ бѣдности, но скудные остатки разореннаго состоянія все же давали намъ возможность кое-какъ пробавляться, не впадая въ крайнюю нищету, отъ которой спасала матушка свою семью разсудительной бережливостью. Въ ея домѣ водворились попрежнему спокойствіе и добропорядочность. Участіе друзей и знакомыхъ радовало ее и подкрѣпляло ея силы къ энергической дѣятельности; къ ней воротилась прежняя ясность бодраго ея нрава; она даже повеселѣла и опять, какъ бывало давно, она сдѣлалась центромъ и душою того маленькаго общества, которое ее окружало.

Изъ нашихъ знакомыхъ остановлю ваше вниманіе только на двухъ семействахъ, именно на Меркушовыхъ и фонъ-Фриксіусахъ, потому что матушка коротко подружилась съ ними не изъ одной лишь пріязни, какъ со всѣми другими, но и въ личныхъ интересахъ моего обученія и вообще образованія.

Семейство Меркушовыхъ состояло изъ матери, вдовы лѣтъ сорока съ небольшимъ, изъ дочери, мнѣ ровесницы, и изъ сына Василія Филипповича, только-что кончившаго курсъ въ казанскомъ университетѣ и состоявшаго тогда учителемъ математики въ нашей гимназіи.

Прокуроръ Карлъ Карловичъ фонъ-Фриксіусъ былъ старикъ лѣтъ 60, имѣлъ жену, четырехъ дочерей, изъ которыхъ младшей было уже лѣтъ 14, и двоихъ взрослыхъ сыновей. Любилъ жить весело, угощалъ хорошими обѣдами и устраивалъ танцовальные вечера. Въ этомъ-то семействѣ гостилъ я, когда мой вотчимъ умиралъ отъ холеры; сюда же на время переселилась и матушка, пока изъ нашего дома выкуривали заразу какими-то ядовитыми зельями. Одна изъ дочерей фонъ-Фриксіуса, Анна Карловна, вышла замужъ за Александра Христофоровича Зоммера, учителя нѣмецкаго языка въ нашей гимназіи, и оставалась навсегда одною изъ лучшихъ пріятельницъ моей матушки.

Такимъ образомъ матушка сблизилась и подружилась съ двумя преподавателями гимназіи, гдѣ учился ея сынъ.

VI.

Гимназическій курсъ продолжался тогда только четыре года и состоялъ изъ четырехъ классовъ, съ тремя уроками въ день,

по два часа на каждый изъ нихъ, всего шесть часовъ; два урока до обѣда съ 8-ми часовъ утра и до 12-ти и одинъ послѣ обѣда, съ 2-хъ до 4-хъ.

Я поступилъ въ гимназію десяти лѣтъ, въ 1828 году и оставался въ первомъ классѣ два года, а окончилъ курсъ пятнадцати лѣтъ, въ 1833 году. Тогда принимали учащихся въ университетъ не моложе шестнадцатилѣтняго возраста, и мнѣ пришлось по окончаніи курса пробыть въ Пензѣ цѣлый годъ, что принесло мнѣ великую пользу, давъ мнѣ возможность пополнить пробѣлы гимназическаго обученія и приготовиться къ университетскому экзамену.

Мы жили близехонько отъ гимназіи: итти обыкновенной ходьбою — какихъ-нибудь минутъ пять, а если бѣжать, какъ переносятся съ мѣста на мѣсто гимназисты, — будетъ не больше двухъ минутъ. Это каменное двухъэтажное зданіе, теперь занятое, кажется, уѣзднымъ училищемъ, стоитъ на углу не разъ уже упомянутой мною городской площади и Троицкой улицы, насупротивъ семинаріи, которая стоитъ тоже на углу этой же площади и отлогаго спуска къ крутому берегу, гдѣ былъ нашъ домъ.

Входъ въ гимназію посреди фасада, обращеннаго на площадь, по нѣсколькимъ ступенямъ вводилъ въ длинный коридоръ, раздѣлявшій зданіе на двѣ половины: тотчасъ же на лѣво была дверь въ первый классъ съ окнами на площадь, а изъ него дверь во второй съ окнами на задній дворъ. Надъ этими классами по тому же плану въ верхнемъ этажѣ были размѣщены третій и четвертый, также соединенные дверью. Правая сторона зданія внизу была занята двумя квартирами для учителей гимназіи: въ обращенной на площадь жилъ Меркушовъ, а въ задней — Зоммеръ. Надъ ними въ верхнемъ этажѣ была актовая зала съ библіотекой и физическимъ кабинетомъ.

Нашъ директоръ, Григорій Абрамовичъ Протопоповъ, человѣкъ пожилой, приземистый и коренастый, бывшій прежде преподавателемъ математики въ казанскомъ университетѣ, занималъ квартиру не въ гимназіи, а на Московской улицѣ при уѣздномъ училищѣ на дворѣ въ каменномъ флигелѣ, съ большимъ тѣнистымъ садомъ назади, выходившемъ своею стѣною на Троицкую улицу, дома за четыре до гимназіи. На томъ же дворѣ занимала квартиру и Марья Алексѣевна Лебедева со своимъ пансіономъ, куда нѣкогда я ходилъ учиться у нея и у Кастора Никифоровича. Что же касается до уѣзднаго учи-

лища, то оно помѣщалось въ большомъ двухъэтажномъ каменномъ домѣ, выходившемъ на Московскую улицу. Въ этомъ же зданіи были квартиры для преподавателей училища и гимназіи.

Директоръ Григорій Абрамовичъ ежедневно посѣщалъ гимназію, большею частью въ утренніе часы. Онъ шелъ медленнымъ шагомъ съ Московской улицы на площадь, заложивши руки назадъ съ тростію и понуривъ голову, лѣтомъ въ форменномъ фракѣ, а зимой въ зеленой бекешѣ съ енотовымъ воротникомъ, и проходилъ подъ окнами перваго и третьяго классовъ, чтобы подняться на крыльцо гимназіи, такъ что мы всегда знали о его приближеніи, и онъ не могъ застать насъ врасплохъ.

Система гимназическаго обученія согласовалась съ продолжительностью двухчасового урока.

Учителю предоставлялось очень подробно и не спѣша излагать содержаніе каждаго параграфа въ руководствѣ и заставлять учениковъ по нѣскольку разъ пересказывать это изложеніе, такъ что отъ многократнаго повторенія заданный урокъ былъ уже готовъ къ слѣдующему классу безъ затверживанія его на дому. Особенно удавался этотъ методъ въ классахъ математики, логики и риторики. Очень хорошо помню, что мнѣ никогда не приходилось дома готовиться къ урокамъ алгебры и геометріи, и я былъ изъ лучшихъ учениковъ у Василія Филипповича Меркушова. Какой-то учебникъ логики и риторика Кошанскаго были у насъ въ рукахъ только во время класса, и мы шутя заучивали все, что было намъ надобно, со словъ преподавателя этихъ предметовъ, Насона Петровича Евтропова. Въ логикѣ забавляли насъ различные виды силлогизмовъ, и мы любили между собою играть въ сориты, энтилеммы, дилеммы и въ разные софизмы, завязывая и распутывая хитросплетенные узлы умозаключеній. Точно такъ же игрывали мы въ такъ называемыя „общія мѣста“ и въ тропы и фигуры, выдумывая свои собственные примѣры для этихъ терминовъ.

Двухчасовой урокъ давалъ много простора практическимъ упражненіямъ. Въ классахъ французскаго и нѣмецкаго языковъ мы сидѣли больше съ перомъ въ рукѣ, нежели за книгою: то писали подъ диктантъ, то списывали изъ хрестоматіи, то переводили на русскій языкъ. Учитель латинскаго языка прочитывалъ съ грамматическимъ разборомъ нѣсколько строкъ изъ Корнелія Непота или изъ Саллюстія, и сначала мы переводили на словахъ, а вслѣдъ за тѣмъ тутъ же въ классѣ и письменно, и

такимъ образомъ вполнѣ облегчалось намъ приготовленіе заданнаго урока. По-латыни мы не шли дальше этихъ двухъ писателей. Учителя исторіи и словесности также упражняли насъ постоянно въ практическихъ занятіяхъ. Въ урокахъ Знаменскаго (не помню его имени и отчества) мы успѣли прочесть нѣсколько томовъ Исторіи Государства Россійскаго Карамзина: иногда онъ самъ читалъ, но обыкновенно — кто-нибудь изъ учениковъ, а другіе слушали. Вмѣсто исторіи русской словесности, которой впрочемъ тогда вовсе и не существовало въ ученой литературѣ, Евтроповъ читалъ съ нами самъ, или заставлялъ читать кого-нибудь изъ насъ, произведенія писателей, какъ старинныхъ, напримѣръ, Ломоносова, Державина, Фонвизина, такъ и особенно новѣйшихъ, какими тогда были Батюшковъ, Жуковскій, Пушкинъ; очень любили мы и нашъ учитель повѣсти Бестужева (Марлинскаго) за игривость и бойкость слога, испещреннаго цвѣтистыми украшеніями, которыя тогда вовсе не казались намъ вычурными. На гимназической же скамьѣ узнали мы въ первый разъ и Гоголя по его „Вечерамъ на хуторѣ близъ Диканьки“. Эти повѣсти читалъ намъ въ классѣ съ большимъ воодушевленіемъ товарищъ нашъ, Татариновъ; но онѣ мнѣ тогда не понравились, потому ли, что я не умѣлъ войти въ обстановку изображаемаго въ нихъ малорусскаго быта, или же потому, что не понималъ всей прелести совершенно новаго для меня изящнаго ихъ стиля.

Въ ту пору господствовалъ очень хорошій обычай, вызванный и поддерживаемый условіями времени, который много способствовалъ укрѣпленію насъ въ правописаніи и давалъ обильный матеріалъ для выработки нашей рѣчи и слога. Книги были тогда рѣдкостью; онѣ были на перечетъ; книжной лавки въ Пензѣ не находилось, а когда достанешь у кого-нибудь желаемую книгу, дорожишь ею какъ диковинкою и передъ тѣмъ, какъ воротить ее назадъ, непремѣнно для себя сдѣлаешь изъ нея нѣсколько выписокъ, а иногда и цѣлую повѣсть или поэму въ стихахъ, не говоря уже о мелкихъ стихотвореніяхъ, изъ которыхъ мы составляли въ своихъ тетрадкахъ, въ восьмую долю листа, цѣлые сборники. Такимъ образомъ у каждаго изъ насъ была своя рукописная библіотечка.

Эта литературная забава способствовала развитію въ насъ охоты къ сочинительству, которою Евтроповъ умѣлъ пользоваться съ успѣхомъ, постоянно упражняя насъ въ письменныхъ работахъ. Темы для нихъ, разумѣется, онъ давалъ самъ, но

иногда позволялъ намъ брать и свои. Сочиненія эти мы обыкновенно писали въ классѣ, если они небольшого размѣра, а болѣе обстоятельныя изготовляли на дому.

При этомъ не могу умолчать объ одномъ курьезномъ анекдотѣ, чтобы дать вамъ понятіе о простотѣ нравовъ въ учебныхъ заведеніяхъ того далекаго наивнаго времени. Въ четвертомъ классѣ былъ у насъ одинъ товарищъ, по фамиліи Озеровъ, годами двумя старше меня, изъ хорошей дворянской семьи, серьезный и даровитый. Онъ написалъ такое удачное по содержанію и слогу сочиненіе, что Евтроповъ не могъ довольно имъ нахвалиться, и для примѣра и поощренія принесъ и прочелъ его въ классѣ ученицамъ женскаго пансіона госпожи Ломбаръ, въ которомъ онъ давалъ уроки русской словесности. Дѣвицы пришли въ восторгъ и горѣли нетерпѣніемъ взглянуть на автора этого геніальнаго произведенія, а дочка содержательницы пансіона, лѣтъ пятнадцати, учившаяся вмѣстѣ съ другими ученицами, страстно влюбилась въ него заочно. Во что бы то ни стало, а надобно было непремѣнно его увидѣть. Пансіонъ былъ недалеко отъ гимназіи, минутъ пять, много десять, ходьбы. Надобно было такъ устроить послѣобѣденныя ежедневныя прогулки пансіонерокъ мимо гимназіи, чтобы встрѣтить учениковъ, когда они въ четыре часа выходятъ изъ классовъ на улицу. Этотъ планъ удался какъ нельзя лучше, и Озеровъ съ дѣвицею Ломбаръ сдѣлались героемъ и героинею самаго интереснаго для гимназистовъ и пансіонерокъ романа.

Эти прогулки и встрѣчи продолжались очень не долго; вѣроятно, въ пансіонѣ приняты были надлежащія мѣры для обузданія страстей и для успокоенія умовъ. Но въ нашихъ глазахъ небывалый успѣхъ Озерова сдѣлался предметомъ соревнованія и подражанія. Каждому хотѣлось попасть въ герои, и насъ обуяла непреодолимая рьяность сочинительства. Каждый питалъ надежду, что его произведеніе увѣнчается такою же наградой отъ прекрасныхъ цѣнительницъ. У насъ въ классѣ производилось настоящее состязаніе трубадуровъ, и мы наперерывъ рекомендовали свои литературныя способности нашему учителю. И я представилъ ему опытъ своего восторженнаго измышленія, но, къ великому моему оскорбленію, Евтроповъ не только не одобрилъ мое писаніе, но пришелъ въ удивленіе и много издѣвался надо мною, какъ могли мнѣ затесаться въ голову такія трескучія фразы съ пустозвонными эпитетами, невообразимыми метафорами и съ чудовищными гиперболами. Должно быть,

съ излишнемъ усердіи я перехитрилъ самого Бестужева-Марлинскаго и хватилъ черезъ край. Впрочемъ, данный мнѣ наоняй пошелъ мнѣ въ прокъ: я сталъ бережливѣе на красивыя ловечки и осторожнѣе въ ихъ выборѣ.

Однако вліяніе Озерова принесло и свою долю существенной для насъ пользы. Не взирая на очевидную взаимность въ любви, онъ чувствовалъ непреодолимую потребность страдать и терзать себя. Самый лучшій способъ для воспроизведенія надъ собою тихъ опытовъ истязанія онъ нашелъ въ чтеніи Гётева романа: „Страданія молодого Вертера“, разумѣется, въ русскомъ переводѣ, изданномъ въ началѣ нашего столѣтія, въ шестнадцатую долю листа; и всѣ мы, не переставая подражать Озерову, перечитали эту небольшую книжку. Такимъ образомъ, еще будучи гимназистомъ, я познакомился съ этимъ великимъ произведеніемъ Гёте.

Практическій методъ, обусловливаемый двухчасовымъ урокомъ, давалъ много льготы и учителю, и ученикамъ, которая могла бы вести къ полезнымъ результатамъ, если бы не была злоупотребляема.

Большую часть времени въ гимназіи мы проводили сами по себѣ, такъ сказать, по методу взаимнаго обученія, безъ надлежащаго руководствованія и наблюденія со стороны учителей. Мы слушали, что̀ одинъ изъ насъ читалъ, а то и сами читали, каждый про себя, или же что-нибудь списывали, переводили съ иностранныхъ языковъ на русскій, изготовляли свои сочиненія. Между тѣмъ учителя ходили взадъ и впередъ по классу и разговаривали между собою, всегда двое: въ нижнемъ этажѣ — учителя перваго и второго классовъ, а въ верхнемъ — третьяго и четвертаго; внизу обыкновенно избирался для прогуливанія второй классъ, а въ верхнемъ — четвертый. Потому въ обоихъ тихъ классахъ наши оригинальные опыты льготнаго взаимнаго обученія нѣсколько нарушались хотя бы и пассивнымъ надзоромъ находившихся на лицо учителей, которые сновали изъ стороны въ сторону передъ нашими скамейками, впрочемъ, мало обращая на насъ вниманія.

Любопытное исключеніе составлялъ преподаватель физики, минералогіи и ботаники, Нилъ Михайловичъ Филатовъ, человѣкъ очень образованный и довольно богатый помѣщикъ. Искалѣченный и хромоногій, онъ не могъ и думать о военной карьерѣ, которой обыкновенно предназначали себя тогдашніе молодые люди изъ зажиточныхъ дворянъ, но, желая получить чинъ по

выходѣ изъ университета, искалъ себѣ какую-нибудь приличную и при томъ самую легкую службу, и не нашелъ себѣ ничего лучшаго, какъ быть учителемъ гимназіи. Онъ былъ очень добръ и ласковъ съ нами, и мы любили его. По своей искалѣченности, онъ не могъ забавляться прогулками по классу съ своими товарищами и былъ принужденъ сидѣть за учительскимъ столомъ передъ нашими скамейками. Впрочемъ, онъ нисколько не мѣшалъ нашему взаимному обученію, потому что постоянно былъ углубленъ въ чтеніе французскихъ романовъ. Для нашего развлеченія онъ позволялъ намъ разсматривать разныя породы минераловъ, или же дѣлать физическіе опыты при помощи снарядовъ и машинъ, которые тогда приносились въ нашъ классъ. Отъ уроковъ естественной исторіи остались у меня въ памяти только одни разрозненные термины, безъ всякаго смысла тогда задолбленные: изломъ кварца, поляризація призмы, явнобрачныя и тайнобрачныя растенія и т. п. Впрочемъ, самое главное о ботаникѣ сообщу вамъ потомъ, когда буду разсказывать о нашихъ забавахъ, увеселеніяхъ и загородныхъ прогулкахъ.

Долгъ справедливости заставляетъ меня присовокупить, что изъ числа нашихъ учителей были двое такихъ, которые въ теченіе всего двухчасового урока ни на минуту не оставляли насъ безъ своего внимательнаго надзора и строго исполняли свои обязанности, а именно: во-первыхъ, Зоммеръ, неукоснительно соблюдавшій во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ врожденную его натурѣ нѣмецкую аккуратность, и, во-вторыхъ, законоучитель, который, безъ сомнѣнія, находилъ неприличнымъ достоинству своего духовнаго званія неумѣстное праздношатаніе взадъ и впередъ по классу.

Рѣшительно не понимаю, какъ могло случаться, что директоръ, являясь въ гимназію, ни разу не заставалъ насъ врасплохъ. Только что появится онъ у насъ передъ окнами, тотчасъ же по всѣмъ классамъ разносится осторожный шопотъ: „Григорій Абрамовичъ! Григорій Абрамовичъ!“ Учителя опрометью спѣшатъ, каждый на свое мѣсто, ученики наскоро убираютъ со столовъ всякій свой хламъ и чинно разсаживаются, насторживъ глаза и уши. Директоръ, разумѣется, находитъ все въ надлежащемъ порядкѣ, послушаетъ немножко учителя, у когонибудь изъ насъ заглянетъ въ книгу или въ тетрадку, одного погладитъ по головкѣ, а другому для отрастки дастъ выговоръ. Тѣмъ дѣло и кончалось. Директоръ, уходитъ, и мы, ученики и учителя, опять принимаемся за свое.

Въ моей памяти живо сохраняются слѣды впечатлѣній, которыя ежедневно были производимы на насъ такими комическими сценами. Мы видѣли и понимали укрывательство и фальшь нашихъ наставниковъ, но не замѣчали ничего предосудительнаго въ ихъ поступкахъ, ничего такого, что̀ могло бы въ нашихъ глазахъ унизить ихъ достоинство. Все это намъ нравилось и насъ забавляло; мы даже еще больше любили своихъ учителей, видя въ нихъ удобныхъ сообщниковъ нашего веселаго времяпровожденія въ классѣ, и тѣмъ охотнѣе и услужливѣе помогали имъ при каждомъ непріятельскомъ нашествіи, нарушавшемъ ровное теченіе нашихъ гимназическихъ порядковъ.

И какъ же мы любили свою милую гимназію! Въ „неурочное“ время, то-есть, когда не сидѣли мы смирно на скамьяхъ передъ учителемъ, считали мы ее своею собственностью, которую никто и не думалъ отнимать у насъ, потому что тогда еще не было ни классныхъ надзирателей и наблюдателей, ни инспекторовъ, ни всякой другой напасти. Было только всего два служителя изъ солдатъ, по одному на каждый этажъ, но это были свои люди, они намъ мирволили, хорошо разумѣя, въ простотѣ сердца, что „вольному воля“: пускай, дескать, ребятки тѣшатся. Въ стѣны гимназіи манили насъ рѣзвыя наши сходбища для игръ и забавъ; тутъ же былъ сборный пунктъ, откуда направлялись наши увеселительныя похожденія.

Рано поутру, никакъ не позже семи часовъ, вскакивали мы съ постели и, наскоро снарядившись, спѣшили въ гимназію учиться и по малой мѣрѣ за полчаса до начала уроковъ были уже почти въ полномъ сборѣ. Надобно вамъ знать, что тогда не было у̀ насъ въ Пензѣ обычая рано поутру поить дѣтей чаемъ, да и некому было этимъ распорядиться, потому что старшіе въ домѣ еще не вставали. Для утоленія нашего голода каждому изъ насъ наканунѣ выдавали они по мѣдному грошу. Подбѣгая къ гимназіи, мы покупали себѣ по довольно объемистой булкѣ у старухи, которая тутъ же у крыльца ждала насъ съ своей коробьею, наполненной этимъ снадобьемъ, и затѣмъ размѣщались по классамъ. Такимъ образомъ каждый учебный день начинался у насъ товарищескою трапезой.

Черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ живо припомнилась мнѣ эта пензенская старушка, когда въ первый разъ посѣтилъ я лейпцигскій университетъ, въ 1839 году. Проходя по длинному коридору, ведущему въ аудиторію, я увидѣлъ такую же услужливую старушку, но уже нѣмку, въ чепчикѣ съ широ-

кими оборками, которая у прилавка кормила студентовъ бутербродами.

По мѣрѣ того, какъ мы, переходя изъ класса въ классъ, возрастали и развивались физически и нравственно, мѣнялись и наши игры и забавы, улучшались и облагораживались, постепенно переходя отъ буйной отваги и задорныхъ шалостей къ безобидному веселью и къ пріятному препровожденію времени.

Въ нижнемъ этажѣ гимназіи постоянно господствовало воинственное настроеніе духа, вызванное и постоянно поддерживаемое непримиримой враждою между первымъ и вторымъ классами; разъ объявленная война никогда не прекращалась. Образцомъ военныхъ дѣйствій служили для насъ кулачные бои, которые по зимамъ въ праздники затѣвались у слободскихъ мужиковъ на ледяной поверхности рѣки Пензы. Мы всегда присутствовали на этихъ доморощенныхъ турнирахъ и восхищались молодечествомъ удалыхъ бойцовъ; но особенно интересовали насъ ряды храбрыхъ мальчишекъ, которые съ крикомъ и гамомъ геройски предшествовали каждой изъ двухъ вступающихъ въ бой армій. Мы рѣшительно завидовали этимъ маленькимъ героямъ, присматривались къ ихъ ухваткамъ и размахамъ и горѣли нетерпѣніемъ подражать имъ. Это была хорошая школа для нашихъ военныхъ экзерцицій. Поприщемъ нашихъ непріятельскихъ стычекъ были двери, которыя соединяютъ и вмѣстѣ раздѣляютъ оба класса. Мы настолько знали исторію Греціи, что прозвали этотъ проходъ нашими Ѳермопилами. Изъ подробностей нашихъ подвиговъ застряла въ моей памяти одна, довольно характеристическая. Когда въ пылу сраженія отъ натиска враговъ иной разъ становилось намъ плохо, насъ выручалъ изъ бѣды одинъ изъ нашихъ ратниковъ, который пускалъ тогда въ дѣло изобрѣтенный имъ самимъ метательный снарядъ. Этотъ искусный метальщикъ, по фамиліи Бѣляевъ, маленькій и юркій, до поры до времени прятался въ толпѣ, но лишь наставала опасность — откуда ни возьмется и очутится впереди, мгновенно прижметъ указательнымъ перстомъ правой руки правую ноздрю своего носа, а изъ лѣвой въ тотъ же моментъ стрѣльнетъ густымъ потокомъ прямо въ лицо надменному предводителю враговъ и залѣпитъ ему глаза. Пользуясь наступившею затѣмъ минутою смятенія въ непріятельскихъ рядахъ, мы вламываемся въ Ѳермопильское ущелье и побѣдоносно вступаемъ въ завоеванное наше государство.

Самое подходящее для нашихъ потѣхъ и удовольствій время былъ двухчасовой промежутокъ, отдѣляющій утренніе уроки отъ послѣобѣденнаго. Наскоро отобѣдавши, бѣгомъ возвращались мы въ гимназію за часъ, а иногда и за полтора до начала урока. Въ это время мы обыкновенно затѣвали разныя увеселительныя экспедиціи, для которыхъ хорошо умѣли пользоваться гористою мѣстностью Пензы и особенно березовою рощею, или такъ называемымъ „гуляньемъ“, отстоявшимъ отъ гимназіи минутъ на пять, много на десять, для нашихъ прыткихъ ногъ.

Одною изъ любимыхъ забавъ, преимущественно для гимназистовъ низшихъ классовъ, было въ зимнее время катанье съ горы. Надобно было перебѣжать наискосокъ по площади къ упомянутому уже мною театру Гладкова, чтобы очутиться у большого пустыря, который отъ площади спускается крутою горою къ садамъ и огородамъ улицы, тянущейся внизу вдоль уступа, который потомъ ниспадаетъ къ рѣчному берегу. Лѣтомъ этотъ спускъ былъ покрытъ густою травой, а зимою ровною и гладкою поверхностью снѣга, который, будучи обращенъ на югъ, подъ лучами солнца немножко подтаивалъ, а за ночь леденѣлъ, и по мѣрѣ того, какъ нападалъ новый снѣгъ и въ свою очередь леденѣлъ, этотъ спускъ самъ собою обращался въ нерукотворенную ледяную гору. Когда нужно было кому здѣсь пробраться съ площади внизъ или снизу наверхъ, на лѣвой сторонѣ этого пустыря у плетня была протоптана дорожка. Вотъ по этой-то ледяной горѣ мы и катались. Салазокъ мы не употребляли, да и негдѣ было ихъ взять: мы вѣдь сбѣгались изъ классовъ гимназіи. Въ своихъ тулупчикахъ и капотахъ мы просто-напросто садились на ледъ и стремглавъ катились внизъ.

По случаю нашихъ капотовъ замѣчу мимоходомъ, что беззаботная распущенность гимназическихъ нравовъ облекалась тогда разнокалиберною безформенностью костюма.

Изъ потѣхъ на катаньяхъ съ ледяной горы упомяну вамъ объ одномъ фокусѣ, достойномъ любого клоуна. Былъ у насъ товарищъ (фамиліи не припомню) съ виду карапузикъ, но лихой головорѣзъ и преуморительный шутъ. Онъ разсудительно находилъ, что, ёрзая съ горы сидючи, какъ разъ прошмыгаешь одежу насквозь; потому изъ экономіи онъ предпочиталъ изнашивать свой тулупчикъ такъ, чтобы треніе по льду доставалось не сидѣнью только, но равномѣрно и рукавамъ, и спинѣ, и обѣимъ поламъ. Въ этихъ видахъ онъ ложился поперекъ

спуска горы и, вытянувшись, стремительно катился кубаремъ внизъ; когда же потомъ онъ вскакивалъ, то отъ головокруженія не могъ держаться на ногахъ и валился на снѣгъ, потомъ опять вскакивалъ и опять падалъ, производя эту попытку до тѣхъ поръ, пока не станетъ твердо обѣими ногами; затѣмъ, раскинувъ обѣ руки, будто крылья, начинаетъ вертѣться волчкомъ, но уже въ другую сторону, противоположно той, въ которую онъ скатывался съ горы. Это онъ дѣлалъ для того, чтобы развинтить свою голову, которая черезчуръ закрутилась отъ скатыванья, и сдѣлать ее годною для употребленія.

Съ ранней весны и до поздней осени, за исключеніемъ каникулъ, разгульное приволье намъ давала наша милая березовая роща, съ тѣми покрытыми кустарникомъ спусками къ кладбищу Боголюбской Божіей Матери, о которыхъ я упомянулъ вамъ прежде. Въ теченіе всего гимназическаго курса роща эта была нѣмою свидѣтельницею нашего постепеннаго физическаго и нравственнаго развитія и усовершенствованія, начиная отъ дѣтскихъ шалостей и буйныхъ забавъ мальчишества до благонравной чинности добропорядочнаго юношества, которое и въ веселыхъ досугахъ знаетъ цѣну времени и умѣетъ соединять пріятное съ полезнымъ.

Ученики младшаго возраста, бывало, со всего разбѣга гурьбою врываются въ рощу и стремглавъ разсыпаются въ разныя стороны, оглашая воздухъ криками, гамомъ и хохотомъ; куда ни обернешься, вездѣ кишатъ рѣзвые бѣгуны: тотъ карабкается на дерево, а тотъ ужъ высоко сидитъ верхомъ на толстомъ сучкѣ; другой лѣзетъ за нимъ, чтобы стащить его за ногу; тамъ одинъ кувыркается вверхъ тормашки, упираясь головою въ землю, а тамъ двое или трое упражняются въ искусствѣ вертѣться колесомъ, прыгая въ бокъ попеременно обѣими руками и обѣими ногами. Иные уже затѣяли кулачный бой, но не толпою, какъ въ „Θермопилахъ“, не стѣна на стѣну, а вразсыпную, единоборствомъ: тамъ сражаются двѣ враждебныя арміи, а здѣсь производятся опыты въ гимнастическихъ упражненіяхъ. Любезное дѣло — драться на просторѣ: рука бьетъ широкимъ размахомъ, да и бороться льготнѣе — шлепнешься не на жесткій полъ, а на густую траву.

Но вотъ кипучая рьяность неукротимыхъ молодыхъ силъ начинаетъ угомониться: и руки примахались чуть не до вывиха, и ноги оттоптались, зудятъ и нѣмѣютъ; жара пронимаетъ насквозь, и въ горлѣ у всѣхъ пересохло. Одолѣваетъ жажда: такъ

и тянетъ освѣжиться хоть единымъ глоточкомъ. Но гдѣ добыть пойла? Не знаю, какъ теперь, а тогда въ нашей рощѣ не было ни водоема съ фонтаномъ, ни ключей, ни источниковъ. Но шалуны знаютъ, какъ помочь горю. Стоитъ лишь выбрать березу, не старую, не кряковистую, съ заматорѣлою, глубокими морщинами изрытою корою, а такую, чтобы была средняго возраста, съ бѣлою и гладкою берестою. Одинъ изъ товарищей, который поискуснѣе и ловчѣе, аккуратно пробуравитъ перочиннымъ ножичкомъ въ той березѣ довольно глубокое отверстіе, такъ, чтобы изъ него хлынуло березовымъ сокомъ. Каждый изъ насъ поочередно прикладывается губами къ этому отверстію и высасываетъ свою порцію этого слащаваго пойла, довольствуясь немногими его каплями.

Необузданная юркость туда и сюда мечущейся шаловливой отваги другой разъ принимаетъ опредѣленное направленіе къ намѣченной цѣли. Тогда замышляется планъ и немедленно приводится въ дѣйствіе какимъ-нибудь ухорскимъ набѣгомъ. Напримѣръ. Со стороны городской площади подходили тогда сады съ куртинами цвѣтовъ, прямо къ нашей рощѣ, отдѣленные отъ нея невысокой изгородью. Здѣсь была всегдашняя приманка для опустошительныхъ погромовъ. Какъ стая хищныхъ птицъ, маленькіе грабители однимъ взмахомъ черезъ изгородь набрасываются на куртины, топчутъ и рвутъ цвѣты, кто со стеблями только, а кто вытягиваетъ и съ корнемъ. Послѣднее предпочиталось, потому что тогда растеніе можно было пересадить у себя на дому. Время для опасной потѣхи самое удобное: садовники послѣ обѣда въ часъ пополудни отдыхаютъ и спятъ; впрочемъ, не всегда благополучно приходилось улизнуть отъ погони.

Однажды въ минуты побѣга случилась-было нешуточная катастрофа, грозившая великою бѣдою. Меня тамъ не было, и разскажу вамъ такъ, какъ передавали мнѣ товарищи.

При этомъ я долженъ замѣтить мимоходомъ, что въ отчаянныхъ шалостяхъ, доходящихъ до буйства, я не принималъ участія, потому ли, что отъ природы былъ опасливъ и остороженъ, или потому, что раннее обученіе въ женской школѣ Марьи Алексѣевны Лебедевой, сообща съ дѣвочками, придало моему нраву какую-то мягкость и робкую застѣнчивость, или же, наконецъ, и потому, что я безусловно покорялся предусмотрительнымъ совѣтамъ и заботливымъ внушеніямъ моей милой матушки.

Итакъ, наши хищники, почуявъ погоню, мигомъ дали тягу и помчались во всю прыть, съ награбленною добычей. Ихъ было человѣкъ пять, въ томъ числѣ и самъ Бѣляевъ. Нашъ отчаянный метальщикъ совершилъ въ этомъ побѣгѣ геройскій подвигъ, превосшедшій всѣ другіе небывалою дерзостью, и спасъ себя и товарищей отъ богатырскихъ кулаковъ гнавшагося за ними по пятамъ здоровеннаго парня. Каждый моментъ грозилъ неминучею бѣдою. Бѣляевъ, какъ самый юркій, разумѣется, бѣжалъ впереди своихъ товарищей. Вдругъ онъ повернулся назадъ и сталъ какъ вкопаный, а въ правой рукѣ у него длинное растеніе съ мохнатымъ корнемъ, запорошеннымъ землею и пескомъ. И только что товарищи промелькнули мимо него, онъ очутился какъ разъ передъ парнемъ и хватилъ его корнемъ прямо въ лицо, ослѣпивъ ему глаза пескомъ. Ошеломленный парень попятился и бросился въ сторону. Тѣмъ погоня и кончилась.

Для увеселительныхъ похожденій были и другіе интересы, хотя и не такого буйнаго, наѣзднического характера, но все же далеко не безобидные, всякій разъ, какъ только задорная шаловливость выступитъ изъ границъ и бьетъ черезъ край. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда пѣвчія пташки (мы ихъ звали малиновками и пѣночками) въ своихъ теплыхъ гнѣздышкахъ кладутъ яйца и выводятъ дѣтенышей, сорванцы направляли свои набѣги въ густые кустарники на тотъ изрытый ямами и промоинами крутой спускъ, который отъ „гулянья“ ниспадаетъ къ кладбищу Боголюбской Божіей Матери. Здѣсь потѣшались они охотою на пѣвчихъ птицъ.

Вразсыпную шныряютъ они по кустамъ, забираясь въ самую густую, непроходимую ихъ чащу, гдѣ добыча вѣрнѣе, подползаютъ подъ наклоненныя, стелющіяся по землѣ вѣтви и, какъ ищейки, обнюхиваютъ и подслушиваютъ, настороживъ уши. Это они выслѣживаютъ, не попадется ли гнѣздышко: птичка свиваетъ его въ самой глухой чащѣ, иная при стволѣ на томъ мѣстѣ, откуда развѣтвляется сучка два или три, а иная совсѣмъ на землѣ у самаго корня деревца, въ прошлогоднихъ сухихъ листьяхъ. Охота ведется въ полнѣйшей тишинѣ и молчаніи: главная задача не въ томъ, чтобы найти гнѣздо съ яичками, или еще лучше съ дѣтенышами, но и особенно въ томъ, чтобы накрыть въ немъ и самоё матку. Послѣднее было одною мечтою, но первое иногда удавалось, — впрочемъ, весьма рѣдко. Самыя неудачи и трудности въ хлопо-

тахъ о добычѣ только разжигали стремленіе къ поискамъ и обостряли соревнованіе. Счастливцу завидовали, и всякій хотѣлъ удостовѣриться въ его находкѣ и непремѣнно совалъ свой носъ въ гнѣздышко, чтобы взглянуть на содержимое въ немъ. Особенно живо представляется въ моей памяти одна подробность, не разъ повторявшаяся въ этой охотѣ. Когда взбалмошные мальчуганы, разграбивъ гнѣздо, бывало, въ тріумфѣ возвращаются съ своею добычею, осиротѣлая матка вслѣдъ за ними и около второпяхъ тревожно перепархиваетъ съ кустика на кустикъ, а сама таково жалобно и тоскливо почиликиваетъ, какъ есть — причитаетъ и навзрыдъ плачетъ горемычная мать на похоронахъ своего дѣтища. Потѣха разорять птичьи гнѣзда всегда была мнѣ не по сердцу, да и кое-кому и другимъ изъ моихъ товарищей.

Я уже говорилъ вамъ, что эти мальчишескія шалости не могли больше насъ привлекать, въ рощу, когда, перешедши въ старшій классъ, мы начинали чувствовать себя болѣе степенными и благовоспитанными. Для насъ было довольно и тѣхъ прогулокъ, которыя предпринималъ въ ней вмѣстѣ съ нами нашъ милый учитель, Нилъ Михайловичъ Филатовъ, для практическаго, нагляднаго изученія ботаники; но по своей хромотѣ поспѣвать за нами онъ не могъ и обыкновенно усаживался на лавочкѣ гдѣ-нибудь въ тѣни березъ и преспокойно почитывалъ свой французскій романъ, а насъ отпускалъ гулять по рощѣ въ продолженіе всего двухчасового урока, который всегда назначался послѣ обѣда. Этого времени было намъ вдоволь и для дружескихъ бесѣдъ, и для занимательнаго, а иногда и полезнаго чтенія, такъ какъ каждый изъ насъ приносилъ съ собою какую-нибудь книжку, обыкновенно небольшого формата, чтобы укладывалась въ задній карманъ сюртука. Такъ прочелъ я больше половины „Писемъ русскаго путешественника“, по изданію въ 16-ую долю листа, въ часы нашихъ ботаническихъ уроковъ.

Заговорившись съ вами не въ мѣру о пустяшныхъ мелочахъ школьнаго житья-бытья, наконецъ-то очень радуюсь, что довелъ свою рѣчь до болѣе серьезнаго и существеннаго. Итакъ, разскажу вамъ, что я читалъ и какъ понималъ прочитанное.

Но сначала я долженъ познакомить васъ съ происхожденіемъ и составленіемъ книжнаго запаса, какимъ я могъ располагать. У моей матушки была своя собственная маленькая библіотечка, такъ сказать, фундаментальная, которая потомъ

изрѣдка и случайно пополнялась новыми изданіями. Она состояла изъ старинныхъ книгъ XVIII вѣка и досталась ей по наслѣдству отъ моего дѣда и отца, который принадлежалъ, говоря относительно и въ самомъ умѣренномъ скромномъ смыслѣ, къ образованной молодежи уѣзднаго города Керенска. О степени его развитости я могу судить по его товарищамъ и друзьямъ, которые десятками лѣтъ пережили его и которыхъ я хорошо зналъ. Это были мой двоюродный дядя, Андрей Сергѣевичъ Сергѣевъ, и помѣщикъ Керенскаго уѣзда, Иванъ Асафовичъ Брóницкій, сынъ котораго, Александръ Ивановичъ, женатый на княжнѣ Енгалычевой, былъ помощникомъ библіотекаря въ библіотекѣ московскаго университета. Когда я учился въ гимназіи, мы съ матушкой часто бывали у моего дяди въ Керенскѣ, и я хорошо помню его довольно большую библіотеку, размѣщенную на полкахъ въ двухъ шкафахъ, подъ стекломъ. Тутъ впервые увидалъ я многотомныя изданія „Образцовыхъ Сочиненій“ и „Россійской Вивліоѳики“, а также „Московскій Телеграфъ“ Полевого и „Телескопъ“ Надеждина.

Книжная и всякая другая образованность и культура переходила тогда и распространялась по уѣзднымъ и губернскимъ городамъ изъ дворянскихъ помѣстій. Верстахъ въ двадцати отъ Керенска у дворянскаго предводителя, Алексѣя Ивановича Рѣнцова, была громадная библіотека старинныхъ французскихъ изданій и собраніе гравюръ въ папкахъ. Провинціальный мелкій людъ пользовался отъ богатыхъ помѣщиковъ не однѣми модами и книжною и всякою другою новизною, но и вообще удобствами жизни въ удовлетвореніи своихъ потребностей болѣе развитого культурнаго свойства. Такъ, напримѣръ, у насъ въ Пензѣ была очень искусная кухарка изъ дворовыхъ, потому что матушка отдавала ее учиться стряпать у поваровъ одного богатаго помѣщика. Матушка любила музыку и желала, чтобы я выучился играть на гитарѣ. Фортепіаны составляли тогда принадлежность зажиточныхъ дворянъ, а гитара и небогатымъ была по карману; къ тому же была она тогда и въ модѣ. Учителя на этомъ инструментѣ матушка добыла мнѣ тоже изъ помѣщичьей усадьбы, отставного арфиста, состоявшаго нѣкогда музыкантомъ въ боярскомъ оркестрѣ. Это былъ высокій, худощавый старичокъ, очень опрятный и деликатный, въ длинномъ суконномъ сюртукѣ синяго цвѣта и въ высокомъ бѣломъ галстукѣ. Отъ той далекой поры засѣлъ въ моей памяти разученный мною тогда знаменитый дуэтъ Донъ-Жуана съ Церлиною изъ

оперы Моцарта. Понадобилось матушкѣ учить меня танцамъ: въ Пензу явился одинъ молодой, вертлявый франтъ, по фамиліи Скоробогатовъ, изъ балетныхъ плясуновъ тоже какого-то домашняго театра, и я получилъ отъ этого крѣпостного артиста первые уроки въ танцовальномъ искусствѣ, впрочемъ, по мнѣнію матушки, недостаточно удовлетворительные.

Изъ наслѣдственной библіотечки моей матушки назову сначала книги обиходныя, т.-е., справочныя или настольныя. А именно: Сонникъ, содержащій въ себѣ подробное объясненіе и толкованіе всевозможныхъ сновидѣній; книга Соломонъ, съ изображеннымъ на первой страницѣ человѣческимъ лицомъ въ кругу, для извѣстнаго гаданія посредствомъ воскового шарика, который бросаютъ на эту фигуру. Потомъ Брюсовъ календарь, съ подробными на каждый мѣсяцъ характеристиками темперамента, характера и нрава родившихся и съ предсказаніями о ихъ судьбѣ. Брюса почитали тогда великимъ чародѣемъ и всезнайкою и вѣрили ему на̀слово. Матушка не въ шутку принимала къ свѣдѣнію мой гороскопъ, который находила въ его календарѣ подъ апрѣлемъ мѣсяцемъ. Далѣе — Пѣсенникъ, толстая книга, въ большую осьмушку, отъ многолѣтняго употребленія сильно затасканная, изорванная и засаленная. Тогда простонародная поэзія еще шла о̀бъ руку съ искусственною или образованною, и въ этомъ изданіи между народными и полународными, или, точнѣе, лакейскими и мѣщанскими пѣснями матушка отыскивала и бывшіе тогда въ модѣ романсы. У нея былъ хорошій голосъ и музыкальный слухъ, и она любила за рукодѣльемъ сопровождать свою работу пѣніемъ. Мнѣ доставляетъ удовольствіе припомнить теперь нѣкоторыя изъ ея любимыхъ пѣсенокъ, можетъ быть, и съ ошибками, но именно такъ, какъ онѣ остались въ моей памяти отъ того далекаго времени.

Среди долины ровныя на гладкой высотѣ
Цвѣтетъ, растетъ высокій дубъ
Въ могучей красотѣ...

Взвейся выше, понесися,
Сизокрылый голубокъ...

Стонетъ сизый голубочекъ,
Стонетъ онъ и день и ночь...

Дубрава шумитъ, сбираются тучи
На берегъ зыбучій...

Вечоръ поздно изъ лѣсочка
Я коровъ домой гнала...

Всѣхъ цвѣточковъ болѣ
Розу я любилъ...

На толь, чтобы печали
Въ любви намъ находить...

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзаетъ печаль...

Къ этому же разряду настольныхъ и справочныхъ книгъ надобно отнести еще двѣ другія, которыхъ мы съ матушкой хотя и не читали, даже не перелистывали для справокъ, но она берегла ихъ обѣ въ сохранности, какъ великую драгоцѣнность въ память о моемъ отцѣ, вмѣстѣ съ тѣми фамильными документами, на которые я уже ссылался, когда упомянулъ о моемъ пращурѣ. Эти книги были: Уложеніе царя Алексѣя Михайловича и Екатерининскій Наказъ. До изданія Свода Законовъ подьячіе у насъ въ Керенскѣ пользовались въ дѣлопроизводствѣ этими обоими законодательствами, дополняя ихъ выходившими въ теченіе многихъ лѣтъ правительственными указами. Тотъ считался хорошимъ дѣльцомъ, кто умѣлъ справиться съ этою громадною массою отдѣльныхъ узаконеній. Мой отецъ, какъ передавали мнѣ дядя Андрей Сергѣевичъ и Брдницкій, хотя и умеръ въ молодыхъ годахъ, но былъ великій мастеръ въ этомъ дѣлѣ.

Пора, однако, обратиться къ книгамъ, которыя служили намъ не для однѣхъ только справокъ, но и для настоящаго чтенія, полезнаго и пріятнаго.

Изъ самаго ранняго дѣтства очень хорошо помню я балагурную книжку: „Не́ любо — не слушай, а лгать не мѣшай“, и презанятный по коловратнымъ запутанностямъ интриги романъ „Англійскій милордъ Георгъ“. Съ такимъ обаятельнымъ увлеченіемъ наслаждался я этимъ романомъ, что онъ рѣшительно взбаломутилъ мое воображеніе и чувства до крайней степени напряженности. И до сихъ поръ живо представляется мнѣ одинъ изъ кризисовъ этого раздраженія. Дѣло было вечеромъ при свѣчахъ. Съ сердечнымъ увлеченіемъ раздѣляя горе и радости моего героя, я читалъ тогда, какъ онъ въ сладостной надеждѣ на близкое свиданіе съ обожаемой имъ красавицей вдругъ очутился въ подземельѣ, захваченный своими врагами. Какъ разъ на этомъ мѣстѣ чтеніе мое было прервано матушкой,

которая, вышедши изъ столовой, позвала меня ужинать. Мы сѣли за столъ вдвоемъ (обѣ дѣвочки, мои сестры, въ это позднее время обыкновенно уже спали). Только что стали мы ужинать, какъ я разразился горькимъ плачемъ навзрыдъ. Матушка въ испугѣ бросилась ко мнѣ, спрашиваетъ, что̀ со мною? — „Ничего, — отвѣчаю я, продолжая рыдать и всхлипывать: — теперь ужъ все прошло: это я укусилъ себѣ языкъ, страхъ какъ больно“. Мнѣ ужъ очень стыдно было передъ матушкой признаться въ своей плаксивой сантиментальности.

Съ той же ранней поры я зналъ о существованіи Робинзона Крузэ и Донъ-Кишота (такъ называли тогда Донъ-Кихота), съ присоединеніемъ немногихъ подробностей о ихъ похожденіяхъ; только не помню, откуда получилъ я эти свѣдѣнія, — самъ ли я читалъ, или слышалъ отъ матушки. Надобно вамъ знать, что послѣ Ясона Петровича Евтропова она была для меня главною воспитательницею и наставницею въ литературѣ. Бо́льшую часть поэтическихъ произведеній въ стихахъ и прозѣ мы читали съ нею вмѣстѣ, поперемѣнно — то она, то я. Матушка особенно любила слушать мое чтеніе, сидя рядомъ со мной за рукодѣльемъ.

Хотя и увлекалась она сантиментальностями XVIII вѣка, во вкусѣ Жанъ-Жака Руссо, Карамзина или князя Долгорукова, но отдавала рѣшительное предпочтеніе новымъ вѣяніямъ романтизма въ произведеніяхъ Жуковскаго, и многія изъ его балладъ знала наизусть и любила ихъ декламировать. Изъ сантиментальныхъ произведеній самою избранною, самою любимою ея книгою, которой никогда не могла начитаться до сыта, было собраніе стихотвореній князя Долгорукова, подъ чувствительнымъ заглавіемъ: „Бытіе моего сердца“. Никогда не могъ я забыть, съ какой сердечною искренностью и со слезами на глазахъ, въ минуты тяжелаго раздумья, читала она наизусть:

Вотъ здѣсь, когда меня не будетъ,
Вотъ здѣсь уляжется мой прахъ...

Въ этихъ стихахъ князь Долгоруковъ указываетъ на то кладбище, гдѣ будетъ онъ похороненъ, и именно Дорогомиловское, около Москвы по Смоленскому шоссе. Не знаю, тамъ ли его могила, но мое заключеніе основываю на слѣдующемъ соображеніи. Еще въ 40-хъ и 50-хъ годахъ въ Москвѣ на Плющихѣ, на правой сторонѣ, если итти отъ Смоленскаго рынка, рѣзко отличалась отъ сосѣднихъ домовъ одна обширная барская усадьба. Къ улицѣ выходила она большимъ широкимъ дворомъ, покры-

тымъ въ лѣтнюю пору зеленой травою. Въ углубленіи двора тянулся длинный одноэтажный деревянный домъ, какіе бывали у помѣщиковъ въ деревняхъ, съ двумя подъѣздами, одинъ на правой сторонѣ, а другой на лѣвой; вдоль оконъ поднимались кусты бузины и сирени; по лугу на дворѣ часто можно было видѣть бродящую корову. По ту сторону дома спускается по высокому и крутому берегу Москвы-рѣки фруктовый садъ. Отсюда изъ оконъ открывался безподобный видъ на Поклонную гору, а внизу направо на Дорогомиловское кладбище. Домъ этотъ принадлежалъ поэту князю Долгорукову, и въ немъ жилъ онъ со своимъ семействомъ. Изъ оконъ кабинета онъ видѣлъ постоянно то кладбище, которое воспѣлъ въ своихъ стихахъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ, квартируя въ переулкахъ около Арбата, я часто гулялъ по Плющихѣ и заходилъ иногда въ усадьбу князя Долгорукова, тогда уже опустѣлую, и всякій разъ подолгу любовался широкою панорамою окрестностей Москвы по ту сторону дома, вспоминая завѣтные стихи. И чудился мнѣ милый голосъ моей матушки: „Вотъ здѣсь, когда меня не будетъ“...

Изъ старинныхъ, унаслѣдованныхъ моею матушкою, книгъ я назову еще двѣ; это были: „Потерянный рай“ Мильтона и „Четыре времени года“ Томсона, — первая въ большую осьмушку, а вторая въ 16-ую долю листа. Ту и другую попеременно читалъ я въ нашей „гимназической рощѣ“, какъ разъ въ то время, когда Озеровъ растравлялъ свое истерзанное сердце „Страданіями молодого Вертера“. Этимъ протестомъ я думалъ заявить мое полнѣйшее равнодушіе къ соревнованію, а также и рѣшительное презрѣніе къ его женоподобнымъ слабостямъ. Но попытка моя оказалась тщетною, и мнѣ не удалось пустить въ моду между товарищами эти достопочтенныя, пресловутыя произведенія.

Мнѣ особенно полюбился переводъ „Потеряннаго рая“ торжественнымъ слогомъ, вмѣстѣ и высокопарнымъ, и — такъ сказать — корявымъ. Впослѣдствіи, лѣтъ черезъ тридцать, мнѣ пришлось увидать экземпляръ этого стариннаго изданія въ Москвѣ на рынкѣ подъ Сухаревою башнею. Однажды, пересматривая книжное старье, размѣщенное букинистомъ на столѣ, я услышалъ за собою скромный, но и внушительный голосъ: „а нѣтъ ли здѣсь „Потеряннаго рая“? Я обернулся и вижу — стоятъ два молодыхъ парня, съ небольшими бородками, въ длинныхъ кафтанахъ, оба такіе благообразные, пристойные. Здѣсь не нашли они своего „Рая“ и направились далѣе къ другимъ столамъ съ

книгами; я послѣдовалъ за ними. Поиски ихъ увѣнчались успѣхомъ, и они съ удовольствіемъ заплатили свой полтинникъ за эту рѣдкую книгу. Удивителенъ русскій народъ, загадочный и непостижимый.

Теперь перехожу отъ старинной литературы къ современному для той далекой поры легкому и занятному чтенію. Я уже сказалъ вамъ, что матушка особенно любила произведенія Жуковскаго. Кромѣ его балладъ, мы читали съ ней „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, но съ особеннымъ умиленіемъ до слезъ — „Сельское кладбище“ Грея. Такое же умилительное чтеніе предлагалъ намъ Батюшковъ въ своемъ „Умирающемъ Тассѣ“, а Козловъ — въ „Чернецѣ“ и въ „Княгинѣ Натальѣ Долгорукой“. Живо помнится мнѣ, съ какимъ увлеченіемъ читали мы оба его же стихотвореніе:

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ...

Что касается до меня, то въ этомъ произведеніи я видѣлъ отличный образецъ звукоподражательной поэзіи и перелагалъ для себя его унылый тонъ на свой ладъ. Читая его наизусть, я не просто выговаривалъ слова, а какъ бы звонилъ ими, воображая себя сидящимъ на колокольнѣ, вотъ такимъ темпомъ:

Донъ-дóнъ, донъ-дóнъ,
Донъ-думъ, донъ-дóнъ.

Обильную поживу для пріятнаго и полезнаго чтенія предлагали намъ выходившіе тогда ежегодно литературные сборники подъ названіемъ альманаховъ, и изъ нихъ особенно „Полярная Звѣзда“. У матушки было два этихъ альманаха, не помню въ точности, за которые года: за 1822 и за 1823, или за 1823 и за 1824. Если бы это васъ заинтересовало, вы сами могли бы это рѣшить по двумъ повѣстямъ Бестужева-Марлинскаго: въ одномъ помѣщена была повѣсть „Ревельскій турниръ“, а въ другомъ — „Замокъ Нейгаузенъ“. Ту и другую я давалъ списывать товарищамъ для ихъ рукописныхъ библіотекъ. Съ той поры, когда читалъ я эти альманахи, мнѣ ни разу не случилось ихъ видѣть, а задумавъ разсказать вамъ мои воспоминанія, я уже вовсе и не хотѣлъ ихъ отыскивать для просмотра, изъ опасенія, чтобы постороннимъ наплывомъ новыхъ впечатлѣній не нарушить правдивости моего разсказа о томъ, что̀ и какъ понималъ я тогда въ читаемой книгѣ.

Въ этихъ двухъ „Полярныхъ Звѣздахъ“ я находилъ образчики всего лучшаго, что создавалось тогда въ русской литературѣ и впервые выходило въ свѣтъ на страницахъ именно этихъ сборниковъ: и стихотворенія Пушкина, и басни Крылова, и, помнится, Жуковскаго отрывокъ изъ перевода „Орлеанской дѣвы“, а также и критическія обозрѣнія литературы, — кажется, Бестужева, и многое другое. Это была для меня безподобная хрестоматія современной русской литературы, въ высокой степени наставительная, — и столько же плодотворная своимъ художественнымъ обаяніемъ для моего нравственнаго совершенствованія.

При этомъ почитаю не лишнимъ сдѣлать одно замѣчаніе, чтобы предупредить недоумѣніе, которое, можетъ быть, пришло вамъ теперь въ голову: какъ позволялось и допускалось тогда, въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ, распространеніе изданій декабристовъ въ читающей публикѣ и даже между гимназистами. Вы еще болѣе удивитесь, когда я скажу вамъ, что въ стѣнахъ самой гимназіи мы читали „Войнаровскаго“ и „Думы“ Рылѣева и переписывали нѣкоторыя изъ нихъ въ тетрадки для своихъ рукописныхъ собраній. При современномъ порядкѣ вещей, въ концѣ XIX столѣтія, конечно, очень трудно, почти невозможно представить себѣ многое изъ того, какъ жилось, думалось и чувствовалось въ тѣ старинныя времена и въ обстановкѣ провинціальной глуши, куда я переношу васъ своими воспоминаніями. Тогда никому и въ голову не приходило соединять преступныя дѣянія декабристовъ съ ихъ невинными литературными произведеніями и еще тѣмъ болѣе съ такими изданіями ихъ, какъ книжки „Полярной Звѣзды“, въ которыхъ печатали свои новыя произведенія самые благонамѣренные и безукоризненные въ нравственномъ и политическомъ смыслѣ писатели, какъ Жуковскій, Крыловъ и многіе другіе, которыхъ имена вы сами найдете, если вздумаете перелистовать „Полярную Звѣзду“. Скажу вамъ еще вотъ что. Читая и переписывая „Думы“ Рылѣева, мы, гимназисты, вовсе и не воображали, что Рылѣевъ государственный преступникъ, и знать — не знали, что онъ былъ казненъ. Напротивъ, онъ казался намъ добрымъ патріотомъ, и я до сихъ поръ помню начало его одной думы, которую мы всѣ знали наизусть:

„Куда ты ведешь насъ? не видно ни зги!“ —
Сусанину съ гнѣвомъ кричали враги.

Извините, если память обманула меня. За второй стихъ не ручаюсь.

Сверхъ того, мы вовсе и не знали, что̀ такое декабристы, а если и слышали это названіе, то не придавали ему никакого смысла. Въ то время вообще не принято было говорить о предметахъ такого рода, даже считалось опаснымъ; а если кому приходилось не только въ обществѣ, но и у себя дома между своими сказать что-либо опасное, отзывающееся грозою, то говорилось шопотомъ, втихомолку, чтобы не слыхать было не только прислугѣ, но и дѣтямъ. Для примѣра разскажу одинъ случай. Въ Пензу пріѣхалъ ревизоръ, вовсе не знаю, для какой потребы и что именно ревизовать. О немъ много шушукалось съ соблюденіемъ строжайшей тайны, но въ этой тихомолкѣ мнѣ не разъ звучалось слово: „Горголи“, — должно быть, имя того таинственнаго обозрѣвателя. Невольно сближая это слово съ античною Горгоною или Медузою, я представлялъ себѣ этого грознаго незнакомца безобразнымъ страшилищемъ съ длинными волосами наподобіе змѣиныхъ хвостовъ. Я еще не зналъ тогда, что въ произведеніяхъ классическаго искусства Греціи и Рима лицо Горгоны всегда отличается если не полною красотою, то прелестью, которая переходитъ въ отупѣлое сластолюбіе.

Это идиллическое настроеніе духа въ непониманіи различія между запрещеннымъ цензурою и дозволеннымъ не могло быть нарушено и тѣмъ, что мнѣ привелось тогда познакомиться съ однимъ великимъ произведеніемъ русской литературы по рукописному, а не печатному экземпляру. По принятому въ то время обычаю составлять для себя собраніе копій съ печатныхъ изданій, я полагалъ въ простотѣ сердца, что и эта рукопись была того же разряда, нисколько не подозрѣвая, что она содержала въ себѣ сочиненіе, запрещенное для печати. То была комедія Грибоѣдова „Горе отъ ума“. Дядя Андрей Сергѣевичъ привезъ ее изъ Керенска матушкѣ въ подарокъ и самъ читалъ ее намъ, какъ мнѣ тогда казалось, очень искусно и съ большимъ одушевленіемъ, ярко подчеркивая бойкія и занозливыя эпиграммы Чацкаго и смѣхотворныя пошлости Фамусова, Скалозуба и Молчалина. При этомъ не могу не замѣтить, что многія изъ мѣткихъ изреченій Грибоѣдова, ставшихъ потомъ всенародными пословицами, были и тогда уже оцѣнены, подхвачены и разносились повсюду вслѣдъ за быстрымъ распространеніемъ копій. Доказательствомъ тому служитъ захолустный Керенскъ, куда попала эта комедія, вѣроятно, изъ какой-нибудь барской усадьбы.

Хотя въ Пензѣ не было книжнаго магазина, какъ я уже го-

ворилъ вамъ, однако немногочисленная, такъ называемая образованная публика этого укромнаго губернскаго города настолько была развита и воспріимчива къ быстрымъ успѣхамъ русской литературы того прославленнаго Пушкинскаго періода, что мы могли стоять въ уровень съ читателями другихъ болѣе торныхъ и бойкихъ средоточій русской жизни. Напримѣръ: вамъ хорошо извѣстно, что „Евгеній Онѣгинъ“ появился въ печати не весь вдругъ, а выходилъ постепенно, отдѣльными главами. Немедленно по отпечатаніи первой главы этого произведенія, распространилась она по нашему городу во множествѣ экземпляровъ, изъ которыхъ одинъ — не знаю, какими судьбами — попалъ и къ намъ въ видѣ тоненькой брошюры, въ восьмую долю листа — какъ сейчасъ вижу — въ желтой оберткѣ.

Хорошо помню эту драгоцѣнную брошюру потому, что матушка подарила ее мнѣ, вмѣстѣ съ комедіею Грибоѣдова, для собственной моей библіотеки, которая, по заведенному между моими товарищами обычаю, состояла въ рукописныхъ копіяхъ съ печатныхъ повѣстей и стихотвореній, какъ я уже говорилъ вамъ объ этомъ. Эта печатная брошюра не была исключеніемъ въ моемъ рукописномъ собраніи. Время отъ времени я обогащалъ и разнообразилъ его грошовыми лубочными изданіями забавныхъ повѣстей и народныхъ сказокъ съ картинками. На эту потребу матушка давала мнѣ изрѣдка по гривеннику или двугривенному, поощряя мое пристрастіе къ книгамъ. Въ послѣдніе два года до поступленія въ университетъ я могъ покупать этотъ дешевый товаръ у коробейниковъ и на свои собственныя, заработанныя мною деньги. Я давалъ уроки, по одному часу въ день, десятилѣтнему мальчику, сыну Любовцова, состоявшаго совѣтникомъ въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ; за уроки получалъ въ мѣсяцъ по десяти рублей ассигнаціями, по нынѣшнему три съ полтиной, и всегда отдавалъ эти деньги матушкѣ на хозяйство, и она каждый разъ удѣляла мнѣ изъ этой суммы по двугривенному на покупку книжнаго хлама. Эти рукописныя и ксилографическія, а по нашему лубочныя, сокровища были у меня въ надлежащемъ порядкѣ помѣщены на полкѣ, прилаженной къ стѣнѣ въ дѣтской комнатѣ. Что же касается до книгъ моей матушки, то онѣ сохранялись въ длинномъ ящикѣ, вышиною не болѣе двухъ четвертей, называемомъ укладкою, который всегда стоялъ подъ кроватью. Вмѣсто полокъ, держать домашнюю библіотеку въ сундукѣ нѣкогда было въ обычаѣ не только у насъ, но и на Западѣ, какъ привелось мнѣ видѣть

въ кабинетѣ нѣкоего ученаго мужа, относящемся къ XVI вѣку, а теперь перенесенномъ сполна изъ какого-то монастыря въ зальцбургскій историческій музей. Мнѣ припомнилась тогда матушкина укладка.

Но я уже слишкомъ далеко увлекся отъ прерваннаго мною разсказа о чтеніи книгъ. Прошу припомнить: рѣчь шла о новыхъ, какъ говорится теперь, литературныхъ вѣяніяхъ, которыя полстолѣтіе назадъ были современными въ исторіи цивилизаціи города Пензы. Нарасхватъ переходили тогда изъ рукъ въ руки романы Загоскина: „Юрій Милославскій“ и „Рославлевъ“. Изъ таинственныхъ замковъ, построенныхъ фантазіею госпожи Ратклифъ, съ привидѣніями, выходцами съ того свѣта и съ разными другими диковинными похожденіями и ухищренными загадками, эти новые русскіе романы переносили меня на твердую почву родной земли, въ обстановку очевидной дѣйствительности, въ понятія и интересы русской жизни и въ ея исторію. Съ тѣхъ поръ мнѣ ни разу не случилось прочитать ни того, ни другого изъ этихъ двухъ романовъ, но и теперь любовно припоминаю, какъ Кирша по глубокимъ сугробамъ шагалъ на пчельникъ къ колдуну и какъ потомъ молодецки умчался на аргамакѣ. Изъ „Рославлева“ застряли въ моей памяти два пункта: во-первыхъ, станція Завидово, куда прискакалъ на ямскихъ какой-то залихватскій офицеръ, и во-вторыхъ, съ растрепанными волосами въ одной рубашкѣ женская фигура, которая дикимъ голосомъ распѣваетъ: „Со святыми упокой“. Я стоялъ тогда уже за историческій романъ, который передо мною выводилъ на чистую воду помутившуюся фантазію моего „Англійскаго милорда“, но романа нравоописательнаго я не взлюбилъ, можетъ быть, потому, что впервые познакомился съ нимъ по „Ивану Выжигину“ Булгарина. Впрочемъ, прошу васъ не приписывать мнѣ чести въ прозорливомъ усмотрѣніи недоброкачественныхъ способностей автора: его навязчиво-поучительный романъ былъ для меня просто скученъ и вялъ. И въ какое негодованіе пришелъ я, когда въ „Библіотекѣ для Чтенія“ прочелъ гнусную, на мой взглядъ, выходку барона Брамбеуса, будто бы историческій романъ есть незаконнорожденный сынъ исторіи и поэзіи. Изъ сказаннаго видите, что и въ Пензѣ, несмотря на плохое ученіе въ гимназіи, я могъ кое-какъ съ грѣхомъ пополамъ ориентироваться въ серьезныхъ вопросахъ по теоріи словесности.

Я нарочно приберегъ къ концу два такія капитальныя произведенія, которыя и впослѣдствіи оказали на меня замѣтное

вліяніе въ моихъ ученыхъ работахъ. Мнѣ случалось не однажды въ разное время читать и просматривать то и другое; потому, чтобы не смѣшать раннихъ впечатлѣній моей юности съ позднѣйшими, я не могу въ точности указать вамъ, какъ и что именно интересовало меня въ этихъ книгахъ, когда я читалъ и не разъ перечитывалъ ихъ въ Пензѣ по экземплярамъ, хранившимся въ матушкиной укладкѣ.

Это были, во-первыхъ, Письмовникъ Курганова, толстая книга, въ большую осьмушку, и, во-вторыхъ, „Письма русскаго путешественника“ Карамзина, нѣсколько томиковъ въ 16-ю долю листа. Съ пылкимъ увлеченіемъ, интересуясь въ высшей степени занимательнымъ для меня чтеніемъ того и другого сочиненія, я, разумѣется, не чувствовалъ и не могъ понять, что оба они предлагали мнѣ богатое и разнообразное содержаніе изъ исторіи европейской литературы чуть не отъ инкунабулъ XV вѣка и до конца XVIII столѣтія. Письмовникъ Курганова былъ для меня настоящею энциклопедіею учебнаго, ученаго и литературнаго содержанія, а „Письма русскаго путешественника“ — зеркаломъ, въ которомъ отразилась вся европейская цивилизація. Карамзинъ казался мнѣ самымъ просвѣщеннымъ человѣкомъ въ Россіи, представителемъ той высокой степени развитія, до которой она могла достигнуть въ то время, наставникомъ и руководителемъ каждаго изъ русскихъ, кто пожелалъ бы сдѣлаться человѣкомъ образованнымъ. Эту мысль, провѣренную мною на себѣ, когда я былъ еще гимназистомъ пятнадцати и шестнадцати лѣтъ, высказалъ я потомъ съ каѳедры московскаго университета въ рѣчи на Карамзинскомъ юбилеѣ, которую, если захотите, можете прочесть во второй части „Моихъ Досуговъ“.

Теперь перехожу къ повѣствованію о послѣднемъ годѣ моего пребыванія въ Пензѣ по окончаніи гимназическаго курса. Для университетскаго экзамена я долженъ былъ пополнить свои скудныя свѣдѣнія и, сверхъ того, поучиться греческому языку, который тогда въ пензенской гимназіи не преподавался, но былъ обязателенъ для поступающихъ на филологическій факультетъ, называвшійся тогда словеснымъ отдѣленіемъ философскаго факультета. Моимъ постояннымъ желаніемъ было сдѣлаться медикомъ, чтобы обезпечить матушкѣ независимое положеніе; но она, находя меня рѣшительно неспособнымъ къ изученію анатоміи и хирургіи, прочила меня и всѣми силами содѣйствовала для

поступленія въ филологическій факультетъ и притомъ именно московскаго университета, ставя мнѣ въ образецъ Кастора Никифоровича Лебедева, котораго очень уважала и любила. Сверхъ того, суровымъ обязанностямъ врача, по ея мнѣнію, не соотвѣтствовали ни мои способности, ни характеръ.

Потому она озаботилась дать мнѣ хорошаго учителя греческаго языка, предложивъ ему у насъ въ мезонинѣ квартиру за полцѣны съ тѣмъ, чтобы онъ училъ меня. Это былъ Дмитрій Осиповичъ Львовъ, преподаватель греческаго языка въ пензенской семинаріи, изъ кандидатовъ московской духовной академіи.

Кромѣ греческаго языка, онъ занимался со мной и латинскимъ. Подъ его руководствомъ я изучилъ и съ удовольствіемъ вызубрилъ наизусть нѣсколько одъ Горація, по маленькому, карманному изданію, предназначавшемуся „ad usum Delphini“. Въ этой книжкѣ подъ текстомъ Горація были помѣщены краткіе комментаріи, а на поляхъ противъ каждаго затруднительнаго и неяснаго стиха — переложеніе его въ прозу общепонятною, какъ говорится, кухонною латынью. Такимъ образомъ, изданіе это было мнѣ какъ разъ по силамъ.

Вліяніе пензенской семинаріи не ограничивалось для меня уроками одного изъ ея преподавателей. Цѣлая половина флигеля на нашемъ дворѣ была отдана въ наемъ семинаристамъ. Ихъ было человѣкъ до десяти изъ младшихъ и старшихъ классовъ, которые по главному предмету, преподававшемуся въ каждомъ классѣ, назывались: грамматика (вмѣсто этимологія), синтаксисъ, риторика, философія и богословіе. Помнится, было еще два начальныхъ, такъ сказать — приготовительныхъ класса. Семинаристы трехъ старшихъ классовъ называли себя риторами, философами и богословами.

Когда я былъ мальчикомъ лѣтъ до тринадцати, — любилъ проводить время съ младшими учениками семинаріи. Поприщемъ для забавъ былъ нашъ дворъ и садъ съ огромнымъ огородомъ. Въ зимнее время по снѣгамъ этого огорода мы въ перегонку скользили на лыжахъ, а то выкапывали для себя въ сугробахъ медвѣжьи берлоги и уютно укрывались въ нихъ отъ вьюги и согрѣвались, какъ намъ казалось, въ трескучій морозъ. Въ лѣтнее время играли въ бабки, которыя въ Пензѣ назывались „кóзнами“, и особенно соревновали другъ передъ дружкой пріобрѣтеніемъ наилучшей „битки“, т.-е. такой бабки, которою сшибаютъ съ кону обыкновенныя „кóзны“, поставленныя на кону въ одинъ или въ нѣсколько рядовъ. Хорошая битка должна быть

велика размѣромъ и тяжела, для чего и наливается обыкновенно свинцомъ. Такою биткою гордился ея владѣлецъ. Въ лѣтнее же время мы любили валяться въ сѣнѣ на сѣновалѣ, или же сидѣть у его широкаго отверстія надъ воротами сарая и твердить уроки. Къ вечеру на закатѣ солнца — живо помню — съ какимъ интересомъ ожидали мы возвращенія изъ лѣса посланныхъ матушкою людей за какой-нибудь хозяйственной надобностью. То кучеръ Левонтій въѣдетъ во дворъ съ возомъ скошенной имъ за городомъ травы, и мы помогаемъ ему разметывать ее по двору для просушки, а между тѣмъ отыскиваемъ въ травѣ сочные и вкусные стволы шкерды и дягиля; то бабы вернутся изъ лѣсу съ телѣгой, до верху наполненной груздями и рыжиками, а изъ одѣляютъ лѣсными гостинцами — пучками костяники, клубники или ежевики. Разсказываю вамъ всю эту дребедень для того, чтобы дать вамъ понятіе о томъ, какія впечатлѣнія соединяются въ моемъ воображеніи съ дорогими воспоминаніями о нашей пензенской усадьбѣ.

Если съ семинаристами младшихъ классовъ я дѣлилъ свои игры и забавы, то риторы и философы нашего надворнаго флигеля приносили мнѣ существенную пользу, расширяя кругъ моихъ гимназическихъ свѣдѣній. Они познакомили меня съ двумя руководствами на латинскомъ языкѣ, принятыми тогда въ семинаріи. Это были: Риторика Бургія и Философія Баумейстера. Русскіе учебники, по которымъ я проходилъ риторику и логику въ гимназіи, достаточно подготовили меня къ пониманію обоихъ семинарскихъ руководствъ, которыя сверхъ того были мнѣ полезны, какъ практическое упражненіе въ латинскомъ языкѣ.

Тогда я былъ очень заинтересованъ философіею: „philosophisch gesinnt“, какъ говорятъ нѣмцы. Случайно увидѣлъ я у Дмитрія Осиповича Львова рукописныя лекціи Голубинскаго, впослѣдствіи знаменитаго профессора философіи въ московской духовной академіи; выпросилъ ихъ у своего наставника и сталъ читать ихъ съ живѣйшимъ увлеченіемъ, но едва ли съ толкомъ. Меня особенно занимало философское ученіе о *я* и *не-я*, а также о пространствѣ и времени и о безконечномъ. Передамъ вамъ, сколько помню, какіе дѣлалъ я надъ собою опыты для нагляднаго уразумѣнія философскихъ терминовъ *я* и *не-я*. Напримѣръ: умъ — мой, чувство — мое, рука — моя, но это все не есть *я*, то-есть, *не-я*: что же такое есть это загадочное, неуловимое *я*? Давай смотрѣться въ зеркало: вотъ и лицо съ глазами и носомъ, и грудь, и руки, и ноги, и весь *я* — все это *не-я;* такимъ

образомъ оба эти термина начинаютъ спотыкаться и перепутываться въ моей головѣ, а я все смотрю на себя въ зеркало: и мое лицо кажется уже не моимъ, а чужимъ, и руки кажутся чужими, и весь являюсь я для себя чужимъ; это ужъ не я, а мой страшный двойникъ. Въ испугѣ я трясу головой, машу надъ нею обѣими руками, будто гоню изъ нея дьявольское наваожденіе, и бѣгу стремглавъ отъ своего страшнаго двойника на волю, подъ открытое небо. Что же касается до философіи о пространствѣ и времени и о безконечномъ, то въ ней обращалъ на себя мое вниманіе вопросъ о безконечномъ. Я ухищрялся разрѣшить его себѣ также путемъ наглядности. Для времени я бралъ настоящую минуту и отъ нея велъ самого себя и назадъ, въ безпредѣльное прошедшее, и впередъ въ безпредѣльное будущее; то же дѣлалъ и для пространства, исходя отъ того пункта, гдѣ сижу или стою, и также направляясь мысленно назадъ и впередъ въ безконечную даль. Мнѣ очень понятно и ясно представлялась возможность вѣчно итти впередъ или вѣчно впередъ жить до безконечности и въ безконечности; но когда мысли мои обращались назадъ для пространства и времени, я никакъ не могъ представить себѣ вразумительно и наглядно ни безпредѣльности, ни безначальности и становился втупикъ, а чѣмъ сильнѣе напрягалъ свои мысли и воображеніе, тѣмъ глубже тонулъ въ потемкахъ своей философской путаницы. Этотъ умозрительный кошмаръ сильно меня озадачивалъ тогда и потому засѣлъ клиномъ въ моей памяти.

Моею охотою философствовать Дмитрій Осиповичъ удачно воспользовался для практическихъ упражненій въ латинскомъ языкѣ. Онъ читалъ со мною Баумейстера и изъ прочитаннаго и объясненнаго дѣлалъ мнѣ вопросы по-латыни, и я долженъ былъ отвѣчать ему на томъ же языкѣ. Къ этому надобно прибавить, что и содержаніе одъ Горація, упрощенное прозаическимъ переводомъ, давало ему поводъ говорить со мною по-латыни. Съ благодарностью воспоминалъ я эти бесѣды, будучи студентомъ третьяго курса, когда Дмитрій Львовичъ Крюковъ читалъ намъ римскія древности на латинскомъ языкѣ и на экзаменѣ требовалъ отъ насъ отвѣтовъ по-латыни.

Изъ этого разсказа о моемъ школьномъ обученіи вы видите, что оно состояло изъ двухъ періодовъ: изъ гимназическаго и семинарскаго. Оба они были организованы и приведены въ стройный порядокъ предусмотрительными заботами и бдительнымъ попеченіемъ моей матушки. Вотъ почему съ живѣйшею призна-

тельностью всегда воспоминалъ я и теперь воспоминаю вмѣстѣ съ вами о моемъ школьномъ обученіи. Оно пробудило во мнѣ любовь къ наукѣ, которая потомъ навсегда сдѣлалась предметомъ и цѣлью всей моей жизни.

VII.

Послѣ этого длиннаго эпизода перехожу къ письмамъ, которыя матушка писала ко мнѣ изъ Пензы въ Москву въ теченіе двухъ лѣтъ, отъ августа 1834 г. до мая 1836 г. У меня сохранилось ихъ до 30. Предлагаю изъ нихъ слѣдующія выдержки.

„19-го августа 1834 г. Другъ мой Ѳеденька! Письмо твое меня утѣшило тѣмъ, что ты привыкаешь къ одиночеству на чужбинѣ. Ты пишешь, что ты писалъ ко мнѣ прежде этого письма и отправилъ 8-го августа, а я ничего не получала, даже и извѣстія, хотя бы отъ извозчика, который васъ возилъ; но онъ не пріѣзжалъ. Напиши все ко мнѣ: по чемъ нанялъ квартиру, и что̀ заплатилъ извозчику, и много ли у тебя осталось денегъ. Хозяйскій чай не пей, а свой всегда пей: это дешевле и лучше. Не мори себя, покупай на завтракъ бѣлый хлѣбъ, ты любишь его: кушай, — мы себѣ откажемъ въ лакомствѣ: насъ много, мы и черный будемъ ѣсть; онъ у насъ сдѣлался въ половину дешевле. Ради Бога, не сиди убійственно за своимъ приготовленіемъ къ университету, ты уморишь себя, да и не одного себя“.

„21-го августа 1834 г. Первое письмо твое въ дурномъ расположеніи духа писано. Что̀ дѣлать! Имѣй терпѣніе. Это есть первое горе въ твоей жизни, и ты такъ дурно его выносишь. Молись милосердному Создателю. Мнѣ предчувствіе говоритъ, что ты будешь счастливъ за бѣдствія мои. Ты мнѣ не сказалъ, былъ ли ты у Иверской Божіей Матери и святыхъ мощей; если не былъ, то пожалуйста сходи и помолись имъ, что̀ должно бы быть первымъ твоимъ выходомъ съ квартиры. Я не получила на этой почтѣ отъ тебя письма, — не сроптала. Пиши, покуда не перемѣнится твоя судьба, всякую почту. Ты говоришь, что дорого за квартиру платишь. Нельзя дешевле этого. Я рада, что не дороже. Напиши, какъ васъ содержатъ, какія кушанья и кто бѣлье моетъ. Не мори себя; вѣрно, у васъ на квартирѣ только обѣдъ и ужинъ, а ты захочешь еще покушать: покупай. У васъ хорошія сайки и вообще бѣлый хлѣбъ“.

28-го августа 1834 г. Ты меня пугаешь своей грустью и страхомъ, что тебя не примутъ въ университетъ. Что дѣлать!

Ты не съ тѣмъ ѣхалъ, что имѣлъ вѣрную надежду, чтобы тебя приняли. Мы и дома съ тобой разсуждали, что это намъ будетъ тяжело. Годъ, который ты долженъ быть вольнымъ слушателемъ, Господь милостивъ, Онъ дастъ намъ средства не умереть съ голоду. Не горюй, мой милый! Обними меня своими твердыми руками; поцѣлуй меня, какъ друга и мать. Мнѣ тоже не легко: обстоятельства мои опять худы... Пиши ко мнѣ обо всемъ, что ты чувствуешь и что съ тобою случится во время экзамена. Наталья Васильевна мнѣ пишетъ, что ты ласковъ къ нимъ и просилъ, чтобы онѣ тебя перекрестили на экзаменъ. Это меня радуетъ. Будь всегда хорошъ, мой другъ; утѣшь меня: это одна моя отрада въ этой гибельной для меня жизни".

„11-го сентября 1834 г. Обними меня, милый мой студентъ! Поздравляю тебя, мой голубчикъ! Цѣлую тебя. Господи! Какъ мы всѣ обрадовались, что ты принятъ. Я это услышала въ первый разъ на Рождество Богородицы. Мнѣ сказали Яворскаго дѣти [1]), и я сдѣлалась, какъ безумная: плачу, молюсь, смѣюсь, цѣлую ихъ; потомъ пришла въ себя и не хотѣла вѣрить до тѣхъ поръ, пока письмо твое мнѣ скажетъ. И теперь нѣтъ сомнѣнія: мы съ тобою счастливы, мой другъ. Одно остается — просить на казенное содержаніе, но Господь милостивъ. Ты пишешь, что тебѣ и обѣщали. Но одно остается мнѣ — молить Господа, чтобы ты не измѣнился въ своихъ правилахъ, — и тогда я счастлива".

„2-го октября 1834 г. Здорово, другъ мой, Ѳедюша! Расцѣлуй меня, голубчикъ мой! Какъ бы посмотрѣла я на тебя въ новомъ твоемъ чинѣ и въ новомъ жилищѣ! Поздравляю тебя съ этимъ счастьемъ, и себя поздравила и благодарила Господа за Его къ намъ милость, точно неожиданную по строгостямъ. Другъ мой, ради Господа и бѣдственности твоей матери, веди себя такъ, какъ я привыкла тебя знать и помнить".

При этомъ письмѣ приложены двѣ записки отъ моихъ пензенскихъ учителей, одна отъ Александра Христофоровича Зоммера, а другая отъ Дмитрія Осиповича Львова, въ отвѣтъ на мои письма. Помѣщаю ихъ здѣсь обѣ.

„Поздравляю васъ отъ души, любезнѣйшій Ѳедоръ Ивановичъ, съ благополучнымъ окончаніемъ экзамена вашего. Зная вашу нравственность и прилежаніе, твердо увѣренъ, что вы и на окончательномъ поприщѣ вашего просвѣщенія будете столь же

---

[1]) О Яворскомъ см. ниже, въ письмахъ отъ 8 января 1835 года.

счастливы, какъ и на первоначальномъ. Утѣшайте меня и впредь, хотя изрѣдка, вашимъ пріятнымъ увѣдомленіемъ; симъ вы обяжете преданнѣйшаго вамъ — А. Зоммеръ".

„Любезный мой Ѳедоръ Ивановичъ. Ваши блестящіе успѣхи въ вашемъ предпріятіи меня очень радуютъ и подаютъ надежду еще на бо́льшіе. Благодарю искренно васъ и за память ко мнѣ, и за желаніе мнѣ добраго. Желаемаго и вамъ желаю получить; съ симъ чувствомъ и моимъ къ вамъ почтеніемъ есть любящій васъ — Д. Львовъ".

„16-го октября 1834 г. Только, милый мой Ѳедюша, я было успокоилась: ты писалъ мнѣ, что ты уже переходишь въ университетъ жить; письмо твое отъ 1-го октября меня потрясло. Я боюсь, что ты не поступишь въ число казенныхъ воспитанниковъ. Денегъ 20 рублей ассигнаціями тебѣ посылаю сполна. Пожалуйста, на книги меньше употребляй. Я знаю, что казеннымъ воспитанникамъ не только книги, даже карандаши и бумага даются казенные. А если книги покупать, ты знаешь наше состояніе, а на книги надобно много денегъ. Если можно изъ этихъ денегъ что-нибудь употребить на книги, то на самыя необходимыя и недорогія. Рада, мой другъ, что ты знакомъ съ такими значительными людьми и образованными, только прошу тебя ни съ кѣмъ изъ нихъ не дружиться. Ты поѣхалъ въ Москву съ хорошей нравственностью, и это въ глазахъ добрыхъ и честныхъ людей цѣнится лучше графства и княжества. Береги себя въ тѣхъ правилахъ, которыя утѣшали меня. Кастору Никифоровичу поклонись отъ меня и скажи ему мою искреннюю благодарность за привѣтствіе тебя. Вотъ, дружокъ мой, ты узналъ горе и нужду. Въ письмѣ твоемъ говоришь о себѣ: „нѣтъ бѣднѣе меня". Горько слышать это матери. Куда дѣвалось твое благословеніе бѣдности? Ты меня часто утѣшалъ и говаривалъ, что я не умѣю нести своей участи съ терпѣніемъ. Это потому, что не тебя касались мои горькія обстоятельства".

17-го ноября 1834 г. Знаешь ли, какъ ты меня огорчилъ своимъ молчаніемъ? Я все придумала худшее съ тобою, а больше всего, что ты боленъ, или уже нѣтъ тебя на свѣтѣ. Но сейчасъ письмо твое получила, и оно сдѣлало радостное волненіе во всемъ домѣ. Дѣти кричатъ: „письмо отъ братца!" Андрюша[1]) прыгаетъ, крича: „письмо отъ Ѳедора!" Одна я молчу и вѣрно больше всѣхъ чувствую. Пожалуйста, мой другъ, пиши, хотя недѣли

[1]) Мой дядя.

ерезъ три, если черезъ двѣ не можешь. Денегъ я тебѣ послала
0 рублей ассигнаціями, еще октября 15-го или 16-го числа.
не понимаю, какъ такъ долго ты ихъ не получилъ. Я какъ
ріѣхала изъ Керенска, то съ первою же почтою ихъ послала.
адобности твои для меня очень уважительны, и я скорѣй от-
ажу себѣ во всемъ необходимомъ, нежели милому моему Ѳе-
ору. Письмо твое меня очень обрадовало, что ты теперь подъ
адзоромъ лучшаго родителя, благодѣтеля сиротъ, нашего ми-
остивѣйшаго монарха. Да продлитъ Господь ему многія лѣта
милости до насъ, сиротъ. Молись за него больше, нежели
меня. Онъ облегчилъ мою участь и далъ тебѣ образованіе.
бы хотѣла взглянуть на тебя въ твоемъ новомъ костюмѣ.
думаю, что ты еще выросъ. Мнѣ нравится и я даже благо-
арю тебя, что ты учишься еще танцовать: это вѣдь тоже по-
езно въ обществѣ... Ты пишешь, что грустишь. Это оттого,
думаю, что и я имѣю эту слабость. Хоть и журю сама себя
асто, но все-таки не исправляюсь. Расцѣлуй, мой другъ, меня...
оклонись милому моему Кастору Никифоровичу и скажи ему
ою безграничную благодарность за тебя".

„27-го ноября 1834 г. Не знаю, милый дружокъ, и не
ойму твоего невниманія, почему ты рѣдко пишешь. Письмо
ое вѣдь писано октября 21-го, послѣднее, которое я полу-
ила. Неужели цѣлый мѣсяцъ ты не нашелъ времени мнѣ пи-
ать? Это не хорошо, мой другъ. Если бы я не увѣрена была
тебѣ, то могла бы усомниться, подумавъ, что ты теперь
ожешь жить безъ моей помощи, и потому не хочешь безпо-
оить себя перепиской. Но я знаю тебя, и потому-то мнѣ му-
ено твое молчаніе. Дядя пишетъ тоже ко мнѣ, что онъ пи-
лъ и тебѣ, и не получилъ отвѣта. И Никифоровы пишутъ
у, что ты у нихъ не былъ, и онъ не знаетъ, на что̀ по-
мать. Сдѣлай милость, умѣй цѣнить къ себѣ расположеніе.
коди къ Капитолинѣ Яковлевнѣ Никифоровой, тебя тамъ очень
ласкаютъ, и напиши къ Андрею Сергѣевичу. Я ужасаюсь
тебя. Ради Господа, береги себя и не будь опрометчивъ
дружеству, а въ московскомъ университетѣ это ужасно:
ухи, убійственные для матерей, имѣющихъ сыновьевъ въ ономъ.
мъ необузданная молодежь[1]) не умѣетъ цѣнить благодѣяній
шего милостивѣйшаго, незабвеннаго, благодѣтельнаго мо-
рха. Другъ мой, умоляю тебя ради всѣхъ моихъ бѣдствій:

---

[1]) Это намекъ на Полежаева, Герцена и др.

помни милости отца нашего государя, молись за него, а связи съ товарищами ничего не могутъ дать тебѣ хорошаго, кромѣ поселятъ неблагодарность къ тому, что̀ должно чтить, какъ святыню. Все-таки умоляю тебя, не имѣй дружества: оно опасно и кромѣ зла ничего не приноситъ. Убѣгай всего, кромѣ твоихъ занятій, а знакомства съ товарищами меня ужасаютъ. Мнѣ часто приходитъ въ голову, что я тебя потеряла. Пожалѣй, милый мой Ѳедюша, меня. Я всѣ уже испытала бѣдствія, а это меня убьетъ. Любовцовы[1]) тебѣ кланяются. Озеровъ[2]) принятъ въ казанскій университетъ; онъ по юридическому факультету, живетъ у профессора. Пиши ко мнѣ; не забывай, что твои письма радуютъ меня, даже все семейство оживотворяется отъ твоего письма. Ѳедюша! мнѣ хочется видѣть тебя и безъ тебя. Попроси Аполлона[3]), чтобы онъ утѣшилъ глупость матери: онъ хорошо рисуетъ — нарисовалъ бы твой портретъ, если захочетъ меня этимъ одолжить. Помнишь, какъ Лопатинъ[4]) удачно карандашомъ съ тебя скопировалъ. Душенька, похлопочи, а если Аполлонъ не можетъ, то кто изъ товарищей, или какой бѣднякъ сдѣлаетъ намъ это за бездѣлицу. Ты этимъ меня утѣшишь. А величины портретъ чтобы былъ съ эту бумажку; она вырѣзана по медальону“.

„20-го декабря 1834 г. Другъ мой! Каково, мой милый, должно быть твое восхищеніе, когда ты узнаешь, черезъ кого получишь это письмо. Да, мой голубчикъ, почтенная, добрая, милая Марѳа Андреевна[5]) уѣхала отъ меня. Эта потеря для меня была не очень чувствительна, если бы она не въ Москву поѣхала. Вотъ какъ Господь милостивъ до насъ съ тобою. Ты думалъ, что въ Москвѣ не найдешь души знакомой: анъ явились и благодѣтели, милые, добрые родные, нѣтъ — больше этого. Я знаю тебя, что ты тоже умѣешь цѣнить, всегдашнее помня ея доброе расположеніе, и потому не для чего напоминать тебѣ, чтобы ты, какъ къ роднымъ, въ свободное время ходилъ къ Владыкинымъ. Я увѣрена въ нихъ, что и тебя, не какъ чужого для ихъ чувствъ, примутъ. Писать не могу больше, потому что не очень здорова“.

---

[1]) Въ этомъ семействѣ я давалъ уроки, будучи гимназистомъ.

[2]) Тотъ гимназистъ, который познакомилъ своихъ товарищей съ Гётевымъ «Вертеромъ».

[3]) Т.-е., Аполлона Ильича Верховцева.

[4]) Молодой человѣкъ изъ помѣщиковъ нашей губерніи.

[5]) Владыкина.

„1-го января 1835 года. Другъ мой! ты ропщешь на меня
и думаешь, что я сержусь на тебя. Нѣтъ, милый, ты меня
очень утѣшилъ своимъ послушаніемъ. Письмо твое съ тою
почтою, также и къ дядѣ, я получила. Оно меня утѣшило и
обрадовало. Милый мой, обними меня, мой добрый и послушный
сынъ! Я молчала оттого, что была больна. Двѣ недѣли, какъ
я въ постели; убійственные ревматизмы меня опять посѣтили.
День Рождества Господня, не знаю, какъ прошелъ. Нынѣче
лучше. Вотъ и рука можетъ марать. Не безпокойся теперь
обо мнѣ. А ты оскорбляешься, что я прошу тебя беречь свои
правила. Нѣтъ, милый, не оскорбляйся: я не думаю, чтобы
они измѣнились, но сообщества я боюсь, а ты увѣрилъ, что
не имѣешь его, — и я покойна. Не обижай меня и не изби-
вай повѣренныхъ. Я горжусь правилами моего сына. Одна мо-
лодость твоя меня иногда ужасаетъ. Къ Никифоровымъ ходи.
Они пишутъ и брату, что очень тебя полюбили, и особенно
этотъ молодой Зиновей Ивановичъ[1]) тебя очень полюбилъ. Не
теряй этого знакомства. Обними меня, мое сокровище! утѣшь
меня безцѣнной любовью“.

„8-го января 1835 г. Я думаю, милый мой Ѳедюша, ты
уже зналъ, какъ я встрѣтила праздникъ и Новый Годъ. Тебя,
мой другъ, благодарю, много благодарю, что ты писалъ ко мнѣ
это время всякую почту. Это меня утѣшало. Нынче я, слава
Богу, сижу и могу пройтись по своей спальнѣ; на Крещеніе
въ гостиной сидѣла и видѣла крестный ходъ. Слаба еще очень,
но ужасные ревматизмы не много уже безпокоятъ. Лѣчилъ меня
нынче почтенный Яворскій[2]). Какъ жаль мнѣ его: онъ пере-
веденъ въ Москву. Кому-то лечить меня безъ ничего? Я рада,
что ты весело провелъ праздникъ и съ милыми, добрыми род-
ными. Мнѣ досадно, что ты праздникомъ не былъ у Никифоро-
выхъ. Если этому мѣшалъ все мундиръ, то я уже начинаю
сердиться на мундиръ и, право, совѣтую тебѣ любить вицъ-
мундиръ лучше мундира, котораго у тебя нѣтъ, и будь дово-
ленъ тѣмъ, что̀ есть. Сходи къ Никифоровымъ нынче и из-
винись, почему не могъ быть праздникомъ; будь откровененъ,
сходи къ нимъ. Этимъ угодишь дядѣ, да и для тебя не дурно.
Напиши, имѣлъ ли ты хоть маленькій случай потанцовать

---

[1]) Никифоровъ, сынъ Капитолины Яковлевой.

[2]) Главный врачъ, въ Пензѣ, человѣкъ очень богатый и нашъ добрый знакомый. Разумѣется, лѣчилъ всѣхъ насъ даромъ (см. въ письмѣ 11-го сентября 1834 г.).

въ Москвѣ, и что̀ твое ученье танцевъ, — продолжается ли нѣтъ? Да и гдѣ твое имущество, взятое изъ дому? Напиши мнѣ. Даютъ ли казенные носочки? И что̀ и чего тебѣ дали? Напиши, это не тяжело тебѣ, а мнѣ знать необходимо надобно, а иначе я не сумѣю, какъ пещись о тебѣ. Устала я, Ѳедюша, прости, обними меня, мой милый, и поцѣлуй. Благословеніе Господне надъ тобой. Дѣти тебѣ кланяются и цѣлуютъ. Софья очень хорошо учится, читаетъ прекрасно. Она часто для меня читаетъ, когда я сама устану. Софья — милая дѣвочка и трудолюбивая. Она мало нынче играетъ: или учится, или работаетъ, или мнѣ что̀ читаетъ. Это меня восхищаетъ: я съ ней, какъ бывало съ тобою, совѣтуемся и разговариваемъ.

„А Серафима? ахъ, Серафима! Она меня пугаетъ. Это такая беззаботная голова. Она, кажется, о земномъ нисколько не заботится, учится — и это все машинально. Читаетъ ужасно еще дурно. Когда учитель ей подпишетъ въ аттестатѣ: „хорошо“, я спрашиваю ее, за что̀ ей хорошо подписали? Она говоритъ: „не знаю, что ему вздумалось это написать“, и пойдетъ къ учителю, спрашиваетъ его: „за что вы мнѣ подписали: „хорошо“? я училась дурно, а вы вздумали подписать мнѣ „хорошо“?“ И вотъ ея чудесное правило. Софья тебя цѣлуетъ и обнимаетъ, тоже и Серафима цѣлуетъ тебя. Вчерась и нынче замучила она меня, велѣла написать: долго ли, говоритъ, мнѣ его ждать? Я соскучилась. Неужели до Святой недѣли онъ еще не пріѣдетъ? И даже сердится за это на тебя. Нянька тебѣ кланяется“.

„22-го января 1835 г. Здоровье мое очень медленно, но, слава Богу, поправляется. Голубчикъ мой, ты пишешь, что грустишь о родинѣ и о насъ. Это потому, что мое, изнуренное болѣзнью и горестью, бѣдное сердце тоскуетъ и вѣсть даетъ отлетѣлому твоему дѣтскому сердчишку. Да, Ѳедюша, наше свиданіе неизвѣстно: проклятая бѣдность! ты всему виною. Я хожу по комнатамъ, но не знаю, кажется, я всю зиму не почую свѣжаго, зимняго, морознаго воздуха. У меня сколько постояльцевъ и какіе, ты хотѣлъ знать. Кажется, ты писалъ мнѣ когда-то. Первый Дмитрій Осиповичъ [1]), и къ нему на той недѣлѣ пріѣхалъ Павелъ Осиповичъ, его братъ, а въ дѣ·ской, или кабинетѣ — и какъ бы эту комнату назвать, въ которую ходъ изъ лакейской и изъ дѣвичьей — квартируетъ недавно

[1]) Учитель семинаріи, съ которымъ я занимался по-гречески и по-латыни.

ѣхавшій изъ московской академіи инспекторъ здѣшней семинаріи на всемъ столѣ, а въ залѣ часто поденно кто-нибудь ѣзжій изъ Керенска".

„2-го іюля 1835 г. Сейчасъ получила письмо твое. Какъ село, какъ радостно! Ты портретъ свой прислалъ, и я увижу ое изображеніе, увижу моего Ѳедора, моего милаго студента, мое утѣшеніе. Но не знаю, скоро ли посылку принесутъ почты. Ты меня много, очень много обрадовалъ. Расцѣлуй ня: да, я скоро буду цѣловать твое изображеніе. Братъ[1]) ѣ сказалъ, что я могу ѣхать съ нимъ въ Москву; но я юсь, чтобы это какъ не перемѣнилось. Я такъ несчастлива, о все, что̀ бы ни задумала для пользы своей, или обратится ѣ во вредъ, или вовсе не удастся. Я писала тебѣ, что у меня дутъ выгодные постояльцы. Это я хлопотала о казенныхъ ьчикахъ. И добрый Платонъ Филипповичъ[2]) обѣщалъ мнѣ, о ихъ непремѣнно ко мнѣ поставятъ. Но онъ уѣхалъ, а гурнаторъ отказалъ мнѣ въ этомъ. И вѣрно тебѣ опредѣлено ать тяжесть судьбы, давившей меня такъ сильно столько лѣтъ".

„16-го іюля 1835 г. Я очень тебѣ благодарна, мой другъ, портретъ. Расцѣлуй меня, мой милый. Но мало, кажется, хожъ на тебя, особенно носъ. Неужели годъ такъ чудесно ремѣнилъ тебя? Да и волосы совсѣмъ почти темные, а ты халъ, имѣя свѣтло-русые. Но я смотрю на него, воображаю бя. Все-таки, мой милый, какъ ты меня обрадовалъ этимъ даркомъ! Я думаю, онъ тебѣ дорого стоитъ[3]), да и книга нечкина тоже для тебя не дешева. Скажи, мой другъ, послѣ кихъ издержекъ не обѣднѣлъ ли ты? Соня очень обрадовась книгѣ; говоритъ всѣмъ, что это ей братецъ подарилъ. и не пишешь, какъ нашелъ французское письмецо Софьи. думаю, много ошибокъ; зато она сама сочиняла и писала. съ, Ѳедюша, какъ тяжело для матери, когда ея дитя учатъ ъ жалости! Мадамъ Софьина, Дюбютъ, ужаснаго характера, я много, очень много отъ нея испытала. Она — какъ сильно аруетъ при первомъ съ ней свиданіи, такъ вдвое разочаруетъ продолженіе знакомства. Но если бы она не занималась нѣсколько минутъ съ Софьей, то давно бы я кончила съ нею

---

[1]) Андрей Сергѣевичъ Сергѣевъ.

[2]) Совѣтникъ Любовцовъ.

[3]) Портретъ писанъ акварелью на слоновой кости не дорогимъ, но порядочнымъ живописцемъ. Я былъ тогда при деньгахъ, потому что, по рекомендаціи Степана ановича Клименкова, давалъ уроки въ одномъ богатомъ семействѣ.

знакомство. Это нестерпимая эгоистка, ужасная педантка, и къ тому же ужасный характеръ. И я для пользы своего дѣтища поклоняюсь этому бѣснующемуся идолу. Тяжело, очень тяжело, ну, какъ не сказать: о бѣдность проклятая! Горе жить съ тобою. — Другъ мой, ты просишь моего согласія, учиться ли тебѣ на этотъ годъ еще двумъ языкамъ. Ты знаешь мое правило: я не терплю того, чтобы браться за многое и ни въ одномъ не усовершенствоваться. По-моему, лучше совѣтую тебѣ заниматься тѣмъ, что̀ преподаютъ по твоему отдѣленію, и въ томъ усовершенствоваться. Но если ты имѣешь столько желанія и времени, чтобы еще учиться двумъ языкамъ, то лучше англійскому и итальянскому, нежели арабскому и персидскому. Я совѣтую лучше первымъ двумъ, а впрочемъ, какъ ты хочешь; ты въ этомъ лучше знаешь, да и то больше меня помнишь, что восточная словесность основательнѣе преподается въ казанскомъ университетѣ, нежели въ московскомъ[1]). Ты пишешь, что черезъ годъ мы будемъ вмѣстѣ, т.-е. въ Пензѣ съ тобой. Точно, я всѣ силы употреблю, чтобы это сдѣлать. А какъ бы я хотѣла побывать у тебя, мое сокровище, взглянуть на тебя, поговорить съ тобою, обнять тебя“.

VIII.

Опасаясь нарушить порядокъ моихъ студенческихъ занятій и желая сколько возможно больше провести время вмѣстѣ со мною, моя матушка выбрала для поѣздки въ Москву рождественскіе праздники. Она пріѣхала ко мнѣ въ половинѣ декабря 1835 г., оставалась со мною до конца января 1836 г., и все это время гостила у Маріы Андреевны Владыкиной, которая квартировала, какъ вамъ уже извѣстно, въ Зубовѣ, у Неопалимой Купины. На все время этихъ праздниковъ, продолжавшихся для университета около трехъ недѣль, и я изъ своего студенческаго номера перебрался къ Владыкинымъ, чтобы пожить съ матушкой, какъ жилось намъ, говорилось и чувствовалось въ Пензѣ. Разумѣется, и въ будничные дни лекцій я улучалъ себѣ каждый возможный часъ и шелъ къ ней въ Зубово съ своими тетрадками и книжками.

Когда я представляю себѣ всѣ эти дни и недѣли сполна и огуломъ, мнѣ мерещится смутная путаница святочныхъ ве-

[1]) Тогда восточное отдѣленіе было только въ одномъ казанскомъ университетѣ, славившееся знаменитыми преподавателями. Потомъ было оно переведено вмѣстѣ съ профессорами изъ казанскаго университета въ петербургскій.

эровъ у Владыкиныхъ и Верховцевыхъ, съ знакомыми гостями
съ незнакомыми наѣзжими посѣтителями въ маскахъ и разно-
алиберныхъ костюмахъ, съ играми въ фанты и со всевозмож-
ыми святочными гаданіями, потомъ ложа Большого театра
ь пѣніемъ тенора Бантышева: „Ужъ какъ вѣетъ вѣтерокъ“ —
ь „Аскольдовой Могилѣ“, съ роковыми словами Мочалова:
Быть или не быть — вотъ въ чемъ вопросъ“ — въ „Гамлетѣ“,
этомъ... но всего не перечтешь. Въ этомъ перепутанномъ
ѵбкѣ всякихъ подробностей съ оторванными концами я не
ѣю отыскать нити, по которой въ послѣдовательномъ по-
дкѣ я могъ бы разсказать вамъ, какъ день за день прово-
ли мы съ матушкой все это время. Да и вообще взаимныя
вства матери и сына послѣ долгой разлуки и въ краткій срокъ
ланной встрѣчи трудно поддаются описанію, по крайней мѣрѣ
ѣ не по силамъ.

Изъ того, что̀ неотвязчиво копышится въ моей памяти и
ко всплываетъ въ воображеніи, сообщу вамъ слѣдующіе три
изода.

Во-первыхъ, въ одинъ изъ долгихъ зимнихъ вечеровъ въ ма-
ькой комнаткѣ мезонина, у Неопалимой Купины, сижу я за
оломъ и пишу, составляя лекцію по черновымъ наброскамъ,
скоро начерченнымъ каракулями со словъ профессора. То
ла лекція Михаила Петровича Погодина. О чемъ была она,
рѣшительно забылъ, но живо и ясно помню и до сихъ поръ
душевныя волненія, которыя въ тотъ вечеръ я перечувство-
лъ. Я одинъ-одинехонекъ, около меня тихо,— и снаружи, въ
ухомъ переулкѣ, и внутри по комнатамъ мезонина; всѣ до-
шніе собрались внизу, можетъ быть съ гостями; тамъ же и
тушка. А я сижу себѣ и по складамъ разбираю свои муд-
ные іероглифы, и изъ каждой каракульной черточки, будто
ъ музыкальной ноты, извлекаю себѣ по словечку, и каждое
овечко звучитъ въ моихъ ушахъ голосомъ самого профессора,
къ онъ произнесъ его мнѣ на лекціи. Вдругъ входитъ ма-
шка, я оставляю работу и начинается разговоръ. Ей инте-
сно знать, что̀ я пишу, и я подробно разсказываю ей со-
ржаніе всей лекціи, будто профессору на экзаменѣ, и чѣмъ
льше она заинтересовывается, тѣмъ сильнѣе я одушевляюсь,
изъ роли студента перехожу въ роль Михаила Петровича,
тораго и тогда я уже такъ полюбилъ. Матушка слушаетъ
смотритъ на меня, любуется, и, наконецъ, не вытерпѣла —
схохоталась, обнимаетъ меня и цѣлуетъ. Ей и радостно, и

ужъ очень смѣшно, какъ ея милый сынокъ корчитъ изъ себя ученаго мужа и профессора. Вотъ вамъ первый опытъ, которымъ я дебютировалъ свое призваніе на университетскую каѳедру, и первымъ лицомъ изъ всѣхъ моихъ слушателей и слушательницъ была моя матушка.

Второй эпизодъ — въ нашемъ студенческомъ номерѣ казеннаго общежитія, около трехъ часовъ пополудни. Пообѣдавъ, мы только что вернулись изъ столовой. Въ комнатѣ толкотня, какая бываетъ обыкновенно, когда только что войдутъ въ нее нѣсколько человѣкъ и никто не успѣетъ еще приняться за свое дѣло. Вдругъ между нами является моя матушка. Она поджидала нашего возвращенія въ прихожей, ведущей въ коридоръ, и вошла вслѣдъ за нами. Она намѣренно назначила себѣ этотъ часъ, чтобы не помѣшать нашимъ занятіямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ взять меня съ собою на весь вечеръ въ Зубово. Мнѣ извѣстно было ея намѣреніе посѣтить нашъ номеръ, но я не зналъ навѣрное, когда именно будетъ оно ею исполнено. Появленіе дамы въ стѣнахъ нашего студенческаго общежитія было такою необычайностью, что поступокъ моей матушки въ теченіе всего четырехлѣтняго моего пребыванія въ этихъ стѣнахъ оказался единственнымъ исключеніемъ. Ласково привѣтствуя моихъ товарищей, она выразила опасеніе, не помѣшала ли она и извиняла себя тѣмъ, что желала увидѣть своими глазами, гдѣ и какъ живетъ ея сынъ, и лично познакомиться съ его товарищами, о которыхъ она такъ много хорошаго отъ него наслышалась. Въ отвѣтъ на эти привѣтливыя слова стѣснительная принужденность моихъ товарищей, вызванная этою непривычною случайностью, замѣнилась услужливою вѣжливостью: кто снимаетъ съ нея салопъ и кладетъ на диванъ, кто принимаетъ отъ нея скинутый ею съ головы капоръ, кто придвигаетъ ей стулъ къ моему столику, чтобы сѣсть ей рядомъ со мною. Находясь въ такомъ исключительномъ положеніи между своими товарищами, я былъ чрезвычайно взволнованъ, и разумѣется, не могу теперь припомнить ни слова изъ бесѣды, которую вела матушка со мною и съ моими товарищами. Желая знать все, что касается меня, она должна была непремѣнно увидѣть, какія вещи и какъ берегутся у меня въ ящикѣ и на нижнихъ полочкахъ моего столика. Товарищи помогали мнѣ вытаскивать оттуда бумагу, перья, носовые платки, книги. Между ними было карманное изданіе сочиненій Шиллера въ нѣсколькихъ томикахъ, которое я пріобрѣлъ на вырученныя уроками деньги.

При этомъ матушка говорила товарищамъ, что знаніемъ нѣмецкаго языка я обязанъ пензенскому учителю Зоммеру, и присовокупила, что, воротившись изъ Москвы домой, какъ порадуетъ она его, разсказавъ ему обо всемъ этомъ. Она не ограничилась посѣщеніемъ номера. Ей необходимо было видѣть Степана Ивановича Клименкова и жену его Ольгу Семеновну, чтобы поблагодарить ихъ за ихъ вниманіе и ласку ко мнѣ. Къ нимъ изъ нашего номера внизъ проводилъ ее Еленевъ, уже знакомый вамъ изъ моихъ разсказовъ.

Это посѣщеніе университета моею матушкою принесло мнѣ великую пользу, внушивъ убѣжденіе и товарищамъ моимъ, и непосредственному, ближайшему начальству, что сынъ такой разсудительной и заботливой матери не можетъ сдѣлаться дурнымъ человѣкомъ.

Третій эпизодъ — самый коротенькій. Матушка уѣзжаетъ отъ меня изъ Москвы. Я ее провожаю. Сижу рядомъ съ нею въ крытыхъ саняхъ. Изъ Зубова, направляясь къ Рогожской заставѣ, мы ѣхали, вѣроятно, по Пречистенкѣ, потому что очутились на набережной Москвы-рѣки у Тайницкихъ воротъ кремлевской стѣны. Только это одно и помню. Здѣсь мы должны были разстаться. Прощаясь со мною, она благословила меня послѣдній разъ на этомъ свѣтѣ. Въ трудныя и горькія минуты жизни всегда укрѣпляло, спасало и утѣшало меня это послѣднее ея благословеніе.

Задолго до поѣздки моей матушки въ Москву, еще въ іюлѣ 1835 г., я писалъ къ ней о моемъ рѣшительномъ намѣреніи въ теченіе года отъ уроковъ скопить себѣ столько денегъ, чтобы на слѣдующее лѣто 1836 г. я могъ побывать у ней въ Пензѣ. Вотъ что отвѣчала она въ письмѣ отъ 6 августа 1835 г.

„Ты угадалъ, мой другъ Ѳедюша, что очень обрадуешь меня. Да и какъ не радоваться намъ, мой другъ: твое счастіе — и мое тутъ же, твоя радость — и моя вмѣстѣ. Господь услышалъ наши малыя молитвы, и я начинаю чувствовать радость для меня еще новую. Я вами маленькими только любовалась и радовалась, смотря на васъ; но теперь моя радость большую отъ той имѣетъ разницу. Мой сынъ одинъ, уже безъ подпоры слабой руки матери, живетъ цѣлый годъ, и о немъ я слышу радостныя, лестныя, усладительныя для матери извѣстія. Об-

ними меня, расцѣлуй, мой милый, за все то, что я о тебѣ слышу. Ты заслуживаешь, если бы можно, удесятерить мою любовь къ тебѣ; но любовь моя къ тебѣ сильна и возвыситься уже не можетъ больше... Въ саду у насъ яблоковъ довольно. Какъ досадно, что ты не можешь ничѣмъ пользоваться. Ну, зато, если Богу угодно будетъ, чтобы ты былъ на будущій годъ, тебѣ, я думаю, всякое кислое яблоко съ своей яблони будетъ тогда казаться вкуснѣе московскихъ персиковъ. Да, мой другъ, мнѣ очень хочется, чтобы ты былъ на будущій годъ въ Пензѣ. Боюсь загадывать. Но если не будешь — нѣтъ, непремѣнно ты долженъ быть у насъ. Да и не такъ тяжелъ будетъ проѣздъ. Васъ много тамъ: если троимъ ѣхать, то очень дешево будетъ, и особенно когда ты самъ будешь хлопотать, чтобы легче сдѣлать для меня твой переѣздъ къ намъ".

Лѣтомъ 1836 г. я пріѣхалъ въ Пензу и не засталъ уже моей матушки въ живыхъ. Она скончалась, заразившись горячкою отъ одной своей пріятельницы, за которою неусыпно ухаживала нѣсколько дней до самой ея смерти. Какъ жила на землѣ, такъ и отошла въ вѣчность моя матушка, принося себя въ жертву милосердію и состраданію къ ближнимъ.

IX.

Въ своихъ воспоминаніяхъ о студенчествѣ я остановился на самомъ главномъ и существенномъ, именно — на университетскомъ преподаваніи, которымъ пользовался я въ теченіе четырехлѣтняго курса, съ 1834 г. по 1838 г.

Сначала надобно сказать нѣсколько словъ объ аудиторіяхъ, гдѣ слушали мы лекціи. Первые два года онѣ были въ старомъ зданіи университета, и для словеснаго отдѣленія — тѣ самыя двѣ залы, о которыхъ я уже говорилъ вамъ въ началѣ моихъ воспоминаній, т.-е. одна, гдѣ производился нашъ вступительный экзаменъ, и другая, подъ нею, гдѣ читалъ намъ лекцію Шевыревъ, когда несчастный студентъ бросился изъ окна карцера на землю. Послѣдняя назначалась для перваго курса, а первая — для двухъ старшихъ (студентовъ четвертаго курса тогда еще не было). Въ 1835 г. было окончено перестройкою новое зданіе университета, и послѣдніе два года мы слушали лекціи уже въ немъ. Намъ дана была большая словесная аудиторія, именно та самая, въ которой потомъ въ теченіе многихъ лѣтъ и я, будучи профессоромъ, читалъ лекціи своимъ слушателямъ.

Сколько всего было тогда въ университетѣ студентовъ, навѣрное сказать не могу, чтобы не ошибиться въ цѣлой сотнѣ, а считались они въ то время еще не тысячами, какъ теперь, а только сотнями. Вы сами можете назвать приблизительную цифру вотъ по какой смѣтѣ. На лекціяхъ богословія первые курсы всѣхъ четырехъ факультетовъ свободно могли умѣщаться въ упомянутой выше словесной аудиторіи перваго курса нашего отдѣленія, и студенты всегда были на лицо почти въ полномъ ихъ составѣ, потому что протоіерей Петръ Матвѣевичъ Терновскій строго взыскивалъ со студентовъ посѣщеніе его лекцій, каждый разъ заставляя того или другого изъ насъ пересказать, что было читано въ прошедшій разъ, отсутствующаго же отмѣчалъ въ своемъ спискѣ. Не забудьте при этомъ, что только съ нашего поколѣнія студентовъ началась надбавка еще одного годичнаго курса на каждый факультетъ. Такимъ образомъ, когда мы перешли на четвертый курсъ, число студентовъ увеличилось, а черезъ годъ и еще прибавилось, когда медики перешли на пятый курсъ. Не помню, въ которомъ году, предписано было закрыть въ Москвѣ медицинскую академію, помѣщавшуюся въ зданіяхъ клиники, что на углу Рождественки и Кузнецкаго Моста. Она упразднялась, кажется, не вдругъ, а постепенно, начиная съ низшихъ курсовъ, и по мѣрѣ того ежегодно пребывалъ лишній наплывъ слушателей въ медицинскій факультетъ университета и вмѣстѣ съ тѣмъ умножалось число студентовъ. Впрочемъ все это совершилось, когда мы уже кончили курсъ.

Несмотря на однообразіе мундирной формы, общій составъ студентовъ отличался большею разрозненностью отъ того сплошного уровня, какой представляетъ теперь студенческая корпорація. Наглядное доказательство этому можете составить вы сами, когда я познакомлю васъ съ формою печатныхъ студенческихъ списковъ по всѣмъ четыремъ факультетамъ. Каждый списокъ раздѣлялся на три рубрики, съ особымъ заглавіемъ для каждой. Первая рубрика: казеннокоштные студенты, вторая — своекоштные студенты и третья — слушатели. Обратите вниманіе: въ послѣдней рубрикѣ уже „не студенты“, а только „слушатели“, но это не то, что теперь называется „вольными слушателями“: лица этой рубрики имѣютъ право носить студенческій мундиръ и ходить на лекціи, но студентами быть не могутъ потому, что съ этимъ званіемъ соединенъ извѣстный чинъ, а они по закону не могли имѣть на него права, потому

что принадлежали къ податному сословію и числились въ немъ до тѣхъ поръ, пока не выдержатъ окончательнаго экзамена. Такимъ образомъ, мѣщанинъ или купецъ (за исключеніемъ почетнаго гражданина) только съ пріобрѣтеніемъ званія дѣйствительнаго студента или кандидата получалъ увольненіе изъ податного сословія и уравнивался въ правахъ со всѣми своими товарищами по университету. Впрочемъ и то сказать, что между „податными“ слушателями были больше мѣщане, такъ какъ купцы, по крайней мѣрѣ у насъ въ Москвѣ, смотрѣли тогда на университетъ недовѣрчиво и косо и даже боялись его для своихъ сыновей, чтобы они въ студентахъ не „обофицерились“. — Сверхъ того, отдѣленіе казеннокоштныхъ студентовъ подъ особую рубрику отъ своекоштныхъ постоянно бросалось въ глаза и университетскому начальству, и профессорамъ, и самимъ студентамъ, и невольно напоминало о контрастѣ между неимущими и имущими, или, по крайней мѣрѣ, между бѣдными и богатыми. Согласно такому порядку вещей, само собою приходилось и въ рубрикѣ своекоштныхъ отличать разночинцевъ отъ столбовыхъ дворянъ и вообще незнатныхъ отъ знатныхъ.

Этому дѣленію по сословіямъ и состоянію соотвѣтствовало и яркое различіе, и пестрота въ костюмахъ, когда мы всѣ явились на вступительный экзаменъ и потомъ въ теченіе нѣкотораго времени, пока мы еще не успѣли нарядиться въ студенческій вицмундиръ. На бѣднякахъ изъ разночинцевъ и мѣщанъ по большей части сюртуки разныхъ покроевъ и всевозможныхъ цвѣтовъ: кто въ длинноломъ и широкомъ, сшитомъ на ростъ или съ чужого плеча, кто въ коротенькомъ и узкомъ, засаленномъ, надтреснутомъ по швамъ, съ явными признаками, что напялившій на себя эту оболочку давно уже выросъ изъ нея и руками, и ногами, и всѣмъ корпусомъ. Богатые и знатные — въ черныхъ курточкахъ и непремѣнно въ голландскихъ широкихъ воротничкахъ, спускающихся на плечи, гладкихъ и бѣлыхъ, какъ снѣгъ, и потому мелькавшихъ свѣтлыми пятнами по сѣрому фону остальной толпы.

Пущему нарушенію уровня вступающихъ въ университетъ помогало значительное ихъ различіе по лѣтамъ и возрасту: мальчикамъ-гимназистамъ (тогда у нихъ формы не было) и подросткамъ въ курточкахъ годились бы чуть не въ отцы совершеннолѣтніе богословы, которые по окончаніи курса въ семинаріи, вмѣсто дьяконства и священничества, избирали себѣ университетскую науку.

Ко всему сказанному я долженъ прибавить объ одной характеристической особенности, которою рѣзко отличались отъ всѣхъ прочихъ своихъ товарищей нѣкоторые изъ студентовъ высшаго сословія. Такихъ было въ нашей аудиторіи человѣкъ пять-шесть. Въ теченіе всего перваго года каждый изъ нихъ являлся въ университетъ въ сопровожденіи своего гувернера или воспитателя, который оставался тутъ же въ аудиторіи на всѣхъ лекціяхъ. Эти спутники своихъ питомцевъ помѣщались не на скамьяхъ вмѣстѣ со студентами, а на стульяхъ по обѣимъ сторонамъ каѳедры. Въ полуденную смѣну, въ промежутокъ между лекціями, столпившись у окна близъ каѳедры, они завтракали, вынимая изъ кармана куски бѣлаго хлѣба. Этотъ, по теперешнему странный и невозможный, обычай туторскаго надзирательства никому изъ насъ не бросался въ глаза своею неумѣстностью; онъ былъ въ порядкѣ вещей, когда дозволялось поступать въ университетъ безъ аттестата „зрѣлости“, и забота родителей о своихъ несовершеннолѣтнихъ студентахъ казалась тогда дѣломъ самымъ естественнымъ и необходимымъ. Я нарочно медлю на этой оригинальной особенности, чтобы дать вамъ почувствовать атмосферу тогдашняго университета, ввести васъ въ его обстановку, столь необычайную для теперешнихъ нравовъ. Эти охранительные проводники студентовъ въ аудиторіяхъ, неудобопонятные и немыслимые въ концѣ XIX вѣка, требуютъ для своего объясненія столькихъ же комментаріевъ, какъ Виргилій, котораго Дантъ взялъ себѣ тоже въ проводники, когда заблудился въ дремучемъ лѣсу на пути своей жизни.

Вы не осудите меня въ педантской выходкѣ за это сравненіе, когда узнаете, что въ числѣ приставниковъ, поневолѣ дежурившихъ на лекціяхъ при своихъ питомцахъ, находился одинъ человѣкъ, который вполнѣ заслуживаетъ этого сравненія по неукоснительному исполненію высокаго призванія быть руководителемъ и охраною своего собственнаго сына, еще мальчика шестнадцати лѣтъ, вступавшаго теперь на новое и великое поприще науки и жизни. Это былъ Ѳедоръ Васильевичъ Самаринъ, отецъ поступившаго вмѣстѣ съ нами въ университетъ, по словесному отдѣленію, Юрія Ѳедоровича, впослѣдствіи знаменитаго государственнаго дѣятеля по освобожденію крестьянъ.

Приступая теперь къ перечню нѣкоторыхъ изъ моихъ университетскихъ товарищей своекоштнаго разряда, начну съ Юрія Ѳедоровича.

Въ то время богатые и знатные дворяне приготовляли своихъ сыновей къ вступительному въ университетъ экзамену у себя дома, и не только въ своихъ помѣстьяхъ, но и въ самой Москвѣ, гдѣ тогда былъ очень хорошій дворянскій институтъ; впрочемъ, онъ предназначался для дворянъ средней руки и ограниченныхъ средствъ. Въ гимназіяхъ по преимуществу учились дѣти горожанъ и мѣстныхъ чиновниковъ и, какъ вы уже знаете, пріобрѣтали очень скудныя познанія, которыя не могли удовлетворять требованіямъ образованныхъ людей изъ высшаго дворянства. Этимъ объясняется настоятельная потребность того времени учреждать въ благовоспитанныхъ зажиточныхъ семействахъ сколько возможно полныя и правильныя домашнія школы для своихъ дѣтей съ надлежащимъ количествомъ воспитателей и наставниковъ. Такая домашняя школа, примѣрная и образцовая, процвѣтала въ Москвѣ болѣе двадцати пяти лѣтъ въ семействѣ Ѳедора Васильевича Самарина, начиная съ дѣтства Юрія Ѳедоровича и потомъ по мѣрѣ возрастанія его пятерыхъ братьевъ. Это домашнее учебное заведеніе оставило по себѣ самыя свѣтлыя изъ моихъ воспоминаній о старинной Москвѣ, потому что я самъ лично принималъ въ немъ участіе много лѣтъ сряду, въ качествѣ наставника и экзаминатора, и могъ вполнѣ оцѣнить высокія достоинства отца семейства, когда онъ съ сердечнымъ рвеніемъ, а вмѣстѣ и съ неукоснительною точностью и примѣрнымъ благоразумiемъ исполнялъ обязанности директора и инспектора своей родной школы.

На лѣтнее время эта образцовая школа изъ московскаго дома Самариныхъ, находившагося на углу Тверской и Газетнаго переулка, переносилась въ ихъ имѣніе Измàлково, отстоящее отъ Москвы въ двадцати верстахъ по смоленской дорогѣ, и обученіе въ ней безъ всякаго перерыва и въ томъ же порядкѣ шло, какъ и въ Москвѣ. Экипажъ, запряженный четвернею, съ пунктуальною точностью часовъ и минутъ, ежедневно доставлялъ учителей изъ города въ деревню и отвозилъ назадъ. Радушіе и привѣтливая угодливость, съ какими Ѳедоръ Васильевичъ тамъ принималъ насъ, своихъ сотрудниковъ по школѣ, теперь въ моихъ воспоминаніяхъ получаютъ какую-то мечтательную, поэтическую окраску, благодаря одному семейному преданію, которое, вѣроятно, займетъ видное мѣсто въ фамильной хроникѣ Самариныхъ. Будучи женихомъ, Ѳедоръ Васильевичъ подарилъ своей невѣстѣ, Софьѣ Юрьевнѣ (урожденной Нелединской-Мелецкой) очень богатое ожерелье. Въ

теченіе всего перваго года ихъ супружества Софьѣ Юрьевнѣ ни разу не привелось надѣть на себя эту драгоцѣнность, и она предложила своему мужу дать этому завѣтному подарку другой и болѣе полезный для нея видъ, купивши на цѣну ожерелья подмосковную деревню, и такимъ образомъ было пріобрѣтено Измàлково.

Чтобы дать вамъ понятіе о предусмотрительности и благоразумной смѣтливости Ѳедора Васильевича въ выборѣ наставниковъ для Юрія Ѳедоровича, достаточно будетъ сказать, что эта домашняя школа при самомъ началѣ своемъ дала московскому университету двухъ преподавателей, изъ которыхъ одинъ былъ гувернеромъ Юрія Ѳедоровича, именно — Пакò, впослѣдствіи лекторъ французскаго языка, а другой — его учителемъ латинскаго и русскаго языковъ, логики и словесности — магистръ московской духовной академіи, а потомъ профессоръ эстетики, Николай Ивановичъ Надеждинъ.

Когда мы съ Пакò были товарищами по преподаванію въ филологическомъ факультетѣ московскаго университета, онъ много интереснаго разсказывалъ мнѣ о фамиліи Самариныхъ изъ того далекаго времени, когда Юрій Ѳедоровичъ былъ еще мальчикомъ, и, между прочимъ, сообщилъ мнѣ одинъ прелюбопытный анекдотъ, который по своей исторической значительности долженъ занять мѣсто въ моихъ воспоминаніяхъ, если только онъ не былъ уже напечатанъ гдѣ-нибудь прежде.

Во второй половинѣ двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія Самарины находились въ Римѣ. Однажды Софья Юрьевна съ дѣтьми поѣхала кататься въ коляскѣ, запряженной парою лошадей. При ней въ экипажѣ были Юрій Ѳедоровичъ съ своимъ гувернеромъ Пакò и двухлѣтній Миша на рукахъ у няньки (онъ давнымъ-давно померъ чахоткою, вскорѣ по окончаніи университетскаго курса). Прогулка была направлена къ базиликѣ Maria Maggiore, и экипажъ, обогнувъ по площади эту церковь, въѣхалъ въ длинную и прямую улицу, упирающуюся въ площадь базилики Іоанна Латеранскаго.

Въ то время улица эта была одна изъ самыхъ глухихъ и пустынныхъ, между огородами и виноградниками, отъ которыхъ съ обѣихъ сторонъ отдѣлялась она непрерывно тянущимися высокими каменными стѣнами, которыя кое-гдѣ перемежались воротами. На всемъ ея протяженіи, съ обѣихъ же сторонъ, шли широкіе тротуары, отдѣленные отъ проѣзжей дороги высокими и развѣсистыми деревьями, которыя въ солнечный день

манили гуляющихъ подъ свою освѣжительную тѣнь. И папа Григорій XVI любилъ прогуливаться пѣшкомъ по этой улицѣ, запросто одѣтый въ свою бѣлую рясу монаховъ грегоріанскаго ордена. Осенью 1840 года именно здѣсь привелось мнѣ съ нимъ встрѣтиться. Я шелъ въ тѣни по тротуару; вдругъ очутился передо мною каноникъ въ черной рясѣ и приглашаетъ меня сойти съ тротуара на середину улицы, потому что на встрѣчу мнѣ пойдетъ подъ деревьями самъ папа. Вышедши на дорогу, я остановился, чтобы ходьбою не сократить себѣ времени для разсмотрѣнія его святѣйшества въ наибольшей подробности. Между тѣмъ, опережая меня, стремились на встрѣчу святому отцу благочестивые итальянцы, человѣка два-три становились на колѣни и преклоняли голову, а онъ осѣнялъ ихъ крестнымъ знаменіемъ. Когда онъ сталъ подходить ближе, передо мною очутился англичанинъ и, размахивая обѣими руками и поднявъ надменно голову, прошелъ мимо папы, даже не снимая шляпы. Меня покоробило отъ этой дерзкой невѣжливости, и я обрадовался случаю заткнуть за поясъ британское нахальство. Когда Григорій XVI поровнялся со мною, я мгновенно рѣшилъ показать ему, что я не католикъ, но человѣкъ благовоспитанный. Я стоялъ на ногахъ, не тронувшись съ мѣста, и, обнаживъ свою голову, поклонился ему въ поясъ, какъ кланяются коронованнымъ особамъ, а онъ любезно привѣтствовалъ меня общепринятымъ у итальянцевъ жестомъ, слегка помахивая правой рукою, на манеръ того, какъ дамы обвѣваютъ свое лицо опахаломъ. Только что успѣлъ я воротиться съ середины проѣзжей дороги на тротуаръ, какъ ко мнѣ подошелъ тотъ же папскій служка и вѣжливо спросилъ, кто я такой? — „Русскій изъ Москвы, студентъ московскаго университета", отвѣчалъ я. — Знай, дескать, нашихъ.

Но извините, римскія воспоминанія далеко увлекли меня, и я немножко заболтался. Мы оставили Самаринныхъ, когда они только что поворотили съ площади Maria Maggiore въ ту пустынную улицу (какъ она называется, теперь не припомню). Проѣхавъ нѣсколько минутъ, Софья Юрьевна, желая пройтись въ тѣни деревьевъ, вышла изъ коляски, а за нею и Пакò съ Юріемъ Ѳедоровичемъ; но ребенокъ, покоясь на колѣняхъ няньки, такъ увлеченъ былъ удовольствіемъ кататься на лошадяхъ, что расплакался, когда его хотѣли взять съ собою. Надобно было оставить его съ нянькою въ экипажѣ. Такимъ образомъ Софья Юрьевна съ своей маленькой свитою шла по

гуару, а рядомъ по дорогѣ тихонько тащилась коляска. угъ изъ воротъ выскочилъ оселъ съ двумя корзинками по имъ бокамъ и заверещалъ благимъ матомъ; лошади шарахись въ сторону, а потомъ во весь опоръ помчались впеь вдоль по улицѣ. Пакò, ошеломленный внезапностью перехода, могъ мнѣ припомнить изъ этихъ мгновеній тревоги и нянія только то, какъ несчастная мать, обезумѣвъ отъ ужаса, мглавъ бросилась вслѣдъ за уносящимся отъ нея ребенкомъ, ь она не разъ спотыкалась и падала и все не уставала бѣь. Но только что коляска домчалась до площади Іоанна Ланскаго, Пакò, постоянно вперяя свои взоры вдаль, вдругъ втилъ, какъ мелькнула какая-то фигура около бѣсившихся адей, и онѣ мгновенно остановились. Когда всѣ трое дошли до спасеннаго отъ гибели Миши вмѣстѣ съ нянькою кипажемъ, они увидѣли красиваго молодого человѣка, щеголевато одѣтаго и въ свѣтлыхъ перчаткахъ, который держалъ ь уздцы обѣихъ лошадей. Это былъ Луи-Наполеонъ, будуимператоръ французовъ.

Теперь отъ фамиліи Самариныхъ перехожу къ обѣщанному мною коротенькому перечню тѣхъ изъ своекоштныхъ студовъ моего времени, съ которыми тогда или потомъ, много ь спустя, приводилось мнѣ вступать въ болѣе или менѣе кія отношенія. Всѣ они были только изъ двухъ факультеь — филологическаго и юридическаго; что же касается до екоштныхъ медиковъ и математиковъ, то изъ нихъ ни съ ь вовсе не былъ я даже и знакомъ. Начну съ филологовъ, дуя алфавитному порядку.

Андрѣ, Александръ Александровичъ. Учился въ первой московской гимназіи. Между нами, студентами, былъ самый приный и во всемъ исполнительный; считался однимъ изъ лучъ знатоковъ латинскаго языка и пользовался особымъ расоженіемъ Дмитрія Львовича Крюкова, нашего профессора ской словесности. Бóльшую часть своей трудовой жизни ь директоромъ коммерческаго училища въ Москвѣ.

Бецкій, Иванъ Егоровичъ. По окончаніи университетскаго са нѣсколько лѣтъ служилъ гдѣ-то въ провинціи, потомъ очень давно переселился во Флоренцію, гдѣ и живетъ ыѣздно больше тридцати лѣтъ престарѣлымъ холостякомъ дворцѣ Спинелли-Трубецкой, въ улицѣ Гибеллини, т.-е., ворцѣ, принадлежавшемъ нѣкогда старинной итальянской иліи Спинелли, а теперь — князьямъ Трубецкимъ. Весною

1875 г. провелъ я цѣлый мѣсяцъ во Флоренціи и чуть не каждый день видался съ Бецкимъ, возобновляя и освѣжая въ памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тѣмъ легче было мнѣ молодѣть и студенчествовать вмѣстѣ съ нимъ, что онъ, проведя почти полстолѣтія вдали отъ родины, какъ бы застылъ и окаменѣлъ въ тѣхъ наивныхъ, юношескихъ взглядахъ и понятіяхъ о русской литературѣ и наукѣ, какіе были у насъ въ ходу, когда въ аудиторіи мы слушали лекціи Давыдова, Шевырева и Погодина. Этотъ милый монументально-окаменѣлый студентъ у себя дома въ громадномъ кабинетѣ забавляется откармливаніемъ пѣвчихъ пташекъ, которыхъ развелъ многое-множество въ глубокой амбразурѣ всего окна, завѣсивши его сѣткою. А когда онъ прогуливается по улицамъ Флоренціи, постоянно держитъ въ памяти свою дорогую Москву, отыскивая и пріобрѣтая для нея у букинистовъ и антикваріевъ разные подарки и гостинцы, въ видѣ старинныхъ гравюръ и курьезныхъ для исторіи быта рисунковъ, и время отъ времени пересылаетъ ихъ въ Московскій Публичный и Румянцевскій музей.

Бычковъ, Аѳанасій Ѳедоровичъ. Директоръ Императорской Публичной библіотеки и въ настоящее время первый знатокъ славяно-русскихъ рукописныхъ и старопечатныхъ памятниковъ.

Катковъ, Михаилъ Никифоровичъ. Знаменитый публицистъ и редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“. Сначала былъ профессоромъ философіи въ московскомъ университетѣ, а впослѣдствіи — директоромъ основаннаго имъ вмѣстѣ съ Леонтьевымъ лицея цесаревича Николая.

Кудрявцевъ, Петръ Николаевичъ. Даровитый литераторъ и такой замѣчательный профессоръ всеобщей исторіи въ московскомъ университетѣ, что самъ Грановскій, его учитель, отдавалъ ему передъ собою первенство. Кудрявцева увидалъ я въ первый разъ не въ аудиторіи, а въ нашемъ казенномъ номерѣ, и — какъ сейчасъ вижу — съ повязаннымъ по щекѣ бѣлымъ платкомъ: у него болѣли зубы. Онъ пришелъ тогда къ своему товарищу по курсу, Сергѣю Дмитріевичу Шестакову, котораго потомъ всегда считалъ самымъ близкимъ изъ своихъ немногихъ друзей.

Князь Мещерскій, Борисъ Васильевичъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ былъ губернскимъ предводителемъ дворянства въ Твери; кое-какія подробности о его студенчествѣ разскажу вамъ потомъ.

Пановъ, Василій Ивановичъ. Онъ былъ моложе меня по

су годами двумя, и потому въ ту пору я мало его зналъ, но ою 1840—1841 гг. сошелся съ нимъ товарищески въ Римѣ, отомъ мы были съ нимъ хорошими пріятелями и въ Москвѣ, емъ разныя подробности сообщу вамъ въ свое время.

Филимоновъ, Александръ Ивановичъ. Попечитель графъ Строовъ отличилъ его еще между студентами и впослѣдствіи взялъ себѣ на службу правителемъ канцеляріи московскаго учебо округа.

Эминъ. Имени и отчества его не припомню, потому что накомился съ нимъ и изрѣдка встрѣчался, когда онъ былъ профессоромъ армянскаго языка въ Лазаревскомъ институтѣ точныхъ языковъ. Въ ученой литературѣ онъ пріобрѣлъ себѣ етную извѣстность своими работами по исторіи, литературѣ ревностямъ Арменіи.

Теперь изъ своекоштныхъ студентовъ по юридическому фаьтету:

Графъ Деляновъ, Иванъ Давыдовичъ. Министръ народнаго свѣщенія. Кончилъ курсъ первымъ кандидатомъ въ обнонномъ при попечителѣ графѣ Строгановѣ юридическомъ фаьтетѣ.

Поповъ, Александръ Николаевичъ. По окончаніи курса держъ экзаменъ на магистра и написалъ диссертацію о Русской авдѣ, потомъ занималъ видное мѣсто на службѣ въ Петергѣ. На студенческой скамьѣ я его не зналъ, но послѣ сося и подружился съ нимъ черезъ графа Александра Сервича Строганова, съ которымъ онъ былъ въ самыхъ близкихъ арищескихъ отношеніяхъ, о чемъ разскажу вамъ нѣкоторыя робности, гдѣ слѣдуетъ.

Графъ Строгановъ, Александръ Сергѣевичъ, тотъ самый, которомъ сейчасъ было упомянуто. Его отецъ, графъ Сергій игорьевичъ, ничѣмъ не могъ лучше и полнѣе выразить своего вѣрія, уваженія и любви къ московскому университету, какъ къ, что, немедленно по вступленіи въ должность попечителя, ъ отдалъ въ него учиться своего старшаго сына и наслѣдка огромнаго майората, даже рискуя впасть въ немилость у сударя Николая Павловича, который очень не жаловалъ студентовъ.

Князь Черкасскій. Извѣстный государственный дѣятель, осоенно прославившійся своими административными качествами Болгаріи по освобожденіи ея отъ турецкаго ига. Въ студенствѣ я не былъ съ нимъ знакомъ, да и послѣ того очень

рѣдко съ нимъ встрѣчался, потому не знаю ни имени его и отчества; но живо представляю его себѣ и теперь въ студенческомъ мундирѣ по одному случаю, который крѣпко застрялъ въ моей памяти. Когда помощникъ попечителя, Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, женился на Новосильцевой, то взялъ себѣ въ шафера именно этого самаго князя Черкасскаго. Бракосочетаніе совершалось въ церкви Іоанна Богослова на Тверскомъ бульварѣ, около большого каменнаго дома Голохвастовыхъ, въ углубленіи обширнаго двора, съ двумя каменными же корпусами, выходящими съ обѣихъ сторонъ къ бульвару. Теперь онъ принадлежитъ какому-то богатому промышленнику. Мы, студенты, сгарая любопытствомъ видѣть собственными глазами одного изъ своихъ товарищей въ великомъ почетѣ, съ вѣнцомъ въ рукѣ надъ головою нашего грознаго принципала, собрались гурьбой и переполнили всю церковь. Для порядку шнырялъ между нами одинъ изъ субъ-инспекторовъ. Церемонія происходила въ лѣтніе сумерки, но еще за свѣтло. Изъ растворенныхъ оконъ виднѣлась сплошная толпа любопытствующихъ; между ними мелькали и студенческіе вицмундиры. Вдругъ оттуда раздалось пѣніе пѣтуховъ — въ публикѣ произошло движеніе; субъ-инспекторъ засуетился и бросился вонъ изъ церкви; я и стоящіе около меня товарищи перепугались до смерти, почуявъ бѣду: ну, какъ это закричалъ пѣтухомъ кто-нибудь изъ нашихъ, да попадется — что тогда будетъ! Но дѣло обошлось благополучно: субъ-инспекторъ воротился къ намъ, и пѣтухи замолкли. Не разъ послѣ этого мнѣ видѣлось во снѣ, будто меня отдаютъ въ солдаты, а въ ушахъ раздается „кукареку“.

Должно быть, въ одно время со мною слушали лекціи въ московскомъ университетѣ на младшихъ курсахъ будущіе профессора: Соловьевъ, Леонтьевъ, Кавелинъ и Калачевъ, но я ихъ рѣшительно не помню студентами.

Наше студенчество отъ 1834 г. по 1838 г. было настоящею эрою, которая отдѣляетъ древній періодъ исторіи московскаго университета отъ новаго, и, какъ нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичнаго курса. По ту сторону этой грани старое зданіе университета, старые профессора съ патріархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрація, доведенная къ концу до самоуправства, а по эту сторону — новое зданіе университета, отмѣченное и на его фронтонѣ 1835 годомъ, цѣлая фаланга новыхъ и молодыхъ профессоровъ, только что воротившихся изъ-заграницы, гдѣ обу-

ись, каждый по своей спеціальности, а одновременно съ ними
ѣстѣ явился и новый, тоже молодой (всего сорока лѣтъ), по-
читель московскаго учебнаго округа, графъ Сергій Григорье-
чъ Строгановъ, тогда еще свитскій генералъ, съ серебряными
олетами и такими же аксельбантами, а потомъ генералъ-адъ-
ютантъ, одинъ изъ немногихъ любимцевъ императора Николая
авловича и его ровесникъ по годамъ, а при новомъ попечи-
ѣ и новый инспекторъ, нашъ возлюбленный Платонъ Сте-
новичъ Нахимовъ, въ амуниціи моряка, по чину капитанъ
орого ранга.

Послѣ двухлѣтняго гнета подъ ферулою Дмитрія Павловича
олохвастова, мы, студенты 1834 года, могли вполнѣ оцѣнить
радостно почувствовать на себѣ самихъ благотворную силу
новленія во всемъ строѣ университетской жизни. Предше-
венникъ графа Строганова, князь Сергій Михайловичъ Голи-
нъ, знаменитый и первый вельможа въ Москвѣ и тоже лю-
мецъ императора Николая, былъ человѣкъ рѣшительно добрый
благотворительный, но, странное дѣло, ровно ничего для уни-
рситета не дѣлалъ, а вполнѣ предоставлялъ Голохвастову,
лать все, что̀ угодно. Онъ даже будто вовсе и не любилъ
ниверситета, и при насъ въ теченіе двухъ лѣтъ ни разу не
лъ въ аудиторіяхъ на лекціи; только однажды посѣтилъ онъ
шу казенную столовую во время обѣда, прошелся взадъ и
передъ между столами и, закинувъ голову, смотрѣлъ по верхамъ
ь потолокъ, на студентовъ же вовсе ни на кого и не взглянулъ.
рафъ же Строгановъ чуть не каждый день посѣщалъ лекціи
рофессоровъ и внимательно слушалъ каждую сначала до конца,
икогда не оскорбляя профессора преждевременнымъ выходомъ
ъ аудиторіи; а во время переходныхъ и выпускныхъ экзаме-
овъ любилъ знакомиться съ успѣхами и способностями экзаме-
ующихся студентовъ и съ особеннымъ вниманіемъ и участіемъ
ѣдилъ за тѣми изъ нихъ, которые были уже у него на при-
ѣтѣ по дарованіямъ и прилежанію. Такихъ онъ прочилъ для
дущаго ихъ назначенія въ профессора или въ учителя, какъ
примѣръ, Соловьева, Каткова, Селина, Кудрявцева, Шестакова,
авелина, Ершова, Давыдова, Авилова. Столько же слѣдилъ онъ
за преподаваніемъ въ гимназіи, и, присутствуя на урокахъ,
акомился съ учителями и съ даровитѣйшими изъ учениковъ,
ъ которыхъ многіе и потомъ всегда пользовались его вни-
ніемъ и покровительствомъ, какъ напримѣръ, Басистовъ,
еникъ второй московской гимназіи, впослѣдствіи извѣстный

педагогъ и литераторъ, или Михаилъ Иліодоровичъ Ляпинъ, из самаго перваго выпуска учениковъ по реальному отдѣлен третьей московской гимназіи. Этого, какъ спеціалиста, приго товленнаго къ практической промышленной дѣятельности, граф взялъ къ себѣ на частную службу въ качествѣ комиссіонер по сбыту желѣза изъ Строгановскихъ заводовъ. Впослѣдстви Ляпинъ сталъ извѣстенъ всей Москвѣ учрежденными имъ въ ст домахъ безплатными квартирами для студентовъ и вообще дл бѣдныхъ людей.

Графъ не оставлялъ безъ вниманія и низшихъ школъ и, посѣщая ихъ время отъ времени, лично наблюдалъ за успѣхам преподавателей, а иногда и учениковъ, съ которыми любил разговаривать, чтобы знакомиться съ ихъ способностями. Вот одинъ анекдотъ, который онъ самъ разсказывалъ мнѣ. Однажд въ какомъ-то приходскомъ училищѣ онъ былъ на урокѣ ка катехизиса. Дѣло шло о единомъ Господѣ Богѣ въ трехъ ипо стасяхъ. Законоучитель вызвалъ одного ученика лѣтъ семи по вторить сказанное и объясненное. Мальчуганъ, съ серьезнои и спокойною миною, не стѣсняясь присутствіемъ начальства, ме ленно и твердымъ голосомъ передалъ ученіе о Богѣ Отцѣ, о Богѣ Сынѣ и о Святомъ Духѣ. Графъ, заинтересованный да ровитымъ мальчикомъ, спросилъ его: „ну, а какъ же ты сам понимаешь, что такое Святой Духъ?“ Мальчикъ подумалъ и, не торопясь, отвѣчалъ: „птица“. „Какая же птица?“ воздержи ваясь отъ улыбки, спросилъ графъ. Мальчуганъ опять подумал и также медленно проговорилъ: „курица“. Съ трудомъ превоз могая себя, чтобы не расхохотаться, графъ серьезно и ласков спросилъ его: „почему же ты это знаешь, мой милый?“ — „А потому, — отвѣчалъ тотъ немедленно и съ увѣренностью, — что самъ видѣлъ на образѣ въ церкви“.

„Этотъ отвѣтъ, — присовокупилъ графъ къ своему раз сказу, — окончательно убѣдилъ меня въ даровитости и въ свѣт ливой находчивости семилѣтняго ребенка. Дѣйствительно, на старинныхъ иконахъ символическій голубь не летитъ съ рас простертыми крыльями, а стоитъ смирно, подобравъ и прижавши ихъ къ себѣ, и кажется какъ есть дворовою птицею, если намалеванъ неумѣлою рукою сельскаго иконописца“.

Въ первый же годъ своего попечительства графъ Строганов оказалъ великую услугу народному просвѣщенію, примиривъ го сударя императора съ московскимъ университетомъ, котора онъ не переставалъ держать въ опалѣ со времени печальн

исторіи, окончившейся солдатчиною Полежаева и ссылкою Герцена. Николай Павловичъ называлъ нашъ университетъ волчьимъ гнѣздомъ, и когда случалось ему проѣзжать мимо него, долго оставался въ дурномъ расположеніи духа. Потому надобно признать за особую его милость къ графу Строганову, что онъ соблаговолилъ посѣтить вмѣстѣ съ нимъ московскій университетъ и именно казеннокоштное общежитіе. Не знаю, какъ въ другихъ номерахъ, но въ нашемъ попечитель представилъ государю всѣхъ насъ до одного, особенно рекомендуя нѣкоторыхъ по успѣшнымъ занятіямъ въ той или другой спеціальности филологическаго факультета. Хорошо помню, что Шестаковъ (Сергій Дмитріевичъ), будущій профессоръ римской словесности, былъ рекомендованъ ему, какъ отличный латинистъ.

Графъ Строгановъ непремѣнно долженъ былъ въ скорѣйшемъ времени снискать расположеніе царя къ московскому университету, чтобы оправдать въ его глазахъ помѣщеніе своего собственнаго сына въ корпорацію студентовъ, которая до того времени была заподозрѣна правительствомъ. Актъ примиренія верховной власти съ университетскимъ преподаваніемъ блистательно завершенъ былъ всемилостивѣйшимъ рѣшеніемъ государя Николая Павловича послать своего собственнаго сына и наслѣдника цесаревича Александра Николаевича въ московскій университетъ — слушать лекціи анатоміи и физіологіи у профессора Эйнброта. Этотъ курсъ лекцій состоялся по зимѣ того же года и былъ читанъ спеціально для цесаревича и его немногочисленной свиты, въ одной изъ залъ стараго зданія университета, направо отъ воротъ.

Въ этой свитѣ находился и поэтъ Жуковскій. Я тогда видѣлъ его въ первый и послѣдній разъ въ большой словесной аудиторіи новаго зданія, на лекціи Степана Петровича Шевырева о греческихъ лирикахъ и въ особенности о Пиндарѣ и Анакреонѣ. Отъ этой лекціи осталась въ моей памяти одна курьезная подробность. Вошедши въ аудиторію вмѣстѣ съ профессоромъ, Жуковскій не сѣлъ на кресло у каѳедры, а направился къ передней скамьѣ и какъ разъ къ тому ея краю, на которомъ сидѣлъ я. Надобно вамъ сказать, что у нашихъ скамеекъ для каждаго студента было отдѣльное сидѣнье, которое, какъ у креселъ, набито мочаломъ и покрыто кожею, и каждое помѣщалось въ свою перегородку, вдвигаясь въ нее и выдвигаясь. Когда я посторонился, чтобы дать Жуковскому свое мѣсто, онъ, садясь на подушку, которая нѣсколько выдвинулась изъ

перегородки, покачнулся и тихонько сказалъ мнѣ: „какъ бы тутъ не провалиться!“ — „Не опасайтесь“, отвѣчалъ я: „надобно только покрѣпче двинуть сидѣнье“, и помогъ ему это сдѣлать, а Шевыревъ между тѣмъ не начиналъ своей лекціи, пока мы усаживались.

Теперь перехожу къ профессорамъ. Мнѣ легко было объяснить вамъ, какъ обновился нашъ университетъ перемѣщеніемъ аудиторій изъ стараго зданія въ новое и замѣною старой администраціи новою. Тутъ самые предметы рѣзко отдѣлялись другъ отъ друга, какъ полосы различнаго цвѣта. Иное дѣло съ профессорами: въ ихъ средѣ обновленіе происходило въ большей постепенности и не въ одинаковой значительности по разнымъ факультетамъ. Сверхъ того, старое поколѣніе профессоровъ, въ силу преемственнаго развитія, само собою шло къ усовершенствованію, такъ что въ наше время оно давало представителей трехъ разрядовъ: отживающаго, средняго и молодого. Это вы сейчасъ увидите изъ перечня профессоровъ, которыя я ограничиваю нашимъ факультетомъ.

Въ старшемъ поколѣніи къ первому разряду относятся профессора съ самаго начала нашего столѣтія. Какъ люди, отжившіе свой вѣкъ, они удивляли и забавляли насъ своей оригинальностью и разными причудами, вмѣстѣ съ патріархальной простотою въ ихъ обращеніи со студентами, которымъ они обыкновенно говорили „ты“, и переходили на „вы“ только съ тѣми, на кого сердились. Вотъ два милыхъ образчика такихъ старожилыхъ чудаковъ.

Профессоръ греческой литературы Ивашкóвскій. Онъ являлся всегда въ высокихъ ботфортахъ и въ бѣломъ галстукѣ. Студенты, ожидая его на лекцію, непремѣнно должны были всѣ до одного ходить взадъ и впередъ по аудиторіи, такъ чтобы Ивашковскій незамѣтно вошелъ въ нее и незамѣтно же смѣшался съ толпою, будто на толкучемъ рынкѣ. Сохраняя такое инкогнито, онъ, разумѣется, никому не кланялся, и мы не должны были замѣчать его присутствія. Задѣвать и тѣснить его въ толпѣ не только позволялось, но даже было ему пріятно. Когда мы потолкаемся такимъ образомъ минутъ десять, онъ станетъ у каѳедры и, продолжая молчать, начнетъ медленно поворачивать голову въ ту и другую сторону и съ ласковою улыбкою поводить глазами на толпу. Это значитъ, что пора приниматься

за дѣло. Мы, стуча и шумя, усаживаемся по скамьямъ, и когда наступитъ тишина и порядокъ, Ивашковскій, не торопясь, взлѣзаетъ на каѳедру, и лекція начинается. Главною задачею нашею было, чтобы вмѣстѣ съ профессоромъ прогулять если не всю лекцію, то, по крайней мѣрѣ, насколько возможно. На это были между нами гораздые молодцы, человѣка два-три. Они умѣли подластиться къ нему и будто невзначай обронить словечко и исподволь втянуть его въ бесѣду, а онъ, очнувшись изъ забытья, сначала отвѣтитъ нехотя, а потомъ мало-по-малу разговорится. Цѣль достигнута: раздался звонокъ, и лекція благополучно покончена, а милый Ивашковскій, растерянно ухмыляясь, второпяхъ вышмыгнетъ изъ аудиторіи: самъ, дескать, виноватъ, впередъ буду умнѣе.

Другой такой же оригиналъ былъ профессоръ политической экономіи и статистики, Измаилъ Алексѣевичъ Щедри́тскій. Мы очень любили его за доброту и снисходительность къ намъ и за его простодушное патріархальное обращеніе съ нами на „ты“. Свои лекціи онъ читалъ намъ вмѣстѣ съ юристами. Одинъ изъ послѣднихъ, дѣтина ражій, веселаго нрава, но осанистый и съ внушительными манерами, по фамиліи Соловьевъ, пользовался особымъ вниманіемъ и расположеніемъ Щедритскаго. Этотъ студентъ имѣлъ обычай, какъ бы узаконенный давностью, являться къ намъ, когда Щедритскій уже сидѣлъ на каѳедрѣ и читалъ намъ свою лекцію. Соловьевъ входилъ въ аудиторію въ фуражкѣ и съ толстою палкою, которою, подпираясь, стучалъ, и, подойдя къ каѳедрѣ, останавливался, снималъ фуражку, отвѣшивалъ низкій поклонъ и провозглашалъ густымъ басомъ: „Измаилу Алексѣевичу мое глубокое почитаніе!“ Щедритскій, привыкнувъ къ этой церемоніи, ласково взглянетъ на него и кивнетъ ему головою, и станетъ продолжать лекцію только тогда, когда совершится процессъ усаживанія Соловьева на одной изъ переднихъ скамеекъ, стоявшей направо отъ каѳедры; садиться же онъ привыкъ, какъ всѣмъ было извѣстно, не иначе, какъ только на самой серединѣ скамейки, и для того находившіеся на ней студенты, чтобы дать ему мѣсто, слѣзали съ нея, топая ногами, и потомъ размѣщались по обѣ его стороны. Въ аудиторіи водворялся порядокъ, и Соловьевъ, ни разу не шелохнувшись, въ величественномъ спокойствіи, не спуская глазъ, любовался на Измаила Алексѣевича до самаго конца лекціи. Потому, вѣроятно, этотъ милый старичокъ и любилъ его, что видѣлъ въ немъ одного изъ своихъ усердныхъ слушателей.

Я долженъ вамъ сказать о другомъ столько же внимательномъ его слушателѣ. Это былъ извѣстный уже вамъ забулдыжный Новáкъ, неразрывный другъ долговязаго Холуйскаго. Онъ любилъ съ похмелья безмятежно дремать на лекціяхъ Щедритскаго и, чтобы ему никто не мѣшалъ, обыкновенно садился прямо противъ каѳедры на переднюю скамейку, на которой всегда было просторно, потому что студенты избѣгали ея, не желая торчать передъ глазами профессора. Для своего дремотнаго успокоенія, онъ, сидючи на скамьѣ, прижимался къ стоящему передъ нимъ столу и, поставивъ на него оба локтя, поддерживалъ свою отяжелѣвшую голову ладонями съ обѣихъ сторонъ. Его неподвижная поза внушала профессору уваженіе къ его сосредоточенному вниманію. Былъ одинъ случай, грозившій нарушить эту сосредоточенность, къ которому именно я и веду свою рѣчь. Къ числу юныхъ подростковъ перваго курса принадлежалъ упомянутый уже мною Александръ Ивановичъ Филимоновъ. Онъ былъ веселаго нрава, вертлявый и юркій и большой хохотунъ и гримасникъ. За эти качества Новáкъ отличилъ его своимъ благосклоннымъ вниманіемъ и позволилъ ему садиться рядомъ съ собою на лекціяхъ Щедритскаго, въ тѣхъ видахъ, чтобы Филимоновъ успѣлъ вò-время разбудить его и не дать ему ткнуться носомъ объ столъ. Это очень забавляло Филимонова, и онъ, какъ юла, вертѣлся на своемъ мѣстѣ: то взглянетъ на профессора, то шепнетъ на ухо Новаку́ или дотронется до его локтя, какъ кошка лапкою, то обернется къ товарищамъ и начнетъ подмигивать: да взгляните же, дескать, какъ мой сосѣдушка сладко почиваетъ. Однажды случилось Щедритскому застать этого забавнаго кривляку врасплохъ. — „Эй ты, востроглазый, коль самъ балбесничаешь, такъ не мѣшай же другому слушать мою лекцію! Перестань егозить, не то выгоню вонъ!“

Назову вамъ еще одного изъ представителей университетской старины. Это былъ Михаилъ Трофимовичъ Каченовскій. Нѣкогда знаменитый ученый и журналистъ, не щадившій своею ѣдкою критикою ни Шлёцера, ни Карамзина, ни даже самого Пушкина, въ наше время отживалъ или, точнѣе сказать, совсѣмъ отжилъ свой вѣкъ, и, будучи ректоромъ университета послѣ злосчастнаго, какъ вамъ извѣстно, Болдырева, читалъ намъ на четвертомъ курсѣ вмѣстѣ съ третьимъ исторію литературы славянскихъ нарѣчій по нѣмецкому учебнику Шафарика. Онъ былъ тогда уже глухой и почти слѣпой: вдаль кое-какъ видѣлъ, но читать могъ только въ очкахъ, которыя, помогая

ему вблизи, застилали передъ нимъ въ туманѣ все окружающее, и чтобы увидѣть насъ съ каѳедры, онъ долженъ былъ снимать съ носа свои очки, что̀ производилъ онъ довольно медленно, осторожно вытаскивая ихъ изъ-за ушей. Такимъ образомъ мы, сидя на лавкахъ передъ самою каѳедрою, были для него отдѣлены какъ бы темною завѣсою. Всякій разъ Каченовскій приносилъ съ собою Шафариковъ учебникъ, разлагалъ его на каѳедрѣ и старческимъ дряблымъ голосомъ, съ передышкою, подстрочно переводилъ нѣмецкую рѣчь на русскія слова. Монотонность такого чтенія съ неизбѣжными паузами, когда переводишь экспромптомъ, наводила на насъ томительную скуку, и тѣмъ больше потому, что намъ самимъ хорошо была знакома эта нѣмецкая книга; но мы терпѣли по необходимости и боялись отсутствовать на лекціи. Каченовскій и безъ того всегда отличался строгостью, а въ то время, будучи ректоромъ, требовалъ отъ насъ неукоснительнаго исполненія своихъ обязанностей, и для того выдалъ приказаніе, чтобы передъ каждою его лекціей дежурный субъ-инспекторъ дѣлалъ намъ перекличку по списку и отмѣчалъ на немъ отсутствующихъ, для доклада ректору. Намъ ничего не оставалось болѣе дѣлать, какъ всѣмъ сполна приходить на лекцію, сидѣть смирно и для развлеченія каждому читать свою книгу. Это продолжалось не долго; мы нашли выходъ изъ такого стѣснительнаго положенія.

Но предварительно я долженъ здѣсь съ вами объясниться. Дѣло идетъ о нашихъ ребяческихъ проказахъ въ аудиторіи. Сначала я думалъ было вовсе умолчать о нихъ изъ опасенія навлечь на себя порицаніе за то, что онѣ могутъ оскорбить память маститаго профессора и вмѣстѣ съ тѣмъ выставить съ забавной стороны студенческіе подвиги такихъ изъ моихъ товарищей, которые впослѣдствіи пользовались извѣстностью и всеобщимъ уваженіемъ. Но мнѣ было бы жаль не подѣлиться съ вами такимъ воспоминаніемъ, которое въ теченіе многихъ лѣтъ нерѣдко мелькало передо мною, когда я, будучи профессоромъ, входилъ въ аудиторію читать лекцію или когда выходилъ изъ нея — это была именно та большая словесная, въ которой мы, студенты, скучали у Каченовскаго. Не могли бы выступать въ моей памяти такъ заманчиво и привѣтливо эти увеселительныя проказы, если бы въ основѣ ихъ было что-нибудь недоброе, злое и оскорбительное и для профессора и для его слушателей. Мы не переставали уважать Каченовскаго, какъ безпощаднаго скептика, посягавшаго на достовѣрность Несторовой лѣтописи,

1875 г. провелъ я цѣлый мѣсяцъ во Флоренціи и чуть не каждый день видался съ Бецкимъ, возобновляя и освѣжая въ памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тѣмъ легче было мнѣ молодѣть и студенчествовать вмѣстѣ съ нимъ, что онъ, проведя почти полстолѣтія вдали отъ родины, какъ бы застылъ и окаменѣлъ въ тѣхъ наивныхъ, юношескихъ взглядахъ и понятіяхъ о русской литературѣ и наукѣ, какіе были у насъ въ ходу, когда въ аудиторіи мы слушали лекціи Давыдова, Шевырева и Погодина. Этотъ милый монументально-окаменѣлый студентъ у себя дома въ громадномъ кабинетѣ забавляется откармливаніемъ пѣвчихъ пташекъ, которыхъ развелъ многое-множество въ глубокой амбразурѣ всего окна, завѣсивши его сѣткою. А когда онъ прогуливается по улицамъ Флоренціи, постоянно держитъ въ памяти свою дорогую Москву, отыскивая и пріобрѣтая для нея у букинистовъ и антикваріевъ разные подарки и гостинцы, въ видѣ старинныхъ гравюръ и курьезныхъ для исторіи быта рисунковъ, и время отъ времени пересылаетъ ихъ въ Московскій Публичный и Румянцевскій музей.

Бычковъ, Аѳанасій Ѳедоровичъ. Директоръ Императорской Публичной библіотеки и въ настоящее время первый знатокъ славяно-русскихъ рукописныхъ и старопечатныхъ памятниковъ.

Катковъ, Михаилъ Никифоровичъ. Знаменитый публицистъ и редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“. Сначала былъ профессоромъ философіи въ московскомъ университетѣ, а впослѣдствіи — директоромъ основаннаго имъ вмѣстѣ съ Леонтьевымъ лицея цесаревича Николая.

Кудрявцевъ, Петръ Николаевичъ. Даровитый литераторъ и такой замѣчательный профессоръ всеобщей исторіи въ московскомъ университетѣ, что самъ Грановскій, его учитель, отдавалъ ему передъ собою первенство. Кудрявцева увидалъ я въ первый разъ не въ аудиторіи, а въ нашемъ казенномъ номерѣ, и — какъ сейчасъ вижу — съ повязаннымъ по щекѣ бѣлымъ платкомъ: у него болѣли зубы. Онъ пришелъ тогда къ своему товарищу по курсу, Сергѣю Дмитріевичу Шестакову, котораго потомъ всегда считалъ самымъ близкимъ изъ своихъ немногихъ друзей.

Князь Мещерскій, Борисъ Васильевичъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ былъ губернскимъ предводителемъ дворянства въ Твери; кое-какія подробности о его студенчествѣ разскажу вамъ потомъ.

Пановъ, Василій Ивановичъ. Онъ былъ моложе меня по

курсу годами двумя, и потому въ ту пору я мало его зналъ, но зимою 1840—1841 гг. сошелся съ нимъ товарищески въ Римѣ, и потомъ мы были съ нимъ хорошими пріятелями и въ Москвѣ, о чемъ разныя подробности сообщу вамъ въ свое время.

Филимоновъ, Александръ Ивановичъ. Попечитель графъ Строгановъ отличилъ его еще между студентами и впослѣдствіи взялъ къ себѣ на службу правителемъ канцеляріи московскаго учебнаго округа.

Эминъ. Имени и отчества его не припомню, потому что познакомился съ нимъ и изрѣдка встрѣчался, когда онъ былъ уже профессоромъ армянскаго языка въ Лазаревскомъ институтѣ восточныхъ языковъ. Въ ученой литературѣ онъ пріобрѣлъ себѣ почетную извѣстность своими работами по исторіи, литературѣ и древностямъ Арменіи.

Теперь изъ своекоштныхъ студентовъ по юридическому факультету:

Графъ Деляновъ, Иванъ Давыдовичъ. Министръ народнаго просвѣщенія. Кончилъ курсъ первымъ кандидатомъ въ обновленномъ при попечителѣ графѣ Строгановѣ юридическомъ факультетѣ.

Поповъ, Александръ Николаевичъ. По окончаніи курса держалъ экзаменъ на магистра и написалъ диссертацію о Русской Правдѣ, потомъ занималъ видное мѣсто на службѣ въ Петербургѣ. На студенческой скамьѣ я его не зналъ, но послѣ сошелся и подружился съ нимъ черезъ графа Александра Сергѣевича Строганова, съ которымъ онъ былъ въ самыхъ близкихъ товарищескихъ отношеніяхъ, о чемъ разскажу вамъ нѣкоторыя подробности, гдѣ слѣдуетъ.

Графъ Строгановъ, Александръ Сергѣевичъ, тотъ самый, о которомъ сейчасъ было упомянуто. Его отецъ, графъ Сергій Григорьевичъ, ничѣмъ не могъ лучше и полнѣе выразить своего довѣрія, уваженія и любви къ московскому университету, какъ тѣмъ, что, немедленно по вступленіи въ должность попечителя, онъ отдалъ въ него учиться своего старшаго сына и наслѣдника огромнаго майората, даже рискуя впасть въ немилость у государя Николая Павловича, который очень не жаловалъ студентовъ.

Князь Черкасскій. Извѣстный государственный дѣятель, особенно прославившійся своими административными качествами въ Болгаріи по освобожденіи ея отъ турецкаго ига. Въ студенчествѣ я не былъ съ нимъ знакомъ, да и послѣ того очень

рѣдко съ нимъ встрѣчался, потому не знаю ни имени его и отчества; но живо представляю его себѣ и теперь въ студенческомъ мундирѣ по одному случаю, который крѣпко застрялъ въ моей памяти. Когда помощникъ попечителя, Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, женился на Новосильцевой, то взялъ себѣ въ шафера именно этого самаго князя Черкасскаго. Бракосочетаніе совершалось въ церкви Іоанна Богослова на Тверскомъ бульварѣ, около большого каменнаго дома Голохвастовыхъ, въ углубленіи обширнаго двора, съ двумя каменными же корпусами, выходящими съ обѣихъ сторонъ къ бульвару. Теперь онъ принадлежитъ какому-то богатому промышленнику. Мы, студенты, сгарая любопытствомъ видѣть собственными глазами одного изъ своихъ товарищей въ великомъ почетѣ, съ вѣнцомъ въ рукѣ надъ головою нашего грознаго принципала, собрались гурьбою и переполнили всю церковь. Для порядку шнырялъ между нами одинъ изъ субъ-инспекторовъ. Церемонія происходила въ лѣтніе сумерки, но еще за свѣтло. Изъ растворенныхъ оконъ виднѣлась сплошная толпа любопытствующихъ; между ними мелькали и студенческіе вицмундиры. Вдругъ оттуда раздалось пѣніе петуховъ — въ публикѣ произошло движеніе; субъ-инспекторъ засуетился и бросился вонъ изъ церкви; я и стоящіе около меня товарищи перепугались до смерти, почуявъ бѣду: ну, какъ это закричалъ пѣтухомъ кто-нибудь изъ нашихъ, да попадется — что̀ тогда будетъ! Но дѣло обошлось благополучно: субъ-инспекторъ воротился къ намъ, и пѣтухи замолкли. Не разъ послѣ этого мнѣ видѣлось во снѣ, будто меня отдаютъ въ солдаты, а въ ушахъ раздается „кукареку“.

Должно быть, въ одно время со мною слушали лекціи въ московскомъ университетѣ на младшихъ курсахъ будущіе профессора: Соловьевъ, Леонтьевъ, Кавелинъ и Калачевъ, но я ихъ рѣшительно не помню студентами.

Наше студенчество отъ 1834 г. по 1838 г. было настоящею эрою, которая отдѣляетъ древній періодъ исторіи московскаго университета отъ новаго, и, какъ нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичнаго курса. По ту сторону этой грани старое зданіе университета, старые профессора съ патріархальными правами и обычаями и такая же старобытная администрація, доведенная къ концу до самоуправства, а по эту сторону — новое зданіе университета, отмѣченное и на его фронтонѣ 1835 годомъ, цѣлая фаланга новыхъ и молодыхъ профессоровъ, только что воротившихся изъ-заграницы, гдѣ обуча-

сь, каждый по своей спеціальности, а одновременно съ ними
ѣстѣ явился и новый, тоже молодой (всего сорока лѣтъ), по-
читель московскаго учебнаго округа, графъ Сергій Григорье-
чъ Строгановъ, тогда еще свитскій генералъ, съ серебряными
олетами и такими же аксельбантами, а потомъ генералъ-адъ-
:антъ, одинъ изъ немногихъ любимцевъ императора Николая
ıвловича и его ровесникъ по годамъ, а при новомъ попечи-
ѣ и новый инспекторъ, нашъ возлюбленный Платонъ Сте-
новичъ Нахимовъ, въ амуниціи моряка, по чину капитанъ
орого ранга.

Послѣ двухлѣтняго гнета подъ ферулою Дмитрія Павловича
олохвастова, мы, студенты 1834 года, могли вполнѣ оцѣнить
радостно почувствовать на себѣ самихъ благотворную силу
новленія во всемъ строѣ университетской жизни. Предше-
ѣенникъ графа Строганова, князь Сергій Михайловичъ Голи-
ынъ, знаменитый и первый вельможа въ Москвѣ и тоже лю-
имецъ императора Николая, былъ человѣкъ рѣшительно добрый
благотворительный, но, странное дѣло, ровно ничего для уни-
ерситета не дѣлалъ, а вполнѣ предоставлялъ Голохвастову,
ıать все, что̀ угодно. Онъ даже будто вовсе и не любилъ
ниверситета, и при насъ въ теченіе двухъ лѣтъ ни разу не
лъ въ аудиторіяхъ на лекціи; только однажды посѣтилъ онъ
шу казенную столовую во время обѣда, прошелся взадъ и
ередъ между столами и, закинувъ голову, смотрѣлъ по верхамъ
потолокъ, на студентовъ же вовсе ни на кого и не взглянулъ.
афъ же Строгановъ чуть не каждый день посѣщалъ лекціи
офессоровъ и внимательно слушалъ каждую сначала до конца,
когда не оскорбляя профессора преждевременнымъ выходомъ
ъ аудиторіи; а во время переходныхъ и выпускныхъ экзаме-
овъ любилъ знакомиться съ успѣхами и способностями экзаме-
ующихся студентовъ и съ особеннымъ вниманіемъ и участіемъ
ѣдилъ за тѣми изъ нихъ, которые были уже у него на при-
ѣтѣ по дарованіямъ и прилежанію. Такихъ онъ прочилъ для
удущаго ихъ назначенія въ профессора или въ учителя, какъ
апримѣръ, Соловьева, Каткова, Селина, Кудрявцева, Шестакова,
авелина, Ершова, Давыдова, Авилова. Столько же слѣдилъ онъ
за преподаваніемъ въ гимназіи, и, присутствуя на урокахъ,
накомился съ учителями и съ даровитѣйшими изъ учениковъ,
ъ которыхъ многіе и потомъ всегда пользовались его вни-
аніемъ и покровительствомъ, какъ напримѣръ, Басистовъ,
еникъ второй московской гимназіи, впослѣдствіи извѣстный

педагогъ и литераторъ, или Михаилъ Иліодоровичъ Ляпинъ, самаго перваго выпуска учениковъ по реальному отдѣл третьей московской гимназіи. Этого, какъ спеціалиста, п товленнаго къ практической промышленной дѣятельности, г взялъ къ себѣ на частную службу въ качествѣ комиссіо по сбыту желѣза изъ Строгановскихъ заводовъ. Впослѣд Ляпинъ сталъ извѣстенъ всей Москвѣ учрежденными имъ в домахъ безплатными квартирами для студентовъ и вообще бѣдныхъ людей.

Графъ не оставлялъ безъ вниманія и низшихъ школ посѣщая ихъ время отъ времени, лично наблюдалъ за успѣх преподавателей, а иногда и учениковъ, съ которыми лю разговаривать, чтобы знакомиться съ ихъ способностями. одинъ анекдотъ, который онъ самъ разсказывалъ мнѣ. Одна въ какомъ-то приходскомъ училищѣ онъ былъ на урокѣ катехизиса. Дѣло шло о единомъ Господѣ Богѣ въ трехъ стасяхъ. Законоучитель вызвалъ одного ученика лѣтъ семи вторить сказанное и объясненное. Мальчуганъ, съ серьезн спокойною миною, не стѣсняясь присутствіемъ начальства, ленно и твердымъ голосомъ передалъ ученіе о Богѣ Отц Богѣ Сынѣ и о Святомъ Духѣ. Графъ, заинтересованный ровитымъ мальчикомъ, спросилъ его: „ну, а какъ же ты понимаешь, что такое Святой Духъ?“ Мальчикъ подумал не торопясь, отвѣчалъ: „птица“. „Какая же птица?“ возде ваясь отъ улыбки, спросилъ графъ. Мальчуганъ опять поду и также медленно проговорилъ: „курица“. Съ трудомъ пре могая себя, чтобы не расхохотаться, графъ серьезно и ла спросилъ его: „почему же ты это знаешь, мой милый?“— потому, — отвѣчалъ тотъ немедленно и съ увѣренностью, — самъ видѣлъ на образѣ въ церкви“.

„Этотъ отвѣтъ, — присовокупилъ графъ къ своему сказу, — окончательно убѣдилъ меня въ даровитости и въ с ливой находчивости семилѣтняго ребенка. Дѣйствительно, старинныхъ иконахъ символическій голубь не летитъ съ простертыми крыльями, а стоитъ смирно, подобравъ и жавши ихъ къ себѣ, и кажется какъ есть дворовою пти если намалеванъ неумѣлою рукою сельскаго иконописца“.

Въ первый же годъ своего попечительства графъ Строга оказалъ великую услугу народному просвѣщенію, примиривъ сударя императора съ московскимъ университетомъ, кото онъ не переставалъ держать въ опалѣ со времени печал

исторіи, окончившейся солдатчиною Полежаева и ссылкою Герцена. Николай Павловичъ называлъ нашъ университетъ волчьимъ гнѣздомъ, и когда случалось ему проѣзжать мимо него, долго оставался въ дурномъ расположеніи духа. Потому надобно признать за особую его милость къ графу Строганову, что онъ соблаговолилъ посѣтить вмѣстѣ съ нимъ московскій университетъ и именно казеннокоштное общежитіе. Не знаю, какъ въ другихъ номерахъ, но въ нашемъ попечитель представилъ государю всѣхъ насъ до одного, особенно рекомендуя нѣкоторыхъ по успѣшнымъ занятіямъ въ той или другой спеціальности филологическаго факультета. Хорошо помню, что Шестаковъ (Сергій Дмитріевичъ), будущій профессоръ римской словесности, былъ рекомендованъ ему, какъ отличный латинистъ.

Графъ Строгановъ непремѣнно долженъ былъ въ скорѣйшемъ времени снискать расположеніе царя къ московскому университету, чтобы оправдать въ его глазахъ помѣщеніе своего собственнаго сына въ корпорацію студентовъ, которая до того времени была заподозрѣна правительствомъ. Актъ примиренія верховной власти съ университетскимъ преподаваніемъ блистательно завершенъ былъ всемилостивѣйшимъ рѣшеніемъ государя Николая Павловича послать своего собственнаго сына и наслѣдника цесаревича Александра Николаевича въ московскій университетъ — слушать лекціи анатоміи и физіологіи у профессора Эйнброта. Этотъ курсъ лекцій состоялся по зимѣ того же года и былъ читанъ спеціально для цесаревича и его немногочисленной свиты, въ одной изъ залъ стараго зданія университета, направо отъ воротъ.

Въ этой свитѣ находился и поэтъ Жуковскій. Я тогда видѣлъ его въ первый и послѣдній разъ въ большой словесной аудиторіи новаго зданія, на лекціи Степана Петровича Шевырева о греческихъ лирикахъ и въ особенности о Пиндарѣ и Анакреонѣ. Отъ этой лекціи осталась въ моей памяти одна курьезная подробность. Вошедши въ аудиторію вмѣстѣ съ профессоромъ, Жуковскій не сѣлъ на кресло у каѳедры, а направился къ передней скамьѣ и какъ разъ къ тому ея краю, на которомъ сидѣлъ я. Надобно вамъ сказать, что у нашихъ скамеекъ для каждаго студента было отдѣльное сидѣнье, которое, какъ у креселъ, набито мочаломъ и покрыто кожею, и каждое помѣщалось въ свою перегородку, вдвигаясь въ нее и выдвигаясь. Когда я посторонился, чтобы дать Жуковскому свое мѣсто, онъ, садясь на подушку, которая нѣсколько выдвинулась изъ

перегородки, покачнулся и тихонько сказалъ мнѣ: „какъ бы тутъ не провалиться!“ — „Не опасайтесь“, отвѣчалъ я: „надобно только покрѣпче двинуть сидѣнье“, и помогъ ему это сдѣлать, а Шевыревъ между тѣмъ не начиналъ своей лекціи, пока мы усаживались.

Теперь перехожу къ профессорамъ. Мнѣ легко было объяснить вамъ, какъ обновился нашъ университетъ перемѣщеніемъ аудиторій изъ стараго зданія въ новое и замѣною старой администраціи новою. Тутъ самые предметы рѣзко отдѣлялись другъ отъ друга, какъ полосы различнаго цвѣта. Иное дѣло съ профессорами: въ ихъ средѣ обновленіе происходило въ большей постепенности и не въ одинаковой значительности по разнымъ факультетамъ. Сверхъ того, старое поколѣніе профессоровъ, въ силу преемственнаго развитія, само собою шло къ усовершенствованію, такъ что въ наше время оно давало представителей трехъ разрядовъ: отживающаго, средняго и молодого. Это вы сейчасъ увидите изъ перечня профессоровъ, которыя я ограничиваю нашимъ факультетомъ.

Въ старшемъ поколѣніи къ первому разряду относятся профессора съ самаго начала нашего столѣтія. Какъ люди, отжившіе свой вѣкъ, они удивляли и забавляли насъ своей оригинальностью и разными причудами, вмѣстѣ съ патріархальной простотою въ ихъ обращеніи со студентами, которымъ они обыкновенно говорили „ты“, и переходили на „вы“ только съ тѣми, на кого сердились. Вотъ два милыхъ образчика такихъ старожилыхъ чудаковъ.

Профессоръ греческой литературы Ивашкóвскій. Онъ являлся всегда въ высокихъ ботфортахъ и въ бѣломъ галстукѣ. Студенты, ожидая его на лекцію, непремѣнно должны были всѣ до одного ходить взадъ и впередъ по аудиторіи, такъ чтобы Ивашковскій незамѣтно вошелъ въ нее и незамѣтно же смѣшался съ толпою, будто на толкучемъ рынкѣ. Сохраняя такое инкогнито, онъ, разумѣется, никому не кланялся, и мы не должны были замѣчать его присутствія. Задѣвать и тѣснить его въ толпѣ не только позволялось, но даже было ему пріятно. Когда мы потолкаемся такимъ образомъ минутъ десять, онъ станетъ у каѳедры и, продолжая молчать, начнетъ медленно поворачивать голову въ ту и другую сторону и съ ласковою улыбкою поводить глазами на толпу. Это значитъ, что пора приниматься

за дѣло. Мы, стуча и шумя, усаживаемся по скамьямъ, и когда наступитъ тишина и порядокъ, Ивашковскій, не торопясь, взлѣзаетъ на каѳедру, и лекція начинается. Главною задачею нашею было, чтобы вмѣстѣ съ профессоромъ прогулять если не всю лекцію, то, по крайней мѣрѣ, насколько возможно. На это были между нами гораздые молодцы, человѣка два-три. Они умѣли подластиться къ нему и будто невзначай обронить словечко и исподволь втянуть его въ бесѣду, а онъ, очнувшись изъ забытья, сначала отвѣтитъ нехотя, а потомъ мало-по-малу разговорится. Цѣль достигнута: раздался звонокъ, и лекція благополучно покончена, а милый Ивашковскій, растерянно ухмыляясь, второпяхъ вышмыгнетъ изъ аудиторіи: самъ, дескать, виноватъ, впередъ буду умнѣе.

Другой такой же оригиналъ былъ профессоръ политической экономіи и статистики, Измаилъ Алексѣевичъ Щедри́тскій. Мы очень любили его за доброту и снисходительность къ намъ и за его простодушное патріархальное обращеніе съ нами на „ты“. Свои лекціи онъ читалъ намъ вмѣстѣ съ юристами. Одинъ изъ послѣднихъ, дѣтина ражій, веселаго нрава, но осанистый и съ внушительными манерами, по фамиліи Соловьевъ, пользовался особымъ вниманіемъ и расположеніемъ Щедритскаго. Этотъ студентъ имѣлъ обычай, какъ бы узаконенный давностью, являться къ намъ, когда Щедритскій уже сидѣлъ на каѳедрѣ и читалъ намъ свою лекцію. Соловьевъ входилъ въ аудиторію въ фуражкѣ и съ толстою палкою, которою, подпираясь, стучалъ, и, подойдя къ каѳедрѣ, останавливался, снималъ фуражку, отвѣшивалъ низкій поклонъ и провозглашалъ густымъ басомъ: „Измаилу Алексѣевичу мое глубокое почитаніе!“ Щедритскій, привыкнувъ къ этой церемоніи, ласково взглянетъ на него и кивнетъ ему головою, и станетъ продолжать лекцію только тогда, когда совершится процессъ усаживанія Соловьева на одной изъ переднихъ скамеекъ, стоявшей направо отъ каѳедры; садиться же онъ привыкъ, какъ всѣмъ было извѣстно, не иначе, какъ только на самой серединѣ скамейки, и для того находившіеся на ней студенты, чтобы дать ему мѣсто, слѣзали съ нея, топая ногами, и потомъ размѣщались по обѣ его стороны. Въ аудиторіи водворялся порядокъ, и Соловьевъ, ни разу не шелохнувшись, въ величественномъ спокойствіи, не спуская глазъ, любовался на Измаила Алексѣевича до самаго конца лекціи. Потому, вѣроятно, этотъ милый старичокъ и любилъ его, что видѣлъ въ немъ одного изъ своихъ усердныхъ слушателей.

Я долженъ вамъ сказать о другомъ столько же внимательномъ его слушателѣ. Это былъ извѣстный уже вамъ забулдыжный Новáкъ, неразрывный другъ долговязаго Холуйскаго. Онъ любилъ съ похмелья безмятежно дремать на лекціяхъ Щедритскаго и, чтобы ему никто не мѣшалъ, обыкновенно садился прямо противъ каѳедры на переднюю скамейку, на которой всегда было просторно, потому что студенты избѣгали ея, не желая торчать передъ глазами профессора. Для своего дремотнаго успокоенія, онъ, сидючи на скамьѣ, прижимался къ стоящему передъ нимъ столу и, поставивъ на него оба локтя, поддерживалъ свою отяжелѣвшую голову ладонями съ обѣихъ сторонъ. Его неподвижная поза внушала профессору уваженіе къ его сосредоточенному вниманію. Былъ одинъ случай, грозившій нарушить эту сосредоточенность, къ которому именно я и веду свою рѣчь. Къ числу юныхъ подростковъ перваго курса принадлежалъ упомянутый уже мною Александръ Ивановичъ Филимоновъ. Онъ былъ веселаго нрава, вертлявый и юркій и большой хохотунъ и гримасникъ. За эти качества Новáкъ отличилъ его своимъ благосклоннымъ вниманіемъ и позволилъ ему садиться рядомъ съ собою на лекціяхъ Щедритскаго, въ тѣхъ видахъ, чтобы Филимоновъ успѣлъ во-время разбудить его и не дать ему ткнуться носомъ объ столъ. Это очень забавляло Филимонова, и онъ, какъ юла, вертѣлся на своемъ мѣстѣ: то взглянетъ на профессора, то шепнетъ на ухо Новаку́ или дотронется до его локтя, какъ кошка лапкою, то обернется къ товарищамъ и начнетъ подмигивать: да взгляните же, дескать, какъ мой сосѣдушка сладко почиваетъ. Однажды случилось Щедритскому застать этого забавнаго кривляку врасплохъ. — „Эй ты, востроглазый, коль самъ балбесничаешь, такъ не мѣшай же другому слушать мою лекцію! Перестань егозить, не то выгоню вонъ!“

Назову вамъ еще одного изъ представителей университетской старины. Это былъ Михаилъ Трофимовичъ Каченовскій. Нѣкогда знаменитый ученый и журналистъ, не щадившій своею ѣдкою критикою ни Шлёцера, ни Карамзина, ни даже самого Пушкина, въ наше время отживалъ или, точнѣе сказать, совсѣмъ отжилъ свой вѣкъ, и, будучи ректоромъ университета послѣ злосчастнаго, какъ вамъ извѣстно, Болдырева, читалъ намъ на четвертомъ курсѣ вмѣстѣ съ третьимъ исторію литературы славянскихъ нарѣчій по нѣмецкому учебнику Шафарика. Онъ былъ тогда уже глухой и почти слѣпой: вдаль кое-какъ видѣлъ, но читать могъ только въ очкахъ, которыя, помогая

ему вблизи, застилали передъ нимъ въ туманѣ все окружающее, и чтобы увидѣть насъ съ каѳедры, онъ долженъ былъ снимать съ носа свои очки, что̀ производилъ онъ довольно медленно, осторожно вытаскивая ихъ изъ-за ушей. Такимъ образомъ мы, сидя на лавкахъ передъ самою каѳедрою, были для него отдѣлены какъ бы темною завѣсою. Всякій разъ Каченовскій приносилъ съ собою Шафариковъ учебникъ, разлагалъ его на каѳедрѣ и старческимъ дряблымъ голосомъ, съ передышкою, подстрочно переводилъ нѣмецкую рѣчь на русскія слова. Монотонность такого чтенія съ неизбѣжными паузами, когда переводишь экспромптомъ, наводила на насъ томительную скуку, и тѣмъ больше потому, что намъ самимъ хорошо была знакома эта нѣмецкая книга; но мы терпѣли по необходимости и боялись отсутствовать на лекціи. Каченовскій и безъ того всегда отличался строгостью, а въ то время, будучи ректоромъ, требовалъ отъ насъ неукоснительнаго исполненія своихъ обязанностей, и для того выдалъ приказаніе, чтобы передъ каждою его лекціей дежурный субъ-инспекторъ дѣлалъ намъ перекличку по списку и отмѣчалъ на немъ отсутствующихъ, для доклада ректору. Намъ ничего не оставалось болѣе дѣлать, какъ всѣмъ сполна приходить на лекцію, сидѣть смирно и для развлеченія каждому читать свою книгу. Это продолжалось не долго; мы нашли выходъ изъ такого стѣснительнаго положенія.

Но предварительно я долженъ здѣсь съ вами объясниться. Дѣло идетъ о нашихъ ребяческихъ проказахъ въ аудиторіи. Сначала я думалъ было вовсе умолчать о нихъ изъ опасенія навлечь на себя порицаніе за то, что онѣ могутъ оскорбить память маститаго профессора и вмѣстѣ съ тѣмъ выставить съ забавной стороны студенческіе подвиги такихъ изъ моихъ товарищей, которые впослѣдствіи пользовались извѣстностью и всеобщимъ уваженіемъ. Но мнѣ было бы жаль не подѣлиться съ вами такимъ воспоминаніемъ, которое въ теченіе многихъ лѣтъ нерѣдко мелькало передо мною, когда я, будучи профессоромъ, входилъ въ аудиторію читать лекцію или когда выходилъ изъ нея — это была именно та большая словесная, въ которой мы, студенты, скучали у Каченовскаго. Не могли бы выступать въ моей памяти такъ заманчиво и привѣтливо эти увеселительныя проказы, если бы въ основѣ ихъ было что-нибудь недоброе, злое и оскорбительное и для профессора и для его слушателей. Мы не переставали уважать Каченовскаго, какъ безпощаднаго скептика, посягавшаго на достовѣрность Несторовой лѣтописи,

и сильно боялись его, какъ взыскательнаго профессора и строгаго ректора; но самое уваженіе и боязнь должны были возбудить въ насъ молодецкую отвагу, бравировать на его лекціяхъ, спасаясь отъ нестерпимой скуки разными потѣхами, но такъ чтобы не нанести ему лично ни малѣйшаго оскорбленія и не навлечь на себя его справедливой кары. Отъ всего этого насъ спасала слабость его зрѣнія и слуха, и мы забавлялись на скамейкахъ передъ самой его каѳедрой, будто отдѣленной отъ него каменной стѣною. Это была своего рода игра въ жмурки или въ кошку и мышку, а еще лучше — игра кипучихъ силъ юности, которыя иногда бьютъ и черезъ край.

Шаловливыя забавы наши имѣли видъ театральныхъ представленій, соединяющихъ въ себѣ какъ бы мимику съ музыкой, если только крикъ и грохотъ можно отнести къ музыкальному роду. Для этихъ представленій были, какъ слѣдуетъ, и зрители, которые своимъ вниманіемъ и одобреніемъ поощряли насъ и воодушевляли. Но чтобы объяснить ихъ присутствіе, я долженъ оріентировать васъ на мѣстѣ дѣйствія. Тѣмъ изъ васъ, кто не бывалъ въ большой словесной аудиторіи, надобно знать, что дверь въ нее находится у самаго угла, образуемаго наружной стѣной съ окнами и внутренней глухой, съ приставленною къ ней каѳедрою на самой ея серединѣ. Въ этой-то двери и собирались наши зрители и могли вдоволь любоваться на наши продѣлки. То были студенты другихъ факультетовъ и преимущественно юристы.

Подобно античному театру, въ нашихъ увеселительныхъ представленіяхъ были дѣйствующія лица и хоръ. Не по предварительному избранію изъ нашей среды, а по дарованіямъ и храбрости, были нашими героями Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ и князь Борисъ Васильевичъ Мещерскій, а всѣ мы составляли дружный хоръ.

Представленія эти въ ту пору соединялись въ моемъ воображеніи съ однимъ изъ воспоминаній моего дѣтства. Солдаты, стоявшіе у насъ въ Пензѣ постоемъ, разыгрывали въ какомъ-то сараѣ смѣхотворную интермедію о Донъ-Жуанѣ, его слугѣ Педрилѣ (такъ переименовали они Лепорелло) и о командорѣ, — не помню, какъ они его звали, генераломъ или губернаторомъ. У насъ въ аудиторіи былъ свой Донъ-Жуанъ — Самаринъ, свой Лепорелло, его наперсникъ и пособникъ — князь Мещерскій, и своя грозная статуя Командора — въ фигурѣ профессора, возсѣдающаго на каѳедрѣ. Эту интермедію

Юрій Ѳедоровичъ дополнялъ тѣмъ, что состоялъ при нашемъ командорѣ въ должности ординарца, вѣстового и глашатая, именно глашатая, въ полномъ смыслѣ этого слова.

Каченовскій читалъ намъ лекціи отъ 12 до часу, въ полдень — какъ разъ время завтрака. Потому слушаніе или, точнѣе, неслушаніе каждой его лекціи мы начинали завтракомъ. Архитриклиномъ, а попросту — нашимъ кормителемъ былъ Самаринъ. Въ то время на Моховой, противъ стараго зданія университета, была колбасная Маттéрна съ небольшимъ рестораномъ. Оттуда передъ лекціею университетскій солдатъ доставлялъ Самарину по числу всѣхъ насъ цѣлую груду пирожковъ въ большомъ свертк‍ѣ на манеръ сахарной головы. Самаринъ всегда садѣлъ на концѣ передней скамейки передъ каѳедрой, но наособо отъ нея и потому ближе къ выходной двери. Какъ только начнется лекція, онъ вытащитъ изъ-за стола этотъ пакетъ съ угощеніемъ и пуститъ его по рукамъ товарищей, но такъ, чтобы пакетъ передавался отъ одного къ другому на виду у всѣхъ, высоко надъ столомъ. Завтракъ начинался только тогда, когда у каждаго изъ насъ будетъ по пирожку, а держать его удобно также на виду и откусывать понемножку, чтобы продлить эту сцену для нашихъ зрителей, столпившихся у растворенной настежъ двери.

Подъ самымъ окномъ у этой двери тянется крыша галереи, соединяющая зданіе университета съ корпусомъ, выходящимъ на Никитскую. Однажды во время лекціи Каченовскаго рабочіе изъ самаго окна починивали эту кровлю и, прибивая гвоздями желѣзные листы, такъ громко стучали, что заглушали слова Михаила Трофимовича, а онъ, не замѣчая стукотни, продолжалъ теченіе своей лекціи. Между тѣмъ Самаринъ подозвалъ къ себѣ князя Мещерскаго, о чемъ-то пошептался съ нимъ и велѣлъ ему сѣсть на другомъ концѣ той же передней лавки, на которой, какъ сказано, всегда сидѣлъ и самъ, а гулъ ударовъ о желѣзу не переставалъ раздаваться по всей аудиторіи. Будто по командѣ, оба они привстали, и каждый съ своей стороны, схватясь обѣими руками за конецъ тяжелаго стола, стоящаго передъ скамейкой, приподняли его въ одно и то же время и другъ опустили. Онъ тяжело бухнулъ на полъ съ оглушительнымъ грохотомъ. Каченовскій встрепенулся, вскочилъ на ноги и, стаскивая очки, грозно вскрикнулъ: „что это такое? кто стучитъ?“ Самаринъ встаетъ и почтительнѣйше докладываетъ, что стучатъ кровельщики и указываетъ на окно. Поднялась

тревога: надобно прогнать рабочихъ, надобно призвать на расправу субъ-инспектора, экзекутора. Самаринъ суетливо бѣжитъ изъ аудиторіи исполнить приказаніе ректора; ему помогаютъ собравшіеся у дверей юристы. Тамъ за дверями поднялся шумъ и гамъ, а въ аудиторіи водворилась полнѣйшая тишина: оборванная на недоконченной фразѣ лекція уже не продолжалась. Качеповскій молча сидитъ на каѳедрѣ и безъ очковъ обозрѣваетъ насъ. Немедленно являются подсудимые, и расправа начинается.

Забавная игра столомъ произвела эффектъ и удалась благополучно. Надобно было ее повторить, но уже безъ аккомпанимента стукотни кровельщиковъ, и повторить какъ можно скорѣе, пока не остыло еще и не изгладилось впечатлѣніе мгновеннаго испуга, произведеннаго грохотомъ стола. На основаніи этого психологическаго соображенія, Самаринъ и князь Мещерскій на слѣдующей же лекціи повторили свой опытъ съ полнѣйшимъ успѣхомъ. Качеповскій опять встрепенулся, но не всполошился: замолкъ на полусловѣ и не спѣша принялся вытаскивать изъ-за ушей свои очки, потомъ, осмотрѣвшись во всѣ стороны, сталъ продолжать свою лекцію. Очевидно, онъ подумалъ, что ему померещилось.

Учащать такіе оглушительные фокусы было опасно, и потому Самаринъ съ княземъ Мещерскимъ заблагоразсудили прибѣгнуть къ менѣе громогласнымъ звукамъ, чтобы пробуждать дремотную атмосферу нашей аудиторіи. Для того была принята ими обоими и усвоена каждымъ изъ нихъ съ различными варіаціями особаго рода перекличка, потѣшавшая публику въ дверяхъ аудиторіи, но недоступная слуху сидящаго на каѳедрѣ профессора. Самаринъ аукнетъ, а Мещерскій ему отзовется, а то одинъ, какъ сторожевой на караулѣ, крикнетъ: „слушай!“ а другой отвѣтитъ тѣмъ же. Случалось и такъ, что Михаилъ Трофимовичъ очнется и вздрогнетъ, потомъ спроситъ довольно сурово: „что тамъ за шумъ?“ — „Это все юристы шумятъ и галдятъ за дверями“, рапортуетъ Самаринъ, и, по его приказанію, стремглавъ бѣжитъ прогонять юристовъ, крича на нихъ, что есть мочь. Комедія оканчивается хохотомъ, свистомъ и рукоплесканіями за стѣною аудиторіи.

Однако этимъ шутовскимъ комедіямъ судьба рѣшила прекратиться. Разразилась въ нашей аудиторіи настоящая гроза уже не шуточною, а дѣйствительною трагедіей. Между нашими товарищами былъ Иванъ Егоровичъ Бецкій — припомните —

готъ самый, который лелѣялъ и кормилъ пѣвчихъ пташекъ въ амбразурѣ своего кабинета, въ флорентинскомъ дворцѣ Спинелли-Трубецкихъ. Милый, со всѣми ласковый, веселый и миролюбивый, онъ очень не жаловалъ одного изъ насъ, юношу глупаго, но занозливаго нахала, который надоѣдалъ ему своими дурацкими подковырками. Въ аудиторіи оба они сидѣли налѣво отъ каѳедры, Бецкій на передней скамейкѣ, а надоѣдливый подлипала на второй, какъ разъ позади его. Однажды на лекціи Каченовскаго они повздорили не на шутку. Бецкій вскочилъ и, обернувшись назадъ, принялся колотить его; тотъ также вскочилъ, и началась перепалка, и такая крупная, что даже самъ Михаилъ Трофимовичъ очнулся отъ своего усыпительнаго чтенія, поторопился вò-время стащить очки и узрѣлъ передъ собою воочію на своей лекціи кулачное единоборство. Всѣхъ насъ объялъ ужасъ и трепетъ. Грозный ректоръ далъ себя знать. Для суда и расправы предсталъ передъ нами и самъ инспекторъ, нашъ милый Платонъ Степановичъ. И какъ было ему все это и горестно, и жутко! Ректоръ настаивалъ — Бецкаго немедленно выгнать изъ университета, а другому дать нагоняй и засадить въ карцеръ; но нашъ инспекторъ хорошо зналъ цѣну обоимъ и по-своему смотрѣлъ на это дѣло. Въ тягостныя минуты суда, кажется, намъ одинаково было жаль и Бецкаго и Платона Степановича.

Къ великой радости, наказаніе Бецкаго ограничилось карцеромъ, благодаря заступничеству инспектора передъ попечителемъ. Преступленіе было смягчено и низведено до мальчишеской шалости. Мы убѣдились, что правосудіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть безъ грѣха подкупаемо состраданіемъ и милосердіемъ, и мы не стали отъ того хуже. А между тѣмъ Платонъ Степановичъ не переставалъ насъ пугать и грозить намъ графомъ Сергіемъ Григорьевичемъ, а для порядка и надзора распорядился, чтобы впредь на каждой лекціи Каченовскаго присутствовалъ дежурный субъ-инспекторъ. Съ тѣхъ поръ прекратились и наши завтраки.

Покончивъ съ этими розсказнями, я долженъ напомнить вамъ, что велъ рѣчь о профессорахъ стараго закала, относимыхъ мною къ первому или раннему отдѣлу; теперь перехожу ко второму или среднему, представителемъ котораго будетъ для насъ Иванъ Ивановичъ Давыдовъ.

Въ свое время онъ считался человѣкомъ очень образованнымъ, но не былъ спеціалистомъ ни въ одномъ изъ пред-

метовъ, которымъ посвящалъ свои ученыя занятія. Впрочемъ, тогда вообще господствовалъ энциклопедизмъ, и особенно въ нашемъ словесномъ отдѣленіи философскаго факультета. Каченовскій до своихъ лекцій о литературахъ славянскихъ нарѣчій по Шафарику читалъ намъ статистику Россіи на третьемъ курсѣ, а прежде того, еще до насъ — даже эстетику, хотя по призванію, какъ скептикъ, былъ онъ особенно расположенъ къ исторической критикѣ. Знаменитый профессоръ латинскаго языка Тимковскій, не стѣсняясь своей спеціальностью, издалъ Несторову лѣтопись по Лаврентьевскому списку. По слѣдамъ этого филолога, Иванъ Михайловичъ Снегиревъ еще при насъ читалъ лекціи римской словесности на старшихъ курсахъ, когда мы были на первомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ особенно любилъ заниматься русской народностью и стариною, о чемъ свидѣтельствуютъ его многочисленные труды по этимъ предметамъ. Давыдовъ былъ хорошій математикъ и знатокъ римской словесности, свободно и складно говорилъ по-латыни. Какъ энциклопедистъ, онъ былъ достаточно подготовленъ для философіи, и до насъ читалъ лекціи по этому предмету, но еще больше простора для своихъ энциклопедическихъ свѣдѣній нашелъ онъ на поприщѣ педагогическомъ. Уже при насъ онъ былъ инспекторомъ такъ называвшагося тогда „холернаго“ заведенія, превращеннаго потомъ въ Александровское военное училище (что на углу Знаменки и Пречистенскаго бульвара), а въ 1847 г. вовсе оставилъ профессорскую каѳедру и водворился въ Петербургѣ, занявъ мѣсто директора Педагогическаго института, переименованнаго теперь въ Филологическій. Кромѣ того, состоя въ званіи ординарнаго академика, онъ былъ избранъ предсѣдателемъ второго отдѣленія Императорской Академіи Наукъ.

Намъ онъ читалъ, на третьемъ и четвертомъ курсахъ, теорію словесности по руководству Блера, которое онъ старался перестроить на новыхъ основаніяхъ философіи Шеллинга, по Эстетикѣ его ученика Аста, и сверхъ того дополнилъ примѣрами изъ русской и изъ иностранныхъ литературъ. Эти лекціи, нами тогда составленныя со словъ Давыдова и по его программамъ, онъ издалъ въ двухъ томахъ и присовокупилъ къ нимъ третій, содержащій въ себѣ сочиненіе Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзіи, въ сокращенномъ переводѣ Лавдовскаго, о которомъ я уже имѣлъ случай говорить вамъ, когда знакомилъ васъ съ нѣкоторыми изъ моихъ казеннокоштныхъ товарищей. Въ предисловіи къ первому тому переименованы мы

всѣ, какъ участники въ составленіи этого изданія. Теперь рѣшительно не могу отличить, которую изъ лекцій составлялъ я, а очень жаль, потому что это была вторая моя работа, удостоившаяся печати; что же касается до первой, то о ней будетъ рѣчь впереди. Впрочемъ, и изъ всего курса, за исключеніемъ Шлегелева сочиненія, я ровно ничего не помню, кромѣ отрывочныхъ эстетическихъ тезисовъ, основанныхъ, по философіи Шеллинга, на принципѣ противоположностей, которыя сливаются между собою въ примиряющемъ ихъ сосредоточіи, какъ напримѣръ: образъ и звукъ, а сліяніе ихъ — въ словѣ; такъ называемыя образовательныя искусства и музыка, а сліяніе ихъ — въ поэзіи; эпосъ и лирика, а сліяніе ихъ — въ драмѣ.

Изъ чтеній Ивана Ивановича живѣе сохранились въ моей памяти три эпизода, выходившіе изъ рамокъ общей системы курса. Такія отступленія на лекціяхъ были тогда въ обычаѣ и у другихъ профессоровъ, когда они чувствовали потребность подѣлиться съ нами тѣмъ, что въ данную минуту ихъ особенно интересовало. Одинъ изъ эпизодовъ состоялъ въ риторическомъ разборѣ предисловія Карамзина къ его Исторіи государства россійскаго. Разборъ этотъ тогда произвелъ на меня сильное впечатлѣніе авторитетной строгостью въ неукоснительномъ преслѣдованіи нелогическаго сопоставленія и порядка мыслей при неточности ихъ выраженія, какъ въ отдѣльныхъ словахъ, такъ и въ оборотахъ рѣчи; но и теперь на основаніи этого мастерского опыта полагаю, какимъ образцовымъ инспекторомъ и директоромъ учебныхъ заведеній могъ быть Иванъ Ивановичъ Давыдовъ.

Другой его эпизодъ былъ далеко не такъ удаченъ. Въ то время прогремѣлъ въ литературѣ и публикѣ нѣкій Бенедиктовъ своими звонкими и фигуристыми стихотвореніями, которыя какъ разъ совпали съ появленіемъ вычурной прозы Марлинскаго, еще не совсѣмъ заглохшей тогда, благодаря господствовавшему у насъ въ тридцатыхъ годахъ шовинизму. Увлекшись прелестью новизны и громкою молвою, Иванъ Ивановичъ сгоряча ускорилъ подѣлиться съ нами своимъ восторгомъ и принесъ на лекцію стихотворенія Бенедиктова; прочиталъ изъ нихъ нѣсколько выдержекъ и превознесъ новоявленнаго поэта чуть не до уровня съ самимъ Пушкинымъ. Но Бенедиктовскій пустоцвѣтъ не продержался и одного года, завялъ и былъ выброшенъ за окно. Къ чести Давыдова я долженъ сказать, что онъ настолько уважалъ себя, что откровенно сознавался въ своемъ увлеченіи.

Третій эпизодъ заслуживаетъ особеннаго вниманія, свидѣтельствуя о примѣрномъ педагогическомъ тактѣ, съ какимъ Давыдовъ умѣлъ пользоваться подходящимъ случаемъ для умственнаго развитія и усовершенствованія своихъ слушателей. Чтобы пріобрѣсти степень доктора, профессоръ петербургскаго университета Никитенко напечаталъ небольшую книжку и съ успѣхомъ защитилъ ея тезисы. Теперь не помню ни ея заглавія, ни содержанія, только хорошо знаю, что въ ней говорилось вообще объ изящныхъ искусствахъ, о прекрасномъ, о поэзіи, при полнѣйшемъ отсутствіи положительныхъ фактовъ. Давыдовъ роздалъ намъ нѣсколько экземпляровъ этого сочиненія, и когда мы внимательно прочли его, устроилъ для насъ въ своей аудиторіи, такъ сказать, „примѣрный“ диспутъ, въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ маневры примѣрно изображаютъ сраженіе. Профессоръ, укрѣпившись на каѳедрѣ, стойко защищалъ позицію, а мы вразсыпную громили крѣпость со всѣхъ сторонъ и разнесли ее въ пухъ и прахъ.

И по образованію своему, а можетъ быть, и по врожденной наклонности, Давыдовъ рѣшительно предпочиталъ философское умосозерцаніе подробному разрабатыванію фактическихъ мелочей и, какъ философъ, ограничивая свои лекціи теоріею словесности вовсе и не занимался исторіей литературы. Онъ былъ убѣжденъ, что русская словесность въ настоящемъ ея смыслѣ начинается только со временъ Петра Великаго, и древне-русскимъ письменнымъ и старопечатнымъ памятникамъ не придавалъ никакого собственно литературнаго значенія. Въ языкѣ Нестора или Слова о полку Игоревѣ видѣлъ безсмысленную порчу церковно-славянской грамматики и хаотическое броженіе не установившихся, грубыхъ элементовъ русской рѣчи, а къ народному языку былинъ и пѣсенъ относился съ презрительнымъ снисхожденіемъ. Какъ математикъ, онъ больше всего умѣлъ цѣнить точность въ соразмѣрности между словомъ и выражаемою имъ мыслію и не владѣлъ эстетическимъ чутьемъ настолько, чтобы въ неистощимо обильныхъ сокровищахъ нашего языка подмѣчать разнообразіе въ колоритѣ и оттѣнкахъ, которые математической точности выраженія придаютъ ясность и наглядность пластической и живописной формы. Какъ академикъ строгаго закала, онъ наблюдалъ безукоризненную чистоту слога и брезгливо выметалъ малѣйшую соринку, навѣянную изъ безыскусственной и обиходной разговорной рѣчи въ тѣсный кругъ языка книжнаго, заколдованный для профановъ законами свѣтскаго приличія.

Оканчиваю свои воспоминанія объ Иванѣ Ивановичѣ Давыдовѣ изъявленіемъ ему моей сердечной благодарности. По его указанію и совѣту, я впервые познакомился съ такимъ филологическимъ сочиненіемъ, которое впослѣдствіи оказало рѣшающее вліяніе на мои ученыя работы. Это было изслѣдованіе Вильгельма Гумбольдта о сродствѣ и различіи языковъ индогерманскихъ (т.-е. индо-европейскихъ).

Теперь приступаю къ третьему отдѣлу преподавателей, относящихся, какъ уже сказано, къ тому періоду, который предшествуетъ появленію у насъ новыхъ профессоровъ, воротившихся изъ Германіи съ новымъ запасомъ свѣдѣній и съ новыми порядками университетскаго преподаванія. Изъ этого третьяго отдѣла буду говорить только о Надеждинѣ, Шевыревѣ и Погодинѣ. Отношенія этихъ лицъ молодого поколѣнія къ старшему хорошо обозначилъ Давыдовъ, сказавъ мнѣ однажды о Шевыревѣ: „На моихъ глазахъ возрасталъ онъ отъ младыхъ ногтей, и я помню, какъ Амалтея питала его своимъ млекомъ“. Иванъ Ивановичъ любилъ иногда ради шутки уснащать свою рѣчь прикрасами академическаго слога, подъ которыми въ данномъ случаѣ надобно разумѣть, что мальчика для укрѣпленія здоровья поили козьимъ молокомъ.

Изъ трехъ названныхъ профессоровъ начну съ Николая Ивановича Надеждина, потому что могу сказать о немъ очень немного. Въ моей памяти онъ представляется молодымъ человѣкомъ средняго роста, худенькимъ и чернявымъ, съ вдавленной грудью, съ большимъ и тонкимъ носомъ и съ темными волосами, гладко спускающимися на высокій лобъ. Читая лекцію, онъ всегда зажмуривалъ глаза, точно слѣпой, и безпрерывно качался, махая головою сверху внизъ, будто клалъ поясные поклоны, и это размахиваніе гармонировало съ его размашистою рѣчью, бойкою, рьяною, цвѣтистою и искрометною, какъ горный кипучій потокъ. Его лекціи эстетики, хотя и не богатыя содержаніемъ, привлекали толпы слушателей изъ всѣхъ четырехъ факультетовъ и особенно медиковъ. Собственно намъ, первокурсникамъ, онъ читалъ логику по руководству шеллингиста Бахмана, очень толково, понятливо и ясно.

Образованіе свое получилъ онъ въ московской духовной академіи, что̀ въ Сергіевой лаврѣ, у Троицы. Между студентами ходила о немъ легенда, за достовѣрность которой не смѣю ручаться. Въ обычаяхъ этой академіи, получившихъ силу непреложности, было принято давать степень магистра только

такимъ изъ учащихся, которые, еще будучи студентами, примутъ монашество, хотя бы и не вполнѣ достойные по своимъ знаніямъ этой степени. Надеждинъ на послѣднемъ курсѣ изъявилъ свое призваніе къ монастырскому житію, но, надрывая свои силы неусыпнымъ прилежаніемъ въ приготовленіи къ экзамену, захворалъ и по крайнему истощенію и по слабости здоровья не могъ съ подобающимъ благоговѣніемъ въ настроеніи духа воспринять монашескій чинъ и получилъ разрѣшеніе постричься въ монахи по окончаніи курса, а на выходномъ экзаменѣ получилъ степень магистра. Оставивъ лавру, онъ немедленно переселился въ Москву, занялся составленіемъ диссертаціи на латинскомъ языкѣ о романтической поэзіи для полученія степени доктора и блистательно защитилъ ее. Изъ моихъ воспоминаній вы уже знаете, какъ плачевно оборвалась его профессорская служба въ московскомъ университетѣ.

Согласно духу времени и научнымъ требованіямъ отъ профессоровъ нашего факультета, Степанъ Петровичъ Шевыревъ и Михаилъ Петровичъ Погодинъ, каждый усердно предаваясь своей спеціальности, далеко раскидывались въ своихъ интересахъ по широкому поприщу литературы въ качествѣ журналистовъ, критиковъ и беллетристовъ. Впрочемъ, объ ихъ литературномъ и общественномъ значеніи, объ ихъ отношеніяхъ къ Пушкину, Жуковскому, о ихъ дружбѣ съ Гоголемъ и о многомъ другомъ столько уже было печатано, что я нахожу излишнимъ повѣствовать вамъ обо всемъ этомъ въ моихъ воспоминаніяхъ. Ограничусь только тѣмъ, что болѣе касается лично меня.

Въ первый годъ университетскаго обученія Шевыревъ читалъ намъ вмѣстѣ съ юристами, такъ сказать, приготовительный курсъ, имѣвшій двоякое назначеніе: во-первыхъ, по возможности уравнять свѣдѣнія поступившихъ въ университетъ прямо изъ дому или изъ разныхъ учебныхъ заведеній, казенныхъ и частныхъ, съ неустановившеюся еще для нихъ всѣхъ одинаковою программою обученія, и, во-вторыхъ, теоретически и практически на письменныхъ упражненіяхъ укрѣпить насъ въ правописаніи и развить въ насъ способность владѣть пріемами литературнаго слога.

Въ лекціяхъ этого курса Шевыревъ знакомилъ насъ съ элементами книжной рѣчи въ языкѣ церковно-славянскомъ и русскомъ, отличая въ немъ народныя или простонародныя формы отъ принятыхъ въ разговорѣ образованнаго общества. Съ этой цѣлью онъ читалъ и разбиралъ съ нами выдержки изъ лѣто-

писи Нестора по изданію Тимковскаго, изъ писателей XII вѣка и изъ древне-русскихъ стихотвореній по изданіямъ Калайдовича, изъ Исторіи Карамзина, изъ произведеній Ломоносова, Державина, Жуковскаго и особенно Пушкина. При этомъ вдавался въ разныя подробности изъ книги Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ, изъ замѣтокъ Пушкина о русскомъ народномъ языкѣ. Все это, низведенное теперь въ программу среднихъ учебныхъ заведеній, было тогда свѣжею новостью на университетской каѳедрѣ, какъ вы сами можете ясно видѣть, припомнивъ сказанное мною объ Иванѣ Ивановичѣ Давыдовѣ.

Эти лекціи Шевырева производили на меня глубокое, неизгладимое впечатлѣніе, и каждая изъ нихъ представлялась мнѣ какимъ-то просвѣтительнымъ откровеніемъ, дававшимъ доступъ въ неисчерпаемыя сокровища разнообразныхъ формъ и оборотовъ нашего великаго и могучаго языка. Я впервые почуялъ тогда всю его красоту и сознательно полюбилъ его. Чтобы дать вамъ понятіе о силѣ животворнаго дѣйствія, оказаннаго на меня Степаномъ Петровичемъ въ его филологическихъ наблюденіяхъ и анализахъ, достаточно будетъ сказать, что они воодушевляли меня и были положены въ основу моихъ грамматическихъ и стилистическихъ изслѣдованій, когда я работалъ надъ составленіемъ моего сочиненія: „О преподаваніи отечественнаго языка“ (издано 1844 г.). Невыразимо радостно и лестно было мнѣ видѣть въ экземплярѣ этого сочиненія, подаренномъ мною Степану Петровичу, отмѣтки его собственною рукою на поляхъ страницъ: „моя мысль“, „мое замѣчаніе“.

Приготовительный курсъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ читанъ Шевыревымъ въ первый разъ именно намъ. А началъ онъ свои лекціи въ московскомъ университетѣ исторіею иностранныхъ литературъ: еврейской и индійской. Лекціи эти произвели большой эффектъ не только между студентами и профессорами, но и въ избранной московской публикѣ, переполнявшей аудиторію Степана Петровича. Когда мы поступили въ университетъ, онѣ были уже отпечатаны, и я на первомъ же курсѣ съ жадностью читалъ ихъ, наслаждаясь и восторгаясь. Тогда же заронилась во мнѣ мысль учиться по-еврейски и по-санскритски, но я привелъ ее въ исполненіе впослѣдствіи при помощи моихъ казеннокоштныхъ товарищей. Еврейскому языку училъ меня, какъ вы уже знаете, Войцѣховскій, а потомъ санскритскому Коссовичъ.

На первомъ же курсѣ съ неменьшимъ интересомъ прочелъ

я обстоятельную монографію о Дантѣ и его Божественной Комедіи, представленную Шевыревымъ въ факультетъ для снисканія права читать лекціи въ московскомъ университетѣ. Уже тогда я плѣнился великимъ произведеніемъ Данта, и въ теченіе всей моей жизни было оно любимымъ для меня чтеніемъ въ часы досуга и наконецъ сдѣлалось предметомъ моихъ многосторонних изслѣдованій, когда по поводу шестисотлѣтняго юбилея дня рожденія Данта читалъ я студентамъ лекціи о немъ и о его времени цѣлые три года сряду.

До Шевырева въ нашемъ университетѣ читалась только теорія словесности въ родѣ упомянутаго мною курса Давыдова. Степанъ Петровичъ обновилъ каѳедру этого предмета исторіею литературы, сначала только иностранной, а потомъ уже при насъ и русской. Сверхъ того, онъ читалъ намъ цѣлый годъ теорію поэзіи въ историческомъ развитіи. Свой курсъ безъ раздѣленія на лекціи и съ нѣкоторыми дополненіями издалъ онъ въ видѣ диссертаціи и защитилъ ее на публичномъ диспутѣ для полученія степени доктора. Эта книга, хотя немножко и устарѣлая, до сихъ поръ пользуется у насъ заслуженнымъ авторитетомъ. Ее постоянно рекомендовалъ я своимъ слушателямъ, когда читалъ имъ на первомъ курсѣ энциклопедическое введеніе къ спеціальнымъ занятіямъ по филологіи, лингвистикѣ и литературѣ, съ указаніемъ важнѣйшихъ источниковъ и пособій.

Изъ иностранной литературы Шевыревъ читалъ намъ исторію греческой поэзіи. Особенно заинтересовало меня и прочно улеглось въ моей памяти, что̀ сообщалъ онъ по Вольфу о позднѣйшемъ прилаживаніи и сочетаніи отдѣльныхъ рапсодій въ искусственныя формы цѣлыхъ эпосовъ, названныхъ Иліадою и Одиссеею. Не помню, ставилъ ли тогда Шевыревъ въ параллель съ Гомерическими рапсодіями наши былины, или послѣ, когда читалъ намъ исторію русской литературы, но во всякомъ случаѣ эта мысль въ первый разъ пришла мнѣ въ голову со словъ Степана Петровича.

Намъ же въ первый разъ сталъ читать Шевыревъ въ московскомъ университетѣ исторію русской литературы, какъ и тотъ приготовительный курсъ. Готовясь къ своимъ лекціямъ, онъ самъ постепенно разрабатывалъ источники русской старины и народности по рукописямъ, старопечатнымъ книгамъ, народнымъ пѣснямъ и преданіямъ. Неослабный интересъ, возбуждаемый въ профессорѣ безпрестанными открытіями въ новой, еще вовсе не разработанной, области науки дѣйствовалъ на насъ

обаятельною свѣжестью воодушевленія. По крайней мѣрѣ мнѣ чудилось, будто мы идемъ по только что проторенным путямъ въ непроходимыхъ лѣсахъ и дебряхъ, по слѣдамъ отважнаго проводника, который на каждомъ шагу открываетъ намъ все новыя и новыя сокровища родной земли. Въ этихъ лекціяхъ Степанъ Петровичъ уже пользовался знаменитымъ собраніемъ русскихъ пѣсенъ, которое принадлежало Петру Васильевичу Кирѣевскому.

Этотъ курсъ исторіи русской литературы впослѣдствіи внесъ Шевыревъ въ свои публичныя лекціи съ разными измѣненіями и дополненіями, которыя крайностями чрезмѣрнаго славянофильскаго направленія, какъ вамъ должно быть извѣстно, навлекли на него цѣлую бурю озлобленныхъ нареканій.

Въ заключеніе о читанныхъ намъ лекціяхъ Шевырева я долженъ прибавить, что каждую изъ нихъ онъ тщательно писалъ своимъ четкимъ, красивымъ почеркомъ на листахъ съ отогнутыми полями, на которыхъ вкратцѣ обозначалъ содержаніе каждаго параграфа или абзаца. Слѣдуя примѣру моего незабвеннаго учителя, и я въ теченіе всего моего многолѣтняго профессорства каждую лекцію писалъ, только не такъ четко и старательно и безъ всякихъ отмѣтокъ на поляхъ страницъ.

О лекціяхъ Михаила Петровича Погодина говорить много не буду, потому что все, что я могъ и умѣлъ сказать о немъ, какъ о профессорѣ, предложено въ рѣчи, читанной мною вскорѣ по его кончинѣ въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности. Она напечатана во 2-мъ томѣ „Моихъ Досуговъ“, а цитировать самого себя я не намѣренъ.

На первомъ курсѣ онъ читалъ намъ изъ всеобщей исторіи о религіи, политикѣ, торговлѣ, о нравахъ и обычаяхъ древнихъ народовъ, по извѣстному сочиненію Герена (Heeren). Именно тогда я живо почувствовалъ и оцѣнилъ великое значеніе народнаго быта, на разработку котораго въ предѣлахъ русской земли я посвятилъ бо́льшую часть моихъ ученыхъ работъ. Лекціи Погодина я постоянно записывалъ съ его словъ и каждую старательно и любовно составлялъ, пользуясь добытымъ изъ университетской библіотеки нѣмецкимъ оригиналомъ, и какъ благодарилъ я тогда Александра Христофоровича Зоммера, что еще въ пензенской гимназіи научилъ онъ меня толково разбирать нѣмецкую грамоту! Лекціи по Герену, составленныя студентами, Погодинъ напечаталъ, и въ эту-то книгу попала частица и моей работы, самая ранняя и первая проба пера, удостоившаяся печати.

На старшихъ курсахъ Погодинъ читалъ намъ уже настоящій свой предметъ — исторію Россіи. Въ этихъ лекціяхъ больше всего заинтересовалъ меня вопросъ о скандинавскомъ происхожденіи варяго-руссовъ. Я обратился къ Михаилу Петровичу съ просьбою указать мнѣ какое-нибудь руководство для изученія древнихъ нѣмецкихъ нарѣчій. Онъ назвалъ мнѣ грамматику Якова Гримма и велѣлъ обратиться за этимъ сочиненіемъ къ профессору Рѣдкину, читавшему тогда въ московскомъ университетѣ энциклопедію и философію права. Такимъ образомъ изъ устъ Погодина въ первый разъ услышалъ я имя великаго германскаго ученаго, который своими многочисленными и разнообразными изслѣдованіями потомъ оказывалъ на меня такую обаятельную силу, такъ воодушевлялъ меня, что я сдѣлался однимъ изъ самыхъ ревностныхъ и преданнѣйшихъ его послѣдователей.

Погодину же я обязанъ великою благодарностью и за то, что онъ первый научилъ меня читать и разбирать наши старинныя рукописи, во множествѣ собранныя въ его такъ называемомъ древлехранилищѣ, которое помѣщалось тогда въ собственномъ его домѣ, на Дѣвичьемъ полѣ. Эти занятія мои начались вотъ по какому случайному поводу. Знаменитый чешскій ученый Шафарикъ для своихъ филологическихъ работъ имѣлъ надобность въ точной копіи съ одной изъ самыхъ древнѣйшихъ нашихъ рукописей, которая находилась въ древлехранилищѣ. Это была хорошо извѣстная спеціалистамъ Толковая Псалтырь XI вѣка, такъ называемая Евгеніевская, по имени митрополита Евгенія, которому прежде принадлежала. Погодинъ поручилъ мнѣ снять эту копію. Работа оказалась для меня въ высокой степени полезной и была не особенно трудна, потому что древняя рукопись составляетъ только малую часть всей псалтыри. Въ пособіе для справокъ онъ снабдилъ меня старопечатнымъ текстомъ и нынѣ принятымъ исправленнымъ.

Одновременно съ этою работой онъ познакомилъ меня на образцахъ по оригиналамъ съ разными почерками стариннаго письма: съ уставнымъ, полууставнымъ и съ скорописью, мудреные завитки которой училъ разбирать меня по складамъ.

Такимъ образомъ мое университетское обученіе раздѣлялось по двумъ мѣстностямъ: въ аудиторіи и въ Погодинскомъ древлехранилищѣ. Сказаннаго почитаю достаточнымъ, чтобы дать вамъ понятіе о моей безграничной благодарности Михаилу Петровичу за все, чѣмъ я обязанъ его попеченіямъ и заботамъ

оемъ образованіи въ продолженіе всѣхъ четырехъ лѣтъ сту-
чества, начиная, какъ вы уже знаете, съ самаго поступле-
моего въ университетъ и съ водворенія въ казеннокошт-
ъ общежитіи. Онъ же, какъ увидите потомъ, былъ для меня
оводителемъ въ первыхъ опытахъ моихъ на широкомъ пути
нальной литературы.

Новый періодъ въ исторіи московскаго университета, какъ
ано, начинается вмѣстѣ съ появленіемъ къ намъ молодыхъ
фессоровъ, получившихъ свое образованіе за границею, пре-
ществено въ Германіи. Это были: на нашемъ факультетѣ
оринъ, Крюковъ и Чевилевъ; на юридическомъ Крыловъ,
шевъ и Рѣдкинъ; на медицинскомъ — Анке, Армфельдъ,
земцевъ, Филомаѳитскій и еще кто-то, не припомню, а на
матическомъ, кажется, никого. Во избѣжаніе недоразумѣ-
спѣшу предупредить, что нѣсколько другихъ профессоровъ
же категоріи появились въ московскомъ университетѣ, когда
уже кончили курсъ. А именно: на нашемъ факультетѣ —
ьщиковъ, Бодянскій и Грановскій, на юридическомъ — Леш-
ь, на математическомъ — Спасскій и Дра́шусовъ.

Профессоръ греческаго языка (ни имени его, ни отчества
припомню) былъ совсѣмъ молодой человѣкъ, самый юный
всѣхъ прибывшихъ вмѣстѣ съ нимъ товарищей, небольшого
та, быстрый и ловкій въ движеніяхъ, очень красивъ собою,
всемъ былъ изященъ и симпатиченъ, и въ привѣтливомъ
ядѣ, и въ мягкомъ, задушевномъ голосѣ, когда, объясняя
ь Гомера и Софокла, онъ мастерски переводилъ ихъ стихи
краснымъ литературнымъ слогомъ. Но, къ несчастію, мы
зовались его высокими дарованіями и свѣдѣніями очень не-
го, менѣе года. Онъ вдругъ исчезъ изъ университета и изъ
квы, а куда дѣвался — никто не зналъ. Такъ и простылъ
слѣдъ. Спустя года два-три, дошелъ до меня слухъ, будто
гдѣ-то за границею учительствуетъ или гувернерствуетъ
какой-то фамиліи — русской или иностранной, неизвѣстно.
омъ, спустя много лѣтъ, кто-то говорилъ мнѣ, что нашего
орина видѣли въ одѣяніи католическаго монаха, помнится,
Бельгіи.

Вскорѣ по исчезновеніи Печорина, его замѣнилъ выписан-
изъ Германіи нѣмецкій ученый, по фамиліи Гофманъ, еще
одой человѣкъ, высокій, дебелый и румяный, съ длинными
ыми волосами, ниспадавшими на плечи, милый чудакъ съ

замашками наивнаго бурша. По-русски онъ не говорилъ ни слова и переводилъ съ нами греческихъ классиковъ на латинскій языкъ. Въ лѣтописяхъ московскаго университета его имя связано съ одною катастрофою, надѣлавшею много шума по всей Москвѣ, о чемъ я разскажу вамъ въ своемъ мѣстѣ.

Профессоръ римской словесности, Дмитрій Львовичъ Крюковъ былъ немножко постарше Печорина и, какъ онъ, такой же любезный и изящный, но въ его привѣтливомъ обращеніи съ нами чувствовалась сдержанность снисходительнаго величія, а изяществу манеръ, голоса и рѣчи и всей своей осанкѣ умѣлъ онъ придавать нѣкоторый лоскъ щеголеватости, которая, въ предѣлахъ строгаго приличія, не нарушаетъ достоинства чистокровнаго джентльмена. Онъ былъ средняго роста, блондинъ, съ наклонностью къ полнотѣ, но здоровый и свѣжій, румяный и бѣлый, какъ кровь съ молокомъ; отличительную черту его лица составлялъ высокій и широкій лобъ, а глазъ изъ-подъ очковъ было не видать.

Вскорѣ по пріѣздѣ его изъ-за границы между нами распространилась о немъ внушительная репутація ученаго автора, напечатавшаго въ Германіи книгу на нѣмецкомъ языкѣ, подъ псевдонимомъ „Peregrino“, итальянская благозвучность котораго такъ согласовалась съ его щеголеватою изящностью. Ни содержанія, ни даже названія этой книги теперь не припомню; знаю только, что это была монографія по какому-то очень спеціальному вопросу изъ исторіи римскаго быта.

Изъ лекцій Крюкова помню, что онъ заставилъ меня полюбить Тацита и особенно Горація, къ которому симпатію я вынесъ еще изъ пензенскихъ уроковъ Орлова. Самъ же Дмитрій Львовичъ предпочиталъ изъ всѣхъ римскихъ писателей Тацита, и въ послѣдніе годы своей недолгой жизни переводилъ его Анналы на русскій языкъ, старательно обогащая и усовершенствуя свой слогъ внимательнымъ чтеніемъ нашихъ старинныхъ мемуаровъ, государственныхъ грамотъ и договоровъ, посланій и лѣтописей, не говоря уже объ историкахъ, начиная отъ Щербатова и до Пугачевскаго бунта, Пушкина.

На четвертомъ курсѣ читалъ онъ намъ римскія древности на латинскомъ языкѣ. Этотъ предметъ такъ заинтересовалъ меня, что въ дополненіе къ нему я посѣщалъ лекціи Крылова по исторіи римскаго права. Сверхъ того мнѣ желательно было познакомиться съ взглядами знаменитаго юриста Савиньи, о которомъ такъ много говорилось въ то время. Когда перевели

ісъ на четвертый курсъ, то профессора, привыкнувъ изла-
ть свой предметъ въ предѣлахъ трехлѣтняго срока, нашли
зможнымъ расширить объемъ своего преподаванія практиче-
ими занятіями студентовъ на этомъ курсѣ, раздѣливъ насъ по
еціальностямъ на три отдѣленія: на классическое, историче-
ое и славяно-русское. Такимъ образомъ для насъ же впервые
или введены въ московскомъ университетѣ такъ называемые
минаріи, но, кажется, это нововведеніе только и ограничи-
сь одними нами. Послѣ насъ семинаріи не продолжались и
или вновь сформированы уже много лѣтъ спустя.

Я избралъ себѣ отдѣленіе славяно-русское. Давыдовъ далъ
ѣ для изученія такъ называемую „Общую Грамматику“ из-
стнаго французскаго филолога Дю-Саси въ нѣмецкой пере-
лкѣ Фатера, съ дополненіями изъ нѣмецкаго языка. Эту
игу я перевелъ всю сполна и добавилъ грамматическія по-
обности Дю-Саси и Фатера русскими и церковно-славянскими.
ой переводъ былъ одобренъ факультетомъ для напечатанія,
остался въ рукописи. По счастливой случайности она со-
анилась у меня до послѣдняго времени, и недавно я отдалъ
вмѣстѣ со всѣми моими лекціями въ рукописное отдѣленіе
сковскаго Публичнаго музея, что̀ на Знаменкѣ. А для Ше-
рева я составилъ систематическій сводъ грамматикъ: Смотриц-
го, Ломоносова, академической, большихъ, или полныхъ, грам-
тикъ Греча и Востокова и церковно-славянской Добровскаго.
дъ обѣими этими работами я трудился весь годъ и по мѣрѣ
готовленія приносилъ на лекціи, что̀ успѣвалъ сдѣлать въ не-
лю, для доклада тому или другому изъ моихъ наставниковъ.
кимъ образомъ, благодаря этимъ практическимъ занятіямъ, я
статочно былъ вооруженъ свѣдѣніями, необходимыми по тому
емени для всякаго доброкачественнаго учителя русскаго языка.

Въ концѣ мая 1838 года я окончилъ университетскій курсъ.

X.

Окончивъ въ маѣ 1838 года университетскій курсъ кандида-
мъ словеснаго отдѣленія философскаго факультета, я тотчасъ же,
рекомендаціи проф. И. И. Давыдова и инспектора студен-
въ П. С. Нахимова, поступилъ домашнимъ учителемъ въ семей-
во гофмаршала барона Льва Карловича Бо́де. Такимъ образомъ,
ямо изъ казеннокоштнаго „общежитія“ и еще въ студенческомъ

вицмундирѣ переселился я въ подмосковное имѣніе барона, подольскаго уѣзда, въ село Покровское-Мещерское; туда уже прежде перебралось его семейство на лѣто съ московской квартиры, помѣщавшейся въ Кремлѣ, во второмъ кавалерскомъ корпусѣ, который теперь содержитъ въ себѣ Оружейную палату.

На первыхъ же порахъ при моемъ вступленіи на поприще новой жизни выпала мнѣ счастливая доля снискать благосклонное вниманіе и затѣмъ въ теченіе цѣлаго полустолѣтія упрочить за собою дружеское расположеніе одной изъ образованнѣйшихъ и почетныхъ фамилій русскаго дворянства. По самому происхожденію и по семейнымъ преданіямъ, въ высокихъ ея качествахъ неразрывно сочетались привѣтливая сановитость и феодальныя доблести непоколебимаго легитимизма съ величавою простотою, благодушіемъ и строгою набожностью стариннаго боярскаго рода, который въ свою лѣтопись, по женской линіи, внесъ житіе святого мученика Филиппа митрополита, пострадавшаго отъ царя Іоанна Грознаго.

Бароны Боде — происхожденія французскаго. Въ XIV вѣкѣ у нихъ были имѣнія въ провинціи Турени. Гонимые, какъ гугеноты, они перешли въ Германію и поселились въ городѣ Ахенѣ, имѣли владѣнія на Рейнѣ и впослѣдствіи были признаны членами франконскаго округа Стейгервальдъ и утверждены императоромъ Карломъ VI въ древнемъ дворянствѣ и баронскомъ достоинствѣ. Французская революція конца прошлаго столѣтія застаетъ родителей барона Льва Карловича уже въ Эльзасѣ, въ ихъ ленномъ имѣніи, въ городѣ Сульцъ-су-Форе. Его отцу грозила гильотина, и когда жандармы сыскной полиціи ворвались къ нему въ домъ, онъ успѣлъ отъ нихъ скрыться черезъ задній дворъ и садъ. Жену его и малолѣтнихъ дѣтей они не тронули и пустились въ погоню за бѣглецомъ. Но все обошлось благополучно, и баронъ съ своимъ семействомъ успѣлъ эмигрировать въ Россію. Императрица Екатерина II приняла его благосклонно и пожаловала ему имѣніе въ 12.000 десятинъ въ Херсонской губерніи, именуемое Крамеровы Балки, и другое — въ Крыму.

Въ 1815 г. баронъ Левъ Карловичъ женился на Натальѣ Ѳедоровнѣ Колычевой, изъ того стариннаго боярскаго рода, о которомъ сказано выше. Я засталъ еще въ живыхъ ея мать, Анну Никитишну, милую старушку, и пользовался отъ нихъ обѣихъ привѣтомъ и ласкою.

Когда я водворился въ семействѣ Льва Карловича и Натальи Ѳедоровны, у нихъ было два сына, Левъ и Михаилъ, и шесть

дочерей: Анна, Наталья, Марья, Екатерина, Елена и Александра. Изъ нихъ двое тогда отсутствовали: старшій сынъ Левъ Львовичъ служилъ въ лейбъ-гвардіи, а старшая дочь Анна Львовна находилась въ Зимнемъ дворцѣ фрейлиною при особѣ императрицы Александры Ѳеодоровны, которая ее очень любила.

Мои воспоминанія объ этой безподобной фамиліи, разсѣянныя на разстояніи, какъ я уже сказалъ, цѣлаго полустолѣтія, сливающіяся и перепутанныя со множествомъ другихъ, всякій разъ, какъ только я вызываю ихъ передъ собою, высвобождаются изъ рамокъ хронологическаго порядка и сами собою сосредоточиваются на отдѣльныхъ лицахъ, которыя, по принимаемому мною участію, представляются мнѣ раздѣленными на группы. Такихъ группъ всего три. Одну составляетъ самое младшее поколѣніе: Александра Львовна, десяти лѣтъ, и Елена Львовна, двѣнадцати; другую — старшія ихъ сестры, мнѣ ровесницы: Наталья Львовна, годомъ старше меня, Марья Львовна, моихъ лѣтъ, и Екатерина Львовна, годомъ моложе меня. Въ центрѣ третьей группы возникаетъ передо мною величавый и прекрасный образъ Михаила Львовича, возлюбленнаго моего ученика и неизмѣннаго друга до самой его кончины, послѣдовавшей въ 1888 г. Имъ я начну, имъ же заключу мои воспоминанія о фамиліи барона Льва Карловича, а тѣ двѣ группы внесу въ нихъ, какъ эпизоды.

И всѣ-то названныя мною особы, дорогія моей памяти, отошли въ вѣчность! Осталась въ живыхъ только Анна Львовна, самая старшая изъ своихъ сестеръ и братьевъ, давно уже вдовствующая княгиня Долгорукова. Отъ своего брата наслѣдовала она дружеское ко мнѣ расположеніе, а отъ сестеръ, незабвенныхъ моихъ ученицъ, — тѣ симпатіи, которыми отвѣчали онѣ на преданность и усердіе ихъ наставника.

Баронъ Левъ Карловичъ пригласилъ меня въ свой домъ собственно для того, чтобы въ теченіе года приготовить четырнадцати-лѣтняго сына его Михаила Львовича въ старшій классъ пажескаго корпуса, а двухъ младшихъ дочерей учить русскому языку.

Мнѣ предоставлялось давать уроки Михаилу Львовичу изъ русской грамматики, исторіи и словесности по моему собственному разумѣнію, потому что никакой учебной программы у насъ не было, да и никто о ней не заботился, а я и подавно. Въ пензенской гимназіи мы пробавлялись, какъ вы уже знаете, самоучкою, безъ всякаго порядка и системы. Мои жалкія педагогическія попытки въ студенческіе годы были не настоящимъ

дѣломъ, а плохою подѣлкою, не пробою пера, а каракуля
Теперь приходилось самому, безъ посторонней помощи и бе
всякихъ пособій, производить первый настоящій опытъ на у
тельскомъ поприщѣ съ отвѣтственностью экзамена моему у
нику. Всю надежду возлагалъ я на свѣдѣнія, вынесенныя мн
изъ университета. Правда, мои практическія, письменныя р
боты по грамматикѣ на послѣднемъ курсѣ, у Шевырева и Д
выдова, давали для моего опыта матеріалъ подходящій, но у
слишкомъ громоздкій и широко разбросанный; изъ него мож
было кое-что извлекать, но какъ и въ какой мѣрѣ — я не мо
сообразить. По русской исторіи лекціи Погодина для моихъ у
ковъ не годились, а курсъ исторіи русской литературы, чита
ный намъ Шевыревымъ, былъ недоступенъ ни разумѣнію,
интересамъ моего ученика, столько же, какъ и теорія слове
ности Давыдова съ ея философскими обобщеніями и обремен
тельными подробностями о родахъ и видахъ поэтическихъ и пр
заическихъ произведеній. Больше годился для моей цѣли вы
объясненный мною приготовительный курсъ Шевырева о азы
и слогѣ; но для школьнаго обученія этотъ предметъ надобно бы
высвободить изъ рамокъ систематической теоріи и дать ему пра
тическое примѣненіе на чтеніи литературныхъ произведеній
въ письменныхъ упражненіяхъ. А между тѣмъ никакихъ учебн
ковъ у насъ подъ руками не было, да, сверхъ того, мой смѣ
ливый, проницательный и необыкновенно даровитый ученик
но рѣзвый, живой и нетерпѣливый, питалъ рѣшительное отвр
щеніе къ голословнымъ предписаніямъ грамматики Востокова
риторики Кошанскаго.

Замѣчу мимоходомъ, что всѣ эти затрудненія, встрѣтивш
меня при самомъ вступленіи на педагогическое поприще, тог
уже залегли глубоко въ моей душѣ и не переставали занима
меня до тѣхъ поръ, пока въ 1844 г. я не разрѣшилъ и
себѣ, какъ умѣлъ и могъ, въ изслѣдованіи: „О преподаван
отечественнаго языка“.

Михаилъ Львовичъ былъ только шестью годами моложе мен
да и самъ я, безбородый юноша, всего двадцати лѣтъ, по во
расту и развитію подходилъ къ нему, не какъ учитель къ уч
нику, а какъ старшій товарищъ къ младшему, который довѣ
чиво и усердно пользуется его совѣтами и наставленіями. Так
отношенія установились между нами очень скоро, еще въ М
щерскомъ (такъ говорилось вмѣсто Покровскаго-Мещерскаго
Я по себѣ хорошо зналъ, сколько по доброй волѣ може

сдѣлать для своего умственнаго образованія четырнадцатилѣтній мальчикъ, и въ дарованіяхъ своего ученика видѣлъ залогъ его будущихъ успѣховъ, на которые я тѣмъ надежнѣе разсчитывалъ, что легко и скоро замѣтилъ въ его откровенномъ и простодушномъ характерѣ способность энергически стремиться къ достиженію предположенной цѣли и упорно домогаться исполненія своихъ желаній. Въ то время, при моей неопытной молодости, конечно, я не могъ такъ ясно и точно сознавать всѣ эти соображенія, какъ теперь излагаю ихъ вамъ; однако и тогда былъ я уже настолько развитъ, что могъ, хотя и смутно, но живо ихъ почувствовать, какъ бы по инстинкту оберегая себя въ совершенно новомъ для меня, въ небываломъ положеніи.

Прежде всего мнѣ надлежало воспитать въ моемъ ученикѣ охоту къ серьезнымъ занятіямъ и пробудить любовь къ наукѣ, пользуясь его живою воспріимчивостью и пытливымъ умомъ, но такъ, чтобы съ перваго же разу не причинить ни малѣйшаго насилія этимъ способностямъ скукою и черезчуръ напряженнымъ трудомъ, какъ это обыкновенно бываетъ съ начинающими учиться, когда насильно таскаютъ ихъ по томительнымъ мытарствамъ элементарнаго учебника. Оставивъ теорію въ сторонѣ, я избралъ методъ практическій, и тѣмъ болѣе потому, что онъ вполнѣ согласовался съ предметами моихъ уроковъ, съ роднымъ языкомъ и отечественною исторіею, которая въ общихъ чертахъ была уже нѣсколько знакома Михаилу Львовичу. Сверхъ того, онъ уже не только умѣлъ разбирать церковную грамоту, но и достаточно понималъ церковно-славянскій языкъ, потому что въ набожной фамиліи барона Льва Карловича священное писаніе и богослужебныя книги далеко не были въ забросѣ, какъ бываютъ они у другихъ сплошь да рядомъ. Проживая лѣтомъ въ Мещерскомъ, его старшія дочери, владѣя хорошими голосами, любили пѣть на клиросѣ, а для басовъ и теноровъ пріѣзжали изъ ближайшаго сосѣдства молодые князья Оболенскіе. Когда подросла Елена Львовна, у нея оказался великолѣпный контральто, который могъ бы произвести эффектъ на любомъ концертѣ. Иногда и звонкій дискантъ Михаила Львовича раздавался въ этомъ семейномъ хорѣ. Кто-нибудь изъ пѣвцовъ за церковной службой читалъ Апостола, а Екатерина Львовна — шестопсалміе.

Положивъ въ основу нашихъ занятій чтеніе и разсказъ или письменное изложеніе прочитаннаго, я соединилъ вмѣстѣ уроки исторіи съ изученіемъ языка, слога и литературы, разумѣется,

придерживаясь для себя нѣкоторой системы въ постепенномъ ознакомленіи моего ученика съ каждымъ изъ этихъ разнородныхъ предметовъ и не обременяя его вниманія излишними подробностями. Впрочемъ, онъ самъ помогалъ мнѣ въ этомъ дѣлѣ, облегчая его, а часто и направляя своими пытливыми вопросами, и такимъ образомъ наше, такъ сказать, толковое чтеніе иногда незамѣтно переходило въ серьезную бесѣду о какой-нибудь вычитанной нами подробности. Чтобы неослабно поддерживать и возбуждать его любознательность, я долженъ былъ сколько возможно дѣлать свои уроки ему пріятными, и для этой цѣли я ничего лучше не умѣлъ придумать, какъ занимательное и вмѣстѣ поучительное чтеніе; а когда онъ втянулся въ него и пріохотился, случалось, что въ выборѣ книгъ и статей я согласовался съ его желаніемъ.

Тогда я вовсе не зналъ, а по своему личному опыту въ пензенской гимназіи не могъ и предполагать, что обученіе, въ силу дисциплинарныхъ правилъ педагогіи, должно воспитывать въ учащихся навыкъ къ неукоснительному исполненію обязанностей и къ выносливому терпѣнію, чтобы преодолѣть трудную работу. Вмѣсто того я избралъ путь занимательнаго препровожденія времени и достигъ преднамѣренной мною цѣли: Михаилъ Львовичъ полюбилъ науку и полюбилъ страстно, со всѣмъ увлеченіемъ своего пылкаго темперамента, и, какъ вы увидите, доказалъ это на дѣлѣ, занимаясь въ теченіе всей своей жизни собираніемъ, приведеніемъ въ порядокъ, изученіемъ и научною обработкою письменныхъ источниковъ русской старины и даже художественною реставраціею ея иконописныхъ и монументальныхъ памятниковъ.

А надобно вамъ знать, что послѣ кратковременнаго пребыванія въ старшихъ классахъ пажескаго корпуса Михаилъ Львовичъ болѣе нигдѣ уже не учился и постоянно до самой своей кончины говаривалъ, что всѣмъ своимъ научнымъ образованіемъ онъ обязанъ одному мнѣ; я же съ своей стороны скажу вамъ, что по времени это былъ первый настоящій мой ученикъ и одинъ изъ самыхъ преданнѣйшихъ.

Однако я долженъ вамъ разсказать, сколько могу припомнить о томъ, въ чемъ именно состояли наши учебныя занятія, какъ въ урокахъ, такъ и въ свободное отъ нихъ время. Главнымъ источникомъ и пособіемъ для насъ была многотомная исторія Карамзина, изъ которой, не всегда придерживаясь хронологическаго порядка, но руководствуясь своими соображе-

ніями, я выбиралъ наиболѣе интересные эпизоды не только государственнаго и вообще политическаго содержанія, но и особенно бытового, изъ частной семейной жизни нашихъ предковъ и всенародной, гражданской и церковной. Карамзинъ же давалъ намъ и точки отправленія для исторіи нашей древней литературы въ своемъ мастерскомъ переложеніи письменныхъ ея памятниковъ и въ обширныхъ примѣчаніяхъ, гдѣ приводилъ онъ ихъ въ оригиналѣ. Такимъ образомъ отъ Исторіи государства россійскаго мы незамѣтно переходили къ чтенію выдержекъ — изъ лѣтописи Нестора по изданію Тимковскаго, изъ Кіево-Печерскаго Патерика, изъ древнихъ русскихъ стихотвореній или былинъ Кирши Данилова. Изъ новой литературы интересовали Михаила Львовича особенно: Загоскина — „Юрій Милославскій“ и Пушкина — „Борисъ Годуновъ“ и „Капитанская дочка“.

Пытливая любознательность моего ученика, воспламененная разнообразнымъ чтеніемъ, по стремительной живости его характера, не знала удержа и увлекала его изъ тѣсныхъ предѣловъ отмѣреннаго часами урока. Онъ забѣгалъ въ мою комнатку, лѣтомъ въ деревенскомъ флигелѣ, направо отъ большого дома, а зимою въ верхнемъ этажѣ дворцоваго корпуса, и когда заставалъ меня за книгою — непремѣнно хотѣлъ знать, что такое я читаю, и я долженъ былъ подробно разсказать, что въ этой книгѣ содержится и почему и для чего она интересуетъ меня, а онъ не перестаетъ спрашивать и допрашивать, вставляя свои замѣчанія и недоразумѣнія; между нами завязывается оживленная бесѣда, и учитель съ ученикомъ превращаются въ двухъ школьныхъ товарищей, которые иной разъ наперерывъ состязаются въ разрѣшеніи мудреныхъ, хотя бы и непосильныхъ для нихъ, задачъ науки и жизни.

Этимъ немногимъ ограничиваю я свои воспоминанія о годахъ ученія Михаила Львовича. Я былъ бы очень радъ, если бы въ этомъ любознательномъ четырнадцатилѣтнемъ мальчикѣ вы могли признать моего двойника изъ той далекой поры, когда я преуспѣвалъ въ пензенской гимназіи по методу взаимнаго обученія, когда съ моей матушкой читалъ разныя книги, а съ Михаиломъ Осиповичемъ Орловымъ велъ философскія бесѣды на латинскомъ языкѣ.

Теперь перехожу къ моимъ ученицамъ и именно къ первой, или младшей группѣ, т.-е. къ Александрѣ Львовнѣ и Еленѣ Львовнѣ. Обѣ онѣ были прехорошенькія, но каждая въ своемъ родѣ. Первая была миніатюрная десятилѣтняя дѣвочка, настоя-

щая игрушка высокой нюрнбергской работы, рѣзвая и живая, какъ ртуть; бывало, она не ходитъ, какъ ходятъ другіе, твердо ступая на всю ногу, а какъ-то граціозно прыгаетъ на цыпочкахъ и перепархиваетъ съ мѣста на мѣсто и изъ одной комнаты въ другую. Бѣленькая и нѣжная до прозрачности, вся она будто соткана была изъ радостей и веселія, которое то и дѣло выступало наружу то мимолетной улыбкой, то полусдержаннымъ смѣхомъ, а то и цѣлымъ взрывомъ задушевнаго хохота. Прозрачную ясность своей души и быстроту мыслей и тѣлодвиженій и этотъ беззаботный хохотъ сберегла она въ себѣ и въ старости до самой смерти. Елена Львовна, двумя годами старше своей маленькой сестры, была привлекательна и мила въ другомъ родѣ. Значительно выше ея и полнѣе, она отличалась плавностью въ движеніяхъ и деликатною сдержанностью въ обращеніи. Во всей ея натурѣ чувствовалось что-то спокойное, ровное и неизмѣнное, какое-то въ себѣ сосредоточенное, такъ сказать, лѣнивое самодовольство, которое придаетъ обаятельную прелесть хорошенькой женщинѣ. Со временемъ эти достоинства завершились новою прелестью, когда она пѣла своимъ безподобнымъ, задушевнымъ контральто. Лицомъ она больше другихъ сестеръ была похожа на Михаила Львовича, а спокойною сосредоточенностью — на Наталью Львовну.

Обѣ эти ученицы мои были очень понятливы и достаточно прилежны; заниматься съ ними мнѣ было пріятно, а благодаря внезапнымъ вспышкамъ забавной хохотуньи, даже и весело, но гораздо труднѣе, нежели съ Михаиломъ Львовичемъ. Тутъ долженъ я былъ вести свое дѣло въ строгой системѣ постепеннаго преподаванія, чтобы предложить имъ ясное понятіе объ основныхъ началахъ грамматики въ той мѣрѣ, сколько это требуется для вразумительнаго разбора отдѣльныхъ словъ и предложеній при чтеніи и вмѣстѣ съ тѣмъ для правописанія. Хотя старшая изъ моихъ ученицъ нѣсколько опередила свою сестру въ элементарныхъ свѣдѣніяхъ по русской грамматикѣ, но она знала кое-что только изъ этимологіи, а я, по принятому мною уже и тогда новому методу, началъ съ ними обученіе грамматики синтаксическимъ разборомъ предложенія — и на цѣльной его канвѣ, съ подлежащимъ, сказуемымъ, съ словами опредѣлительными, дополнительными и обстоятельственными, располагалъ отдѣльныя части рѣчи съ ихъ измѣненіями въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Такимъ образомъ я уравнялъ учебные интересы обѣихъ сестеръ, и мои уроки были новостью одина-

ково для той и другой. Разумѣется, и съ ними, такъ же какъ и съ Михаиломъ Львовичемъ, я принялъ методъ практическій — на чтеніи и письменныхъ упражненіяхъ, состоявшихъ въ диктантѣ и списываніи съ печатнаго. Не помню, съ чего я началъ наше толковое чтеніе, вѣроятно съ отдѣльныхъ предложеній и періодовъ, но очень скоро приступилъ къ баснямъ Крылова и къ сказкѣ Пушкина: „О рыбакѣ и рыбкѣ“, грамматическій разборъ которой впослѣдствіи я съ пользою употреблялъ въ первомъ классѣ третьей московской гимназіи, а потомъ въ 1844 г. и напечаталъ въ моемъ сочиненіи: „О преподаваніи отечественнаго языка“.

Въ нашихъ урокахъ мало-по-малу водворился нѣкоторый порядокъ школьной дисциплины, благодаря вліянію старшей сестры на младшую не только примѣромъ, но и внушеніями — то тихонько произнесеннымъ словомъ, то взглядомъ, то какимъ-нибудь жестомъ. Укрощенію необузданной, безпричинной веселости Александры Львовны способствовалъ и самый методъ преподаванія, требовавшій, чтобы мои ученицы постоянно упражнялись практически, то на чтеніи, то въ диктантѣ. Когда Александра Львовна во время урока что-нибудь читала вслухъ, или что писала, она до извѣстной степени сосредоточивала свое вниманіе на этихъ занятіяхъ и такимъ образомъ лишала себя возможности смѣхотворно наблюдать окружающіе ее предметы; но и тутъ выпадало не мало случаевъ къ мгновеннымъ взрывамъ ея веселости: ну, какъ же не расхохотаться, въ самомъ дѣлѣ, до слезъ, когда въ баснѣ Крылова обезьяна надѣваетъ себѣ на носъ очки, или когда въ диктантѣ вмѣсто надлежащаго слова очутится у нея сама собою такая безсмысленная чепуха, что и не придумаешь, какъ она туда попала!

Вы, можетъ быть, удивитесь, если я скажу вамъ, что эта добродушная и простосердечная смѣшливость моей маленькой ученицы принесла лично мнѣ много пользы. Перенесенный такъ внезапно, будто по щучьему велѣнію, изъ разнокалибернаго товарищества казеннокоштныхъ номеровъ въ аристократическую семью, живо почувствовалъ я угловатую неуклюжесть своихъ бурлацкихъ манеръ, которыя на каждомъ шагу могли бы нарушать условныя правила свѣтскихъ приличій и благовоспитанности, если бы я не держалъ себя насторожѣ. Самолюбіе не позволяло мнѣ рѣзко отличаться доморощенными привычками въ этой новой средѣ, куда я попалъ, да и сознаніе собственнаго своего достоинства въ качествѣ наставника обязывало

меня во всемъ до послѣдней мелочи держать себя такъ, какъ поступаютъ и ведутъ себя другіе. Въ этихъ опытахъ самовоспитанія я не встрѣчалъ себѣ никакихъ затрудненій или непріятностей, благодаря безукоризненно вѣжливой и деликатной снисходительности и привѣтливому вниманію барона Льва Карловича и баронессы Натальи Ѳедоровны со всѣми дѣтьми ихъ. Разумѣется, могли быть съ моей стороны нѣкоторые недосмотры въ соблюденіи кое-какихъ мелочей въ общепринятыхъ манерахъ и привычкахъ, и вотъ въ такихъ-то случаяхъ веселыя вспышки Александры Львовны были для меня настоящимъ кладомъ. Какъ иной разъ взглянетъ она на меня и если захихикаетъ и сдѣлаетъ насмѣшливую гримаску, я тотчасъ же проэкзаменую себя, не растрепались ли у меня на головѣ волосы, или не съѣхалъ ли на сторону мой галстукъ.

Вскорѣ по переѣздѣ фамиліи барона Льва Карловича изъ Мещерскаго въ московскій Кремль, къ двумъ моимъ ученицамъ присоединилась и третья. Эта была Анна Петровна Колычева, ихъ троюродная сестра, круглая сирота, немедленно по смерти отца привезенная къ намъ изъ ея наслѣдственнаго имѣнія,— не помню, какой губерніи,— по завѣщанію ея отца, подъ опеку и на попеченіе ея тетки, баронессы Натальи Ѳедоровны. Это была тринадцатилѣтняя дѣвочка, ростомъ съ Елену Львовну, но казалась выше по своей худобѣ; довольно красивыя черты лица ея оттѣнялись строгостью выраженія и недоумѣлымъ, какъ бы растеряннымъ взглядомъ, который не смѣетъ или не хочетъ на чемъ-нибудь остановиться, чтобы не застигли его врасплохъ. Съ перваго же разу эта особа, выходящая изъ ряду вонъ, произвела на меня и потомъ всегда производила сильное впечатлѣніе какой-то замкнутой въ себѣ самой сосредоточенности, оторопѣлой опасливости, недоступнаго отчужденія. Нѣтъ сомнѣнія, что отдѣльныя черты этой характеристики сложились въ цѣльное представленіе не вдругъ, а послѣдовательно налагались одна на другую въ теченіе долгихъ лѣтъ, пока, наконецъ, не получили въ моей памяти настоящую свою форму какъ бы въ изваянномъ образѣ безутѣшной скорби и окаменѣлаго отчаянія.

Само собою разумѣется, что въ благодушномъ семействѣ барона Льва Карловича Анна Петровна нашла себѣ вполнѣ родной пріютъ, и чѣмъ трогательнѣе было ея сиротствующее положеніе, тѣмъ сердечнѣе и нѣжнѣе о ней заботились, тѣмъ предупредительнѣе отзывались на ея желанія и намѣренія. Ей

хорошо было, какъ у себя дома, въ деревнѣ; она скоро это почувствовала и стала развязнѣе, повеселѣла и прояснилась.

Когда въ 1841 г., послѣ двухлѣтняго пребыванія за границею, воротился я въ Москву, я засталъ двухъ старшихъ моихъ ученицъ уже взрослыми дѣвицами. Въ 1842 г. Анна Петровна вышла замужъ за барона Льва Львовича, старшаго брата моего ученика. Недолго спустя вышла замужъ и Елена Львовна за Андрея Ильича Баратынскаго, приходившагося племянникомъ извѣстному поэту. Жила она очень счастливо со своимъ мужемъ въ его имѣніи гдѣ-то далеко отъ Москвы на югъ. Оба страстно любили музыку. Она, какъ вы уже знаете, пѣла своимъ восхитительнымъ контральто; онъ мастерски игралъ на скрипкѣ. По вечерамъ съѣзжались къ нимъ изъ сосѣдства аматеры; тогда устраивались квартеты для музыки и дуэты или тріо для пѣнья. Елена Львовна скончалась въ 1862 г., всего тридцати шести лѣтъ, въ полномъ цвѣтѣ красоты и здоровья, оставивъ по себѣ троихъ сыновей и четырехъ дочерей. Ея мужъ, доживая свой вѣкъ въ томъ же имѣніи, померъ въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Александра Львовна послѣ этихъ обѣихъ моихъ ученицъ вышла замужъ за князя Оболенскаго, одного изъ тѣхъ молодыхъ людей, которые, помните, пріѣзжали изъ близкаго сосѣдства въ церковь пѣть на клиросѣ въ хорѣ съ баронессами Боде. Дѣтей у нихъ не было.

Пока въ фамиліи барона Льва Карловича устраивались эти брачные союзы и выдѣлялись изъ нея новыя семьи съ нарождающимся юнымъ поколѣніемъ, мои сношенія съ нею на нѣсколько лѣтъ прекратились не по какимъ-либо недоразумѣніямъ, а такъ сами собой, частію вслѣдствіе размноженія ея вовсе незнакомою мнѣ родней, а еще больше потому, что собственная моя жизнь, осложненная новыми интересами въ своей семьѣ, въ университетѣ на каѳедрѣ, а дома за учеными и литературными работами, далеко увлекла меня въ разныя стороны по другимъ теченіямъ, на которыхъ мнѣ уже не приходилось встрѣчаться ни съ кѣмъ изъ фамиліи барона Боде. Впрочемъ, незабвенная для меня связь съ нею, скрѣпленная взаимною пріязнью, никогда не могла уже ослабнуть. Потому и въ этотъ долгій промежутокъ нашего ненамѣреннаго разобщенія выпадали рѣдкіе случаи, когда Михаилъ Львовичъ или кто-нибудь изъ его сестеръ напоминали мнѣ о себѣ своими ласковыми приглашеніями.

Такъ случилось и съ княгинею Александрою Львовною Обо-

ленскою. Послѣ того, какъ она вышла замужъ, я не встрѣчался съ нею ни разу до шестидесятыхъ годовъ, когда, переселившись на нѣкоторое время изъ деревни въ Москву, квартировала она на Остоженкѣ въ большомъ деревянномъ домѣ съ колоннами, наискосокъ противъ коммерческаго училища (не тотъ ли это, въ которомъ нѣкогда жилъ Тургеневъ съ своею матерью?). Она встрѣтила меня радушно и дружелюбно, будто я только что вчера давалъ ей урокъ вмѣстѣ съ ея сестрою Еленою Львовною, которой, увы, не было уже въ живыхъ; высказывала свое удовольствіе при свиданіи, говорила безъ умолку, не давая мнѣ промолвить ни слова, и улыбалась, и смѣялась, но не попрежнему. Въ выраженіи ея лица, въ быстрыхъ движеніяхъ, во всей ея фигурѣ чувствовалось что-то тягостное, удручающее, и улыбалась она невесело, будто насильно, и въ звукѣ ея смѣха слышалась какая-то разладица. Впрочемъ, я уже предвидѣлъ это печальное превращеніе. Ея мужъ, совсѣмъ еще молодой, тридцати съ небольшимъ лѣтъ, былъ неизлѣчимо боленъ, хотя и не чувствовалъ никакого страданія: у него отнялись ноги и были лишены всякаго движенія. Спустя нѣкоторое время, его вывезли къ намъ въ комнату на низенькихъ креслахъ съ колесами. Весь сѣдой, онъ казался хилымъ и дряхлымъ, сидѣлъ сгорбившись и тяжело поднималъ и опускалъ свою голову, обращаясь ко мнѣ, когда я стоялъ около него и говорилъ съ нимъ.

Александра Львовна вызвала меня къ себѣ вотъ по какому дѣлу. Чтобы найти хотя бы нѣкоторое развлеченіе въ своемъ горестномъ положеніи, отвести душу и хоть минутно забыться, она, за неимѣніемъ своихъ дѣтей, рѣшилась посвятить себя воспитанію осиротѣлыхъ племянниковъ и племянницъ и заботамъ о нихъ. Я долженъ былъ дать ей совѣты и указанія и рекомендовать наставниковъ для малолѣтнихъ дѣтей Елены Львовны и для двоюродной племянницы, Варвары Андреевны, дочери барона Андрея Андреевича Боде, приходившагося роднымъ племянникомъ барону Льву Карловичу по брату Андрею Карловичу.

Въ заключеніе, о первой, или младшей, группѣ моихъ ученицъ я долженъ сказать вамъ нѣсколько словъ о судьбѣ баронессы Анны Петровны. Она страстно любила своего мужа, но недолго наслаждалась счастіемъ: въ 1855 г., во время крымской войны, онъ скоропостижно скончался отъ заразительной горячки, свирѣпствовавшей въ отрядѣ ополченцевъ, которымъ

мандовалъ. Безутѣшная скорбь, смѣнившая тупое, окаменѣе отчаяніе, навсегда охватила подавляющимъ гнетомъ ея равственное бытіе. Зародыши замкнутаго въ себѣ отчужденія, торое такъ заинтересовало меня въ оригинальной дѣвочкѣ ротѣ, завершилось въ молодой, тридцатилѣтней вдовѣ самореченіемъ отъ всякихъ интересовъ жизни и упорнымъ разобщеніемъ съ людьми и міромъ. Свои радости и заботы, свои мы и мечты похоронила она въ могилѣ вмѣстѣ съ обожаемымъ мужемъ, и теперь ничего другого не осталось ей на милѣ, какъ скитаться съ своими малолѣтними дѣтьми по юдоли ача и проливать свои горькія слезы въ молитвахъ къ Богу, едрою рукою жертвуя Ему на алтаряхъ монастырей и скивъ всѣмъ, что̀ осталось у нея въ здѣшнемъ мірѣ, — не только юнимъ громаднымъ состояніемъ, но даже и дѣтьми. Своего на, уже зачисленнаго въ пажескій корпусъ, она отдала послушникомъ въ Оптину пустынь, а оттуда перевела, въ томъ же аніи, въ Задонскій монастырь; но по совершеннолѣтіи онъ ступилъ въ гусары. Старшую дочь, красавицу пятнадцати тъ, отдала она въ Бородинскій дѣвичій монастырь, гдѣ и кончалась эта несчастная на двадцать третьемъ году, будучи острижена въ монахини. Послѣ многолѣтняго странствованія монастырямъ, Анна Петровна пожелала, наконецъ, водвориться на покой въ своей собственной обители и построила бѣ въ землянскомъ уѣздѣ, воронежской губерніи, въ такъ наываемой „Рай-Долинѣ“ Знаменскій монастырь, гдѣ и скончась монахинею въ тайномъ постриженіи, которое разрѣшаетъ нашествующимъ носить свѣтскую одежду.

Теперь перехожу ко второй, или старшей, группѣ дочей барона Льва Карловича. Изъ нихъ только двѣ были мои ученицами: Екатерина Львовна и Наталья Львовна, — о хъ и буду теперь говорить; что же касается до Маріи вовны, то о ней скажу потомъ.

Мои занятія съ этими двумя особами относятся къ тому емени, когда послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Италіи я возвратился въ 1841 г. въ Москву. Онѣ пожелали учиться итальянскому языку, и въ теченіе какихъ-нибудь трехъ мѣсяцевъ я велъ ихъ до того, что онѣ стали свободно говорить со мною по-итальянски. Это собственно не были уроки, опредѣляемые извѣстными днями и срокомъ часовъ, потому что я не хотѣлъ, и не могъ ставить себя въ ложное положеніе какими-либо обязательствами, сопряженными съ званіемъ учителя. Разъ или

два въ недѣлю онѣ приглашали меня обѣдать въ семействѣ барона Льва Карловича, а до обѣда или послѣ обѣда я съ ними занимался итальянскимъ языкомъ. И сами онѣ не могли удѣлять мнѣ много времени, будучи стѣсняемы развлеченіями великосвѣтскаго общества на балахъ и раутахъ, въ которыхъ по своему высокому образованію, любезности и граціи составляли лучшее украшеніе. Екатерина Львовна славилась своею красотою и необыкновенной прелестью и изящной ловкостью въ танцахъ, особенно въ вальсѣ. Было признано всѣми, что лучше ея вальсировать уже невозможно, и самое имя ея въ краткой типической формѣ: „Кетти Боде“ — разносилось и чествовалось въ аристократическомъ обществѣ не только Москвы, но и далеко за ея предѣлами.

Тогда я бредилъ Италіею временъ гвельфовъ и гибеллиновъ и весь погруженъ былъ въ таинственныя видѣнія Божественной Комедіи Данта. Мои ученицы, легко и скоро усвоивъ себѣ складъ итальянской рѣчи въ прозѣ Манцони и въ стихахъ Торквато Тасса и Петрарки, съ большимъ нетерпѣніемъ желали раздѣлить со мною мои восторги къ великому флорентійцу. Романтизмъ былъ тогда въ полномъ разгарѣ, и безотчетная сантиментальная мечтательность, теперь осмѣянная и заподозрѣнная въ искренности, была тогда господствующимъ настроеніемъ умовъ. Вся обстановка жизни, все ежедневное, съ его толкотнею и суматохою, съ такъ называемою злобою дня, казалось пошлымъ и невзрачнымъ; надобно было зажмуривать глаза и затыкать уши, чтобы ничего повседневнаго не видѣть и не слышать; надобно было уноситься отъ всѣхъ этихъ дрязговъ въ необозримую даль прошедшаго и въ фантастическихъ потемкахъ средневѣковья искать свѣтлые идеалы своихъ тревожныхъ мечтаній. И вотъ, въ эту-то привольную, таинственную область и переселялъ я воображеніе моихъ ученицъ самымъ подробнымъ изученіемъ Божественной Комедіи, сколько тогда могъ и умѣлъ. Я былъ тогда твердо убѣжденъ, что дѣлаю самое лучшее, ибо я безусловно вѣровалъ въ свой девизъ, вычитанный мною у Августа Шлегеля, что „Дантъ есть отецъ романтизма“.

Мои ученицы имѣли подъ руками лучшее въ то время школьное изданіе этого произведенія, составленное итальянскимъ ученымъ Бьяджоли, а я пользовался большимъ изданіемъ въ пяти томахъ, извѣстнымъ подъ названіемъ „Минервы“, по прозвищу типографіи, гдѣ было оно напечатано. Оно содержитъ въ себѣ

обширныя выдержки изъ всевозможныхъ комментаріевъ Данта, отъ самыхъ раннихъ временъ и до двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія. Вы не осудите меня за эти излишнія библіографическія подробности, когда узнаете, почему онѣ мнѣ дороги и милы. Досужіе дантовскіе уроки съ баронессами Боде были первою и довольно удачною пробою тѣхъ лекцій о Дантѣ, которыя потомъ, въ шестидесятыхъ годахъ, я читалъ студентамъ московскаго университета въ теченіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ.

Серьезныя занятія моихъ ученицъ далеко не ограничивались этими уроками. Несмотря на развлеченія свѣтскихъ обязанностей, обѣ онѣ любили читать умныя и дѣльныя книги, иногда руководствуясь моимъ выборомъ и указаніемъ. Такъ прочли онѣ, напримѣръ, на итальянскомъ языкѣ автобіографію Альфіери и на французскомъ —Ріо объ умбрійской и другихъ древнѣйшихъ школахъ итальянской живописи.

Такимъ образомъ, благодаря неутомимой любознательности моихъ ученицъ, наши литературные досуги, сосредоточенные на Божественной Комедіи, мало-по-малу стали далеко расширяться въ своемъ объемѣ множествомъ интересовъ самаго разнообразнаго содержанія, которые приходилось обдумывать, взвѣшивать и рѣшать. Между нами сами собою завязывались оживленныя бесѣды, въ которыхъ мечтанія перепутывались съ условіями дѣйствительности и книжная ученость — съ настоятельными вопросами жизни. Далекое прошедшее сливалось для насъ съ настоящимъ и цѣликомъ вступало въ него, какъ необходимая перспектива въ ландшафтѣ.

Наши интересныя занятія и бесѣды продолжались не болѣе двухъ лѣтъ. Екатерина Львовна вышла замужъ за Олсуфьева, а вслѣдъ затѣмъ Наталья Львовна 30 ноября 1843 г. внезапно скончалась, простудившись гдѣ-то на балѣ.

Вотъ вамъ нѣсколько строкъ объ этомъ прискорбномъ событіи изъ моей записной книжки. „Сегодня во второмъ часу умерла Наталья Львовна Боде. А все не вѣрится: странно читать на бумагѣ рядомъ съ ея именемъ: „умерла“! Послѣдній разъ, какъ я видѣлъ ее, сидѣлъ я съ нею довольно долго. Она разсказывала, какъ поѣдетъ въ Петербургъ, какъ дорогой будетъ читать мою книгу „Жизнь Альфіери“, какъ баронъ Моренгеймъ[1]) будетъ пересылать ей содержаніе публичныхъ лек-

1) Студентъ московскаго университета, въ настоящее время русскій посолъ во Франціи.

ціи Грановскаго. Когда она воротится, я обѣщалъ продолжать съ ней чтеніе Данта. Будто на смѣхъ человѣческой судьбѣ, все предсмертное свиданіе наше было посвящено мечтаніямъ и планамъ на будущее. Жизнь такъ и заманивала впередъ: казалось, еще такъ много остается доживать, додѣлывать начатое и предположенное. И смерть такъ внезапно пала на нее, что не знаешь, выполнять ли порученія живой, или исполнять завѣщаніе усопшей? Да упокоитъ Господь ея душу!“

Екатерина Львовна черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по бракосочетаніи съ Олсуфьевымъ овдовѣла, а лѣтъ черезъ семь вышла замужъ за князя Вяземскаго. Скончалась сорока восьми лѣтъ, еще въ полномъ цвѣтѣ своей неувядаемой красоты.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о третьей особѣ, которою дополняется группа старшихъ дочерей барона Льва Карловича. Марья Львовна была ростомъ мала и не въ мѣру съ большой головой, что нарушало пропорцію всей ея фигуры. Родись она въ другой семьѣ, которая не отличалась бы такой породистою красотой, она казалась бы вовсе не дурна собою, но въ сравненіи съ своими сестрами была некрасива. И наружностью, и талантами не походила она на нихъ, но такъ же, какъ онѣ, была добра, простодушна и мила. Казалось, ничто не занимало ее въ интересахъ окружавшаго ее міра; бывало, сидитъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ отъ другихъ и молчитъ себѣ, пока кто не обратится къ ней съ вопросомъ; она коротко отвѣтитъ и смолкнетъ. Когда ея сестры другъ за дружкой выбывали изъ семьи, — которыя шли замужъ, а которыя и умирали, — она осталась одна-одинехонька при своихъ уже престарѣлыхъ родителяхъ, и тогда-то во всей силѣ обнаружились ея высокія достоинства глубоко любящей и беззавѣтно преданной дочери. Наконецъ померли и они. Тогда почувствовала она себя лишнею, чуждою между людьми и въ 1862 г. пошла въ московскій Вознесенскій монастырь, гдѣ потомъ и скончалась, нареченная въ монашествѣ Паисіею.

Не надобно смѣшивать Марью Львовну съ другою баронессою Боде, игуменьею московскаго Страстного монастыря, Валеріею, о которой много говорилось во время знаменитаго процесса игуменьи Митрофаніи, ея близкой пріятельницы. Вѣра Александровна, въ монашествѣ нареченная Валеріею, была дочь барона Александра Карловича, одного изъ братьевъ Льва Карловича, и приходилась двоюродною сестрою Марьѣ Львовнѣ.

Останавливаю ваше вниманіе на характеристической осо-

бенности этой оригинальной фамиліи бароновъ Боде. Вотъ уже четвертую монахиню называю я вамъ въ ея исторіи. Была еще и пятая, но уже не православнаго исповѣданія, а католическаго, игуменья какого-то монастыря невдалекѣ отъ Рейна, родная сестра барона Льва Карловича.

Возвращаюсь теперь къ Михаилу Львовичу. Наши сношенія возобновились, когда уже былъ онъ женатъ на Александрѣ Ивановнѣ Чертковой, которая по матери приходилась родною племянницею графу Сергію Григорьевичу Строганову, и такимъ образомъ дружественныя симпатіи къ моему дорогому ученику завершились его родствомъ съ этимъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнымъ человѣкомъ, которому я такъ много обязанъ моимъ умственнымъ и нравственнымъ образованіемъ и успѣхами въ жизни.

Въ то время Михаилъ Львовичъ уже предался тѣмъ историческимъ изслѣдованіямъ, которымъ посвятилъ остальныя двадцать пять лѣтъ своей жизни. Онъ работалъ безъ устали, соединяя въ себѣ благоговѣйную любовь русскаго боярина къ родной старинѣ и преданіямъ съ упорною рѣшимостью феодальныхъ бароновъ въ неукоснительномъ преслѣдованіи принятыхъ мѣръ для достиженія назначенной цѣли. Онъ не разбрасывался по необозримому историческому поприщу событій и лицъ, не направлялъ своихъ поисковъ въ разныя стороны, а сосредоточился вокругъ себя, какъ рыцарь среднихъ вѣковъ въ своемъ замкѣ. Ему и въ голову не приходило выбирать себѣ изъ громадной массы историческихъ предметовъ какой-нибудь одинъ, болѣе излюбленный: онъ былъ данъ ему при рожденіи и унаслѣдованъ отъ предковъ. Это былъ боярскій родъ Колычевыхъ, родъ обожаемой его матери, и на прославленіе своихъ предковъ онъ чувствовалъ въ себѣ призваніе, какъ бы отъ нихъ самихъ ему завѣщанное.

Свое дѣло началъ онъ собираніемъ письменныхъ документовъ, изустныхъ преданій и вещественныхъ предметовъ повсюду, гдѣ только боярскій родъ Колычевыхъ, расплодившійся по семьямъ, могъ оставить по себѣ какіе-либо слѣды; затѣмъ собираемое приводилъ онъ въ порядокъ, раздѣлялъ на группы и составлялъ коллекціи. Когда же окончательно выяснились результаты его поисковъ и историческій матеріалъ былъ наготовѣ, онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ написалъ объемистую книгу и замыслилъ дать ея содержанію наглядное и осязательное представленіе въ монументальной формѣ цѣлаго ряда со-

оруженій, построенныхъ имъ въ его подмосковномъ селѣ Лукинѣ, по смоленской желѣзной дорогѣ, невдалекѣ отъ станціи Одинцово. Въ прежнія времена, въ концѣ прошлаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго, русскіе помѣщики строили себѣ въ деревняхъ высокія палаты въ стилѣ позднѣйшихъ итальянскихъ виллъ и версальскаго дворца Людовика XIV; при этихъ палатахъ разводили сады съ аллеями изъ замысловато и на разный манеръ подстриженныхъ деревьевъ, съ затѣйливыми, въ стилѣ рококо, бесѣдками и павильонами, которымъ давались идиллическія прозвища эрмитажей, бельведеровъ, санъ-суси, монъ-репо, а изъ-подъ темно-зеленой листвы повсюду, куда ни взглянешь, бѣлыми пятнами вылѣзаютъ на божій свѣтъ мраморные фавны и нимфы, аполлоны и музы, амуры и другіе обыватели классическаго Олимпа, искаженные тою вычурною, растрепанною манерностью, которую итальянцы называютъ „барóкко“.

Михаилъ Львовичъ для своихъ строеній въ Лукинѣ избралъ рѣшительно другой стиль и такой именно, который вполнѣ согласовался съ его симпатіями, привычными воззрѣніями и съ основными идеями его историческихъ изслѣдованій. Онъ выросталъ въ московскомъ Кремлѣ, окруженный зданіями, въ которыхъ первенствующее мѣсто занимаютъ святыни византійско-русскаго зодчества. Въ юные годы онъ присматривался, какъ подъ завѣдываніемъ и наблюденіемъ его отца возобновлялись старинные царскіе „терема“ и сооружался Большой дворецъ. Примѣръ родителей и свѣтлыя воспоминанія дѣтства не минуютъ въ жизни безслѣдно. Михаилъ Львовичъ основалъ себѣ въ Лукинѣ свой собственный кремль со стѣнами и башнями и такъ же, какъ въ московскомъ Кремлѣ, отдѣлилъ отъ другихъ зданій построенныя имъ церкви оградою. Главною идеею этого своеобразнаго архитектурнаго произведенія, сложеннаго изъ массы отдѣльныхъ сооруженій по всей усадьбѣ, было чествованіе предковъ и въ особенности изъ боярскаго рода Колычевыхъ, высшимъ представителемъ которыхъ выступаетъ въ сіяніи мученическаго вѣнца святитель Филиппъ, митрополитъ московскій.

Въ лукинскій кремль вступаютъ черезъ проѣзжую башню, надъ воротами которой устроены такъ называемыя „боярскія палаты“, въ стилѣ московскихъ царскихъ теремовъ. Вмѣсто двора, передъ домомъ большой кругъ, густо обсаженный высокими деревьями; въ его центрѣ поднимается высокій каменный обелискъ, который весь испещренъ именами предковъ

владѣльца усадьбы. Самый домъ снаружи не представляетъ ничего особеннаго. Онъ двухъ-этажный, но большая зала, обращенная хозяевами въ гостиную, въ два яруса, и всѣ стѣны ея сверху до-низу увѣшены въ нѣсколько рядовъ фамильными портретами. На правой его сторонѣ отъ фасада въ нижнемъ этажѣ кабинетъ и спальня Михаила Львовича, а въ верхнемъ — такъ называемые „архіерейскіе покои“, изящно и съ нѣкоторой роскошью убранные, и отдѣльно отъ нихъ „монашеская келья“, въ скромномъ и убогомъ видѣ, соотвѣтствующемъ ея аскетическому назначенію, для пріѣзжихъ монаховъ или монахинь. Въ эти оба помѣщенія ведетъ стеклянная галерея, вдоль стѣнъ обнесенная аршина на полтора отъ помоста широкими полками, на которыхъ стоятъ въ гипсовыхъ кошіяхъ бюсты античныхъ боговъ и героевъ, а также и кое-кого изъ историческихъ знаменитостей. Полки, перегороженныя въ два ряда досками, во множествѣ наполнены — къ услугамъ пріѣзжихъ — русскими періодическими изданіями, начиная отъ Россійской Вивліоѳики и до „Отечественныхъ Записокъ“ и „Русскаго Вѣстника“ позднѣйшихъ годовъ. Когда я гостилъ въ Лукинѣ, мнѣ отводились архіерейскіе покои.

По другую сторону домъ выходитъ въ садъ. Тотчасъ же налѣво за оградою поднимаются три церкви, — изъ нихъ главная святителя Филиппа; при ней, по древне-христіанскому обычаю, подземная крипта большихъ размѣровъ, назначенная для фамильной усыпальницы, съ надгробіями, передъ которыми теплятся лампады.

Какъ эти храмы, такъ и все остальное въ усадьбѣ Михаилъ Львовичъ строилъ и украшалъ по планамъ, чертежамъ и рисункамъ, которые составлялъ онъ самъ, и для точнѣйшаго выполненія своихъ предпріятій неутомимо слѣдилъ и наблюдалъ за работами каменьщиковъ, плотниковъ и разныхъ мастеровъ. Онъ обладалъ разборчивымъ, тонкимъ вкусомъ и былъ опытный знатокъ византійско-русской иконописи и старинной орнаментики.

За садомъ простирается старательно расчищенный паркъ. Узкая дорога между двумя огромными прудами ведетъ въ дубовую рощу, которую особенно любилъ и холилъ Михаилъ Львовичъ, а за ней подъ сквознымъ пологомъ высокихъ сосенъ виднѣется каменная часовня святителя Филиппа, въ которой совершается молебствіе въ день памяти этого угодника. Слѣдуя далѣе въ правую сторону, достигаемъ границы парка, гдѣ изъподъ бугра бьетъ ключъ обильною струею и стекаетъ по жо-

лобу въ водоемъ въ видѣ огромной раковины. Это такъ называемый „святой колодецъ“. Окрестные поселяне пьютъ изъ него во здравіе и на исцѣленіе; сверхъ того, по заведенному издавна обычаю, кидаютъ въ водоемъ мѣдныя деньги. Кстати упомяну о другой достопримѣчательности въ имѣніи Михаила Львовича, которая также чествуется между ними и пробавляетъ ихъ набожность. Передъ самымъ въѣздомъ въ Лукино отъ дороги влѣво, наверху крутого откоса, стоитъ деревянная часовня, а въ ней большой деревянный же крестъ, необычайное обрѣтеніе котораго облечено таинственностью какой-то мѣстной легенды. Эту часовню построилъ Михаилъ Львовичъ и установилъ крестный ходъ въ нее 14 сентября, въ день Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста.

Я вдался въ эти подробности съ тѣмъ, чтобы вы могли составить себѣ общее представленіе объ оригинальной усадьбѣ Михаила Львовича, напоминающей своими мистическими особенностями монастырскую обитель, въ которой все разсчитано на благочестивое обаяніе посѣщающихъ ее богомольцевъ. Но, я полагаю, вы нѣсколько расширите свой взглядъ и дадите ему другой оборотъ, когда я остановлю ваше вниманіе на главномъ, основномъ пунктѣ, къ которому указанныя выше подробности сосредоточиваются и получаютъ историческій смыслъ фамильныхъ преданій. Это „архивъ боярскаго дома Колычевыхъ“ съ присоединеннымъ къ нему Колычевскимъ музеемъ, въ большомъ зданіи вблизи дома направо. Оно состоитъ изъ трехъ павильоновъ, соединенныхъ вмѣстѣ, но каждый подъ своею кровлею. Средній, выше обоихъ другихъ, для архива, правый для музея, а лѣвый для входа, ничѣмъ не занятъ.

По бѣлымъ стѣнамъ архива широко раскидываетъ свои вѣтви колоссальное родословное древо бояръ Колычевыхъ и, поднимаясь къ потолку, разстилаетъ свою вершину по его сводамъ. Здѣсь хранятся книги, рукописи, историческіе документы въ свиткахъ и листахъ, фамильные мемуары и другіе источники, которыми Михаилъ Львовичъ пользовался для своихъ изслѣдованій. Корреспонденція его предковъ, его отца и матери заканчивается собраніемъ писемъ къ нему самому, раздѣленнымъ на нѣсколько папокъ. Въ одной изъ нихъ онъ указалъ мнѣ три мои записки къ нему изъ Москвы въ Мещерское 1839 г. и три письма: одно изъ Неаполя въ Москву, 1840 г.; другое изъ Рима туда же, 1840 г., и третье изъ Москвы въ Петербургъ, 1841 г. Я внесу ихъ въ свои воспоминанія, гдѣ слѣ-

ѓетъ, чтобы дать вамъ понятіе, какъ я себя чувствовалъ и какъ ыслилъ, когда на цѣлое полстолѣтіе былъ моложе, и въ какихъ)варищескихъ отношеніяхъ состоялъ я съ моимъ ученикомъ.

Въ музеѣ помѣщены въ хронологическомъ порядкѣ коллекціи азныхъ предметовъ и вещей, принадлежавшихъ особамъ фаиліи Михаила Львовича преимущественно изъ рода Колычеыхъ, а частью и бароновъ Боде, отъ далекихъ предковъ до ѣмейства барона Льва Карловича. Далеко выступая изъ преѣловъ личнаго интереса фамильныхъ воспоминаній, эти колекціи предлагаютъ богатый матеріалъ для исторіи быта, костюовъ, художественныхъ издѣлій и вообще разныхъ подробностей ъ обиходѣ частной жизни русскаго дворянства. Тутъ и вышитые олотомъ камзолы бояръ Колычевыхъ, разныхъ годовъ въ теніе всего XVIII столѣтія, и костяной очешникъ съ барельеами миѳологическаго содержанія, подаренный одному изъ этихъ ояръ Петромъ Великимъ, и миніатюрныя серебряныя игрушки, же подаренныя другому изъ нихъ императрицею Елизаветою; тъ и арбалетъ и сѣдло, вывезенные изъ Эльзаса отцомъ ьва Карловича, барономъ Карломъ-Августомъ, когда онъ спаался отъ гильотины бѣгствомъ въ Россію. Нѣкоторыя изъ оллекцій, относящихся къ позднѣйшему времени, имѣютъ лично я меня особенно трогательный интересъ. Напримѣръ: туатныя принадлежности и кабинетныя вещи Натальи Львовны Екатерины Львовны; четки, молитвенникъ образокъ и другіе агочестивые предметы изъ смиренной кельи Марьи Львовны.

Подробнымъ указателемъ съ обстоятельными объясненіями его содержащагося въ архивѣ и музеѣ можетъ служить истоическое изслѣдованіе Михаила Львовича. Въ послѣдніе четыре да его жизни я часто съ нимъ видѣлся и настойчивыми соѣтами побуждалъ и уговаривалъ его, чтобы онъ не медлилъ даніемъ въ свѣтъ этого многолѣтняго труда своего, столь тереснаго и важнаго для спеціалистовъ по русской исторіи. аконецъ, въ 1886 г., онъ напечаталъ его подъ названіемъ: Боярскій родъ Колычевыхъ".

Въ 1888 г., не болѣе какъ черезъ недѣлю послѣ нашего иданія, я получилъ въ пятницу 18-го марта отъ княгини Анны ьвовны записку зловѣщаго содержанія, поразившую меня, какъ омомъ. „Любезнѣйшій Ѳедоръ Ивановичъ, — писала она. — шъ другъ и ученикъ тяжко заболѣлъ. Былъ въ среду на нихидѣ графини Маріи Ѳедоровны Соллогубъ[1]), которую очень

[1]) Дочь Ѳедора Васильевича Самарина, сестра Юрія Ѳедоровича.

любилъ; усталъ, разстроился и вдругъ занемогъ, и до сихъ поръ лежитъ, не приходя въ себя. Такъ грустно — словъ нѣтъ, чтобы это выразить".

Оставаясь все въ томъ же забытьѣ, во вторникъ 22-го марта онъ скончался безъ малѣйшихъ страданій, тихо и мирно, будто погрузился въ сладкій сонъ.

XI.

Возвращаюсь еще разъ къ 1838 г., когда я только-что окончилъ курсъ въ университетѣ. Мнѣ дали мѣсто сверхштатнаго учителя русскаго языка въ младшихъ классахъ второй московской гимназіи. Я началъ службу 18-го августа и раза четыре въ недѣлю отправлялся изъ Кремля въ далекій путь черезъ Покровку и Басманную, къ самому ея концу, гдѣ на углу Разгуляя стоитъ эта гимназія.

Странное дѣло: мое учительство въ этой гимназіи прошло мимо меня, какъ тѣнь, не оставивъ по себѣ въ памяти ни малѣйшаго слѣда. Сколько ни стараюсь, не могу вызвать въ своемъ воображеніи ни стѣнъ, ни обстановки тѣхъ классовъ, гдѣ я преподавалъ, ни того, какъ, чему и кого я училъ; не помню въ лицо и по фамиліи ни одного изъ учителей, кромѣ извѣстнаго уже вамъ Лавдовскаго, вѣроятно, потому только, что онъ былъ мнѣ товарищемъ въ казеннокоштномъ общежитіи московскаго университета. Остался всего одинъ незабытый фактъ, ясно выступающій передо мною изъ этихъ смутныхъ потемокъ, — именно то, какъ я въ первый разъ явился къ своему директору гимназіи, Старынкевичу. Въ то время было въ обычаѣ у начальниковъ всѣхъ вѣдомствъ съ особенною суровостью и съ надменнымъ сознаніемъ своего достоинства встрѣчать молодыхъ людей университетскаго образованія, которые поступали къ нимъ на службу, чтобы съ перваго же разу сбить съ нихъ высокомѣрную спесь предъявленіемъ строгихъ правилъ дисциплины и неукоснительнаго исполненія служебныхъ обязанностей. Старынкевичъ, въ сущности, человѣкъ добрый и снисходительный, по привычкѣ къ общепринятымъ порядкамъ, почелъ своимъ долгомъ прежде всего озадачить меня начальническимъ внушеніемъ, что гимназія — не университетъ, что я долженъ забыть профессорскія лекціи и сосредоточить все свое вниманіе на предписанномъ учебникѣ, что въ классахъ требуется слѣдить

на успѣхами учениковъ, а не разглагольствовать, и тому подобное. Припоминая распущенные нравы пензенской гимназіи, я признавалъ умѣстными его педагогическія требованія, но забыть университетскія лекціи я не могъ и не хотѣлъ, потому что только при ихъ живительномъ свѣтѣ я могъ разумно понимать данный мнѣ въ руководство учебникъ. И какъ же мнѣ, учителю русскаго языка въ гимназіи, оставить втунѣ составленный мною, по указаніямъ профессора Шевырева, сводъ русскихъ и церковно-славянскихъ грамматикъ, когда я со своими учениками буду пользоваться болѣе или менѣе удачнымъ сокращеніемъ одной изъ нихъ? Отказаться отъ того, чѣмъ я сталъ, получивъ университетское образованіе, было бы то же, что отказаться отъ самого себя, отрѣшиться отъ своей собственной личности. Можетъ быть, я былъ неправъ въ своемъ увлеченіи, но признавалъ его тогда за непреложную истину. Въ отвѣтъ на внушительное распеканье почтеннаго и престарѣлаго директора, я только поддакивалъ и молчалъ, потому что сильно оробѣлъ и опѣшилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ, и вышелъ изъ его кабинета, понуривъ голову и съежившись, будто окатили меня тамъ холодною водою. Живо припоминаю эти подробности, вѣроятно, потому, что съ тѣхъ самыхъ поръ крѣпко засѣла во мнѣ инстинктивная боязнь передъ всякимъ начальствомъ.

Съ осени 1838 и до весны 1839 года мое время протекало двумя рѣзко отдѣленными полосами: свѣтлою — въ Кремлѣ и темною — на Разгуляѣ, но мѣсяца черезъ четыре мало-по-малу принялась заволакивать меня полоса темная. Я почувствовалъ изнурительное утомленіе, но не переставалъ надрывать себя, видимо ослабѣвалъ, и Великимъ постомъ 1839 г. совсѣмъ захворалъ и прекратилъ уроки въ гимназіи. Въ началѣ мая семейство барона Льва Карловича переѣхало въ Мещерское, а я по болѣзни принужденъ былъ остаться въ Москвѣ. Вотъ одна изъ трехъ записокъ моихъ къ Михаилу Львовичу, сбереженныхъ имъ для храненія въ его Колычевскомъ архивѣ: „Покорно васъ благодарю за память. Мнѣ теперь гораздо лучше. Во вторникъ было очень скурно, но это, кажется, уже переломъ моей болѣзни. Теперь только одна слабость. Пришлите мнѣ, пожалуйста, вторую часть Римской Исторіи Мишеле, а то нечего читать, а безъ занятій скучно. Дайте мнѣ знать, какихъ вамъ нужно книгъ въ родѣ этой“. Вскорѣ возобновилъ я свои уроки въ гимназіи. Въ концѣ мая, въ какой-то праздничный день, въ раннія обѣдни,

разбудили меня, чтобы немедленно вручить мнѣ очень нужное письмо отъ инспектора студентовъ Платона Степановича Нахимова. Въ короткихъ словахъ увѣдомлялъ онъ меня, чтобы сегодня же явился я въ девять часовъ утра къ попечителю графу Строганову. Никакими словами не могу вамъ высказать того ужаса, какимъ поразило меня это нежданное и негаданное приглашеніе. Я чувствовалъ себя виноватымъ передъ гимназіею въ нерадѣніи и упущеніи по службѣ; я былъ въ отчаяніи, путаясь въ мысляхъ, какъ и что могу я сказать въ свое оправданіе. Я ждалъ грозной расправы и былъ убѣжденъ, что меня выгонятъ изъ службы или, по малой мѣрѣ, сошлютъ учителемъ куда-нибудь въ захолустье. Самъ не помню, какъ я шелъ изъ Кремля на Дмитровку, гдѣ жилъ тогда графъ, налѣво, въ большомъ двухъэтажномъ каменномъ домѣ на широкомъ дворѣ съ двумя корпусами на улицу. Не помню, какъ попалъ я въ пріемную залу и какъ очутился передъ лицомъ самого графа въ его кабинетѣ; отъ всего смутнаго кошмара остался въ моей памяти только одинъ свѣтлый моментъ, обдавшій меня несказанной радостью и восторгомъ. Самъ попечитель московскаго университета предложилъ мнѣ отправиться съ его семействомъ на два года въ Италію, чтобы тамъ давать уроки его дѣтямъ. Черезъ нѣсколько дней онъ далъ мнѣ маршрутъ и денегъ, сколько нужно для переѣзда отъ Москвы до Дрездена, гдѣ я долженъ буду ожидать графиню съ дѣтьми изъ Карлсбада, а его самого изъ Москвы. Впослѣдствіи я узналъ, что этимъ рѣшительнымъ поворотомъ въ судьбѣ всей моей жизни я былъ обязанъ рекомендаціи барона Льва Карловича, который въ самыхъ лестныхъ похвалахъ отзывался графу объ успѣхахъ моего преподаванія сыну его, Михаилу Львовичу.

О послѣднихъ дняхъ моего пребыванія въ Москвѣ я ничего не могъ бы сказать вамъ, если бы у меня не было подъ руками двухъ другихъ моихъ записокъ къ Михаилу Львовичу. Помѣщаю ихъ здѣсь обѣ.

„8-го іюня. — Сегодня мнѣ не было времени сходить въ книжный магазинъ, для покупки вамъ „Гамлета“. Несносная гимназія задержала меня. Но все равно, я вамъ посылаю своего „Гамлета“. Вы можете держать его, сколько вамъ угодно. Посылаю вамъ также историческія тетради. А вотъ вамъ и отъ меня покорнѣйшая просьба: пожалуйста, не забудьте, пришлите мнѣ въ это воскресенье „Древнія русскія стихотворенія“: они мнѣ чрезвычайно, чрезвычайно нужны. Не забудьте, сдѣлайте

одолженіе. Получили ли вы отъ Маіора[1]) „Макбета“ и „Отелло“. Если нѣтъ, то спросите у него. Я уже давно, еще наканунѣ вашего отъѣзда, ихъ ему отдалъ“.

„20-го іюня. — Завтра ѣду изъ Москвы, и можетъ быть, очень на долгое время. Прощайте, будьте здоровы и счастливы. Отъ всей души желаю вамъ успѣховъ самыхъ блистательныхъ и въ корпусѣ, и потомъ на службѣ. Если не будете скучать моими письмами, я за большое удовольствіе почту себѣ писать къ вамъ изъ Германіи и Италіи. Засвидѣтельствуйте мое почтеніе вашей бабушкѣ, маменькѣ и всѣмъ, всѣмъ. Потрудитесь передать Екатеринѣ Львовнѣ приложенную при этомъ письмѣ тетрадь. У меня есть ваши книги, которыя вамъ передастъ Андрей Андреевичъ[2]). Поклонитесь отъ меня Тимоѳею. Будьте счастливы“.

Тимоѳей былъ у насъ съ Михаиломъ Львовичемъ камердинеръ и преданный слуга, славный малый; я его очень любилъ.

Посылая прощальные поклоны всему семейству въ Мещерское, я не упомянулъ о баронѣ Львѣ Карловичѣ потому, что онъ былъ тогда въ Москвѣ по своимъ обязанностямъ наблюдателя за построеніемъ Большого дворца. При разставаньѣ онъ привѣтствовалъ меня своими ласковыми пожеланіями, и въ знакъ памяти подарилъ мнѣ хорошенькіе часы, чтобы далеко отъ Москвы, вынимая ихъ изъ жилетнаго кармана, инстинктивно вспоминалъ я иной разъ о Кремлѣ и подмосковномъ Мещерскомъ.

XII.

По указанію профессора римской словесности Дмитрія Львовича Крюкова я запасся въ Петербургѣ руководствомъ Отфрида Мюллера по археологіи искусства, а управляющій домами графа Строганова размѣнялъ мнѣ русскія ассигнаціи на голландскіе десятифранковые червонцы и, привыкши услуживать своимъ сіятельнымъ патронамъ высокою цѣною, взялъ для меня билетъ на пароходъ до Любека не второго класса, а перваго, чѣмъ нанесъ не малый ущербъ моему кошельку и обрекъ меня на исключительное положеніе между первоклассными пассажирами изъ ве-

[1]) Такъ звали домашняго врача князей Оболенскихъ, сосѣдей барона Боде по подмосковному Мещерскому.

[2]) Молодой офицеръ, сынъ барона Андрея Карловича Боде, двоюродный братъ Михаила Львовича.

ликосвѣтскаго общества. Въ потертомъ сюртукѣ скромнаго покроя и въ черной шелковой манишкѣ вмѣсто голландскаго бѣлья, я казался темнымъ пятномъ на разноцвѣтномъ узорѣ щегольскихъ костюмовъ окружавшей меня толпы. Впрочемъ, это нисколько не смущало меня, потому что, и сидя въ каютѣ, и гуляя по палубѣ, я не имѣлъ ни минуты свободной, чтобы обращать на кого бы то ни было вниманіе, уткнувъ свой носъ въ книгу Отфрида Мюллера. Все время на пароходѣ я положилъ себѣ на ея изученіе, чтобы исподволь и загодя подготовлять себя къ спеціальнымъ занятіямъ по исторіи греческаго и римскаго искусства и древностей въ Римѣ и Неаполѣ. На другой же день плаванія мнѣ случилось замѣтить, что между моими спутниками перваго класса я прослылъ за скульптора или живописца, отправленнаго изъ Академіи Художествъ въ Италію для усовершенствованія въ своемъ искусствѣ. Это очень польстило моему самолюбію, и тѣмъ болѣе, что я ѣду въ такой дальній путь и съ такою возвышенною цѣлью, тогда какъ всѣ другіе направлялись — кто веселиться въ Парижъ, Лондонъ или Вѣну, а кто полоскать свой желудокъ на минеральныхъ водахъ.

Бурная погода и супротивный вѣтеръ замедлили наше плаваніе на цѣлыя сутки, и я успѣлъ свести знакомство съ двумя молодыми людьми своего десятка. Одинъ былъ комиссіонеръ торговой конторы изъ петербургскихъ нѣмцевъ (фамиліи не припомню), а другой — офицеръ Военной Академіи Миловановъ, для чего-то командированный за границу, оба пассажиры второго класса. Въ нихъ нашелъ я себѣ первыхъ путеводителей при самомъ вступленіи моемъ въ Травемюнде, на материкъ чужой земли. Миловановъ поѣхалъ на лошадяхъ въ Гамбургъ, гдѣ будетъ ждать меня въ „Штрейптсотелѣ“, а нѣмецкій комиссіонеръ остался со мною въ Любекѣ, въ одной хорошо уже извѣстной ему скромной гостиницѣ.

Солнце, спускавшееся къ закату, освѣщало кое-гдѣ своими косыми лучами улицы, по которымъ мы направлялись въ свою гостиницу. У высокихъ и узкихъ домовъ странной, невиданной мною архитектуры на скамьяхъ сидѣли ихъ хозяева, мужчины и женщины, тоже въ странныхъ для меня костюмахъ. Впрочемъ, по улицамъ было малолюдно и тихо, но мнѣ казалось какъ-то праздничнo и торжественно.

Не удивляйтесь, если скажу вамъ, что съ этого самаго вечера въ продолженіе всего двухлѣтняго пребыванія моего за границею насталъ для меня безпрерывный свѣтлый праздникъ,

ь которомъ часы, дни, недѣли и мѣсяцы — представляются
нѣ теперь нескончаемою вереницею все новыхъ и новыхъ
ъкихъ-то радужныхъ впечатлѣній, нечаянныхъ радостей, ни-
огда прежде не испытанныхъ наслажденій и захватывающихъ духъ
оразительныхъ интересовъ. Я тогда былъ еще очень юнъ и
зтами, и душою, въ возрастѣ нынѣшнихъ гимназистовъ, ко-
рые вступаютъ въ университетъ: мнѣ только что минулъ
адцать-одинъ годъ. Я не зналъ ни людей, ни свѣта, и кромѣ
оего Керенска, гдѣ родился, кромѣ пензенской гимназіи и
зеннокоштнаго общежитія въ университетѣ, съ придачею ме-
эрскаго и дворцоваго корпуса въ Кремлѣ, я ничего другого
видалъ и не помнилъ. И вдругъ передо мною открылась
объятная и манящая въ даль перспектива отъ Балтійскаго
ря по всей Германіи, черезъ Альпійскія горы въ широкую
мбардію, къ Адріатическому морю въ Венецію, а оттуда че-
зъ Альпы во Флоренцію, Римъ и наконецъ на берега Среди-
наго моря, съ Неаполемъ и Везувіемъ, съ Геркуланомъ и
мпеею. У меня духъ занимало, голова кружилась, я ногъ
дъ собой не чуялъ въ стремительномъ ожиданіи все это ви-
ть, перечувствовать и пережить, усвоить уму и воображенію.
заранѣе мечталъ пересоздать себя и преобразовать, и вмѣстѣ
ъ тѣмъ былъ убѣжденъ, что не мечтаемая мною, а настоящая
йствительность своимъ чарующимъ обаяніемъ превзойдетъ са-
ыя смѣлыя фантастическія мои ожиданія, потому что въ этихъ
омантическихъ грезахъ мнѣ недоставало тогда ни очерковъ, ни
расокъ, чтобы воплотить неясныя и пылкія мои стремленія —
hin, dahin, wo die Citronen blühen!

Надъ умами и сердцами господствовалъ тогда мечтательный
омантизмъ съ безотчетнымъ вѣрованіемъ во все возможное и
евозможное, съ выспренними полетами въ невѣдомыя, таин-
твенныя области, съ религіознымъ поклоненіемъ искусству для
скусства. Обѣтованною землею для восторженныхъ душъ была
огда Италія, опустѣлая, убогая и порабощенная въ своемъ
астоящемъ и такъ неистощимо богатая и могущественная въ
удожественныхъ памятникахъ своего прошедшаго, — будто
еобъятное кладбище всемірныхъ гигантовъ, сооружавшихъ
ѣкогда столпотвореніе европейской цивилизаціи. Туда эмигри-
овала изъ своего отечества княгиня Волконская, приняла ка-
оличество и въ Римѣ построила себѣ безподобную виллу въ
омадныхъ аркахъ и устояхъ античнаго водопровода. Въ этой
иллѣ жилъ и давалъ уроки сыну княгини Степанъ Петровичъ

Шевыревъ, прежде чѣмъ сталъ нашимъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ. Туда въ Италію уѣхалъ умирать въ 1840 г. знаменитый въ то время Станкевичъ. Зиму 1840—1841 гг. провелъ въ Римѣ Гоголь и потомъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ возвращался туда же. Меня заманивалъ и уносилъ романтическій потокъ времени, и я строилъ себѣ воздушные замки и вѣровалъ въ возможность ихъ осуществленія тамъ — далеко, куда направлялись мои задушевныя идеи, помыслы и думы, и гдѣ я надѣялся привести въ исполненіе предначертанные мною планы.

Чтобы вы вполнѣ уяснили себѣ это свѣтлое и торжествующее настроеніе моего духа, я долженъ обратить ваше вниманіе на мое личное положеніе и на внѣшнія условія, опредѣляемыя тогдашнимъ порядкомъ вещей. Въ то время еще не было дешевой переправы въ даль по желѣзнымъ дорогамъ, возможной теперь и для людей съ ограниченными средствами; но кое-гдѣ, какъ новинку, начинали уже проводить ихъ на малыхъ разстояніяхъ. Ѣхать на лошадяхъ изъ Россіи не только въ Италію, но даже и въ Берлинъ или Дрезденъ, возможно было тогда для людей богатыхъ или, по крайней мѣрѣ, обезпеченныхъ. Сверхъ того, отъѣзжающихъ за границу облагали у насъ тяжелымъ налогомъ съ каждаго лица по пятисотъ рублей. Мнѣ, бѣдняку, разумѣется, и во снѣ не снилось очутиться въ Италіи. Моимъ радостямъ не было конца, когда на-яву выпало на мою долю такое великое счастіе.

Но довольно о моемъ праздничномъ ликованіи. Больше не буду вамъ докучать имъ въ разсказѣ о моихъ странствованіяхъ по Германіи и Италіи. Впрочемъ, чтобы познакомить васъ съ моими личными впечатлѣніями и чувствами отъ того далекаго времени во всей ихъ наивной свѣжести юношескихъ волненій, я буду кое-гдѣ изрѣдка приводить вамъ выдержки изъ своихъ путевыхъ записокъ. Къ моему крайнему сожалѣнію онѣ сохранились у меня только въ переплетенныхъ книжкахъ, которыя я сталъ заводить, начиная съ Венеціи. До тѣхъ поръ я писалъ ихъ на почтовыхъ листахъ большого формата, съ раскрашенными вверху картинками, изображающими ландшафтъ зданія или обывателей тѣхъ мѣстностей, гдѣ я запасался этою бумагою. Въ теченіе полустолѣтія иллюстрированные листы, не связанные въ тетрадь, какъ-то сами собою, безъ моего вѣдома, разлетѣлись въ разныя стороны, и у меня не осталось ни одного. А жаль: въ нихъ — хорошо помню — были писаны прекурьезныя строки о моихъ восторгахъ, когда я, наконецъ, почув-

овалъ себя въ Италіи, спускаясь съ снѣжныхъ высотъ ти-
ьскаго Бреннера къ необозримой равнинѣ ломбардскихъ
ограднковъ...

Пора, однако, воротиться къ моему спутнику, нѣмецкому
иссіонеру, котораго я оставилъ на одной изъ улицъ Любека.
помѣстились въ хорошо извѣстной ему скромной гости-
ѣ. На другой день онъ показывалъ мнѣ примѣчательности
ода. Изъ нихъ помню только одну — и такъ живо, будто
еперь вижу ее передъ собой. Это было изображеніе „Пляски
ерти“ на стѣнѣ фресками въ какой-то церкви, если не оши-
ось, въ Marien-Kirche. Я касаюсь этой подробности для того
ько, чтобы дать вамъ понятіе, насколько былъ я подгото-
нъ въ московскомъ университетѣ, когда могъ уже интересо-
ься такою антикварною вещью, которая и теперь составляетъ
дметъ спеціальныхъ занятій.

Вечеромъ я отправился въ Гамбургъ — навѣстить поджи-
шаго меня Милованова — и провелъ вмѣстѣ съ нимъ дня
въ ошеломившемъ меня водоворотѣ увеселеній и забавъ
го богатаго торговаго города. Я спѣшилъ въ Дрезденъ, гдѣ
ѣялся подготовить себя серьезными занятіями, чтобы созна-
ьно пользоваться тѣмъ, что по моимъ соображеніямъ и пла-
ъ ожидало меня въ Италіи. Но Лейпцигъ соблазнилъ меня,
застрялъ въ немъ недѣли на двѣ. Меня тянуло въ ауди-
іи университета. Изъ профессоровъ ясно припоминаю только
ихъ. Это были: во-первыхъ, старикъ Кругъ, непосредствен-
ученикъ великаго Канта, въ синемъ долгополомъ сюртукѣ
ъ ботфортахъ, на шеѣ высокій бѣлый галстукъ; и во-вто-
къ, филологъ Германъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ, щегольски
тый въ лѣтній костюмъ и со шпорами на сапогахъ, потому
пріѣзжалъ въ университетъ съ дачи верхомъ на своей ло-
ди. Онъ читалъ тогда библіографическое обозрѣніе гимновъ
ера, т.-е. о рукописяхъ, въ которыхъ онѣ дошли до насъ,
ечатныхъ изданіяхъ, о варіантахъ, о комментаріяхъ. Разу-
ется, не обошлось безъ того, чтобы я не познакомился кое
кѣмъ изъ студентовъ, а съ однимъ даже подружился на „ты“.
былъ сынъ сельскаго пастора, по фамиліи Шульце.

Изъ частыхъ сношеній съ нимъ въ моей памяти навсегда
регся одинъ случай, потому что далъ мнѣ наставительный
къ о вѣжливой аккуратности, которая охраняетъ личность
жняго отъ посягательства на его свободу безпрепятственно
полагать своимъ временемъ. Однажды мы съ Шульце поло-

жили на завтрашній день ѣхать куда-то за городъ утромъ ровно въ девять или десять часовъ, хорошо не припомню, — только именно ровно въ назначенный часъ, минута въ минуту. Поджидая своего товарища, я сидѣлъ у открытаго окна, которое выходило на улицу, а внизу подъ нимъ былъ входъ въ гостиницу. Время отъ времени я посматривалъ въ ту сторону улицы, откуда долженъ былъ итти Шульце. Вотъ онъ, наконецъ, идетъ, приблизился къ самому подъѣзду гостиницы, остановился, будто кого ждетъ, потомъ направился дальше въ другую сторону улицы, а я все наблюдаю за нимъ изъ своего окна; вотъ онъ повернулся, возвращается назадъ, опять постоялъ у подъѣзда и наконецъ вошелъ въ гостиницу. „Кого это ты поджидалъ и прогуливался взадъ и впередъ по улицѣ?“ спросилъ я, когда онъ очутился въ моемъ номерѣ. „Да никого, — отвѣчалъ онъ: — я десятью минутами пришелъ раньше и не хотѣлъ помѣшать тебѣ“. Конечно, это была уже черезчуръ нѣмецкая аккуратность, но самый пересолъ ея тѣмъ сильнѣе внушилъ мнѣ твердое рѣшеніе дорожить минутами не только своего времени, но и чужого, и не безпокоить никого въ неурочный часъ.

Отъ Лейпцига до Дрездена была уже проведена желѣзная дорога, и я въ первый разъ въ жизни поѣхалъ по этому новоизобрѣтенному пути. Я ликовалъ и для пущей радости засѣлъ въ вагонъ перваго класса, и все время до самаго конца оставался въ немъ одинъ-одинёхонекъ, безпрепятственно наслаждаясь небывалыми ощущеніями головокружительной быстроты поѣзда.

Въ Дрезденѣ по рекомендаціи лейпцигскихъ студентовъ я остановился и провелъ цѣлый мѣсяцъ въ одной недорогой, но очень хорошенькой гостиницѣ, въ такъ называемомъ Новомъ Городѣ (Neustadt), въ отличіе отъ Стараго Города, находящагося по ту сторону Эльбы, съ королевскимъ дворцомъ, театромъ, съ Brühlsche Terrasse, съ знаменитою картинною галлереею.

О сикстинской Мадоннѣ Рафаэля я уже зналъ, когда еще учился въ пензенской гимназіи, и потомъ наслышался много о ея несказанной красотѣ и величіи. Думаю, только набожные паломники съ такимъ восторженнымъ благоговѣніемъ жаждутъ поклониться гробу Господню, съ какимъ, по пріѣздѣ въ Дрезденъ, я стремился увидѣть своими собственными глазами великое чудо итальянской живописи. На другой же день я направился изъ своей гостиницы въ картинную галерею. Она находилась тогда не въ Цвингерѣ, какъ теперь, направо отъ See-Strasse, если итти отъ моста на Эльбѣ, а налѣво отъ этой улицы, и

площади въ старинномъ зданіи съ крыльцомъ и наружною лѣстницею въ два поворота, безъ навѣса. Ступени и площадки были изъ большихъ каменныхъ плитъ, которыя отъ времени растрескались и порасползлись, изъ расщелинъ пробивалась густая трава и кое-гдѣ мохрами висѣла со ступенекъ. Протоптанные и обитые камни свидѣтельствовали, что когда-то давно много было хожено по этимъ ступенямъ и площадкамъ, а непомятая зеленая бахрома, теперь украшающая ихъ, давала знать, что ветхое зданіе галереи стоитъ въ запустѣніи и рѣдко посѣщается. Въ напряженномъ состояніи моего духа такія пустыя подробности, конечно, промелькнули бы мимо меня незамѣченными, если бы одинъ внезапный случай не заставилъ меня очнуться и все свое вниманіе сосредоточить именно на этихъ самыхъ мелочахъ. Онъ глубоко врѣзался въ моей памяти со своею обстановкою. Со всего разбѣга пустившись вприпрыть по ступенямъ лѣстницы, я споткулся и упалъ. Не помню, больно ли я ушибся, да вѣроятно и тогда я не могъ этого почувствовать, потому что мгновенно охватилъ меня страхъ и ужасъ при мысли, поразившей меня какъ громомъ: что же бы это со мной было, если бы я сломалъ себѣ руку или ногу, прошибъ бы себѣ черепъ о край ступеньки и не увидѣлъ бы никогда сикстинской Мадонны! Она показалась мнѣ въ эту минуту дороже самой жизни. Осторожно приподнявшись, я ощупалъ себѣ колѣнки и локти, постучалъ нога объ ногу, потянулся, взмахнулъ обѣими руками: вижу, что все обстоитъ благополучно, и усердно перекрестился. Затѣмъ тихохонько поплелся вверхъ по лѣстницѣ, бережно поднимая ногу на каждую ступеньку, чтобы не зацѣпиться объ нее носкомъ или каблукомъ сапога, и по плитамъ площадокъ ступалъ съ пріостановкой, чтобы не поскользнуться на ровной поверхности и не запнуться въ трещинѣ; даже когда приблизился къ входной двери и позвонилъ, я намѣренно отступилъ назадъ, чтобы привратникъ, размахнувъ ее, не зашибъ меня ею и не лишилъ бы меня возможности вступить въ святилище Мадонны.

Только самое первое, еще не испытанное въ жизни, неизгладимо поражаетъ душу; всякое повтореніе, хотя бы и въ болѣе сильныхъ пріемахъ, дѣйствуетъ несравненно слабѣе. Я и на-половину не испытывалъ такого пылкаго волненія, когда потомъ подходилъ въ флорентійской трибунѣ къ Венерѣ медицейской или въ ватиканскомъ бельведерѣ къ пресловутому Апол-

лону. Потому же и раннія впечатлѣнія дѣтства и юности, впервые прочувствованныя, такъ дороги всякому и милы.

Въ Дрезденѣ мнѣ надобно было запастись необходимыми, настольными книгами и тотчасъ же приняться за ихъ чтеніе и внимательное изученіе. Это были: во-первыхъ, Винкельмана Исторія древняго классическаго искусства, въ новомъ, только что вышедшемъ тогда изданіи, съ обширными примѣчаніями, въ которыхъ новѣйшіе ученые дополнили и исправили Винкельмановъ текстъ, и, во-вторыхъ, Куглера Исторія живописи, вышедшая въ 1838 г. первымъ изданіемъ еще только въ одной книгѣ, которая потомъ въ слѣдующихъ изданіяхъ разрослась въ два тома.

Чтобы подготовить себя къ Италіи, мнѣ слѣдовало воспользоваться дрезденскою картинною галереею и, сколько возможно, ознакомиться съ нею основательно и подробно по указаніямъ Куглера. Эта галерея особенно пригодна для начинающихъ. Составленная въ XVIII столѣтіи по вкусу знатоковъ и любителей того времени, такъ же какъ петербургскій Эрмитажъ и другія старинныя галереи Европы, она ограничивается только цвѣтущимъ періодомъ искусства, начиная съ эпохи возрожденія, за полнѣйшимъ отсутствіемъ произведеній ранняго стиля, изъ которыхъ многія интересны и значительны не столько въ художественномъ отношеніи, сколько въ историческомъ и археологическомъ. Сверхъ того она предлагаетъ отборную коллекціо самыхъ лучшихъ образцовъ живописи итальянской, нѣмецкой, фламандской и французской. Здѣсь я нашелъ себѣ элементарную школу для первоначальной выработки эстетическаго вкуса.

Къ стыду моему я долженъ признаться вамъ здѣсь, что, отправляясь за границу, я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о превосходномъ собраніи картинъ въ нашемъ петербургскомъ Эрмитажѣ. Если бы хоть немножко былъ я съ нимъ знакомъ, то другими глазами взглянулъ бы я на то, что ожидало меня въ дрезденской галереѣ, и уберегъ бы себя отъ напряженныхъ усилій научиться въ короткое время слишкомъ многому.

Въ этомъ же городѣ я порѣшилъ усвоить себѣ хотя бы поверхностную наглядку въ пониманіи пластическаго стиля античной скульптуры. За неимѣніемъ лучшаго, мнѣ пришлось довольствоваться небольшимъ собраніемъ статуй, бюстовъ и барельефовъ въ Japanische Palais, находящемся въ такъ называемомъ Новомъ Городѣ, близехонько отъ моей гостиницы. И туда я ходилъ часто, подолгу останавливался передъ мраморными Минервами,

Аполлонами и великими людьми Греціи и Рима, съ напряженнымъ вниманіемъ всматривался въ подробности античной работы, усиленно добивался уловить, въ чемъ состоятъ ея классическія достоинства и прелесть, о которыхъ я уже успѣлъ довольно начитаться въ Винкельманѣ. Но все было напрасно,— потому ли, что собранные въ музеѣ экземпляры были посредственнаго разряда, или скорѣе потому, что глаза мои вовсе не были воспитаны и прилажены къ воспринятію впечатлѣній, какія производитъ изваянная фигура своими выпуклостями и съ ограниченною со всѣхъ сторонъ округлостью, безъ пособія живописной раскраски и перспективы или, по крайней мѣрѣ, свѣтотѣни. Съ раннихъ лѣтъ я привыкъ видѣть картины, но ни разу не случилось мнѣ встрѣтить ни одной статуи или бюста, на которые я обратилъ бы свое вниманіе.

При разсмотрѣніи античныхъ произведеній дрезденскаго собранія, останавливала меня на каждомъ шагу, смущала и путала одна досадная помѣха, которая не давала мнѣ возможности, безъ указаній каталога, самому отличать настоящую античную работу отъ позднѣйшей поддѣлки, болѣе или менѣе удачной. Надобно знать, что почти ни одинъ мраморный экземпляръ изъ древнихъ греческихъ или римскихъ статуй, бюстовъ или барельефовъ не дошелъ до насъ въ своей цѣлости. У того поломаны руки или ноги, у того отлетѣла голова, а если онъ и съ головою, то непремѣнно уже отскочилъ носъ; у иного руки и цѣлы, но безъ одного или нѣсколькихъ пальцевъ. Обыкновенно всѣ эти увѣчья реставрировались: къ античной фигурѣ придѣлывали ея собственные члены, если они вмѣстѣ съ нею были найдены въ землѣ или въ щебнѣ развалинъ; если же они не уцѣлѣли, то замѣнялись новыми. И старинный осколокъ и его позднѣйшая поддѣлка одинаковымъ образомъ были прилаживаемы въ надлежащемъ мѣстѣ. Чтобы отличить одно отъ другого въ скульптурныхъ произведеніяхъ дрезденскаго собранія, мнѣ приходилось ежеминутно справляться съ каталогомъ, гдѣ это всякій разъ обозначалось.

Однажды, когда я такимъ образомъ упражнялся въ изученіи античнаго стиля привинченныхъ рукъ и ногъ какой-то статуи, ко мнѣ подходитъ одинъ молодой человѣкъ и услужливо предлагаетъ мнѣ облегчить разрѣшеніе мудреныхъ для меня загадокъ. Онъ обратилъ мое вниманіе на два пункта. Новая реставрація какого-либо члена статуи отличается отъ античной, во-первыхъ, разницею въ мраморѣ и, во-вторыхъ, болѣе или

менѣе неудачнымъ воспроизведеніемъ натуральности, — а именно эта-то самая натуральность и составляетъ главную суть античной пластики. Объяснивъ наглядно оба пункта на нѣсколькихъ примѣрахъ, мой новый знакомецъ открылъ мнѣ свободный доступъ въ область классическаго искусства. Онъ толковалъ мнѣ съ такимъ знаніемъ дѣла и такъ удобопонятно, что я почелъ его за скульптора и сказалъ ему это. Онъ разсмѣялся и отвѣчалъ мнѣ, что онъ просто студентъ медицинскаго факультета изъ Вѣны, никогда и въ руки не бралъ скульптурнаго рѣзца, но уже привыкъ хорошо владѣть анатомическимъ ножомъ и, препарируя трупы, изучалъ человѣческое тѣло, потому и можетъ отличать въ пластическомъ его изображеніи натуральное отъ ненатуральнаго.

Это знакомство было для меня вдвойнѣ наставительно. Я позавидовалъ германскимъ студентамъ въ томъ, что такъ легко и привольно могутъ они воспитать и образовать свой эстетическій вкусъ въ музеяхъ и галереяхъ, разсѣянныхъ по многимъ городамъ ихъ отечества. Усвоивъ себѣ съ той далекой поры идеальное направленіе, тамошняя молодежь, вступивъ въ зрѣлый возрастъ, могла сознательно отказаться отъ увлеченій идеализма и съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ принять новое направленіе, реалистическое, когда съ половины текущаго столѣтія стало оно забирать себѣ силу. Мой студентъ медицинскаго факультета изъ Вѣны любилъ и понималъ искусство и вмѣстѣ съ тѣмъ оцѣнивалъ его съ точки зрѣнія анатомической.

XIII.

Въ первыхъ числахъ августа графъ Строгановъ прибылъ въ Дрезденъ изъ Москвы, а графиня съ дѣтьми изъ Карлсбада, чтобы отсюда отправиться на югъ. И я присоединился къ нимъ. Недоставало только старшаго сына, извѣстнаго уже вамъ между студентами московскаго университета, графа Александра Сергѣевича, который долженъ былъ догнать насъ гдѣ-нибудь на дорогѣ.

Съ этихъ поръ я буду въ своихъ воспоминаніяхъ называть Сергія Григорьевича Строганова не по имени и отчеству, а нарицательно „графомъ“, какъ всѣ мы привыкли тогда называть его въ университетѣ.

Еще за отсутствіемъ желѣзныхъ дорогъ мы ѣхали по всему пути въ экипажахъ до самаго Неаполя. Это была не легкая и

быстрая поѣздка за границу, какія теперь производятся по рельсамъ, а старобытное настоящее путешествіе въ родѣ того, какое изобразилъ Карамзинъ въ „Письмахъ русскаго путешественника“.

Нашъ пассажирскій поѣздъ состоялъ изъ четырехъ экипажей: три кареты и одна коляска. Въ каретахъ помѣщались: графъ съ графинею и ихъ дѣти, а именно: четыре сына, Александръ Сергѣевичъ, годомъ моложе меня, Павелъ Сергѣевичъ, около шестнадцати лѣтъ, Григорій Сергѣевичъ, десяти, и Николай Сергѣевичъ, полутора года, съ нѣмецкою бонною Амаліею Карловною; потомъ — двѣ дочери: Софья Сергѣевна, пятнадцати лѣтъ, и Елизавета Сергѣевна, тринадцати, съ гувернанткою изъ Лозанны, мамзель Дюранъ. Коляска могла вмѣстить только двоихъ; въ ней ѣхалъ я съ гувернеромъ Павла Сергѣевича и Григорія Сергѣевича, съ нѣмцемъ Тромпеллеромъ, докторомъ филологіи изъ какого-то германскаго университета. Она отличалась замѣчательною прочностью, такъ что въ теченіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ нашего странствованія ее ни разу не привелось чинить. Мы съ Тромпеллеромъ очень берегли ее, какъ фамильную примѣчательность, потому что еще во время турецкой войны двадцатыхъ годовъ самъ графъ совершалъ въ этой колескѣ походъ за Дунай. Изъ каретъ особенно отличалась одна, желтая, громадныхъ размѣровъ и неимовѣрной вмѣстимости. Мы называли ее Ноевымъ ковчегомъ. Въ нее впрягали всегда четверню, а то и цѣлый шестерикъ, между тѣмъ какъ прочіе экипажи обходились только парою лошадей. Впрочемъ, для крутыхъ подъемовъ на высоты Тирольскихъ и Апеннинскихъ горъ въ экипажи впрягали воловъ.

При господахъ было всего только трое слугъ: камердинеръ графа, горничная графини и поваръ Пашоринъ (по имени никогда не называли его, оно такъ и осталось мнѣ неизвѣстно). Въ дорогѣ онъ прислуживалъ мнѣ и Тромпеллеру и состоялъ при нашей колескѣ, а камердинеръ и горничная помѣщались въ маленькихъ крытыхъ сидѣньяхъ, придѣланныхъ сзади каретъ, гдѣ бываютъ запятки. Вдали отъ родины Пашоринъ былъ для меня хорошимъ образчикомъ русскаго человѣка, вышедшаго изъ простонародья. О немъ придется мнѣ не разъ говорить вамъ въ моихъ воспоминаніяхъ.

Для нашего поѣзда, какъ теперь на желѣзной дорогѣ, былъ своего рода кондукторъ, — только онъ не состоялъ при нашихъ экипажахъ, а всегда опережалъ ихъ на цѣлую станцію

и назывался курьеромъ. Онъ долженъ былъ ежедневно распоряжаться нашими остановками, гдѣ удобнѣе и лучше могли мы пообѣдать и ночевать. Такимъ образомъ въ теченіе всего пути отъ Дрездена до Неаполя нашъ день проходилъ такимъ порядкомъ: напившись поутру кофею, въ девять часовъ мы отправлялись въ дорогу; около двухъ часовъ пополудни останавливались въ гостиницѣ какого-нибудь города или мѣстечка, гдѣ по распоряженію нашего курьера насъ ожидалъ накрытый столъ съ назначеннымъ числомъ кувертовъ. Часа въ четыре мы садились въ экипажи и доѣзжали до станціи, гдѣ въ гостиницѣ уже заранѣе приготовлены были для насъ ужинъ и комнаты для ночлега, съ точнымъ распредѣленіемъ, гдѣ кому помѣститься.

Когда мы водворялись постояннымъ жительствомъ на продолжительное время сначала въ Неаполѣ, на островѣ Искіи и въ Сорренто, а потомъ въ Римѣ, то во всѣхъ этихъ мѣстахъ передъ нашимъ туда пріѣздомъ тотъ же курьеръ долженъ былъ отыскать, нанять и вполнѣ приготовить намъ удобный и помѣстительный домъ или виллу съ мебелью, со столовымъ сервизомъ и со всѣми принадлежностями домашняго обзаведенія и хозяйства, а вмѣстѣ съ тѣмъ нанять и прислугу въ надлежащемъ количествѣ. Только въ эти продолжительные сроки и нашъ Пашоринъ, оставляя временное служеніе при коляскѣ, принимался за свое кухмистерское искусство, въ которомъ онъ былъ большой мастеръ. Любопытно было бы знать, на какомъ языкѣ объяснялся онъ съ своими итальянскими поваренками, которые ему помогали, и какъ добывалъ провизію, вовсе не умѣя говорить по-итальянски. На это, должно быть, очень хитеръ русскій человѣкъ.

Нашъ курьеръ, по фамиліи Де-Мажи́съ, былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, высокій и тонкій, красивъ собою, брюнетъ съ черными усами, расторопенъ, ловокъ и со всѣми одинаково вѣжливъ; свободно говорилъ по-русски, по-французски, по-нѣмецки, по-англійски и въ особенности по-итальянски. Мнѣ ни разу не случилось спросить его, какой онъ націи и какого званія и положенія. Иные считали его французомъ, иные — итальянцемъ; мнѣ казался онъ безподобнымъ цыганомъ въ типѣ всесвѣтнаго авантюриста. Онъ долженъ былъ имѣть большой успѣхъ у женщинъ, и когда онъ жилъ при насъ одну зиму въ Неаполѣ, а другую въ Римѣ, отъ нечего дѣлать любилъ приволакиваться за итальянскими красавицами. Это былъ замѣчательный образчикъ той породы курьеровъ, изъ которыхъ русскіе вельможи

и англійскіе лорды брали себѣ опытныхъ и надежныхъ путеводителей въ своихъ дальнихъ поѣздкахъ.

Самая медлительность нашего странствованія въ экипажахъ и съ ежедневными остановками приносила мнѣ вeликую пользу, давая мнѣ возможность безпрепятственно и льготно наблюдать и изучать все встрѣчаемое мною, наслаждаться природою, живописными, оригинальными видами въ городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ мы обѣдали или ночевали, и знакомиться съ обычаями и порядками ихъ жизни.

Въ болѣе интересныхъ мѣстахъ мы останавливались дня на два, на три, именно въ Нюрнбергѣ, Мюнхенѣ, Иннсбрукѣ, Веронѣ, Мантуѣ, Моденѣ и Сіэнѣ, а то и на цѣлую недѣлю, какъ во Флоренціи и Римѣ; только, какъ вы увидите, по особенному случаю прожили мы цѣлый мѣсяцъ въ Болоньѣ. Тогда мы всѣ вмѣстѣ осматривали довольно подробно примѣчательности города съ утра и до самаго обѣда, отправляясь всегда въ экипажахъ, а не пѣшкомъ, чтобы уэкономить время для осмотра и не утомить себя, расхаживая по галереямъ, дворцамъ и церквамъ. Послѣ обѣда гуляли обыкновенно вразсыпную: мамзель Дюранъ съ дѣвицами, Тромпеллеръ со своими учениками, а я самъ по себѣ.

Когда мы разъѣзжали по городу, при насъ состоялъ провожатый, или путеводитель, котораго отряжала намъ гостиница, такъ называемый лонлакей, по-итальянски — domestico di piazza. Въ то время еще не было подробныхъ и обстоятельныхъ указателей, или гидовъ въ родѣ нынѣшняго общеупотребительнаго Бедекера, и потому печатную книгу по необходимости приходилось замѣнять въ каждомъ городѣ услугами какого-нибудь мѣстнаго обывателя, промышлявшаго ремесломъ лонлакеевъ и чичероновъ, которое особенно распространено было по всей Италіи. Люди этого разряда были вообще очень невѣжественны, не умѣли въ своихъ указаніяхъ отличать важное и существенное отъ мелочей, не заслуживающихъ вниманія, и крайній недостатокъ свѣдѣній восполняли утомительною болтовнею, которою думали внушить къ себѣ довѣріе и уваженіе. Путешественники болѣе образованные и знающіе пользовались этими людьми очень осторожно и не позволяли имъ распоряжаться осмотромъ предметовъ тѣхъ мѣстностей, куда они ихъ приводили.

Къ такимъ путешественникамъ принадлежало семейство графа. Онъ былъ человѣкъ высоко образованный, бывалый и опытный. Еще будучи двадцатилѣтнимъ офицеромъ, онъ хорошо познако-

мился съ Европою, находясь въ походѣ русской арміи противъ Наполеона I, и въ 1815 г. долго оставался въ Парижѣ и особенно былъ заинтересованъ изученіемъ художественныхъ произведеній самаго высшаго достоинства, которыя были похищены въ эту столицу, какъ драгоцѣнные трофеи побѣды, изъ покоренныхъ наполеоновскими войсками странъ и преимущественно изъ Италіи, какъ изъ большихъ городовъ, такъ и изъ маленькихъ. Грабители руководствовались тонкимъ эстетическимъ вкусомъ и отовсюду тащили отборныя сокровища въ свой Парижъ. Послѣ Вѣнскаго конгресса всѣ эти художественные предметы возвращены были въ Италію и водворены на своихъ прежнихъ мѣстахъ. У итальянцевъ надолго оставалось въ обычаѣ опредѣлять репутацію изящнаго произведенія временною его побывкою въ Парижѣ. Эта голословная оцѣнка была по нраву наемнымъ чичеронамъ, и они еще и въ то время, въ концѣ тридцатыхъ годовъ и въ началѣ сороковыхъ, любили ею пользоваться, хотя бы и невпопадъ, чтобы дороже выставить свой товаръ. Куда бы мы ни пріѣзжали, графъ встрѣчалъ лично знакомые ему предметы или извѣстные по-наслуху и изъ книгъ, а потому и не могъ нуждаться въ дешевыхъ услугахъ наемнаго чичерона.

Онъ не принадлежалъ къ большинству тѣхъ заурядныхъ любителей изящнаго, которые, относясь къ художественному произведенію слегка, какъ къ пріятной забавѣ, умѣютъ оцѣнивать его качества только личнымъ своимъ вкусомъ, иногда тенденціознымъ пристрастіемъ, а то и просто минутнымъ капризомъ. Настоящій знатокъ не довольствуется въ эстетическихъ взглядахъ такимъ узкимъ, крайне субъективнымъ кругозоромъ и провѣряетъ и подкрѣпляетъ свои личныя впечатлѣнія и сужденія научнымъ знаніемъ и опытностью, которую пріобрѣтаетъ многолѣтнимъ и постояннымъ изученіемъ художественныхъ произведеній во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ техническаго ихъ исполненія. Именно такимъ знатокомъ былъ и графъ.

Бо́льшую часть времени, свободнаго отъ служебныхъ и общественныхъ обязанностей, онъ посвящалъ своимъ любимымъ досугамъ эстетическаго и археологическаго содержанія. Даже у себя дома (въ Петербургѣ, у Полицейскаго моста) всегда передъ глазами имѣлъ онъ богатое собраніе живописныхъ произведеній лучшихъ мастеровъ итальянскихъ и фламандскихъ отъ эпохи возрожденія, составленное еще въ XVIII столѣтіи. Галерея эта, въ нѣсколько залъ, примыкала своею дверью какъ разъ къ кабинету графа. Это была очень длинная комната съ окнами

олько по одну сторону; промежутки между окнами и вся проивоположная стѣна заняты шкафами въ ростъ человѣка съ книами на полкахъ и съ разными рѣдкостями въ выдвижныхъ щикахъ. Тутъ же находилась и драгоцѣнная коллекція гречекихъ, римскихъ и византійскихъ монетъ, золотыхъ и серебряыхъ, а частію и мѣдныхъ, наиболѣе рѣдкостныхъ; графъ былъ ольшой знатокъ въ нумизматикѣ и между спеціалистами по тому предмету славился своею опытностью отличать въ монеахъ оригинальные экземпляры отъ поддѣльныхъ. Критическій актъ, усвоенный имъ при оцѣнкѣ подробностей этого любимаго редмета, онъ прилагалъ и къ произведеніямъ живописнымъ и кульптурнымъ, между которыми не только у продавцовъ-антиваріевъ, но и въ галереяхъ или музеяхъ, частныхъ и даже убличныхъ, нерѣдко принимаются удачныя копіи за настоящіе ригиналы. На античныхъ монетахъ между прочимъ изображаются импійскіе боги и богини, герои и разныя историческія лица ь цѣлыхъ фигурахъ или же только ихъ головы, обыкновенно ь профиль и величиною во всю монету. Внимательное и многоратное разсматриваніе этихъ выпуклыхъ рельефовъ, замѣчаельно изящной работы, художественно воспитываетъ глазъ эстетическое чутье къ красотамъ пластическаго стиля. Тамъ образомъ постоянныя упражненія графа въ нумизматичекихъ изслѣдованіяхъ образовала въ немъ знатока и опытнаго ѣнителя скульптурныхъ произведеній древне-классическаго скусства.

Теперь прошу припомнить, что я остановилъ васъ этимъ инным объясненіемъ въ кабинетѣ графа. Мнѣ нужно сказать еще нѣсколько словъ объ этой интересной комнатѣ. На кафахъ стояли разные художественные предметы изъ металла мрамора. Самымъ замѣчательнымъ и драгоцѣннымъ изъ нихъ ыла золотая ваза работы Бенвенуто Челлини, величиною съ ольшую сахарницу, украшенная рельефами и статуэткою на я крышкѣ. По стѣнамъ надъ шкапами и въ другихъ мѣстахъ ыли развѣшены картины старинной итальянской и голландской ивописи, преимущественно XV вѣка, которыя въ разное время амъ графъ пріобрѣталъ за границею. Между ними красовалось езподобное произведеніе Леонарда да-Винчи, изображающее ороля Людовика Святого въ типѣ прелестнаго юноши.

Свою охоту и любовь къ раннимъ школамъ западнаго скусства графъ распространилъ и на византійскую и древнеусскую архитектуру и иконопись. Въ теченіе многихъ лѣтъ

своего пребыванія въ Москвѣ онъ составилъ себѣ богатую к
лекцію старинныхъ иконъ, пріобрѣтеніе которыхъ въ сор
выхъ годахъ и въ началѣ пятидесятыхъ было несравненно у
нѣе, легче и дешевле, чѣмъ теперь. Значительный вкладъ
это собраніе достался графу по одному счастливому случ
Въ царствованіе императора Николая Павловича строго
слѣдовались раскольники. Между прочимъ, дано было приказ
полицейскимъ чинамъ отобрать ихъ раскольничьи иконы изъ
леленъ въ ихъ домахъ и скитахъ, а потомъ, какъ запрещен
товаръ, доставлять въ назначенные на этотъ предметъ скла
Графъ узналъ, что въ сараѣ одного изъ московскихъ монас
рей сваленъ цѣлый обозъ этой конфискованной контрабан
и отправился къ митрополиту Филарету съ просьбою, чт
онъ разрѣшилъ ему отобрать изъ этого склада, что̀ окаже
пригоднымъ для его собранія старинныхъ иконъ. Филаретъ у
вился, какой можетъ быть прокъ въ этомъ хламѣ, который
уже обрекъ на дрова и подтопку монахамъ того монастыря,
соблаговолилъ уступить просьбѣ графа и позволилъ ему ра
ряжаться въ монастырскомъ сараѣ, сколько угодно.

На московскомъ археологическомъ съѣздѣ прошлаго 189
завязался оживленный диспутъ о дозволенномъ и запрещенн
въ изслѣдованіяхъ о византійской и русской иконописи. То
почему-то припомнился мнѣ сейчасъ разсказанный анекдо
Если бы графъ былъ живъ и присутствовалъ бы при этомъ д
путѣ, думалось мнѣ, онъ непремѣнно сталъ бы на сторону з
нія и науки.

Я намѣренно распространился о многостороннихъ и ос
вательныхъ свѣдѣніяхъ графа въ археологіи и въ искусст
о его эстетическихъ воззрѣніяхъ и о тонкомъ художественн
вкусѣ, чтобы вы могли сами видѣть, какого превосходнаго ру
водителя и истолкователя мы имѣли въ немъ, когда вмѣстѣ
нимъ обозрѣвали разныя рѣдкости по городамъ Германіи
Италіи. Я, наставникъ его дѣтей, заодно съ ними нревраща
тогда въ его ученика и принималъ живѣйшее участіе въ
любознательныхъ интересахъ, въ взрывахъ удивленія и въ юны
восторгахъ.

Обаяніе этихъ раннихъ впечатлѣній и авторитетный п
мѣръ отца оказали плодотворное дѣйствіе на его сыновей, оп
дѣливъ навсегда характеръ ихъ дѣятельности и спеціальны
занятій. Павелъ Сергѣевичъ и Григорій Сергѣевичъ въ тече
долговременнаго пребыванія въ Италіи составили себѣ съ ос

льнымъ знаніемъ дѣла и съ художественнымъ тактомъ замѣ-
льныя собранія памятниковъ искусства, пользующіяся все-
ею извѣстностью. Картинная галерея Павла Сергѣевича,
дящаяся въ его петербургскомъ домѣ на Сергіевской, со-
итъ въ большомъ количествѣ отличные образцы разныхъ
ьянскихъ живописцевъ XIV и XV столѣтій, умбрійскихъ,
анскихъ, венеціанскихъ, ломбардскихъ, и такимъ образомъ
ественно дополняетъ собою собраніе императорскаго Эрми-
, которое очень бѣдно произведеніями этихъ раннихъ школъ
ьянской живописи. Григорій Сергѣевичъ посвятилъ себя
енію и собиранію археологическихъ памятниковъ искусства
не-христіанскаго, ранняго романскаго, византійскаго и от-
и восточнаго, сколько требовалось это послѣднее для его
іальности. Для размѣщенія своего громаднаго собранія онъ
роилъ себѣ въ Римѣ домъ на via Gregoriana, близъ Monte
io. Тамъ найдете вы и массивные мраморные саркофаги
катакомбъ и усыпальницъ, и тяжеловѣсныя мраморныя же
ы съ барельефами изъ упраздненныхъ въ Италіи за послѣд-
время монастырей, и статуи, и статуэтки, серебряные по-
, дискосы и чаши, блюда, вазы, и оклады, и диптихи изъ
овой кости и металла, и всякую другую утварь.

Вы узнаете потомъ, какъ много обязанъ я въ своихъ из-
ованіяхъ по иконографіи и вообще по искусству назида-
нымъ совѣтамъ и указаніямъ графа Сергія Григорьевича,
акже и его собственнымъ печатнымъ работамъ по этимъ
метамъ; теперь же, говоря о Строгановскихъ галереяхъ
узеяхъ, разскажу вамъ одинъ эпизодъ изъ исторіи ихъ соби-
я и составленія. Эпизодъ этотъ лично касается меня и
ъ вамъ понятіе о моихъ къ графу отношеніяхъ, какъ при-
наго ученика, который съ успѣхомъ выдержалъ экзаменъ
оего наставника.

Дѣло было зимою 1848 г., когда я уже читалъ лекціи на
дрѣ московскаго университета, но еще въ качествѣ приват-
преподавателя, безъ всякаго вознагражденія; будучи семей-
ъ человѣкомъ, для подспорья въ издержкахъ по хозяйству
валъ уроки и, между прочимъ, сыну князя Юрія Алексѣе-
Долгорукова, человѣка пожилыхъ лѣтъ, добраго, ласковаго
льшого оригинала. Онъ усердно занимался тогда перево-
псалмовъ царя Давида съ еврейскаго языка на русскій
я выработки и обогащенія своего слога формами языка
днаго и стариннаго въ нашей древней письменности обра-

тился ко мнѣ за указаніемъ источниковъ и пособій, которые могли бы удовлетворить его. Такъ начались наши сношенія. Я часто бывалъ у него въ кабинетѣ; подолгу бесѣдовали мы о русскомъ языкѣ и слогѣ; я прочитывалъ ему выдержки изъ народныхъ былинъ, изъ лѣтописей, изъ „Слова о полку Игоревѣ“, а онъ — изъ своего перевода псалмовъ.

Однажды на широкомъ подоконникѣ въ его кабинетѣ я замѣтилъ переломленную на двое статуэтку изъ бронзы, густо покрытою зеленою паутиною. Нижняя половина этой фигуры стояла на маленькомъ мраморномъ пьедесталѣ, привинченная къ нему: это были ноги и часть живота, переломленнаго наискось, а верхняя лежала плашмя на подоконникѣ, т.-е. весь торсъ съ головою и обѣими руками. Если обѣ эти части приставить одну къ другой, то ихъ можно было спаять на линіяхъ излома безъ всякаго изъяна, и тогда вся статуэтка поднялась бы на пьедесталѣ вышиною больше полуаршина. На мой вопросъ объ этихъ обломкахъ, князь мнѣ сказалъ, что онѣ недавно найдены въ кладовой между всякимъ хламомъ, куда попали, вѣроятно, какъ забракованный предметъ изъ вещей, принадлежавшихъ графу Орлову, родственнику его жены, который въ преклонныхъ лѣтахъ долго жилъ на берегахъ Неаполитанскаго залива, интересовался классическою стариною и пріобрѣталъ разныя рѣдкости, между прочимъ изъ раскопокъ Геркулана и Помпеи.

Слова князя возбудили во мнѣ любопытство. Я подошелъ къ подоконнику и только что взялъ въ руки лежавшую на немъ верхнюю половину статуэтки, какъ увидѣлъ передъ собою самую точную копію Аполлона Бельведерскаго; въ изумленіи и радости я сказалъ князю о своемъ мгновенномъ впечатлѣніи. „И мнѣ показалось, что это вещь недурная, — отвѣчалъ онъ: — я приглашалъ къ себѣ Волкова; онъ ее видѣлъ и обѣщался на дняхъ опять прійти и купить ее у меня въ свой магазинъ рѣдкостей“. Слова эти обдали меня и жаромъ, и холодомъ, совсѣмъ ошеломили: въ одинъ и тотъ же моментъ я и обрадовался, что Аполлона можно пріобрѣсти, и вмѣстѣ страшно испугался: вотъ-вотъ сейчасъ же явится передъ нами ненавистный купецъ, заплатитъ свои деньги, навсегда похититъ съ моихъ глазъ это сокровище, которое промелькнетъ для меня, какъ неразгаданное видѣніе. Я былъ тогда такъ взволнованъ, что теперь не могу припомнить ни слова, какъ просилъ я князя о позволеніи, не медля ни минуты, взять съ собою эту драго-

ѣнность и показать ее графу Сергію Григорьевичу Строгаову, который, какъ любитель и знатокъ искусства, разсмотритъ е съ надлежащимъ вниманіемъ и непремѣнно пріобрѣтетъ ее, сли она дѣйствительно такъ хороша, какъ мнѣ кажется.

Разумѣется, князь не отказалъ мнѣ въ этой просьбѣ, и я лагополучно привезъ изломанную статуэтку домой. Только тутъ азглядѣлъ я ее какъ слѣдуетъ. При полнѣйшемъ согласіи съ раморнымъ Аполлономъ Бельведерскимъ въ постановкѣ и двиеніяхъ всей фигуры и въ замѣчательно изящномъ воспроизеденіи этого античнаго типа, бронзовая статуэтка представляетъ ину чрезвычайно важную особенность. Она держитъ въ рукѣ акой-то клокъ отрепья или ветоши, а мраморная статуя бельедерская — лукъ, съ котораго только что слетѣла пущенная трѣла. Бронзовая рука составляетъ нераздѣльную принадежность всей фигуры, мраморная же придѣлана вновь, потому то первоначальная, античная, не была найдена въ щебнѣ азвалинъ, изъ котораго выкопали эту статую. Полагая статутку копіею бельведерскаго оригинала, я спутался въ своихъ ображеніяхъ и объяснялъ себѣ это различіе произволомъ копіиста. Недовѣріе къ себѣ смущало меня, и я опасался явиться ъ графу съ торжествующимъ видомъ человѣка, который сдѣлалъ ажное открытіе. Я хорошо зналъ его строгій скептическій зглядъ на предметы, и мнѣ было жутко и боязно при мысли, то изъявленіе моей радости онъ встрѣтитъ саркастическою асмѣшкою, какъ это случалось не разъ. Вы не вполнѣ поняли бы сю силу волновавшихъ меня сомнѣній, если бы я не объяснилъ вамъ одной особенности въ моихъ отношеніяхъ къ графу. ъ теченіе всей моей жизни съ безграничною любовью къ нему привыкъ соединять обаяніе того страха, который внушилъ амъ, студентамъ московскаго университета, нашъ милый инпекторъ Платонъ Степановичъ Нахимовъ, при всякомъ неадномъ случаѣ угрожая намъ именемъ графа. Такъ и остался на всю жизнь студентомъ передъ своимъ попечителемъ.

Съ цѣлью разсѣять свои недоумѣнія насчетъ статуэтки и одкрѣпить себя авторитетнымъ одобреніемъ какого-нибудь знаока, прежде чѣмъ повезу ее къ графу, я ничего лучше не огъ придумать, какъ показать ее моему доброму товарищу авлу Михайловичу Леонтьеву, который тогда въ московскомъ ниверситетѣ читалъ лекціи по классической археологіи. Я неедленно послалъ къ нему приглашеніе, чтобы онъ сегодня же ріѣхалъ ко мнѣ по одному важному дѣлу; везти же мнѣ самому

эту драгоцѣнность къ нему я опасался, чтобы дорогою какъ-нибудь ее не попортить. Леонтьевъ не замедлилъ явиться, съ большимъ вниманіемъ разсматривалъ статуэтку во всѣхъ ея подробностяхъ и завѣрилъ меня, что я не ошибся въ своемъ мнѣніи о ея достоинствахъ. Я очень уважалъ осторожность и сдержанность въ его оцѣнкѣ художественныхъ произведеній и съ бодрымъ и веселымъ расположеніемъ духа повезъ свою находку къ графу на другой же день утромъ въ девять часовъ, чтобы непремѣнно застать его дома.

Зная нетерпѣніе графа, когда онъ можетъ быть чѣмъ-либо заинтересованъ, я сперва высвободилъ свою драгоцѣнность изъ толстаго свертка бумаги и потомъ уже вошелъ къ нему въ кабинетъ, бережно неся ее въ обѣихъ рукахъ. И по голосу, и по взгляду, какими онъ встрѣтилъ меня, я тотчасъ же замѣтилъ, что попалъ къ нему въ добрый часъ, и, объяснивъ ему въ короткихъ словахъ, откуда и какъ добылъ я эту статуэтку, положилъ обѣ ея половины передъ нимъ на столъ около чашки кофею, который онъ тогда пилъ. Не говоря ни слова, онъ взялъ въ лѣвую руку верхнюю часть статуэтки, а въ правую лупу и внимательно сталъ разсматривать головку Аполлона, всю кругомъ, и особенно медлилъ на волосахъ и потомъ уже сталъ обозрѣвать прочіе члены, останавливаясь подолгу на впадинахъ и на линіяхъ сгиба. Такъ продолжалось по малой мѣрѣ четверть часа, и съ каждой минутой промедленія усиливалась моя радость: графъ заинтересованъ, и дѣло мое выиграно. Окончивъ свой осмотръ, онъ взглянулъ на меня сіяющимъ отъ самодовольства взглядомъ и сказалъ: „статуэтка была вся позолочена: у древнихъ мастеровъ было въ обычаѣ золотить бронзовыя вещи только особенно изящныя и цѣнныя по работѣ; зеленая паутина такъ густо наросла на ней, что только кое-гдѣ въ углубленныхъ линіяхъ волосъ можно подмѣтить въ лупу немногіе остатки бывшей позолоты“. Какъ опытный знатокъ, графъ началъ свой археологическій анализъ съ того, съ чего и слѣдовало прежде всего начать, и уже потомъ онъ сталъ разсматривать художественныя достоинства статуэтки и много ею любовался. Особенную цѣну онъ полагалъ въ ней указанному мною выше ея отличію отъ бельведерской статуи. То, что казалось мнѣ клокомъ отрепья, графъ призналъ за шкуру того змія, котораго Аполлонъ поразилъ своею стрѣлою. По мнѣнію графа, и бельведерская статуя въ первоначальной своей цѣльности, вѣроятно, вмѣсто лука держала въ рукѣ этотъ же

ofей побѣды надъ страшнымъ животнымъ. Если это такъ, , по мнѣнію графа, бронзовая статуэтка должна получить жное значеніе въ исторіи классическаго искусства.

Онъ оставилъ ее у себя, а мнѣ поручилъ спросить князя рія Алексѣевича, какую ему угодно будетъ назначить за нее зну. Нужно ковать желѣзо, пока оно горячо, и я тотчасъ же правился къ князю. Не имѣя охоты быть посредникомъ торгоихъ переговоровъ, я сказалъ ему, что графъ желаетъ статуэтку іобрѣсти и проситъ его прислать за деньгами, сколько будетъ ia стоить.

Съ великимъ нетерпѣніемъ желая узнать, чѣмъ кончилось чатое мною дѣло, я насилу могъ принудить себя обождать всколько дней, пока не воспослѣдуетъ успѣшный результатъ ихъ сношеній. Наконецъ являюсь къ графу. Весело встрѣетъ онъ меня, а самъ хохочетъ. „Вотъ полюбуйтесь-ка“, — оворитъ: — „какой милый чудакъ вашъ князь Долгоруковъ! отъ вамъ письмо, которое принесъ мнѣ отъ него какой-то аренькій священникъ“. Въ немногихъ строкахъ проситъ князь рафа вручить подателю письма, сельскому попу, на построеніе рама пятьсотъ рублей, — „цѣну идола, котораго доставилъ вамъ рофессоръ Буслаевъ“. Послѣднюю фразу помню и теперь слово ь слово. Итакъ, драгоцѣнность была пріобрѣтена въ строгаовское собраніе художественныхъ произведеній всего за полтоаста рублей по нынѣшнему счету.

Впослѣдствіи мнѣніе графа объ отношеніи бронзовой статэтки къ мраморной статуѣ получило въ наукѣ авторитетное аченіе. По крайней мѣрѣ такъ было въ 1875 г., когда мы вѣстѣ съ графомъ слушали публичную лекцію секретаря германскаго археологическаго института въ Римѣ, Гельбига, которую италъ онъ объ Аполлонѣ Бельведерскомъ въ Ватиканѣ, и именно ь томъ самомъ „Бельведерѣ“, отъ котораго получила свое провище эта знаменитая статуя, въ немъ издавна красующаяся. ельбигъ развивалъ ту мысль, что оба произведенія, какъ строновская статуэтка, такъ и ватиканская статуя, не что иное, какъ итичныя копіи римской работы съ какого-то недошедшаго до насъ ревосходнаго греческаго оригинала, и что первая копія, сохранившаяся вполнѣ, совершеннѣе второй и по изяществу работы. ъ тѣхъ поръ я не занимался классическою археологіею, и поому не знаю, какъ рѣшается этотъ вопросъ въ настоящее ремя.

XIV.

Разсказывая вамъ о свѣдѣніяхъ графа по археологіи и исторіи искусства, я незамѣтно для себя увлекся на цѣлыя тридцать шесть лѣтъ впередъ отъ того пункта, на которомъ я оборвалъ хронологическую нить моихъ воспоминаній. Теперь прошу васъ припомнить, какъ всѣ мы, отправляющіеся на югъ, собрались въ августѣ 1839 г. въ Дрезденѣ.

Отсюда чрезъ Хемницъ отправились мы къ Нюрнбергу, гдѣ остановились дня на три. Весь городъ съ своими домами, церквами, фонтанами переселилъ меня изъ XIX столѣтія въ XV и XVI, когда онъ строился вновь и перестраивался заново: только оправа этой драгоцѣнности, т.-е. маститыя крѣпостныя стѣны съ проѣздными башнями, да старинный императорскій замокъ отступаютъ лѣтъ на триста въ темную давность. Это была для меня раскрытая книга германскихъ древностей, въ которой каждая улица, каждая площадь казались мнѣ отдѣльными листами громаднаго фоліанта, несокрушимый окладъ котораго крѣпко заматорѣлъ въ плѣсени и копоти отъ всякихъ непогодъ многодавнихъ вѣковъ. По архитектурнымъ и скульптурнымъ памятникамъ Нюрнберга одинъ изъ нѣмецкихъ ученыхъ составилъ довольно полное историческое обозрѣніе германскаго искусства отъ древнѣйшихъ временъ и до начала XVII вѣка.

Особенно заинтересовалъ меня въ Нюрнбергѣ собственный домъ Альбрехта Дюрера, многоярусный, высокій и узкій, въ стилѣ прочихъ зданій этого города. Въ нижнемъ этажѣ его мастерская, гдѣ онъ писалъ свои безсмертныя произведенія, обширная зала подъ сводами, мощенная камнемъ; высоко отъ пола большущія окна въ формѣ полукружія размѣщены въ такомъ разстояніи одно отъ другого, чтобы давать привольный свѣтъ для работы живописца. Во второмъ этажѣ жилые покои; изъ нихъ осталась у меня въ памяти одна горница, нѣчто въ родѣ кабинета: у стѣны поставецъ съ дверцами и ящиками, посреди большой четыреугольный столъ съ массивными креслами. Тутъ Дюреръ сидѣлъ и читалъ или писалъ; около стоитъ самопрялка его жены. Въ обаяніи этой обстановки, перенесшей меня за триста лѣтъ назадъ, я былъ самъ не свой, — будто попалъ въ какое святилище, изъ котораго выйду уже не тѣмъ, чѣмъ я былъ прежде.

Послѣ Нюрнберга Мюнхенъ произвелъ на меня на первый разъ самое невыгодное впечатлѣніе: на плоской равнинѣ городъ

совсѣмъ новый, дома въ прямыхъ и широкихъ улицахъ однообразны и незанимательны, ничѣмъ на себѣ не останавливаютъ вниманія; по мѣстамъ голые пустыри, на которыхъ кое-гдѣ поднялись громадныя зданія, только что отстроенныя; и въ такомъ-то городѣ намъ рѣшено было пробыть цѣлую недѣлю. Попавъ въ него, я вовсе не слыхалъ и не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о королѣ Людовикѣ Баварскомъ, великомъ строителѣ нашего столѣтія, который въ нѣсколько лѣтъ претворилъ заурядный провинціальный городъ въ настоящую столицу баварскаго королевства, украсивъ и обогативъ ее сокровищами изящныхъ искусствъ. Чтобы свой Мюнхенъ уравнять въ художественномъ отношеніи съ другими городами Германіи, онъ вознамѣрился въ невзрачной, дюжинной его обстановкѣ устроить нигдѣ небывалый колоссальный архитектурный музей изъ церквей и другихъ зданій разныхъ стилей, начиная отъ древне-классическаго и до стиля возрожденія.

На другой день по пріѣздѣ прежде всего мы отправились по церквамъ, чтобы подъ руководствомъ графа сдѣлать общій историческій обзоръ храмового зодчества византійскаго, романскаго и готическаго. Въ Дрезденѣ я учился понимать скульптуру и живопись по Винкельману, Отфриду Мюллеру и Куглеру, а въ Мюнхенѣ первымъ моимъ наставникомъ въ исторіи архитектуры былъ графъ. Онъ любилъ и внимательно изучалъ это искусство и сродную съ нимъ орнаментику, и впослѣдствіи по тому и другому предмету издавалъ свои монографіи, хорошо извѣстныя спеціалистамъ.

Какъ дрезденская галерея была мнѣ введеніемъ и преддверіемъ для Италіи по живописной части, такъ мюнхенскій музей древностей, называемый „Глиптотекою“, — по скульптурной въ классическомъ античномъ стилѣ.

Глиптотека своимъ фасадомъ обращена на широкую площадь: большое зданіе въ видѣ античнаго храма, на планѣ четырехугольника, который своими сторонами обнимаетъ внутренній дворъ, или атріумъ. По образцу древне-греческихъ и римскихъ строеній наружныя стѣны этого музея глухія, и только со двора освѣщается онъ окнами. Ежедневно я приходилъ въ него часовъ въ девять утра и оставался до самаго обѣда, а вечеромъ по Винкельману и Отфриду Мюллеру провѣрялъ разсмотрѣнное мною сегодня и готовился на завтра. Изъ книги Отфрида Мюллера я зналъ, что ни въ Римѣ, ни въ Неаполѣ я ничего не найду по исторіи скульптуры древнѣе и значительнѣе египетскихъ, или эгинскихъ группъ, добытыхъ королемъ

Людовикомъ Баварскимъ съ острова Эгины, гдѣ нѣкогда украшали онѣ храмъ Аѳины, или Минервы. Мраморныя фигуры изображаютъ греческихъ воиновъ и троянскихъ въ пылу битвы; между ними возвышается сама Аѳина-Минерва въ боевомъ вооруженіи. Этотъ драгоцѣнный памятникъ далекой старины, состоящій изъ цѣлаго сонма статуй, своимъ суровымъ архаическимъ стилемъ задолго предшествуетъ цвѣтущему періоду греческой скульптуры временъ Фидіаса и Праксителя. Изъ прочихъ пластическихъ произведеній богатаго мюнхенскаго собранія назову вамъ только одну статую такого высокаго достоинства и настолько меня поразившую своимъ изяществомъ, что съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ ее въ первый разъ, навсегда привыкъ ее ставить на ряду съ самыми высшими твореніями греческаго рѣзца, каковы, напримѣръ: ватиканскій Лаокоонъ, капитолійскій умирающій Гладіаторъ, неаполитанскій Геркулесъ Фарнезскій, парижская Венера Милосская и др. Это — пьяный молодой Фавнъ. Онъ сидя спитъ, закинувъ голову назадъ, удрученный и отуманенный виномъ. Въ чертахъ его лица и во всѣхъ членахъ чувствуешь, какъ тревожно, смутно и тягостно ему спится; однако вся фигура его, величавая, стройная и прекрасная, производитъ симпатическое впечатлѣніе изящнаго, а не омерзѣніе или гадливую, презрительную усмѣшку, — ничего такого, что обыкновенно вызывается видомъ невоздержнаго опьяненія.

Въ Мюнхенѣ, кромѣ графа, по счастливой случайности явился мнѣ еще другой учитель въ лицѣ любимаго, дорогого моего профессора Степана Петровича Шевырева. Когда я уѣзжалъ изъ Москвы въ чужія земли, онъ не могъ напутствовать меня своими наставленіями и совѣтами, потому что самъ находился уже за границею, куда отъ министерства народнаго просвѣщенія былъ командированъ принять для московскаго университета одну богатую старопечатными изданіями библіотеку, находившуюся въ какомъ-то мѣстечкѣ недалеко отъ Мюнхена. Узнавъ о нашемъ прибытіи въ этотъ городъ, онъ поспѣшилъ увидаться съ графомъ и доложить ему о результатахъ своихъ занятій по ревизіи той библіотеки. Разумѣется, я часто и много бесѣдовалъ съ своимъ милымъ профессоромъ и особенно объ Италіи, которую онъ хорошо зналъ, проведши долгое время въ Римѣ у княгини Волконской въ качествѣ учителя ея сына. Свои указанія онъ скрѣпилъ мнѣ для памяти довольно подробною запискою съ перечнемъ важнѣйшихъ предметовъ по исторіи искусства въ тѣхъ городахъ Италіи, которые мы намѣревались

посѣтить. Сверхъ того, онъ далъ мнѣ рекомендательное письмо къ Франческо Мàзи, одному изъ библіотекарей ватиканской библіотеки. По офиціальной своей службѣ онъ назывался „scrittore latino“, т.-е. латинскій писецъ. Надобно полагать, что этотъ титулъ ведетъ свое начало отъ того далекаго времени, когда до изобрѣтенія книгопечатанія хранитель рукописной библіотеки былъ вмѣстѣ и писцомъ, которому вмѣнялось въ обязанность обогащать ее рукописями собственнаго своего издѣлія. Въ силу своего офиціальнаго положенія, Франческо Мази былъ хорошимъ знатокомъ римской литературы и бойко и правильно говорилъ по-латыни. Проживая въ Римѣ, Степанъ Петровичъ бралъ у него уроки, чтобы навыкнуть свободно и по возможности безошибочно вести разговоръ на латинскомъ языкѣ.

Изъ Мюнхена мы направились къ Иннсбруку. Только тогда догадался я и оцѣпилъ важное преимущество нашей съ Трампеллеромъ открытой коляски передъ тремя каретами, въ которыхъ прочіе наши спутники могли смотрѣть изъ своихъ оконъ только по обѣимъ сторонамъ, тогда какъ мы обозрѣвали цѣлый полукругъ горизонта съ далекою перспективою впереди, куда направлялись. Мы приближались къ тирольскимъ Альпамъ. До сихъ поръ я зналъ только холмы, крутые берега да овраги, а настоящихъ горъ въ натурѣ никогда не видывалъ, и теперь съ живѣйшимъ любопытствомъ глядѣлъ впередъ, чтобы уловить тотъ моментъ, когда выступятъ изъ млѣющей дали первые очерки горныхъ высотъ. На первый разъ я былъ обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ: вдоль небосклона показалась длинная гряда сѣрыхъ облаковъ съ свѣтло-розовыми отливами отъ легкаго отблеска солнечныхъ лучей. Я досадовалъ, что облака закрываютъ передо мною даль. Такъ прошло съ четверть часа, а можетъ быть и больше. Трампеллеръ по своему обыкновенію молчалъ. Наконецъ, я спросилъ его, какъ онъ полагаетъ, скоро ли покажутся тирольскія Альпы? — „Да онѣ давно уже передъ нами“, — отвѣчалъ онъ и указалъ мнѣ рукою на прозрачно-туманную полосу, которую я принялъ за облака. Эта ошибка вдвое усилила мой интересъ къ новизнѣ еще не испытанныхъ мною до тѣхъ поръ впечатлѣній. Не спуская глазъ, я съ напряженнымъ вниманіемъ сталъ наблюдать, какъ безформенная, растянувшаяся масса моихъ облаковъ мало-по-малу стала выдѣлять изъ себя свои суставы, которые неровными зубцами поднимались вверхъ; какъ изъ-подъ туманныхъ пятенъ тамъ и сямъ начинали выглядывать линіи утесовъ и стремнинъ и какъ, наконецъ, вполнѣ обозна-

чались и четко вырѣзались на синемъ небосклонѣ темные силуэты горныхъ хребтовъ съ долинами и разсѣлинами. Всматриваясь въ дальнія высоты, я не замѣтилъ, какъ съ широкой равнины, по которой шла дорога, мы очутились между каменистыхъ холмовъ, и вмѣстѣ съ этою перемѣною изъ-за пригорковъ я уже не могъ видѣть самыхъ горъ. Холмы поднимались все выше и выше, превращаясь въ утесы: это были уже отроги тѣхъ самыхъ Альпъ, которыя недавно казались мнѣ облаками, и когда мы въѣхали въ широкую долину, на которой, какъ въ глубокомъ, огромномъ гнѣздѣ, усѣлся по берегамъ своей рѣки Иннсбрукъ, я увидѣлъ себя, наконецъ, въ самомъ центрѣ горнаго хребта, который со всѣхъ сторонъ кругомъ меня на моихъ глазахъ поднимается отъ своихъ подножій, сначала покрытый кустарникомъ, травою и цѣлыми лѣсами, а потомъ чѣмъ выше, тѣмъ обнаженнѣе, каменистѣе и безпріютнѣе и, наконецъ, высоко надо мною врѣзывается своими вершинами въ далекое небо.

Въ Иннсбрукѣ догналъ насъ старшій сынъ графа, Александръ Сергѣевичъ, мой товарищъ по московскому университету. Здѣсь пробыли мы не больше двухъ дней и раннимъ утромъ отправились въ путь. Дорога шла все вверхъ, проложенная, какъ обыкновенно, вдоль карниза горныхъ спусковъ: по одну ея сторону непрерывныя стѣны каменныхъ утесовъ поднимаются высоко къ небу, а по другую — крутой обрывъ надъ пропастями ущелій, по которымъ свирѣпо мчатся потоки, а то надъ глубокою и широкою долиною съ деревеньками, садами, огородами и лугами.

Познакомившись съ горами, и въ общемъ ихъ видѣ, и въ разныхъ подробностяхъ, я насытилъ свое любопытство, сколько было мнѣ нужно, и пересталъ интересоваться окружающими меня чудесами природы. Мнѣ было не до того. Я уткнулъ свой носъ въ исторію живописи Куглера, чтобы основательнѣе подготовить себя къ тому, что̀ буду изучать въ городахъ Италіи, по которымъ лежитъ нашъ путь: благо Куглеръ внесъ въ свою книгу самый подробный указатель мѣстностей, гдѣ находится каждое изъ описываемыхъ имъ художественныхъ произведеній, въ какомъ городѣ, въ какомъ зданіи, публичномъ или частномъ, въ какой церкви, и притомъ въ которой именно изъ ея капеллъ, на стѣнѣ или надъ жертвенникомъ. Изящное въ искусствѣ стало для меня уже вполнѣ доступно, но къ живописной ландшафтности природы я былъ еще вовсе безучастенъ. Какъ всякій простолюдинъ, я относился къ ней, такъ сказать, себялюбиво

и корыстно, съ точки зрѣнія удобства и пользы, или помѣхи и вреда, какіе доставляетъ она человѣку. Въ этомъ отношеніи я стоялъ почти на одной ступени съ нашимъ добродушнымъ слугою Пашоринымъ: онъ терпѣть не могъ всѣхъ этихъ горъ, которыя безъ всякой нужды топырщатся вверхъ, и, сидя на козлахъ нашей коляски, пребывалъ въ самомъ угрюмомъ расположеніи духа, искоса поглядывая въ глубину пропастей, по окраинѣ которыхъ тянулась наша дорога, и презрительно покачивалъ головою, что-то бормоча про себя. Мы съ нимъ переживали еще гомерическій періодъ знаменитаго странствователя Одиссея, который оцѣнивалъ достоинство живописныхъ ландшафтовъ дикой, невоздѣланной мѣстности только съ практической точки зрѣнія, какъ на прибыльныя угодья, которыя хорошо было бы засѣять пшеницею, засадить виноградными лозами и населить стадами овецъ. Въ такомъ гомерическомъ настроеніи духа, не способномъ къ эстетическому наслажденію красотами природы, я прожилъ почти цѣлый годъ въ Италіи; даже безподобный Неаполитанскій заливъ съ своими восхитительными берегами, на которыхъ въ Неаполѣ я провелъ всю зиму до конца апрѣля мѣсяца, не могъ увлечь и плѣнить моего сердца своими прелестями. Только на островѣ Искіи, куда переѣхали мы на лѣто, въ первый разъ проснулось въ душѣ моей эстетическое чутье къ явленіямъ природы. Его разбудилъ во мнѣ величайшій изъ живописцевъ всѣхъ вѣковъ и всего міра — само солнце.

Наша вилла стояла на самомъ верхнемъ уступѣ высокой горы, которая, поднявшись изъ морской глубины со своимъ вулканическимъ кратеромъ съ утесами, долинами, ущельями, пропастями, и образуетъ весь этотъ островъ, называемый Искіею. Тотчасъ же отъ виллы идутъ внизъ крутые спуски по малой мѣрѣ версты на двѣ, кое-гдѣ перемкнутые довольно широкими выступами, на которыхъ гнѣздятся бѣлые домики, то вразсыпную, то кучками, а далеко внизу разлилось до самаго горизонта Средиземное море, прямо отъ насъ — къ западу, а налѣво — къ югу, и только съ правой стороны пригородили его живописные берега Италіи, тянущіеся непрерывною цѣпью горъ въ непроглядную даль. Шагахъ во ста отъ нашей виллы на зеленомъ лугу поднялся сплошной каменистый утесъ въ видѣ кровли, какія бываютъ на русскихъ деревенскихъ избахъ, не особенно крутой и на верху съ гребнемъ, а съ другой стороны довольно отлогимъ спускомъ ниспадалъ онъ далеко въ темное ущелье.

Послѣ обѣда до вечерней прогулки часовъ въ шесть я часто уходилъ къ этому утесу, взлѣзалъ на его вершину, усаживался на ней, спустивъ ноги на длинный откосъ, обращенный къ морю на западъ, и читалъ свою книгу, ни разу не обращая ни малѣйшаго вниманія на простирающуюся передо мной великолѣпную панораму. Однажды, отведя глаза отъ книги, я пораженъ былъ необычайной внезапностью: точно ударило всего меня огненною полосою, которая протянулась прямо на меня по всему морю отъ пламеннаго багроваго шара, который остановился на краю далекаго небосклона, и чѣмъ ярче рдѣлась эта полоса, тѣмъ чернѣе и мрачнѣе казалась морская поверхность. Когда въ этотъ день я воротился домой, я долго не могъ успокоиться отъ обуявшаго меня, поразительнаго впечатлѣнія и записалъ въ своихъ путевыхъ замѣткахъ, что сегодня я видѣлъ кровавый закатъ солнца. Очнувшись такимъ образомъ отъ безучастнаго равнодушія къ природѣ, усердно принялся я наблюдать и любоваться съ своего утеса, какъ вечернее солнышко каждый день закатывается по новому, на иной ладъ, и до безконечности разнообразитъ одни и тѣ же общіе очерки панорамы причудливыми переливами своихъ радужныхъ лучей.

Теперь возвращаюсь за десять мѣсяцевъ назадъ къ тому дню, когда, оставивъ Иннсбрукъ, мы поднимались къ перевалу черезъ тирольскія Альпы. Къ стыду моему, я долженъ признаться вамъ, что этого перевала я вовсе и не замѣтилъ, будучи углубленъ въ изученіе своего Куглера. Около полудня стемнѣло, заморосилъ мелкій дождь; мы съ Тромпеллеромъ отъ него спрятались, поднявши верхъ коляски и спустивъ фордекъ. Я не переставалъ читать свою книгу. Кругомъ было тихо и сумрачно; изъ-за частаго кустарника по обѣимъ сторонамъ бѣлѣлись снѣжныя верхушки горъ. Вдругъ слышу изъ оконъ ѣхавшей передъ нами кареты радостные крики: „Мы заѣхали въ облака! мы забрались въ самое облако! вотъ оно — я ухватился за него!“ это были голоса дѣтей графа: изъ одного окна высунулъ свою голову и руки Григорій Сергѣевичъ, а изъ другого — Елизавета Сергѣевна. Только благодаря этимъ шумливымъ восторгамъ, я узналъ, что мы очутились на самомъ высшемъ пунктѣ перевала въ верховьяхъ самаго Бреннера, съ котораго идетъ уже спускъ широкой равнины Ломбардіи.

Кстати замѣчу здѣсь, что отъ моего вниманія проскользнулъ и перевалъ черезъ Апеннины между Болоньею и Флоренціею, только на другой манеръ и еще болѣе для меня неизвинительно.

На крутые подъемы горы наши экипажи медленно тащили впряженные въ нихъ волы, которые такъ лѣниво и сдержанно ступали, что каждый изъ насъ могъ ровнымъ и некрупнымъ шагомъ опередить ихъ. Когда часа черезъ два мы поднялись выше чѣмъ на половину горы, солнце направо отъ насъ уже клонилось къ закату. Соскучившись отъ томительнаго, еле замѣтнаго передвиженія флегматическихъ воловъ, графъ съ дѣтьми и даже сама графиня вышли изъ экипажей, а за ними и мы съ Тромпеллеромъ. Это была для всѣхъ самая пріятная прогулка въ горномъ воздухѣ вечерѣющаго дня. Дѣти прыгали, разминая свои отсидѣлыя ножки, и бѣгали по дорогѣ взадъ и впередъ; гувернантка и гувернеръ остерегали ихъ, чтобы они не приближались къ окраинѣ спусковъ, которые круто обрывались по правую руку; графъ шелъ съ графинею. Только я, самъ по себѣ, медленно переступая по лѣвой сторонѣ вдоль стѣны сплошныхъ утесовъ, ни на что и ни на кого не обращалъ вниманія, углубившись въ свое чтеніе. Вдругъ подходитъ ко мнѣ графъ. „И не стыдно вамъ — говоритъ онъ — быть такимъ педантомъ! Уткнули носъ въ своего Куглера. Бросьте его и обернитесь назадъ. Смотрите повсюду кругомъ вотъ на эти необъятныя страницы великой книги, которую теперь передъ нами раскрываетъ сама божественная природа“. Я обернулся назадъ и сталъ смотрѣть. Изъ-за скалъ внизу разстилалась передо мною въ туманную даль широкая равнина. По ней, какъ на разрисованной ландкартѣ, тамъ и сямъ волнами поднимались и спускались холмы и пригорки; между ними бѣлѣлись маленькими кучками усадьбы, деревни и города; тянулись темныя полосы и нити рѣкъ и каналовъ. Я разглядывалъ подробности, которыя и теперь будто вижу передъ собою, но цѣлое ускользало отъ моего вниманія: никакихъ страницъ божественной книги я не видѣлъ, и для изученія Италіи предпочиталъ настоящую, бумажную ландкарту съ напечатанными на ней кружочками для городовъ, съ извивающимися линіями для рѣкъ и съ бахромою изъ черточекъ для горныхъ хребтовъ.

Но довольно отступленій. Прошу припомнить — онѣ задержали меня на высотахъ тирольскаго Бреннера. Теперь, когда при яркомъ освѣщеніи полуденнаго солнца спускались мы къ благословенной цвѣтущей равнинѣ Ломбардіи, вы сами догадаетесь, какими глазами я могъ и умѣлъ взглянуть на этотъ единственный во всей Европѣ безконечный садъ сплошныхъ виноградниковъ, далеко внизу уходившій за полукруглую линію

небосклона. Я несказанно радовался, что наконецъ воочію предстала предо мною сама Италія: но, окидывая своими взорами это зеленое пространство, которое называли мнѣ безподобнымъ садомъ, я въ своихъ думахъ, мечтахъ и ожиданіяхъ населялъ его тѣми итальянскими городами, гдѣ буду изучать археологію и искусство. Я былъ тогда еще неисправимый педантъ.

Претвореніе моихъ причудливыхъ, туманныхъ грезъ въ живую дѣйствительность началось съ Вероны, гдѣ пробыли мы дня два. Въ узенькой улицѣ, недалеко отъ нашей гостиницы, стоялъ старинный потемнѣлый домъ въ нѣсколько этажей; надъ входомъ была вывѣска съ изображенною на ней большою мужскою шляпою. Когда намъ указали на вывѣску, я подумалъ, что насъ поведутъ въ магазинъ какого-нибудь знаменитаго шляпныхъ дѣлъ мастера. Но это изображеніе — по-итальянски: „Capello“ (по-нашему шляпа) — есть не что̀ иное, какъ гербъ знаменитой фамиліи Капулетти, прославленной Шекспиромъ. Потомъ видѣли мы другой большой домъ, такой же одряхлѣвшій и заматерѣлый: онъ принадлежалъ фамиліи Монтекки. Изъ лекцій Августа Шлегеля я уже хорошо ознакомился съ трогательною драмою Шекспира, и теперь вы сами можете догадаться, по романтическому настроенію моего воображенія, о нахлынувшихъ на меня юношескихъ восторгахъ, когда, вмѣсто малеванныхъ театральныхъ декорацій, на самомъ дѣлѣ очутилась передо мной та мѣстность, тѣ два дома въ ихъ мрачной средневѣковой обстановкѣ, гдѣ жили, любили другъ друга, тревожились, радовались и страдали Ромео и Юлія, оба вмѣстѣ, однѣми и тѣми же взаимными тревогами, радостями и страданіями. Дѣйствительность этой любовной идилліи закончилась для меня въ Веронѣ еще болѣе реальнымъ финаломъ. Сцена мѣняется. Въ небѣ было облачно; вперемежку моросилъ дождь, заволакивая легкою дымкой низменности горы, а на ея пологомъ скатѣ — кладбище. Общей обстановки припомнить не могу, да вѣроятно и тогда я ее вовсе не замѣтилъ, потому что все мое вниманіе сосредоточилъ на себѣ только одинъ предметъ, который глубоко врѣзался въ моей памяти. Это былъ гранитный бураго цвѣта саркофагъ. Я пришелъ туда одинъ со сторожемъ изъ монастырской братіи. „Здѣсь погребены на вѣчное успокоеніе — сказалъ онъ мнѣ — злосчастные Ромео и Юлія“. Надъ саркофагомъ поднималось невысокое деревцо — хорошо помню — съ крупными листьями; съ нихъ изрѣдка скатывались и падали на бурый

ранитъ тяжелыя капли дождя, которыя чудились мнѣ тогда астоящими слезами.

Самымъ существеннымъ, драгоцѣннымъ вкладомъ для моихъ рхеологическихъ разысканій оказался въ Веронѣ знаменитый имскій амфитеатръ, который сохранился до сихъ поръ почти ь нетронутой своей цѣлости отъ далекихъ временъ, когда ылъ онъ построенъ, такъ что въ сравненіи съ нимъ самъ олизей въ Римѣ представляется обезображенною развалиною ромадныхъ размѣровъ. Послѣ обѣда, передъ солнечнымъ заатомъ, мы всѣ вмѣстѣ, подъ руководствомъ графа, внимательно бозрѣвали веронскій амфитеатръ во всѣхъ его подробностяхъ, ачиная отъ арены и темныхъ переходовъ подъ сводами до самыхъ верхнихъ ступеней для сидѣнья зрителямъ, или точнѣе —) выступовъ, которые, огибая кругомъ всю внутренность зда-ія, все ниже и ниже спускаются своими рядами къ самой ренѣ. Это былъ для меня первый урокъ по исторіи классической архитектуры, данный мнѣ на изученіи настоящаго античаго оригинала, а не въ его копіи и подражаніи или въ печатномъ рисункѣ.

Изъ Вероны черезъ Мáнтую и Модену пріѣхали мы въ Боонью, гдѣ намѣревались остаться не больше трехъ дней, но остряли на цѣлый мѣсяцъ. Елизавета Сергѣевна, младшая дочь рафа, довольно сильно простудилась, и потому рѣшено было бождать ея полнаго выздоровленія, опасаясь тронуться съ мѣста ь дальній путь черезъ Апеннинскій хребетъ.

Прежде всего я долженъ сказать о нашей болонской гостиицѣ. Она, какъ и всѣ другія въ Италіи того времени, ничѣмъ не была похожа на нынѣшніе щегольскіе отели, съ ихъ ирокими и свѣтлыми коридорами, на которые съ обѣихъ сторонъ выходятъ отдѣльные номера. Это былъ не что иное, какъ быкновенный жилой домъ хозяевъ средней руки и скромнаго остоянія, и однако въ немъ помѣщалась, какъ вы сейчасъ видите, самая лучшая въ городѣ гостиница. Только что вошли ы изъ прихожей въ небольшую простенькую залу съ тремя творенными бѣлыми дверями и съ темнымъ отверстіемъ увеньаго коридора, какъ тотчасъ же были изумлены нежданнымъ-гаданнымъ сюрпризомъ, будто перенеслись изъ далекой Боньи на родину: дѣти съ обычнымъ своимъ любопытствомъ росились къ дверямъ; кто-то изъ нихъ закричалъ: — На двери аписано карандашомъ по-русски: „Жуковскій!“ — а въ отвѣтъ гкликнулись двугіе два голоса: — А на этой двери написано:

„Назимовъ!“ — А на этой: „Философовъ!“ Оказалось, что мы попали въ ту самую гостиницу, въ которой прошлою зимой останавливался со своею свитою государь наслѣдникъ Александръ Николаевичъ, когда путешествовалъ по Италіи. Въ комнатахъ изъ залы помѣщались особы, означеныя поименно на каждой изъ трехъ дверей; самъ же цесаревичъ занималъ внутренніе покои изъ коридорчика, которые теперь отведены были для графини съ ея дочерьми. Куда ни появлялся въ этой странѣ наслѣдникъ престола, вездѣ его встрѣчали итальянцы восторженными и радушными пріемами, превозносили его доброе сердце, привѣтливость и чарующую красоту. Я самъ не разъ слышалъ отъ многихъ изъ нихъ, особенно въ Римѣ, съ какимъ увлеченіемъ и какъ любовно восхваляли они его въ своихъ поэтическихъ цвѣтистыхъ выраженіяхъ: „Angelo celeste, Angel di Dio“...

Чтобы воспользоваться продолжительною остановкой въ Болоньѣ, я отпросился у графа дней на десять въ Венецію вмѣстѣ съ Александромъ Сергѣевичемъ и Тромпеллеромъ. По дорогѣ мы посѣтили Феррару, Падую, Виченцу и нѣкоторыя изъ виллъ на берегахъ Бренты, которую еще прославляли тогда поэты въ своихъ стихотвореніяхъ.

Только теперь вполнѣ уяснилось мнѣ, что я совсѣмъ уже вступилъ во второй періодъ моего умственнаго развитія и совершенствованія. Въ пензенской гимназіи и въ московскомъ университетѣ я былъ школьникомъ и ученикомъ: то были года ученія — Lehrjahre; затѣмъ, вслѣдъ за благотворнымъ переворотомъ въ моей жизни, наступили года странствованія и приключеній — Wanderjahre. Оба эти термина, которыми Гёте раздѣлилъ свой романъ о Вильгельмѣ Мейстерѣ на двѣ части, восходятъ своимъ началомъ къ далекимъ временамъ, когда зачиналось, слагалось и формировалось въ городахъ среднее сословіе рабочихъ горожанъ. Они дѣлились на разные цехи, каждый по своему мастерству или по спеціальнымъ занятіямъ. Всякій горожанинъ приписывался къ какому-либо цеху: такъ, напримѣръ, поэтъ Дантъ — къ цеху аптекарей, въ который были зачислены ученые и литераторы. Цеховое учрежденіе было приведено въ строгую систему и закрѣплено письменными уставами, которые можно найти и теперь въ архивахъ и библіотекахъ. Чтобы сдѣлаться настоящимъ мастеромъ своего ремесла, надобно было непремѣнно пройти два послѣдовательные періода для достиженія полной и окончательной выучки, и именно — года

ученія“ и года „странствованія“. Сначала каждый рабочій учится въ мастерской своего хозяина, а потомъ, усвоивъ отъ него все, что онъ могъ и умѣлъ ему передать, отправляется въ путь по другимъ городамъ, чтобы практически ознакомиться съ техническими пріемами и вообще съ производствомъ и успѣхами своего ремесла у болѣе извѣстныхъ и лучшихъ мастеровъ, работая подъ ихъ руководствомъ. Усовершенствовавшись въ своей спеціальности, онъ возвращается домой и держитъ экзаменъ у своего хозяина и у компетентныхъ судей и, послѣ успѣшно выдержаннаго испытанія, возводится изъ учениковъ въ почетное званіе мастера, при совершеніи торжественнаго церемоніала съ разными обрядами и рѣчами, который въ подробности былъ опредѣленъ и формулированъ въ цеховомъ уложеніи... Такъ и я, послѣ двухлѣтняго самостоятельнаго изученія классическихъ древностей и вообще исторіи искусства и литературы, воротился домой и выдержалъ магистерскій экзаменъ у своихъ профессоровъ.

Главными мастерскими, въ которыхъ, по цеховой градаціи, мнѣ суждено было изъ дюжиннаго ученика выработать въ себѣ „мастера“, т.-е. магистра, были для меня на первый годъ берега Неаполитанскаго залива, а на второй — вѣчный городъ Римъ. По пути въ Неаполь, въ разныхъ городахъ, гдѣ мы останавливались на болѣе или менѣе короткіе сроки, мнѣ приходилось довольствоваться для изученія исторіи искусства только бѣглымъ обозрѣніемъ ея главныхъ періодовъ по отдѣльнымъ школамъ и по стилямъ, а изъ подробностей — только самыми крупными и особенно выдающимися, и то по указаніямъ графа Сергія Григорьевича, — каковы, напримѣръ, древнѣйшія произведенія итальянской живописи XIII-го вѣка, въ которыхъ на основѣ византійскихъ преданій цвѣтущей эпохи уже выступаютъ проблески высокаго изящества той благодатной среды, гдѣ черезъ двѣсти лѣтъ могли народиться Микель-Анджело и Рафаэль. Изъ такихъ драгоцѣнностей назову вамъ двѣ запрестольныя иконы: одну въ сіэнскомъ соборѣ, съ изображеніями страстей Господнихъ въ отдѣльныхъ четырехугольникахъ, стариннаго живописца Дуччіо ди-Буонъ Инсенья, а другую — во Флоренціи, въ одной изъ капеллъ церкви Maria Novella, съ изображеніемъ Богоматери съ Младенцемъ Іисусомъ Христомъ, писанную знаменитымъ Чимабуэ, о которомъ Дантъ упоминаетъ въ своей Божественной Комедіи.

Сосредоточивъ всѣ свои интересы на изученіи археологіи

и искусства въ связи съ исторіею литературы, повсюду въ Италіи я ни на что другое не обращалъ свое вниманіе, какъ только на такіе предметы, которые могли удовлетворять этимъ моим интересамъ. Гуляя по улицамъ и площадямъ города, я видѣл зданія, дворцы и церкви, портики, фасады и колоннады, а лю дей, которые мнѣ встрѣчались, и не замѣчалъ; для моихъ гл зовъ существовала тогда только мѣстность, а не обыватели, которые ее населяютъ. Улица съ жилыми домами и заросш высокою травою и кустарникомъ, пустырь съ развалина античныхъ или средневѣковыхъ построекъ складывались д моего воображенія въ одно цѣлое. Я весь поглощенъ был монументальностью Италіи и постольку же мало обращалъ вни манія на ея жителей, какъ и на разнообразныя красоты е природы. Впрочемъ, и сами итальянцы имѣли для меня нѣкото рый интересъ, но только по отношенію къ изучаемымъ мно памятникамъ искусства и вообще старины. Мнѣ казалось, что жители этой страны и существуютъ теперь для того только, чтобы охранять завѣтныя сокровища великаго прошедшаго в своихъ городахъ и услужливо показывать и объяснять их иностранцамъ. И тогда я слушалъ ихъ внимательно и даже съ уваженіемъ относился къ нимъ, будь то горожанинъ средняго сословія или простолюдинъ въ плисовой курткѣ: я завидовалъ имъ и цѣнилъ ихъ, какъ соотечественниковъ и потомковъ тѣхъ великихъ людей, произведеніями которыхъ я восхищался.

Стремленіе моихъ думъ, поисковъ и задачъ, направленное отъ грустной и невзрачной современности Италіи къ далекимъ вѣкамъ ея славы и величія, отчасти соотвѣтствовало тогда общему настроенію духа ревностныхъ патріотовъ Италіи, когда, въ силу параграфовъ вѣнскаго конгресса, ихъ прекрасная родина изнывала и томилась подъ нестерпимо тяжелымъ гнетомъ чужеземнаго ига. Они жили только воспоминаніями о прошломъ и надеждами на будущее; настоящаго для нихъ вовсе не было: оно замерло и окоченѣло въ смутномъ кошмарѣ.

XV.

Въ началѣ ноября 1839 г. мы пріѣхали, наконецъ, въ Неаполь и водворились на цѣлую зиму въ двухъ этажахъ дома, который вполнѣ приготовилъ намъ курьеръ де-Мажисъ со всевозможными удобствами для житья-бытья и домашняго обихода,

также и съ итальянской прислугою; только кухонная стряпня была уже теперь предоставлена въ завѣдываніе нашему Паскорину. Домъ этотъ стоитъ на „Кіайѣ“, т.-е. на „Набережной“, которая отдѣляется отъ моря длиннымъ и широкимъ бульваромъ съ тѣнистыми аллеями, называвшимся тогда „Villa Reale“, а теперь — „Villa Nazionale“. Въ бельэтажѣ размѣстились графъ С. Г. Строгановъ, графиня, ихъ обѣ дочери съ гувернанткою и двухлѣтній сынокъ со своею нѣмкою Амаліею Карловною. Всѣмъ остальнымъ былъ отведенъ верхній этажъ, пополамъ раздѣленный коридоромъ. На сторонѣ, обращенной на югъ, т.-е. къ Неаполитанскому заливу, двѣ комнаты назначены были для графа Александра и четыре для его младшихъ братьевъ съ гувернеромъ: пріемная, гдѣ мы пили утренній кофе, спальня и двѣ классныхъ комнаты, по одной для каждаго изъ двухъ нашихъ съ Тромпеллеромъ учениковъ, такъ какъ по различію въ лѣтахъ они должны были брать уроки порознь. Моя комната съ однимъ окномъ и со стекольчатою дверью, ведущею на широкую террасу, которая составляла кровлю нижняго этажа, была обращена на сѣверъ, такъ что чуть не въ упоръ передъ моими глазами разстилался живописный ландшафтъ: налѣво съ крутыми спусками горы Позилипо, а направо съ ея вершиною, такъ называемою „Capo-di-Monte“, которая увѣнчивается твердынями крѣпости Сантъ-Эльмо съ примкнувшимъ къ ея подножію картезіанскимъ монастыремъ св. Мартина.

Немедленно по пріѣздѣ въ Неаполь установился опредѣленный порядокъ моихъ занятій на каждый день по часамъ. Въ половинѣ девятаго мы пили кофей; отъ девяти часовъ до двѣнадцати я давалъ три урока: одинъ — Павлу, другой — Григорію и третій — обѣимъ ихъ сестрамъ вмѣстѣ. Только этимъ и ограничивались мои обязанности наставника въ семействѣ графа, а все остальное время до поздней ночи было предоставлено мнѣ въ полное распоряженіе. Въ полдень мы завтракали, въ пять часовъ обѣдали, въ девять пили чай. Отъ завтрака до обѣда я уходилъ изъ дому на поиски для своихъ изслѣдованій и наблюденій, а вечеромъ провѣрялъ и уяснялъ себѣ по разнымъ руководствамъ и пособіямъ все то, что̀ приходилось мнѣ въ тотъ день видѣть и изучать, а также заготовлялъ себѣ планъ для завтрашнихъ ученыхъ работъ. Кстати замѣчу, что такой же порядокъ дней и часовъ наблюдался и въ Римѣ, гдѣ провели мы слѣдующую зиму. Надобно еще прибавить, что

одинъ или два вечера въ недѣлю я отнималъ у своихъ кабинетныхъ занятій для итальянской оперы, которую очень полюбилъ.

Я преподавалъ дѣтямъ русскую исторію, грамматику и словесность, но не одну только ея теорію, т.-е. риторику и піитику, а также и исторію литературы, пользуясь, сколько нужно и возможно, лекціями С. П. Шевырева. Въ научныхъ матеріалахъ для этого предмета за границею я не чувствовалъ никакого недостатка, потому что въ Неаполѣ ожидала насъ довольно полная библіотека русскихъ книгъ, достаточная не только для уроковъ моимъ ученикамъ и ученицамъ, но и для собственныхъ спеціальныхъ занятій моихъ. Каталогъ этой библіотеки былъ составленъ мною еще въ Москвѣ передъ отъѣздомъ за границу и щедро дополненъ самимъ графомъ. Тутъ были собранія сочиненій нашихъ образцовыхъ писателей, начиная отъ Кантемира и Ломоносова до Жуковскаго и Пушкина, Исторія государства россійскаго Карамзина, памятники древнерусской и народной словесности въ изданіяхъ Татищева, Калайдовича, Тимковскаго и друг., а также нѣсколько томовъ Россійской Вивліоѳики по моему выбору. Всѣ эти книги я разставилъ по полкамъ двухъ шкафовъ, которые были уже приготовлены заранѣе къ нашимъ услугамъ въ одной изъ комнатъ верхняго этажа. При такихъ богатыхъ пособіяхъ и съ небольшою опытностью, пріобрѣтенною мною въ семействѣ барона Льва Карловича Боде, я могъ уладить свое преподаваніе довольно легко и съ нѣкоторымъ успѣхомъ. Отецъ иногда бывалъ у меня на урокахъ и обыкновенно высиживалъ весь часъ сполна, особенно въ классѣ своихъ дочерей.

Послѣ хотя и бѣглаго обозрѣнія дворцовъ, храмовъ и разныхъ историческихъ и художественныхъ примѣчательностей въ Венеціи, Флоренціи, Сіэнѣ и въ Римѣ, Неаполь произвелъ на меня невыгодное впечатлѣніе, которое все больше усиливалось по мѣрѣ того, какъ я съ нимъ знакомился. За немногими исключеніями, которыя надобно не безъ труда отыскивать, онъ весь представлялся мнѣ сплошною массою однообразныхъ построекъ двухъ послѣднихъ столѣтій, въ позднѣйшихъ стиляхъ renaissance, барокко, рококо и такъ называемаго стиля имперіи. Гулять по его многолюднымъ улицамъ, площадямъ и по грязнымъ закоулкамъ я не любилъ, предпочитая вершины горы Позилипо, гдѣ въ полномъ уединеніи, высоко надъ городомъ, бродилъ я по ущельямъ, промоинамъ отъ дождевыхъ потоковъ и по скатамъ, въ зимнее время кое-гдѣ испещреннымъ раз-

ими красивыми и пахучими цвѣтами. Мнѣ особенно нравились необыкновенно душистые гіацинты желтаго цвѣта, какихъ насъ въ Россіи я не видалъ: можетъ быть, это были своего рода нарциссы, но формою каждаго цвѣточка и сочетаніемъ ихъ всѣхъ въ одну густую кисть сходные съ гіацинтами, только по запаху нѣжнѣе и благоуханнѣе ихъ. Всякій разъ, возвращаясь съ Позилипо домой, я приносилъ себѣ большой букетъ этихъ желтыхъ цвѣтовъ и ставилъ ихъ въ сосудъ съ водою.

Но и въ стѣнахъ Неаполя я нашелъ такой неисчерпаемый кладъ для изученія классическаго искусства, такое заманчивое пристанище для моихъ изслѣдованій и наблюденій, какого не могъ мнѣ дать ни одинъ городъ въ Италіи, ни даже самъ Римъ. Это былъ такъ называемый Бурбонскій музей, который теперь переименованъ въ „Національный“, громадное зданіе, стоящее въ верхнемъ концѣ главной неаполитанской улицы Толедо. Этотъ музей въ городѣ слываетъ подъ именемъ Студій (Studii). Главное и неоспоримое преимущество этого музея передъ всѣми прочими художественными собраніями состоитъ не въ картинной галереѣ съ нѣсколькими значительными произведеніями лучшихъ итальянскихъ живописцевъ и не въ богатомъ и обширномъ отдѣленіи греческой и римской скульптуры вообще, а въ единственномъ во всемъ мірѣ собраніи безчисленнаго множества предметовъ, извлеченныхъ изъ раскопокъ Геркулана и Помпеи. Всѣ вещи, находимыя въ стѣнахъ этихъ обоихъ городовъ, или мало-по-малу переносимы въ это собраніе, — разумѣется, металлическія и каменныя, которыя, пролежавъ множество вѣковъ подъ спудомъ пепла и лавы, или туфа, сохранились во всей цѣлости. Предметы эти имѣли для меня двоякій интересъ: художественный и бытовой. Они воспроизводили передо мною жизнь древнихъ римлянъ, домашнюю и общественную, во множествѣ подробностей, начиная отъ кухонной и столовой посуды, до разныхъ ремесленныхъ орудій и снастей до металлическихъ зеркалъ, флаконовъ, вазъ, лампадъ и статуэтокъ изъ внутреннихъ покоевъ римскихъ щеголихъ, вмѣстѣ съ ихъ ожерельями, браслетами и другими драгоцѣнностями, которыя украшали ихъ въ тотъ роковой моментъ, когда были онѣ внезапно погребены подъ вулканическими изверженіями Везувія. Своими глазами видѣлъ я и тѣ стулья, тѣ сѣдалища разныхъ фасоновъ, на которыхъ сиживали обитатели погибшихъ городовъ почти за двѣ тысячи лѣтъ до нашего времени, и тѣ кровати, на которыхъ они тогда спали, столики и столы, за которыми они

обѣдали, работали или чѣмъ-нибудь пробавляли свои
жертвенники, на которыхъ они возжигали свои куре
всѣ эти издѣлія, — будутъ ли то предметы роскоши, или
кухонная утварь и посуда, — съ практическимъ удобст
съ услужливою приноровкою къ дѣлу, соединяютъ въ се
щество художественнаго произведенія. Помпейскій вк
изящной обработкѣ предметовъ ремесленнаго мастерств
зуется всеобщею извѣстностью, благодаря копіямъ и п
ніямъ, разсѣяннымъ повсюду въ магазинахъ мебели и кабин
принадлежностей и въ домахъ зажиточныхъ людей; пот
хожу излишнимъ говорить вамъ, сколько способствовало
танію моего эстетическаго взгляда и чутья подробное раз
ваніе и внимательное изученіе металлическихъ издѣлій Ге
и Помпеи, во множествѣ собранныхъ въ залахъ Бурб
музея. Вещи, которыя особенно меня интересовали и
полюбились, къ себѣ манили меня всякій разъ, какъ
ходилъ около нихъ; я останавливался передъ каждою,
встрѣчалъ стараго знакомаго, любовался ею, провѣря
прежнія впечатлѣнія, а иногда отыскивалъ въ ней и
для себя прелести, которыя до тѣхъ поръ отъ меня
зали. Такимъ повторительнымъ осматриваніемъ предмета
жимъ и льготнымъ, я старался выработать въ себѣ ту б
и какъ бы инстинктивную наглядку, посредствомъ котор
обрѣтается опытность мгновенно, съ перваго же раза схв
общій характеръ, стиль и манеру художественнаго произв

Изъ необозримой массы этихъ издѣлій первое м
моихъ интересахъ занимали, разумѣется, бронзовыя ст
статуэтки, изображающія боговъ и богинь, эпическихъ г
и героинь, центавровъ, тритоновъ и другихъ вымышл
чудовищъ, а также и фигуры обыкновенныхъ людей въ
тахъ, историческихъ лицъ и въ разныхъ реальныхъ т
мастерски схваченныхъ художниками изъ дѣйствительной
ходной жизни ихъ современниковъ. Такимъ же обаят
реализмомъ удивляли меня изображенія домашнихъ живо
звѣрей и птицъ.

Въ отдѣленіи бронзовыхъ вещей особенно полюбилис
два художественныхъ произведенія, на которыя я не мо
сыта налюбоваться. То были статуэтка силена или ф
статуя Меркурія. Въ статуэткѣ представленъ одинъ изъ с
ковъ и приспѣшниковъ Вакха, или Бахуса, но не изъ
жирныхъ и обрюзглыхъ силеновъ, а тощій, костлявый

ый. Лицо у него не красиво, но и не безобразно, носитъ себѣ реальный отпечатокъ портрета. Отъ юныхъ безборо-ъ фавновъ онъ отличается небольшою жидкою бородою кли-ъ. Онъ пляшетъ, легко переступая на цыпочкахъ, а руки нялъ вверхъ, прищелкивая пальцами, какъ у насъ прищел-аютъ деревенскія крестьянки въ хороводахъ. Его крѣпкіе кулы, взбудораженные по всему торсу плясовыми ухватками, ыгрались волнистыми переливами. Въ этой безподобной фи-кѣ художникъ разрѣшилъ трудную задачу: придать пошлому, клюжему граціозный отблескъ, такъ что смѣшное становится ельзя мило. Въ статуѣ изображенъ Меркурій, или Гермесъ, троногій посланникъ боговъ. Онъ откуда-то издалека спѣ-ъ и теперь на минуту присѣлъ отдохнуть, но сидитъ такъ, во всей его позѣ чувствуется легкость движеній и быстрота рѣзвыхъ ногъ. Онъ, очевидно, усталъ. Спершееся дыханіе нимаетъ грудь его и чуть-чуть вздуваетъ ноздри и сдержанно, легко вылетаетъ изъ полуоткрытыхъ устъ его, которыя, ка-ся, уже готовы сложиться въ привѣтливую улыбку. Ему некогда лить, да и по своей божественной природѣ онъ не нуждается отдыхѣ. Онъ не успѣлъ еще подобрать раздвинутыхъ ногъ ихъ въ болѣе спокойное положеніе и готовъ тотчасъ же очить и пуститься во всю прыть. Тощій животъ его, втя-ясь внутрь, подался назадъ, а гибкая спина круто нагну-ь впередъ, будто натянутый лукъ, который тотчасъ выпря-ся, какъ только слетитъ съ него оперенная стрѣла.

Характеристику этого геркуланскаго Гермеса я помѣстилъ своихъ путевыхъ записокъ 1840 г. въ монографіи: „Жен-е типы въ изваяніяхъ греческихъ богинь“, изданной въ 51 г., въ Леонтьевскихъ „Пропилеяхъ“, а потомъ перепе-анной въ „Моихъ Досугахъ“, 1886 г. Привожу вамъ эти ліографическія подробности въ тѣхъ видахъ, чтобы вы сами ли судить, насколько могъ успѣть самоучкою въ классиче-й археологіи двадцати-двухлѣтній кандидатъ московскаго уни-ситета тридцатыхъ годовъ истекающаго столѣтія.

Все пространство каждой изъ залъ геркуланско-помпейскаго ѣленія наполнено этими металлическими предметами, а на нахъ помѣщены картины, составляющія лучшее и самое ное украшеніе въ стѣнной живописи обоихъ городовъ, отры-мыхъ изъ-подъ вулканическихъ изверженій. Что я наблю-ъ и изучалъ въ бронзовыхъ вещахъ и вещицахъ поодиночкѣ розпь, то представляли мнѣ эти картины въ полномъ объемѣ

миѳологическихъ, или идеальныхъ, сюжетовъ и бытовыхъ, или реальныхъ. Отдѣльныя фигуры бронзовыхъ статуй и статуэтокъ собирались передо мною въ цѣльныя группы разнообразнаго содержанія, взятаго изъ миѳологіи, исторіи и ежедневнаго быта, и одноцвѣтные облики, контуры и силуэты темныхъ металлическихъ фигуръ оживлялись и пестрѣли радужными переливами колорита.

Теперь, благодаря дешевымъ фотографическимъ снимкамъ и многочисленнымъ изданіямъ, школьнымъ и ученымъ, въ очеркахъ и въ краскахъ, художественныя произведенія Геркулана и Помпеи сдѣлались доступны повсюду для всякаго образованнаго человѣка; потому нахожу вовсе ненужнымъ вдаваться въ подробности о стѣнной живописи этихъ городовъ. Впрочемъ, и тогда человѣку бѣдному представлялась въ Неаполѣ возможность добывать для себя на мелкія деньги кое-какіе отдѣльные снимки въ литографіяхъ, иногда даже и раскрашенные. Этотъ дешевый товаръ я находилъ себѣ въ одномъ антикварномъ магазинѣ, бывшемъ какъ разъ около Бурбонскаго музея на улицѣ Толедо.

Магазинъ содержалъ въ себѣ преимущественно античные оригиналы изъ бронзы и мрамора, а можетъ быть, и поддѣлки, на которыя итальянцы уже въ ту пору были ловкіе мастера. Въ первый разъ я вошелъ въ него съ тѣмъ, чтобы добавить свои свѣдѣнія по античной скульптурѣ, и случайно увидѣлъ интересовавшіе меня снимки. Торговлю вела молодая женщина лѣтъ тридцати, жена хозяина, человѣка стараго и одержимаго подагрою. Часто заходя въ магазинъ по пути изъ музея домой, я познакомился съ ними обоими; они занимали квартиру при самомъ магазинѣ. Больной старикъ, лежа на диванѣ, былъ всегда радъ моему посѣщенію и передавалъ мнѣ разныя подробности о своемъ антикварномъ товарѣ. Еще интереснѣе и полезнѣе былъ для меня одинъ господинъ, котораго я почти каждый разъ встрѣчалъ въ магазинѣ, высокій и дюжій, лѣтъ сорока, въ шинели съ длиннымъ воротникомъ и въ шляпѣ съ широкими полями. Онъ былъ въ магазинѣ какъ у себя дома и услужливо показывалъ иностраннымъ покупателямъ античныя вещи и объяснялъ ихъ высокое достоинство. По дружескимъ его отношеніямъ къ молодой хозяйкѣ магазина я сначала думалъ, что онъ ей родственникъ, но вскорѣ узналъ, что это былъ германскій профессоръ Цанъ, который изготовлялъ тогда свое изданіе стѣнной живописи Геркулана и Помпеи. Онъ уже

давно проживалъ въ Неаполѣ, и въ послѣднее время, когда я съ нимъ познакомился, ему по какимъ-то подозрѣніямъ строжайше былъ запрещенъ входъ въ Помпею и Геркуланъ. Съ обширными свѣдѣніями археолога онъ соединялъ опытную наглядку и тонкій вкусъ художника: частыя бесѣды съ нимъ были для меня поучительны и назидательны.

Мои свободные часы между завтракомъ и обѣдомъ ежедневно проводилъ я въ музеѣ, за исключеніемъ праздниковъ, а по вечерамъ велъ записки о томъ, чему и какъ научился я въ тотъ день: мнѣ казалось, будто я составляю лекціи, которыя прослушивалъ въ аудиторіяхъ московскаго университета. Для этой вечерней работы я пользовался, по указанію графа Сергія Григорьевича, однимъ многотомнымъ изданіемъ, которое онъ пріобрѣлъ по пріѣздѣ въ Неаполь и все сполна передалъ въ мое распоряженіе. Это было подробное описаніе музея съ учеными изслѣдованіями и съ иллюстраціями, подъ названіемъ: Museo Borbonico. Итальянскіе ученые того времени и особенно въ Неаполѣ далеко отстали въ разработкѣ классическихъ древностей отъ нѣмцевъ, представителемъ которыхъ былъ для меня Отфридъ Мюллеръ, и его руководство по этому предмету, какъ я уже говорилъ вамъ, было для меня настольною книгою; но его голословныя ссылки на первоначальные источники и на разныя спеціальныя монографіи были мнѣ не подъ силу. Напротивъ того, элементарный способъ объясненія и подробнаго изложенія въ описаніяхъ художественныхъ памятниковъ Бурбонскаго музея, низводившій ученое изслѣдованіе до популярной статьи литературнаго журнала, вполнѣ соотвѣтствовалъ разумѣнію и потребностямъ такого, какъ я, малосвѣдущаго любителя археологіи, который до сихъ поръ пробавлялся только Винкельманомъ да учебникомъ Отфрида Мюллера. Въ описаніяхъ геркуланской и помпейской стѣнной живописи, помѣщенныхъ въ изданіи Бурбонскаго музея, все было для меня доступно, понятно и ясно; въ нихъ я находилъ для себя все, что было нужно, не затрудняя себя никакими справками въ другихъ книгахъ по ученой литературѣ классическихъ древностей. Если сюжетъ картины миѳологическій, мнѣ предлагался подробный разсказъ самого миѳа; если заимствованъ у Гомера, Гезіода, Еврипида, Виргилія или Овидія, то вмѣсто указанія цифрою на главу или стихъ — приводились сполна самые тексты этихъ авторовъ. Такія же подробныя выдержки я находилъ въ этомъ неаполитанскомъ изданіи, гдѣ оказывалось нужнымъ, изъ Павзанія, Плинія,

Светонія и другихъ классическихъ писателей, служащихъ источниками для изученія греческихъ и римскихъ древностей.

Воскресные дни проводилъ я за городомъ съ ранняго утра, напившись кофею, и вплоть до обѣда, т.-е. до пяти часовъ вечера. Праздничныя свои похожденія и прогулки обыкновенно направлялъ я къ Поццуоли и по берегамъ Байскаго залива до Мизенскаго мыса, почти всегда пѣшкомъ, и только въ крайнихъ случаяхъ, чтобы сократить время, на лодкѣ, а то и верхомъ на ослѣ. Лучшимъ проводникомъ моимъ, постоянно со мною неразлучнымъ, была самая подробная карта окрестностей Неаполя, шириною въ пять четвертей слишкомъ, а длиною около аршина. Бо́льшую часть ея занимаетъ Неаполитанскій заливъ; вверху, почти по серединѣ дугообразной его формы, очерченной берегами, находится планъ Неаполя, величиною въ вершокъ; лѣвую половину дуги составляютъ берега, описываемые скатами горы Позилипо и островами Низитой, Прочидой и Искіей, а правую — сначала низменности и подошвы Везувія и Monte Sant Angelo (горы Святого Ангела) съ Castellamare, а затѣмъ высокіе и крутые берега Сорренто съ его знаменитою по живописности равниною (Piano di Sorrento), окруженною съ трехъ сторонъ высокими горами. Тамъ, гдѣ Неаполитанскій заливъ переходитъ въ Средиземное море, стоитъ островъ Капри, на причудливую форму котораго въ видѣ античнаго сфинкса мы любовались изъ оконъ нашего дома на берегу Кіайи. По этому общему очерку моей путеводной карты вы можете судить, до какихъ мельчайшихъ подробностей означены въ ней всѣ мѣстности по обѣимъ сторонамъ Неаполя. Она указывала мнѣ не однѣ большія и проселочныя дороги для проѣзжающихъ, но и узенькія тропинки по горамъ и равнинамъ между пустырями, виноградниками, садами и огородами, не одни города и селенія, но и отдѣльные домики, лачуги, сараи и амбары, а также и развалины и останки древнихъ римскихъ зданій, разсѣянныхъ повсюду по полямъ, холмамъ и по морскому прибрежью, особенно со стороны Поццуоли.

Именно въ эту-то сторону и направлялись мои еженедѣльныя воскресныя прогулки. Положивъ въ одинъ изъ двухъ кармановъ сюртука свою путеводную карту, сложенную въ небольшіе четвероугольники, я выходилъ на Кіайю и, поворотивъ направо, шелъ подъ тѣнью густыхъ аллей виллы Реале до того мѣста, гдѣ она оканчивается площадью у подножія горы Позилипо, у песчанаго прибрежья. Тутъ около своихъ лодокъ отдыхаютъ и

грѣются на солнышкѣ рыбаки и лазарони, сидятъ и болтаютъ между собою или спятъ; здѣсь же толкутся ихъ жены съ ребятишками. Для продовольствія этой невзыскательной публики торговцы и особенно торговки завели на площади рынокъ съ съѣстнымъ товаромъ, который тутъ же изготовляется: макароны варятся въ котлахъ, рыба поджаривается въ маслѣ на сковородахъ, каштаны пекутся въ тазахъ. И я каждый разъ запасался на этомъ рынкѣ для утоленія голода въ теченіе дня такою провизіею, которую я могъ безнаказанно помѣстить въ другой карманъ своего сюртука, не засаливши его масломъ отъ рыбы или не смочивъ подливкою отъ макаронъ; потому я довольствовался всегда только одними каштанами.

Гора Позилипо, образуя съ этой стороны своими скатами берегъ Неаполитанскаго залива, отгораживаетъ Неаполь отъ тѣхъ мѣстностей и урочищъ, куда я направлялъ свои похожденія. Чтобы попасть тотчасъ же на ту сторону, еще во времена древняго Рима былъ высѣченъ въ каменистомъ кряжѣ горы высокій и довольно широкій проходъ, длиною около полуверсты. Этотъ гигантскій проломъ, стародавній предшественникъ нынѣшнихъ тоннелей по желѣзнымъ дорогамъ, называется Позилицскимъ гротомъ. Къ нему прилегаетъ та площадь съ рынкомъ, на которую я выходилъ изъ аллей прибрежной виллы Reale, и минутъ черезъ десять былъ уже на другой сторонѣ Позилипо, на проѣзжей дорогѣ къ Поццуоли, но для сокращенія пути, пользуясь своею картою, тотчасъ же избиралъ себѣ одну изъ тропинокъ, которыми направо отъ дороги испещрены поля съ виноградниками и садами, раздѣленными между собою то изгородью изъ колючаго кустарника, то канавою, то низенькими стѣнками изъ кое-какъ наваленныхъ другъ на друга камней. Эти баррикады иногда преграждали мнѣ путь по тропинкѣ, означенной на картѣ, и я принужденъ былъ переправляться черезъ пихъ по садамъ и виноградникамъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣчу кого-нибудь изъ хозяевъ или ихъ работниковъ, и по ихъ указанію продолжаю путь къ назначенной мною цѣли. Такія препятствія нисколько не были мнѣ въ досаду; напротивъ того, они мнѣ нравились и приносили пользу: я короче знакомился съ интересовавшею меня мѣстностью и съ людьми; узнавалъ отъ нихъ разныя подробности и легенды объ урочищахъ, запечатлѣнныхъ громкими именами классической древности, и о вулканическихъ переворотахъ, которые, какъ бы продолжая сотвореніе земли изъ первобытнаго хаоса, въ те-

ченіе многихъ вѣковъ перестраивали всю эту мѣстность на разные лады и дали ей новый видъ. Вотъ, напримѣръ, такъ называемая „Новая гора“ (Monte Nuovo); она еще на памяти старожиловъ начала нашего столѣтія сама собою выскочила изъ маленькаго озера, которое нѣкогда очутилось на мѣстѣ погасшаго огнедышащаго кратера. Гора эта имѣетъ видъ огромнаго стога, очень аккуратно сложеннаго и старательно округленнаго. Въ 1839 и въ 1840 годахъ она была еще вся черная, не покрытая зеленью, но въ 1875 г., посѣщая эти знакомыя мѣста, я уже не узналъ ее съ перваго раза, потому что она обросла травою и кустарникомъ. А то нѣсколько подальше я видѣлъ большое озеро совсѣмъ круглой формы; вода въ немъ была горькая и противная на вкусъ; не водилось въ ней ни рыбы, ни какой другой живности. Мнѣ разсказывали мѣстные жители, будто когда въ ясную и тихую погоду проѣзжаешь на лодкѣ по этому озеру, то на днѣ его можно видѣть цѣлый городъ съ домами по улицамъ и съ церквами на площадяхъ. Но въ 1875 г. своего фантастическаго озера я уже увидать не могъ: его, говорятъ, спустили въ близлежащее море, а вмѣстѣ съ тѣмъ пропало и таинственное чарованіе: подводный городъ исчезъ самъ собою, искупивъ, наконецъ, свои содомскіе грѣхи многовѣковою казнію, и теперь оголенное дно озера имѣетъ невзрачный видъ осушеннаго болота; только зіяющая близъ него Собачья пещера попрежнему изрыгаетъ изъ себя смертоносный газъ, въ который для потѣхи иностранцевъ мѣстный сторожъ бросаетъ собаку, и она тамъ, на глазахъ зрителей, минутъ черезъ пятнадцать околѣваетъ въ отвратительныхъ корчахъ. Потому и слыветъ та пещера Собачьею. Когда нюхнешь и глотнешь немножко этого газу, онъ шибнетъ въ носъ, какъ шампанское. Есть въ той мѣстности и настоящій кратеръ стихнувшаго вулкана, который до сихъ поръ пребываетъ въ нерѣшительномъ состояніи ожиданія и называется Сольфатарою. Ровное дно этого кратера, окруженное цѣпью холмовъ, хотя и заросло высокою травой и мелкимъ кустарникомъ, но зыблется и колеблется, когда тяжело ступаешь ногами, и издаетъ изъ-подъ себя гулъ, если бросить на него камень фунтовъ въ десять или въ двадцать. У подножья одного изъ сплошныхъ холмовъ, окружающихъ этотъ кратеръ, изъ-подъ огромныхъ камней пылаетъ огненными языками цѣлый костеръ какихъ-то горючихъ веществъ и поднимаетъ надъ собой темный столбъ зловоннаго дыма. Это незаглохшая продушина тѣхъ подземныхъ огненныхъ скоповъ, ко-

торые когда-то гибельными изверженіями пепла, кипучей лавы и камней побѣдоносно громили и хлестали въ облака изъ того самаго жерла, по зыбкой поверхности котораго я гулялъ по травѣ въ жидкомъ и низенькомъ кустарникѣ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ этою нерукотворенною диковиною помѣстилась безъ малаго за двѣ тысячи лѣтъ до нашего времени еще другая и такой же овальной формы, но уже дѣло рукъ человѣческихъ: это — античный амфитеатръ, безъ крупныхъ изъяновъ и поврежденій сохранившійся, съ ареною, загроможденною какими-то перегородками, и съ поднимающимися вокругъ нея уступами, на которыхъ когда-то разсаживались сотни, а можетъ быть и тысячи зрителей. Направляясь отъ Позилипо къ Байскому заливу кратчайшимъ путемъ по тропинкамъ между виноградниками и пустырями, я не могъ миновать Сольфатары и амфитеатра и, чтобы отдохнуть отъ скорой ходьбы, всякій разъ дѣлалъ себѣ привалъ и завтракалъ своими каштанами, то сидя на камешкѣ въ жерлѣ кратера, то взобравшись на одинъ изъ уступовъ амфитеатра. Это были для меня завѣтныя, укромныя мѣста, гдѣ въ полнѣйшемъ уединеніи я предавался своимъ романтическимъ грезамъ. Въ какомъ-то чарующемъ обаяніи, непонятномъ и немыслимомъ для людей второй половины истекающаго столѣтія, я мечталъ себя отрѣшеннымъ отъ окружающей меня дѣйствительности и раздвигалъ переживаемыя мною минуты въ необъятное пространство временъ прошедшихъ и будущихъ, которыя такъ осязательно и ярко давали мнѣ ощущать все то, что̀ видѣлъ я тогда передъ собой своими собственными глазами. Отдыхая на каменной скамьѣ амфитеатра, я представлялъ себя однимъ изъ зрителей Августова вѣка, которые забавляются потѣшными представленіями во вкусѣ своихъ кровожадныхъ инстинктовъ. И чудилось мнѣ, какъ близится грозное возмездіе за пролитые на этой аренѣ кровавые потоки неповинныхъ страдальцевъ, и очнется наконецъ отъ своего забытья сосѣдній вулканъ, встрепенется, забурчитъ и заклокочетъ въ своей подземной утробѣ, всколыхнетъ окрестные холмы и долины и разыграется потѣшными огнями, извергая изъ своей глотки сокрушительные снаряды пепла, лавы и громадныхъ камней. И, думалось мнѣ, не будетъ и слѣда ни отъ этого мѣста, гдѣ я сижу теперь на каменной скамьѣ, ни отъ всего того, что̀ я теперь вижу вокругъ себя: на мѣстѣ античнаго амфитеатра очутится равнина, покрытая вулканическимъ пепломъ; потомъ въ теченіе долгихъ лѣтъ на поверхности пепла нарастетъ слой земли, а на ней

раскинутся виноградники. По заведеннымъ испоконъ-вѣка порядкамъ и по измѣнчивымъ, коварнымъ обычаямъ той причудливой мѣстности и сама Сольфатара, натѣшившись вдоволь погромами и опустошеніями, наконецъ, угомонится навсегда: изъ ея огнедышащаго жерла хлынутъ потоки зловонной воды и превратятъ кратеръ въ такое же озеро, которое недавно было спущено въ море.

Холмы, между которыми гнѣздятся Сольфатара и амфитеатръ, были для меня переваломъ къ низменностямъ, тянущимся вдоль и вширь отъ береговъ Байскаго залива. Съ высотъ этого перевала разстилался передо мною сплошной пустырь въ видѣ громаднаго пожарища съ торчащими тамъ и сямъ развалинами тѣхъ великолѣпныхъ античныхъ зданій, въ которыхъ когда-то такъ привольно и весело жилось наѣзжавшимъ сюда римскимъ патриціямъ и богачамъ въ свои роскошныя виллы. Не знаю, какъ теперь, но въ мое время эти пустынныя мѣста, оголенныя на солнечномъ припекѣ, совсѣмъ заглохшія и невзрачныя, очень рѣдко посѣщались путешественниками. Почти всегда я блуждалъ по этимъ урочищамъ одинъ-одинехонекъ и только кое-когда встрѣчу прохожаго бѣдняка или наткнусь на сторожа у такой развалины, которая заслуживаетъ охраненія. Моя карта окрестностей Неаполя была мнѣ единственнымъ проводникомъ. Теперь и вся эта мѣстность, и эта карта съ помѣтами примѣчательностей представляются мнѣ старинными, ветхими хартіями, на которыхъ отъ давности и отъ разныхъ невзгодъ вылиняли и повытерлись всѣ строки, и только кое-гдѣ остались разрозненныя словечки, и то въ искаженномъ и жалкомъ видѣ. Такъ мерещатся теперь мнѣ всѣ эти развалины. Каждая изъ нихъ была для меня тогда знакомъ вопроса, и я старался, какъ умѣлъ, рѣшать себѣ эти вопросы, чтобы изъ малыхъ останковъ воссоздавать въ своемъ воображеніи полную картину античной жизни со всей обстановкою ея интересныхъ подробностей.

Вотъ какъ разъ внизу подо мною, когда я стою на одномъ изъ холмовъ амфитеатра, высунулся въ море маленькимъ мысомъ городокъ Поццуоли, сплошь загроможденный домами, которые тѣсно жмутся другъ къ другу, образуя сѣрую кучу на темно-синемъ фонѣ Байскаго залива, который направо огибается полукругомъ пустынныхъ береговъ. Направо же изъ-за этой кучи домовъ выскочило изъ-подъ морской глубины нѣсколько темныхъ торчковъ, въ одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга слѣдующихъ по прямой линіи отъ города къ той сторонѣ Байскаго

ва; всѣ они равной высоты, чуть-чуть поднимаются надъ немъ моря, которое при вѣтрѣ покрываетъ ихъ волнами. ій разъ, когда я направлялъ сюда свои похожденія, эти ыя пятна были для меня любопытной заставкою или фронти-омъ той древней полинялой хартіи, которую на разные лады ѣ дешифрировалъ; впрочемъ, они болѣе походили на много-, которымъ писатель обрываетъ недосказанную рѣчь, по- что торчки эти не что иное, какъ столпы или устои съ ми, воздвигнутые руками невольниковъ и рабовъ для гро-аго моста, который сумасбродно замыслилъ взбалмошный гула перекинуть отъ Поццуоли (Puteoli) черезъ Байскій за- на ту сторону: за смертью императора колоссальная за- ограничилась только этими темными пятнами на поверх-и моря.

Позавтракавъ своими печеными каштанами въ кратерѣ Соль-ры или на одной изъ ступеней амфитеатра, я спускался Поццуоли и отсюда снаряжалъ свои воскресныя экскурсіи азвалинамъ и урочищамъ, то по морю на лодкѣ вдоль бере-Байскаго залива, то сухопутно, — или пѣшкомъ, если имѣлъ ю ближайшія мѣстности, или же верхомъ на ослѣ, когда авлялся въ дальній путь. Въ послѣднемъ случаѣ погон-ъ былъ мнѣ и проводникомъ, и пріятнымъ собесѣдникомъ. Я а весь былъ погруженъ въ свои антикварные интересы, не понималъ и не искалъ живописныхъ красотъ итальян-природы, которую узналъ и полюбилъ уже потомъ, когда, учи на островѣ Искіи, какъ вы уже знаете, ежедневно при-я наблюдать со своего обсерваціоннаго поста разнообраз-прелести одного и того же солнечнаго заката. Потому голые ыри съ искаженными до нельзя останками классическихъ ностей вполнѣ удовлетворяли моимъ желаніямъ и стремле-ъ, и на этомъ безлюдномъ просторѣ я созидалъ себѣ воз-ные замки, возводя въ своемъ воображеніи смѣлыя рестав-ціи этихъ жалкихъ развалинъ: вотъ передо мною храмы сулеса и Діаны, вотъ термы, или бани, Нерона, вотъ виллы гензія и Цицерона, вотъ усыпальница Агриппины, а вотъ, онецъ, и само Мертвое море съ прилежащими къ нему Ели-скими полями. Тутъ, говорятъ, Виргиліевъ Эней спускался кромѣшный адъ повидаться со своимъ отцомъ Анхизомъ, и небольшое озеро, внушительно называемое моремъ, каза-мнѣ заводью, уцѣлѣвшею отъ той адской рѣки, по кото-старикъ Харонъ въ своей ладьѣ перевозилъ тѣни усопшихъ.

Оба эти урочища, соединяемыя съ памятью о Виргиліи, были крайними предѣлами моихъ воскресныхъ похожденій; но и направлялись они отъ такого знаменательнаго пункта, около котораго въ теченіе вѣковъ накоплялись и сосредоточивались баснословныя преданія и легенды объ этомъ же римскомъ поэтѣ. Я говорю о пресловутой могилѣ Виргилія, которую указываютъ со стороны Неаполя высоко надъ входомъ въ Позилипскій гротъ на одномъ изъ уступовъ горы...

Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, проведенныхъ нами въ Неаполѣ, я осматривалъ отдѣльныя подробности, извлеченныя изъ раскопокъ Геркулана и Помпеи, гдѣ каждая изъ нихъ когда-то занимала надлежащее ей мѣсто и своимъ назначеніемъ составляла характеристическую часть цѣлаго, а теперь всѣ онѣ стояли разрозненно по заламъ Бурбонскаго музея, будто убранная въ сарай роскошная мебель и всякая драгоцѣнная утварь изъ опустѣлыхъ палатъ, навсегда оставленныхъ ихъ хозяевами. Я долженъ былъ непремѣнно посѣтить эти палаты и чертоги, гулять по ихъ гостинымъ, кабинетамъ, опочивальнямъ и уборнымъ, по террасамъ и портикамъ, огораживающимъ со всѣхъ сторонъ внутренній дворъ, или атріумъ; мнѣ надобно было видѣть своими глазами тѣ самыя стѣны, изъ которыхъ вырѣзаны и перенесены въ Бурбонскій музей картины, видѣть тѣ ниши и другіе укромные уголки, изъ которыхъ убрана туда же разная мебель, тѣ пьедесталы, съ которыхъ сняты тѣ безподобныя статуи, которыми я любовался въ залахъ музея. Съ нетерпѣніемъ ждалъ я того времени, когда мои фантастическія грезы и воображаемыя реставраціи скудныхъ развалинъ, разсѣянныхъ по берегамъ Байскаго залива, предстанутъ передо мною въ дѣйствительности, олицетворенныя въ цѣльныхъ, изящныхъ формахъ античныхъ храмовъ, театровъ и другихъ общественныхъ и частныхъ зданій, расположенныхъ по улицамъ и площадямъ съ античною же мостовою. Но для выполненія моихъ намѣреній и плановъ не хватало тѣхъ свободныхъ часовъ, которыми я могъ располагать по воскресеньямъ; мнѣ нужны были цѣлые дни и недѣли, и я назначилъ себѣ для осмотра и изученія Помпеи и Геркулана рождественскія святки и святую недѣлю. Теперь по желѣзной дорогѣ отъ Неаполя до Помпеи минутъ двадцать или тридцать, а въ мое время, да еще пѣшкомъ, на этотъ путь надобно было употребить почти цѣлый день, если итти льготно и безъ устали. Я тогда былъ бережливъ и тратилъ деньги только на самое необходимое; потому въ оба раза туда

назадъ предпочелъ пѣшеходную прогулку тряскѣ въ неапо-итанской одноколкѣ.

Теперь въ Помпеѣ у самаго входа въ нее есть гостиница, ь которой можно и утолить голодъ и переночевать; въ то ремя ничего такого не было и приходилось искать пристанища дѣ-нибудь въ окрестности. Самымъ близкимъ было мѣстечко orre dell'Annunziata, стоящее у моря въ нѣсколькихъ мину-ахъ ходьбы отъ Помпеи. Именно тутъ я и нанималъ себѣ на ятки и на святую недѣлю комнатку, съ утреннимъ кофеемъ, обѣ-омъ и ужиномъ, въ семействѣ одного мастерового, по реко-ендаціи нашего камердинера Феличе, очень милаго молодого ловѣка, который питалъ ко мнѣ особенное уваженіе за то, о я познакомилъ его съ Декамерономъ Боккачіо, давъ ему ія прочтенія свой экземпляръ этой книги.

Рано утромъ, напившись кофей съ козьимъ молокомъ, я от-равлялся въ Помпею, въ полдень возвращался на квартиру по-бѣдать и тотчасъ же уходилъ туда же, гдѣ и оставался до су-ерекъ, а каждый вечеръ проводилъ въ составленіи записокъ бо всемъ, что̀ въ тотъ день осматривалъ и изучалъ.

Мечтательное расположеніе духа такъ называемыхъ людей роковыхъ годовъ не могло довольствоваться только ученою работкою фактовъ далекой старины; они любили возсоздавать всю сполна въ своемъ воображеніи и вновь переживать от-ившее, какъ Вальтеръ Скоттъ въ своихъ историческихъ рома-ахъ, какъ Викторъ Гюго въ „Notre-Dame de Paris“ или какъ шъ Пушкинъ въ „Борисѣ Годуновѣ“; такимъ же мечтатель-мъ переживаніемъ профессоръ московскаго университета рановскій увлекалъ своихъ слушателей на лекціяхъ всеобщей торіи. Имѣя все это въ виду, вы легко можете себѣ пред-авить, какое широкое раздолье нашелъ я для своихъ опытовъ нтастическаго переселенія изъ міра современной дѣйствитель-сти въ далекія области заманчиваго прошедшаго, когда очу-лся я въ безлюдныхъ улицахъ и на опустѣлыхъ площадяхъ внымъ-давно отжившаго свой вѣкъ города, будто сказочный царь въ заколдованномъ замкѣ. Разгуливая по опустѣлымъ коямъ домовъ, по дворамъ, окруженнымъ открытыми галереями и портиками, я населялъ ихъ взамѣнъ живыхъ людей изящ-ми фигурами античнаго искусства, богатый запасъ которыхъ вынесъ въ своемъ воображеніи изъ коллекцій Бурбонскаго зея, и это тѣмъ легче мнѣ удавалось, что соотвѣтственныя мъ фигурамъ представленія изъ классической миѳологіи рим-

ской жизни я встрѣчалъ на каждомъ шагу въ стѣнной живописи, которою въ великомъ изобиліи изукрашены всѣ зданія Помпеи, всѣ частныя, или домашнія, и общественныя помѣщенія, начиная отъ кухни, мелочной лавочки, мастерской рабочаго и до городскихъ бань, или термовъ. Изображенные на стѣнахъ сюжеты большею частью согласуются съ спеціальнымъ назначеніемъ и характеромъ каждой изъ этихъ мѣстностей.

Проводя въ Помпеѣ цѣлые дни рождественскихъ праздниковъ и святой недѣли, я имѣлъ въ виду не однѣ ученыя цѣли въ изслѣдованіи разнообразныхъ подробностей античнаго быта въ связи съ искусствомъ; я не довольствовался тѣмъ, что обогащалъ свой умъ полезными и необходимыми свѣдѣніями; да и вовсе и не хотѣлъ, даже не могъ насиловать себя напряженнымъ вниманіемъ въ теченіе цѣлаго дня, чтобы все учиться и учиться, да еще въ полнѣйшемъ уединеніи, не встрѣчая живой души, кромѣ сторожей, которые, будучи заняты своимъ дѣломъ, предоставляли меня самому себѣ. Не одна только наука была у меня въ головѣ, но и другія задачи, столь же важныя и обязательныя, какъ и знаніе, а ихъ рѣшеніе было для меня не трудомъ, а освѣжительнымъ отдохновеніемъ и причудливою забавою. Мнѣ хотѣлось до нельзя свыкнуться со всею окружающею меня обстановкою, вполнѣ перенестись въ нее, сжиться съ нею, и, беззаботно прогуливаясь безъ всякой намѣченной цѣли въ стѣнахъ античнаго города или присаживаясь отдохнуть то на ступенькѣ лѣстницы, ведущей въ храмъ, то на скамьѣ театра, я воображалъ и чувствовалъ себя какъ дома. Такимъ безотчетнымъ „ничегонедѣланьемъ“ (far niente) я думалъ воспитывать въ себѣ классическое настроеніе духа; мнѣ хотѣлось, чтобы оно обуяло и проняло меня насквозь. Мечтательная романтичность современниковъ Рудина чаяла въ себѣ паитія свыше и восторгалась многимъ, что̀ теперь кажется смѣшнымъ.

Разумѣется, и тогда были люди, которые иначе смотрѣли на вещи и, по нынѣшнему, знали настоящую цѣну и увлеченіямъ идсальнаго настроенія умовъ, и строгимъ принципамъ положительной, насущной дѣйствительности. Къ такимъ людямъ принадлежалъ графъ Сергій Григорьевичъ. Я уже говорилъ вамъ, какъ онъ преслѣдовалъ меня за мое глупое педантство въ непростительномъ равнодушіи къ красотамъ итальянской природы. Теперь въ Неаполѣ я давалъ ему новые поводы издѣваться и подсмѣиваться надо мною. Для него было и странно, и забавно мое полнѣйшее невниманіе къ текущимъ событіямъ дня, къ

разнообразнымъ интересамъ современности, и мое упорное укрывательство въ далекія области прошедшаго отъ живыхъ людей съ ихъ нравами и обычаями, съ ихъ заботами и нуждами, съ ихъ увеселеніями и забавами, и особенно въ такомъ бойкомъ, крикливомъ и толкучемъ городѣ, какъ Неаполь, гдѣ живется по домашнему на улицахъ и площадяхъ.

Чтобы ознакомить меня съ современной дѣйствительностью и съ политическимъ устройствомъ Италіи, гдѣ теперь мы живемъ, графъ совѣтовалъ мнѣ читать газеты; но когда я сказалъ ему, что сроду никогда ихъ не читывалъ и не умѣю, какъ взяться за нихъ, тогда онъ принялъ надлежащія мѣры для посвященія меня въ таинства дипломатіи и политики. Это дѣло поручилъ онъ своему старшему сыну Александру Сергѣевичу, какъ я уже говорилъ вамъ, моему товарищу по московскому университету, благо былъ онъ кандидатомъ юридическаго факультета. Я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о современномъ состояніи европейскихъ государствъ, ни даже о формѣ ихъ правленія. Моему учителю надобно было сначала познакомить меня со всѣмъ этимъ, а также и съ именами тогда царствовавшихъ особъ иностранныхъ державъ. Исходя отъ времени вѣнскаго конгресса 1815 года, онъ объяснилъ мнѣ на географической картѣ переустройство западныхъ державъ, предоставивъ первенствующее между ними мѣсто Австріи съ ея тогдашнею хитроумною политикою. Но, несмотря на всѣ старанія моего учителя и на его ловкое умѣнье излагать ясно и занимательно, эта мудреная наука мнѣ не давалась, и я, путаясь во множествѣ подробностей, нисколько для меня не интересныхъ, усвоилъ себѣ только ихъ общій смыслъ. По крайней мѣрѣ мнѣ стало теперь вполнѣ очевидно унизительное положеніе бѣдной Италіи, которую поработили себѣ Габсбурги и Бурбоны, раскромсавъ ее на мелкія части, и чѣмъ больше я сердился на этихъ эксплуататоровъ, тѣмъ живѣе сочувствовалъ бѣдственному положенію народа, изнывавшаго подъ игомъ чужеземнаго захвата, тѣмъ гнуснѣе становились мнѣ тѣ изъ вельможныхъ фамилій итальянскихъ, нѣкогда прославленныхъ доблестями патріотизма, которыя тогда изъ личныхъ выгодъ и ради почестей при дворахъ владѣтельныхъ особъ усердно помогали имъ нажимать и затягивать это иго къ пущей ненависти и озлобленію народа.

Для сформированія моихъ способностей къ пониманію тонкостей политики и для возбужденія во мнѣ охоты къ чтенію газетъ уроки Александра Сергѣевича не пошли мнѣ въ прокъ.

Когда черезъ нѣсколько дней графъ Сергій Григорьевичъ далъ мнѣ нумеръ любимой имъ аугсбургской газеты „Allgemeine Zeitung“, я, просмотрѣвъ ее, выразилъ ему мое сожалѣніе, что рѣшительно ничего въ ней я не понялъ, и мы порѣшили на томъ, что по крайней мѣрѣ буду читать только прибавленія къ этой газетѣ (Beilage) и именно тѣ статьи, которыя онъ отмѣтитъ мнѣ карандашомъ. Чтеніе ихъ пришлось мнѣ по вкусу, потому что онѣ предлагали обстоятельныя свѣдѣнія о болѣе крупныхъ новостяхъ по литературѣ, искусствамъ и по такимъ научнымъ спеціальностямъ, которыя меня интересовали. Сверхъ того, по указанію графа, сталъ я читать „Исторію Италіи“ Ботты, который пользовался тогда авторитетностью образцоваго писателя, какъ нашъ Карамзинъ въ его „Исторіи Государства Россійскаго“.

Въ заключеніе моихъ воспоминаній о житьѣ-бытьѣ въ Неаполѣ мнѣ хотѣлось бы показать вамъ самого себя лицомъ къ лицу, хотя бы вскользь и въ профиль, каковъ я тогда былъ, какъ понималъ и чувствовалъ и какими глазами смотрѣлъ на вещи. Для этого привожу свое письмо изъ Неаполя къ барону Михаилу Львовичу Боде[1]), отъ 13-го апрѣля 1840 г., сохранившееся между другими, какъ вы уже знаете, въ его Колычевскомъ архивѣ.

„Пусть мои письма изъ Италіи напомнятъ вамъ мои съ вами московскіе уроки, о которыхъ я вспоминаю съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ теперь пишу къ вамъ. Проводя жизнь спокойную и наблюдательную, я изучилъ Неаполь лучше, нежели сколько я знаю Москву. Впрочемъ, Неаполь знаменитъ не самъ собою, несмотря на то, что онъ самый многолюдный городъ во всей Италіи, а своими окрестностями съ огнедышащими горами и изумительными остатками древности, знаменитъ природою, можетъ быть лучшею во всей Италіи, слѣдовательно, и во всей Европѣ. Городъ же съ своими обитателями, начиная отъ короля неаполитанскаго и до послѣдняго рыбака, врядъ ли бы заслуживалъ вниманія путешественниковъ, и я увѣренъ, что столько же, а можетъ быть еще болѣе, посѣщали бы они этотъ берегъ Средиземнаго моря, если бы необъятная груда неаполитанскихъ домовъ съ своими жителями — отъ землетрясенія и взрыва своего угрюмаго сосѣда Везувія — провалилась подъ землю. Города, столь грязнаго, не видывалъ я никогда; но

[1]) Впослѣдствіи онъ принялъ двойную фамилію: Бодо-Колычевъ.

зенькимъ улицамъ нужно ходить всегда подъ зонтомъ: иначе зъ оконъ обольютъ васъ всякою дрянью, забросаютъ соромъ, аскроятъ лобъ каменьемъ. По главной улицѣ, называемой Тоедо, всегда таскается множество мошенниковъ и воровъ, которые не пропустятъ ни одного неосторожнаго путешественника, гобы не украсть у него чего-нибудь изъ кармана; въ толпѣ ырываютъ даже изъ рукъ зонты и палки. Вездѣ по улицамъ аляются больные нищіе и калѣки съ ужасными болѣзнями; о одинъ разъ я самъ видалъ на мостовой умирающихъ и даже ертвыхъ бѣдняковъ. Нищіе не даютъ прохода, цѣпляясь за атье проходящихъ, и просятъ хлѣба. Прибавьте къ этому ще особый низшій классъ людей въ Неаполѣ, такъ называеыхъ лазарони, по имени евангельскаго Лазаря, прозванныхъ ъ то, что они, подобно ему, наги и нищи. И дѣйствительно, а дняхъ какъ-то, катаясь на лодкѣ по морю, я видѣлъ одного азарони, страшнаго старика, до черна загорѣлаго отъ палящаго солнца и костляваго, полуобнаженнаго. Онъ одинъ стоялъ ъ лодкѣ съ длиннымъ весломъ, и я, право, почелъ бы его за ческаго Харона-перевозчика, если бы увидѣлъ его во снѣ. аждый лазарони есть вмѣстѣ и нищій: онъ живетъ подаяніемъ риста-ради и пробавляется поденной работою. Къ сожалѣнію, ищенство распространилось здѣсь до того, что почти всякій остолюдинъ готовъ у иностранца просить милостыню, будучи іученъ къ этому съ малолѣтства. Всему этому виною не олько врожденная лѣность народа, сколько себялюбивое управленіе его короля, слѣдуя которому, и вельможи здѣшніе столько же емилостивы и равнодушны къ бѣдствующему человѣчеству, какъ онъ самъ“.

XVI.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля 1840 г. мы оставили Неаоль, чтобы переселиться на островъ Искію. Но сначала графъ) своимъ семействомъ отправился черезъ живописную долину авы — до Салерно, чтобы осмотрѣть знаменитый пестумскій рамъ, а меня отпустилъ на двѣ недѣли въ Римъ, чтобы я, отя и наскоро, могъ ознакомиться съ его знаменитыми приѣчательностями, которыя промелькнули передо мною вскользь, акъ фантастическое сновидѣніе, когда мы останавливались въ змъ на короткое время, поспѣшая отдохнуть и успокоиться ъ Неаполѣ отъ продолжительнаго странствованія. Эта поѣздка

камъ въ тѣни, а передо мною подъ синимъ небомъ далеко внизу покоилось и нѣжилось такое же синее море въ сіяніи солнечныхъ лучей; направо, будто свѣтлыя опаловыя облака на окраинѣ горизонта, тянулись въ непроглядную даль гористые берега Италіи. Было прохладно въ моемъ тѣнистомъ пріютѣ. По дорожкамъ было скользко, будто кто нарочно поливалъ ихъ; съ широкихъ листьевъ виноградныхъ лозъ падали на меня крупныя капли свѣжей воды. Сначала я думалъ, что по заведенному на Искіи порядку каждую ночь передъ разсвѣтомъ бываютъ дожди, но потомъ догадался, что то были неизсякаемо обильныя росы, которыми здѣсь въ теченіе всего лѣта поддерживается весенняя свѣжесть травы, цвѣтовъ и древесной листвы.

Къ восьми часамъ я возвращался изъ виноградника и, напившись кофею, отъ девяти до двѣнадцати, какъ и въ Неаполѣ, давалъ уроки своимъ ученикамъ и ученицамъ. Передъ обѣдомъ Елизавета Сергѣевна и Павелъ Сергѣевичъ отправлялись въ Казамиччолу брать минеральныя ванны, а я освобождался отъ своихъ учительскихъ обязанностей на цѣлую половину дня до самой ночи. Въ полдень я всегда уходилъ изъ своей комнаты съ книгою въ садъ, расположенный между виллою и крутымъ спускомъ того виноградника. Здѣсь оставался я до самаго обѣда, усѣвшись на скамейкѣ подъ тѣнью густой листвы развѣсистаго орѣховаго дерева, и читалъ свою книгу въ освѣжительной прохладѣ легкаго вѣтерка, который ежедневно объ эту пору начиналъ повѣвать и стихалъ къ двумъ часамъ, когда я возвращался къ обѣду. Затѣмъ часовъ до пяти наступала нестерпимая, удушливая жара: наружу палитъ, какъ изъ печки; въ комнатахъ духота, какъ въ банѣ. На это время я оставался въ своей комнатѣ и наглухо затворялъ выходившую на террасу дверь, изъ которой пышало, какъ изъ отдушника. Какъ ни легка была одежда, которую мы, всѣ мужчины, носили въ Искіи, она въ эту пору дня была мнѣ невтерпёжъ. Она состояла изъ бѣлыхъ полотняныхъ панталонъ и голубой холстинковой блузы, безъ помочей и жилетки, потому что то и другое было бы въ тягость; на ногахъ башмаки, на головѣ соломенная шляпа съ широкими полями — и изъ соломы не изъ сплющенной, а изъ цѣльной, одутлой, потому что такая легче, провѣтрительнѣе отъ скважинъ между соломинками и устойчивѣе противъ жгучихъ лучей южнаго солнца. Вентиляція изъ окна въ окно не помогала; ни сидѣть нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, ни прилечь на диванѣ не было никакой возможности: удушающая истома одолѣвала. Чтобы

хоть немножко освѣжать свою комнату, я время отъ времени поливалъ ея каменный полъ водою изъ рукомойника, но и это ни къ чему не вело, потому что полъ тотчасъ же высыхалъ, какъ въ банѣ каменка, въ которую поддаютъ пару.

Гораздо удачнѣе предохраняло меня отъ жары одно средство, которое оказалось самымъ дѣйствительнымъ. Я нашелъ его въ чтеніи, и именно въ такомъ, которое не требовало напряженныхъ усилій ума, и было настолько интересно, что отвлекало мое вниманіе отъ окружающей меня душной атмосферы, уносило изъ нея воспоминаніями въ радостное прошедшее и затѣйливыми мечтами манило въ будущее. Такимъ чтеніемъ была для меня исторія живописи Куглера. Въ ней я просматривалъ и съ мелочной отчетливостью воспроизводилъ въ своемъ воображеніи описанія тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя видѣлъ въ Дрезденѣ, Нюренбергѣ, Мюнхенѣ, Веронѣ, Мантуѣ, Болоньѣ, Венеціи, Флоренціи, Римѣ, Неаполѣ, и тѣ, съ которыми могу ознакомиться на возвратномъ пути какъ въ этихъ же городахъ, такъ и въ разныхъ другихъ. Гдѣ-то читалъ я, что Кантъ излѣчивалъ себя отъ кашля и зубной боли усиленнымъ углубленіемъ въ философскія думы. Я воспользовался его рецептомъ для освѣженія себя въ несносной духотѣ.

Около пяти часовъ, когда начинала спадать жара, я выходилъ наружу и отправлялся гулять. Любимымъ мѣстомъ этихъ прогулокъ былъ густой лѣсъ, который разросся съ нашей стороны по всему подножію оголенной вершины Эпомея, и вползалъ на его нижніе крутые спуски. Издали этотъ лѣсъ казался мелкимъ кустарникомъ, а когда войдешь въ него, очутишься подъ высокими старыми деревьями, которыя сплетаются другъ съ другомъ своими развѣсистыми вѣтвями; плющъ и другія ползучія растенія въ великомъ изобиліи густо и плотно одѣвали толстые стволы и сучья и своими тонкими и длинными побѣгами въ видѣ гирляндъ падали книзу. Пробираться въ такой чащѣ было затруднительно и особенно тамъ, гдѣ лѣсъ взбирался на крутизны. Я направлялъ сюда свои прогулки всегда съ однимъ и тѣмъ же намѣреніемъ, чтобы преодолѣть препятствія и добраться до тѣхъ мѣстъ, гдѣ у самаго подножія склистаго конуса прекращается всякая растительность. Блуждая по окраинамъ лѣса, я замѣчалъ тамъ и сямъ выемки прогалинъ, которыми открывался путь къ расщелинамъ. Судя по валунамъ и булыгамъ, застилавшимъ ихъ русло, я догадывался, что въ зимнюю пору отъ проливныхъ дождей тутъ мчатся съ высотъ

бурные потоки. Именно здѣсь-то и нашелъ я желанное приволье для своихъ прогулокъ, а вмѣстѣ и прямой путь къ тѣмъ заповѣднымъ мѣстамъ, которыя меня такъ манили къ себѣ. Чѣмъ дальше отъ равнины поднимался я по ущелью, тѣмъ больше оно съуживалось и тѣмъ выше становились его берега, съ которыхъ свѣшивались вѣтви кустарника съ густо перепутанными плетями ползучихъ растеній; затѣмъ мой путь преграждали крутые обрывы, на которые надобно было вскарабкиваться и, наконецъ, я изнемогалъ въ борьбѣ съ препятствіями и возвращался вспять. Впрочемъ я любилъ тогда блуждать по трущобамъ и взлѣзать на утесистыя высоты, преодолѣвая всякія затрудненія, и если послѣ отказался отъ достиженія своей цѣли, то совсѣмъ по другой причинѣ. На Искіи, куда ни пойдешь, вездѣ встрѣтишь змѣю, а то и двѣ-три, одну за другой, особенно во время палящей жары, когда онѣ выползаютъ, какъ я думалъ, погрѣться на низенькихъ каменныхъ стѣнкахъ, которыми отгораживаются дороги отъ полей и виноградниковъ. Потому я привыкъ проходить мимо змѣи безъ всякаго опасенія, только бы не наступить ей на хвостъ. Разумѣется, и въ ущельяхъ Эпомея мнѣ попадались змѣи, которыя мелькали всегда только по обѣимъ сторонамъ каменистыхъ спусковъ, а не по руслу, гдѣ лежалъ мой путь, и большею частью являлись поодиночкѣ. Отъ нечего-дѣлать я иногда велъ счетъ, сколько ихъ встрѣчу. Разъ случилось мнѣ зайти въ такое ущелье, гдѣ не болѣе какъ въ минуту насчитывалъ до десятка змѣй, и чѣмъ дальше шелъ, тѣмъ все больше и больше умножалось число ихъ, такъ что, наконецъ, кругомъ меня по обоимъ спускамъ закишѣли змѣиныя головы съ извивающимися хвостами; мнѣ чудилось, что вижу ихъ и на булыжникѣ, по которому я пробирался. Впрочемъ у страха глаза велики, и я въ переполохѣ бросился назадъ. Съ тѣхъ я поръ пересталъ далеко забираться въ трущобы и дебри эпомейскаго лѣса. Я былъ храбръ и отваженъ въ замышленіи смѣлыхъ предпріятій, но, какъ видите, робѣлъ и трусилъ, когда приходилось ихъ приводить въ исполненіе.

Предъ закатомъ солнца я возвращался въ нашу виллу и съ книгою въ рукахъ усаживался на гребнѣ утеса любоваться красотами природы и постигать безконечное разнообразіе ихъ прелестей, какъ я уже имѣлъ случай говорить вамъ объ этомъ. Въ 1883 г. профессоръ флорентійскаго института (Instituto di Studi Superiori) и редакторъ „Европейскаго Обозрѣнія“ (Rivista Europea) Анджело де-Губернатисъ предпринялъ издать „Между-

народный Альбомъ", составленный изъ снимковъ съ автографовъ писателей и ученыхъ, въ пользу неимущихъ семействъ Казамиччолы, пострадавшихъ отъ землетрясенія. Онъ обратился и ко мнѣ съ просьбою быть вкладчикомъ этого изданія. Вотъ вамъ текстъ моего автографа: „На всю мою жизнь Искія оставила по себѣ самыя дорогія и свѣтлыя воспоминанія, потому что, будучи юношею, я провелъ лѣто 1840 года въ Панеллѣ при подошвѣ Эпомея, и тамъ въ первый разъ узналъ я, что такое красоты природы, — и съ тѣхъ поръ полюбилъ ихъ".

Въ праздничные дни я замышлялъ дальнія прогулки и, напившись кофею, выходилъ изъ дому до самаго обѣда, всегда съ книгою въ рукахъ. Особенно памятны мнѣ прогулки на морскомъ прибрежьѣ около мѣстечка Форіо по скаламъ и песчанымъ откосамъ. Чтобы отдохнуть въ холодкѣ, я усаживался на одинъ большущій камень, подмываемый морскими волнами, въ тѣни крутого утеса. Хорошо мнѣ было тутъ читать свою книгу и время отъ времени поглядывать на тянущіеся вправо отъ Искіи въ необозримую даль гористые берега Италіи, какъ они млѣютъ и таютъ въ прозрачномъ пару жгучихъ лучей поднимающагося къ полудню солнца, которое еще скрывается отъ меня за высокимъ утесомъ. Иной разъ повѣетъ освѣжительный вѣтерокъ и хлеснетъ о мой камень волною, которая обдастъ меня солеными брызгами.

Въ мѣста отдаленныя я отправлялся верхомъ на ослѣ въ сообществѣ съ его погонщикомъ. Разскажу вамъ объ одномъ изъ этихъ похожденій, которое особенно ярко выступаетъ въ моихъ воспоминаніяхъ. Налѣво отъ Панеллы, къ юго-западу, есть мысъ, образуемый громадными скалами, которыя отвѣсно спускаются далеко внизъ къ самому морю. Отъ этого высокаго, утесистаго берега отскочила одна скала, но такъ что соединяется съ нимъ, будто мостками черезъ рѣку, каменистой полосою въ длину по глазомѣру около десяти саженъ, а въ ширину, на самой ея срединѣ, не больше какъ въ два аршина. На этой скалѣ въ уровень съ берегомъ небольшая площадка, покрытая травою и изрѣдка мелкимъ кустарникомъ. Попасть туда по узенькой полоскѣ считается на Искіи головокружительнымъ подвигомъ. Есть преданіе, что какой-то императоръ переѣхалъ съ берега на скалу верхомъ на конѣ; потому и называютъ ее островитяне Punta d'Imperatore, т.-е. Императорскій мысъ. И мнѣ захотѣлось испробовать свою храбрость, только не верхомъ, а пѣшеходнымъ путемъ. Я слѣзъ съ своего осла и благополучно

перебрался съ берега на площадку, нѣсколько минутъ погулялъ по ней, сорвалъ цвѣточка два-три себѣ на память и посидѣлъ на камешкѣ, обратившись лицомъ на югъ къ Африкѣ, чтобы любоваться безпредѣльностью необъятнаго моря, которое тамъ далеко внизу подмывало эту скалу. Но надобно было воротиться назадъ. При одной мысли объ этомъ я почувствовалъ какую-то томительную тревогу, а когда подходилъ къ соединительной полосѣ, которая показалась мнѣ теперь и вдвое длиннѣе и гораздо у́же, все больше и больше одолѣвала меня робость и, наконецъ, обуялъ страхъ и ужасъ: а ну, какъ у меня закружится голова и подкосятся колѣнки? Ну, какъ спотыкнусь о камень? А то вдругъ, откуда ни возьмись, пронесется вѣтеръ и пошатнетъ меня, или невзначай заверещитъ оселъ благимъ матомъ и испугаетъ. Позвать на помощь погонщика — опять бѣда: двоимъ итти рядомъ тѣсно, ему итти впереди или назади меня — какая польза? Держать меня своими руками крѣпко, какъ слѣдуетъ, онъ не могъ бы, и мы оба стремглавъ полетѣли бы въ бездну. Вся эта сумятица страховъ и треволненій, которую теперь анализирую вамъ въ подробностяхъ, мгновеннымъ вихремъ промчалась тогда въ моей головѣ, и такъ же мгновенно инстинктивное чувство самосохраненія осѣнило меня твердою рѣшимостью преодолѣть нахлынувшій на меня кошмаръ, который грозилъ мнѣ неминуемой опасностью. Хотя ноги у меня дрожали и трепетъ пробѣгалъ по всему тѣлу, но я смѣло вошелъ въ страшившую меня полосу и медленно ступалъ по самой ея срединѣ до тѣхъ поръ, пока съ обѣихъ сторонъ было настолько просторно, что, въ случаѣ паденія направо или налѣво, я не могъ бы скатиться внизъ; когда же доплелся я до узкой средины, тянущейся около трехъ саженъ, я въ охраненіе себя отъ гибельныхъ случайностей просто-напросто прилегъ и растянулся ничкомъ по каменистой тропинкѣ, и не спѣша и съ передышкою благополучно перемѣстился на ту сторону. Погонщикъ много смѣялся моей выдумкѣ и говорилъ, что и другимъ робкимъ искателямъ приключеній будетъ совѣтовать, чтобы слѣдовали моему примѣру.

Въ теченіе двухмѣсячнаго пребыванія нашего на Искіи, я чувствовалъ себя въ полнѣйшемъ уединеніи на широкомъ раздольѣ, блуждая по крутизнамъ и по отлогостямъ прибрежья. Рѣдко кого встрѣчу изъ мѣстныхъ обывателей въ деревенскихъ костюмахъ, но ни разу не случилось мнѣ въ эти два мѣсяца видѣть ни одного иностранца или вообще кого-нибудь, кто бы,

какъ я, прогуливался для препровожденія времени, а не шелъ по нуждѣ. Искія была тогда пустырь-пустыремъ, и могло ли притти мнѣ въ голову, что убогая и неопрятная Казамиччола преобразится когда-нибудь въ одно изъ самыхъ изящныхъ санитарныхъ убѣжищъ, съ великолѣпными отелями вмѣсто прежнихъ казармъ, съ роскошными и вполнѣ удобными курзалами вмѣсто прежнихъ торговыхъ бань, съ прохладными мраморными галереями, даже съ театромъ, въ который будутъ собираться сотни великосвѣтскихъ зрителей со всѣхъ концовъ міра? Не знаю, что̀ сталось съ Казамиччолой теперь, послѣ опустошительнаго разгрома, который сокрушилъ ее до тла въ пагубномъ землетрясеніи 1883 г.

Уединеніе, тишина и безмолвіе въ скитаніяхъ по горамъ и долинамъ Искіи не докучали мнѣ; напротивъ, я ощущалъ въ себѣ какое-то оживительное успокоеніе, которое теперь благотворно сосредоточивало меня послѣ нестерпимой сутолоки, грохотни и гама, которые оглушительно одолѣвали меня на улицахъ и площадяхъ многолюднаго Неаполя. Въ моемъ пустыножительствѣ я не чувствовалъ себя одинокимъ: при мнѣ всегда былъ неизмѣннымъ спутникомъ самъ Дантъ со своей Божественной Комедіей.

Еще въ Неаполѣ я началъ читать эту премудрую поэму, и съ тѣхъ поръ, на многіе года, стала она самою любимою, настольною моею книгою. Въ Неаполѣ я прочелъ Адъ, теперь на Искіи вмѣстѣ съ Дантомъ восходилъ по уступамъ великой горы Чистилища къ ея вершинѣ съ „Земнымъ Раемъ“, который иной разъ, въ счастливыя минуты залетныхъ мечтаній, грезился мнѣ на маковкѣ Эпомея.

Точкою отправленія моихъ ученыхъ занятій въ Панеллѣ и центромъ, къ которому они сводились, былъ Дантъ и его Божественная Комедія; вмѣстѣ съ тѣмъ я слагалъ въ общую сумму отдѣльныя подробности, касающіяся этихъ предметовъ, изъ всего того, что̀ случалось мнѣ встрѣчать по городамъ Италіи, въ которыхъ мы останавливались проѣздомъ. Въ Веронѣ проживалъ Дантъ, изгнанный изъ Флоренціи, у своего покровителя Кана Гранде; въ Падуѣ я внимательно разсматривалъ въ капеллѣ Скровеньи (nell'Arena) знаменитыя фрески Дантова современника и друга — живописца Джіотто, по сюжету соотвѣтствующія разнымъ подробностямъ Божественной Комедіи въ изображеніи Страшнаго Суда и символическихъ фигуръ, означающихъ добродѣтели и пороки. Во Флоренціи я посѣтилъ баптистерій, въ которомъ былъ крещенъ Дантъ, а также и домъ, гдѣ онъ жилъ

сосѣдствѣ съ Беатрисою, которую прославилъ на вѣки въ ихахъ и прозѣ; разумѣется, не преминулъ я присѣсть и на мъ камнѣ, на которомъ сиживалъ великій поэтъ и всегда лювался на прекрасный соборъ Maria del' Fiore, съ граціозной локольней, которую построилъ и украсилъ барельефами тотъ же о товарищъ и другъ Джіотто. Видѣніями загробной жизни, таинственномъ обаяніи мистическихъ символовъ, внушенными жественною Комедіею, вѣяло на меня отовсюду со стѣнъ, списанныхъ учениками и послѣдователями Джіотто, въ флонтійской церкви Maria Novella и въ прилежащемъ къ ней миниканскомъ монастырѣ. Это есть та самая церковь, въ корой во время страшной чумы, постигшей Италію въ XIV стотіи, собрались веселые собесѣдники Боккачіева Декамерона, валеры и дамы, и условились удалиться вмѣстѣ изъ зараженго города въ уединенную виллу. Микель-Анджело особенно люлъ эту церковь и называлъ ее своею невѣстою. Въ Болоньѣ долгу стоялъ я не разъ подъ наклоненными другъ къ дружкѣ шнями, называемыми Азинеллою и Гаризендою, подъ тѣми мыми, изъ которыхъ съ одною Дантъ сравниваетъ колоссальго великана, когда онъ въ аду сталъ нагибаться къ поэту, обы поднять его вверхъ.

Дантъ и Джіотто открыли мнѣ путь къ изученію ранняго ивнаго стиля итальянскихъ мастеровъ XIV и XV столѣтій. о и было главнымъ предметомъ моихъ спеціальныхъ занятій островѣ Искіи. Лучшимъ и единственнымъ руководствомъ ужила мнѣ уже извѣстная вамъ книга Куглера, не разъ упомиемая въ моихъ воспоминаніяхъ. Этотъ ученый, сколько мнѣ вѣстно, въ своей исторіи живописи, первый отнесся къ наджащимъ вниманіемъ и живѣйшимъ интересомъ съ раннимъ альянскимъ мастерамъ, предшествовавшимъ цвѣтущей эпохѣ онарда да-Винчи, Микель-Анджело и Рафаэля. Сверхъ того, афъ Сергій Григорьевичъ указалъ и далъ мнѣ двѣ старинія иллюстрированныя монографіи, которыя какъ нельзя больше твѣтствовали моимъ желаніямъ и цѣлямъ. Это были подробія описанія, во-первыхъ, монастырской церкви св. Франциска Ассизи и, во-вторыхъ, собора въ Орвіэто. Въ первой книгѣ хорошо ознакомился съ тріумфами Цѣломудрія, Смиренія и ищеты, которыя по сводамъ церкви надъ гробницею св. Франіска Ассизскаго изобразилъ Джіотто, согласно Дантовымъ стимъ объ этомъ святомъ Божественной Комедіи, а въ другой — фресками, которыми Лука Синьёрели, живописецъ XV в.,

расписалъ одну изъ капеллъ орвіэтскаго собора, заимствуя мелкіе сюжеты изъ разныхъ эпизодовъ Дантовой поэмы, а въ крупныхъ размѣрахъ представивъ воскресеніе изъ мертвыхъ, на страшномъ судѣ, съ такимъ религіознымъ воодушевленіемъ и съ такимъ простосердечнымъ сочувствіемъ къ радостямъ и страданіямъ человѣка, къ его восторгамъ и къ отупѣлому отчаянію, что въ искренности и въ глубинѣ наивнаго чувства превзошелъ самого Микель-Анджело въ его знаменитомъ Страшномъ Судѣ, на задней стѣнѣ Сикстинской капеллы.

Этимъ оканчиваю свои воспоминанія о пребываніи на Искіи. Мы должны были переселиться на соррентскіе берега, но уже безъ графа Сергія Григорьевича, который оставлялъ насъ за границею на весь слѣдующій годъ, уѣзжая съ Искіи въ Москву. Передъ его отъѣздомъ было рѣшено, что будущую зиму мы проведемъ въ Римѣ. То-то была для меня великая радость.

XVII.

Въ началѣ августа 1840 г. переселились мы съ острова Искіи на соррентскіе берега, гдѣ прожили два мѣсяца. Для тѣхъ изъ васъ, кому не случилось побывать въ этихъ мѣстахъ, я долженъ сдѣлать бѣглое топографическое ихъ обозрѣніе, чтобы въ общихъ чертахъ дать понятіе о той живописной обстановкѣ, которая со всѣхъ сторонъ меня здѣсь окружала не только въ дальнихъ и близкихъ прогулкахъ, но и изъ оконъ моей комнаты. Прошу васъ припомнить, какъ я ходилъ пѣшкомъ изъ Неаполя до Помпеи по отлогому взморью. Тотчасъ же затѣмъ отъ Кастелламаре, стоящаго у подножія горы св. Ангела (Monte Sant Angelo), начинается цѣпь горъ съ пересѣкающими ее долинами, которая на протяженіи нѣсколькихъ верстъ образуетъ Соррентскій полуостровъ; потому съ обѣихъ сторонъ спускается онъ къ морю крутизнами. Надъ Неаполитанскимъ заливомъ поднялась на высокихъ, утесистыхъ берегахъ большая равнина (Piano-di-Sorrento), обнесенная горами, то оголенными отъ всякой растительности, то покрытыми кустарникомъ и рощами. Въ концѣ равнины, если направляться отъ Неаполя, стоитъ городъ Сорренто у подножія каменистаго холма, называемаго Capo-di-Monte.

Сначала дней на пять помѣстились мы въ самомъ городѣ Сорренто, въ гостиницѣ „Сирена“, близъ такъ называемаго дома Торквато Тасса, гдѣ будто бы родился онъ и провелъ свое дѣт-

потомъ, когда была вполнѣ изготовлена и приведена въ
ъкъ наша вилла въ Piano-di-Sorrento, мы переселились туда.
ь перваго же раза, какъ очутился въ этой живописной
ости, какъ побывалъ въ домѣ Тасса и узналъ, что гос-
а получила свое названіе отъ тѣхъ сиренъ, которыя за-
али въ морскую глубину Улисса и его спутниковъ именно
, у береговъ соррентскихъ, — юношеская фантазія моя
ралась, и я тотчасъ же порѣшилъ дать ей раздольный
оръ въ октавахъ Освобожденнаго Іерусалима и въ гекза-
хъ Одиссеи. Обѣ эти книги я усердно читалъ въ про-
ніе обоихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ нашей виллѣ.
ву поэму бралъ съ собою на прогулкахъ, а Гомера по-
о изучалъ съ комментаріями у себя на дому.

ррентская равнина (Piano-di-Sorrento) есть не что иное,
огромный виноградникъ на нѣсколькихъ квадратныхъ вер-
въ перемежку съ фруктовыми садами, въ которыхъ вы-
надъ другими деревьями, въ живописномъ контрастѣ зе-
ъ оттѣнковъ, поднимаются столѣтнія оливы со своими
ыми и прозрачными вѣтвями и темныя и густыя рощицы
жей“ (такъ называлъ я тогда апельсиновыя деревья); тамъ
ъ тянулись далеко вверхъ въ видѣ столповъ ряды кипа-
ъ, а то раскидывалось широко и высоко орѣховое дерево
кимъ толстымъ стволомъ, что не обнимешь его въ одинъ
гъ. Все это пространство размежевано улицами съ пере-
и; по обѣимъ ихъ сторонамъ нескончаемо тянутся высо-
менныя стѣны на такомъ разстояніи между собою, чтобы
) было разъѣхаться двумъ встрѣтившимся экипажамъ.
цка попадаются небольшія постройки для жилья владѣль-
виноградниковъ и для хозяйственныхъ угодій и очень
гіе большіе дома для постоя пріѣзжихъ. Въ одномъ изъ
ъ домовъ помѣстились и мы, на лѣвой сторонѣ узенькой
, если итти отъ Сорренто. Своимъ фасадомъ выходилъ
а улицу съ высокою стѣною передъ окнами. Входъ былъ
рота со двора, а за дворомъ раскинулся виноградникъ до
о обрыва отвѣсно ниспадавшаго морского берега. По одну
ну виноградника была роща оранжей, а по другую фрук-
: садъ. Домъ былъ двухъэтажный, съ небольшою надъ-
кою въ видѣ башни налѣво, если смотрѣть съ улицы.
льэтажѣ, кромѣ залы, гостиной и столовой, могли удобно
ститься только сама графиня, ея обѣ дочери съ гувернант-
и трехлѣтній сынокъ съ нѣмкою Амаліей Карловной. Для

двухъ старшихъ сыновей, Павла Сергѣевича и Григорія Сергѣевича съ ихъ гувернеромъ, въ домѣ мѣста не хватало. Они занимали небольшой одноэтажный павильонъ съ широкою террасою, выходившею въ садъ съ разными фруктовыми деревьями, обнесенный по обѣимъ сторонамъ густыми лавровыми аллеями. На террасѣ, обращенной къ сѣверу-западу, мы пили утренній кофей; но уроки давалъ я своимъ ученикамъ, спасаясь отъ наступающей жары, всегда въ классной комнатѣ.

Что касается до меня, то я помѣстился именно въ той надстройкѣ, о которой упомянулъ выше. Она занимала лѣвую часть дома; все же остальное пространство его плоской каменной кровли, огороженной по сторонамъ парапетами, было для меня террасою, которая во всѣ два мѣсяца предоставлялась исключительно въ мою собственность. Днемъ на солнечномъ припекѣ выходить на нее не было никакой возможности; раскаленный палящими лучами каменный помостъ жегъ ноги сквозь тонкія подошвы башмаковъ, если остановиться на нѣсколько секундъ. Зато ночью гулять по ней было восхитительно! Подъ темно-синимъ небеснымъ сводомъ, который теперь кажется и ниже и ближе ко всему земному, по одну сторону въ нѣжномъ, привѣтливомъ сіяніи луны какъ-то особенно уютно покоятся соррентскіе холмы и утесы подъ охраною высоко поднимающейся надъ ними горы св. Ангела, а по другую сторону тамъ далеко внизу тихо и мирно въ Неаполитанскомъ заливѣ улеглась темная поверхность моря, по которой тамъ и сямъ скользятъ серебристые отливы луннаго сіянія. И около меня вездѣ кругомъ тишина и безмолвіе — и въ виноградникахъ, и въ садахъ, и по улицамъ съ переулками. Развѣ иной разъ со стороны Сорренто донесутся призывные звуки любимой въ то время серенады:

Tutti la notte dormino,
Io solo non posso dormire,
Io ti voglio ben assai!

Такъ начинается эта пѣсенка; она, бывало, раздается повсюду вдоль береговъ Неаполитанскаго залива: и рыбакъ, сидя въ своей лодкѣ, распѣваетъ ее своимъ густымъ басомъ; и молоденькая дочка ремесленника, въ домашнемъ неглиже и съ растрепанными волосами, высунувшись по поясъ изъ окна и и глазѣя по сторонамъ, выводитъ звонкими руладами: Io ti voglio ben assai; и чопорный франтъ изъ неаполитанскихъ обывателей средней руки, въ потертомъ сюртукѣ, но въ лоснящемся

цилиндрѣ, тщательно приглаженномъ щеткою, прогуливаясь вечеромъ по Villa Reale, мурлычетъ все одно и то же: Tutti la notte dormino.

Но мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о моей оригинальной террасѣ. Между мѣстными жителями была распространена одна граціозная легенда, достовѣрность которой съ благочестивымъ усердіемъ подтверждали старожилы. Будто въ одно изъ послѣднихъ изверженій Везувія бурнымъ вѣтромъ помчало въ сторону соррентской равнины черныя тучи песчанаго пепла, которыя мгновенно заволокли все небо и превратили свѣтлый день въ непроглядную ночь. Всѣ ожидали неминучей судьбы, постигшей когда-то сосѣднюю Помпею. Кто могъ и успѣлъ, бѣжалъ куда ни попало, но большею частью попрятались въ своихъ домахъ, потому что наружу не было видно ни зги, а горячій песокъ засыпалъ глаза, лѣзъ въ уши, въ ноздри и въ ротъ, билъ по головѣ и сшибалъ съ ногъ, хотя и вязли онѣ въ пеплѣ выше щиколокъ. Къ счастію, буря стала утихать и песочный ураганъ мало-по-малу ослабѣвалъ и, наконецъ, прекратился. Только на разсвѣтѣ осмѣлились выйти наружу скрывавшіеся въ домахъ. Повсюду навалило пепла чуть не по колѣни. Въ великой радости, что спаслись, прежде всего бросились хозяева на свои плоскія крыши, спѣша освободить ихъ отъ тяжелаго груза, наваленнаго изверженіемъ песчанаго пепла, а то потолки не выдержатъ и обрушатся. И что же видятъ? На каждой кровлѣ и въ Сорренто, и вездѣ въ его окрестностяхъ по ровной и гладкой поверхности пепла протянулась полоса слѣдовъ отъ двухъ босыхъ ножекъ, которыя явственно отпечатлѣлись всѣми своими пальчиками. Въ этомъ необычайномъ явленіи благочестивые жители признали великое чудо, спасшее ихъ отъ гибели. Пречистая Дѣва Марія соблаговолила прослѣдовать по всѣмъ до одной кровлямъ, отпечатлѣвъ на каждой знаки своего шествія. Она же отвратила и ураганъ въ другую сторону. Эта легенда иной разъ приходила мнѣ въ голову, когда я въ лунныя ночи гулялъ по своей террасѣ. Отъ нечегодѣлать я любилъ тогда предаваться мечтательнымъ грезамъ, и несбыточное казалось мнѣ возможнымъ. И здѣсь, думалось мнѣ, гдѣ я теперь хожу, оставила по себѣ таинственные слѣды Та, которая спасла отъ разрушенія и домъ, гдѣ мы теперь живемъ, и этотъ широкій помостъ для моихъ ночныхъ прогулокъ. И я вызывалъ въ своемъ воображеніи идеальный ликъ Сикстинской Мадонны Рафаэля и представлялъ себѣ, какъ она, спустившись

съ облаковъ, по которымъ идетъ на картинѣ, ступаетъ теперь по кровлямъ домовъ соррентской равнины. Въ мое время любили играть въ затѣйливыя мечты, какъ потомъ съ такимъ же заманчивымъ увлеченіемъ стали играть въ акціи и въ другіе цѣнные лоскуты бумаги.

На соррентской равнинѣ мы продолжали вести жизнь по-деревенски, какъ и на Искіи, т.-е., обѣдали въ два часа и ужинали въ дѣсять. Я былъ занятъ уроками тоже всего три часа, отъ девяти до двѣнадцати.

Я вставалъ въ шесть часовъ утра и тотчасъ же шелъ купаться въ морѣ, по совѣту того же врача, который предписалъ мнѣ пить минеральную воду на Искіи. Я долженъ былъ оставаться въ водѣ не дольше пятнадцати минутъ и купаться только два дня сряду, а на третій отдыхать. Непремѣннымъ спутникомъ моимъ и охранителемъ на морскихъ волнахъ былъ извѣстный уже вамъ Пашоринъ, который въ эту раннюю пору былъ свободенъ отъ своихъ кухмистерскихъ обязанностей. Море отъ насъ было, что называется, рукой подать, у самой усадьбы нашей виллы. Стоило только со двора пройти апельсиновую рощу да виноградникъ, и тутъ же широкій и довольно отлогій спускъ къ морю, которое вливается здѣсь въ маленькую бухту, обнесенную со всѣхъ трехъ сторонъ высокими, утесистыми берегами. Такіе уютные уголки съ песчаной равниной, которая едва замѣтно спускается къ морской отмели, итальянцы называютъ „марúною“. Море безъ устали ежеминутно отступаетъ по песку и на него приливаетъ, саженъ на пять, на десять, а то и больше, когда разыграется. Чтобы попасть къ его постоянному дну, надобно какъ можно скорѣе пробѣжать выступившее изъ-подъ отхлынувшей воды пространство и въ одинъ мигъ вспрыгнуть на катящуюся навстрѣчу волну, какъ бы осѣдлать ее подъ себя, а затѣмъ безъ всякаго усилія и не торопясь плыть впередъ, спускаясь и поднимаясь по широкимъ и отлогимъ волнамъ. Пашоринъ былъ отличный пловецъ, и подъ его бдительною охраною я чувствовалъ себя въ полнѣйшей безопасности. Далеко въ море мы не забирались и доплывали только до окраины отвѣсной скалы, составляющей правую сторону нашей бухты, и, взглянувъ вправо же на дымящійся Везувій, возвращались назадъ. Въ раннее утро на песчаной „маринѣ“, обращенной на западъ, подъ тѣнью высокаго, утесистаго берега, дышалось живительною прохладою. Съ купаньи я возвращался одинъ; Пашоринъ уходилъ впередъ, торопясь

а свою работу. Чтобы сберечь въ себѣ крѣпительную свѣ-
есть, медленно, лѣнивымъ шагомъ поднимался я по отлогому
одъему дороги въ нашъ виноградникъ и еще медленнѣе про-
ирался между густыхъ рядовъ виноградныхъ лозъ, отягченныхъ
оздями, и поминутно останавливался, срывалъ съ нихъ самыя
ѣлыя ягоды и клалъ себѣ въ ротъ. Такъ продолжалось всегда
о малой мѣрѣ минутъ пятнадцать или двадцать, а затѣмъ, вы-
равъ себѣ самую большую виноградную кисть, уходилъ къ
ебѣ домой и доѣдалъ свой утренникъ, сидя съ книгою подъ
кномъ, обращеннымъ на западъ съ апельсиновою рощею и
иноградникомъ на первомъ планѣ, гдѣ я только что проходилъ,
съ разстилающимся далеко и широко Неаполитанскимъ зали-
омъ. Я тогда и не слыхивалъ о лѣченіи виноградомъ, но безъ
ого вѣдома угодилъ какъ разъ пользоваться имъ въ теченіе
ухъ мѣсяцевъ ежедневно за цѣлый часъ до нашего завтрака.

Я уже говорилъ вамъ, что на соррентской равнинѣ я
инялся читать „Одиссею“ и „Освобожденный Іерусалимъ“.
ассъ надоумилъ меня познакомиться и съ Аріостомъ: его Не-
стовый Роландъ былъ извѣстенъ мнѣ только по-наслышкѣ.
верхъ того, я здѣсь же докончилъ изученіе Божественной
омедіи. Съ тѣхъ поръ Дантовъ Рай всегда напоминалъ мнѣ
рекрасные ландшафты, на которые я любовался изъ оконъ
оей комнаты, и мою террасу, по которой прохаживался въ
нныя ночи, какъ живописная гора его же Чистилища нераз-
ивно слилась въ моихъ представленіяхъ съ крутыми подъ-
ами Искіи къ недостигнутымъ мною высотамъ Эпомея. Впе-
тлѣнія юныхъ лѣтъ глубоко и крѣпко залегаютъ въ душѣ
берегутся въ ней, какъ неотъемлемое сокровище, до глу-
кой старости.

Однако я не покидалъ и научныхъ изслѣдованій своихъ по
ассической археологіи. Хотя Соррентскій полуостровъ давалъ
я этого предмета плохую поживу въ очень немногихъ и уже
резчуръ искаженныхъ развалинахъ, но у меня подъ руками
ла сосѣдняя Помпея. Въ видѣ прогулки я туда хаживалъ по
раздникамъ на весь день. Искупавшись въ морѣ и наскоро
завтракавъ своею кистью винограда, я успѣвалъ еще въ седь-
мъ часу отправиться въ путь въ утренней прохладѣ, и, до-
ѣдши до Кастеламаре, дѣлалъ привалъ въ прибрежной остеріи
дъ тѣнью высокой горы св. Ангела, которая еще заслоняла
сходящее солнце. Тутъ я отдыхалъ и пилъ свой утренній
фей. Насытившись и освѣжившись, часамъ къ десяти я былъ

уже въ стѣнахъ Помпеи, гдѣ и проводилъ весь день часовъ до пяти, чтобы возвращаться домой, когда жара начинала спадать. Въ теченіе дня утолялъ голодъ и жажду въ сосѣднихъ съ Помпеею плантаціяхъ, гдѣ хозяева угощали меня виноградомъ, а на возвратномъ пути опять останавливался у подножія горы Sant-Angelo, чтобы въ той же остеріи пообѣдать жареною въ прованскомъ маслѣ рыбою и макаронами съ сыромъ.

Повторительное разсматриваніе помпейской живописи открывало мнѣ разныя подробности, прежде не замѣченныя, и наводило на новыя соображенія и замѣчанія. По вечерамъ я вносилъ ихъ въ свою записную книжку. Въ этихъ замѣткахъ я особенно вдавался въ уясненіе себѣ античнаго стиля этой живописи въ связи съ его позднѣйшимъ возрожденіемъ въ произведеніяхъ итальянскихъ поэтовъ и художниковъ XVI и XVII столѣтій. Такія сравнительныя изслѣдованія, переполненныя ссылками на Овидія, Виргилія, Аріоста и Тасса, должны были подготовлять меня къ тому, что̀ предстояло мнѣ изучать въ Римѣ, когда буду гулять тамъ по дворцамъ и павильонамъ, стѣны и плафоны которыхъ изукрасили миѳологическими и вообще эротическими сюжетами Рафаэль со своими учениками, Караччи, Гвидо Рени и другіе позднѣйшіе живописцы.

Кромѣ Помпеи мнѣ привелось сдѣлать нѣсколько интересныхъ прогулокъ въ лодкѣ по морю, между прочимъ на островъ Капри и въ Амальфи. Разсказывать вамъ по смутнымъ воспоминаніямъ обо всемъ этомъ и о многомъ другомъ, какъ хорошо мнѣ жилось на соррентской равнинѣ, я теперь не буду, а вмѣсто того предложу вамъ нѣсколько выдержекъ изъ моихъ путевыхъ записокъ, прося милостиваго снисхожденія къ наивной мечтательности юнаго энтузіаста.

XVIII.

Изъ путевыхъ записокъ.

Сорренто, 28-го іюля 1840 г.—„Черезъ Пуццоли, Неаполь и Кастеламаре, съ Искіи переѣхали мы въ Сорренто, и вотъ уже два дня, какъ наслаждаюсь я благословеннымъ воздухомъ родины Тассовой, ежедневно нѣсколько разъ проходя мимо его дома. Думаю, что здѣшняя природа всего ближе можетъ объяснить страны, воспѣваемыя Гомеромъ. Синѣющая даль моря, усѣянная цвѣтущими островами, далеко вьющійся берегъ съ

ысокими горами, лазоревое небо съ дымящимся Везувіемъ, лескъ волнъ, дробимыхъ о высокій берегъ, и шумъ освѣжаюаго вѣтерка между густыми садами оранжей, подъ палящимъ олнцемъ и жаркимъ небомъ, — неужели какая другая страна ь мірѣ можетъ превзойти красотою и роскошью ту, которою теперь наслаждаюсь? Охотно перенесу я теперь суровую прироу своей родины, населяя ея пустынныя степи и дремучіе лѣса езабвенными мечтами своего воображенія, которыя такъ заманиво теперь увлекаютъ мою душу восхитительной дѣйствительостью. Еще новый даръ благого Провидѣнія!“

Сорренто, 29-го іюля. — „Читая сегодня „Рай“ Данта, другъ изъ своего окна, изъ-за оливъ и оранжей, услышалъ я тдаленные звуки органа, согласованнаго съ пѣніемъ, заманчиво еряющимся вдали. Я оставилъ книгу, и по звукамъ отправился ъ францисканскій монастырь, гдѣ тогда служили обѣдню, и росидѣлъ въ церкви нѣсколько минутъ, погруженный въ тихое лагоговѣніе: случайно, но какъ нарочно, пришлось мнѣ у Данта итать жизнь св. Франциска. Только тогда понимаешь поэта, огда его стихи вдыхаешь вмѣстѣ съ воздухомъ и растворяешь хъ высокими звуками молитвы... Вчера и сегодня восхищался здѣшней природой: удивляешься, какъ всякая ничтожная ещь, ручеекъ, камешекъ, мостикъ — будто нарочно брошены ля того, чтобы восхищать воображеніе своею живописностью“.

Piano di Sorrento, 2-го августа. — „Вчера изъ Сорренто ереселились мы сюда къ сторонѣ M. S. Angelo. Сначала я алѣлъ оставленную мною комнату, окно которой осѣнялось устыми оранжами и прозрачными оливами, изъ-за которыхъ акъ поэтически неслись ко мнѣ звуки утренней и вечерней олитвы францисканскаго монастыря; а теперь своимъ новымъ илищемъ я удовлетворенъ совершенно: окна мои глядятъ и а востокъ, и на югъ, и на западъ, такъ что я по теченію олнца постоянно принужденъ затворять ставнемъ которое-ни удь изъ нихъ. Съ одной стороны я вижу горы, амфитеатромъ кружающія равнину соррентскую; съ другой — Сорренто, съ го берегомъ и уходящимъ въ море мысомъ, оканчивающимся олуразвалившеюся башнею; съ третьей — широкое море съ еаполитанскимъ берегомъ и островами Прочидою и Искіею. колько людей многимъ бы пожертвовали, чтобы видѣть то, то такъ изобильно пресыщаетъ мои взоры!“

12-го августа. — „Вчера былъ одинъ изъ замѣчательныхъ ней моей жизни: я кончилъ Данта. Такимъ образомъ, онъ бу-

детъ навсегда напоминать мнѣ своею возвышенною поэзіею тѣ мѣста, которыя были свидѣтелями моихъ восторговъ, имъ возбужденныхъ: въ Неаполѣ я читалъ „Адъ“, въ Искіи — „Чистилище“, въ Сорренто — „Рай“. Такъ, козни папъ напомнятъ мнѣ мои разговоры съ графомъ Сергіемъ Григорьевичемъ [1]); географическія указанія въ „Божественной Комедіи“ напомнятъ, какъ я на висячей картѣ изучалъ по Данту географію Италіи; пѣснь Казеллы напомнитъ мнѣ, какъ я гулялъ по узенькимъ тропинкамъ виноградниковъ Искіи; сравненіе человѣка съ червякомъ, изъ котораго потомъ образуется бабочка, чтобы летѣть на небо, или сравненіе вечерняго звона съ прощальнымъ вздохомъ умирающаго дня увлекутъ мое воображеніе, какъ я читалъ эти стихи, сидя подъ сѣнью виноградныхъ лозъ нашего сада въ Искіи; наконецъ, эти возвышенные восторги райскіе, переполнявшіе душу поэта, эти возвышенные бесѣды со святыми мужами читалъ я здѣсь, въ тѣни оранжей и оливъ, среди природы, неба, моря, и земли, и воздуха, которые для насъ, жителей суровой природы, должны казаться райскими. Чтобы понимать Дантово наслажденіе раемъ, надобно самому просвѣтить свою душу высокимъ наслажденіемъ природы — и гдѣ же, какъ не здѣсь? Никогда и нигдѣ поэзія не являлась мнѣ столь высока и величава, какъ у Данта: у него она идетъ рука объ руку съ религіей, на тронѣ правосудія, съ очами, просвѣтленными для высшей мудрости, до которой не достигаютъ мудрецы въ своей философіи. Вся поэма — это шествіе поэта отъ преисподняго ада къ жилищу Божію, которое есть высшая ступень и послѣдняя строка поэта. Вотъ ощутительный образъ того, какъ поэзія стремится къ выраженію божественнаго!“

14-го августа. — „Вчера подъ густыми оранжами при закатѣ золотистаго здѣшняго солнца на крутомъ берегу моря, волнистаго и насупившагося, читалъ я Тасса. Не знаю, оттого ли, что теперь его болѣе понимаю, или оттого, что свое впечатлѣніе отъ чтенія растворяю соотвѣтственными прекраснымъ стихамъ — прекрасными образами природы, только теперь я наслаждаюсь Тассомъ далеко больше прежняго, когда я читалъ его въ Москвѣ. — Сейчасъ пришелъ я съ купанья: море волнуется ужасно. Цѣлую минуту, я думаю, меня покрывала собою огромная волна; когда я вздумалъ было ее переплыть, соленая

---

[1]) Къ моему крайнему сожалѣнію, никакъ не могу теперь припомнить, о чемъ были эти разговоры. Графъ такъ часто и подолгу бесѣдовалъ со мной.

ода натекла мнѣ и въ уши и въ носъ; мы поминутно свалиались отъ новаго напора волны, приближеніе которой стремиельною стѣною невольно приводитъ душу въ какое-то опаеніе".

16-го августа. — „Сейчасъ, сидя подъ окномъ въ своей омнатѣ, читалъ я у Тасса описаніе красотъ и хитростей очаовательницы Армиды. Отъ внутренняго удовольствія, приноси-аго стихами, или отъ желанія свободнѣе дохнуть благораство-еннымъ воздухомъ, по временамъ отнималъ я отъ поэмы свои ечтательные взоры, перенося ихъ на разстилающееся изъ-за зленаго сада синее море, яхонтовое, прекрасное, изъ-за ко-раго вдали, въ полуденномъ туманѣ разстилался Неаполь со воими окрестностями. Пусть это чудное мѣсто поэмы, теперь ще болѣе растворяющее мою душу наслажденіемъ отъ содѣй-твія природы, нѣкогда на родинѣ напомнитъ мнѣ по созвучію э своими звонкими риѳмами тотъ сладкій звукъ, который здѣсь акъ стройно ему вторилъ!"

27-го августа. — „Прошлое воскресенье ѣздилъ я на островъ апри и былъ въ знаменитомъ лазоревомъ гротѣ. Если воспо-инаніе всегда болѣе или менѣе украшаетъ предметы поэтиче-кими грёзами, то какова должна быть память о предметахъ, оторые и на самомъ дѣлѣ кажутся поэтическими образами ечты несбыточной? — О! Никогда не забуду эту очарователь-ую пещеру, дно которой голубѣе и блистательнѣе неба, освѣ-аемаго лучами заходящаго солнца! Будто какой подземный вѣтъ изъ морскихъ чертоговъ Ѳетиды ярко струится изъ-подъ аличественно висящихъ надъ морскою бездною скалъ; рыбки алькаютъ въ сіяніи ясно и осязательно, будто птички летаютъ э голубому поднебесью; а вотъ и живая фигура человѣческая ещется въ этомъ голубомъ сіяніи; не такъ ли блаженныя ши у Данта въ раю купаются въ таинственномъ сіяніи не-сныхъ лучей? Неужели самые греки могли вообразить по-чнѣе и очаровательнѣе купанье стыдливой Діаны съ ея не-рочными нимфами? Отъ игриваго движенія членовъ летитъ и сыпается серебро, яркое, бѣлое, какъ снѣгъ по синему полю: изъ такой ли сіяющей влаги родилась божественная Венера? менно теперь только я понимаю, почему богиня красоты и бви избрала море своею родиною: эта яркая, то блестяще-урная, то темно-яхонтовая влага — не само ли небо во всей ей роскошной ощутительной вещественности! О, страна, агословенная небомъ! Пусть всегдашняя любовь моя къ тебѣ

будетъ вѣчною моею признательностью за тѣ блаженныя минуты, которыми я насладился въ тебѣ!“

30-го августа.—„Сейчасъ была страшная буря; началась она вскорѣ послѣ обѣда и продолжалась около часу: громъ гремѣлъ безпрерывно; дождь вмѣстѣ съ градомъ, крупнымъ, съ голубиное яйцо, лилъ какъ изъ ведра; тучи воздушными полками неслись надъ страшно волнующимся моремъ со стороны Monte Sant Angelo къ Punta di Sorrento. Во всѣхъ церквахъ звонили въ колокола. Страшно было смотрѣть, какъ на всѣхъ парусахъ мчалась по морю изъ Неаполя маленькая барка“.

11-го сентября.—Сегодня съ Тассомъ въ рукахъ ходилъ я къ капуцинскому монастырю. Солнце уже закатилось, когда я пришелъ на террасу и сѣлъ возлѣ водруженнаго въ каменныя перила деревяннаго креста. Читалъ, какъ усопшая Клоринда явилась во снѣ неутѣшному Танкреду. Звуки два дня назадъ слышанной мною „Весталы“ Меркаданте — звучали въ моемъ сердцѣ, когда я пробѣгалъ умилительныя строфы: пѣсня идущей на смерть дѣвы какъ-то томно гармонировала съ загробной пѣснью прекрасной воительницы. Море не было бурно, волновалось однако негостепріимно; Везувій испускалъ дымъ вышиной почти съ самого себя; сначала онъ вился прямо вверхъ, какъ изъ трубы, а потомъ сгибался и тянулся по безоблачному небу длиннымъ одинокимъ облакомъ надъ Неаполемъ, Позилипо и Искіею; изъ-за горъ и острововъ, ниже этого длиннаго облака, багровѣла вечерняя заря; изъ церкви монастырской изрѣдка раздавалось монашеское пѣніе; передо мной на превомъ планѣ возвышались высокій дубъ и деревянный крестъ. Душа была полна умиленіемъ невыразимымъ: чудные стихи были красой всему меня окружающему! Я ихъ перенесу на свою родину, а вмѣстѣ съ ними и тѣ случайные, но согласные звуки и образы, которые волновали мое сердце сладостнымъ томленіемъ и тихимъ восторгомъ“.

12-го сентября.—„Сегодня моимъ товарищемъ въ прогулкѣ былъ monsieur Duclère[1]). Я во всемъ былъ ему подъ пару, помогая ему носить живописные препараты; оба въ блузахъ, мы были настоящими артистами. Саро di Monte и потомъ Саро di Sorrento были цѣлью нашей прогулки. Солнце уже заходило, когда около соррентскаго мыса спустились мы къ морю. Съ

1) Французскій пейзажистъ, жившій тогда въ Сорренто. Съ нимъ познакомился графъ Строгановъ еще въ Неаполѣ и заказалъ ему нѣсколько ландшафтовъ съ разныхъ мѣстностей на Искіи и на берегахъ соррентскихъ.

эмножко отдохнуть на краю морской бездны, тамъ, гдѣ древне-имская арка соединяетъ море съ Piscina di Pollione. Виднѣлся тъ же заливъ Неаполитанскій, тотъ же Везувій, та же рав-ина Соррентская — и вмѣстѣ съ тѣмъ сколько новыхъ преле-тей! Синее море глубоко вдавалось въ извитый зигзагами берегъ оррентской равнины, цвѣтущіе сады которой ярко обливали озовые лучи заходящаго солнца; дымящійся очень сильно Ве-увій и Sant Angelo высились, окруженные тѣмъ же радужнымъ вѣтомъ. За нами былъ римскій прудъ (Piscina); возлѣ него — акія-то, въ родѣ сводовъ, углубленія, клоаки, мостики и т. п., се это римское — твердое, какъ желѣзо, достойно вѣчности, а которую оно было разсчитано. Тутъ же возвышается и полу-азвалившаяся варварская башня среднихъ вѣковъ, напоминая ремена войнъ и убійствъ; а недалеко отъ нея — каменные гѣды римскаго зданія, подобно древесному корню вросшіе въ рибрежную скалу: такъ мощно природа умѣетъ переработы-ать творенія рукъ человѣческихъ въ свою собственность, и зъ самаго разрушенія творитъ новыя для себя прикрасы. Это статки виллы Полліона, котораго воспѣвалъ Виргилій. Вотъ ще новая незабудка для моихъ поэтическихъ воспоминаній! итая въ Россіи Виргиліеву эклогу, буду вспоминать и синее оре, и цвѣтущій берегъ Сорренты, и далекія горы, блещущія ь различныхъ цвѣтахъ заходящаго солнца. На камняхъ раз-ушенной римской виллы варваръ среднихъ вѣковъ построилъ вою грозную башню; такъ, на маленькомъ мысу можно счи-ать по памятникамъ цѣлые вѣка. Duclère — этотъ мысъ съ азвалинами хочетъ взять за первый планъ своей картины, да-екимъ фономъ которой будетъ берегъ соррентскій съ Везувіемъ".

24-го сентября. — „Ходилъ въ капуцинскій монастырь. За рачными облаками не видать было, какъ садилось солнце: ебо было покрыто дымными облаками; неподвижное и без-олвное море — синевато-сѣрымъ туманомъ; Везувій съ бере-омъ неаполитанскимъ мрачно темнѣлись вдали; дымъ изъ Ве-увія курился вяло, будто погашенный сальный огарокъ. Въ арриссіпі, на террасѣ, я сидѣлъ одинъ-одинехонекъ передъ ернымъ, водруженнымъ въ каменныя перила, крестомъ; за ной возвышались вдоль стѣны длиннымъ рядомъ надгробные ипарисы надъ плодовитыми оливами. Я читалъ Тасса, думая морѣ, когда изъ-за сада услышалъ печальное монашеское ѣніе. Но оно вскорѣ смолкло, давъ голосъ минутно, какъ бы ля того только, чтобы придать бо̀льшую таинственность ти-

шинѣ и сумраку, господствовавшимъ вокругъ меня. Нѣсколько минутъ попрежнему продолжалась тишина, которую снова прервалъ унылый звонъ монастырскаго колокола. Было уже очень темно, когда я вышелъ изъ монастыря; изъ церкви слышалась вечерняя молитва монаховъ".

25-го сентября. — „Не подлый ли народъ неаполитанцы? Я послалъ въ Неаполь поправить свою палку — украли! Разини стерегутъ, а мошенники грабятъ! Да это и не первая покража: зонтъ и два платка. Самый подлый, воровской и низкій народишко!...

„Восемь часовъ вечера. Сейчасъ пришелъ я изъ Сорренто. Погулявъ около Capo di Monte, зашелъ въ магазинъ деревянныхъ издѣлій. Становилось темно, когда я, идучи въ домъ Тасса, но услышавъ звуки органа въ церкви Дѣвичьяго монастыря, зашелъ въ него: священники служили торжественно передъ алтаремъ, ярко освѣщеннымъ свѣчами; пѣснь органа была неизъяснимо пріятна въ своихъ безконечныхъ переливахъ; за исключеніемъ алтаря, вся церковь была темна; народу почти никого не было; по другую сторону сидѣли въ темнотѣ двѣ дамы. Таково было предисловіе къ посѣщенію дома Тассова. Во вновь выстроенномъ домѣ показывали мнѣ комнаты и гдѣ родился Тассъ, и гдѣ онъ занимался литературою: шарлатанство — надувать путешественниковъ! Остатки стариннаго дома обрушились въ море, но природа, всегда неизмѣнная, осталась та же, и сидя на Тассовой террасѣ, надъ безконечнымъ моремъ, передъ прекрасно-страшнымъ Везувіемъ и далекимъ берегомъ блаженной Италіи, кто не одушевится памятью великаго поэта, фантазія котораго впервые была взлелѣяна такимъ разнообразіемъ роскошной природы! Эти сладостные и улыбающіеся образы должны были представляться и поэту, когда онъ мечталъ о своей благословенной небомъ родинѣ, въ безнадежной любви своей, терзаемый бурями жизни въ мрачной Феррарѣ, съ ея гордымъ дворцомъ и душною темницею, которую случилось мнѣ посѣтить, когда изъ Венеціи возвращался я въ Болонью.

„Сегодня въ исторіи Италіи Ботты, я читалъ о завоеваніи норманнами Италіи, о Салерно и Амальфи, о Неаполѣ, Капри и Аверсѣ. Какъ живо представлялось мнѣ читанное, когда вмѣсто ландкарты прибѣгалъ я къ своей памяти, что̀ видѣлъ, или, еще лучше, самодовольно обращалъ взоры изъ своего окна на заливъ Неаполитанскій, весь передо мною разстилавшійся. Сегодня тамъ же читалъ я о поклоненіи горѣ Гаргану (Monte Sant

Angelo), которую почти ежедневно вижу передъ своими глазами, и о горѣ M. Cassino[1]), на которую я съ живѣйшимъ интересомъ всходилъ недавно въ самый полдень; помнится, всѣ окружныя горы въ своемъ жаркомъ парѣ будто дымились, заливаемыя яркими лучами палящаго солнца.

„Теперь, къ сожалѣнію, уже нѣсколько дней у насъ сирокко, которымъ, какъ нарочно, на прощанье угощаетъ насъ Средиземное море: небо заволакивается сѣрыми парами, даль чуть виднѣется; море лѣниво колеблетъ свою поверхность, мѣстами становясь неподвижно; жаръ восходитъ до 25° въ тѣни. Сегодня ровно годъ, что я въ Италіи: этотъ день прошлаго года былъ я въ Веронѣ".

26-го сентября.—„Опишу свою поѣздку въ Амальфи. Читая Тасса, вдоль отвѣсныхъ утесовъ ѣхалъ я въ лодкѣ; время отъ времени выдавались впередъ скалы, съ построенными на нихъ башнями: весь берегъ представлялъ видъ неприступной крѣпости. Какая противоположность гостепріимной равнинѣ Соррентской! а между тѣмъ не далѣе двадцати верстъ отъ нея. Тамъ и сямъ высоко въ ущельяхъ горъ лѣпились города и деревеньки. Видъ на Амальфи съ моря несравненный! Непрерывную цѣпь скалъ прорѣзываютъ двѣ глубокія долины, одна возлѣ другой, раздѣленныя скалою; пологіе скаты долинъ къ морю образуютъ ровныя отмели съ удобными пристанями, защищенными заливомъ, между Punta di Conca и Capo d'Orsa. Такое-то мѣсто выбрали моряки среднихъ вѣковъ для своего главнаго пристанища. Начиная отъ приморскаго берега, дома выше и выше полукругомъ, какъ въ древнемъ театрѣ, поднимаются на окружныя скалы, обратясь фасадами къ морю, единственному поприщу дѣятельности здѣшняго народа. Остроконечныя скалы по сторонамъ города на самыхъ вершинахъ своихъ вооружены башнями и замками, которые нѣкогда служили городу сильною защитою, а теперь своими развалинами только украшаютъ его живописное мѣстоположеніе. Влѣво, если смотрѣть съ моря, по скалѣ вьется дорожка къ капуцинскому монастырю, огромному зданію, которое, какъ бы отстраняясь отъ суеты житейской, стоитъ одно, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ города, вися на скалѣ, возлѣ огромной пещеры.

„Пріѣхавъ въ пять часовъ вечера девятнадцатаго сентября въ субботу, тотчасъ я отправился черезъ долину Атрани въ Ра-

[1]) Съ знаменитымъ бенедиктинскимъ монастыремъ, близъ Sant Germano по дорогѣ изъ Неаполя въ Римъ, куда уѣзжалъ я въ маѣ мѣсяцѣ на двѣ недѣли.

велло. Въ Атрани влѣво указали мнѣ жилище Мазаніелло; какъ вороново гнѣздо, прилипло оно высоко къ скалѣ. Долина полна зеленью и ручьями, которые мѣстами бьютъ живописными водопадами, что̀ представляетъ яркую противоположность съ необъятными стѣнами скалъ, суровыми, свѣтло-дикими, съ причудливыми обломками и пещерами, гдѣ взоръ напрасно ищетъ жизни и растительности. Громады эти покрыты каменистыми волокнами и сосульками, висящими въ воздухѣ, когда скала своевольно вгибается внутрь, образуя трещину или пещеру. Подумаешь, что все это въ первобытномъ кипѣніи элементовъ, тая и плавясь, отъ внезапнаго дуновенія вдругъ остановилось, застынувъ въ своихъ пловучихъ формахъ. Долина около часу времени прекращается, поднимаясь выше и выше. Равелло стоитъ на горѣ. Церковь св. Пандалеона замѣчательна своими двумя каѳедрами, одна противъ другой, украшенными мозаикою. По правую руку каѳедра на четырехъ столбахъ, извитыхъ винтомъ и стоящихъ на львахъ: наружная часть ея лѣстницы и перила наверху украшены мозаиками изъ птицъ, звѣрей, звѣздъ и различныхъ чудовищъ; въ этихъ изображеніяхъ видна какая-то дикая фантазія, любящая необычайное. Каѳедра на лѣвую руку безъ колоннъ тоже съ мозаиками: съ одной стороны, какое-то морское чудовище, а съ другой — должно быть, китъ, съ Іоною въ пасти. Двери церкви XII вѣка, кажется, 1176 г. (если не ошибаюсь въ единицѣ), съ надписью, всѣ украшены въ маленькихъ четвероугольникахъ изображеніями: тамъ сидитъ мадонна, или идетъ какой святой; тамъ двое со щитами въ рукахъ, въ одеждахъ, похожихъ на короткіе русскіе кафтаны, дерутся какими-то палками: тамъ, вѣроятно, св. Георгій на конѣ поражаетъ змія, а тамъ какая-то фигура натягиваетъ лукъ. Изображенія отличаются неумѣлостью; сюжеты обозначаютъ духъ воинскій и суровый. Уже становилось темно; въ обширной церкви раздавались звуки органа, кругомъ тишина пустыни и сумерекъ! За церковью развалины какого-то средневѣкового зданія: стѣны украшены столбиками изъ глины, далѣе ворота, сквозь башню, какъ въ нашемъ Кремлѣ — это башня съ круглымъ сводомъ, со столбиками и по сторонамъ съ какими-то мраморными фигурами стариковъ съ чашами или вазами. Проводникъ говоритъ, что это изображенія четырехъ временъ года; не потому ли такъ думаютъ, что всего четыре фигуры, а не болѣе или менѣе; впрочемъ, онѣ такъ изуродованы, что трудно, кажется, сказать о нихъ что-нибудь положительное. Черезъ длинную

аллею, покрытую виноградными вѣтвями съ висящими кистями, вошелъ я во внутренность или, лучше сказать, atrium зданія: темноватый портикъ подъ сводами, съ частыми въ два ряда тоненькими мраморными колоннами; онъ съ трехъ сторонъ окружаетъ внутренность весьма тѣснаго двора; съ четвертой стороны, изъ виноградника, разсматривалъ я наружность портика: вверху двойной рядъ колоннъ сходится продолговатымъ полукругомъ съ острою вершиною; выше на стѣнѣ изъ штукатурки извиваются круги; еще выше рядъ маленькихъ витыхъ колоннъ. Темнота и таинственность царствовали подъ этимъ темнымъ портикомъ: сумерки еще больше тому способствовали. А вотъ съ другой стороны и садъ невѣдомыхъ жильцовъ этого зданія, съ прекрасною террасою вдоль моря, которая оканчивается бесѣдкою съ витыми колоннами на львахъ, по сторонамъ, съ каменнымъ столомъ посреди, украшеннымъ арабесками. Виноградныя лозы изобильно осѣняютъ террасу. Прямо разстилается далеко внизу безконечное море; влѣво ближнія скалы съ маленькими городами на ихъ ребрахъ и далекая полоса береговъ Калабріи.

„Въ воскресенье, двадцатаго сентября, рано поутру до восхода солнца, разбудили меня моряки. Желая ли видѣть далекій берегъ Италіи, освѣщенный восходящимъ солнцемъ, или еще болѣе, можетъ быть, подъ вліяніемъ стиховъ Тасса, которые наканунѣ читалъ я, какъ Ринальдъ передъ своимъ геройскимъ подвигомъ любовался на восходъ солнечный, поѣхалъ я на лодкѣ въ далекое море посмотрѣть, какъ встаетъ солнце изъ-за горъ Салернскихъ. Но волны поднимались выше и выше, съ юго-запада неслись черныя тучи, тогда какъ за горами востокъ яснѣлъ рождающеюся зарею, лодка наша сильно колыхалась отъ напора волнъ. Нѣтъ! нужна была Ринальдова твердость побѣдить чувственные инстинкты, чтобы насладиться прекраснымъ восходомъ дневного свѣтила: у меня недостало рѣшимости пуститься далѣе, и лодка быстро понеслась назадъ; волны по временамъ хлестали въ лодку.

„Потомъ отправился я въ капуцинскій монастырь. Огромные камни, лежащіе подъ нимъ далеко въ морѣ, кажутся остатками тѣхъ, которыми когда-то гиганты разили въ небо. Портики на дворѣ монастырскомъ съ двойными колоннами (т.-е. въ два ряда). Виды съ террасы чудесные: и городъ, и скалы, и далекое море съ берегомъ; недостаетъ въ ландшафтѣ только одного — самого монастыря, который кажется мнѣ главнымъ украшеніемъ вида на городъ. Стоя у монастырскаго грота, смо-

трѣлъ я на утреннюю зарю, какъ солнце изъ облаковъ бросало свои цвѣтистые лучи на отдаленные берега. Не думаю, чтобы было много гротовъ, живописностью своею равняющихся съ пещерою капуцинскаго монастыря въ Амальфи: природа будто нарочно вылила ее изъ металла съ различными фигурами сталактитовъ, загнутыми, круглыми, тянущимися вдоль и висящими въ высотѣ: подобные узоры случайно выливаются въ стаканѣ воды изъ воску, когда на святкахъ дѣвушки гадаютъ о своей судьбѣ. Надобно же было, чтобы, какъ нарочно, этотъ гротъ образовался на планѣ полукруга, подъ сводомъ въ видѣ алтарной абсиды! Природа же постаралась вдоль всей стѣны грота кругомъ выбить уступъ, а монахи въ религіозномъ усердіи разставили на немъ въ натуральную величину раскрашенныя фигуры мадонны и разныхъ святыхъ. Тутъ же около изъ каменистой стѣны пробивается какое-то деревцо,— кажется, фиговое. Посреди грота водружены три неискусно сработанные креста, вышиною вдвое больше человѣческаго роста. Кажется, сама природа создала эту пещеру для божественнаго алтаря, а капуцины, чувствуя все великолѣпіе, которымъ убрала природа этотъ нерукотворенный храмъ, не дерзнули украсить его ухищреніями искусства и только осѣнили его водруженіемъ деревянныхъ крестовъ съ тѣми немудреными статуями мадонны и святыхъ.

Есть вещи, которыя не забываются вовѣки. На возвратномъ пути, подъѣхавъ къ Punta di Conca, лодка наша была на пути къ гибели; скалы, разимыя волнами, въ своихъ пещерахъ издавали глухой, страшный ревъ, а брызги взносились выше высокихъ деревьевъ. Было страшно. Тутъ узналъ я, о чемъ думаютъ, когда, умирая, прощаются съ жизнью".

29-го сентября, десять часовъ вечера. — „Сегодня, вѣроятно, въ послѣдній разъ ходилъ я на Capo di Monte. Жаль мнѣ было итти по этимъ извилистымъ тропинкамъ подъ густыми вѣтвями непрестанныхъ садовъ, безъ Тасса, котораго уже я такъ привыкъ читать, ходя здѣсь; хотя его уже и кончилъ я, однако взялъ и читалъ о садахъ Армидиныхъ, гуляя между садами Тассовой родины. Подъ наитіемъ очарованій и прельщеній жилища этой волшебницы, взошелъ я на Capo di Monte и сѣлъ на свой обычный камень, на которомъ мѣста для сидѣнья такъ ловко истерты, вѣроятно, отъ давняго употребленія. Прямо подо мною Marina di Sorrento, которую я такъ люблю, съ ея тремя гротами и лѣстницею на аркахъ, на подобіе той, какая пристроена снаружи къ помпейскому амфитеатру; далѣе идетъ уса-

енная оранжами долина, берегъ которой опоясанъ городскою
гѣною. Далѣе — вотъ монастырская церковь; она весь день
ь растворенными дверьми: иди къ Богу безъ всякаго доклада,
ыла бы лишь на то своя воля. Еще далѣе бѣлѣется гостиница
Сирена", а за ней домъ Тассовъ. А это длинное зданіе, съ
алконами и окнами на дворъ — женскій монастырь. Съ улицы
ъ неприступенъ, какъ крѣпость во время войны.

„Счастливо было мое посѣщеніе Capo di Monte. Небо на-
радило меня прекраснѣйшимъ закатомъ солнца. Безчисленныя
блака, разнообразно испещренныя, подобно цвѣтамъ на лугу,
ыли разбросаны по нѣжно-голубому небу. Чѣмъ ближе къ сто-
онѣ заката, тѣмъ ярче и живѣе пестрѣли краски; роскошная
мѣсь оранжеваго и лиловаго съ блестяще-голубымъ и серебря-
ымъ. Радужное небо неутомимо влекло къ себѣ мои жаждущіе
зоры, которые однако напрасно искали чудотворнаго виновника
того безподобнаго зрѣлища: солнце какъ бы не желало сво-
мъ блескомъ поражать мои взоры, чтобы не нарушить все-
бщей гармоніи; подобно скромному неизвѣстному благодѣтелю,
крывалось оно отъ меня за высокими горами. О, какъ пре-
расно было тогда небо! О, чудная страна! Какъ не любить
ебя, когда въ тебѣ впервые постигъ я всю небесную красоту!
лѣво отъ меня закатывалось солнышко, прямо противъ меня —
ихое море съ дымящимся Везувіемъ: красы природы неизмѣнныя,
ь которыми уже я такъ сроднился. Вправо — равнина Сор-
ентская. Здѣсь все прекрасно: и небо, и море, и земля! До
ихъ поръ еще не насладился я досыта, любуясь на долину
оррентскую; спокойная грація, ласковая красота царствуютъ
а ней; самое море кажется громаднымъ зеркаломъ, въ кото-
ое глядятся съ низкаго берега опушающія его зеленѣющія де-
ева. Суровыя, высокія горы виднѣются за другими вдалекѣ,
то для того только, чтобы оградить и защитить собою пре-
расную равнину, которая, разстилаясь едва замѣтнымъ къ морю
катомъ и уютно поднимаясь на пригорки, вся кажется по-
стинѣ райскимъ садомъ.

„Въ Сорренто есть прекрасная долина, или, точнѣе сказать,
врагъ, вдоль котораго прогулка всегда наполняла мое сердце
еизъяснимымъ удовольствіемъ. Разнообразная зелень пышными
истями, какъ изъ рога изобилія, виснетъ по берегамъ оврага,
тамъ, гдѣ оба берега ближе сходятся, за густою листвою со-
сѣмъ не видать дна, вмѣсто котораго взоръ нѣжно упадаетъ
а зеленѣющее нѣдро растеній. Живописные мостики, тамъ и

сямъ небрежно перекинутые черезъ оврагъ, роскошно убраны вѣнками, гирляндами и густыми кистями зелени, а тамъ, на самомъ низу оврага, гдѣ онъ развѣтвляется, свѣтится огонекъ въ часовнѣ съ мадонною: природа и искусство, кажется, нарочно согласились заодно, общими силами, произвести восхитительный ландшафтъ".

Сентября 30-го. — „Тотъ же день, т.-е. двадцать седьмого сентября, когда я былъ въ послѣдній разъ въ Помпеѣ, знаменитъ въ моей жизни и тѣмъ, что, идя изъ Помпеи пѣшкомъ въ Castelamare, я кончилъ Тасса. Помню, какъ я читалъ тогда о примиреніи Армиды съ Ринальдомъ, мѣсто самое трогательное и нѣжное. Позади меня дымящійся Везувій казался сѣдымъ отъ золы, серебрящейся подъ солнечными лучами; передо мной широкими волнами поднимались высоты за Castelamare; до сихъ поръ не видалъ я горъ, такъ роскошно осѣненныхъ свѣжею зеленью, какъ Monte Sant Angelo. Нѣжно успокоивался взоръ мой на тучной его зелени, которая, то стемняясь до черныхъ полосъ въ долинахъ, лежащихъ въ прохладной тѣни, то блестя ярко-зеленымъ на ихъ окраинахъ, освѣщенныхъ солнцемъ, казалась бархатною мантіею, накинутой густыми складками. Несмотря на занимательность поэмы, глаза мои, невольно отрываясь отъ книги, жадно стремились блуждать по живописнымъ холмамъ и долинамъ".

Неаполь, 4-го октября. — „Послѣднимъ посѣщеніемъ въ окрестностяхъ Неаполя вчера былъ Камальдольскій монастырь, стоящій на вершинѣ высокаго холма. Я ѣхалъ на ослѣ, сперва подъ навѣсомъ виноградныхъ лозъ, отягощенныхъ спѣлыми гроздями, которыя висѣли какъ разъ надъ моей головою, а потомъ черезъ густую каштановую рощу. Пріѣхавъ, сначала въ церкви отстоялъ службу монаховъ, пѣвшихъ густыми, протяжными басами, и отъ всего сердца помолился вмѣстѣ съ братіею на ея вечерней молитвѣ. Изъ церкви вышелъ на монастырскую террасу надъ крутымъ обрывомъ скалы. Солнце уже клонилось къ западу, разливая далеко вокругъ себя ослѣпительное золото. Вмѣстѣ съ закатывающимся солнышкомъ, и я прощался съ этою чудною страною, и съ Сорренто, и съ Искіею, въ которыхъ я провелъ столько блаженныхъ часовъ, и съ Неаполемъ, и съ Помпеею, гдѣ столькому я научился, и съ озерами, и съ пригорками Пуццольскими, по которымъ я часто гуливалъ, и съ заливомъ Байскимъ, вдоль котораго еще наканунѣ я дѣлалъ свои археологическія наблюденія. Прямо передо

мною рядъ заливовъ, острововъ, озеръ отъ Камальдоло до Искіи представлялъ чудное смѣшеніе земли и моря; направо — безконечный берегъ Италіи терялся между моремъ и землею; далекіе маленькіе острова казались птичками, мелькающими по пространству, наполненному парами заходящаго солнца. Влѣво панорама заключалась Везувіемъ, вправо — необозримымъ пространствомъ Италіи, съ равнинами и горами, берегами и моремъ; вся даль синѣла. Проводивъ съ небосклона солнышко, отправился я домой. Вечеромъ при лунномъ сіяніи въ послѣдній разъ гулялъ я по Villa Reale и сидѣлъ на террасѣ. Прощай, Неаполь! Черезъ часъ я тебя оставляю и, можетъ быть, навсегда!“

XIX.

Въ началѣ октября 1840 г. переселились мы съ береговъ Неаполитанскаго залива въ Римъ, гдѣ прожили семь мѣсяцевъ до конца апрѣля 1841 г. Въ теченіе двухъ лѣтъ это уже третій разъ судьба приводитъ меня въ стѣны вѣчнаго города.

Въ первый разъ, какъ вамъ уже извѣстно, мы останавливались въ немъ только проѣздомъ, всего на нѣсколько дней, и успѣли осмотрѣть наскоро, въ общихъ чертахъ, самыя крупныя изъ его примѣчательностей, такъ что въ моихъ путевыхъ запискахъ, набросанныхъ тогда впопыхахъ, я ничего не могу найти такого, что̀ освѣтило бы и прояснило мои смутныя воспоминанія о первыхъ впечатлѣніяхъ, которыя, вѣроятно, поразили меня тогда необычайною силою. Помнится только, что я просто-напросто былъ совсѣмъ ошеломленъ. Но вотъ что любопытно и странно, что изъ всей этой головокружительной сумятицы живо и ярко запечатлѣлся въ моей памяти одинъ случай, который я въ свои записки не внесъ. Это было въ колоссальныхъ развалинахъ Каракалловыхъ термовъ. Графъ Строгановъ со своимъ семействомъ и я остановились на широкой полянѣ, покрытой сѣрымъ щебнемъ вперемежку съ зеленою травою. То была нѣкогда одна изъ громадныхъ залъ въ термахъ. Направо саженяхъ въ тридцати отъ насъ поднималась далеко вверхъ громадная стѣна шириною въ крѣпостной валъ. На ея вершинѣ по синему небу при закатѣ солнца вырисовывалась передъ нами въ черныхъ силуэтахъ группа нѣсколькихъ человѣкъ. Въ серединѣ, отдѣлясь отъ прочихъ, стоялъ одинъ, размахивалъ руками и указывалъ имъ то въ ту, то въ другую сторону. Это былъ не кто иной, какъ Отфридъ

Миллеръ, тотъ самый, книга котораго служила мнѣ превосходнымъ руководствомъ по классической археологіи, о чемъ я не разъ говорилъ вамъ. Отправляясь въ Грецію съ ученою цѣлью, онъ остановился на нѣсколько дней въ Римѣ. Графъ, освѣдомясь въ германскомъ археологическомъ институтѣ, что въ извѣстный день и часъ будетъ онъ въ Каракалловыхъ термахъ, повезъ насъ туда же, чтобы показать намъ этого знаменитаго ученаго. Мѣсяцевъ черезъ пять дошло къ намъ въ Неаполь извѣстіе, что Отфридъ Миллеръ скоропостижно скончался въ Греціи.

Я уже имѣлъ случай упомянуть вамъ, что въ маѣ 1840 г. ѣздилъ я изъ Неаполя въ Римъ одинъ на двѣ недѣли, чтобы навсегда съ нимъ проститься. Въ этотъ короткій срокъ я столько исходилъ по всему Риму и его ближайшимъ окрестностямъ, по церквамъ, дворцамъ и виллямъ, по галереямъ и музеямъ, по развалинамъ и всякимъ другимъ урочищамъ, я столько насмотрѣлся всего и перечувствовалъ, столькому научился, что иному не поспѣть бы за мною и въ два мѣсяца. Заранѣе составилъ я себѣ планъ съ обдуманно строгимъ выборомъ, что̀ надобно мнѣ въ Римѣ осмотрѣть и гдѣ быть, и не ограничивался бѣглымъ обзоромъ, даже по нѣскольку разъ побывалъ тамъ и внимательно изучалъ то, что̀ особенно меня интересовало и что̀ казалось мнѣ самымъ важнымъ и необходимымъ. Въ головѣ моей крѣпко засѣла всего меня охватившая мысль, что этихъ сокровищъ знанія и образованія я уже потомъ никогда не увижу. Двѣ майскія недѣли слились для меня въ одинъ торжественный праздникъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мое ликованіе растворялось унылымъ ожиданіемъ разлуки.

Чтобы дать вамъ наглядное понятіе о тогдашнемъ расположеніи моего духа, привожу изъ моихъ путевыхъ записокъ двѣ выдержки.

Римъ, 16-го мая 1840 г.[1]). — „Есть на землѣ счастье! Возвышеннѣе и блаженнѣе того, какое я вкушалъ сегодня, не могу себѣ и представить! Я опять въ Римѣ... Городъ городовъ, столица столицъ, городъ, освященный и исторіей, и искусствами, и судьбою, и религіею!

„Въ три часа пополудни, за 15 миль, показался намъ на отдаленномъ горизонтѣ этотъ чудесный городъ. Я сидѣлъ въ передней коляскѣ дилижанса и потому могъ наслаждаться вполнѣ необъятною панорамою, которая открылась намъ съ послѣдняго

[1]) По нашему стилю 4-го мая.

уска на огромную равнину, на которой лежитъ Римъ. Вправо солнечномъ туманѣ волновались граціозными линіями горы, анчиваясь пригорками, за которыми вновь поднимались въ манной дали другія горы; передъ нами разстилалось изгибаюеся холмами широкое поле; Рима еще не видать было за больмъ холмомъ влѣво; когда же мы обогнули его, вдали на нцѣ горизонта открылась темноватая полоса, которою раскился вдали Римъ: зданія сливались въ одну сплошную массу, только одинъ св. Петръ своимъ куполомъ возносился надъ ой полосой, подобно вѣщей головѣ сказочнаго исполина, лещей на костяхъ всемірнаго побоища народовъ, и высоко ривался по синему небу; все исчезало въ пространствѣ и слилось съ землею, отъ которой величаво поднимался куполъ ликаго храма храмовъ.

„Такъ вѣрою возносится человѣческая душа надъ сутолокою итейскихъ заботъ".

31-го мая. — „Послѣдній день прекраснаго мая моей жизни! акъ подумаю, что, можетъ быть, послѣдній разъ въ жизни шу въ Римѣ, сердце такъ и обливается кровью и жмется съ неразимою тоскою! Какъ велики, какъ священны для сердца ловѣческаго первый и послѣдній разъ! Такъ всегда сладко рвое свиданіе и такъ горька разлука! Разстаться съ Римомъ? егко сказать. Это одно и то же, что навсегда уже отказаться ъ всего великаго и прекраснаго въ мірѣ и жить только воспоиманіями прошедшаго. Какъ сумасшедшій, какъ страстный любникъ, прощался я сегодня съ св. Петромъ, Сикстинскою каллою, ложами Рафаэля"... и такъ далѣе, въ томъ же выспреннемъ илѣ восторженныхъ диѳирамбовъ вперемежку съ трогательми элегіями.

Когда съ Соррентской равнины переѣхали мы въ Римъ, насъ видало вполнѣ уже приготовленное курьеромъ де-Мажисомъ мѣщеніе съ мебелью и со всевозможными удобствами въ двухъ ажахъ дома, который назывался „casa Dies". Онъ образуетъ бою уголъ двухъ улицъ, via Gregoriana и via Sistina, котоій выходитъ на небольшую площадь, отлого спускающуюся изъ; ся верхняя часть, гдѣ мы жили, называется „Capo-le-se". Via Gregoriana, на которую обращенъ былъ фасадъ наей квартиры, господствуетъ надъ низменностью лучшихъ кварловъ Рима съ главною улицею Corso; послѣдняя, раздѣляя ъ, тянется прямою линіею съ сѣвера на югъ отъ воротъ годской стѣны съ такъ называемою Народною площадью (piazza-

dei-Popoli) и до самаго Капитолія. Къ сѣверу, направо отъ насъ, минуты въ двѣ-три дойдешь до площади съ церковью Trinità-di-Monte и съ великолѣпною мраморною лѣстницею, спускающеюся уступами площадокъ на Испанскую площадь (piazza di-Spagna), а отъ той церкви тотчасъ же начинается городское гулянье на Monte Pincio по тѣнистымъ аллеямъ и лужайкамъ, обрамленнымъ изгородью душистыхъ петаспорумовъ и оливъ; кое-гдѣ высоко подымаются голенастыя пальмы со своими развѣсистыми, длинными вѣтвями въ видѣ перьевъ. Къ югу, налѣво отъ насъ, по via Sistina, минутъ черезъ пять будешь у дворца Барберини съ площадью того же названія, на которой стоитъ капуцинскій монастырь. А если спуститься по нашей площадкѣ, т.-е. къ западу, то тутъ же направо будетъ вамъ знаменитая пропаганда съ институтомъ всесвѣтныхъ миссіонеровъ, а налѣво черезъ нѣсколько домовъ — не помню какой-то улицы — очутишься на небольшой площади, которая вся занята громаднымъ фонтаномъ Треви со скалами, по которымъ стремятся потоки, и съ мраморными статуями античныхъ божествъ.

Я уже сказалъ вамъ, что мы размѣстились въ двухъ этажахъ. Я жилъ въ верхнемъ этажѣ. Въ моей комнатѣ вмѣсто оконъ были двѣ стекольчатыя двери, выходившія каждая на свой балкончикъ, такъ что, находясь у себя дома, я всегда могъ любоваться безподобною панорамою западной части Рима.

Вотъ вамъ выдержки изъ моего римскаго дневника въ томъ же выспреннемъ стилѣ, только уже безъ минорныхъ нотъ.

Римъ, 13-го ноября. Утро. — „Чѣмъ бы ни пожертвовалъ я прежде, чтобы взглянуть хоть минуту на зрѣлище, которымъ теперь я могу ежедневно любоваться съ балконовъ передъ моими окнами. Римъ широко разстилается по равнинѣ и потомъ легко поднимается къ холмамъ Ватикана и Яникула, на которыхъ дворцы и виллы, подобно цвѣткамъ, тамъ и сямъ возникаютъ, разноцвѣтные, изъ густой зелени. О, какъ прекрасна эта часть города поутру, освѣщаемая розовыми лучами только что проснувшагося солнышка! А Великій Святой Петръ весь, кажется, облитъ неземнымъ свѣтомъ вышнихъ силъ, ликуя въ радостномъ розовомъ сіяніи, отъ котораго тѣмъ ярче выступаютъ по нѣжному утреннему небосклону его прекрасныя формы. Сейчасъ насладился я такимъ зрѣлищемъ; иду на балконъ взглянуть еще разъ!“

19-го ноября. — „Зрѣлище величественное! Съ своего балкона сейчасъ смотрѣлъ я, какъ нисходили первые лучи восхо-

дящаго солнца на святого Петра: сначала освѣтился фонарь, потомъ, мало-по-малу, куполъ и наконецъ все зданіе съ сосѣднимъ Ватиканомъ. За Святымъ Петромъ все было сумрачно, тогда какъ онъ самъ горѣлъ розовымъ сіяніемъ: вотъ истинный символъ церкви! Такъ нисходитъ Святой Духъ на освященный алтарь, вѣрилъ я тогда въ преизбыткѣ глубокаго умиленія. Кстати пришлось, что передъ такимъ чудомъ природы я, какъ нарочно, во второй пѣснѣ „Пургаторія“ читалъ о лучезарномъ явленіи ангела. Но такъ высока и исполнена поэзіи моя дѣйствительность, что сейчасъ видѣнное мною предпочитаю сказанному даже самимъ Дантомъ“...

Въ Римѣ распредѣлялся день нашъ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ Неаполѣ.

Значительно осложнились и расширились въ Римѣ мои интересы, задачи и ученыя занятія. До сихъ поръ я былъ вполнѣ сосредоточенъ въ себѣ самомъ и не чувствовалъ ни малѣйшей потребности въ сношеніяхъ съ людьми; ничего другого я не видѣлъ и не хотѣлъ видѣть, кромѣ памятниковъ искусства, кромѣ многовѣковыхъ развалинъ, которыхъ значеніе и характеръ я такъ любилъ разгадывать, — наконецъ, кромѣ восхитительной природы, съ тѣхъ поръ, какъ я почуялъ безконечное разнообразіе ея красотъ. Съ людьми я сносился только мимоходомъ, съ встрѣчными и прохожими, и то лишь для разспросовъ, куда итти, или какъ пройти, что̀ тамъ такое, и для чего оно, или какъ оно называется и т. п. Несмотря на мою врожденную застѣнчивость и нелюдимость, теперь, когда я очутился въ оригинальной обстановкѣ римской жизни, я почувствовалъ потребность короче сблизиться съ мѣстными обывателями, съ ихъ нравами и обычаями и со всѣми мелочами ежедневнаго обихода.

Папская столица, мнѣ казалось, жила еще тогда жизнью среднихъ вѣковъ, нѣсколько подкрашенною вкусами и манерами временъ Ришельё и Людовика XIV. Куда ни пойдешь, повсюду аббаты и разновидные монахи въ своихъ бѣлыхъ, черныхъ и коричневыхъ рясахъ, а то кардиналъ въ своемъ багровомъ облаченіи или какой другой вельможный прелатъ ѣдетъ въ высокой позлащенной каретѣ на красныхъ колесахъ, съ нарядными гайдуками. Такія колымаги можно видѣть теперь въ московской Оружейной палатѣ или въ какомъ-нибудь историческомъ музеѣ. Зайдешь куда въ лавку, а тамъ ужъ непремѣнно торчитъ монахъ; пойдешь поутру бриться въ цырюльню, а тамъ уже си-

дятъ аббаты съ намыленными щеками и подбородкомъ, подвязанные бѣлыми салфетками. Разъ далъ я цырюльнику наточить мою бритву съ черенкомъ изъ слоновой кости; вмѣсто этой воротилъ онъ мнѣ чужую съ черенкомъ изъ дешеваго костянаго матеріала съ нацарапанной подписью: „Padre Travaglini“. Такъ и привезъ я съ собою въ Москву клерикальную бритву, которою я и пользовался до тѣхъ поръ, пока съ разрѣшенія эмансипаціи пересталъ брить бороду. Однажды случилось мнѣ быть на аукціонѣ въ книжномъ магазинѣ Аркини на Корсо. Предварительно у себя на дому внимательно просмотрѣлъ я каталогъ продаваемыхъ съ молотка книгъ и отмѣтилъ себѣ болѣе любопытныя для меня и рѣдкія. Заблаговременно являюсь къ Аркини. Магазинъ наполняется толпою преимущественно изъ канониковъ и аббатовъ. Начинается аукціонъ по каталогу. Я слѣжу нумеръ за нумеромъ. Идетъ подъ молотокъ дрянь за дрянью или вещи вовсе мнѣ не нужныя, но, какъ нарочно, все отмѣченное мною вмѣстѣ съ другими рѣдкостями освобождается отъ аукціонной переторжки и выдается прямо въ руки то тому, то другому изъ святыхъ отцовъ. По окончаніи аукціона я обратился къ хозяину магазина за разъясненіемъ непонятныхъ для меня порядковъ такой распродажи и получилъ отъ него въ отвѣтъ, что тѣ книги и многія другія были уже куплены тѣми лицами заранѣе.

Авторитетъ католической церкви еще поддерживался тогда всевозможными средствами, и въ великомъ, и въ маломъ, и обаяніемъ торжественныхъ церемоній и крестныхъ ходовъ, и разными ухищреніями и фокусами для возбужденія сантиментальныхъ ощущеній и суевѣрія. На Корсо, самой многолюдной изъ римскихъ улицъ, у наружной стѣны великолѣпнаго дворца, на тротуарѣ я видѣлъ нѣсколько дней сряду лежащаго на соломѣ изможденнаго старика, прикрытаго дырявымъ рубищемъ, въ плачевномъ образѣ ветхозавѣтнаго Іова или евангельскаго Лазаря. Проходящіе мимо останавливались и, сострадательно умиляясь, каждый бросалъ свою лепту на рубище этого живописнаго олицетворенія нищеты. Съ другою курьезною сценою на томъ же Корсо вы можете познакомиться изъ слѣдующаго эпизода моихъ путевыхъ записокъ.

Римъ, 15-го января. — „Сегодня, идя по Корсо, увидѣлъ я узенькій, но высокій ящикъ, какъ шкафъ съ отворенными половинками; въ немъ стоитъ восковая статуя старика; все платье на немъ изувѣшено разными амулетками. Это былъ ка-

ой-то святой, а женщина торговала какими-то бумажками и нурочками, приложивъ ихъ сначала къ рукѣ восковой фигуры. При этомъ она перечитывала заученную рѣчь, въ которой объясняется польза этихъ амулетокъ, что, нося ихъ и читая таія-то и такія-то молитвы, никто не умретъ, не принявъ свяыхъ Таинъ, и въ концѣ присовокупляла, что эта чудодѣйственная умажка, ведущая къ спасенію души, стоитъ всего одинъ бакъ [1]). Какой-то простакъ-мужичокъ въ синемъ плащѣ, убѣившись похвалами женщины своему товару, изъ толпы подалъ абожный голосъ и купилъ амулетку, потомъ, поцѣловавъ ее, оложилъ въ карманъ. Еще какая-то женщина купила другую ія своей маленькой дѣвочки. Отойдя, я думалъ о продажѣ апскихъ индульгенцій, о веронскихъ галстукахъ и о новозобрѣтенныхъ ваксахъ и мылахъ, которыя расхваливаютъ правцы по римскимъ улицамъ".

Католичество я понималъ и къ нему относился по-своему. Какъ православный русскій человѣкъ, я, разумѣется, рѣшительно не признавалъ догмата папской непогрѣшимости и папскаго главенства. Это убѣжденіе, вкорененное во мнѣ еще на одинѣ, я укрѣпилъ въ себѣ въ самой Италіи великимъ для меня авторитетомъ Данта, который велъ ожесточенную борьбу съ римскими намѣстниками святого Петра и немилосердно порамлялъ, громилъ и казнилъ ихъ въ своей Божественной Комедіи, но при всемъ томъ оставался онъ въ моихъ глазахъ амымъ лучшимъ и преданнѣйшимъ изъ католиковъ, священную оэму котораго даже въ Италіи когда-то прочитывали въ церквахъ съ каѳедры, несмотря на то, что ея авторъ подвергался апскому проклятію и отлученію отъ церкви. Не углубляясь въ разногласія богословскихъ догматовъ, отдѣлившія западное атоличество отъ нашего православія, за отсутствіемъ русскихъ церквей, я усердно молился и въ итальянскихъ, ничего не находя въ этомъ предосудительнаго для своей религіозной совѣсти. Молятся же подъ открытымъ небомъ чумаки, остановясь со своимъ обозомъ на широкомъ раздольѣ степей, или плавающіе по морю на корабельной палубѣ.

Еще въ аудиторіяхъ московскаго университета изъ лекцій Шевырева и Погодина я вынесъ съ собою въ Италію высокое

[1]) Въ то время монетная система была въ Италіи не та, что теперь. Въ Римѣ нашему серебряному рублю соотвѣтствовалъ скудо и равнялся полутора рублю; раздѣлялся на десять паоловъ (paolo), а каждый изъ нихъ на десять баіоковъ. Въ Неаполѣ вмѣсто скудо ходилъ піастръ, цѣною въ нашъ рубль; въ немъ было десять карлиновъ, а въ каждомъ карлинѣ по десяти торнезе.

понятіе о вѣротерпимости нашего православнаго народа. Только извергнутые изъ среды его раскольники и сектанты отличаются отъ него своимъ упорнымъ изувѣрствомъ, къ которому наклонно и католичество въ своихъ крайностяхъ пропаганды, вооруженной огнемъ и мечомъ, іезуитствомъ и инквизиціею. Отличнымъ образцомъ качествъ русскаго народа былъ для меня въ Италіи тотъ же милый и простодушный Пашоринъ, который оберегалъ меня въ морскихъ волнахъ, когда мы купались въ нашемъ заливчикѣ у Соррентской равнины. Хотя онъ брилъ бороду и носилъ сюртукъ, даже умѣлъ читать и съ грѣхомъ пополамъ писать, но нравомъ, обычаями и складомъ ума былъ какъ есть русскій самородный крестьянинъ, средняго роста, плотный и коренастый. Я уже говорилъ вамъ, что, живучи на виллѣ близъ Сорренто, я часто заходилъ въ тамошнія церкви помолиться. Однажды рано поутру отправился я къ обѣднѣ въ капуцинскій монастырь. Народу было немного; кто сидитъ на скамьѣ, кто стоитъ на колѣняхъ, и, къ великому моему удивленію, между колѣнопреклоненными я сзади призналъ тучную и сутулую фигуру своего Пашорина. Онъ отличался отъ другихъ широкими взмахами правой руки, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ежеминутно клалъ земные поклоны, встряхивая каждый разъ голову на крестьянскій манеръ, когда поднималъ ее отъ поклона. По окончаніи обѣдни мы пошли вмѣстѣ домой. На мое одобреніе его вѣротерпимой набожности онъ отвѣчалъ мнѣ, что не видитъ въ этомъ ничего особеннаго, а ходитъ онъ къ обѣднѣ въ итальянскія церкви потому, что здѣсь нѣтъ русскихъ, молиться же Богу вездѣ хорошо: вѣдь сказано, что „на всякомъ мѣстѣ владычество Его“. И въ Римѣ, когда рано поутру до кофею иной разъ во время прогулки заходилъ я въ ближайшія къ намъ церкви, иногда заставалъ то въ той, то въ другой изъ нихъ усердно молящагося Пашорина: онъ всегда стоялъ на колѣняхъ по обычаю итальянцевъ, но ни разу не видѣлъ я его сидящимъ на церковныхъ скамейкахъ. Особенно изумилъ меня до умиленія одинъ благочестивый его подвигъ. Въ Римѣ около Латеранской базилики съ баптистеріемъ равноапостольнаго царя Константина, гдѣ, по преданію, онъ принялъ святое крещеніе, стоитъ одна капелла, называющаяся Святою Лѣстницею (Santa Scala). Въ давнія времена переведена была въ Римъ изъ Іерусалима та мраморная лѣстница, по которой восходилъ самъ Іисусъ Христосъ, когда вели его во дворецъ къ Пилату; именно для нея и была построена та капелла. Со стороны фасада, обра-

ценнаго къ Латеранской базиликѣ, она открыта во всю ея лину и высоту въ родѣ портика подъ навѣсомъ, который упи-ается на стѣны зданія и на два столпа по обѣимъ сторонамъ. Все это пространство портика, какъ сказано, открытое наружу, анято тою лѣстницею Пилата, такъ что, поднимаясь по ней, удто идешь въ его іерусалимскія палаты. Но такъ какъ благо-естіе воспрещало попирать ногами тѣ ступени, которыя самъ Христосъ освятилъ своими слѣдами, то богомольцамъ дозволяется одниматься по ней не иначе, какъ на колѣнкахъ, что составляетъ немалый подвигъ религіознаго усердія, потому что въ лѣстницѣ будетъ по малой мѣрѣ ступеней до сорока. Когда остигнешь ея вершины, очутишься на площадкѣ во всю ши-ину лѣстницы передъ входомъ въ самую капеллу, которая азывается Святая Святыхъ (Sancta Sanctorum), потому что одержитъ въ себѣ большое количество реликвій и разныхъ вятынь. Для тѣхъ, кто не можетъ или не хочетъ всползать юда на колѣнкахъ, по обѣимъ сторонамъ лѣстницы, отдѣлен-ымъ отъ нея упомянутыми столпами, всѣ ступени снизу до ерху облицованы деревомъ, которое дозволено попирать но-ами. Однажды проходя мимо этого зданія, къ великому моему дивленію, между богомольцами, ползущими вверхъ по лѣстницѣ, ижу своего Пашорина, какъ онъ, грузно упираясь руками и арабкаясь съ медленной выдержкой, переваливаетъ по сту-енямъ одну колѣнку за другой. Чтобы встрѣтить его на верхней лощадкѣ, я взбѣжалъ туда по облицованному краю лѣстницы. Когда онъ, наконецъ, доползъ до помоста, на которомъ я его оджидалъ, насилу могъ онъ приподняться съ колѣней и едва ержался на ногахъ; его качало изъ стороны въ сторону, потъ радомъ катился съ его лица. Онъ совсѣмъ ошалѣлъ, будто ичего не видитъ и не слышитъ, а когда замѣтилъ меня, оскла-ился своей ясной, широкой улыбкой и промолвилъ: „Какъ орошо! И вы здѣсь! Это все равно, что на часокъ побывать ъ святомъ Іерусалимѣ“. Послѣ я узналъ отъ него, что почти аждую недѣлю онъ совершалъ свое пилигримство по Святой Лѣстницѣ.

Нечего грѣха таить, я любилъ посѣщать римскія церкви, и зналъ, и изучилъ ихъ лучше и подробнѣе московскихъ, но алеко не изъ одной набожности, хотя и усердно въ нихъ молился, а изъ ненасытнаго желанія наслаждаться ихъ художе-твеннымъ убранствомъ, разгуливать подъ ихъ высокими сво-ми, по ихъ капелламъ, или, по-нашему, придѣламъ, по ихъ

переходамъ и галереямъ, восхищаясь окружающими меня со всѣхъ сторонъ изящными произведеніями живописи, мозаики и скульптуры. Тогда храмъ превращался для меня въ музей художественныхъ рѣдкостей, и я въ интересахъ науки обогащалъ запасъ своихъ свѣдѣній новыми фактами по исторіи искусства и древностей. Я любилъ присутствовать при церковныхъ обрядахъ и пышныхъ церемоніяхъ, и чѣмъ больше увлекался ихъ необычайною новизною, тѣмъ яснѣе становилось для меня убѣжденіе, что католичество отличается отъ нашего православія не столько богословскими догматами, сколько своимъ потворствомъ человѣческимъ слабостямъ и прихотямъ, уловляя въ свои сѣти суевѣрную паству прелестями изящныхъ искусствъ въ украшеніи церквей и разными пустопорожними затѣями ухищренныхъ церемоній. Тогда храмъ становился въ моихъ глазахъ театральною сценою, а церковнослужители превращались въ искусныхъ актеровъ. Но вотъ вамъ еще нѣсколько отрывковъ изъ моего римскаго дневника.

Римъ, 8-го ноября. — „Сегодня въ монастырской церкви San Silvestro, на улицѣ Conversiti, видѣлъ я посвященіе графини Ру́ффоли въ монахини. Еще до прибытія кардинала были розданы печатные экземпляры сонета, по этому случаю написаннаго какимъ-то поэтомъ. И кардинала Patrici, и посвящаемую встрѣтила торжественная музыка. Затѣмъ капуцинъ сказывалъ проповѣдь, въ подкрѣпленіе обѣту новоизбранной. Особенно мнѣ нравилось начало проповѣди, гдѣ онъ говорилъ объ отношеніи тріумфа къ жертвѣ, о необъятномъ величіи перваго и ничтожности второй. Къ концу онъ весьма кстати удерживается отъ своего слова, дабы не замедлить исполненіе сильнаго желанія посвящающейся скорѣе совершить свой обѣтъ. До сихъ поръ капуцинъ сидѣлъ, но потомъ, воспламеняясь, быстро всталъ съ мѣста и заключилъ свое слово обращеніемъ къ маловѣрному вѣку, изгоняя тѣхъ, кто осудитъ совершаемое теперь въ этомъ храмѣ. Вся эта рѣчь была обращена къ будущей монахинѣ, и потому въ капуцинѣ незамѣтно было того театральнаго кривлянья, которое иногда смѣшитъ въ католическихъ проповѣдникахъ передъ простымъ народомъ. Затѣмъ начался обрядъ постриженія. Наперсница, приносящей обѣтъ, плакала, ея глаза были красны отъ слезъ; сама же графиня Руффоли и въ церковь вошла гордо и твердо, и сидѣла, не движима никакою страстью, потупивъ свои большіе глаза и накрывъ ихъ длинными черными рѣсницами. Она была блѣдна и худа: видно, что долгій пость

молитва предшествовали этому дню. Что-то важное и по-
йное напечатлѣвалось на ея прекрасномъ, чисто римскомъ
чикѣ, и только по временамъ ясная улыбка, подобно лучу
возь облака, освѣщала ея выразительныя черты. Когда кар-
налъ возложилъ на ея голову корону, блестящую алмазами,
своемъ бѣломъ вѣнчальномъ убранствѣ съ длиннымъ шлей-
мъ, она была прекрасна! Онъ вывелъ ее изъ церкви: потомъ
е она появилась за рѣшеткою, позади алтаря. И раздѣвали,
потомъ одѣвали ее въ новую одежду на глазахъ у всѣхъ:
же за рѣшеткою стояла она и потомъ, хотя въ другомъ одѣя-
, но съ тою же блистательною короною на головѣ. Какъ
то недостижимое моему зрѣнію, черты ея стройной фигуры
ькали во мракѣ за рѣшеткою; пѣли пѣвчіе, оркестръ игралъ
экрасно. Вся эта чудная дѣйствительность походила на какую-то
му, съ этой оперной музыкой, съ превращеніями, съ этой
ерсницей, замѣняющей нашихъ дружекъ на деревенской
дьбѣ, и т. п. Мнѣ пришла мысль о греческомъ храмѣ и
трѣ. Да и средніе вѣка такъ и навѣвали на меня своею
ожною мечтательностью сладкія воспоминанія".

29-го ноября. — „Сегодня я былъ за папской обѣдней въ
кстинской капеллѣ. Окна, задернутыя темными занавѣсками,
ливали таинственный полусвѣтъ въ наполненную народомъ
еллу. Мѣстами пробивались въ окна широкими полосами
ечные лучи, а надъ ними изъ полутумана торжественно,
добно вышнему міру, выходили ветхозавѣтныя фигуры Микель-
джело. Нѣкоторые моменты службы были поистинѣ торже-
венны: такъ, когда до двадцати кардиналовъ съ своею свитою
ановились широкимъ полукругомъ передъ алтаремъ и „Страш-
мъ Судомъ" того же Микель-Анджело, и когда папа появлялся,
руженный служителями, облеченными въ красныя одежды, со
южествомъ свѣточей, я думалъ видѣть сонмы святыхъ душъ
ь „Раю" Данта. Такъ католическое великолѣпіе церкви вос-
яли для меня своими художественными образами великій
этъ и великій живописецъ".

25-го декабря. — „О чемъ же, какъ не о празднествахъ
церковныхъ обрядахъ римскихъ, напишу я сегодня, въ день
ждества Христова. Мой день начался Святымъ Петромъ. Самъ
па служилъ въ немъ обѣдню со всевозможнымъ торжествомъ
церемоніями. Народу набралось бездна; но онъ былъ только
сторонамъ; вся средняя часть храма, окруженная строемъ
рдіи, была пуста. Присутствовали королевы испанская и сар-

динская. Дамы сидѣли на приготовленныхъ для нихъ эстрадахъ, одѣтыя всѣ степенно, покрытыя черными вуалями поитальянски. Была торжественная минута, когда всѣ пали ницъ колѣнопреклоненно, и папа совершалъ Св. Тайны. Духовая музыка какой-то торжественной кантатой оглашала своды величественнѣйшаго въ мірѣ храма. Надо видѣть подобное празднество, чтобы судить, до какой торжественности можетъ достигнуть религіозный обрядъ. Глава народа и высшій государственный совѣтъ, жрецы этого торжества, и духовная, и воинская, и гражданскія власти, все преклоняется передъ величественнымъ царемъ-пастыремъ. Возможно ли знать католицизмъ, не отслушавъ папской обѣдни въ Святомъ Петрѣ? Папская церемонія съ десятками кардиналовъ и монсиньоровъ, папа въ храмѣ св. Петра — вотъ что называется католичествомъ. Художественная, живописная и музыкальная религія! Но дѣйствіе и сцена перемѣняются. Послѣ обѣда ходилъ я на Капитолій, въ церковь Ara Coeli. Вся лѣстница чуть не во сто ступеней переполнена была простымъ народомъ и продавцами священныхъ книжекъ, листиковъ съ молитвами, четокъ и образковъ. Вхожу въ церковь: налѣво въ капеллѣ изъ восковыхъ фигуръ въ натуральную величину представлена театральная сцена Рождества Христова — Божія Матерь, младенецъ Христосъ, Іосифъ и колѣнопреклоненные пастухи въ вертепѣ; надъ ними группа играющихъ на инструментахъ и поющихъ ангеловъ въ нѣсколько рядовъ, изъза которыхъ въ свѣтломъ ореолѣ является Господь Саваоѳъ. Все освѣщено свѣчами. Передъ этимъ „presepio“ на небольшой эстрадѣ стоитъ дѣвочка, лѣтъ десяти, въ шляпкѣ и салопѣ, и, размахивая ручками, читаетъ заученную наизусть рацею толпящемуся у ногъ ея народу: она говоритъ и указываетъ на представляемое въ той капеллѣ. Передъ ней сказывала рацею другая, послѣ будетъ еще третья. Въ этомъ обрядѣ проповѣди младенцевъ о рожденіи младенца Христа такъ много простоты, наивности, даже язычества: вотъ что называется католицизмомъ. Мы суровѣе католиковъ, они наивнѣе насъ. И суевѣріе, и причудливость среднихъ вѣковъ сохраняются здѣсь еще нетронутыми. Потомъ отправился я, какъ по обѣщанію, въ Maria Maggiore. Кругомъ стоитъ множество экипажей. Вся церковь блистательно освѣщена, по обѣимъ сторонамъ на каждомъ столпѣ по нѣскольку свѣчей, а ужъ о трибунѣ и говорить нечего. Древнія мозаики со своимъ золотымъ фономъ такъ и горятъ въ блескѣ огней. Звуки органа, соединяясь съ прекраснымъ

пѣніемъ, оглашаютъ громадную церковь, переполненную народомъ. Иные стоятъ смирно, въ благоговѣйномъ настроеніи молитвы; другіе болтаютъ промежъ себя или толкутся изъ стороны въ сторону и заходятъ въ боковыя капеллы. Особенно въ капеллѣ, гдѣ помѣщенъ древній образъ Богоматери, въ тѣснотѣ стоятъ на колѣняхъ и молятся. Вмѣстѣ съ тѣмъ все исполнено праздничнаго веселія: церковь похожа на залу московскаго благороднаго собранія, а между тѣмъ эти колѣнопреклоненные такъ горячо молятся Богу: вотъ что, наконецъ, называется католичествомъ.

7-го февраля. — „Даже сны мои исполнены бываютъ иногда величія, свойственнаго тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя составляютъ мою дѣйствительность. Такъ, нынѣшнюю ночь я видѣлъ страшный сонъ: мнѣ снилось, будто горитъ соборъ св. Петра. Пламень, какъ въ „Неопалимой Купинѣ“ Рафаэля, двумя вѣнцами окружилъ и зданіе, и куполъ великаго собора. Сердце мое разрывалось. Тогда же будто я шелъ въ русскую церковь, но въ ней никого еще не было, только пѣвчіе спѣвались къ обѣднѣ. Всѣ заняты были пагубнымъ событіемъ св. Петра. Тутъ, въ предверіи русской церкви, явилась какая то дама и разсказывала мнѣ про Грецію, откуда только что воротилась, и возбуждала во мнѣ желаніе посѣтить это первобытное отечество искусства. Невольно призадумался я надъ этимъ сномъ, сегодня поутру, гуляя по Monte Pincio. Къ чему эти двѣ церкви — одна горитъ, другая хотя готова къ служенію, но пуста? Къ чему эта Греція? Тутъ же, между прочимъ, мечтался мнѣ эпизодъ въ родѣ Дантовскаго, какъ двое встрѣтились на томъ свѣтѣ, и въ разговорѣ ихъ странное недоразумѣніе, когда одинъ, только что пришедшій изъ земной жизни, считаетъ прожитые года десятками, другой — уже давнымъ-давно преставившійся — столѣтіями. Самое вдохновеніе, о которомъ я вчера писалъ, не есть ли нѣчто въ родѣ подобнаго сна? Помню, что, сознавая и во снѣ свое сновидѣніе, и тогда же находя его достойнымъ поэзіи, я говорилъ себѣ: но вѣдь это не мое; я не могу всего этого описывать, выдавая за свое; эту подробность изъ сновидѣнія я помню ясно. Да чье же все это, что снится? Нельзя ли изъ этихъ мечтаній сновидѣнія переступить къ какому-нибудь вѣрному взгляду на поэтическое одушевленіе?“

Прошу васъ обратить вниманіе на послѣднюю выдержку изъ моего дневника. Что-то тогда смутно копошилось въ моей пылкой, безалаберной головѣ. Долго потомъ не могъ и не

умѣлъ я разобраться въ этой фантастической путаницѣ блуждающихъ идей и загадочныхъ чаяній, пока, наконецъ, по возвращеніи на родину, не привелъ въ ясность тревожившіе меня вопросы. Тогда накропалъ я небольшую статейку и, послѣ многихъ исправленій и передѣлокъ, напечаталъ ее въ мартовской книжкѣ Погодинскаго „Москвитянина“ 1842 г., подъ названіемъ: „Храмъ св. Петра въ Римѣ“. Это былъ самый ранній изъ моихъ литературныхъ опытовъ, который изъ-за юношеской его незрѣлости и напыщеннаго слога я не помѣстилъ въ собраніе позднѣйшихъ этюдовъ, изданное недавно подъ заглавіемъ: „Мои Досуги“. Въ названной статейкѣ я говорю, между прочимъ, и о католичествѣ вообще, не касаясь, однако, его догматической стороны, и указываю въ немъ традиціонные, вѣками накопившіеся подонки язычества и очевидную примѣсь античныхъ идеаловъ и художественныхъ формъ, а храмъ св. Петра приравниваю къ Вавилонскому столпотворенію, отъ котораго пошло смѣшеніе языковъ и разселеніе народовъ по лицу всей земли. Степану Петровичу Шевыреву сравненіе это очень не понравилось тогда, но Михаилъ Петровичъ Погодинъ сказалъ: „ничего, сойдетъ“. Послѣ того, какъ Римъ сдѣлался столицею объединенной Италіи и резиденціею королевской власти, мнѣніе Погодина оправдалось: верховное владычество папы ниспровергнуто, монастыри по всей Италіи упразднены, монахи и монахини изъ нихъ повыгнаны и разсѣяны, а храмъ св. Петра стоитъ въ запустѣніи, и рѣдко, рѣдко когда огласится праздничною церемоніею, лишенною прежней торжественности и царственнаго величія.

Я уже сказалъ вамъ, что по пріѣздѣ въ Римъ я сталъ гораздо сообщительнѣе и почувствовалъ потребность въ знакомствѣ и въ сближеніи съ людьми. Теперь уже не было при насъ моего руководителя и наставника, графа Строганова, который направлялъ мои молодыя силы къ успѣхамъ своими со мною бесѣдами, совѣтами и указаніями. Онъ уѣхалъ въ Москву, завѣдывалъ своимъ учебнымъ округомъ и слѣдилъ за преподаваніемъ въ университетѣ. Теперь волей-неволей пришлось мнѣ пробавляться своимъ умомъ-разумомъ и искать себѣ другихъ руководителей и совѣтниковъ. Сверхъ того, мнѣ хотѣлось потверже укрѣпить свою итальянскую рѣчь въ бесѣдѣ съ людьми начитанными и образованными и сильнѣе овладѣть разнообразными формами богатаго итальянскаго языка, а для всего этого надобно было мнѣ завести себѣ знакомство съ такими людьми.

Первымъ и самымъ главнымъ изъ нихъ былъ извѣстный уже вамъ изъ моихъ воспоминаній Франческо Мази, „Scrittore latino della Biblioteca Vaticana“, по-нашему — помощникъ библіотекаря, завѣдующій отдѣломъ латинскихъ рукописей. Я имѣлъ къ нему изъ Мюнхена рекомендательное письмо отъ Степана Петровича Шевырева, который учился у него говорить по-латыни. Кого же другого могъ я выбрать и для себя лучше, какъ не Франческо Мази, который былъ учителемъ моего дорогого наставника и профессора московскаго университета. Мази охотно принялъ мое предложеніе руководить меня въ практическомъ изученіи итальянскаго языка на чтеніи и разборѣ литературныхъ произведеній, преимущественно старинныхъ, изъ временъ Данта, его предшественниковъ и ближайшихъ послѣдователей. Самъ Мази интересовался этою эпохою и по ватиканскимъ рукописямъ издалъ небольшое собраніе канцонъ, сложенныхъ ранними итальянскими трубадурами. Между прочимъ, я читалъ съ нимъ хронику Дино-Компаньи, Дантова современника, и другую, болѣе обширную — Джіованни Виллани. Но особенно было для меня интересно изданное въ двухъ большихъ томахъ собраніе лирическихъ произведеній итальянскихъ поэтовъ XII и XIII столѣтій. Тутъ я впервые познакомился съ безподобными гимнами и одами самого Франциска Ассизскаго, котораго я уже и прежде успѣлъ полюбить и высоко чествовать по внушеніямъ Данта въ Божественной Комедіи и по мистическимъ изображеніямъ на фрескахъ Джіотто.

Мы уговорились заниматься у меня на дому по два раза въ недѣлю по вечерамъ до девяти часовъ и оканчивали свой урокъ по-московски распиваніемъ чая, который моему учителю очень нравился. Мази любилъ поболтать; онъ былъ витіеватый ораторъ, а также и стихотворецъ, сочинялъ на разные случаи сонеты и канцоны. Спустя много лѣтъ, когда я съ женою провелъ въ Римѣ зиму 1874—1875 гг., я засталъ моего дорогого Мази еще въ живыхъ; онъ былъ ревностнымъ клерикаломъ, пользовался расположеніемъ и милостями папы Пія IX и состоялъ профессоромъ литературы въ римскомъ университетѣ, который въ Римѣ слыветъ подъ названіемъ Sapientza. Но возвращаюсь къ моимъ итальянскимъ урокамъ. Мнѣ остается сказать о нихъ еще нѣсколько словъ. Чтеніе и грамматическій разборъ старинныхъ памятниковъ итальянской литературы мнѣ особенно былъ полезенъ для уразумѣнія и практическаго усвоенія различныхъ формъ и оттѣнковъ стиля и склада итальянской

рѣчи, потому что мой учитель постоянно перелагалъ мнѣ вышедшіе нынѣ изъ употребленія устарѣлые обороты на новые, принятые въ современномъ языкѣ. Чтобы утвердить теоретическое знаніе на практикѣ, я къ каждому уроку для навыка писалъ ему небольшое сочиненьице, обыкновенно въ формѣ письма, чтобы дать просторъ разговорнымъ формамъ рѣчи, а иногда дѣлалъ и переводы съ латинскаго изъ Тита Ливія и Тацита, которые составляли любимое мое чтеніе на развалинахъ древняго Рима.

Моему милому Франческо Мази обязанъ я знакомствомъ съ однимъ ученымъ энтузіастомъ, который всю свою жизнь посвятилъ изученію Данта, а его Божественную Комедію зналъ наизусть съ перваго стиха и до послѣдняго, такъ что по одному намеку на какую-нибудь самую мелкую въ ней подробность онъ тотчасъ же могъ приводить на память цѣлую цитату въ нѣсколько стиховъ. Это былъ Вентури, человѣкъ лѣтъ за сорокъ, средняго роста, худощавый, смуглый, какъ большинство итальянцевъ; черные волосы, немножко посеребренные просѣдью, всегда растрепаны отъ привычки ежеминутно всклокачивать ихъ правою рукою, когда онъ, воодушевляясь своими идеями, наблюденіями и открытіями, бывало, бѣгаетъ изъ стороны въ сторону по своему кабинету, то вдругъ замедлитъ шаги, то остановится, какъ вкопанный, инстинктивно подчиняя свои движенія и жесты теченію своей страстной импровизаціи, то плавной, то порывистой; а я между тѣмъ сижу у его рабочаго стола, стоящаго посреди комнаты, внимательно слушаю и самъ воодушевляюсь его пламенной рѣчью. Ученаго изслѣдователя, болѣе восторженнаго предметомъ своихъ занятій, я никогда не видывалъ. Иной разъ онъ казался мнѣ самымъ искуснымъ актеромъ, насквозь проникнутымъ своею ролью, когда онъ такъ любовно и благоговѣйно относится къ Данту, будто онъ тутъ же очутился передъ нимъ и ласково ободряетъ его, или когда громитъ сарказмами порицателей и ненавистниковъ божественнаго поэта, или же когда язвительно издѣвается надъ тупоумными его комментаторами.

Изъ этихъ бесѣдъ съ Вентури или, точнѣе сказать, изъ моего безмолвнаго слушанья его краснорѣчивыхъ монологовъ, пламенныхъ и бурныхъ, я очень многому научился. Отъ него впервые я узналъ и ясно понялъ, какъ необходимо для полнаго уразумѣнія Божественной Комедіи подробно ознакомиться съ другими произведеніями Данта, состоящими съ этой поэмо

въ неразрывной связи, каковы: Vita nuova, прелестная повѣсть о любви поэта къ Беатриче, изложенная прозою вперемежку со стихотвореніями; Convito, ученый трактатъ схоластическаго и мистическаго содержанія, какъ необходимое руководство для истолкователей Божественной Комедіи, и изслѣдованіе о народномъ языкѣ или народной рѣчи (De vulgari eloquio), въ которомъ Дантъ возстановляетъ права разговорнаго языка въ литературѣ новыхъ европейскихъ народовъ, которые въ средніе вѣка пробавлялись только латинскою письменностью. Въ своемъ долголѣтнемъ изгнаніи изъ Флоренціи, блуждая по многимъ провинціямъ Италіи, онъ внимательно прислушивался къ различіямъ въ нхъ мѣстныхъ говорахъ, и въ этомъ трактатѣ приводитъ любопытныя подробности, какъ даже въ одномъ и томъ же городѣ по его кварталамъ видоизмѣняется своими особенностями употребляемая обывателями разговорная рѣчь. По этому сочиненію Данта я впервые оцѣнилъ высокое значеніе провинціализмовъ для ученыхъ изслѣдованій о языкѣ, которыя впослѣдствіи сдѣлались главнымъ предметомъ моихъ занятій.

По порученію графа Строганова и съ письмомъ отъ него я долженъ былъ явиться къ аббату Марки, завѣдывавшему тогда Кирхеріанскимъ музеемъ, находящимся въ Іезуитскомъ коллегіумѣ. Въ богатомъ собраніи римскихъ древностей и особенно этрусскихъ этотъ музей содержитъ въ себѣ знаменитую коллекцію древне-римскихъ монетъ, о которыхъ Марки составилъ очень дѣльную монографію. Я уже говорилъ вамъ, что графъ былъ знатокъ въ нумизматикѣ и теперь воспользовался моимъ посредничествомъ, чтобы войти въ сношеніе съ отцомъ Марки. Этотъ благопріятный случай открылъ мнѣ свободный доступъ въ Кирхеріанскій музей, и я, подъ руководствомъ Марки, принялся изучать бронзовыя издѣлія раннихъ племенъ, нѣкогда населявшихъ Италію. Этотъ ученый іезуитъ, между прочимъ, много занимался и древне-христіанскими памятниками искусства, которыми переполнены подземелья римскихъ катакомбъ, и отъ него впервые я узналъ о капитальныхъ сочиненіяхъ по этому предмету, изданныхъ Бозіо и Аринги, со множествомъ иллюстрацій. Чтеніе этихъ книгъ, разумѣется, пробудило во мнѣ сильное желаніе самому посѣтить тѣ таинственные подземные переходы, маленькія капеллы и обширныя залы, которыя описаны у Бозіо и Аринги, и собственными своими глазами въ оригиналахъ видѣть священныя изображенія, которыя они предлагали мнѣ въ гравированныхъ копіяхъ, далеко меня не удо-

влетворявшихъ. Я имѣлъ уже нѣкоторое понятіе о катакомбахъ по неаполитанскимъ св. Януарія, но въ римскихъ еще не бывалъ. Къ великому несчастію, желаніе мое не могло быть исполнено. Входъ въ римскія катакомбы былъ тогда строжайше воспрещенъ по повелѣнію папы Григорія XVI, вслѣдствіе одной страшной катастрофы, совершившейся незадолго до нашего прибытія въ Римъ. Нѣсколько семинаристовъ изъ какого-то училища со своимъ надзирателемъ отправились въ праздничный день за городскія стѣны съ тѣмъ, чтобы посѣтить однѣ изъ катакомбъ, окружающихъ Римъ; спустились въ глубокія подземелья и такъ тамъ навсегда и остались. Несмотря на поиски, произведенные цѣлою ротою солдатъ въ теченіе многихъ дней, не было найдено ни малѣйшаго слѣда погибшихъ. Можетъ быть, они провалились въ какую-нибудь пропасть или изъ однѣхъ катакомбъ зашли въ другія, такъ какъ онѣ соединяются между собою переходами, и когда у нихъ догорѣла послѣдняя изъ свѣчей, съ которыми они отправились въ подземелье, разумѣется, они въ перепугѣ разбрелись въ разныя стороны въ кромѣшной тьмѣ по узенькимъ коридорамъ, которые своими извилинами перепутываются между собою, составляя настоящій лабиринтъ, Такъ и не суждено было мнѣ посѣтить тогда подземныя святилища древнихъ христіанъ и усыпальницы великомучениковъ съ ихъ мраморными саркофагами, стоящими въ нишахъ, будто въ алтарной апсидѣ, подъ сѣнью сводовъ, расписанныхъ священными изображеніями.

Чтобы хотя нѣсколько ознакомиться съ нравами и характеромъ римскихъ горожанъ и хорошенько наторѣть въ итальянскомъ разговорѣ съ оттѣнкомъ мягкаго римскаго произношенія, я вò-время догадался тотчасъ же по пріѣздѣ въ Римъ добыть себѣ товарища и спутника въ моихъ прогулкахъ, конечно, по найму, часа на два или на три по два раза въ недѣлю. Такого человѣка нашелъ и рекомендовалъ мнѣ нашъ всезнающій курьеръ де-Мажисъ, въ лицѣ достопочтеннаго аббата донъ-Антоніо, въ тѣхъ видахъ, что особѣ его званія открытъ доступъ по всѣмъ угламъ и закоулкамъ въ сокровенные тайники общественной и частной жизни итальянцевъ по всѣмъ ступенямъ ихъ сословій, начиная отъ прелатовъ и высшей аристократіи до подонковъ простонародья. Донъ-Антоніо былъ человѣкъ не молодой и не старый, средняго роста, полный и тучный, упитанный, большой весельчакъ, разговорчивъ донельзя, всегда и со всѣми милъ и любезенъ, одѣтъ щеголевато въ своей черной сутанѣ

въ широкополой шляпѣ на манеръ донъ-Базиліо въ „Севильскомъ Цырюльникѣ“; только говорилъ онъ не оглушительнымъ асомъ, а мягкимъ баритономъ съ переливами отъ низкихъ нотъ ъ нѣжнымъ и вкрадчивымъ настоящаго тенора. Мы хорошо ошлись между собою, даже подружились, и гдѣ только мы ъ нимъ не бывали! Обыкновенно я самъ заходилъ за нимъ а его квартиру, которую онъ нанималъ со столомъ у одной довы, семья которой состояла всего изъ двухъ ребятишекъ, ѣвочекъ лѣтъ пяти и шести; она сама готовила кушанье и бирала комнаты. Наши, такъ сказать, походные или гулевые роки были назначены отъ часа пополудни до трехъ или четырехъ часовъ. Иногда заставалъ я его вмѣстѣ съ его хозяйою и дѣтьми за обѣдомъ. Бывало, приходилось ему во время ашего запоздалаго урока отправиться въ какую-нибудь церковь лужить вечерню, и я шелъ за нимъ туда же, помогалъ ему ъ сакристіи облачаться въ ризы, а пока онъ священнодѣйтвовалъ, я прогуливался недалеко отъ церкви, поджидая его, огда онъ кончитъ свою коротенькую службу. Если гдѣ въ гоодѣ происходила какая-нибудь интересная церемонія или наодное сборище, донъ-Антоніо зналъ это впередъ и велъ меня уда. Вотъ вамъ, напримѣръ, маленькая замѣтка изъ моего римкаго дневника, относящаяся къ рождественскимъ празднествамъ.

Римъ, 28-го декабря. — „Вмѣстѣ съ Don Antonio былъ я a preseріо въ Іезуитскомъ коллегіумѣ. Въ присутствіи кардиала предсѣдательствовали престарѣлые монахи и священники ъ прадѣдовскихъ костюмахъ, размѣстившись полукругомъ на вухсторонних ъ креслахъ. Ученики читали латинскіе и греескіе стихи, итальянскіе октавы, сонеты, терцины и т. п.“.

Только подъ авторитетною охраною моего милаго товарища руководителя могъ я разгуливать привольно и льготно по ѣчно грязному и зловонному жидовскому кварталу Гетто, по го коридорамъ, вмѣсто улицъ съ переулками, въ слякоти и ъ полусвѣтѣ во всякое время дня, между отворенными натежъ дверями въ нижнихъ этажахъ, замѣняющихъ окна: тутъ лавки со всякимъ товаромъ, и вмѣстѣ жилье самихъ торовцевъ. По стѣнамъ этихъ коридоровъ, тоже съ обѣихъ стоонъ, на веревкахъ развѣшено для продажи изношенное платье разное тряпье, возбуждающее гадливость во всякомъ, кто ривыкъ дышать вольнымъ воздухомъ. Повсюду толкотня и авка, говоръ, гамъ и крики. Изъ предосторожности, чтобы не катило насъ случайно какою-нибудь дрянью изъ верхнихъ оконъ,

мы проходили по этимъ ущельямъ каждый подъ своимъ зонтикомъ и не рядомъ, а гуськомъ, чтобы, направляясь по самой серединѣ коридора, не задѣвать развѣшенной по сторонамъ отвратительной рухляди. Но и здѣсь донь-Антоніо былъ свой человѣкъ: одного спроситъ, какъ идутъ его дѣла, и выгодно ли продалъ то-то и то-то; у матери спроситъ, поправляется ли ея ребенокъ, который недавно сильно захворалъ; дѣвушкѣ изъявитъ свое желаніе, чтобы вышла замужъ за того молодца, котораго она ему хвалила. И со всѣми-то былъ онъ милъ и любезенъ, будто забывалъ, что обращается не къ своей католической паствѣ.

Благодаря популярности и обширному знакомству донъ-Антоніо въ средѣ простого народа, я могъ составить себѣ нѣкоторое понятіе объ интересовавшихъ меня нравахъ и обычаяхъ трастеверинцевъ, т.-е. стародавнихъ обывателей квартала по ту сторону Тибра. Съ такимъ же радушіемъ встрѣчали и привѣтствовали моего донъ-Антоніо изъ своихъ оконъ болтливыя трастеверинскія Сусанны, Граціи и Чечиліи, какъ онѣ, по свидѣтельству Гоголя, встрѣчали своего любезнаго фактотума Пеппе. Свою веселую болтовню съ ними, приправленную забавнымъ остроуміемъ, онъ умѣлъ уснащать прибаутками и пословицами. Для примѣра, вотъ вамъ двѣ изъ записанныхъ въ моемъ дневникѣ: „tre donne fanno un mercato“, т.-е., гдѣ сойдутся три бабы, тамъ цѣлый базаръ; „a donna piangente non creder niente“ — не вѣрь женщинѣ, когда она плачетъ.

Кругъ моего знакомства въ Римѣ особенно расширился посѣщеніемъ мастерскихъ, въ которыхъ я внимательно изучалъ направленіе, стиль и вообще характеръ живописи и скульптуры той далекой поры, которая была тогда для меня современностью, и входилъ въ сношенія съ самими художниками, которые всегда съ любезной готовностью объясняли мнѣ свои произведенія, указывая въ нихъ не однѣ подробности сюжета, но и основную идею, какую хотѣли выразить. Особенно была мнѣ интересна бесѣда съ тѣми изъ нихъ, которые, по врожденной откровенности, не стѣснялись передавать свои замыслы и попытки, свои наклонности и влеченія въ выборѣ сюжетовъ для своихъ работъ и въ различныхъ затрудненіяхъ, которыя надобно преодолѣвать при ихъ техническомъ производствѣ. Впрочемъ воспоминать теперь объ этихъ мастерскихъ и художникахъ я не стану, потому что, сколько нужно, обо всемъ этомъ по моему римскому дневнику я давно уже внесъ въ свой этюдъ: „Задачи эстетической критики“, перепечатанный въ первомъ томѣ

Моихъ Досуговъ". Если бы вамъ вздумалось когда-нибудь осмотрѣть эту статью, то я долженъ предупредить васъ, что актамъ, занесеннымъ мною въ дневникъ за полстолѣтіе назадъ, я далъ теперь новое освѣщеніе, согласно историческому развитію и громаднымъ успѣхамъ, которые были совершены въ искусствахъ и эстетической критикѣ.

Впрочемъ, мнѣ хочется разсказать вамъ кое-что о художникахъ русскихъ, работавшихъ тогда въ Римѣ, и сообщить вамъ кое-какія подробности о моихъ довольно близкихъ, пріятельскихъ отношеніяхъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ. Особенно сблизился я съ живописцемъ Скотти, со скульпторами Логановскимъ и Пименовымъ и съ граверомъ Іорданомъ.

Скотти и Логановскій жили вмѣстѣ въ уютной квартирѣ о пяти или шести комнатахъ: двѣ изъ нихъ назначались для мастерскихъ, въ двухъ были спальни и одна пріемная. Оба они были еще совсѣмъ молодые люди, недавно оставившіе свою академію и родину. И въ нравахъ и обычаяхъ, и въ пылкихъ стремленіяхъ, и въ юношескихъ мечтаніяхъ, рѣшительно во всемъ походили они на моихъ товарищей, съ которыми я провелъ четыре года въ студенческомъ общежитіи московскаго университета. Оба они еще не успѣли свыкнуться тогда съ чуждою имъ обстановкою и такъ любовно воспоминали о покинутыхъ ими друзьяхъ и родственныхъ связяхъ тамъ, далеко, что я самъ, невольно подчиняясь ихъ патріотическимъ чувствамъ, освобождался отъ своихъ итальянскихъ увлеченій и забывалъ, что я въ Римѣ, когда, бесѣдуя съ ними, будто въ Москвѣ въ Желѣзномъ трактирѣ Печкина, курилъ изъ длиннаго прешиннаго чубука знаменитый Жуковъ табакъ, которымъ они съ гордостью меня угощали, какъ драгоцѣнной рѣдкостью. Хотя я промѣнялъ уже тогда трубку на сигару, но мнѣ такъ пріятно было вмѣстѣ съ ними чувствовать себя въ дымной атмосферѣ студенческой комнаты московскаго трактира.

Пименовъ былъ почти однихъ лѣтъ съ этими обоими художниками, но, кажется, немножко постарше ихъ курсомъ академическаго ученія, раньше ихъ прибылъ въ Римъ и совсѣмъ тамъ освоился, прижился въ немъ. Онъ былъ очень красивъ собою, высокаго роста, стройный и живой, всегда веселъ и любезенъ; умѣлъ пользоваться ласками и милостями римскихъ красавицъ; товарищи любили его и отдавали справедливость его дарованіямъ. Мастерскую имѣлъ не при квартирѣ, а въ особомъ помѣщеніи недалеко отъ нея. Онъ тогда работалъ статую

по заказу для его высочества цесаревича Александра Николаевича, посѣтившаго Римъ въ 1838 г. Я часто заходилъ въ мастерскую Пименова и съ большимъ любопытствомъ внимательно наблюдалъ и слѣдилъ за пріемами техническаго производства, когда онъ лѣпилъ и формовалъ изъ глины съ натурщика свою модель, съ которой потомъ будетъ высѣчена изъ мрамора настоящая статуя и окончательно во всѣхъ подробностяхъ отдѣлана рѣзцомъ. Въ изваяніи представлялся мальчикъ лѣтъ семи или восьми, обнаженный, одну руку протянулъ впередъ, прося милостыни. „Я думаю, — говорилъ мнѣ Пименовъ, — будетъ умѣстна такая статуйка во дворцѣ наслѣдника всероссійскаго престола, напоминая ему о нищетѣ и состраданіи". Натурщикомъ былъ прехорошенькій мальчикъ, бойкій и шаловливый, но замѣчательно граціозный, и, когда надобно стоять смирно, не шелохнувшись, позировалъ на своемъ пьедесталѣ терпѣливо и сдержанно. Пименовъ очень его любилъ, баловалъ всякими сластями и заботился, чтобы онъ какъ-нибудь не простудился, когда во время лѣпной работы приходилось ему быть обнаженнымъ. Для того сырая и холодная мастерская въ теченіе всего сеанса постоянно протапливалась, а какъ только Пименовъ переставалъ лѣпить, хотя бы минутъ на пять, тотчасъ же отпускалъ мальчугана пробѣгаться вдоль и поперекъ по всей мастерской, а иной разъ и самъ бросится за нимъ вдогонку, схватитъ его на руки и потащитъ къ пьедесталу. Впрочемъ, не всегда оглашалась мастерская веселою болтовнею и хохотомъ; бывало раздавался въ ней плачъ и хныканье бѣднаго ребенка, когда скульпторъ долженъ былъ во что бы то ни стало уловить на его умненькомъ лбу, въ большихъ выразительныхъ глазкахъ и во всемъ обликѣ такое выраженіе, какое ему требовалось для умилительной и слезливой мины маленькаго горемыки. Представьте себѣ, что же онъ тогда дѣлалъ? Онъ напускалъ на себя азартъ, ни съ того ни съ сего кричалъ на ребенка, топалъ ногами, щипалъ его и давалъ слегка подзатыльники, — и все это для того, чтобы вызвать требуемое для своей статуи вполнѣ реальное, безошибочное выраженіе. Самому мнѣ ни разу не пришлось видѣть эту артистическую экзекуцію. Сообщаю вамъ о ней по разсказамъ самого Пименова.

Граверъ Іорданъ жилъ отъ насъ такъ близко, что нельзя больше. Прошу припомнить, что нашъ домъ, casa Dies, составлялъ уголъ двухъ улицъ, via Gregoriana и via Sistina, и выходилъ на отлогій спускъ площадки, называемой Capo-le-Case,

въ угольномъ домѣ на Систинѣ въ бель-этажѣ нанималъ вартиру Іорданъ. По малосложной и негромоздкой обстановкѣ равернаго мастерства Іорданъ не нуждался въ отдѣльной отъ воего жилья мастерской и работалъ въ самой большой изъ анимаемыхъ имъ комнатъ, которая обращена была къ юго-ападу на ту же площадку Саро-le-Case. Это былъ человѣкъ же среднихъ лѣтъ, привѣтливый, милый и очень образованный. Его могли хорошо знать и оцѣнить по достоинству посѣщавшіе етербургскій Эрмитажъ, гдѣ онъ десятки лѣтъ завѣдывалъ тдѣленіемъ гравюръ. Изъ русскихъ художниковъ, жившихъ огда въ Римѣ, онъ былъ первый, съ которымъ я успѣлъ познакомиться и, благодаря его любезности, снискалъ его полное ъ себѣ расположеніе. По сосѣдству я часто, проходя мимо, абѣгалъ къ нему. Онъ не стѣснялся моимъ присутствіемъ, огда я заставалъ его за работою, и, продолжая чертить штрихи о своей мѣдной доскѣ, высказывалъ мнѣ, будто думая вслухъ, азныя интересныя для меня подробности о микроскопическихъ елочахъ гравированья. Тогда онъ только что еще началъ свою наменитую гравюру съ Рафаэлева „Преображенія“ по безпособной копіи, сдѣланной имъ самимъ въ величину гравюры. Нѣсколько головокъ было уже готово, но остальное въ фигурахъ было только означено очерками рѣзца. Одинъ уголъ рабочей комнаты былъ заваленъ ворохомъ бумажекъ разной величины. Это были десятки пробныхъ оттисковъ каждаго мѣстечка равюры по мѣрѣ того, какъ Іорданъ мало-по-малу его обрабатывалъ и доводилъ до надлежащаго совершенства. Куда дѣвались ти драгоцѣнные для гравировальной техники документы? Для ордана это былъ хламъ, и если бы тогда я догадался попросить, онъ далъ бы мнѣ изъ него сколько угодно.

Разныя случайности, — все равно, крупныя или мелкія, — а которыя натолкнется человѣкъ въ ранней молодости, иногда огутъ оказать рѣшающее дѣйствіе на всю его жизнь, направляя его интересы, наклонности и даже пристрастія въ ту или ругую сторону. Такъ было и со мной вслѣдствіе моего знакомства и сближенія съ Іорданомъ. Полюбивъ гравера, я полюбилъ и гравюры, оцѣнилъ художественное ихъ достоинство важное значеніе въ исторіи искусства, и такъ къ нимъ приграстился, что потомъ, въ теченіе всей моей жизни, собиралъ хъ, гдѣ ни попало, и составилъ себѣ довольно порядочную оллекцію, большею частью по самымъ дешевымъ цѣнамъ, поому что лѣтъ за двадцать назадъ, а за сорокъ и подавно,

можно было пріобрѣтать ихъ очень дешево и въ Россіи, и за границею, особенно, если знаешь, гдѣ и какъ добывать ихъ.

Въ Римѣ на первый разъ я былъ тогда заинтересованъ гравюрою не самой по себѣ, а по ея непосредственному хронологическому отношенію къ работамъ знаменитыхъ живописцевъ. Рафаэль и его ученики изготовляли въ черновыхъ очеркахъ многіе рисунки, которые дошли до насъ только въ гравюрахъ, скопированныхъ съ нихъ великимъ мастеромъ Маркъ-Антоніемъ Раймонди, современникомъ этихъ живописцевъ. Сокровища эти были мнѣ тогда не по карману, но я могъ видѣть ихъ, разсматривать, сколько угодно, и внимательно изучать въ антикварной лавкѣ одного услужливаго и любезнаго старичка, съ которымъ познакомилъ меня Іорданъ.

Кромѣ названныхъ русскихъ художниковъ я, разумѣется, посѣщалъ мастерскія Иванова и Бруни, работавшихъ тогда въ Римѣ; но ни о томъ, ни о другомъ не умѣю теперь ничего прибавить къ тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя уже приведены мною въ указанной выше статьѣ, перепечатанной въ „Моихъ Досугахъ“.

Къ великой моей радости, пріѣхалъ въ Римъ мой университетскій товарищъ Василій Ивановичъ Пановъ, и тотчасъ же отыскалъ меня. Такъ и хлынуло на меня родною атмосферою нашихъ аудиторій, гдѣ мы оба воодушевлялись лекціями Шевырева, Погодина и Крюкова. Онъ говорилъ мнѣ о Москвѣ, о нашихъ товарищахъ и друзьяхъ, а я — о чудесахъ Рима, предлагая ему свои услуги быть его проводникомъ по римскимъ галереямъ, музеямъ, церквамъ, дворцамъ, вилламъ и развалинамъ. На первый разъ онъ помѣстился въ гостиницѣ, но вскорѣ нанялъ себѣ очень помѣстительную квартиру близехонько отъ насъ на via Sistina, въ той ея половинѣ, которая спускается отъ Capo-le-Case къ площади Барберини, на лѣвой сторонѣ, если итти отъ насъ. Вы не осудите меня за эти топографическія подробности, когда узнаете, что домъ, гдѣ занималъ квартиру мой милый Пановъ, долженъ быть памятенъ и дорогъ сердцу всякаго русскаго человѣка, который любитъ и высоко цѣнитъ свое отечество.

Однажды утромъ въ праздничный день сговорились мы съ Пановымъ итти за городъ и именно, хорошо помню и теперь, въ виллу Albani, которую особенно часто посѣщалъ я. Положено было сойтись намъ въ cafe Greco, куда въ эту пору дня обыкновенно собирались русскіе художники. Когда явился я въ кофейню, человѣкъ пять-шесть изъ нихъ сидѣли вокругъ

стола, приставленнаго къ двумъ деревяннымъ скамьямъ, которыя соединяются между собою тамъ, гдѣ стѣны образуютъ уголъ комнаты. Это было налѣво отъ входа. Собесѣдники болтали и шумѣли: это былъ народъ веселый и беззаботный. Только въ томъ углу сидѣлъ, сгорбившись надъ книгою, какой-то неизвѣстный мнѣ господинъ, и въ теченіе получаса, пока я поджидалъ своего Панова, онъ такъ погруженъ былъ въ чтеніе, что ни разу ни съ кѣмъ не перемолвился ни единымъ словомъ, ни на кого не обратилъ хоть минутнаго взгляда, будто окаменѣлъ въ своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы съ Пановымъ вышли изъ кофейни, онъ спросилъ меня: „ну, видѣлъ? познакомился съ нимъ? говорилъ?“ Я отвѣчалъ отрицательно. Оказалось, что я цѣлыхъ полчаса просидѣлъ за столомъ съ самимъ Гоголемъ. Онъ читалъ тогда что-то изъ Диккенса, которымъ, по словамъ Панова, въ то время былъ онъ заинтересованъ. Замѣчу мимоходомъ, что по этому случаю узналъ я въ первый разъ имя великаго англійскаго романиста: такъ и осталось оно для меня навсегда въ соединеніи съ наклоненною надъ книгой фигурою въ полусвѣтѣ темнаго угла.

Когда Пановъ устроился въ своей квартирѣ, Гоголь поселился у него и прожилъ вмѣстѣ съ нимъ всю зиму 1840—1841 гг. На все это время Пановъ, забывая, что живетъ въ Римѣ, вполнѣ предался неустаннымъ попеченіямъ о своемъ дорогомъ гостѣ, былъ для него и радушнымъ, щедрымъ хозяиномъ, и заботливою нянькою, когда ему нездоровилось, и домашнимъ секретаремъ, когда нужно было что̀ переписать, даже услужливымъ приспѣшникомъ на всякую мелкую потребу.

Въ жизни великаго писателя всякая подробность можетъ имѣть важное значеніе, особенно если она касается литературы. Гоголь желалъ познакомиться съ лирическими произведеніями Франциска Ассизскаго, и я черезъ Панова доставилъ ихъ ему въ томъ изданіи старинныхъ итальянскихъ поэтовъ, которое, уже вы знаете, рекомендовалъ мнѣ мой наставникъ Франческо Мази.

Какъ-то случилось, что въ теченіе двухъ или трехъ недѣль ни разу не привелось намъ съ Пановымъ видѣться: ко мнѣ онъ пересталъ заходить, я нигдѣ его не встрѣчалъ, спрашивалъ о немъ у нашихъ общихъ знакомыхъ, но и отъ нихъ о немъ ни слуху ни духу, — совсѣмъ запропастился. Наконецъ, является ко мнѣ, но такой странный и необычный, какимъ я его никогда не видывалъ, умиленный и просвѣтленный, будто

какая благодать снизошла на него съ неба; я спрашиваю его: „что съ тобой? куда ты дѣвался?“ — „Все это время, — отвѣчалъ онъ, — былъ я занятъ великимъ дѣломъ, такимъ, что ты и представить себѣ не можешь; продолжаю его и теперь“. И говоритъ онъ это такъ сдержанно, таинственно, чуть не шопотомъ, чтобы кто не похитилъ у него сокровище, которое переполняетъ его душу свѣтлою радостью. Будучи погруженъ въ свои римскіе интересы, я подумалъ, что гдѣ-нибудь въ развалинахъ откопанъ новый Лаокоонъ или новый Аполлонъ Бельведерскій, и что теперь пришелъ Пановъ сообщить мнѣ объ этой великой радости. „Нѣтъ, совсѣмъ не то, — отвѣчалъ онъ: — дѣло это наше родное, русское. Гоголь написалъ великое произведеніе, лучше всѣхъ Лаокооновъ и Аполлоновъ; называется оно: „Мертвыя Души“, а я его теперь переписываю набѣло“. Тутъ въ первый разъ услышалъ я загадочное названіе книги, которая стала потомъ драгоцѣннымъ достояніемъ нашей литературы, и сначала вообразилъ себѣ, что это какой-нибудь фантастическій романъ или повѣсть въ родѣ Вія; но Пановъ разувѣрилъ меня, однако не могъ ничего сообщить мнѣ о содержаніи новаго произведенія, потому что Гоголь желалъ сохранять это дѣло въ тайнѣ.

Въ концѣ прошлаго столѣтія, во время своего пребыванія въ Римѣ, Гёте жилъ на Корсо въ одномъ изъ домовъ, на стѣнѣ котораго теперь красуется надпись на мраморной доскѣ, извѣщающая всѣхъ и каждаго, что здѣсь жилъ тогда-то великій поэтъ Гёте. Зиму 1874—1875 г. я провелъ вмѣстѣ съ женою въ Римѣ, и мы напрасно отыскивали тотъ домъ, въ которомъ нашъ Гоголь изготовлялъ свои „Мертвыя Души“ для печати. Тогда я обратился къ скульптору Антокольскому, и онъ обѣщалъ навести точныя справки объ этомъ домѣ съ тѣмъ, чтобы на стѣнѣ его помѣстить такую же мраморную доску съ надлежащею надписью. Не знаю, исполнилъ ли онъ свое намѣреніе. Если кому изъ васъ угодно будетъ освѣдомиться о мѣстожительствѣ Гоголя въ Римѣ зимою 1840—1841 г., я долженъ предупредить васъ, что нижняя половина улицы Систины называлась тогда via Felice.

Немногіе друзья, товарищи и знакомые, которыми я окружилъ себя въ Римѣ, какъ вы сами видите, не могли отвлекать меня отъ моихъ любимыхъ занятій. Одни изъ нихъ были моими наставниками, руководителями; въ бесѣдахъ съ другими я освѣжалъ свои досуги новыми для меня интересами или просто раз-

сѣвался немножко и отдыхалъ отъ своихъ работъ и ученыхъ экскурсій.

Тогда я пополнялъ и приводилъ въ систему отрывочныя свѣдѣнія, которыя мало-по-малу набиралъ я по разнымъ городамъ и мѣстностямъ Италіи, каждый разъ справляясь съ руководствами Отфрида Миллера и Куглера, такъ что теперь въ Римѣ я дошелъ до того, что оба эти учебника я зналъ такъ твердо, какъ прилежный ученикъ гимназіи свою школьную латинскую грамматику передъ экзаменомъ. Этотъ общій обзоръ пройденнаго мною пути какъ разъ соотвѣтствовалъ тогдашнему расположенію моего духа. Маститый Римъ, слагавшійся мало-помалу, въ теченіе многихъ тысячелѣтій, раскрывалъ теперь на моихъ глазахъ всю исторію европейской цивилизаціи, которая осязательно, воочію предстала передо мною въ этихъ бурыхъ и посѣдѣлыхъ, обросшихъ травою и кустарникомъ, развалинахъ древне-римскаго могущества и величія, въ этихъ стародавнихъ храмахъ, относящихся къ раннимъ вѣкамъ христіанской церкви, восторжествовавшей, наконецъ, надъ язычествомъ, во всѣхъ этихъ разнообразныхъ зданіяхъ и сооруженіяхъ, которыя изъ вѣка въ вѣкъ строились и перестраивались, представляя своеобразную смѣсь стилей и вкусовъ, въ этихъ великолѣпныхъ дворцахъ и храмахъ, построенныхъ Микель-Анжеломъ, Брамантомъ, даже самимъ Рафаэлемъ. Чтобы разобрать по строкамъ и уразумѣть эту раскрытую передо мною книгу историческихъ судебъ, я долженъ былъ непремѣнно изучать исторію города Рима. Въ настоящее время это не представляетъ никакихъ затрудненій, благодаря множеству разныхъ пособій и руководствъ; но тогда иное дѣло, и я бы не умѣлъ и не зналъ, какъ удовлетворить своимъ желаніямъ и намѣреніямъ, если бы графъ Сергій Григорьевичъ передъ своимъ отъѣздомъ не указалъ и не оставилъ мнѣ для пользованія свой экземпляръ самаго лучшаго въ то время описанія города Рима, которое было составлено на нѣмецкомъ языкѣ Эрнстомъ Платнеромъ и Лудвигомъ Ульрихсомъ.

Сочиненіе это я читалъ и изучалъ у себя на дому, а для прогулокъ по развалинамъ бралъ съ собою, смотря по расположенію духа, то Тита Ливія или Тацита, то Горація. Я вовсе не имѣлъ намѣренія по этимъ писателямъ осматривать и изучать то, что̀ я видѣлъ передъ глазами: мнѣ хотѣлось только своимъ неяснымъ, блуждающимъ мечтаніямъ давать опредѣленные образы и возсоздавать изъ безмолвныхъ развалинъ

давно прошедшую жизнь, которую оглашали мнѣ эти свидѣтели и очевидцы въ своихъ классическихъ произведеніяхъ. Бывало, присяду на камнѣ у входа въ такъ называемый „золотой“ дворецъ Нерона, передъ громадою Колизея, и читаю Тацита, а то заберусь въ трущобы по ту сторону форума и Палатинской горы, и, воображая себя при самыхъ началахъ римской исторіи, читаю у Ливія, какъ волчица кормила своими сосцами Ромула и Рема, и какъ Нума Помпилій поучался премудрости отъ нимфы Эгеріи,— и проходятъ тогда въ моихъ мечтаніяхъ вереницею Туллъ Гостилій, Тарквиній Гордый и другіе баснословные цари, въ которыхъ, еще по лекціямъ Крюкова, я прозрѣвалъ длинные періоды доисторическихъ временъ. Я и тогда уже любилъ сказочныя потемки народныхъ преданій, на разработку которыхъ впослѣдствіи, будучи профессоромъ, я положилъ не мало труда.

Кто изъ васъ познакомился съ римскимъ форумомъ, Палатинскою горою и съ другими урочищами развалинъ въ теперешнемъ ихъ состояніи, тотъ не можетъ имѣть ни малѣйшаго понятія объ оригинальной, безподобной живописности всѣхъ этихъ мѣстъ. Останки древне-римскихъ зданій и сооруженій, нѣкогда погребенные на нѣсколько саженъ въ щебнѣ и наносной землѣ, теперь разрыты, и оголѣлые торчатъ, будто изувѣченные огнемъ и мечомъ разрозненные члены зданій на пожарищѣ. Вотъ вамъ, напримѣръ, выдержка изъ моего римскаго дневника о Палатинской горѣ, которая тогда была покрыта виллою богатаго англичанина Мильса, а теперь представляетъ груду обнаженныхъ развалинъ въ карикатурѣ на неаполитанскую Помпею.

Римъ, 20-го ноября. — „Былъ я въ Палатинской виллѣ, устроенной на развалинахъ императорскихъ дворцовъ, теперь засыпанныхъ щебнемъ и покрытыхъ землею, которая накопилась на немъ отъ праха и пыли въ теченіе многихъ столѣтій. На этой землѣ теперь разведенъ садъ. Изъ него безподобный видъ на форумъ, на развалины и на весь Римъ новый съ св. Петромъ — вправо, и на римскую Кампанью и горы — влѣво. Кажется, какъ бы нарочно, и исторія и природа, и останки прошедшаго и жизнь настоящаго, соединяются при зрѣлищѣ съ развалинъ дворцовъ, гдѣ обитали всемірные владыки. Вдоль террасы, спускающейся отвѣсно къ уровню долины между форумомъ и термами Каракаллы, возвышается рядъ надгробныхъ кипарисовъ. Искусно убранныя группы цвѣтовъ и деревьевъ, со своими симметрически извивающимися дорожками, бесѣдками изъ плюща и съ фонтанами становятся еще привле-

кательнѣе и интереснѣе, когда посреди этой цвѣтущей жизни новой повсюду встрѣчаешь слѣды вѣковой древности. Тамъ цѣлая долина, примыкающая къ саду, ограждена исполинскими стѣнами; тамъ густо сплетенные между собою мирты окружаютъ люкъ, черезъ который проходитъ свѣтъ въ тѣ великолѣпныя палаты римскихъ императоровъ, будто въ какое подземелье, въ видѣ катакомбъ. Сквозь это отверстіе я любовался прекрасными формами то круглыхъ сводовъ, то многоугольныхъ нишъ, гдѣ было когда-то обиталище царственнаго величія и пышности, а теперь все это кажется безмолвными могилами, которыя были ограблены и искажены неумолимымъ временемъ и человѣческой алчностью, а природа украсила это подземелье плющомъ, который роскошными кистями, какъ изъ рога изобилія, изъ верхняго отверстія спускается густыми массами на дно покоевъ, а подстриженный кустарникъ, кругомъ люка, получалъ видъ короны, которою увѣнчала его заботливая рука человѣка.

Мильсъ, владѣлецъ этого чуднаго помѣстья, гулявшій тогда по саду съ дамами, позволилъ мнѣ войти во внутренность его виллы. Она построена на сводахъ и аркахъ древне-римскаго сооруженія. Балконъ императорскаго дворца съ колоннами и сводами — во всей своей формѣ и съ выемками потолка между колоннами и стѣною — сполна античный. Онъ теперь весь заключенъ въ кабинетѣ или павильонѣ самого Мильса. Вотъ идеалъ кабинета; лучшаго не желалъ бы я, если бы обладалъ средствами имѣть самое лучшее. Этотъ Августовъ балконъ, древній портикъ на гранитныхъ колоннахъ украшенъ самимъ Рафаэлемъ! Любопытны сочетанія искусства древняго и новаго генія съ вѣками. Только во фрескахъ на древнихъ портикахъ, какъ здѣсь, поймешь всю родственность классическаго древняго искусства съ Рафаэлемъ. Могъ ли онъ не подчиниться древности, расписывая древній портикъ?“

Еще задолго до того, какъ цвѣтущіе и благоуханные сады англичанина Мильса, съ его оригинальною виллою, были превращены въ безобразное пожарище Палатинскихъ дворцовъ, названныя фрески, по неисповѣдимымъ судьбамъ житейскихъ превратностей, очутились теперь у насъ въ Петербургѣ, даже и съ той штукатуркой, на которой были писаны когда-то Рафаэлемъ и его учениками по заказу кардинала Бибіэны, и вы можете сколько угодно любоваться представленными на нихъ обнаженными фигурами Венеры, разныхъ нимфъ и другихъ

эротическихъ прелестей въ одной изъ залъ петербургскаго Эрмитажа и составлять себѣ самое наглядное понятіе о вкусѣ и о наклонностяхъ безбрачныхъ священнослужителей и высшихъ сановниковъ римской церкви. Не знаю, самъ ли Мильсъ обанкротился, или кто изъ его наслѣдниковъ, только эти фрески были сняты со стѣнъ и, какъ предметъ высокой цѣнности, отданы подъ залогъ въ римскій государственный банкъ. Нѣкто Кампани, кажется, директоръ этого банка, купилъ ихъ на казенномъ аукціонѣ по дешевой цѣнѣ, и потомъ выгодно продалъ къ намъ въ Эрмитажъ вмѣстѣ съ разными античными статуями. Когда я пріѣхалъ въ Римъ въ 1874 г., вмѣсто садовъ Мильса засталъ уже оголенныя развалины, а стѣна, къ которой прилаженъ былъ его кабинетъ, высоко торчала, будто остатокъ отъ трехъэтажнаго дома, и вдоль верхняго яруса этого торчка ясно обозначались тѣ мѣста, откуда были сняты тѣ драгоцѣнныя фрески. Грустно было смотрѣть на эту жалкую стѣну, и казалась она мнѣ монументальнымъ термометромъ, по которому я измѣрялъ теченіе времени въ его вѣковыхъ переворотахъ, которые, мнѣ тогда чаялось, зацѣпили нѣсколько мгновеній и изъ моей жизни, когда я, лѣтъ тридцать тому назадъ, войдя прямо изъ сада въ кабинетъ Мильса, остановился въ уровень съ этимъ верхнимъ ярусомъ стѣны и восхищался безподобными фресками, ее украшавшими.

Главнымъ чтеніемъ моимъ въ Римѣ былъ Винкельманъ. Гдѣ же было лучше всего изучать мнѣ его исторію классическаго искусства, какъ не въ Римѣ, который переполненъ сокровищами античной скульптуры, и въ музеяхъ, въ Ватиканскомъ и Капитолійскомъ, и въ виллахъ Боргезе, Альбани, Памфили-Дорія, Людовизи, и во дворцахъ Фарнезе Колонна и, наконецъ, по улицамъ и площадямъ? Самъ Винкельманъ жилъ у кардинала Альбани въ его виллѣ, когда изготовлялъ и обработывалъ свои драгоцѣнныя изслѣдованія. Его книгу и прежде я изучалъ внимательно, какъ систематическое обозрѣніе исторіи искусства; теперь эта книга въ ея мельчайшихъ подробностяхъ стала для меня необходимымъ, почти ежедневнымъ указателемъ, по руководству котораго я направлялъ свои римскія похожденія, изысканія и наблюденія, чтобы немедленно осмотрѣть своими собственными глазами въ означенной мѣстности то художественное произведеніе, о которомъ я только что прочелъ у Винкельмана. Такъ, напримѣръ, для сравненія античнаго стиля съ новѣйшимъ, онъ указываетъ на статую одного изъ позднѣйшихъ скульпто-

ювъ, именно Бернини, который, между прочимъ, въ манерномъ
илѣ барокко украсилъ мраморными ангелами мостъ черезъ
ибръ, ведущій къ крѣпости св. Ангела, и по указанію Вин-
ельмана я иду взглянуть на ту статую и повторить на себѣ
ечатлѣніе, произведенное ею на великаго ученаго, который
ладалъ такимъ тонкимъ вкусомъ. Вотъ вамъ выдержка изъ
его римскаго дневника.

Римъ, 16-го декабря. — „Сегодня былъ я въ церкви святой
ибіаны. Когда я шелъ туда, погода была пасмурна; мрачное
бо наводило задумчивость и на мою душу. Далеко, въ уеди-
ніи, окруженная пустырями, стоитъ эта церковь. Внутрен-
ость ея тѣсна и бѣдна, но духъ вѣры и искусства тоже оби-
етъ и въ ней. Въ углу, при входѣ въ церковь, стоитъ столбъ
ъ краснаго мрамора, глубоко изборожденный цѣпями. Когда-то,
ривязавъ къ нему, замучили св. Бибіану. Ваза изъ восточнаго
ебастра подъ алтаремъ сохраняетъ останки святой, а вотъ
дъ алтаремъ у стѣны и ея прекрасный ликъ, лучшее про-
веденіе Бернини. Обаятельны тайны религіи, когда онѣ подъ
крываломъ искусства. Смотря на краснорѣчивый мраморъ, не
ришь холодной гробницѣ, и въ утѣшеніе думаешь, что душа
ятой переселилась въ эти прекрасныя черты. Но вмѣстѣ съ
мъ самые памятники мученія и смерти, горестно настраивая
шу, и самому произведенію искусства даютъ характеръ меланхолическій. Черты лица Бибіаны выражаютъ умиленіе, то сознаніе духа, которое наполняетъ душу и глубокою тоскою, и сторгомъ; къ плачу настроенное выраженіе освѣщаетъ все
цо полуулыбкою, мелькающею на устахъ. Одна нога ея, по-
авленная выше другой, сгибается, выдавая впередъ колѣнку,
къ ангелы того же Бернини на мосту St.-Angelo; то же bas-
sso, но не столько рѣзкое, какъ у послѣднихъ. Нѣженькая
чка ея, придерживающая платье, имѣетъ излишнюю гибкость,
къ что пальчики и ладонь, отъ малаго прикосновенія къ ткани,
къ перышко, гнутся назадъ. Я бы и это назвалъ bagosso,
тя весьма позволительное здѣсь, даже не излишнее. Черты
ца Бибіаны имѣютъ много индивидуальнаго, портретнаго:
того съ перваго мгновенія лицо ея не понравится; надо вгля-
ться въ него, чтобы полюбить его. Кончикъ носика слишкомъ
остренъ и выдается впередъ, нарушая гармонію греческаго
офиля. Это изящное произведеніе при мощахъ святой и около
зорнаго столба, при которомъ ее истязали, произвело на меня
ечатлѣніе самое гармоническое, самое полное, вмѣстѣ и трога-

тельное, заунывное, но и сладостное, успокоительное. Сумрачное небо согласовалось съ окружавшей меня печальной обстановкой и съ расположеніемъ моего духа". Поводомъ къ этой прогулкѣ было замѣчаніе Винкельмана, стр. 180.

Мнѣ было отрадно и лестно направлять свои прогулки по слѣдамъ самого Винкельмана, будто въ его сообществѣ, и воодушевлять себя его собственными впечатлѣніями, переживать въ себѣ самомъ его ощущенія и мысли, его увлеченія и восторги. Такіе затѣйливые опыты эстетическаго образованія расширяли мои задачи и цѣли далеко за предѣлы однихъ лишь научныхъ интересовъ. Я не довольствовался только изученіемъ стиля, типическихъ подробностей и основной идеи художественнаго произведенія: оно должно было меня воодушевлять, улучшать и облагораживать, воспитывая во мнѣ высокіе помыслы, очищая мой нравъ отъ всего низкаго и пошлаго, отъ всего, что оскорбляетъ человѣческое достоинство. Можетъ быть, тогдашнее настроеніе моего духа дастъ вамъ новую черту для характеристики такъ называемыхъ людей сороковыхъ годовъ, въ родѣ Райскаго у Гончарова и Рудина у Тургенева.

Въ тѣхъ же видахъ самовоспитанія и совершенствованія, я любилъ отдыхать и освѣжать свою голову отъ ученыхъ занятій въ Сикстинской капеллѣ и Ватиканскихъ Стансахъ вовсе не съ тѣмъ, чтобы изучать знаменитыя фрески Микель-Анджело и Рафаэля, которыя я уже зналъ во всѣхъ подробностяхъ, а для того, какъ это казалось мнѣ тогда возможнымъ, чтобы войти въ интимныя, симпатическія отношенія съ обоими великими художниками, чтобы проникнуться насквозь ихъ геніальными помыслами, заглянуть въ самое святилище ихъ вдохновенія, когда они творили эти восхитительные образы, которые теперь меня окружили со всѣхъ сторонъ и повсюду на меня смотрятъ. Чтобы понять такое расположеніе моего духа, прошу васъ припомнить, что въ мое далекое время еще вѣрили въ наитіе свыше и чаяли себѣ таинственныхъ откровеній. Если мнѣ мечтался Винкельманъ спутникомъ и руководителемъ въ моихъ археологическихъ прогулкахъ по Риму, то почему же не могли бы быть моими собесѣдниками и наставниками Микель-Анджело и Рафаэль, когда я приходилъ къ нимъ въ гости въ Сикстинскую капеллу и въ Ватиканскіе Стансы? Теперь все это кажется смѣшнымъ, даже глупымъ, но тогда было оно какъ слѣдуетъ.

XX.

Въ началѣ апрѣля 1841 г. мы оставили Римъ и отправились въ Москву черезъ Вѣну, Варшаву, Брестъ и Смоленскъ. Мы спѣшили, и потому, чтобы не терять времени, позволяли себѣ дѣлать только самыя короткія остановки, дня на два, много на три, а то и на одинъ день, даже въ такихъ городахъ Италіи, какъ Флоренція, Болонья, Падуа, Венеція, — такъ что еще въ послѣднихъ числахъ того же апрѣля мы были уже на границѣ Россіи. Смутно помню этотъ возвратный путь по Италіи, будто тяжелый сонъ съ мгновенными проблесками радости, какъ это бываетъ, когда только что встрѣтишь любимаго человѣка и тотчасъ же съ нимъ прощаешься на вѣчную разлуку: вмѣстѣ и радостно, и горько. Должно быть, глубоко и сильно отъ того времени залегло въ мою душу тревожное ощущеніе неудовлетворенной жажды того счастья, которымъ я не успѣлъ и не могъ вполнѣ насладиться. И долго потомъ въ теченіе многихъ лѣтъ, даже когда я былъ уже профессоромъ, мнѣ иной разъ снилось, будто я тотчасъ же навсегда уѣзжаю изъ Рима или Флоренціи, а мнѣ еще остается такъ много видѣть, чего я не видалъ, что мнѣ надобно проститься съ тѣмъ, что я такъ горячо люблю, и будто какая враждебная власть насильно вырываетъ меня изъ объятій дорогого друга: мнѣ томительно и грустно, и я съ радостью просыпаюсь отъ мучительнаго кошмара.

Когда, наконецъ, перестали раздаваться въ моихъ ушахъ бойкіе и звучные голоса рѣзвой итальянской рѣчи, на меня напало уныніе и какое-то отупѣніе, и это удрученное состояніе духа не покидало меня въ продолженіе всего возвратнаго пути. Даже Вѣна не могла пробудить во мнѣ ни малѣйшаго интереса; впрочемъ, мы и пробыли въ ней такъ недолго, что я не успѣлъ и оглянуться, какъ попали мы въ Краковъ. Въ немъ, хорошо помню, пробыли мы цѣлый день, потому что я долго ходилъ по книжнымъ магазинамъ, отыскивая себѣ собраніе стихотвореній Мицкевича. Благо Краковъ — городъ вольный: гдѣ же, какъ не здѣсь, добыть мнѣ эту запрещенную диковинку? Въ какой магазинъ ни зайду, на мой вопросъ отвѣчаютъ нехотя, озираются какъ-то опасливо и грубо отнѣкиваются: такихъ, дескать, книгъ у нихъ нѣтъ, не было и никогда не будетъ. Надобно думать, что меня сочли за соглядатая, и я, конечно, не сталъ бы себя позорить своими напрасными поисками, если бы зналъ впередъ, что благосостояніе вольнаго города Кракова

надежно охраняется подъ тройною опекою Австріи, Россіи и Турціи.

Какъ разъ на русской границѣ было получено отъ графа Сергія Григорьевича увѣдомленіе, что мы должны прибыть въ Москву не ранѣе половины іюня, потому что до тѣхъ поръ предполагаются въ Москвѣ празднованія и торжества по случаю прибытія въ нее царской фамиліи съ многочисленною свитою придворныхъ особъ и другихъ высокопоставленныхъ фамилій, а для пріема петербургскихъ гостей, которые непремѣнно будутъ дѣлать визиты графинѣ, только что нанятый домъ не можетъ быть приготовленъ какъ слѣдуетъ. Такимъ образомъ, намъ суждено было цѣлыхъ полтора мѣсяца тащиться на долгихъ по длинному, предлинному пути, донельзя однообразному и безотрадно томительному, съ привалами для отдыха въ грязныхъ и дрянныхъ городишкахъ, а въ большихъ городахъ, какъ Радомъ, Варшава, Минскъ, Смоленскъ, даже Вязьма, мы останавливались на нѣсколько дней, скучая и досадуя, что даромъ теряемъ время, которое съ такою пользою и удовольствіемъ могли бы мы провести въ городахъ Италіи, промелькнувшихъ для насъ съ обидною быстротою.

Впрочемъ, сквозь смутныя потемки, охватившія меня на этомъ долгомъ пути, выступаютъ въ моей памяти нѣсколько подробностей, которыя и теперь живо рисуются передо мною, какъ скудные оазисы на песчаной степи.

Въ Радомѣ, гдѣ мы пробыли около недѣли, я почему-то понравился тамошнему губернатору Бехтееву, о которомъ и теперь вспоминаю съ благодарностью за его ласковую готовность коротать мое время довольно пріятными развлеченіями, которыя доступны въ такомъ захолустьѣ, какъ Радомъ. Между прочимъ, зная мою любовь къ искусствамъ, онъ повезъ меня съ собою недалеко за̀городъ къ одному престарѣлому поляку, у котораго въ его деревянномъ домѣ была хорошая галерея съ произведеніями итальянскихъ и фламандскихъ живописцевъ, а также и небольшое собраніе античныхъ статуй, бюстовъ и барельефовъ. Радушный хозяинъ угостилъ насъ за завтракомъ столѣтнимъ рейнвейномъ, а потомъ показывалъ и объяснялъ свои рѣдкости, которыя достались ему по наслѣдству и частію дополнены имъ самимъ. Гдѣ теперь всѣ эти драгоцѣнности? Что̀ съ ними сталось?

Въ Варшавѣ мы прожили цѣлыхъ двѣ недѣли. Изъ нихъ осталось въ моей памяти всего два часа, которые я провелъ у Линде, знаменитаго ученаго, составившаго громадный словарь

польскаго языка. Этотъ ласковый старичокъ благосклонно обошелся со мною и, желая быть мнѣ полезнымъ, ознакомилъ меня съ методомъ и пріемами его многосложной работы надъ приведеніемъ въ систему громаднаго матеріала, входящаго въ составъ словаря. Тогда онъ готовилъ новое изданіе своего польскаго лексикона. Разрозненныя замѣтки съ исправленіями и дополненіями на отдѣльныхъ осьмушкахъ листа онъ приводилъ въ порядокъ, размѣщая ихъ по содержанію въ перегородки ящиковъ. Впослѣдствіи я съ благодарностью вспоминалъ о варшавскомъ Линде, когда въ пятидесятыхъ годахъ, слѣдуя его примѣру, собиралъ разнокалиберный матеріалъ для своей большой грамматики, изданной въ двухъ частяхъ.

Странное дѣло — и до сихъ поръ Лермонтовъ соединяется въ моихъ мысляхъ съ Вязьмою, гдѣ мы пробыли дня три. Этотъ поэтъ прославился именно въ тѣ два года, когда мы жили далеко отъ своего отечества. Хотя мы получали „Сѣверную Пчелу“, но я ее не читалъ, и потому былъ въ полномъ невѣдѣніи о томъ, что̀ дѣлалось на Руси. Въ вяземской гостиницѣ, гдѣ мы остановились, я нашелъ нумеръ Пушкинскаго „Современника“, издаваемый тогда Плетневымъ, и именно въ этомъ самомъ нумерѣ изъ критической статьи, кажется, профессора Никитенка, я впервые узналъ о существованіи Лермонтова и о высокихъ качествахъ его поэтическихъ дарованій. При этомъ — живо помню — особенно заинтересовало меня въ той статьѣ кокетливое сравненіе поэзіи съ барышней, а критики — съ ея модисткой, которая примѣриваетъ и улаживаетъ ея нарядъ, урѣзывая ткань, гдѣ слѣдуетъ, пришивая или отпарывая, гдѣ нужно, то бантикъ, то ленточку. Въ этомъ сравненіи отвлеченныя понятія поэзіи и критики олицетворялись для меня въ реальныхъ фигурахъ Лермонтова и Никитенка, которыхъ я рисовалъ себѣ по-своему, не зная въ лицо ни того, ни другого. Съ тѣхъ поръ этой книжки „Современника“ ни разу не случилось мнѣ видѣть, и я теперь въ недоумѣніи, не во снѣ ли мнѣ привидѣлась барышня, поэзія, съ ея модисткою, критикою; но я сообщаю вамъ свои воспоминанія — почему же бы не внести въ нихъ и мое сновидѣнье? Во всякомъ случаѣ оно относится ко времени моего пребыванія въ Вязьмѣ.

До сихъ поръ не могу понять, почему безподобная панорама Москвы, открывшаяся передъ нами съ Поклонной горы, по которой тогда мы спускались къ Дорогомиловской заставѣ, не оставила по себѣ въ моей памяти ни малѣйшаго слѣда. Рѣши-

тельно не помню также и того, какъ проѣзжали мы по московскимъ улицамъ до Тверской заставы, какъ мимо Петровскаго парка и села Покровскаго, прибыли на дачу въ Братцево, верстъ за пятнадцать отъ Москвы, и какъ очутился я, наконецъ, въ своей комнатѣ одноэтажнаго павильона съ террасою налѣво отъ большого дома, въ которомъ помѣстился графъ съ своимъ семействомъ. Помню только одно, какъ изъ этой безсознательной, дремотной пустоты я мгновенно очнулся, будучи пораженъ страшнымъ бѣдствіемъ.

Однажды, воротясь съ ранней прогулки къ утреннему кофею, я не засталъ ни Тромпеллера, ни обоихъ нашихъ учениковъ, которые помѣстились въ томъ же павильонѣ. „Они побѣжали туда въ домъ“, — кто-то сказалъ мнѣ: „сейчасъ привезли графа на линейкѣ, онъ сломалъ себѣ ногу“. Вотъ какъ это случилось. Графъ служилъ въ кавалеріи и былъ отличный ѣздокъ. Часовъ въ восемь утра онъ отправился верхомъ на бойкомъ конѣ, который смѣло скакалъ черезъ барьеры; но передъ одной канавой почему-то заартачился, взвился на дыбы и, опрокинувшись назадъ, повалился наземь. Въ самое мгновеніе грозившей опасности графъ, какъ опытный ѣздокъ, успѣлъ высвободить обѣ ноги изъ стремянъ и ринулся съ коня на правую сторону; онъ непремѣнно избѣгнулъ бы опасности, если бы упалъ на землю только одною четвертью аршина дальше отъ повалившаго коня; но грянувшееся оземь животное защѣпило своимъ натискомъ ступню его лѣвой ноги и размозжило ее въ суставѣ.

Немедленно были вызваны изъ Москвы хирурги. Ихъ было четверо: Поль, Пеликанъ, Иноземцевъ и Оверъ, а для непрестаннаго наблюденія за раной — только что кончившій курсъ лучшій студентъ медицинскаго факультета, Скворцовъ. Медики пріѣзжали въ Братцево каждый день и подолгу совѣщались, пока больной находился въ опасномъ положеніи. Чтобы спасти его жизнь, трое изъ нихъ настаивали на ампутаціи ноги, и только одинъ Оверъ не соглашался съ ихъ заключеніемъ. Такое разногласіе, роковое — на жизнь или смерть, предоставлено было рѣшить самому графу. Онъ согласился съ Овероmъ и вмѣстѣ съ жизнью спасена была и нога.

Зная мою безграничную преданность и любовь къ графу, вы поймете, въ какомъ удрученномъ, невыносимо бѣдственномъ состояніи проводилъ я гибельные дни и минуты, пока отупѣлое отчаяніе не прояснилось первыми проблесками надежды.

Страшное событіе совсѣмъ отшибло мнѣ память. Рѣшительно
я могу теперь припомнить, что̀ ему предшествовало и что̀ по-
мъ было — ни того, какъ, пріѣхавъ въ Братцево, я встрѣ-
лся съ графомъ послѣ долгой разлуки, ни даже того, слу-
лось ли мнѣ хоть взглянуть на него, пока онъ, немножко
равившись, не переѣхалъ въ Москву. Тупое унынiе заволокло
проглядною тучею эту злосчастную годину моей жизни.

Мы поселились на Знаменкѣ въ домѣ князя Гагарина (нынѣ
турлиныхъ), противъ самой церкви. Моя комната была на-
рху, окнами на дворъ. Графъ оставилъ меня при себѣ, по-
чивъ мнѣ давать уроки обѣимъ его дочерямъ и младшему изъ
ихъ учениковъ, Григорію Сергѣевичу, такъ какъ Павелъ
ргѣевичъ, выдержавъ экзаменъ, поступилъ въ московскій уни-
рситетъ по юридическому факультету. Кромѣ того, я опре-
ленъ былъ учителемъ въ третью московскую гимназію, что̀
Лубянкѣ, называвшуюся тогда реальною. На домашнiе и
мназическiе уроки приходилось на каждый день не больше
ехъ часовъ, и мнѣ оставалось много времени для моихъ соб-
венныхъ занятій.

Какъ за границею графъ постоянно руководствовалъ меня
оими указанiями и совѣтами, такъ и теперь, когда я принялъ
себя офицiальную обязанность учительства, онъ призналъ
жнымъ и необходимымъ, чтобы я ознакомился съ педагоги-
скою и дидактическою литературою, изъ которой все лучшее
ло собрано въ его библiотекѣ. Хотя я и пріобрѣлъ на прак-
кѣ нѣкоторый навыкъ въ преподаванiи русскаго языка и сло-
сности, но, какъ самоучка, не умѣлъ давать себѣ яснаго
чета въ выборѣ дидактическихъ пріемовъ и особенно затруд-
лся, какъ слѣдуетъ вести дѣло съ многолюднымъ классомъ
ебнаго заведенiя. Мнѣ недоставало теорiи, которая расши-
ла бы мой кругозоръ. На первый разъ графъ далъ мнѣ со-
ненiя Дистервега и швейцарца Мàгера (Mager), который по
анцузскому произношенiю назывался также Мажé. Первый
лъ наставителенъ для меня своею основательностью, а вто-
й — широкими взглядами и размашистыми планами, которые
тя и не всегда могли быть оправданы на дѣлѣ, но давали
нако новыя точки зрѣнiя и наводили на разные вопросы.

Когда мало-по-малу я втянулся въ эту неизвѣстную мнѣ до
хъ поръ дидактическую область и, наконецъ, сильно ею за-
нтересовался, тогда графъ, удостовѣрившись въ частыхъ бе-
дахъ со мною о моихъ быстрыхъ успѣхахъ, сталъ давать мнѣ

разныя порученія, имѣвшія своимъ предметомъ распространеніе и водвореніе надлежащаго метода въ обученіи русскому языку и словесности въ училищахъ и гимназіяхъ московскаго учебнаго округа. Я долженъ былъ составлять по этому дѣлу краткіе циркуляры, а иногда и цѣлыя статьи, которыя въ печатныхъ брошюрахъ разсылались по всему учебному округу. Послѣ студенческихъ работъ, о которыхъ я уже говорилъ вамъ, это были мои первые самостоятельные опыты, удостоившіеся печати. Изъ нихъ помню два — оба относятся къ 1841 году.

Одна брошюра имѣетъ своимъ предметомъ обученіе азбукѣ по звуковому методу, который графъ пожелалъ ввести въ первоначальныхъ школахъ всего московскаго учебнаго округа. Онъ лично зналъ одного учителя въ приходской школѣ за Москворѣкою, который уже успѣшно пользовался этимъ методомъ. То былъ нѣкто Гликé, родомъ грекъ, человѣкъ средняго роста, полный и смуглый, черноволосый и съ крупными чертами лица, — говорилъ басомъ. Хорошо его помню потому, что по приказанію графа нѣсколько разъ просиживалъ я по цѣлому часу у него на урокахъ, чтобы какъ слѣдуетъ, вполнѣ ознакомиться съ его пріемами въ постепенномъ порядкѣ преподаванія. Скрѣпивъ наглядною практикою уже знакомыя мнѣ изъ книгъ теоретическія правила, я изготовилъ краткое наставленіе, какъ обучать дѣтей грамотѣ по звуковому методу.

Другая брошюра касается преподаванія элементарной грамматики и содержитъ въ себѣ критическія замѣчанія на руководство: „Русская грамматика для русскихъ“, составленное Половцевымъ. По рекомендаціи графа, онъ часто бывалъ у меня наверху въ моей комнатѣ, когда пріѣзжалъ въ Москву. Служилъ онъ инспекторомъ въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній въ Петербургѣ. Его руководство графъ распространилъ по приходскимъ и уѣзднымъ училищамъ своего округа. Моя критика была напечатана съ вѣдома и даже по желанію самого Половцева, потому что была направлена не къ порицанію, а къ выгодѣ самой книги, содержа въ себѣ нѣкоторыя дополненія, замѣтки и объясненія, какъ удобнѣе и легче было бы ею пользоваться въ школьномъ преподаваніи.

Такія работы были приложеніемъ къ офиціальнымъ занятіямъ моей учительской карьеры, дополняя и завершая мои служебныя обязанности. Ими однѣми, разумѣется, я не могъ довольствоваться, да и вообще педагогія и дидактика не могли удовлетворять моимъ интересамъ, направленнымъ въ теченіе

предшествовавшихъ двухъ лѣтъ совершенно въ другую сторону. Обаятельныя воспоминанія манили меня назадъ, въ обѣтованную страну искусства, а недовольство дѣйствительностью съ удвоенною силою напрягало мою энергію стремиться въ неопредѣленную туманную даль моихъ замысловъ, новыхъ предпріятій и надеждъ.

Чтобы дать вамъ понятіе о тогдашнемъ настроеніи моего духа, привожу вамъ еще одно изъ моихъ писемъ къ милому моему ученику, барону Михаилу Львовичу Боде, который былъ тогда въ пажескомъ корпусѣ въ Петербургѣ; оно писано 26-го октября 1841 года.

„Что касается до моихъ настоящихъ занятій, — писалъ я, — то готовъ откровенно пересказать вамъ мои планы и предначинанія, если только и теперь они займутъ васъ такъ же, какъ прежде. Какая-то странная судьба поставила меня къ самому себѣ въ особенное, хотя довольно любопытное, но непонятное для меня самого отношеніе. Я здѣсь не разумѣю должности и дѣлъ по службѣ, которыя для ученаго должны быть только внѣшнимъ дополненіемъ къ его дѣятельности. Что я могу и что я долженъ дѣлать для нашей литературы? Найду ли въ читателяхъ сочувствіе въ тѣхъ мысляхъ, которыми наполняются теперь всѣ мои думы? Вотъ вопросъ, который и занимаетъ, и спутываетъ меня! Пишутъ же въ нашихъ журналахъ для того-нибудь философскую галиматью, немилосердно коверкая прусскую философію Гегеля! Образъ моихъ воззрѣній, по крайней мѣрѣ, могъ бы быть животворнѣе для нравственнаго чувства и ближе къ душѣ. Не почтите словъ моихъ высокомѣрною мечтою: если во мнѣ что-нибудь есть, то всѣмъ этимъ я обязанъ тѣмъ великимъ геніямъ, произведеніями которыхъ я если не вдохновлялся, то, по крайней мѣрѣ, приходилъ въ возвышавшее меня нравственное созерцаніе. Вы догадались уже, вѣроятно, что рѣчь моя клонится не къ грамматикѣ, которою я теперь хотя и занимаюсь столько же, какъ и прежде, но, разумѣется, почитаю святотатственнымъ заглушать ею въ своей душѣ предметы, одна память о которыхъ просвѣтляетъ во мнѣ весь мракъ тускло мелькающей передо мною будущей моей дѣятельности, для которой да подкрѣпитъ меня высшая Сила! Съ другой стороны, не хочу я выдавать въ свѣтъ и своихъ путевыхъ записокъ, какъ дѣлаетъ у насъ всякій, только что показавшій свой носъ за границу, думая, что онъ въ правѣ писать о себѣ, какъ о великомъ человѣкѣ, каждая минута жизни котораго должна обезсмертиться въ исторіи образованія. Кому какой инте-

ресъ въ томъ, что̀ я когда дѣлалъ и что̀ говорилъ, гдѣ былъ и куда ѣздилъ? Не думайте, однакожъ, чтобы я рѣшительно коснѣлъ въ бездѣйствіи. Нѣтъ, я соображаю, думаю, пишу, хотя, признаюсь, и не столько, сколько бы хотѣлъ. Моя суетливая жизнь отнимаетъ у меня пропасть времени. Однако, не въ доказательство своей дѣятельности — потому что тогда доказательство было бы очень неполновѣсно, — а въ знакъ моей преданности къ вамъ, какъ прилежному и внимательному къ моимъ классамъ ученику, посылаю приложенную при письмѣ маленькую брошюрку. Я почелъ обязанностью сообщить вамъ ее потому именно, что въ ней говорю нѣсколько словъ о той наукѣ, которою нѣкогда занимался съ вами. Краткость ея объясняется тѣмъ, что она принята по всему учебному округу, какъ правило, отъ котораго не должны отступать учителя въ преподаваніи по грамматикѣ Половцева, на которую и написаны мною эти замѣчанія. Собственно говоря, это маленькое сочиненіе есть не что̀ иное, какъ критика, но я старался возвести эту критику на степень офиціальнаго правила, удержавшись такимъ образомъ отъ всякой пристрастной и не идущей къ дѣлу полемики. Для меня особенно пріятно, что сочиненіе такого рода въ нашемъ быту еще никому не приходило въ голову"...

Письмо это, сбереженное отъ того далекаго времени барономъ Михаиломъ Львовичемъ въ его Колычевскомъ архивѣ, достаточно характеризуетъ вамъ смутное, еще не установившееся броженіе моихъ идей, намѣреній и плановъ въ раздвоеніи ученыхъ интересовъ и досужихъ мечтаній, между такими противоположными крайностями, какъ искусство и филологія съ лингвистикою. Міръ изящнаго былъ уже позади меня, и мнѣ оставалось только разбираться въ своихъ драгоцѣнныхъ воспоминаніяхъ и приводить ихъ въ порядокъ, какъ результатъ прошедшаго. Основательное, вполнѣ научное изслѣдованіе элементовъ и формъ языка по лингвистическому сравнительному методу представлялось завидною цѣлью намѣченнаго мною пути; но чтобы безпрепятственно вступить на него, надобно было освободиться отъ тормазовъ педагогики и дидактики. Обѣ эти дисциплинарныя науки имѣли для меня только временное, преходящее значеніе. Онѣ должны были придавать нѣкоторый интересъ моему учительству въ гимназіи, которое было мнѣ и тягостно, и скучно.

Въ то самое время, когда по порученію графа я писалъ наставленія, какъ учить грамотѣ по звуковому методу и какъ преподавать школьную грамматику по учебнику Половцева, счаст-

ивый случай привелъ мнѣ отвести душу на такомъ занятіи, которое больше всѣхъ другихъ было по сердцу. Мой дорогой наставникъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ, всегдашній поощритель и возбудитель молодежи къ литературнымъ работамъ, предложилъ мнѣ изготовить для его „Москвитянина“ какую-нибудь статейку объ Италіи, которую я хорошо знаю и такъ люблю. И выбралъ себѣ темою „Храмъ св. Петра въ Римѣ“ и въ 1842 г. напечаталъ въ этомъ журналѣ ту бездѣлицу, о которой я уже упоминалъ вамъ по случаю моего „римскаго сновидѣнія“. Когда я писалъ эту статью, я вовсе не разсчитывалъ на вниманіе къ ней публики; мнѣ хотѣлось только предъявить моимъ университетскимъ наставникамъ, Погодину и Шевыреву, кое-что объ успѣшныхъ результатахъ моихъ занятій въ Италіи. Я старался какъ можно больше набрать фактовъ, чтобы засвидѣтельствовать передъ ними о своихъ свѣдѣніяхъ и начитанности, будто студентъ на экзаменѣ.

Вмѣстѣ съ этимъ я чувствовалъ потребность дать отчетъ о моихъ познаніяхъ по классической археологіи профессору римской литературы и древностей — Дмитрію Львовичу Крюкову, который и напутствовалъ меня за границу, какъ вы уже знаете, самымъ полезнымъ для меня указаніемъ книги Отфрида Мюллера, служившей мнѣ ежедневнымъ руководствомъ въ изученіи памятниковъ античнаго искусства. Горячо любимый мною, Дмитрій Львовичъ съ сочувственнымъ одобреніемъ выслушивалъ мои восторженныя впечатлѣнія, когда я разсказывалъ ему о мюнхенскихъ Эгинетахъ и барберинскомъ Фавнѣ, о флорентійскихъ Борцахъ и Точильщикѣ, о бюстѣ Юноны и группѣ Арія и Петы въ виллѣ Людовизи, о геркуланскомъ бронзовомъ Меркуріи въ неаполитанскомъ музеѣ и о многомъ другомъ. Тогда же было рѣшено между нами, что я составлю небольшую монографію объ античномъ пластическомъ стилѣ и о типахъ греческихъ божествъ. Я благоговѣлъ передъ Винкельманомъ и вполнѣ сочувствовалъ его взглядамъ и вкусамъ; потому мнѣ легко было выполнить взятую на себя задачу. Къ сожалѣнію, мнѣ суждено было довести ее до конца не раньше какъ въ 1851 году, когда моего незабвеннаго наставника не было уже въ живыхъ.

XXI.

Другія настоятельныя дѣла и спѣшныя работы отвлекали мое вниманіе отъ досужихъ занятій по археологіи и исторіи искусства. Графъ совѣтовалъ мнѣ немедленно готовиться къ

магистерскому экзамену и вмѣстѣ съ тѣмъ привести въ порядокъ мои свѣдѣнія по дидактикѣ и педагогіи въ ихъ спеціальномъ примѣненіи къ школьному преподаванію родного языка, стилистики и литературы. Чтобы уэкономить время и не раздвоять своихъ силъ между учеными и учебными интересами, я рѣшилъ сначала покончить съ экзаменомъ, а потомъ написать книгу педагогическаго и дидактическаго содержанія для преподавателей русскаго языка и словесности.

Я готовился къ своему магистерству по предварительному взаимному соглашенію съ экзаминаторами. Они хорошо знали о моихъ успѣшныхъ занятіяхъ за границею и отнеслись ко мнѣ благодушно и снисходительно, не въ примѣръ другимъ, можетъ быть, отчасти и изъ уваженія къ графу, который меня любилъ и жаловалъ, заботясь о моемъ образованіи. Ихъ было четверо: деканъ факультета, Иванъ Ивановичъ Давыдовъ, долженъ былъ экзаменовать меня изъ теоріи словесности и языка (изъ такъ называемой общей грамматики); Степанъ Петровичъ Шевыревъ — изъ исторіи иностранной и русской литературы; Осипъ Максимовичъ Бодянскій — изъ славянскихъ нарѣчій, и Дмитрій Львовичъ Крюковъ — изъ философіи, такъ какъ спеціальнаго профессора по этому предмету въ московскомъ университетѣ тогда не было.

Явиться съ отвѣтомъ на судъ передъ Давыдовымъ и Шевыревымъ я чувствовалъ себя вполнѣ готовымъ. Но философія была для меня темнымъ лѣсомъ. Никогда не любилъ я отвлеченностей, не люблю и теперь. Крюковъ пощадилъ меня и назначилъ для экзамена изъ головоломной философіи Гегеля только эстетику и этимъ однимъ ограничилъ свои требованія. Главное затрудненіе представляли мнѣ славянскія нарѣчія, такъ какъ въ мое время они въ московскомъ университетѣ еще не преподавались. Бодянскій сталъ ихъ читать съ каѳедры, когда я только что возвратился изъ-за границы. Я прослушалъ у него нѣсколько лекцій и по его указанію запасся славянскими древностями и славянскою этнографіею Шафарика, изданіями суда Любуши, краледворской рукописи и сборниковъ пѣсенъ сербскихъ, чешскихъ, хорватскихъ и другихъ.

Мнѣ легко было сладить съ славянскими нарѣчіями, потому что съ самымъ труднымъ изъ нихъ, съ польскимъ, я порядочно ознакомился, еще будучи студентомъ, отъ своихъ товарищей поляковъ. Сверхъ того, когда я готовился къ магистерскому экзамену, по счастливой случайности, я близко сошелся съ од-

мъ болгариномъ, молодымъ человѣкомъ моихъ лѣтъ, который ъ своихъ соплеменниковъ, кажется, былъ первымъ ихъ предественникомъ между студентами московскаго университета. заграничныхъ славянъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ проявился тогда и чествовался, какъ ихъ всеобщій покровитель заступникъ; потому и этотъ болгаринъ тотчасъ же по пріѣздѣ въ Москву явился именно къ нему, былъ имъ принятъ распростертыми объятіями и немедленно водворенъ въ его мѣ на Дѣвичьемъ полѣ. Этотъ молодой человѣкъ, по фамиліи усилинъ, ни слова не умѣлъ сказать по-русски и, чтобы обуить его нашему языку, Погодинъ рекомендовалъ его мнѣ. Бусилинъ приходилъ ко мнѣ на Знаменку раза два или три въ дѣлю, и мы взаимно обучали другъ друга: я его — русскому ыку, а онъ меня — болгарскому и сербскому, на которомъ ъ свободно говорилъ. Для чтенія на болгарскомъ языкѣ у съ не было подъ руками ни одной печатной книги. Приходилось довольствоваться тѣмъ, что̀ Бусилинъ напишетъ мнѣ по амяти; а такъ какъ я интересовался народной словесностью, онъ писалъ для меня пѣсни своего родного племени, которыя особенно дороги были мнѣ потому, что ни одного сборника болгарскихъ пѣсенъ не было еще тогда въ печати. Въ 848 году въ моей магистерской диссертаціи, со словъ Бусилина, я привелъ цитату изъ болгарской народной поэзіи о какихъ-то вѣщихъ дѣвахъ, соединяющихъ въ своемъ типѣ сербскихъ вилъ съ малорусскими русалками.

Для практики въ русскомъ разговорномъ языкѣ я заставлялъ усилина разсказывать мнѣ о его соплеменникахъ, о ихъ образѣ изни, о нравахъ и обычаяхъ, объ ихъ отношеніяхъ къ турецкимъ властямъ и къ высшимъ чинамъ духовной іерархіи, остоящей изъ грековъ.

Особенно живо сохранился въ моей памяти одинъ изъ его азсказовъ. Было тогда въ обычаѣ у турецкихъ вельможъ брать ъ себѣ поваровъ изъ болгаръ, которые предпочитались грекамъ въ кухмистерскомъ искусствѣ. Пріятель Бусилина, молодой болгаринъ красивой наружности, былъ поваромъ у одного паши въ Константинополѣ. Кухня его выходила на задворокъ, примыкавшій къ обширному внутреннему саду, который былъ окруженъ задними сторонами дворца, построеннаго на планѣ четвероугольника. Въ этотъ садъ иногда выходили прогуливаться жены того паши съ ихъ дочерьми.

По словамъ Бусилина, въ ту пору въ турецкихъ гаремахъ

стала замѣтно распространяться европейская цивилизація, которую вносили въ нихъ съ собою сыновья и братья гаремныхъ затворницъ, возвращавшіеся домой изъ Парижа, куда были посылаемы ихъ родителями для образованія. Мало-по-малу стали оглашаться заповѣдные покои гаремовъ бойкою французскою рѣчью и веселою бальною музыкою, подъ которую щеголеватые братцы со своими сестрицами танцовали вальсы, кадрили и мазурки, а втихомолку западали въ юныя души и сердца новыя идеи, новые помыслы и новыя стремленія къ чему-то лучшему, манящему въ даль, вносящему въ жизнь невѣдомыя дотолѣ радости и надежды. Въ гаремѣ повѣяло предвѣстіемъ христіанскаго просвѣщенія. Женщина почуяла свое высокое призваніе въ благотворной семейной средѣ христіанскаго бракосочетанія.

Однажды самая любимая пашою изъ всѣхъ его взрослыхъ дочерей за ея красоту и благодушный нравъ, прогуливаясь по саду, замѣтила въ отворенномъ окнѣ кухни молодого человѣка и плѣнилась его наружностью. То былъ болгарскій поваръ, пріятель Бусилина. Будучи мечтательна по природѣ, она любила уединеніе, и теперь никому и въ голову не приходило слѣдить за нею, когда она одна-одинехонька каждый день проходила по аллеямъ, тянущимся вдоль внутреннихъ стѣнъ гарема, надѣясь взглянуть на обожаемаго ею человѣка, которому она съ перваго взгляда отдала свое сердце. Ея сестры и подруги толпились и играли въ разныя игры обыкновенно по серединѣ сада у бесѣдокъ съ фонтанами. Болгаринъ сначала дичился и робѣлъ и всякій разъ прятался, когда она, проходя мимо, остановится и броситъ на него свой любящій взглядъ, но потомъ немножко попривыкъ и пересталъ отъ нея скрываться. Чтобы покончить дѣло однимъ разомъ, она смѣло отважилась на рѣшительныя мѣры и въ глухую полночь явилась въ его комнатѣ, бросилась къ нему на шею и требовала, чтобы онъ сейчасъ же бѣжалъ съ нею: она приметъ христіанскую вѣру и выйдетъ за него замужъ; она все обдумала и взяла съ собою много денегъ и всякихъ драгоцѣнностей. Болгаринъ окаменѣлъ отъ ужаса и, когда могъ вымолвить слово, наотрѣзъ отказался исполнить ея безумный планъ. Она умоляла его, плакала и терзалась; онъ былъ непреклоненъ и стоялъ на своемъ. Тогда она схватила кухонный ножъ и вонзила его себѣ въ горло. Впослѣдствіи на допросѣ оказалось, что онъ второпяхъ рознялъ по частямъ трупъ злосчастной дѣвушки, сложилъ ихъ въ большую и высокую плетеную корзину, которую онъ каждое

утро бралъ съ собою для покупки провизіи на базарѣ, находившемся на небольшомъ островѣ верстахъ въ двухъ отъ берега. Корзину поставилъ онъ на ручную телѣжку, спозаранку до восхода солнца подвезъ ее къ берегу и перенесъ на свою лодку, стоявшую между другими, принадлежавшими тоже разнымъ поварамъ и хозяевамъ. Никого еще не было въ эту раннюю пору, и онъ одинъ-одинехонекъ отплылъ къ острову; на половинѣ пути, озираясь кругомъ, понемножку сталъ опрастывать корзину отъ кровавой клади. Море бурлило, и высоко вздымавшіяся волны заслоняли отъ постороннихъ глазъ его святотатственное дѣло. На базарѣ купилъ онъ что̀ нужно и въ той же корзинѣ привезъ домой. Но въ гаремѣ давно уже поднялась тревога, повсюду шумъ и гвалтъ. Любимая дочь паши пропала безъ вѣсти, и только что появился болгаринъ — тотчасъ же былъ схваченъ. Улики были несомнѣнны: полъ въ его жильѣ политъ кровью, тамъ и сямъ попадаются драгоцѣнныя вещицы, принадлежавшія пропавшей красавицѣ, и окровавленные клочки ея одежды. Паша былъ въ изступленіи отъ гнѣва и ярости, когда привели къ нему болгарина еле живого, онѣмѣлаго отъ страха и ужаса. Паша накинулся на него какъ бѣшеный, билъ его и проклиналъ, ругалъ тупоумнымъ трусомъ, подлымъ злодѣемъ, безчеловѣчнымъ извергомъ, а вмѣстѣ плакалъ и рыдалъ, трогательно внушая ему горькіе упреки и жалостливыя завѣренія, что онъ простилъ бы и его, и свою дочь, если бы они открылись ему въ своей любви, смилостивился бы надъ ними, благословилъ бы ихъ супружество и щедро бы наградилъ. Само собою разумѣется, пріятель Бусилина немедленно былъ казненъ.

Бусилинъ былъ средняго роста, незначительной наружности и слабаго, хрупкаго сложенія. Нашъ суровый климатъ былъ не по немъ, особенно когда наступали зимніе морозы. Онъ прихварывалъ и видимо чахнулъ. На него напало унынie; тяжелыя думы чаще и чаще стали омрачать его смиренный нравъ, и безъ того меланхолическій. Къ болѣзненному состоянію, очевидно, что-то прибавилось другое и угнетало его пуще хвори. Мое сердечное участіе вызвало его на откровенность. Оказалось, что и онъ, также какъ его константинопольскій пріятель, былъ трусливаго десятка. Онъ боялся оставаться въ Москвѣ, чтобы не умереть отъ болѣзни, а еще сильнѣе страшился воротиться на родину, гдѣ онъ неминуемо подвергнется смертной казни, если будетъ оклеветанъ передъ турецкими властями въ

государственной измѣнѣ, что случалось нерѣдко съ турецкими подданными изъ славянъ, возвращавшимися изъ Россіи домой. Онъ былъ убѣжденъ, что можетъ спастись отъ угрожавшей ему бѣды не иначе, какъ принявъ русское подданство, — тогда не посмѣютъ наложить на него руку. Погодинъ много хлопоталъ за него въ этомъ дѣлѣ, но получилъ рѣшительный отказъ, потому что вслѣдствіе какихъ-то дипломатическихъ постановленій строжайше воспрещено было охранять русскимъ подданствомъ балканскихъ славянъ отъ турецкаго деспотизма. Я съ своей стороны обратился къ графу Сергію Григорьевичу съ просьбою о ходатайствѣ за горемычнаго Бусилина, но онъ далъ мнѣ тотъ же неблагопріятный отвѣтъ. И такъ ничего не оставалось моему бѣдному болгарину, какъ умереть далеко отъ своей родины. Онъ прожилъ въ Москвѣ года два и скончался въ студенческой больницѣ.

Отъ этого эпизода возвращаюсь къ прерванному разсказу о томъ, какъ готовился я къ магистерскому экзамену. Наконецъ онъ наступилъ. Это было въ 1843 году, въ залѣ правленія и совѣта, въ старомъ зданіи университета, подъ тою аудиторіею, вамъ уже извѣстною, въ которой въ 1834 году я держалъ вступительный экзаменъ въ студенты. Теперь рѣшительно не помню, какіе именно вопросы предлагались мнѣ Давыдовымъ, Шевыревымъ, Крюковымъ и Бодянскимъ, и что и какъ отвѣчалъ я имъ; живо и ярко помню только одно—это самый конецъ моего экзамена, точнѣе сказать — завершеніе его настоящею драматическою сценою, которая къ великой моей радости дала мнѣ знать, что выдержалъ я испытаніе на степень магистра съ рѣшительнымъ успѣхомъ. Когда экзаминаторы и прочіе члены факультета встали изъ-за стола, чтобы разойтись по домамъ, въ ихъ толпѣ послышались мнѣ голоса Крюкова и Шевырева, которые о чемъ-то между собою спорили. Оказалось, что дѣло шло обо мнѣ, кому изъ обоихъ я больше обязанъ своимъ образованіемъ. Шевыревъ по свойственной ему пылкости горячился и выходилъ изъ себя; Крюковъ съ обычною его нраву сдержанностью отвѣчалъ ему хладнокровно и мягко, но съ остроумными подковырками, хотя и въ безукоризненно-вѣжливой формѣ. Это бѣсило Шевырева, и онъ наконецъ дошелъ до того, что сталъ придираться къ своему сопернику и упрекать его въ невѣріи и безнравственности, такъ что я перепугался, чтобы меня самого не потащили на расправу, и стремглавъ бросился вонъ.

Для объясненія этой сцены я долженъ припомнить вамъ, что гда уже обострились непріязненныя отношенія между прежми профессорами и прибывшими изъ-за границы, а также и жду славянофилами и западниками. Крюковъ былъ западникъ гелевской школы, и потому казался Шевыреву анархистомъ атеистомъ.

Вы уже знаете, что одновременно съ приготовленіемъ къ агистерству я работалъ надъ сочиненіемъ „О преподаваніи ечественнаго языка“. Оно вышло въ свѣтъ въ 1844 году, двухъ частяхъ. Первая содержитъ въ себѣ дидактическія авила и пріемы, какъ преподавать этотъ предметъ, собранные мною по указанію графа въ матеріалахъ и пособіяхъ его гатой библіотеки, а вторая — мои изслѣдованія по русскому ыку и стилистикѣ во множествѣ болѣе или менѣе объемистыхъ замѣтокъ, накопившихся у меня по мѣрѣ того, какъ я товился къ магистерскому экзамену. Вмѣстѣ съ капитальнымъ слѣдованіемъ Вильгельма Гумбольдта о сродствѣ и различіи до-германскихъ языковъ, я изучалъ тогда сравнительную грамтику Боппа и умѣлъ уже довольно бойко читать санскритскую амоту, которой обучилъ меня университетскій товарищъ мой, аетанъ Андреевичъ Коссовичъ,—въ Москвѣ только онъ одинъ зналъ этотъ языкъ, до возвращенія извѣстнаго санскритолога етрова изъ-за границы. Но особенно увлекся я сочиненіями кова Гримма и съ пылкой восторженностью молодыхъ силъ ыталъ и зачитывался его историческою грамматикою нѣмецихъ нарѣчій, его нѣмецкою миѳологіею, его нѣмецкими юриическими древностями. Этотъ великій ученый былъ мнѣ вполнѣ душѣ. Для своихъ неясныхъ, смутныхъ помысловъ, для сканія ощупью и для загадочныхъ ожиданій я нашелъ въ его роизведеніяхъ настоящее откровеніе. Меня никогда не удовлеворяла безжизненная буква: я чуялъ въ ней музыкальный вукъ, который отдавался въ сердцѣ, живописалъ воображенію вразумлялъ своею точною, опредѣленною мыслью въ ея обообленной, конкретной формѣ. Въ своихъ изслѣдованіяхъ германской старины Гриммъ постоянно пользуется грамматическимъ нализомъ встрѣчающихся ему почти на каждомъ шагу различныхъ терминовъ глубокой древности, которые въ настоящее ремя уже потеряли свое первоначальное значеніе, но оставили о себѣ и въ современномъ языкѣ производныя формы, боѣе или менѣе уклонившіяся отъ своего ранняго первообраза, олько же по этимологическому составу, какъ и по смыслу.

Сравнительная грамматика Боппа и изслѣдованія Гримма привели меня къ тому убѣжденію, что каждое слово первоначально выражало наглядное изобразительное впечатлѣніе и потомъ уже перешло къ условному знаку отвлеченнаго понятія, какъ монета, которая отъ многолѣтняго оборота, переходя изъ рукъ въ руки, утратила свой чеканный рельефъ и сохранила только номинальный смыслъ цѣнности.

Вотъ какимъ путемъ я наконецъ открылъ себѣ жизненную, потайную связь между двумя такими противоположными областями моихъ научныхъ интересовъ, какъ исторія искусства съ классическими древностями и грамматика русскаго языка. Въ Италіи я изучалъ художественные стили — пластическій, живописный, орнаментальный, античный, византійскій, романскій, готическій, ренессансъ, рококо, барокко; теперь я уяснилъ себѣ отличіе литературнаго стиля отъ слога: первый отнесъ къ общей группѣ художественнаго разряда, а второй подчинилъ грамматическому анализу, какъ живописецъ подчиняетъ своему стилю техническую разработку рисунка, колорита, свѣтотѣни и разныхъ подробностей въ исполненіи. Такъ, напримѣръ, постоянные эпитеты, тождесловіе, длинное сравненіе — я отнесъ къ слогу, которымъ пользуется эпическій стиль Гомера или нашей народной поэзіи. Языкъ въ теперешнемъ его составѣ представлялся мнѣ результатомъ многовѣковой переработки, которая старое мѣняла на новый ладъ, первоначальное и правильное искажала и вмѣстѣ съ тѣмъ въ своеземное вносила новыя формы изъ иностранныхъ языковъ. Такимъ образомъ весь составъ русскаго языка представлялся мнѣ громаднымъ зданіемъ, которое слагалось, передѣлывалось и завершалось разными перестройками въ теченіе тысячелѣтія, въ родѣ, напримѣръ, римскаго собора Маріи Великой (Maria Maggiore), въ которомъ раннія части восходятъ къ пятому вѣку, а позднѣйшія относятся къ нашему времени. Гуляя по берегамъ Байскаго залива, я любилъ реставрировать въ своемъ воображеніи развалины античныхъ храмовъ и другихъ зданій; теперь съ такимъ же любопытствомъ я реставрировалъ себѣ переиначенныя временемъ формы русскаго языка. Современная книжная рѣчь была главнымъ предметомъ моихъ наблюденій. Въ ней видѣлъ я итогъ постепеннаго историческаго развитія русскаго народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и центральный пунктъ, окруженный необозримой массою областныхъ говоровъ. Карамзинъ и Пушкинъ были мнѣ авторитетными руководителями въ моихъ грамматическихъ соображеніяхъ.

Первый щедрою рукою бралъ въ свою прозу мѣткія слова и выраженія изъ старинныхъ документовъ, а второй украшалъ свой стихъ народными формами изъ сказокъ, былинъ и пѣсенъ. Этотъ великій поэтъ всегда ратовалъ за разумную свободу русской рѣчи противъ безпощаднаго деспотизма, противъ условныхъ, ни на чемъ не основанныхъ предписаній и правилъ грамматики Греча, которая тогда повсемѣстно господствовала. Еще на студенческой скамейкѣ изъ лекцій профессора Шевырева я оцѣнилъ и усвоилъ себѣ это завѣтное убѣжденіе Пушкина и старался сколько могъ провести его въ своихъ разрозненныхъ изслѣдованіяхъ о языкѣ и слогѣ, помѣщенныхъ во второй части моего сочиненія „О преподаваніи отечественнаго языка“.

Несмотря на мою неопытность въ книжномъ дѣлѣ, сочиненіе это имѣло рѣшительный успѣхъ, потому что тотчасъ же какъ только появилось въ печати было замѣчено критикою. Одни меня хвалили, другіе ругали донельзя и всячески надо мною издѣвались. Прошу васъ припомнить, что въ моихъ воспоминаніяхъ я ни разу не привелъ вамъ ни одной цитаты изъ какой-нибудь печатной статьи или книги. Теперь, чтобы вы сами могли судить о моемъ успѣхѣ, привожу вамъ выдержку изъ „Библіотеки для Чтенія“, барона Брамбеуса, за 1844 годъ.

„Имя одного изъ Буслаевыхъ давно уже извѣстно въ лѣтописяхъ русской литературы. Онъ былъ духовнаго званія, дьякономъ при московскомъ Успенскомъ соборѣ. Овдовѣвши, оставилъ онъ свое званіе и находился при частныхъ дѣлахъ у богатаго барона Григорія Дмитріевича Строганова. Кончина добродѣтельной супруги благодѣтеля, баронессы Маріи Яковлевны, внушила Буслаеву мысль уковѣчить память ея огромною поэмою, которая была напечатана въ 1734 году, въ Москвѣ въ двухъ большихъ квартантахъ, подъ заглавіемъ: *„Умозрительство душевное, описанное стихами, о переселеніи въ вѣчную жизнь превосходительной баронессы Маріи Яковлевны Строгановой“*. Въ концѣ поэмы были приложены два длинныя стиховныя надгробія. Буслаевъ писалъ силлабическимъ размѣромъ съ риемами, какъ писаны сатиры Кантемира. Тредьяковскій приходилъ въ восторгъ отъ стиховъ Буслаева. Приводя нѣсколько строкъ его въ своемъ „Разсужденіи о древнемъ, среднемъ и новомъ россійскомъ стихотворствѣ“, онъ чистосердечно восклицаетъ: *„Что выше сего выговорить человѣкъ возможетъ, что сладостнѣе и вымышленнѣе? Если бы въ сихъ стихахъ паденіе стопъ было возвышающихся и понижающихся, по опредѣленнымъ разстояніямъ, то что сихъ стиховъ могло бы быть глаже и плавнѣе?“*

„Авторъ предлежащей книги „О преподаваніи отечественнаго языка“, соплеменникъ, а можетъ быть, и потомокъ поэта, которому такъ удивлялся Тредьяковскій, счелъ нужнымъ сочинить съ своей стороны также *умозрительство*. По *умозрительству* господина Буслаева, нашего современника, выучиться отечественному языку — дѣло весьма легкое. „Изученіе родного языка *раскрываетъ всѣ нравственныя силы учащагося*, даетъ ему *истинно гуманическое образованіе*, заставляетъ *вникать въ ничтожныя безжизненныя мелочи и открываетъ въ нихъ глубокую жизнь во всей неисчерпаемой полнотѣ ея*... Послѣ Закона Божія нѣтъ ни одного предмета, въ которомъ бы *такъ тѣсно и гармонически совокуплялось преподаваніе съ воспитаніемъ*. Постепенное раскрытіе родного дара слова должно быть *раскрытіемъ всѣхъ нравственныхъ силъ учащагося потому, что родной* языкъ есть *неистощимая сокровищница всего духовнаго бытія человѣческаго;* а кто понялъ сравнительное языкознаніе, для того уже не существуетъ *непроходимаго средостѣнія между русскимъ и чужеземнымъ языкомъ*. Истинный *гуманизмъ* вездѣ видитъ человѣка и сознаетъ, что въ необъятной *машинѣ* созданія *не пропадаетъ ни единаго волоса съ головы человѣческой*. Неправы тѣ, которые полагаютъ, будто *изслѣдованіе буквы* убиваетъ всякое сочувствіе къ живой идеѣ. Буква есть *самая дробная стихія человѣческаго слова. Философія языка* только тогда будетъ незыблема, когда глубоко укоренится на *изученіи буквы*. Кто съ надлежащей точки смотритъ на *букву*, тотъ понимаетъ *языкъ* во всей его *осязательности, изобразительности и жизненной полнотѣ*. Главное дѣло тутъ — *метода:* она имѣетъ цѣлью *подчинить человѣческій духъ, какъ существо, учащееся* буквѣ, *извѣстнымъ законамъ,* и психологически вникаетъ въ познавательную способность этого существа“...

„На такихъ-то истинахъ „умозрительства“ воздвигнуты два тома господина Буслаева. Кто, прочитавъ ихъ, вооружится истинною *философіей,* тотъ пройдетъ самымъ *гуманнымъ* образомъ всякое *непроходимое средостѣніе* и проглотитъ всѣ *дробныя стихіи языка*. Познавательная сила человѣческаго духа, какъ *существа учащагося* буквѣ, подвергается здѣсь ученію не только по толковымъ образцамъ, но даже и по безсмыслицѣ.

. . . . . .

„Такимъ образомъ, piano pianissimo вы достигнете совершенства въ языкѣ и начнете чувствовать гомерическія красоты слога „Мертвыхъ душъ“, который уже есть высшая, недости-

мая степень идеальности русскаго слова. Господинъ Буслаевъ берется обучать черезъ безсмыслицу до такой превосходной эпени и благоговѣйно выписываетъ для назиданія нижеслѣющій примѣръ недосягаемаго гомеризма: „Будетъ, будетъ все ле съ *облогами* и дорогами покрыто ихъ бѣлыми, *торчащими* стями, *щедро обмывшись* казацкою *ихъ* кровью и покрывшись *збитыми* возами, *расколотыми* саблями и копьями *и запекшися въ крови чубами и опущенными книзу* усами; будутъ орлы, летѣвъ, выдирать и выдергивать изъ нихъ *казацкія очи*. Но бро великое въ такомъ широко и вольно *разметавшемся ертномъ ночлегѣ!* Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло не пропадетъ, какъ *малая порошинка* съ ружейнаго дула, *зацкая слава*... И пойдетъ *дыбомъ* по всему свѣту *о нихъ* ава“...

„Донынѣ вы добродушно полагали, что весь этотъ гомезмъ — чепуха по мысли, чудовище по выраженію, галиматья, торой безъ смѣху и сожалѣнія читать нельзя; *щедрое мытье овью, расколотыя сабли, разбросанные по полю чубаны, вольно зметавшійся смертный ночлегъ и казацкая слава,* которая *дитъ по свѣту дыбомъ,* принадлежатъ къ языку бѣлой гочки, а не русскому, и подлежатъ болѣе сужденію медицины, мъ литературной критики. О, заблужденіе! о, отсутствіе якой гуманности! Вы доселѣ —

„*Въ невѣжествѣ коснѣя, утопая*“, не знали *философіи кѣ!* Прочитайте „умозрительство“ г. Буслаева, „О преподаваніи отечественнаго языка“, раскройте *познавательность* оего духа *черезъ безсмыслицу* — и вы поймете, что „выше го, сладостнѣе и вымышленнѣе выговорить человѣкъ не возжетъ“.

Къ этому похвальному аттестату, данному мнѣ въ журналѣ рона Брамбеуса, не замедлила приложить свою руку и „Сѣверная Пчела“ Булгарина и Греча въ коротенькой замѣткѣ въ момъ концѣ статьи, гдѣ критикъ называетъ поименно разныя охія сочиненія и „странную книгу о томъ, какъ *разучиться* исать по-русски — г. Буслаева“.

Не думаю, чтобы писатель, даже самый апатичный, былъ инаково равнодушенъ и къ ругательству и къ похваламъ, корыми критика встрѣчаетъ его произведенія; мнѣ было стыдно жутко читать не только вслухъ, но и про себя, какъ передъ лымъ свѣтомъ окатили мое до сихъ поръ никому не извѣстное ія помоями и топтали его въ грязь. Но я вполнѣ утѣшился

и ободрился сочувственными мнѣ отзывами въ „Русскомъ Инвалидѣ“ и въ Пушкинскомъ „Современникѣ“, которые отнеслись ко мнѣ не только вѣжливо, но и ласково и вполнѣ одобрительно. Впрочемъ, данный мнѣ нагоняй оказался небезполезнымъ и пошелъ мнѣ впрокъ. Только что я очутился первый разъ на толкучемъ рынкѣ разноголосной критики, тотчасъ же принялъ неизмѣнное рѣшеніе никогда не вступать въ журнальную полемику и сдержалъ его въ теченіе всей моей жизни до глубокой старости. Я всегда думалъ такъ: когда мое писанье ругаютъ за дѣло, то было бы глупо отвѣчать на критику, которая, въ сущности, желаетъ мнѣ добра въ исправленіи моихъ ошибокъ, а если лаются сдуру, то Богъ съ ними, пусть себѣ тѣшатся: брань на вороту не виснетъ.

Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о діаконѣ Буслаевѣ и о его „умозрительствѣ душевномъ“, посвященномъ памяти баронессы М. Я. Строгановой. Эта давняя старина, выдвинутая на первый планъ въ самомъ началѣ критики и дающая ей основной тонъ, навела меня на очень вѣроятную догадку, которая много забавляла меня и радовала. Половцевъ пользовался расположеніемъ графа Сергія Григорьевича, который, какъ вы уже знаете, при моемъ содѣйствіи распространилъ его русскую грамматику по всему московскому учебному округу. Это могло быть извѣстно Гречу или кому другому изъ его многочисленныхъ почитателей отъ самого Половцева, который жилъ и былъ на службѣ въ Петербургѣ. Если какъ-нибудь тамъ узнали, что именно графъ Строгановъ мнѣ поручилъ составить руководство для обученія въ гимназіяхъ русскому языку и слогу, то баронессою Строгановой, покровительницею діакона Буслаева, очевидно, намекалось на графа Сергія Григорьевича. Наскоро и въ великихъ попыхахъ просмотрѣвъ критику, я тотчасъ же понесъ ее къ графу. По его желанію я долженъ былъ ее прочитать ему всю сполна. Онъ много смѣялся и, утѣшая меня, говорилъ: „упокойтесь и ободритесь, — не васъ однихъ тутъ отдѣлали; немножко зацѣпили и меня“. А надобно вамъ знать, что онъ былъ съ родни той баронессѣ Маріи Яковлевнѣ, потому что такъ называемые „именитые люди Строгановы“ сначала возведены были въ баронское достоинство, а потомъ получили графскій титулъ.

Въ заключеніе моего разсказа о трехъ годахъ по возвращеніи въ Москву я долженъ привести вамъ здѣсь письмо графа Сергія Григорьевича ко мнѣ изъ Петербурга, 1843 года, чтобы

сами могли видѣть, какъ доброжелательно, откровенно и олнѣ по-дружески въ то далекое время могъ относиться по-ителъ московскаго университета къ молодому учителю одной з гимназій его учебнаго округа.

„Нѣтъ никакого сомнѣнія, что приложенный здѣсь списокъ сни о полку Игоревѣ подложный и, вѣроятно, работы покой-го Бардина; но при всемъ томъ оный очень любопытенъ по-му, что переписчикъ имѣлъ передъ глазами не только извѣст-й Пушкинскій экземпляръ, но еще какой-то другой, который жилъ ему къ объясненію нѣкоторыхъ словъ. Коркуновъ обѣ-лъ мнѣ доставить замѣчанія его объ этомъ спискѣ, которыя вамъ привезу. Имѣя возможность переслать вамъ, Ѳедоръ ановичъ, согласно желанію вашему, самый списокъ, не могу устить благопріятнаго случая познакомить васъ съ произве-ніями нашихъ искусниковъ. Прошу васъ покорнѣйше воз-атить оный черезъ недѣлю.

„Вы не можете представить себѣ, какъ петербургская жизнь влекаетъ отъ литературныхъ занятій! Видно, что даже Ака-мія — подъ вліяніемъ общей разсѣянности, ежели не вся, то, нечно, ея высшіе представители Русскаго Отдѣленія. Я былъ торжественномъ засѣданіи Академіи на прошлой недѣлѣ, ышалъ отчетъ, слышалъ, какъ, между прочимъ, говорилось трудахъ отдѣленія надъ разборомъ грамматики Половцева, къ оно занимается составленіемъ программы русской грам-тики для уѣздныхъ училищъ, какъ отдѣленіе съ благодар-стью приняло указанія И. И. Давыдова насчетъ будущихъ нятій своихъ и, наконецъ, познакомилось съ грамматикою имма, какъ С. П. Шевыревъ мало дѣлалъ въ прошедшемъ цу, потому что былъ боленъ, а М. П. Погодинъ — потому, о ѣздилъ за границу; слышалъ о томъ, какъ М. Т. Каче-вскій въ Свѣтлое Воскресенье, въ день смерти своей, „сѣлъ свои *ученыя кресла*“, и какъ г. Гульяновъ переписывался г. Уваровымъ о своей болѣзни. Однимъ словомъ, къ стыду сской публики Отдѣленіе осрамилось: отчетъ окончился подлою стью г. министру народнаго просвѣщенія, восхваляя его за лостивое прочтеніе всѣхъ протоколовъ засѣданій Русскаго дѣла. Надобно вамъ прочесть гдѣ-нибудь эту рѣчь, чтобы ѣть понятіе о томъ, что̀ можно говорить публично, не боясь рнальной критики. Весьма странно было отсутствіе И. Кры-ва, Любимова, Данилевскаго, Остроградскаго и другихъ зна-менитостей, но объ этомъ въ другой разъ.

„Третьяго былъ я въ Академіи Художествъ и наслаждался пріобрѣтенными копіями ватиканскихъ фресокъ. Стоитъ изъ-за одного этого пріѣхать въ Петербургъ.

„Прощайте, Ѳедоръ Ивановичъ! Богъ съ вами! Желаю вамъ добраго здоровья и счастья. Вамъ преданный — графъ Строгановъ".

XXII.

Мнѣ совѣтовали представить въ словесный факультетъ вторую часть моего сочиненія „О преподаваніи отечественнаго языка" въ видѣ диссертаціи на степень магистра. Съ этимъ я никакъ не могъ согласиться. Къ какой стати совать въ университетъ работу учительскую, писанную для гимназіи въ пособіе преподавателямъ, а не ученое изслѣдованіе, достойное вниманія профессоровъ. То была посильная дань моему гимназическому учительству; теперь надо подумать о чемъ-нибудь болѣе основательномъ, т.-е. вполнѣ спеціальномъ, какъ пишутся ученыя монографіи. Графъ былъ моего же мнѣнія и торопилъ меня, чтобы я не медля принялся за магистерскую диссертацію. Но для нея гдѣ было мнѣ взять новаго матеріала? какой я себѣ накопилъ прежде, почти весь безрасчетно былъ израсходованъ на только что изданную мною объемистую работу. Что выбрать для диссертаціи? какъ назвать ее? Не съ вѣтру берется для нея тема, а какъ результатъ или итогъ извлекается изъ массы накопленныхъ свѣдѣній. Я сталъ втупикъ и не зналъ, что дѣлать и какъ мнѣ быть. Чтобы помочь бѣдѣ, ничего другого не оставалось, какъ выкинуть изъ головы всякія диссертаціи, темы и планы и вновь продолжать начатое прежде, а именно изучать разнообразныя сочиненія Якова Гримма и его брата Вильгельма, ихъ изданія памятниковъ древнегерманской и народной литературы, заниматься сравнительною грамматикою по руководству Боппа, по словарю Потта и читать санскритскіе тексты, учиться скандинавскому языку по пѣснямъ Древней Эдды въ изданіи Якова Гримма, а также и готскому по переводу Библіи, составленному въ IV вѣкѣ Ульфилою въ изданіи Габеленца и Лобе. Послѣднее занятіе получило для меня новый интересъ, когда я сталъ изучать Остромирово евангеліе, надъ которымъ такъ много трудился Востоковъ и, наконецъ, издалъ въ 1843 году. .

Ко всему сказанному выше надо прибавить, что первые три года по возвращеніи въ Россію я такъ ревностно и усидчиво

работалъ, не освѣжая своихъ силъ развлеченіями, что, наконецъ, изнемогъ и видимо сталъ худѣть. Нашъ домашній докторъ совѣтовалъ мнѣ не истощать себя непосильнымъ трудомъ, по вечерамъ между часами занятій прогуливаться на свѣжемъ воздухѣ и посѣщать своихъ знакомыхъ, а не сидѣть сиднемъ въ своей комнатѣ надъ книгами. Хорошо было ему говорить о знакомыхъ, а гдѣ мнѣ ихъ взять? Кромѣ семейства барона Боде, никого другихъ у меня не было. Мои друзья и товарищи по казенному общежительству въ студенческихъ номерахъ разбрелись изъ Москвы по разнымъ городамъ учительствовать въ гимназіяхъ, за исключеніемъ Коссовича, который, какъ вамъ извѣстно, не имѣлъ ни малѣйшихъ способностей быть собесѣдникомъ. Съ нимъ я только учился по-санскритски; какое же тутъ развлеченіе? Класовскій возвратился въ Москву уже гораздо позже.

Къ моему счастью въ это тяжелое для меня время я случайно столкнулся съ двумя молодыми людьми, которые были своекоштными студентами, когда я жилъ въ казенныхъ номерахъ. Одинъ былъ на словесномъ факультетѣ, извѣстный уже вамъ Василій Ивановичъ Пановъ, съ которымъ я подружился въ Римѣ, а другой — юридическаго факультета, Александръ Николаевичъ Поповъ; съ нимъ я прежде не былъ знакомъ. Оба они были въ университетѣ товарищами старшему сыну графа, Александру Сергѣевичу, и вмѣстѣ съ нимъ кончили курсъ. Изъ своего полка, стоявшаго гдѣ-то около Петербурга, онъ часто пріѣзжалъ къ намъ въ Москву въ отпускъ и оставался съ нами по цѣлому мѣсяцу, а иногда и больше. Онъ былъ человѣкъ веселый и милый, добрый товарищъ и остроумный собесѣдникъ. Вечера, когда онъ былъ свободенъ отъ общественныхъ развлеченій, проводилъ въ дружескихъ бесѣдахъ по-студенчески съ ними обоими и со мною. Искусство и классическія древности, Римъ и берега Средиземнаго моря, „Русская Правда“, о которой Поповъ писалъ тогда свою магистерскую диссертацію, Гоголь, котораго такъ любовно чествовалъ Пановъ, сравнительная грамматика и филологія съ Боппомъ, Поттомъ и Гриммомъ, изслѣдованіями которыхъ биткомъ набита была моя голова, дорогія воспоминанія о часахъ, проведенныхъ нами вмѣстѣ въ аудиторіяхъ московскаго университета, съ забавными анекдотами о нашихъ профессорахъ и товарищахъ — вотъ, сколько мнѣ помнится, были главные предметы нашихъ бесѣдъ и нескончаемыхъ споровъ, вперемежку съ веселымъ хохотомъ

и остротами, въ которыхъ Поповъ не уступалъ графу Александру Сергѣевичу, а по игривой способности отчеканивать ихъ риѳмами и превосходилъ его. Василій Ивановичъ Пановъ по деликатной чувствительности своего мягкаго нрава вносилъ минорныя нотки въ нашъ общій хоръ, а мое отъявленное педантство было постоянною мишенью, въ которую А. Н. Поповъ мѣтко направлялъ свои стрѣлы, оперенныя риѳмами. Вотъ вамъ образчикъ его смѣхотворныхъ эпиграммъ въ торжественномъ стилѣ Ломоносовскихъ одъ:

А.

„О, ты, которому послушны
„Всѣ буквы, слоги и слова,
„Письмо и говоръ простодушный;
„Сама свободная молва
„Твоимъ законамъ покорилась,
„Тебѣ подвластна, какъ раба.

Б.

„Законъ твой грозно управляетъ
„Всей громогласицею словъ;
„Онъ ихъ спрягаетъ и склоняетъ,
„То ссоритъ ихъ, то примиряетъ,
„То закуетъ, то изъ оковъ
„По волѣ вновь освобождаетъ.

В.

„Захочешь ты, чтобъ *Азъ* державный
„Преобразился вдругъ въ *Ѳиту*,
„И воли прихоти забавной
„Исполнитъ онъ; и долю ту
„Другія буквы исполняютъ
„И робко прихоти внимаютъ.

Г.

„Захочешь ты — и *Ъ* безгласный
„Заговоритъ и запоетъ;
„Захочешь ты — и безобразный
„*Глаголь* вдругъ въ *Буки* перейдетъ,
„И *Буки* станутъ тѣ *Глаголемъ*,
„*Землей*, пожалуй, или моремъ.

Д.

„Взойдя на верхъ горы высокой,
„Что зрю я: тронъ, на тронѣ ты!
„Блестящій *Онъ* и одноокой
„Короной на тебѣ, а съ точкой *І* (і)
„Какъ скипетръ, *Ѳита* въ державa,
„Краса всей азбуки и слава.

Е.

„Вдали стоятъ курчавый Гриммъ,
„И толстый Боппъ, и Поттъ сухой;
„Ты улыбнулся сладко имъ,
„Кивнувъ привѣтливо главой;
„Они заплакали и вмигъ
„Запѣли всѣ заздравный стихъ:

Ж.

„И санскритъ, и пракритъ,
„И святой языкъ Ирана,
„И ихъ синклитъ тебѣ гласитъ,
„Отъ Гинду-Ку и до Балкана,
„Отъ готтентотовъ до малаевъ:
„Слава, слава нашъ Буслаевъ!“

Такіе увеселительные стишки, всегда рѣзвые и задорные, но никому не обидные, Поповъ наскоро чертилъ на клочкѣ бумаги въ самомъ разгарѣ нашихъ шутливыхъ бесѣдъ, лишь только нахлынетъ на него смѣхотворное вдохновеніе. Тотчасъ же прочтетъ намъ свою новинку самымъ серьезнымъ тономъ, будто излагаетъ что̀ важное и дѣловое, и тѣмъ только пуще поддаетъ пару кипучему веселью нашего студенческаго разгула. Если стихи годятся для музыки, Александръ Сергѣевичъ садится за фортепіано и прилаживаетъ къ нимъ французскую шансонетку, хоровую пѣсню нѣмецкихъ студентовъ или поволжскихъ бурлаковъ, а то итальянскую арію или квартетъ изъ какой-нибудь оперы, и разноголосица нашихъ ученыхъ диспутовъ превращается въ стройный хоръ музыкальной капеллы или цыганскаго табора.

Оба наши милые товарищи, Александръ Николаевичъ и Василій Ивановичъ, были славянофилы. Они ввели меня въ этотъ интересный, высокообразованный кружокъ тогдашняго московскаго общества. Благодаря имъ я познакомился съ Алексѣемъ Степановичемъ Хомяковымъ, Константиномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ, съ Кирѣевскими, Свербѣевыми, Васильчиковыми, съ поэтомъ Языковымъ и его племянникомъ Валуевымъ, который приходился также племянникомъ и Хомякову, женатому на сестрѣ Языкова. Къ этому же кружку принадлежали мои милые профессора Погодинъ и Шевыревъ, хотя не въ одинаковой степени раздѣляли его убѣжденія, первый — меньше, второй — вполнѣ, а также и незабвенный товарищъ по университету Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ. Какими-то судьбами сюда же примкнулся самый равнодушнѣйшій ко всевозможнымъ партіямъ и сектамъ

дорогой мой товарищъ по студенческому общежитію, безподобный чудакъ Каетанъ Андреевичъ Коссовичъ — надобно думать потому, что давалъ уроки классическихъ языковъ племяннику Хомякова Валуеву и былъ несказанно осчастливленъ тѣмъ, что Хомяковъ подарилъ ему очень дорогой санскритскій словарь Вильсона, напечатанный въ Калькуттѣ.

Говорить вообще о славянофильствѣ я, разумѣется, не буду. Оно давно уже заняло надлежащее себѣ мѣсто въ исторіи умственнаго, нравственнаго и политическаго развитія русской жизни. Когда очутишься въ средѣ самого движенія, не оглянешь всей толпы, а сталкиваешься лишь съ отдѣльными лицами. На мое счастье это были люди передовые тогдашняго общественнаго движенія. Но и объ историческомъ значеніи ихъ говорить нечего; оно болѣе или менѣе всѣмъ извѣстно. Разскажу вамъ только о моихъ личныхъ сношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ нихъ.

Будучи равнодушенъ къ ихъ славянофильскимъ убѣжденіямъ и идеямъ, я высоко цѣнилъ ихъ нравственныя достоинства, безукоризненную чистоту ихъ помысловъ, гордую независимость духа, соединенную съ милымъ простодушіемъ, иногда доходящимъ до дѣтской наивности. Я любилъ ихъ сердечно и вмѣстѣ уважалъ глубоко, какъ недосягаемые для меня образцы высшаго совершенства, какое человѣку доступно. Таковы были для меня Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ и Петръ Васильевичъ Кирѣевскій. Тутъ же къ нимъ прибавлю еще двоихъ, но изъ другой, неславянофильской среды, моихъ незабвенныхъ товарищей, профессоровъ Сергія Дмитріевича Шестакова и Тимоѳея Николаевича Грановскаго.

Кирѣевскій жилъ на Остоженкѣ, по лѣвую руку, если итти отъ Пречистенскихъ Воротъ, въ своемъ собственномъ домѣ близъ церкви Воскресенья. Домъ былъ каменный, двухъэтажный, старинный, съ желѣзной наружной дверью и съ желѣзными рѣшетками у оконъ нижняго этажа, какъ есть крѣпость. Уцѣлѣвъ въ такомъ видѣ отъ московскаго пожара 1812 года, онъ стоялъ въ тѣнистомъ саду, запущенномъ, безъ дорожекъ. На улицу выходила эта усадьба только сплошнымъ заборомъ съ воротами. Кажется, домъ этотъ существуетъ и теперь, но уже въ обновленномъ видѣ. Петръ Васильевичъ занималъ верхній этажъ и жилъ, сколько мнѣ извѣстно, одинъ-одинехонекъ; женатъ онъ не былъ. Большая комната изъ передней, въ родѣ залы, была и пріемной для гостей, и рабочимъ для него каби-

нетомъ, съ неровнымъ, щелистымъ и протоптаннымъ поломъ. Мебели всего было — ветхій диванъ у глухой стѣны, придвинутый къ окну, а противъ него у другого окна большая деревенская коробья, запертая висячимъ замкомъ; у стѣны противъ оконъ дубовый шкафъ съ книгами; у дивана большой четвероугольный столъ и вдобавокъ ко всему до полдюжины разнокалиберныхъ стульевъ и креселъ.

Меня очень интересовала эта бабья коробья подъ замкомъ, и когда я ближе познакомился съ Петромъ Васильевичемъ, рѣшился удовлетворить своему любопытству и спросилъ его, какое сокровище хранитъ онъ такъ бережно взаперти и всегда передъ своими глазами. „Такъ я вамъ не говорилъ? — сказалъ онъ въ отвѣтъ: — а здѣсь хранятся народныя пѣсни, былины и духовные стихи, которые много лѣтъ я собиралъ повсюду, гдѣ случалось бывать. Между ними много и такихъ пѣсенъ, которыя записаны моими друзьями и знакомыми. Вотъ эту пачку далъ мнѣ самъ Пушкинъ и при этомъ сказалъ: „когда-нибудь отъ нечего-дѣлать разберите-ка, которыя поетъ народъ и которыя смастерилъ я самъ“. И сколько ни старался я разгадать эту загадку, — продолжалъ Кирѣевскій, — никакъ не могъ сладить. Когда это мое собраніе будетъ напечатано, пѣсни Пушкина пойдутъ за народныя“.

По различію въ наклонностяхъ и занятіяхъ московскіе славянофилы дѣлили свои ученые интересы по спеціальностямъ съ особымъ представителемъ для каждой. Хомяковъ взялъ себѣ всеобщую исторію и богословіе; онъ былъ великій діалектикъ и отличался бойкостью и силою доводовъ въ диспутахъ съ раскольниками, которые его очень уважали. Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій былъ философъ; энергичность его философскихъ взглядовъ оцѣнила сама цензура строгими запрещеніями. Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ блистательно заявилъ свою спеціальность въ образцовыхъ работахъ о государственномъ, политическомъ и экономическомъ строѣ русской земли съ ея окраинами. Ученою спеціальностью Константина Сергѣевича Аксакова былъ русскій языкъ и его грамматика, которой онъ хотѣлъ дать своеобразный видъ соотвѣтственно неисчерпаемой глубинѣ народнаго духа. Степанъ Петровичъ Шевыревъ въ своихъ публичныхъ лекціяхъ былъ для славянофиловъ представителемъ по исторіи русской литературы.

На долю Петра Васильевича Кирѣевскаго, кромѣ народной поэзіи, выпала русская исторія, которою въ теченіе всей своей

жизни онъ усердно занимался, но, сколько мнѣ извѣстно, очень немногое успѣлъ напечатать. Въ этомъ дѣлѣ онъ вполнѣ удовлетворялъ славянофиловъ, потому что не жаловалъ Петра Великаго. Только въ этомъ смыслѣ и могла годиться для нихъ исторія русскаго народа. Представьте себѣ, какая злополучная судьба постигла этого благодушнаго врага преобразованій, совершенныхъ Петромъ Великимъ! Кирѣевскій никогда не могъ примириться съ тяжелою, досадливою мыслью, зачѣмъ нарекли также и его при крещеніи Петромъ, а не какимъ-нибудь другимъ именемъ. И онъ не на шутку горевалъ, какъ Тристрамъ Шенди, отецъ котораго столько же ненавидѣлъ это имя, какъ если бы назвали его сына Іудою въ честь предателя Искаріота.

Значеніе Константина Сергѣевича Аксакова въ средѣ московскихъ славянофиловъ далеко не ограничивалось спеціальными предѣлами русской грамматики. Онъ былъ вдохновенный ораторъ и рьяный поборникъ эмансипацій въ тяжелыя времена суроваго режима. Нравомъ былъ онъ столько же кротокъ и незлобивъ, какъ Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, но отличался отъ него неукротимою пылкостью, которая даетъ великую силу страстно любить друзей и презрительно ненавидѣть враговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ онъ такъ благодушенъ и сострадателенъ, что не только человѣка, и мухи не обидитъ. Врагами его были не сами люди, а ихъ принципы, помыслы и дѣла. Я увѣренъ, что для воплощенія своихъ идей онъ не задумался бы принести себя въ жертву и радостно пошелъ бы на любое мѣсто, чтобы, сгорая на кострѣ, предъявить міру свое исповѣданіе, какъ христіанскіе мученики временъ Нерона. Онъ могъ достигнуть такого нравственнаго совершенства въ своемъ незлобіи къ вражескимъ силамъ, потому что былъ чистъ и невмѣняемъ, какъ младенецъ. Не даромъ товарищи и друзья называли его не Константиномъ Сергѣевичемъ, а ласкательно, какъ малаго ребенка: „Кѳнста“.

Въ то время я безусловно предпочиталъ славянофильское общество западникамъ, которые, впрочемъ, и не составляли тогда такого замкнутаго кружка и множились вразсыпную. Да они и мало были мнѣ извѣстны. Многіе изъ нихъ стали знамениты уже впослѣдствіи. Въ началѣ сороковыхъ годовъ Тургеневъ не думалъ, не гадалъ, что судьба рѣшила быть ему великимъ писателемъ и послѣ Пушкина первымъ мастеромъ русскаго слова. Станкевичъ въ 1840 году умеръ въ Италіи и унесъ съ собою всѣ надежды и упованія, которыя на него воз-

лагались. Бѣлинскій еще не успѣлъ заявить тогда геніальныхъ способностей критика, который насквозь былъ проникнутъ врожденнымъ ему эстетическимъ вкусомъ и тонкимъ чутьемъ отгадывать на первыхъ порахъ только что зачинающееся литературное дарованіе.

Впрочемъ, московскіе славянофилы были не такъ брезгливы, чтобы не допускать въ свой интимный кружокъ кое-кого изъ западниковъ. Они дружески и довѣрчиво относились къ Тимоѳею Николаевичу Грановскому, къ Герцену, даже къ Чаадаеву, котораго величали католическимъ аббатикомъ. Двухъ послѣднихъ я впервые увидалъ на вечерѣ въ одномъ славянофильскомъ семействѣ. Это было — какъ сейчасъ вижу — въ угольной комнатѣ, довольно просторной, съ двумя окнами на улицу и съ одной дверью въ гостиную. У глухой стѣны противъ двери на диванѣ съ двумя или тремя дамами сидѣла молодая и красивая хозяйка и курила сигару, — папиросы тогда еще не вошли въ общее употребленіе. Ея мужъ переходилъ изъ одной комнаты въ другую, занимая одинокихъ гостей или прислушиваясь къ бесѣдамъ говорящихъ между собой. Противъ хозяйки отъ двери къ заднему углу у стѣны былъ тоже диванъ; на диванѣ сидятъ рядышкомъ Чаадаевъ съ Хомяковымъ и горячо о чемъ-то между собою разсуждаютъ; первый въ спокойной позѣ, а другой вертится изъ стороны въ сторону и дополняетъ свою скороговорку жестами обѣихъ рукъ. Для Алексѣя Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспутъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ былъ неукротимый боецъ; свои состязанія ловко и задорливо умѣлъ тянуть до безконечности. Когда же противникъ начиналъ съ нимъ соглашаться, онъ придерется къ какому-нибудь его словечку или обмолвкѣ, бросится въ сторону и является передъ нимъ съ новымъ запасомъ вооруженія, даетъ другой оборотъ спору и другую обстановку и повторяетъ такую атаку до тѣхъ поръ, пока тотъ не выбьется изъ силъ.

У окна въ углу, близъ дивана съ дамами, въ креслѣ сидѣлъ неизвѣстный мнѣ господинъ, лѣтъ тридцати, средняго роста, плотнаго сложенія, съ коротко остриженными волосами; круглое и полное лицо безъ бакенбардъ и усовъ, въ темно-синемъ фракѣ съ металлическими, позолоченными пуговицами, гладкими, безъ гербовъ. Онъ былъ спокоенъ и медлителенъ въ движеніяхъ и неразговорчивъ, лишь изрѣдка перемолвится съ хозяйкой или дастъ короткій отвѣтъ престарѣлому Александру Ивановичу Тургеневу, который, наклонивъ голову и сложивъ руки за спи-

ною, шагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ и, останавливаясь тамъ и сямъ, прислушивался къ говорящимъ. Легкій гулъ оживленной бесѣды время отъ времени покрывался зычными возгласами Константина Сергѣевича Аксакова, который пылко ораторствовалъ въ сосѣдней комнатѣ. Меня очень заинтересовалъ господинъ въ синемъ фракѣ съ позолоченными пуговицами. Какъ и зачѣмъ попалъ сюда, думалось мнѣ, этотъ петербургскій чиновникъ, такой приформленный и этикетный? Къ моему крайнему удивленію мнѣ сказали, что это Герценъ. Онъ только что воротился изъ Вятки, куда былъ сосланъ.

Обстоятельства такъ счастливо для меня сложились, что въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ мнѣ привелось раза по два и по три въ недѣлю видѣться съ Иваномъ Васильевичемъ Кирѣевскимъ, коротко съ нимъ сблизиться и сердечно полюбить его. Намъ удобно было заходить другъ къ другу, потому что мы жили въ сосѣдствѣ: я на Знаменкѣ у графа, а онъ въ одномъ изъ переулковъ между этой улицей и площадью храма Спасителя. Это было въ концѣ зимы и въ началѣ весны 1845 года. На это время Погодинъ уѣзжалъ куда-то изъ Москвы, и за него издавалъ „Москвитянина“ Кирѣевскій, а въ помощь себѣ и въ сотрудничество пригласилъ меня. Я работалъ у него для библіографіи и критики; подъ мелкими статьями своего имени не подписывалъ, за исключеніемъ одной, которую означилъ иниціалами, о чемъ скажу вамъ сейчасъ. Изъ библіографическихъ отзывовъ помнятся мнѣ теперь только два. Одинъ былъ серьезнаго тона и вполнѣ одобрительный, о книгѣ графа Сперанскаго, содержащей въ себѣ лекціи о краснорѣчіи, которыя читалъ онъ, еще будучи молодымъ профессоромъ духовной академіи. Другой отзывъ о какомъ-то ученомъ сочиненіи Греча по литературѣ и по русскому языку я покусился настрочить въ занозливомъ и балагурномъ стилѣ барона Брамбеуса и „Сѣверной Пчелы“, съ разными глумливыми подковырками, а подъ статьею съ мальчишескою замашкою подписалъ Ѳ. Б.: пускай дескать читатели подумаютъ и обрадуются, что Ѳаддей Булгаринъ поссорился наконецъ съ своимъ закадычнымъ другомъ Гречемъ и печатно обругалъ его.

Изъ крупныхъ рецензій помѣстилъ я тогда въ „Москвитянинѣ“ всего двѣ. Одна была объ изданіи „Слова о полку Игоревѣ“ съ обширными примѣчаніями Дубенскаго. На основаніи строгаго филологическаго метода братьевъ Гриммовъ я довольно жестко нападалъ на толкованія издателя и предлагалъ свои,

торыя давали тексту новый смыслъ, болѣе значительный и
изненный, соотвѣтственно старинному быту, преданіямъ и на-
дной поэзіи. Въ другой я критически разбиралъ главу о мѣсто-
ѣніяхъ изъ общей или философской грамматики, которую со-
авлялъ тогда для Академіи Наукъ Иванъ Ивановичъ Давыдовъ.
дучи вооруженъ достаточными свѣдѣніями по сравнительной
амматикѣ Боппа и по исторіи русскаго и другихъ славянскихъ
рѣчій, я легко открылъ въ этой статьѣ значительные про-
хи. Этимъ, конечно, я не оскорбилъ бы своего наставника
профессора, которому былъ во многомъ обязанъ, если бы
разился спокойно и прилично, а не запальчиво и насмѣшливо.
верхъ того угораздило меня задѣть его личность довольно про-
рачными намеками, которые кое-гдѣ я вставилъ въ видѣ при-
ровъ, какъ употребляются мѣстоименія синтаксически въ
ломъ предложеніи. Цензоръ не замѣтилъ этихъ непристой-
ыхъ выходокъ и пропустилъ статью цѣликомъ; когда же были
нѣ обнаружены и подхвачены злословіемъ, Иванъ Ивановичъ
е на шутку разсердился и обзывалъ меня молокососомъ и на-
аломъ; впрочемъ, къ великой моей радости, впослѣдствіи смило-
ивился ко мнѣ, какъ вы увидите изъ его переписки со мной,
которой будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Итакъ, въ средѣ московскихъ славянофиловъ я узналъ и
олюбилъ безподобныхъ людей, а не ихъ славянофильство. Мнѣ
въ голову не приходило задаваться мыслью, въ чемъ и какъ
личаетъ себя эта партія отъ западниковъ. Это меня нисколько
интересовало. Потому и о себѣ самомъ я не могъ догады-
аться, кто я таковъ, славянофилъ или западникъ. На этотъ
опросъ натолкнулъ меня одинъ случай, который живо высту-
аетъ въ моей памяти.

Это было въ Кунцевѣ, гдѣ каждое лѣто проводилъ графъ
о своимъ семействомъ до конца пятидесятыхъ годовъ, когда
озвратился онъ изъ Москвы въ Петербургъ. Дачъ было тогда
ь Кунцевѣ наперечетъ, около полдюжины. Графъ и графиня
ь дѣтьми помѣщались въ большомъ двухъэтажномъ домѣ, гдѣ
ерь живетъ лѣтомъ владѣлецъ усадьбы Солдатенковъ; мнѣ
ведены были двѣ комнаты въ каменномъ флигелѣ, направо
ъ дома. Другой такой же флигель насупротивъ этого, а также
по обѣимъ сторонамъ два одноэтажныхъ дома отдавались
наймы другимъ дачникамъ. Кромѣ того было еще три дачи:
на въ саду, передѣланная изъ бани, такъ и слыла „банею“;
угая за липовой рощей называлась „Гусарево“ и третья на

дорогѣ къ Проклятому Мѣсту — „Монастырка“, получившая это прозвище отъ того, что здѣсь когда-то жила княгиня Голицына, выбывшая изъ монастыря. На этомъ мѣстѣ теперь одна изъ дачъ Солодовникова. Утрамбованныхъ широкихъ дорожекъ по ту сторону тогда не было и мы пробирались по узенькой тропинкѣ, протоптанной по обрыву вдоль крутыхъ береговъ Москвы-рѣки мужиками и бабами изъ Крылатскаго и Татарова. Чтобы отдохнуть, бывало, присядешь на гладкое мѣстечко той тропинки, а ноги спустишь въ обрывъ, передъ безподобною панорамою, разстилающеюся далеко внизу по ту сторону рѣки; налѣво Хорошово съ садами и огородами, а направо — широкая равнина на нѣсколько верстъ вплоть до горизонта, по которому тянутся длинною полосою дачи Петровскаго парка съ царскимъ дворцомъ. Привольно было тогда разгуливать по Кунцеву. Повсюду тишь и гладь да божья благодать. Не то что теперь.

Однажды на закатѣ солнца пришли ко мнѣ Дмитрій Львовичъ Крюковъ, который жилъ тогда близъ Кунцева въ Давыдковѣ, и гостившій у него Тимоѳей Николаевичъ Грановскій. Они хотѣли захватить меня съ собой на прогулку. Кромѣ того у Крюкова была и другая цѣль. Онъ работалъ тогда надъ переводомъ Тацитовыхъ Анналъ и для выработки своего слога усердно изучалъ памятники русской литературы старинной и народной. Чтобы взять у меня кое-что по этому предмету, оба они принялись пересматривать мои книги, разставленныя на полкахъ, и не мало дивились разнообразному ихъ содержанію. Тутъ стояли рядомъ: „Іоаннъ Екзархъ Болгарскій“ Калайдовича и „Нѣмецкая Миѳологія“ Якова Гримма, Остромирово Евангеліе и Библія на готскомъ языкѣ въ переводѣ Ульфилы, памятники русской литературы XII столѣтія и сравнительная грамматика Боппа съ его же санскритскимъ словаремъ, Судъ Любуши и отрывки древне-чешскаго перевода Евангелія, изданные вмѣстѣ въ одной книгѣ Шафарикомъ и Палацкимъ, а рядомъ „Дорійцы“ Отфрида Миллера, русскія былины и пѣсни Кирши Данилова, Краледворская рукопись и чешскія „Старобылыя Складанья“ (т.-е. стихотворенья) въ изданіяхъ Ганки, сербскія пѣсни Вука Караджича, вперемежку съ томами Божественной Комедіи Данта, которая всегда была при мнѣ неотлучно, и Сервантесовъ Донъ-Кихотъ, на чтеніи котораго я учился тогда испанскому языку, и многое другое, чего теперь не припомню; но названныя книги, безъ всякаго сомнѣнія, на-

одились тогда въ моемъ кунцевскомъ кабинетѣ, потому что встоятельно были мнѣ нужны для моихъ ученыхъ работъ, предринятыхъ именно въ то самое время.

Крюковъ и Грановскій полагали меня настоящимъ славяноломъ и теперь приходили въ недоумѣніе при видѣ такой разноалиберной смѣси моихъ ученыхъ интересовъ, которые широко далеко выступали изъ узкихъ предѣловъ славянофильской программы. „Что же вы такое?“ — спрашивали они меня: — „славянофилъ или западникъ?“ — „Да и самъ не разберу“, — имъ твѣчалъ я. Именно съ этихъ поръ сталъ занимать меня этотъ опросъ, но нисколько не безпокоить, потому что я не приавалъ ему большого значенія. Теперь не могу припомнить, коро ли сложилось мое убѣжденіе по этому предмету, но въ лавныхъ пунктахъ было оно, кажется, вотъ какое.

Несмотря на мою любовь къ Италіи и на благоговѣніе къ ченымъ трудамъ Якова Гримма, назвать себя западникомъ я ѣшительно не могъ, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, какъ то прозвище прилагается къ Чаадаеву или къ Бѣлинскому. Не стану же я, думалось мнѣ, вмѣстѣ съ Чаадаевымъ поклоняться римскому папѣ и въ качествѣ московскаго аббатика прилуживать ему за обѣднею, хотя бы даже и въ Сикстинской апеллѣ: я давно зналъ, что не боги обжигаютъ такіе скудельные горшки; не стану вмѣстѣ съ нимъ же позорить Византію, отому что знаю высокое ея призваніе въ среднсвѣковой исторіи росвѣщенія не только въ Россіи, но и въ остальной Европѣ, отому что восхищаюсь великими произведеніями византійскаго удожества, базиликами временъ Юстиніана въ Равеннѣ, Палатинскою капеллою въ Палермо, соборомъ апостола Марка въ Венеціи и такъ далѣе до безконечности. Я не презиралъ вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ „дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой“, какъ онъ самъ выразился о „Трехъ Портретахъ“ Тургенева; напротивъ того, я посвящалъ себя на прилежное зученіе именно русскихъ преданій и ихъ глубокой старины; не глумился и не издѣвался вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ надъ нашими богатырскими былинами и пѣснями, а относился къ нимъ съ такимъ же уваженіемъ, какъ къ поэмамъ Гомера или къ скандинавской Эддѣ. Послѣ всего этого, думалось мнѣ, — какой же западникъ.

Постольку же не могъ я назвать себя и славянофиломъ. Не меньше Константина Сергѣевича Аксакова я любилъ русскій зыкъ, но изучалъ его не по методу мечтательныхъ умозрѣній

заодно съ нимъ, а всегда пользовался точнымъ микроскопическимъ анализомъ сравнительной и исторической грамматики. Въ нашихъ преданіяхъ, въ стародавнихъ обычаяхъ, въ былинахъ, пѣсняхъ и сказкахъ славянофилы видѣли завѣтные тайники народныхъ сокровищъ доморощенной мудрости, равныхъ которымъ по ихъ глубинѣ не было и нѣтъ во всемъ мірѣ; для меня же все это служило интереснымъ и цѣннымъ матеріаломъ, къ которому я старательно подбиралъ сходные, а иногда и почти одинаковые факты изъ другихъ народностей, преимущественно изъ родственныхъ по происхожденію, т.-е. индо-европейскихъ. Славянофилы восхищались образцовымъ строемъ русской семьи, русской общины и земщины, русскимъ третейскимъ судомъ и другими особенностями такъ называемаго обычнаго права. Мнѣ гораздо интереснѣе было анализировать только терминологію семейныхъ отношеній, именно самыя слова: отецъ, мать, сынъ, дочь, братъ, сестра, свекровь, сноха, и на основаніи законовъ сравнительной грамматики возводить ихъ къ санскритскому языку для очевиднаго доказательства, что наши предки въ незапамятныя времена вмѣстѣ съ собою вынесли изъ своей азіатской прародины уже вполнѣ благоустроенную семью. По географической картѣ Шафарика и московскіе славянофилы, увлеченные панславизмомъ, мечтали объ изгнаніи нѣмцевъ изъ Австріи, чтобы совокупить чеховъ, лужичанъ, словаковъ, сербовъ, поляковъ и другихъ ихъ соплеменниковъ въ одно великое панславянское государство, между тѣмъ какъ я, начинивъ свою голову параграфами нѣмецкой миѳологіи Якова Гримма, представлялъ себѣ умилительную картину примиренія германцевъ съ славянами въ идеальной апотеозѣ Асовъ и Вановъ, изъ которыхъ сложилось дружественное и родственное сонмище скандинавскаго Олимпа.

Но довольно объ этомъ. Больше не стану утомлять васъ разными подробностями о занимавшемъ меня вопросѣ. На моихъ глазахъ зачиналась междоусобная война славянофиловъ съ западниками, и я, не думая, не гадая, очутился между двумя враждебными лагерями, но, сыскавъ себѣ укромное мѣстечко, спрятался въ своей маленькой крѣпостцѣ до поры до времени отъ выстрѣловъ того и другого.

XXIII.

Теперь я долженъ разсказать вамъ кое-что о моихъ обязательныхъ занятіяхъ. Кромѣ учительства въ третьей гимназіи и

исполненія разныхъ порученій графа вмѣстѣ съ уроками его дѣтямъ, у меня было еще одно офиціальное дѣло. Я былъ тогда прикомандированъ въ качествѣ помощника или, такъ сказать, чиновника особыхъ порученій по каѳедрѣ русской литературы къ Степану Петровичу Шевыреву. Я долженъ былъ прочитывать и оцѣнивать задаваемыя имъ сочиненія и другія письменныя работы студентамъ перваго курса словеснаго, юридическаго и математическаго отдѣленій и сверхъ того сообщать имъ разныя его распоряженія, когда онъ почему-либо не являлся на лекцію. Для образчика этихъ моихъ обязанностей привожу вамъ слѣдующую записку Степана Петровича:

„Прошу васъ, любезнѣйшій Ѳедоръ Ивановичъ, объявить студентамъ:

„1) 1-го отдѣленія философскаго факультета, чтобы они возвратили мнѣ всѣ листы книги французской „Histoire de l'Ecole d'Alexandrie". Поручите г-ну Новикову [1]) мнѣ ихъ доставить сегодня.

„2) Студентамъ юридическаго факультета, переводившимъ съ нѣмецкаго, чтобы возвратили подлинникъ Ранке. Поручите это г. Гаврилову мнѣ его доставить сегодня.

„3) Студентамъ юридическаго факультета, переводившимъ съ французскаго, чтобы невозвратившіе возвратили листы подлинника, у нихъ находящіеся. Сихъ послѣднихъ прилагается списокъ.

„Списокъ, при семъ приложенный, прошу васъ мнѣ возвратить".

Въ 1846 году мои учебныя занятія съ графомъ Григоріемъ Сергѣевичемъ приходили къ концу. Въ августѣ онъ долженъ былъ держать вступительный экзаменъ на юридическій факультетъ московскаго университета. По этому поводу вотъ что писалъ ко мнѣ графъ Сергій Григорьевичъ изъ Петербурга отъ 21 апрѣля того года.

„Ѳедоръ Ивановичъ!

„Сдѣлайте мнѣ одолженіе спросить у Бодянскаго подробную записку, и ежели возможно, на французскомъ языкѣ, о той справкѣ, которую онъ ожидалъ изъ парижской королевской библіотеки для своего Изборника Святославова [2]); я поручу это

---

[1]) Впослѣдствіи русскій посолъ въ Вѣнѣ и въ Константинополѣ.

[2]) Дѣло идетъ о греческомъ текстѣ Коаленевой рукописи, съ котораго въ Болгаріи былъ переведенъ этотъ Изборникъ на славянскій языкъ.

дѣло Тромпелеру[1]) и желалъ бы воспользоваться его пребываніемъ во Франціи. Прошу васъ покорнѣйше не откладывать съ исполненіемъ порученія моего, потому что я здѣсь остаюсь не болѣе двухъ недѣль. Вѣроятно, черезъ нѣсколько дней вы навѣстите съ Гришею 1-ю гимназію. Не забудьте, что я желаю, чтобы онъ самъ оцѣнилъ умственное развитіе воспитанниковъ 7-го класса и понялъ бы, чего я въ правѣ и отъ него самого ожидать. Это убѣжденіе мнѣ нужно для рѣшительнаго приговора моего насчетъ вступленія или невступленія его въ нынѣшнемъ году въ университетъ. Не скрывайте отъ него это письмо, ежели онъ узнаетъ о полученіи его. Онъ довольно любопытенъ и будетъ себѣ голову ломать понапрасну, а можетъ быть, и подумаетъ, что между нами есть какой-то заговоръ.

„Прощайте. Съ полнымъ довѣріемъ къ вашему опытному усердію остаюсь вамъ преданнымъ — Сергій Строгановъ“.

Теперь поразскажу вамъ кое-что о моемъ учительствѣ въ третьей гимназіи. Она называлась тогда реальною, потому что въ старшихъ классахъ раздѣлялась на два отдѣленія — на реальное и классическое, младшіе же были общими тому и другому. Первые три года я училъ въ младшихъ классахъ, а потомъ два года въ реальныхъ. Пока я изготовлялъ свое сочиненіе „О преподаваніи отечественнаго языка“, гимназія была для меня сущій кладъ. Съ живѣйшимъ увлеченіемъ, усердно и старательно примѣнялъ я на дѣлѣ въ широкихъ размѣрахъ и провѣрялъ свои идеи и планы, чтобы внести ихъ потомъ въ это сочиненіе. Въ обученіи грамматики я пользовался методомъ практическимъ и больше всего заботился о правописаніи: постоянно диктовалъ, давалъ заучивать басни Крылова, сказки, стихотворенія Пушкина и кое-что другое, понятное для дѣтей, но не иначе какъ предварительно разобравши грамматически каждое слово въ задаваемой пьесѣ. Когда ученики говорили мнѣ ее наизусть, они обязаны были давать мнѣ отчетъ, гдѣ въ ней стоитъ какой знакъ препинанія и какъ пишется то или другое слово. Повторяемое нѣсколько разъ одно и то же правило въ употребленіи разныхъ формъ и ихъ сочетаніи укоренялось въ умѣ и памяти учащихся, и они прочно и быстро успѣвали. Руководствъ Востокова и Половцева, принятыхъ тогда въ гимназіяхъ, намъ вовсе не было нужно. Дѣло, казалось бы, налажено, какъ

---

[1]) Онъ тогда жилъ за границею, покончивъ свое гувернерство при сыновьяхъ графа.

быть должно, но именно съ этого-то пункта и началась разладица между мною и директоромъ Погорѣльскимъ. Онъ требовалъ настоятельно, чтобы я принялъ указанный начальствомъ учебникъ и по его параграфамъ въ послѣдовательномъ порядкѣ располагалъ свои уроки. Я наотрѣзъ отказался и продолжалъ итти своимъ путемъ. Съ тѣхъ поръ Погорѣльскій сталъ меня преслѣдовать и допекать. Бывало придетъ ко мнѣ въ классъ и остается до самаго конца урока; усядется гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, а самъ чертитъ что-то карандашомъ въ своей записной книжкѣ, взглянетъ на меня и покачаетъ головой, а то руками разведетъ. Послѣ урока позоветъ съ собой въ учительскую комнату и во время смѣны, при другихъ учителяхъ, примется давать мнѣ нагоняй по пунктамъ, которые онъ настрочилъ у меня въ классѣ. Я отстаиваю себя, препираюсь съ нимъ зубъ за зубъ и не уступаю ему ни на волосъ. Я потѣшался и злорадствовалъ всякій разъ, когда приводилось мнѣ при свидѣтеляхъ немножко поглумиться надъ ихъ принципаломъ, котораго они такъ боялись, и чѣмъ больше онъ горячился, тѣмъ сдержаннѣе и вѣжливѣе я издѣвался. Когда напечаталъ я свою работу о преподаваніи русскаго языка и слога, казенная служба потеряла для меня всякій интересъ. А мой директоръ все не унимался и пуще прежняго сталъ нападать на меня, оскорбляя въ моей, ненавистной ему, особѣ не просто своего подчиненнаго, но и злосчастнаго автора безполезной книги, переполненной никому не нужною всякою всячиной. Мнѣ стало наконецъ невтерпёжъ. Третья гимназія надоѣла мнѣ и опротивѣла донельзя. Я завидовалъ даже извозчику, который подвозилъ меня къ ея крыльцу: онъ поѣдетъ прочь на вольную волю, а меня запрутъ въ затѣнокъ, гдѣ будутъ пытать разными пытками.

Извините, что разсказываю вамъ о такихъ дрязгахъ. Я вовсе не желаю свидѣтельствовать о своей безукоризненной правотѣ; безъ сомнѣнія, во многомъ былъ виноватъ и я. Мнѣ хотѣлось только дать вамъ знать, какой былъ я тогда дрянной чиновникъ и строптивый рабъ начальства.

Высоко цѣня достоинства Погорѣльскаго и всегда относясь къ нему благосклонно, графъ Сергій Григорьевичъ, разумѣется, зналъ отъ него самого о моихъ съ нимъ пререканіяхъ и ссорахъ и не разъ полушутливо журилъ меня, внушая мнѣ быть почтительнѣе къ старшимъ и не раздражать болѣзненнаго человѣка, который и безъ того страдаетъ припадками желчи. Я оправдывался, какъ могъ, говорилъ, что директору гимназіи не

подобаетъ выносить соръ изъ избы, да еще прямо въ кабинетъ самого попечителя учебнаго округа, что я не лѣкарь и не могу отличить, когда человѣкъ ругается со злости и когда отъ прилива желчи, — графъ разсмѣется и махнетъ рукой.

Въ 1846 г. я рѣшилъ бросить гимназію, а также и всякую другую службу въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія, только опасался препятствій со стороны графа, да и совѣстно мнѣ было говорить съ нимъ объ этомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ думалъ я покинуть и его домъ, гдѣ уже незачѣмъ было мнѣ оставаться, потому что въ августѣ мѣсяцѣ Григорій Сергѣевичъ поступалъ въ университетъ, а съ обѣими его сестрами я свои уроки покончилъ. Даже и вовсе изъ Москвы замышлялъ куда-нибудь уѣхать, а лучше всего въ Петербургъ, гдѣ могу отвести душу въ Эрмитажѣ, въ Строгановской галереѣ или въ музеѣ Академіи Художествъ. Будь у меня средства, я бы, кажется, совсѣмъ экспатрировался по слѣдамъ княгини Волконской или нашего профессора Печорина, который и году не усидѣлъ на каѳедрѣ московскаго университета. Какъ ни стараюсь теперь, никакъ не могу разобраться въ смутной путаницѣ намѣреній, предположеній и плановъ, которые тогда кишѣли въ моей головѣ. Помню только одно, что мнѣ нуженъ былъ крутой поворотъ въ моей судьбѣ, нужна рѣшительно другая обстановка въ условіяхъ жизни.

Сверхъ всякаго чаянія главное препятствіе въ исполненіи моихъ желаній само собой устранилось. Графъ на все лѣто 1846 года уѣхалъ обозрѣвать рудники и заводы въ свои пермскія имѣнія, въ которыхъ насчитывалось до семидесяти двухъ тысячъ душъ. Именно въ это самое время я успѣлъ, какъ говорится, сжечь свои корабли и устроить себѣ во всѣхъ отношеніяхъ новую жизнь. Изъ гимназіи я вышелъ въ отставку, но въ ренегаты, слава Богу, не попалъ, а просто-напросто женился на Аннѣ Алексѣевнѣ Сиротининой и, послѣ долгихъ скитаній по чужимъ угламъ, обзавелся наконецъ своимъ собственнымъ домашнимъ хозяйствомъ, водворившись на постоянное жительство въ Москвѣ.

XXIV.

Иванъ Ивановичъ Давыдовъ, получивъ мѣсто директора педагогическаго института, оставилъ въ концѣ 1846 года каѳедру московскаго университета и переселился въ Петербургъ. На его

мѣсто былъ принятъ я въ качествѣ сторонняго преподавателя, потому что, не защитивъ магистерской диссертаціи, я не имѣлъ права быть адъюнктомъ. Такимъ образомъ — говорю это съ особенной гордостью — я былъ въ московскомъ университетѣ первымъ по времени приватъ-доцентомъ. Мнѣ дано было четыре лекціи въ недѣлю: двѣ на первомъ курсѣ математическаго факультета по теоріи словесности и двѣ на второмъ курсѣ филологическаго факультета по сравнительной грамматикѣ и исторіи церковно-славянскаго и русскаго языка.

При самомъ вступленіи моемъ на каѳедру, профессора были въ необычайномъ волненіи по случаю одной семейной ссоры, въ сущности самой пустой, и я, конечно, не упомянулъ бы вамъ о ней въ своихъ воспоминаніяхъ, если бы она не грозила нашему университету вредомъ, отнимая у него двухъ самыхъ даровитыхъ и самыхъ полезныхъ профессоровъ, Крылова и Грановскаго. Рѣдкинъ, Кавелинъ, Грановскій и не помню еще кто-то — подали просьбу объ отставкѣ, потому что не хотѣли служить вмѣстѣ съ Крыловымъ; если же онъ самъ выйдетъ изъ университета, то они останутся. Все это произошло, когда графъ Строгановъ обозрѣвалъ свои пермскія владѣнія. Возвратившись въ Москву, онъ порѣшилъ во что бы то ни стало для блага студентовъ удержать въ университетѣ и Крылова, и Грановскаго, которыхъ одинаково очень любилъ и одинаково цѣнилъ, для пользы и процвѣтанія наукъ въ московскомъ университетѣ. Пусть другіе выходятъ въ отставку, а Грановскаго онъ не выпуститъ изъ рукъ, и далъ ему отпускъ на неопредѣленный срокъ, хоть на цѣлые года, пока не образумится. Рѣдкинъ и Кавелинъ переселились въ Петербургъ, а Грановскій съ небольшимъ черезъ годъ опять сталъ восхищать своими лекціями московскихъ студентовъ и публику.

Когда оглянусь далеко назадъ, это событіе, очень важное тогда въ интересахъ профессорской корпораціи, сокращается теперь въ моихъ глазахъ до мелкой семейной интриги передъ тою великою бѣдою, которая вслѣдъ за тѣмъ постигла московскій университетъ. Самъ попечитель его, графъ Строгановъ, принужденъ былъ выйти въ отставку. Вотъ какъ это случилось.

Издавна былъ онъ въ непримиримой враждѣ съ графомъ Сергіемъ Семеновичемъ Уваровымъ, и если могъ дѣйствовать въ управленіи университетомъ и учебнымъ округомъ вполнѣ самостоятельно и независимо отъ его министерскихъ предписаній, то лишь благодаря милостивому расположенію, которымъ

всегда пользовался со стороны императора Николая Павловича, и всякій разъ сносился съ нимъ лично, когда не соглашался съ распоряженіями министра народнаго просвѣщенія. Изъ приведеннаго выше письма его ко мнѣ вы могли уже замѣтить, какъ онъ относился къ нему и къ его льстецамъ.

Въ 1847 году графъ Уваровъ предпринялъ дать нашимъ университетамъ новый уставъ и проектъ этого устава разослалъ ко всѣмъ попечителямъ учебныхъ округовъ въ конфиденціальныхъ циркулярахъ. Графъ Сергій Григорьевичъ не согласился ни съ однимъ изъ главныхъ положеній новаго устава и свое мнѣніе обстоятельно изложилъ въ письмѣ къ государю. По обычаю давать мнѣ на просмотръ все болѣе значительное, что писалъ онъ на русскомъ языкѣ, съ тѣмъ, чтобы я исправилъ вкравшіеся галлицизмы, онъ сообщилъ мнѣ и это письмо къ государю, а для ясности дѣла приложилъ въ краткой запискѣ главное положеніе устава. По счастію, она сохранилась въ моихъ бумагахъ. Привожу ее вамъ слово въ слово:

„Министръ народнаго просвѣщенія предложилъ мнѣ передать на разсужденіе совѣта проектъ, составленный въ слѣдующемъ смыслѣ:

„1) Уничтожить переводные въ университетахъ экзамены и репетиціи.

„2) Принимать окончившихъ ученіе во всѣхъ гимназіяхъ безъ экзамена.

„3) Разбить курсы по семестрамъ.

„4) Предоставить выборъ курсовъ на произволъ желающимъ.

„5) Принимать въ университетъ два раза въ годъ.

„Находя, по моему разумѣнію, эти положенія разрушительными для настоящаго состоянія вещей, я рѣшаюсь писать государю. Прилагаю вамъ при семъ черновую сейчасъ оконченную бумагу, прося прочесть и сказать мнѣ мнѣніе ваше и указать на шероховатость слога. По окончаніи прошу васъ покорно зайти ко мнѣ.

Гр. Строгановъ".

Такимъ образомъ, новый уставъ провалился. Нестерпимая обида, нанесенная его составителю, вызывала на отмщеніе. Оно не замедлило.

При московскомъ университетѣ, какъ извѣстно, состоитъ Общество исторіи и древностей россійскихъ. Графъ Сергій Григорьевичъ былъ его предсѣдателемъ, а профессоръ Осип

Максимовичъ Бодянскій — секретаремъ и издателемъ историческихъ матеріаловъ и изслѣдованій членовъ Общества и постороннихъ спеціалистовъ. Въ одной изъ книгъ этого періодическаго изданія, называвшагося, какъ и теперь, „Чтеніями Общества исторіи и древностей россійскихъ", было напечатано въ переводѣ извѣстное сочиненіе Флетчера о Россіи въ царствованіе Іоанна Грознаго. Иностранный путешественникъ въ рѣзкихъ очеркахъ и въ яркомъ колоритѣ представляетъ мрачную картину государственной, сословной и семейной жизни нашего отечества тѣхъ далекихъ временъ. Министръ народнаго просвѣщенія воспользовался благопріятнымъ случаемъ и въ донесеніи государю императору изложилъ свое мнѣніе о зловредности распространять въ публикѣ сочиненія такого содержанія, какъ повѣствованіе Флетчера о Россіи, и притомъ изданное не частнымъ лицомъ, а отъ офиціальнаго общества, состоящаго при императорскомъ университетѣ. Донесеніе возымѣло полный успѣхъ. По высочайшему повелѣнію данъ былъ графу выговоръ, а Бодянскій наказанъ перемѣщеніемъ изъ московскаго университета въ казанскій.

Получивъ выговоръ, графъ тотчасъ же вышелъ въ отставку и, возбудивъ этимъ поступкомъ неудовольствіе государя Николая Павловича, съ тѣхъ поръ и до конца его царствованія оставался у него въ опалѣ, продолжалъ жить въ Москвѣ и рѣдко посѣщалъ Петербургъ, и то лишь по своимъ частнымъ дѣламъ. Придворныя особы и высокопоставленные государственные люди, дорожившіе его знакомствомъ, когда онъ былъ у государя императора въ силѣ, теперь отшатнулись отъ него, опасаясь сближеніемъ съ нимъ бросить на себя тѣнь подозрѣнія. Такое же опасеніе распространилось и въ Москвѣ между бывшими его подчиненными, а также и между административными лицами, которыя послѣ него управляли московскимъ учебнымъ округомъ. Утренніе пріемы прекратились, и кабинетъ его опустѣлъ; рѣдко, рѣдко кто являлся къ нему изъ тѣхъ немногихъ, которые дѣйствительно почитали и любили его, а не униженно преклонялись, заискивая его милостей.

Бодянскій, по предписанію министра народнаго просвѣщенія, долженъ былъ помѣняться своею каѳедрою славянскихъ нарѣчій съ Викторомъ Ивановичемъ Григоровичемъ, который читалъ тотъ же предметъ въ казанскомъ университетѣ, но ѣхать въ Казань наотрѣзъ отказался и, прекративъ лекціи, преспокойно продолжалъ жить въ Москвѣ, какъ ни въ чемъ не бы-

вало. Между тѣмъ Григоровичъ, безпрекословно повинуясь волѣ высшаго начальства, явился въ Москву, но, чувствуя себя въ самомъ ложномъ положеніи неповиннаго орудія, которымъ караютъ его товарища по каѳедрѣ, не осмѣливался начинать свои лекціи. Такъ тянулась эта безсмысленная процедура около двухъ лѣтъ. Бодянскій какими-то судьбами взялъ свое и воротился на покинутую имъ каѳедру московскаго университета, а Григоровичъ уѣхалъ въ Казань. Тѣмъ дѣло и покончилось. Высочайшее повелѣніе было приведено въ дѣйствіе только на половину.

Во время своего пребыванія въ Москвѣ Викторъ Ивановичъ находился въ самомъ удрученномъ расположеніи духа. И безъ того онъ былъ застѣнчивъ и робокъ, благодушенъ и деликатенъ, а теперь, будучи замѣшанъ въ неблаговидной интригѣ у всѣхъ на виду, онъ совѣстился показаться въ люди и упорно избѣгалъ всякихъ знакомствъ. Единственный человѣкъ, съ которымъ онъ тогда сблизился и даже подружился, былъ я. Въ моемъ кабинетѣ онъ находилъ себѣ самый радушный пріемъ и въ откровенной бесѣдѣ со мною отводилъ душу отъ угнетавшей его тоски.

Теперь обращаюсь къ моему доцентству. Въ лекціяхъ сравнительной грамматики по Боппу и Вильгельму Гумбольдту я ограничился только общими положеніями и главнѣйшими результатами въ той мѣрѣ, сколько было мнѣ нужно, чтобы опредѣлить отличительныя черты группы славянскихъ нарѣчій и указать имъ надлежащее мѣсто въ средѣ другихъ индо-европейскихъ языковъ.

Исторію русскаго языка я велъ въ связи съ церковно-славянскимъ и на первый разъ остановился на Остромировомъ евангеліи. Меня особенно интересовалъ тогда вопросъ о первобытныхъ и свѣжихъ формахъ языка, еще не тронутыхъ и не переработанныхъ на новый ладъ искусственными ухищреніями переводчиковъ священнаго Писанія. Для этой цѣли мнѣ были нужны не сухія, безсодержательныя окончанія склоненій и спряженій, а самыя слова, какъ выраженія впечатлѣній, понятій и всего міросозерцанія народа въ неразрывной связи съ его религіею и съ условіями быта семейнаго и гражданскаго. Такимъ образомъ я раздѣлилъ свой курсъ исторіи языка на два періода: на языческій съ миѳологіею и на христіанскій. Извлеченія изъ этихъ лекцій я напечаталъ въ 1848 году въ видѣ магистерской диссертаціи подъ заглавіемъ: „О вліяніи христіанства на славянскій языкъ. По Остромирову евангелію“.

Вотъ нѣсколько главныхъ положеній изъ этой диссертаціи.

Исторія языка стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ преданіями и вѣрованіями народа. Древнѣйшія эпическія формы ведутъ свое происхожденіе отъ образованія самого языка. Родство языковъ индо-европейской отрасли сопровождается согласіемъ преданій и повѣрій, сохранившихся въ этихъ языкахъ.

Славянскій языкъ задолго до Кирилла и Меѳодія подвергся вліянію христіанскихъ идей. Славянскій переводъ Евангелія отличается чистотою выраженія христіанскихъ понятій, происшедшею вслѣдствіе отстраненія всѣхъ намековъ на прежній дохристіанскій бытъ. Готскій переводъ Библіи, сдѣланный Ульфилою въ IV вѣкѣ, напротивъ того, являетъ едва замѣтный переходъ отъ выраженій миѳологическихъ къ христіанскимъ и составляетъ любопытный фактъ въ исторіи языка, сохраняя въ себѣ преданія языческія для выраженія христіанскихъ идей. Въ исторіи славянскаго языка видимъ естественный переходъ отъ понятій семейныхъ, во всей первобытной чистотѣ въ немъ сохранившихся, къ понятіямъ быта гражданскаго. Столкновенія съ чуждыми народами и переводъ св. Писанія извлекли славянъ изъ тѣсныхъ, домашнихъ отношеній, отразившись въ языкѣ сознаніемъ чужеземнаго и общечеловѣческаго. Отвлеченность славянскаго языка въ переводѣ св. Писанія, какъ слѣдствіе яснаго разумѣнія христіанскихъ идей, очищенныхъ отъ преданій дохристіанскихъ, усилилась грецизмами, которыхъ, сравнительно съ славянскимъ текстомъ, находимъ гораздо менѣе въ готскомъ. По языку перевода св. Писанія можно себѣ составить нѣкоторое понятіе о характерѣ переводчиковъ и того народа, въ которомъ произошелъ переводъ св. Писанія.

Чтобы познакомить васъ съ нѣкоторыми подробностями моего диспута, сообщаю вамъ слѣдующее мое письмо къ Александру Николаевичу Попову въ Петербургъ, доставленное мнѣ издателемъ „Русскаго Архива“ Петромъ Ивановичемъ Бартеневымъ:

„Любезнѣйшій Александръ Николаевичъ. Наконецъ диссертація моя прошла сквозь огонь и воду, т.-е. напечатана и защищена. Диспутъ былъ 3 іюня, въ четвергъ; спорили долго, отъ 12 почти до 4 часовъ. Возражали Шевыревъ, Бодянскій, Катковъ, Леонтьевъ и Хомяковъ [1]). Шевыревъ хотѣлъ, чтобы я раздѣлилъ миѳологическій періодъ языка на четыре, а потомъ и на пять отдѣловъ; въ словѣ *колыма-га, колыма* — опредѣлилъ

---

[1]) Алексѣй Степановичъ, извѣстный славянофилъ, о которомъ я уже говорилъ вамъ.

двойственнымъ числомъ (отъ формы *коло)* — колесо; въ
женіи русскихъ пѣсенъ: *„спѣла* тетивка", по академиче
словарю, видѣлъ *готовую, быструю* тетиву, тогда какъ по-
она *поетъ:* выраженіе, не чуждое Гомеру и вообще языку
скому; нападалъ на меня за то, будто я вижу въ нашей
вліяніе скандинавское, но я ему доказалъ, что это ему по
щилось, потому что сближать то, что само собою сближа
еще не значитъ выводить одно изъ другого. Бодянскій
цѣплялся къ каждому словопроизводству, но только допо
меня, а не опровергалъ. Въ заключеніе своихъ возражені
дянскій сдѣлалъ мнѣ комплиментъ, котораго я столько
ожидалъ, какъ вѣроятно и вы: мои-де изслѣдованія осо
его радуютъ тѣмъ, что я безпристрастно отдаю каждому
свое, и славянскому и нѣмецкому, и проч.; потомъ кос
было моего 5-го тезиса объ изученіи славянскихъ пре
въ связи съ нѣмецкими, но я его успокоилъ, объяснивъ,
это я разумѣю, и онъ опять согласился. Катковъ нап
на меня за соединеніе интересовъ лингвистическихъ съ ис
ческими, такъ что не видно, кто въ моей диссертаціи —
онъ выразился — „хозяинъ", лингвистъ или историкъ:
иномъ диссертаціи назвалъ я самого себя. Нападалъ на нед
токъ системы; я оправдался тѣмъ, что выразилъ уже въ с
предисловіи. Леонтьевъ коснулся моего понятія о чистотѣ
вянскаго перевода св. Писанія, а потомъ отстаивалъ м
Копитара о паннонизмахъ въ церковно-славянскомъ я
Хомяковъ началъ свои возраженія общимъ замѣчаніемъ
теперь на нѣкоторое время наука въ Европѣ останов
въ своемъ развитіи, и намъ, русскимъ, только однимъ,
стоитъ обрабатывать ее, а потому моя диссертація для
пріятное явленіе. Затѣмъ нападалъ на меня за излишнюю
рожность въ сличеніи языка славянскаго съ санскритски
приводилъ примѣры: изъ его словъ я вывелъ, что онъ
таетъ санскритъ мѣстнымъ нарѣчіемъ языка русскаго.
нецъ, Шевыревъ сдѣлалъ общее заключеніе обо всемъ ди
и заявилъ, что были нападенія частныя, болѣе обраще
на періодъ миѳологическій, по собственно мой предметъ о
ніи христіанства на славянскій языкъ остался за мною,
сидѣлъ въ своей крѣпости, какъ онъ выразился, непобѣ

„Не боялся я вамъ наскучить описаніемъ своего ди
по увѣренности, что васъ интересуетъ все, совершаю
въ нашемъ университетѣ.

„2-й курсъ словеснаго отдѣленія отвѣчалъ у меня на экзаменѣ изъ языковѣдѣнія прекрасно, что доставляло мнѣ истинное удовольствіе. Хотя я до сихъ поръ въ университетѣ въ самомъ, что называется, *ложномъ*[1]) положеніи, но совѣсть покойна: постановилъ въ отдѣленіи новую науку и зарекомендовалъ ее передъ начальствомъ и передъ студентами. Шевыревъ послѣ экзамена сказалъ, что видно, что студенты мой предметъ полюбили и занимались имъ съ увлеченіемъ. И я совершенно мирюсь, что полтора года служу въ университетѣ безъ жалованья и безъ чиновъ".

Я былъ кругомъ виноватъ передъ своимъ наставникомъ Иваномъ Ивановичемъ Давыдовымъ въ дерзкихъ выходкахъ, которыя себѣ позволилъ въ критикѣ на его статью о мѣстоименіяхъ. Теперь, чтобы очистить совѣсть, я послалъ ему въ Петербургъ свою диссертацію при письмѣ, въ которомъ искренно прошу извинить меня за нанесенное ему мною оскорбленіе. Съ особеннымъ удовольствіемъ сообщаю вамъ его отвѣтъ въ письмѣ отъ 9 іюня 1848 года.

„Приношу вамъ душевную благодарность за присылку мнѣ прекраснаго вашего разсужденія: о вліяніи христіанства на славянскій языкъ. Я думаю, на книгу вашу такъ много сдѣлано возраженій во время диспута, что вамъ скучно бы было возобновлять подобныя пренія въ письмѣ. Возраженія же вызываются и по новости, и по важности предмета. Сближеніе индо-европейскихъ языковъ съ санскритскимъ нынѣ стало общимъ мѣстомъ университетскихъ, даже гимназическихъ преподавателей филологіи, но вамъ принадлежитъ честь совершенно новаго дѣла — сличенія славянскаго перевода Библіи съ готскимъ. Эта часть разсужденія весьма любопытна.

„Еще благодарю васъ за добрыя ваши чувствованія ко мнѣ, возбуждаемыя въ васъ, вѣроятно, воспоминаніями о студенческой вашей жизни въ университетѣ. Дѣйствительно, я съ радостью вижу въ ученыхъ трудахъ вашихъ то направленіе, какое я старался дать занятіямъ вашимъ въ продолженіе курса. Тогда о Боппѣ, В. Гумбольдтѣ, Гриммѣ только въ московскомъ университетѣ говорили на лекціяхъ, и именно на лекціяхъ русской словесности. Тутъ познакомились студенты и съ Добровскимъ, котораго славянская грамматика переведена по моему экземпляру. Правда, было время, когда вы не сознавали этого, но

---

[1]) Такъ выразился я о своей доцентурѣ.

теперь, въ періодъ нравственнаго сознанія, вы не можете скрыть отъ самихъ себя того, что̀ извѣстно всѣмъ и каждому изъ вашихъ товарищей. Такова сила нравственнаго закона!

„Желаю вамъ новыхъ успѣховъ литературныхъ; съ истиннымъ уваженіемъ къ вашимъ достоинствамъ имѣю честь быть вашимъ почитателемъ. — Иванъ Давыдовъ“.

Итакъ, успѣшно защитивъ свою диссертацію, я пріобрѣлъ степень магистра и немедленно вслѣдъ за тѣмъ получилъ штатное мѣсто адъюнкта по каѳедрѣ русской словесности.

XXV.

Въ самомъ концѣ сороковыхъ годовъ настало для западной Европы смутное время, грозившее сокрушить уже заранѣе поколебленныя основы всего государственнаго и общественнаго строя. Чтобы упредить и предотвратить вторженіе того же въ предѣлы нашего отечества и очистить умы отъ всякаго налетнаго повѣтрія, были приняты у насъ строжайшія мѣры. Я не буду говорить вамъ о нихъ ни вообще, въ цѣломъ ихъ объемѣ, ни о разныхъ подробностяхъ, а разскажу лишь то, что видѣлъ своими глазами и что самъ въ себѣ перечувствовалъ и перестрадалъ.

Въ первый разъ во всемъ могуществѣ предстала передо мною эта очистительная гроза въ живомъ олицетвореніи карающей власти, и, какъ нарочно, въ стѣнахъ нашего милаго университета. Однажды во время смѣны явился къ намъ въ профессорскую комнату генералъ-губернаторъ Закревскій съ своимъ адъютантомъ. Мы изумились такой небывальщинѣ и поразились ею. Что за притча? Времена были тяжкія; отовсюду жди бѣды. Закревскій что-то сказалъ инспектору. Инспекторъ направился къ стоявшему между насъ профессору греческой литературы Гофману и пригласилъ его слѣдовать за генералъ-губернаторомъ, который желаетъ прослушать его лекцію. Когда они вышли за дверь, мы уже совсѣмъ потеряли голову: не то смѣяться, не то горевать. Гофманъ по-русски говорить не умѣлъ, а студентамъ читалъ по-латыни и переводилъ съ греческаго языка на латинскій. Что же будетъ слушать Закревскій на его лекціи, не понимая ни слова на этихъ языкахъ?

Вечеромъ я узналъ, что Гофманъ арестованъ, а черезъ день былъ высланъ подъ стражею за границу. Полицейскіе сыщики перехватили его письмо къ брату, который состоялъ тогда чле-

номъ германскаго конгресса агитаторовъ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Такимъ образомъ нашъ товарищъ былъ обвиненъ, какъ соумышленникъ западныхъ мятежниковъ.

Вслѣдъ за тѣмъ наши университеты подверглись великой опалѣ. Число студентовъ филологическаго, математическаго и юридическаго факультетовъ предписано было сократить до трехъ сотъ, а медицинскій — оставить на прежнемъ положеніи. Въ аудиторіяхъ появились двѣ новыя каѳедры какихъ-то военныхъ наукъ съ двумя полковниками; въ актовой залѣ принялись маршировать студенты по командѣ взятаго на прокатъ капитана. Я нарочно заходилъ туда посмотрѣть, какъ ихъ тамъ муштруютъ, растянувъ въ шеренгу по толстому канату, за который они должны держаться обѣими руками, когда маршируютъ. Такъ какъ университетъ получалъ нѣкоторымъ образомъ характеръ воинскій, то для поддержанія иллюзіи нашли вполнѣ пригоднымъ и самому зданію придать атрибуты вооруженной крѣпости. Въ этихъ видахъ на выступахъ по обѣимъ сторонамъ широкой лѣстницы было поставлено по большущей пушкѣ. Я принадлежалъ, какъ вы сами видите, къ тогдашней образованной молодежи, къ ученымъ и литераторамъ изъ поколѣнія ровесниковъ царя-освободителя, государя императора Александра Николаевича. Всего четырьмя днями былъ я старше его. Мы всѣ возрастали, формировались и преуспѣвали подъ давленіемъ внушительнаго страха, какъ начала всякой премудрости, подъ бдительною ферулой и съ вразумительной указкой въ рукахъ. Намъ говорили: меньше думай и больше слушайся того, кто тебя старше и потому умнѣе; не вѣрь всякой правдѣ, чтобы не нажить бѣды, потому что и сама правда бываетъ двоякая: злая — отъ наущенія дьявольскаго, и добрая, которой поучайся отъ тѣхъ, кому подобаетъ ее вѣдать; иной разъ и ложь не перечитъ правдѣ, даже ее замѣняетъ, когда, какъ говорится, бываетъ она во спасеніе. Однимъ словомъ, мы воспитывались въ благонравіи по рецепту тогдашней австрійской дипломатіи канцлера Метерниха.

Когда же мы только что перешли за половину пути человѣческой жизни, опредѣляемую тридцатью четырьмя годами, и полагали себя настолько зрѣлыми, что можемъ руководить поколѣніе младшее, какъ вдругъ нежданно, негаданно выпорхнуло оно изъ нашихъ рукъ и очутилось у насъ на плечахъ. Мы еще не успѣли хорошенько передохнуть отъ гнета стародавняго, какъ тотчасъ же подпали подъ деспотизмъ новорожденный,

и какъ горько было намъ чувствовать, что изъ недорослковъ мы стали для новаго поколѣнія не старшими, а устарѣлыми. Я бы сравнилъ наше положеніе въ этомъ обоюдномъ натискѣ со спѣлыми зернами между двухъ жернововъ: какая вышла изъ всего этого мука — судить не мое дѣло.

Въ безотрадную для нашего университета годину грозной опалы подверглись на первыхъ же порахъ бдительному подозрѣнію молодые профессора. Они учились за границею и ужъ, конечно, понабрались тамъ всякихъ идей. А надобно вамъ знать, что года за два до вспыхнувшаго на Западѣ мятежа составился у насъ небольшой профессорскій кружокъ около Тимоѳея Николаевича Грановскаго. Тутъ были еще юные тогда, преисполненные энергической бодрости и смѣлыхъ надеждъ для успѣха въ ученыхъ трудахъ, а теперь давно уже отошедшіе въ вѣчность, Кудрявцевъ, Соловьевъ, Леонтьевъ, Шестаковъ (братъ бывшаго попечителя казанскаго учебнаго округа) и нѣкоторые другіе. Собирались мы поочередно то у того, то у другого каждую недѣлю по субботамъ вечеромъ въ шесть часовъ, пили чай, въ десять часовъ ужинали, а въ одиннадцать расходились по домамъ. Эти вечерніе досуги, беззаботные и веселые, въ моихъ воспоминаніяхъ слились нераздѣльно съ золотымъ временемъ незабвеннаго товарищества въ казеннокоштныхъ номерахъ московскаго университета. Теперь въ дружескихъ бесѣдахъ нашего интимнаго кружка я вновь переживалъ свое студенчество, потому что и впрямь мы всѣ изъ серьезныхъ профессоровъ превращались тогда въ юныхъ студентовъ.

И что за люди были мои милые собесѣдники! Никого на свѣтѣ не зналъ я — лучше Грановскаго, совершеннѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Его благодушію и снисходительности не было предѣловъ. Онъ не зналъ себѣ цѣны и безкорыстно отдавалъ предпочтеніе другимъ; напримѣръ, историческія сочиненія своего ученика Кудрявцева онъ ставилъ всегда гораздо выше своихъ собственныхъ, и какъ онъ сердечно радовался его успѣхамъ въ литературѣ! По своей безукоризненно свѣтской любезности и по игривому, незлобивому остроумію онъ былъ душою всякой бесѣды. Безмятежная натура его, чистая и свѣтлая, была всегда охраняема отъ болѣзненныхъ уколовъ самолюбія сознаніемъ своего собственнаго достоинства. Не преднамѣренно и обдуманно, а вполнѣ наивно, безсознательно стоялъ онъ выше всякихъ наносимыхъ ему оскорбленій. Добродушно и благодарно выслушивалъ онъ, когда говорили ему о его промахахъ и ошибкахъ.

Чтобы не затянуть разсказа, изъ прочихъ моихъ товарищей упомяну только о Павлѣ Михайловичѣ Леонтьевѣ, оригинальныя достоинства котораго заслуживаютъ особеннаго вниманія. Обыкновенно говорятъ, что только въ романахъ живетъ настоящая, истая дружба, идеально беззавѣтная. Леонтьевъ родился на свѣтъ, чтобы доказать людямъ возможность такой дружбы и въ дѣйствительности. И сердце для того было у него особенное, сердце страстно любящей матери такою безграничною любовью, которая, по сказанному, сильнѣе смерти. И дѣйствительно онъ за друга своего готовъ былъ пожертвовать жизнью и дрался на дуэли; больше того: онъ не разъ жертвовалъ за него своею честью, своимъ добрымъ именемъ, что̀ для благородныхъ натуръ дороже жизни. Вотъ какъ это бывало. Когда другъ его смастеритъ что-нибудь нехорошее или злое, онъ въ огласкѣ беретъ его поступокъ на себя; если же самъ онъ что-нибудь сдѣлаетъ очень и очень хорошее и похвалятъ его люди, то онъ всегда скажетъ, что онъ тутъ ни при чемъ. Въ такой неслыханной его преданности страстная любовь неразрывно переплелась съ яростною злобою безпощадно поражать враговъ, которые осмѣлятся поднять руку на драгоцѣнный предметъ этой дружеской преданности. Лично своихъ враговъ у Леонтьева не было, но онъ немилосердно казнилъ враговъ своего друга. Съ такимъ нѣжнымъ и мягкимъ сердцемъ соединялъ онъ крѣпкій умъ, вполнѣ математическій, который питается цифрами и вычисленіями, но не въ однѣхъ отвлеченныхъ комбинаціяхъ, а въ приложеніи къ дѣлу на практикѣ. Онъ и говорилъ ясно и четко, съ выдержкою и разстановочно, будто нанизываетъ бисеринки одну за другою, такъ чтобы слушающій усвоялъ каждую по одиночкѣ и слагалъ себѣ цѣлую нить. Въ цвѣтущее время нашего филологическаго факультета, время Грановскаго и Кудрявцева, онъ увлекалъ и воодушевлялъ студентовъ своими лекціями классическихъ древностей, и его аудиторія была биткомъ набита слушателями. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ онъ домовитый хозяинъ и отличный экономъ, умѣлъ и любилъ приращать капиталы, свои и чужіе, большіе или маленькіе — все равно: его интересовалъ не барышъ, а самый счетъ и учетъ. Когда мнѣ случалось покупать акціи или облигаціи, я обращался къ нему за совѣтомъ и никогда не оставался въ убыткѣ. Онъ могъ бы быть образцовымъ министромъ финансовъ, обогатилъ бы казну новыми доходами и никого бы не обездолилъ, такъ чтобы и „волки были сыты, и овцы цѣлы“.

Извините, что я заговорился о своихъ милыхъ товарищахъ. Прошу припомнить, что рѣчь идетъ о нашихъ вечернихъ бесѣдахъ. Разумѣется, я перезабылъ теперь, о чемъ и какъ мы толковали, и что̀ могло насъ въ особенности занимать. Живо сберегліись въ моей памяти кое-какіе клочки изъ разсказовъ и анекдотовъ о разныхъ знаменитостяхъ, которыя сильно меня заинтересовали тогда, потому что до тѣхъ поръ были мнѣ неизвѣстны. Вотъ, напримѣръ, профессоръ богословія въ берлинскомъ университетѣ Неандеръ, великій чудакъ, разсѣянный какъ нельзя больше, престарѣлый холостякъ, о которомъ заботится и печется его сестра, такая же старая, кормитъ его, обуваетъ и одѣваетъ, а иногда и напутствуетъ по улицамъ, чтобы не заблудился. Читая студентамъ лекціи, всегда стоитъ онъ на каѳедрѣ и ни разу не присядетъ; въ рукахъ непремѣнно держитъ, перевертываетъ, ломаетъ и обрываетъ гусиное перо, которое предварительно положатъ ему на каѳедру студенты. Читаетъ онъ свой предметъ всегда экспромптомъ, глубоко обдуманно, ясно, плавно и краснорѣчиво, будто по печатной книгѣ; въ себѣ сосредоточенъ, ничего кругомъ не видитъ и не слышитъ, только безъ устали ломаетъ свое гусиное перо. Квартиру онъ нанималъ довольно далеко въ одной изъ улицъ, идущихъ по одну сторону извѣстной „Unter den Linden“, на которой стоитъ университетъ. Чтобы ближе ходить ему на лекціи, сестра перевезла его на новую квартиру невдалекѣ отъ университета, но по другую сторону отъ той улицы, и сначала нѣсколько разъ провожала его до университета, чтобы онъ попривыкнулъ къ неизвѣстной для него мѣстности. Дѣло пошло на ладъ. Туда сталъ онъ ходить одинъ, но оттуда возвращался домой по прежней дорогѣ, дѣлая большой крюкъ: сначала направится къ старой квартирѣ, а потомъ уже пойдетъ на новую. Былъ одинъ смѣхотворный эпизодъ въ исторіи костюма этого оригинальнаго богослова. Онъ не любилъ мѣнять свое платье и, при невнимательности ко всему окружающему, былъ бы готовъ износить его до лохмотьевъ, если бы не сестра: безъ его вѣдома она закажетъ ему новое одѣяніе и рано утромъ положитъ на мѣсто стараго. Однажды утромъ портной долженъ былъ принести ему панталоны взамѣнъ изношенныхъ, а сестра тѣмъ временемъ отправилась за провизіею. Возвратившись домой, она брата уже не застала: онъ ушелъ на лекцію. Увидѣвъ, къ своему ужасу, что старыя панталоны лежатъ нетронуты, она въ переполохѣ схватила ихъ подъ мышку и бросилась въ университетъ, вообра-

жая, что онъ забылъ ихъ надѣть. Подбѣгаетъ къ затвореннымъ дверямъ его аудиторіи и не вѣритъ своимъ ушамъ: братъ ея преспокойно разглагольствуетъ, будто ни въ чемъ не бывало. Лишь только онъ кончилъ лекцію, она ринулась къ брату, проталкиваясь между студентами, а онъ, нисколько не удивившись ея внезапному появленію, въ отвѣтъ на ея попыхи преспокойно отвѣчалъ: „да онѣ же на мнѣ; вотъ посмотри“, и въ доказательство приподнялъ обѣ полы своего длиннаго сюртука. На немъ были новенькія панталоны, которыя въ отсутствіе сестры принесъ портной.

Вотъ вамъ на выдержку образчикъ нашихъ поучительныхъ и увеселительныхъ бесѣдъ. Могу дать присягу, что не слыхалъ я въ нихъ ни слова о политикѣ съ ея дрязгами, потому что мои свѣтлыя воспоминанія не омрачаются ни однимъ темнымъ или смутнымъ пятномъ, подернутымъ скукою, а для меня нѣтъ ничего скучнѣе, какъ тарабарская грамота политическихъ дебатовъ.

Вслѣдъ за тѣмъ какъ прогнали Гофмана изъ московскаго университета, прекратились и наши товарищескія сходки. Въ мѣропріятіяхъ бдительной прозорливости предполагалось, что посѣянныя имъ у насъ зловредныя сѣмена западнаго мятежа могли дать ядовитые ростки. И вотъ теперь именно изъ того самаго факультета, къ которому принадлежалъ Гофманъ, нѣсколько молодыхъ профессоровъ собираются еженедѣльно въ одинъ и тотъ же день и часъ и въ разныхъ мѣстахъ, о чемъ-то толкуютъ, а постороннихъ гостей въ свое общество не допускаютъ. Это не даромъ; тутъ что-то не ладно. Но, слава Богу, насъ предупредили во-время, и дѣло обошлось безъ передряги.

Но московскимъ славянофиламъ пришлось плохо. Улики были налицо. Ничѣмъ не стѣсняясь, они привыкли откровенно высказывать свои задушевныя убѣжденія и смѣлые планы не только въ интимномъ кружкѣ друзей, но и въ многолюдныхъ собраніяхъ. Стоило только изложить въ подробномъ протоколѣ ихъ своеобразныя мнѣнія, идущія въ разрѣзъ съ принятымъ порядкомъ вещей, и самое тяжкое обвиненіе въ ихъ крайней неблагонамѣренности будетъ готово. Такъ и сдѣлали, присовокупивъ къ такому протоколу поименный реестръ обвиненныхъ. Впрочемъ, до поры до времени ихъ оставили на свободѣ и наказали только тѣмъ, что взяли съ нихъ подписку рѣшительно ничего не печатать изъ своихъ сочиненій.

Осадное положеніе нашего университета подъ грозною опалой тянулось до годовщины его столѣтняго юбилея 12 января

1855 года. Въ этотъ незабвенный день императоръ Николай Павловичъ осчастливилъ насъ великою милостью. Онъ повелѣлъ немедленно устранить всѣ неудобныя стѣсненія, недавно вызванныя временною необходимостью, и привести университетскіе порядки и льготы въ прежнее ихъ положеніе.

Ко дню юбилея профессорами нашего университета было изготовлено нѣсколько изданій. Главнымъ дѣятелемъ и руководителсмъ въ этихъ работахъ былъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ; онъ же написалъ и исторію московскаго университета. Что касается до меня, то по его же указанію и плану я составилъ цѣлую монографію о нѣсколькихъ избранныхъ рукописяхъ Синодальной библіотеки съ приложеніемъ раскрашенныхъ снимковъ, чтобы дать точное понятіе объ орнаментаціи заставокъ и заглавныхъ буквъ русскихъ писцовъ отъ XI-го столѣтія и до XVI-го. Монографія эта вошла въ составъ палеографическаго сборника, который былъ изданъ тоже ко дню юбилея. Лично для меня имѣетъ она большое значеніе. Въ ней, по указанію Степана Петровича, я въ первый разъ коснулся русской орнаментики, которая впослѣдствіи стала однимъ изъ любимыхъ предметовъ моихъ изслѣдованій.

Я работалъ для этой монографіи въ патріаршей палатѣ, которую занималъ тогда ризничій, архимандритъ Савва, нынѣ архіепископъ тверской. Онъ завѣдывалъ и патріаршею ризницею и Синодальною библіотекою, изъ которой нужныя мнѣ рукописи приносились въ ту палату. Именно въ этомъ-то обиталищѣ всероссійскихъ патріарховъ впервые увидѣлъ я человѣка, который потомъ въ теченіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ былъ моимъ искреннимъ другомъ, усердно помогалъ мнѣ въ моихъ ученыхъ работахъ, и мы дѣлились съ нимъ нашими семейными радостями, заботами и печалями.

Это былъ Алексѣй Егоровичъ Викторовъ. Учился онъ въ московской духовной академіи вмѣстѣ со своимъ товарищемъ іеромонахомъ Саввою, который по окончаніи курса былъ возведенъ въ санъ архимандрита и опредѣленъ ризничимъ патріаршей ризницы, а Викторовъ по окончаніи курса получилъ мѣсто въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ и, подружившись тамъ съ знаменитымъ библіоманомъ Ундольскимъ, усвоилъ себѣ его спеціальность и пристрастился къ рукописямъ и старопечатнымъ книгамъ. Все свободное отъ службы время онъ проводилъ у своего товарища архимандрита Саввы, помогалъ ему въ его археологическихъ трудахъ, а самъ неутомимо изу-

алъ и изслѣдовалъ сокровища синодальной библіотеки, которую онъ зналъ, какъ никто лучше его. Когда я готовилъ свою юбилейную монографію, именно онъ-то отыскивалъ и приносилъ въ патріаршую палату нужныя мнѣ рукописи, а вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ мнѣ наставительныя указанія въ библіографическомъ отношеніи, какъ ими пользоваться. Это было для меня дѣло новое, и онъ ввелъ меня въ самую его суть. Радушными его услугами и моею признательностью началась тогда наша неизмѣнная дружба, которая годъ отъ году усиливалась и скрѣплялась, благодаря его ревностной заботливости о моихъ успѣхахъ въ наукѣ и на каѳедрѣ. Читая студентамъ исторію древне-русской литературы, я постоянно нуждался въ его помощи для указанія и пріисканья надлежащихъ рукописей и старопечатныхъ книгъ. Ему же я обязанъ внесеніемъ множества наиболѣе значительныхъ и любопытныхъ статей въ мою большую хрестоматію изъ лучшихъ и рѣдкихъ памятниковъ нашей старины.

Я въ свою очередь помогалъ ему чѣмъ умѣлъ. По моей рекомендаціи онъ получилъ мѣсто помощника библіотекаря въ университетской библіотекѣ, а потомъ — хранителя рукописей и старопечатныхъ книгъ въ московскомъ Публичномъ и Румянцевскомъ музеѣ, какъ только было основано у насъ это учрежденіе. Около этого времени онъ женился. Для исторіи нашей дружбы я непремѣнно долженъ вамъ разсказать, какъ это случилось.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ и въ началѣ шестидесятыхъ я былъ между прочимъ заинтересованъ женскимъ образованіемъ и безъ всякихъ служебныхъ обязательствъ и вознагражденія взялся инспекторствовать въ одномъ изъ женскихъ училищъ, состоявшихъ подъ попечительствомъ княгини Софьи Степановны Щербатовой, именно въ Маріинско-Ермоловскомъ. Въ качествѣ профессора я могъ дать этому заведенію самыхъ лучшихъ учителей изъ моихъ университетскихъ слушателей. Чтобы вы судили сами, достаточно будетъ назвать Кананова, нынѣ директора Лазаревскаго института восточныхъ языковъ, и Поливанова, который впослѣдствіи основалъ лучшую изъ частныхъ гимназій. Въ свое Маріинско-Ермоловское училище я помѣстилъ преподавателемъ русской литературы и Викторова. Онъ увлекалъ своихъ ученицъ занимательнымъ изложеніемъ подробностей изъ болѣе значительныхъ памятниковъ нашей старины, и онѣ любили его, а лучшая изъ нихъ, первая въ классѣ, такъ плѣнила Алексѣя Егоровича своими дарованіями и прилежаніемъ, что онъ

объяснился ей въ любви, лишь только она окончила курсъ и еще оставалась въ заведеніи, гдѣ жила съ десятилѣтняго возраста. Она съ великою радостью, можно сказать, съ благоговѣніемъ приняла его предложеніе. Ей было тогда всего шестнадцать лѣтъ, а ему за тридцать. Это была княжна Марья Александровна Макулова. Я рѣшительно ничего не зналъ и не догадывался объ интересномъ романѣ, который зачинался въ стѣнахъ женскаго училища, пока самъ Алексѣй Егоровичъ не покаялся и не открылся мнѣ во всемъ. Я только развелъ руками и, не медля ни минуты, взялъ Марью Александровну къ себѣ и помѣстилъ въ своемъ семействѣ. Это было въ январѣ 1860 г. Въ теченіе зимы по вечерамъ женихъ навѣщалъ у насъ свою невѣсту и не переставалъ услаждать ее своими бесѣдами, которыя содержали въ себѣ не праздное щебетанье влюбленныхъ, а назидательное обсужденіе и рѣшеніе разныхъ мудреныхъ вопросовъ науки и жизни, и особенно такъ называемый женскій вопросъ, которымъ оба они сильно интересовались. Впрочемъ, больше говорилъ и ораторствовалъ Алексѣй Егоровичъ, а Марья Александровна только слушала внимательно и подобострастно и лишь изрѣдка ввернетъ свое мѣткое словечко. Она была молчалива и сдержанна, но замѣчательно умна и разсудительна. Иногда онъ читалъ ей разныя литературныя произведенія и объяснялъ ихъ, будто въ классѣ на урокѣ, такъ что, глядя на нихъ, всякій бы сказалъ, что это не женихъ съ невѣстой, а учитель съ ученицею, и каждый день все больше и больше завязывался и скрѣплялся этотъ оригинальный союзъ, такъ сказать, педагогическаго бракосочетанія, которое наконецъ и воспослѣдовало на Ѳоминой недѣлѣ въ церкви Пятницы-Божедомки близъ Пречистенки, въ переулкѣ, гдѣ квартировалъ тогда Викторовъ. Вскорѣ затѣмъ онъ переселился со своею молодою женой на казенную квартиру, въ одномъ изъ корпусовъ Румянцевскаго музея. Не долго наслаждался онъ семейнымъ счастьемъ. Года черезъ два Марья Александровна скончалась скоропостижно.

XXVI.

Когда графъ Сергій Григорьевичъ вышелъ въ отставку, я сблизился съ нимъ такъ, какъ никогда прежде. Заботы о московскомъ университетѣ, которымъ онъ ревностно предавался, теперь обратились на меня и еще на тѣхъ немногихъ изъ молодыхъ профессоровъ, которые умѣли цѣнить его и остались

вѣрны и преданы. Видя его въ незаслуженной опалѣ, я градалъ ему, но не сожалѣлъ, потому что жалость казалась ствомъ одинаково унизительнымъ и для него, и лично для я самого. Я только любовался на него и поучался, какъ еносить житейскія невзгоды. Онъ представлялся мнѣ непре-нным вассаломъ, которому нанесли обиду въ его правахъ бязанностяхъ. На мои глаза это былъ послѣдній изъ при-ныхъ могиканъ, которые во времена Екатерины Великой, ератора Павла и Александра Благословеннаго поспѣшали изъ ербурга въ Москву, чтобы коротать дни и годы въ уеди-іи своихъ вельможныхъ палатъ.

Мое присутствіе — я это чувствовалъ и видѣлъ — было него необходимо, развлекало его и радовало. Я посѣщалъ такъ часто, какъ только могъ, и непремѣнно долженъ былъ дать у него, по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю и особенно дни семейныхъ праздниковъ, на которые никого изъ постоянныхъ не приглашалось. Въ 1849 и 1850 годахъ изъ эко-іи я нанималъ дачу въ Давыдковѣ, маленькой деревушкѣ, стахъ въ двухъ отъ Кунцева, гдѣ каждое лѣто, какъ я уже ъ говорилъ, жилъ графъ. Мое отдаленіе тяготило его; ему оставало меня. До сихъ поръ сохранилъ я одну его записку, ь памятникъ дружескаго расположенія его ко мнѣ.

„Ѳедоръ Ивановичъ! Мнѣ кажется, что вѣрнѣе всего для ь будетъ нанять квартиру у священника; но какъ она до-е крестьянской избы, я приду вамъ на помощь и надѣюсь, вы мнѣ не откажете въ удовольствіи способствовать къ тнѣйшему вашему устройству на лѣто. Зайдите ко мнѣ дня и не теряйте время, чтобы предупредить кунцевскаго ценника.

„Вамъ преданный — гр. С. Строгановъ. 24-го апрѣля 1851 г.“

Такимъ образомъ, на дачное время 1851 года я помѣстился воимъ семействомъ въ кунцевскомъ церковномъ домѣ, въ квар-ѣ священника, которую каждое лѣто онъ сдавалъ внаймы никамъ; потому она вполнѣ была обезпечена исправнымъ леніемъ. При ней была большая терраса, выходившая въ о заросшій садикъ съ бесѣдкою подъ тѣнью переплетенныхъ зей акаціи. Съ тѣхъ поръ и до 1867 г. проводилъ я лѣто этой дачѣ, за исключеніемъ двухъ годовъ, когда я уѣзжалъ Москвы сначала въ Петербургъ, а потомъ за границу. Лѣт-время было для моихъ ученыхъ работъ самое бойкое и отворное. Уютный уголокъ той террасы съ письменнымъ

столомъ, узенькія дорожки между высокими деревьями того садика и та уединенная бесѣдка подъ зыбкимъ пологомъ листвы навсегда слились въ моей памяти съ самыми счастливыми часами, днями и съ цѣлыми недѣлями моей жизни, потому что именно здѣсь я обдумывалъ, соображалъ и написалъ бо́льшую часть моихъ монографій, вошедшихъ потомъ въ оба тома „Историческихъ очерковъ русской народной словесности и искусства", а также и большую грамматику въ двухъ частяхъ.

Теперь, когда я стараюсь передать вамъ о моихъ близкихъ, позволяю себѣ сказать — интимныхъ отношеніяхъ къ графу, въ моихъ воспоминаніяхъ выступаютъ они передо мною на первомъ планѣ не въ московской обстановкѣ, не въ московскомъ его кабинетѣ, въ бильярдной или въ столовой, а въ кунцевскомъ саду и въ липовой рощѣ, куда каждое утро отправлялся я гулять вмѣстѣ съ графомъ, а къ девяти часамъ возвращались мы оба на широкую террасу его дачи, обставленную лавровыми и померанцевыми деревьями, кипарисами, миртами и другими растеніями, и вдвоемъ за большимъ обѣденнымъ столомъ пили кофей, при чемъ графъ угощалъ меня своими рѣдкими сигарами. Не умѣю теперь разсказать вамъ, о чемъ и какъ велись наши нескончаемыя бесѣды: онѣ были до безконечности разнообразны и всегда увлекали меня живѣйшимъ интересомъ; графъ обладалъ всестороннимъ образованіемъ, много зналъ и много видѣлъ на своемъ вѣку, и очень часто нашъ разговоръ принималъ характеръ назидательнаго діалога между смышленымъ ученикомъ и его опытнымъ и разумнымъ наставникомъ. Я повѣрялъ ему свои ученые планы и задачи, вводилъ его въ подробности предпринятыхъ мною работъ, и онъ внимательно выслушивалъ все это, иногда дѣлалъ свои замѣчанія и ободрялъ меня къ новымъ и новымъ успѣхамъ въ тотъ рѣшительный для меня трудовой періодъ жизни, когда я открывалъ себѣ путь къ самостоятельной дѣятельности. Въ дополненіе къ моимъ научнымъ интересамъ и чтобы расширить уже слишкомъ тѣсный кругъ моихъ воззрѣній на современность, онъ посвящалъ меня въ тайны международной дипломатіи и въ болѣе существенные и настоятельные вопросы правительственныхъ и государственныхъ мѣропріятій. Не любя терять время на газетную полемику передовыхъ статей и корреспонденцій, я вполнѣ довольствовался немногими свѣдѣніями, которыя сообщалъ мнѣ графъ, и тѣмъ болѣе потому, что онъ, конечно, стоялъ ближе издателей русскихъ газетъ къ текущимъ событіямъ и намѣреніямъ или предначертаніямъ

нашего правительства. Особенно назидательны были для меня его глубокіе и проницательные взгляды на освободительныя преобразованія, воспослѣдовавшія съ воцареніемъ императора Александра Николаевича. Опытный и прозорливый политикъ можетъ иногда безошибочно заглянуть въ будущее не въ силу гадательнаго предвидѣнія, а просто по разсчету, какъ математикъ легко рѣшаетъ мудреную задачу. Многія изъ прискорбныхъ событій послѣдующаго времени не были для меня нечаянной новостью. Я ихъ боязливо поджидалъ и, когда они наступали, не мало дивился осторожной и предусмотрительной политикѣ этого глубокомысленнаго государственнаго человѣка. Подъ его благотворнымъ вліяніемъ слагались, созрѣвали и наконецъ окрѣпли въ душѣ моей умственныя и нравственныя убѣжденія и основныя понятія о людяхъ и жизни: именно съ тѣхъ поръ я сталъ такимъ, какъ чувствую и сознаю себя и теперь, въ глубокой старости.

Мои обязанности домашняго секретаря при графѣ не прекращались и по выходѣ его въ отставку, только приняли онѣ другой характеръ. Онъ дѣлился со мною своими учеными и литературными занятіями, и я долженъ былъ просматривать написанное имъ для печати и исправлять, какъ онъ выражался, „шероховатость слога“, т.-е. кое-какіе галлицизмы, неизбѣжные у человѣка, который въ теченіе всей жизни привыкъ говорить больше по-французски, нежели по-русски.

Въ 1849 г. онъ издалъ свою археологическую монографію о Димитріевскомъ соборѣ во Владимирѣ на Клязьмѣ, конца XII-го столѣтія, съ многочисленными снимками внутреннихъ и наружныхъ частей этого зданія, барельефовъ и орнаментовъ, а также и стѣнной иконописи. До сихъ поръ сочиненіе это высоко цѣнится любителями русской старины и спеціалистами. Обнаруживъ обширныя свѣдѣнія въ исторіи византійскаго и романскаго стиля архитектуры, графъ не ограничился только техническою стороною предмета, но вошелъ въ историческія изслѣдованія о сооруженіи храма, пользуясь свидѣтельствами нашихъ лѣтописей.

Эту монографію, прочитанную мною дважды, сначала въ писаномъ оригиналѣ, а потомъ въ корректурныхъ листахъ, я проштудировалъ основательно еще до выхода ея въ свѣтъ. Она оказала на меня рѣшающее дѣйствіе, открывъ моимъ глазамъ новую область для изслѣдованій неизвѣстныхъ мнѣ до того времени богатыхъ матеріаловъ русской монументальной и худо-

жественной старины въ сравнительномъ изученіи ихъ съ средневѣковыми стилями византійскаго и западнаго искусства. Вмѣстѣ съ тѣмъ руководству и указаніямъ графа я обязанъ знакомствомъ съ самымъ главнымъ пособіемъ для научной разработки древне-русской иконописи, именно съ такъ называемымъ „Иконописнымъ подлинникомъ“, т.-е. руководствомъ для мастеровъ, въ какомъ видѣ, на основаніи православнаго преданія, живописать священныя лица и событія, въ ихъ однажды навсегда принятыхъ и установившихся типахъ, или, какъ встарину говаривали: „по образу и подобію“. У графа было два такихъ подлинника: одинъ „толковый“, содержащій въ себѣ подробныя описанія иконописныхъ сюжетовъ, а другой „лицевой“, состоящій изъ миніатюръ, соотвѣтствующихъ толкованіямъ текста. Послѣдній, XVI столѣтія, въ руководство мастерамъ изданъ Бутовскимъ, директоромъ Строгановскаго училища техническаго рисованія. Я такъ сильно былъ заинтересованъ этими рукописями графа, что составилъ обширную монографію о русскомъ иконописномъ подлинникѣ, дополнивъ свои изслѣдованія многими подробностями и изъ другихъ рукописныхъ источниковъ. Въ то же время я пристрастился и вообще къ лицевымъ рукописямъ, т.-е. къ такимъ, въ которыхъ какой-либо текстъ объясняется наглядно въ миніатюрахъ. Лѣтъ сорокъ или тридцать назадъ любители древне-русской письменности вовсе не обращали вниманія на миніатюры, и лицевыя рукописи были ни по чемъ. Я покупалъ ихъ за безцѣнокъ на Толкучемъ рынкѣ у Пискарева и на Варваркѣ въ Кожевенномъ ряду у старика Большакова, который въ своей лавкѣ, при опойковомъ и подошвенномъ товарѣ, торговалъ и древними рукописями, а также и старопечатными книгами. Имъ обоимъ я много обязанъ своими свѣдѣніями въ русской палеографіи, особенно въ техническомъ отношеніи. По ихъ же указанію я знакомился съ разными лицевыми рукописями, а вмѣстѣ съ тѣмъ и покупалъ ихъ, какъ напримѣръ: житія Андрея Юродиваго и Василія Новаго съ любопытнымъ эпизодомъ о мытарствахъ, которыя вполнѣ соотвѣтствуютъ католическому пургаторію; сказаніе Палладія Мниха о страшномъ судѣ, повѣствованіе о томъ, какъ черти издѣваются надъ грѣшниками, въ родѣ западной „Пляски Смерти“; исторія о пустынникѣ Варлаамѣ и о царевичѣ Іосафатѣ, составленная подъ вліяніемъ буддійскихъ преданій, и многое другое. Мнѣ казалось, что не обращать вниманія на миніатюры при текстѣ и не понимать ихъ научно — значило бы не исчерпы-

вать вполнѣ всего, что давалъ писецъ своимъ читателямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ обидно чувствовать себя отсталымъ въ эстетическомъ воспитаніи XIX столѣтія передъ смышленымъ грамотеемъ до-Петровской Руси. Вотъ почему въ обоихъ томахъ историческихъ очерковъ русской народной словесности и искусства свои изслѣдованія по рукописямъ я снабдилъ множествомъ снимковъ съ миніатюръ, украшающихъ тѣ рукописи.

Черезъ два года по выходѣ въ свѣтъ монографіи о Димитріевскомъ соборѣ во Владимирѣ на Клязьмѣ, графъ Сергій Григорьевичъ занялся однимъ вопросомъ изъ исторіи итальянской живописи и вступилъ въ оживленную полемику съ С. П. Шевыревымъ. Дѣло касалось тѣхъ картоновъ, которые по повелѣнію папы Льва X изготовилъ Рафаэль съ своими учениками: Джуліо Романо, Джіовани да Удине и Франческо Пенни, для ковровъ, вытканныхъ золотомъ и разноцвѣтными шелками во Фландріи, въ городѣ Аррасѣ, съ изображеніями дѣяній апостольскихъ, — всего семь картоновъ.

По зимѣ 1851 г. Шевыревъ читалъ въ московскомъ университетѣ публичныя лекціи въ общемъ очеркѣ исторіи итальянской живописи, сосредоточенной въ произведеніяхъ Рафаэля. По стѣнамъ аудиторіи было развѣшено семь громадныхъ картинъ, писанныхъ на холстѣ соковыми красками, съ тѣми же самыми изображеніями, какъ и на ватиканскихъ воротахъ. Картины эти принадлежали тогда Лухманову. Для своего антикварнаго магазина онъ пріобрѣлъ ихъ отъ престарѣлой наслѣдницы графа Ягужинскаго, который въ началѣ XVIII вѣка вывезъ ихъ откуда-то, не то изъ Рима, не то изъ Швеціи, гдѣ онъ былъ русскимъ посланникомъ.

Честь открытія этихъ художественныхъ произведеній для науки принадлежитъ Шевыреву. Никому изъ писавшихъ о Рафаэлѣ ни у насъ, ни за границею они не были извѣстны. Знали только тѣ бумажные картоны, которые въ числѣ семи находятся въ замкѣ Гэмптонкуртскомъ, около Лондона. Это были тѣ самые образцы, по которымъ аррасскіе мастера ткали ковры, потому что всѣ разрѣзаны на узкія полосы, по контурамъ проткнуты булавкою и явнымъ образомъ служили на фабрикѣ для тканья частей, которыя послѣ сшивались въ одно цѣлое.

Главный выводъ изъ наблюденій и изслѣдованій Шевырева о Рафаэлевыхъ картонахъ состоитъ въ слѣдующемъ: „Изготовлены были двоякаго рода картоны: одни на холстинѣ, соковою краскою, съимпровизированы были рукою самого великаго ма-

стера, для того, чтобы дать ткачамъ идею общаго впечатлѣнія, какъ должны быть вытканы ковры и какъ соблюденъ имѣетъ быть общій тонъ колорита; другіе же на бумажномъ картонѣ исполнены были отчасти Рафаэлемъ, но болѣе учениками его, подъ его наблюденіемъ по образцу холстинныхъ картоновъ".

Графъ Сергій Григорьевичъ видѣлъ настоящую работу Рафаэля и его учениковъ только въ гэмптонкуртскихъ бумажныхъ картонахъ, а за Лухмановскими холстами вовсе не признавалъ того высокаго значенія, какое приписывалъ имъ Шевыревъ. До сихъ поръ правда — на сторонѣ графа. Развѣшенныя нѣкогда въ аудиторіи картины, на которыя любовалась московская публика, слушая лекціи краснорѣчиваго профессора, и теперь остаются не проданы, несмотря на то, что были посылаемы за границу и выставляемы на выставкахъ въ Москвѣ. Будь эти картины произведеніемъ Рафаэля, онѣ, какъ великая драгоцѣнность, уже давно бы красовались на первомъ мѣстѣ въ петербургскомъ Эрмитажѣ или въ одной изъ лучшихъ галерей на Западѣ. Кто желаетъ познакомиться съ газетною полемикой между профессоромъ университета и бывшимъ попечителемъ московскаго учебнаго округа, можетъ найти ее въ февральскихъ нумерахъ „Московскихъ Вѣдомостей" 1851 г.

Въ своихъ воспоминаніяхъ, коснувшись моей пространной грамматики, этого тяжеловѣснаго труда, переполненнаго необъятною массою мелкихъ и крупныхъ примѣровъ изъ древнихъ рукописей, изъ народныхъ пѣсенъ, причитаній, заговоровъ, пословицъ, поговорокъ, изъ старинныхъ книгъ XVII и XVIII столѣтій и изъ новѣйшихъ писателей до Пушкина — на первомъ планѣ моего разсказа я долженъ назвать вамъ того же моего руководителя и наставника, графа Сергія Григорьевича. Вотъ какъ было дѣло.

Въ ту печальную годину, когда наши университеты были въ загонѣ, начальникъ главнаго штаба военно-учебныхъ заведеній Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ принялъ благое намѣреніе приподнять въ этихъ заведеніяхъ науку до надлежащаго уровня современныхъ требованій знанія людей образованныхъ и для этой цѣли озаботился о составленіи не только лучшихъ учебниковъ и руководствъ для учениковъ, но и болѣе объемистыхъ пособій для преподавателей. Чтобы вести дѣло какъ слѣдуетъ, онъ обратился съ своими предложеніями и заказами къ лучшимъ, опытнымъ учителямъ, а также къ ученымъ спеціалистамъ и къ профессорамъ университетовъ.

По своему высокому положенію онъ былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ, которые, не опасаясь навлечь на себя непріятность, продолжали оставаться въ прежнихъ дружественныхъ отношеніяхъ съ такимъ человѣкомъ, хотя и отмѣченнымъ опалою, какъ графъ Строгановъ, и именно къ нему-то и прибѣгнулъ онъ за совѣтомъ и наставленіемъ въ своемъ предпріятіи обширныхъ размѣровъ. Въ то время онъ часто посѣщалъ Москву и въ одинъ изъ пріѣздовъ, по рекомендаціи графа, познакомился со мною и предложилъ мнѣ участвовать, по своей спеціальности, въ исполненіи задуманнаго имъ плана улучшить обученіе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Въ Петербургѣ онъ заказалъ Введенскому составить исторію общей литературы, а русской — Алексѣю Дмитріевичу Галахову, который жилъ тогда въ Москвѣ. На мою долю пришлось изготовить два руководства, предназначенныя только для учителей, именно: обширную грамматику, о которой я сейчасъ говорилъ, и большую хрестоматію, въ два столбца, въ которой многочисленныя выдержки изъ рукописей и старопечатныхъ книгъ до XVII столѣтія включительно напечатаны буква въ букву согласно съ текстами этихъ памятниковъ нашей до-Петровской литературы, даже съ соблюденіемъ попадающихся въ нихъ описокъ и опечатокъ, чтобы такимъ образомъ дать полное понятіе о философскомъ характерѣ и правописаніи тѣхъ произведеній, откуда взяты выдержки. Изъ сказаннаго объ этомъ вовсе не учебномъ сборникѣ, а предназначенномъ для спеціалистовъ, вы ясно видите, что начальникъ главнаго штаба военно-учебныхъ заведеній въ своемъ предпріятіи не ограничивался дидактическими интересами ввѣренныхъ его вѣдомству корпусовъ и училищъ, а имѣлъ въ виду и вообще успѣхи науки въ ея университетскомъ объемѣ.

Кромѣ того Галахову же поручилъ Ростовцевъ составить подробную программу обученія русскому и церковно-славянскому языкамъ, теоріи словесности и исторіи литературы, какъ отечественной, такъ и иностранной. Въ этомъ дѣлѣ принималъ участіе и я, сколько могъ, по своей спеціальности, именно: по грамматикѣ, стилистикѣ и по древне-русской и народной словесности. Въ то же время мы съ Галаховымъ были усердными сотрудниками Краевскому въ отдѣлѣ критики его „Отечественныхъ Записокъ“, иногда одну и ту же статью писали вдвоемъ, искусно прилаживая одну къ другой отдѣльныя части, которыя каждый изъ насъ измышлялъ самъ по себѣ, такъ что я самъ

съ трудомъ могу отличить теперь, что̀ принадлежитъ мнѣ и что̀ — Галахову. Гонораръ такихъ статей, разумѣется, мы дѣлили пополамъ, какъ, напримѣръ, въ критическомъ разборѣ публичныхъ лекцій Шевырева по исторіи русской литературы. Съ того далекаго времени установились и до сихъ поръ неизмѣнно продолжаются мои дружественныя отношенія къ милому товарищу въ нашихъ совокупныхъ работахъ.

Всякій разъ какъ Ростовцевъ пріѣзжалъ въ Москву — непремѣнно вызывалъ насъ обоихъ къ себѣ, то рано утромъ до девяти часовъ, передъ началомъ официальныхъ пріемовъ, то вечеромъ, и тогда мы должны были сообщать ему, что̀ каждый изъ насъ успѣвалъ сдѣлать въ предпринятыхъ нами по его заказу работахъ. Такимъ образомъ, Я. И. Ростовцевъ вмѣстѣ съ Галаховымъ прежде всѣхъ другихъ довольно основательно и подробно ознакомились съ моею пространной грамматикою.

Когда она была наконецъ вполнѣ готова, переписана набѣло и отправлена въ главный штабъ военно-учебныхъ заведеній въ двухъ увѣсистыхъ фоліантахъ, Якову Ивановичу вздумалось подвергнуть ее публичному диспуту въ видѣ диссертаціи на ученую степень. Въ исполненіе этой счастливой мысли онъ вызвалъ меня въ Петербургъ, и я долженъ былъ защищать свою грамматику передъ судомъ многочисленнаго собранія, состоявшаго изъ преподавателей, инспекторовъ и директоровъ военнаго вѣдомства, а также и постороннихъ спеціалистовъ, между которыми первое мѣсто занимали оба знаменитые автора общепринятыхъ руководствъ русской грамматики — издатель Остромирова Евангелія, Востоковъ и редакторъ „Сѣверной Пчелы“, Гречъ. Диспутъ происходилъ въ залѣ главнаго штаба военно-учебныхъ заведеній за длиннымъ столомъ подъ предсѣдательствомъ Ростовцева; по правую его руку сидѣлъ я, а по лѣвую — Востоковъ; отъ насъ направо, на концѣ стола, находился Гречъ со своими единомышленниками и приверженцами. Засѣданіе открылъ самъ Яковъ Ивановичъ вступительною рѣчью, въ которой съ основательнымъ знаніемъ дѣла ясно и подробно изложилъ главнѣйшіе пункты моихъ нововведеній, какъ въ научномъ отношеніи, такъ и особенно въ учебномъ. Хотя онъ былъ косноязыченъ и заикался, но, обладая желѣзною волею, могъ побѣждать этотъ недостатокъ, когда хотѣлъ, и на этотъ разъ говорилъ четко и плавно, съ разстановками, которыя, сдерживая заиканье, вмѣстѣ съ тѣмъ способствовали обдуманности и выбору надлежащихъ выраженій, такъ что изъ этого врожденнаго недостатка онъ умѣлъ извлекать себѣ пользу.

Сколько могу припомнить, въ этомъ диспутѣ всѣ возраженія были направлены на мою грамматику съ точки зрѣнія учебной въ практическомъ примѣненіи къ преподаванію; а такъ какъ я самъ цѣлыхъ шесть лѣтъ упражнялъ свои учительскія способности не только въ высшихъ, но и въ низшихъ классахъ гимназіи, пользуясь всегда практическимъ методомъ, то мнѣ очень легко было отражать непріязненныя нападенія или же разрѣшать и объяснять вѣжливо высказываемыя мнѣ недоразумѣнія. Какъ учитель элементарной грамматики, я былъ не хуже другихъ въ этомъ собраніи, но какъ авторъ научнаго руководства для преподавателей, я могъ имѣть соперникомъ только такого спеціалиста, какимъ былъ Востоковъ. Н. И. Гречъ долгое время не принималъ ни малѣйшаго участія въ диспутѣ и только изрѣдка повертывался направо и налѣво къ своимъ сосѣдямъ и что-то сообщалъ имъ, размахивая руками: видимо, онъ кипятился; а когда я вѣжливо и сдержанно сталъ отклонять отъ себя озлобленныя придирки его кліентовъ и почитателей, онъ вспылилъ, вышелъ изъ себя и наговорилъ мнѣ разныхъ дерзостей. Послѣ него никто уже не возражалъ. Тогда наступила очередь Востокова: онъ вполнѣ одобрилъ мою грамматику, а встрѣченные имъ немногіе ошибки и недосмотры отмѣтилъ на полулистѣ и передалъ его мнѣ для исправленія замѣченныхъ имъ погрѣшностей.

XXVII.

Года черезъ два по восшествіи на престолъ императора Александра Николаевича, графъ С. Г. Строгановъ переселился изъ Москвы въ Петербургъ на постоянное жительство въ своемъ домѣ съ извѣстными уже вамъ залами, картинной галереею и съ безподобнымъ кабинетомъ; но вскорѣ онъ долженъ былъ воротиться назадъ въ званіи московскаго генералъ-губернатора. Въ этой должности онъ пробылъ не больше года, потому что былъ приглашенъ ко двору для высокаго призванія состоять попечителемъ при особѣ его высочества покойнаго цесаревича Николая Александровича.

Въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ цесаревичъ по годамъ и развитію соотвѣтствовалъ поступившимъ тогда въ студенты. Имѣя это въ виду и цѣня рѣдкія, блистательныя его дарованія, графъ

по строго обдуманному плану составилъ для него своеобразный университетскій курсъ изъ нѣсколькихъ наукъ юридическаго и филологическаго факультетовъ и военной академіи генеральнаго штаба, а въ преподаватели взялъ профессоровъ этихъ высшихъ учебныхъ заведеній и духовной академіи.

Въ 1859 г., 11 ноября, получилъ и я отъ графа слѣдующее официальное письмо:

„М. г., Ѳедоръ Ивановичъ! Высоко цѣня ученые труды ваши, я нашелъ полезнымъ пригласить васъ для преподаванія его высочеству государю наслѣднику исторіи русской словесности, въ томъ ея значеніи, какъ она служитъ выраженіемъ духовныхъ интересовъ народа, и имѣлъ счастіе повергать сіе на усмотрѣніе государя императора, на что и послѣдовало высочайшее его величества соизволеніе. Во исполненіе высочайшей воли сообщено о новомъ назначеніи вашемъ министру народнаго просвѣщенія.

„Извѣщая о семъ, прошу васъ, милостивый государь, о составленіи по сему предмету программы въ томъ видѣ, васъ вы предполагаете вести занятія съ наслѣдникомъ, имѣя въ виду годовой срокъ и лекціи по три раза въ недѣлю".

Я зналъ впрочемъ еще до полученія этого официальнаго документа о рѣшеніи графа вызвать меня и покойнаго Сергія Михайловича Соловьева, для чтенія лекцій государю наслѣднику. Вотъ вамъ выдержка изъ письма графа ко мнѣ, отъ 26 октября 1859 г.

„Сегодня я писалъ академику Гроту, прося его дать мнѣ письменно и послѣдовательно свѣдѣнія о занятіяхъ его съ наслѣдникомъ, но узналъ, что Яковъ Карловичъ уѣхалъ въ Москву. Хотя я увѣренъ, что онъ съ вами увидится, но считаю нужнымъ предупредить васъ и просить о томъ же сообщить Сергію Михайловичу Соловьеву. Желательно, чтобы вы оба получили отъ Грота нужныя подробности о занятіяхъ его съ наслѣдникомъ и о степени его развитія.

„Прилагаю вамъ при семъ перечень всѣмъ сочиненіямъ, прочитаннымъ при участіи Классовскаго.

„Мнѣ, кажется, Ѳ. И., что главное вниманіе ваше должно быть обращено на пріученіе воспитанника къ *самодѣятельности,* знакомя его съ бытомъ и умственнымъ развитіемъ Россіи въ исторіи ея литературы; но не терять изъ вида необходимость упражнять наслѣдника въ письменныхъ занятіяхъ, въ передачѣ словесно, отчетливо всего пройденнаго вами; однимъ

словомъ, пріучать его къ труду. Впрочемъ, при вашей опытности мнѣ нечего останавливаться на этихъ подробностяхъ".

Для будущей полной біографіи покойнаго цесаревича Николая Александровича помѣщаю упомянутый въ письмѣ графа перечень сочиненій, прочитанныхъ имъ съ Классовскимъ.

„Его высочество наслѣдникъ цесаревичъ, кромѣ пройденныхъ статей изъ стилистики и теоріи поэзіи, кромѣ упражненій въ собственныхъ сочиненіяхъ, переводахъ и т. д., читалъ съ преподавателемъ Классовскимъ:

„1) Хераскова: двѣ пѣсни изъ „Россіяды" и „Владимира", отрывки изъ „Кадма и Гармоніи".

„2) Фонвизина: „Недоросль", „Калисѳенъ"

„3) Кострова: 1-я рапсодія „Иліады".

„4) М. Н. Муравьева: отрывокъ изъ „Аскольда", разговоры нѣкоторые) „Въ царствѣ мертвыхъ".

„5) Екатерины II: „Февей", „Хлоръ".

„6) Дмитріева: „Ермакъ", „Причудница", „Воздушная башня",

„7) Карамзина: „Борнгольмъ" и нѣсколько „Писемъ русскаго путешественника".

„8) Гнѣдича: двѣ рапсодіи „Иліады".

„9) Жуковскаго: нѣсколько рапсодій „Одиссеи", „Наль и Дамаянти", 2-я пѣснь „Энеиды", отрывокъ изъ „Мессіады" Клопштока, „Орлеанская дѣва".

„10) Грибоѣдова: „Горе отъ ума".

„11) Пушкина: „Борисъ Годуновъ", „Полтава", „Мѣдный всадникъ", „Скупой рыцарь", отрывки изъ „Евгенія Онѣгина" и „Кавказскаго плѣнника", „Путешествіе въ Арзерумъ", отрывки изъ „Записокъ", „Гробовщикъ", „Капитанская дочка", „Дубровскій".

„12) Лермонтова: „Герой нашего времени" (съ необходимыми пропусками).

„13) Гоголя: отрывки изъ „Мертвыхъ душъ", „Тарасъ Бульба", „Шинель".

„14) Тургенева: „Бирюкъ", „Бѣжинъ лугъ".

„15) Григоровича: „Антонъ-горемыка".

„16) Мельникова: „Поярковъ", „Красильниковы".

„17) Нѣсколько пѣсней изъ „Божественной Комедіи" Данта, въ переводѣ Мина.

„Для практическаго знакомства съ древнимъ языкомъ читаны:

„I. — Проповѣдь Луки Жидяты (по исторической хрестоматіи Галахова).

„II. — Отрывокъ изъ проповѣди Иларіона (по истор. хрест. Галахова).

„III. — Отрывокъ изъ проповѣди Іоанна Болгарскаго (о частяхъ рѣчи), по издан. Калайдовича.

„IV. — Сазаво-Эмаусскаго евангелія (по изданію Ганки).

„V. — Остромирова евангелія (по изданію Ганки).

„VI. — Супрасльской рукописи (по изданію Миклошича).

„VII. — Святослава Изборника (по изданію Буслаева).

„VIII. — Русской Правды (по изд. Калачова).

„IX. — Несторовой лѣтописи (по Лаврентьевскому списку).

„X. — Нѣсколько народныхъ сказокъ (по историч. хрестом. Галахова).

„XI. — Письмо царя Алексѣя Михайловича къ Никону (по изданію Бартенева).

„Кромѣ того его высочество занимался переложеніемъ нѣкоторыхъ „псалмовъ“ и „Соломоновыхъ притчей“ на современный русскій языкъ.

„*Примѣчаніе.* Въ этотъ перечень не вошло читанное его высочествомъ съ г. Гротомъ (почти въ продолженіе 5 лѣтъ), съ г. Гончаровымъ (въ продолженіе 7 мѣсяцевъ) и друг.

„Классовскій занимался съ его высочествомъ: 1) съ 8 дек. 1856 г. по 17 ноября 1857 г.; 2) съ сентября 1858 г. до 22 октября того же года; 3) съ мая (за вычетомъ семинедѣльныхъ каникулъ) 1859 г. до 23 октября того же года. Всего около 15 мѣсяцевъ“.

Въ половинѣ декабря 1859 г., закончивъ лекціи въ московскомъ университетѣ, я переѣхалъ со своимъ семействомъ въ Петербургъ и помѣстился въ одномъ изъ домовъ графа, находящемся въ Саперномъ переулкѣ, между Надеждинскою улицею и саперными казармами. Теперь рѣшительно не могу припомнить, чѣмъ былъ я занятъ и что дѣлалъ до 27 декабря, когда получилъ отъ графа слѣдующее увѣдомленіе:

„Ѳ. И. Ваша первая лекція будетъ завтра въ 12 часовъ. Приходите ко мнѣ въ $^1/_2$ двѣнадцатаго, чтобы вмѣстѣ поѣхать во дворецъ.

„Въ форменномъ фракѣ, бѣлый галстукъ и крестъ.

„До свиданія. — Графъ Строгановъ“.

Когда такимъ образомъ наступилъ день и часъ для приступа къ дѣлу, живо представляю себѣ и теперь, какое смутное упыніе на меня напало и безнадежное раздумье одолѣло меня. Я

чувствовалъ себя не въ силахъ начать и совершить трудное, великое дѣло, на которое былъ призванъ. Страшился я не за себя, а за свою науку, которой былъ преданъ всѣмъ своимъ существомъ, — страшился потому, что у меня не хватитъ способностей предложить ее августѣйшему слушателю въ томъ видѣ и составѣ, въ какомъ я ее люблю и восхищаюсь ею. Я былъ довольно опытенъ въ университетскомъ преподаваніи и умѣлъ владѣть вниманіемъ студентовъ своей аудиторіи; впрочемъ, на расположеніе равнодушной толпы никогда не разсчитывалъ и вполнѣ довольствовался сочувствіемъ немногихъ избранныхъ, настоящихъ моихъ учениковъ, которые любовно и преданно цѣнили мои труды и изслѣдованія въ непочатыхъ еще тогда сокровищахъ русской старины и народности. Теперь — совсѣмъ иное дѣло. Теперь не только моя скромная аудиторія, но цѣлые факультеты съ придачею военной академіи сосредоточиваются около одной особы, предлагая необходимые результаты разнообразныхъ знаій для безпримѣрнаго въ нашей исторіи самаго полнаго и многосторонняго образованія будущаго царя русской земли. Въ такомъ необъятномъ кругозорѣ государственныхъ, военныхъ и всякихъ другихъ наукъ интересы моей спеціальности сокращаются чуть не до мелочной забавы празднаго любопытства. Потому-то мой предметъ, какъ приготовительный или общеобразовательный, и назначенъ былъ только на одинъ первый годъ четырехлѣтняго курса. Къ этому я долженъ вамъ прибавить еще вотъ что. Еще въ Москвѣ, а потомъ и въ Петербургѣ, усердные ревнители правды деликатно намекали мнѣ, что я попалъ ко двору исключительно по милости графа Строганова, который всегда былъ ко мнѣ черезчуръ пристрастенъ и снисходителенъ. Другіе заботливо соболѣзновали, представляя себѣ, какъ стану я докучивать своему слушателю каликами перехожими, прелестями крестьянской избы и деревенскихъ хороводовъ, рукописными подлинниками и разными патериками.

Но прежде чѣмъ буду говорить вамъ о своихъ лекціяхъ, я долженъ въ немногихъ словахъ познакомить васъ съ тою аудиторіею, гдѣ были онѣ читаны. Цесаревичъ занималъ въ бельэтажѣ небольшую часть эрмитажнаго корпуса съ той его стороны, гдѣ отдѣляется онъ отъ Зимняго дворца узкимъ проѣздомъ съ Дворцовой площади къ набережной Невы. Входъ въ апартаменты цесаревича былъ именно съ того проѣзда. Надобно изъ швейцарской подняться по лѣстницѣ, чтобы сначала очутиться въ небольшой и темноватой прихожей или передней.

Кромѣ входа съ лѣстницы, въ этой комнатѣ еще три двери: налѣво, въ задніе или внутренніе покои, а также и въ крытую, висячую надъ тѣмъ проѣздомъ галерею, которою эрмитажный корпусъ соединяется съ Зимнимъ дворцомъ; прямо отъ входа въ коридоръ, ведущій въ залы живописной галереи Эрмитажа, и, наконецъ, направо — въ пріемныя комнаты цесаревича, съ окнами на Дворцовую площадь, сначала въ залу и потомъ направо же въ кабинетъ. Въ немъ-то и читали профессора свои лекціи государю наслѣднику за длиннымъ кабинетнымъ столомъ, приставленнымъ узкою стороною къ окну. Цесаревичъ сидѣлъ спиною къ залѣ, а профессоръ, противъ него, спиною къ глухой стѣнѣ, вдоль которой шелъ широкій шкафъ съ книгами, вышиною аршина въ два.

Лекціи я читалъ въ самый ранній часъ, съ котораго ежедневно начинались учебныя занятія цесаревича, именно съ девяти до десяти, по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, а наканунѣ, т.-е. по понедѣльникамъ, середамъ и пятницамъ, весь день я употреблялъ на составленіе и тщательную обработку того, что̀ завтра утромъ буду излагать своему слушателю. Я не читалъ ему написанное на принесенныхъ съ собою листахъ, а соображаясь съ ними, время отъ времени давалъ своей лекціи форму болѣе оживленной бесѣды, вызывая его на вопросы въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ мнѣ казалось, возможно было съ его стороны какое-либо недоразумѣніе. Принесенные листы оставлялись ему для приготовленія отчета, которымъ и начиналась слѣдующая лекція.

Такимъ образомъ, кромѣ воскресенья, была у меня занята вся недѣля. Впрочемъ, по прочтеніи лекціи наслѣднику, весь день я отдыхалъ на полной свободѣ до самаго вечера. Съ десяти часовъ до двѣнадцати я дѣлалъ посѣщенія, заставая въ такое раннее время всѣхъ, кого мнѣ хотѣлось видѣть, или, пройдя изъ комнатъ цесаревича черезъ переднюю въ Эрмитажъ, прогуливался по заламъ живописной галереи и скульптурнаго музея. Въ двѣнадцать часовъ завтракалъ по большей части у Доминика, когда намѣревался провести часа два въ Публичной библіотекѣ, повидаться кое съ кѣмъ и навести какія-нибудь справки въ книгахъ или въ рукописяхъ. Только такимъ образомъ могъ я сноситься съ своими знакомыми, потому что, будучи сильно занятъ срочною работою, я никого не принималъ у себя на дому. Даже по воскресеньямъ и въ тѣ свободные вечера не было мнѣ настоящаго отдыха: въ эти промежутки времени я изготовлялъ

для печати обширный сборникъ своихъ монографій. Впрочемъ, какъ вы сейчасъ увидите, такая работа не только не отвлекала меня отъ составленія лекцій, но вполнѣ согласовалась съ этой моей обязанностью и даже способствовала къ болѣе удачному и успѣшному ея исполненію.

Исторія русской и вообще средневѣковой литературы — такой обширный и всеобъемлющій предметъ, что я не иначе могъ распорядиться имъ въ своихъ университетскихъ лекціяхъ, какъ раздробляя его на спеціальные курсы, которые ежегодно мѣнялъ по мѣрѣ того, какъ вдавался все дальше и глубже въ новыя изслѣдованія по русской старинѣ и народности. Потому, чтобы не растерять безслѣдно съ большимъ трудомъ собираемые мною факты, я не ограничивался въ приготовленіи къ лекціямъ голословными программами, а писалъ въ мельчайшихъ подробностяхъ все, что̀ буду излагать своимъ слушателямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая популяризировать свою науку черезъ посредство журналовъ и разныхъ періодическихъ сборниковъ, я извлекалъ для печати изъ своихъ лекцій монографіи, иногда довольно объемистыя, въ которыхъ опускалъ слишкомъ спеціальныя подробности, необходимыя и наставительныя для студентовъ, но не вразумительныя и скучныя для большинства образованной публики, не подготовленной интересоваться лингвистическими и филологическими тонкостями. Съ 1847 г., когда я вступилъ на каѳедру, и до 1860 г. такихъ монографій накопилось столько, что если бы собрать ихъ изъ періодическихъ изданій, то вышелъ бы очень увѣсистый томъ, даже цѣлыхъ два тома, какъ это и случилось.

Однимъ изъ самыхъ преданнѣйшихъ и вполнѣ сочувствующихъ моимъ изслѣдованіямъ учениковъ былъ Александръ Александровичъ Котляревскій, впослѣдствіи профессоръ славянскихъ нарѣчій въ дерптскомъ университетѣ, а потомъ въ кіевскомъ св. Владимира. По смерти своей онъ оставилъ замѣчательную библіотеку, очень цѣнную по рѣдчайшимъ старопечатнымъ изданіямъ, особенно иностраннымъ. Собиралъ онъ ее съ большимъ знаніемъ дѣла и въ Россіи, и за границею въ теченіе всей своей жизни, не щадя крупныхъ издержекъ, которыми по своему состоянію могъ онъ располагать. Но и тогда, будучи студентомъ и юнымъ кандидатомъ, онъ любилъ хорошія книги и читать, и собирать, а также и отдѣльныя статьи, вырѣзывая ихъ изъ старыхъ журналовъ, которые покупалъ пудами за безцѣнокъ у московскихъ букинистовъ на Никольской и подъ

Сухаревой башнею. Само собою разумѣется, съ великимъ стараніемъ отыскивалъ онъ и собиралъ мои статьи, крупныя и мелкія, гдѣ бы ни были онѣ печатаны. Бережно и въ хронологическомъ порядкѣ сложивъ ихъ всѣ вмѣстѣ, онъ любовался на нихъ, воображая, какъ бы красиво гармонировали онѣ между собою, если бы очутилась отпечатанными въ особомъ сборникѣ. Это была его любимая мечта, и онъ не переставалъ высказывать ее мнѣ всякій разъ, какъ завяжется между нами бесѣда о русскихъ пѣсняхъ, сказкахъ, легендахъ или о старинныхъ рукописяхъ. Общимъ для обоихъ насъ девизомъ нашихъ думъ, замысловъ и нескончаемыхъ разговоровъ была типическая фраза: „старина и народность“.

Мечта моего любимаго ученика наконецъ осуществилась въ двухъ томахъ моихъ „Историческихъ Очерковъ русской народной словесности и искусства“, напечатанныхъ въ Петербургѣ въ 1860 г., именно въ то самое время, когда я составлялъ и читалъ лекціи государю наслѣднику.

У Котляревскаго былъ пріятель, связанный съ нимъ товариществомъ и давнишнею дружбою, который въ то время имѣлъ въ Петербургѣ одинъ изъ лучшихъ книжныхъ магазиновъ, именно книгопродавецъ Кожанчиковъ. Ему-то и присовѣтовалъ Котляревскій издать на свой счетъ это собраніе моихъ монографій, снабдивъ его снимками съ миніатюръ изъ русскихъ лицевыхъ рукописей, какъ моихъ собственныхъ, такъ и находящихся въ частныхъ и публичныхъ библіотекахъ. Бо́льшую часть такихъ рукописей я привезъ съ собою изъ Москвы; другія добывалъ въ Петербургѣ. Когда я исправлялъ и дополнялъ свои изслѣдованія для печати, художникъ, приглашенный Кожанчиковымъ, изготовлялъ копіи съ миніатюръ у меня на дому, а также и въ Императорской Публичной библіотекѣ.

Такимъ образомъ, день за день у меня параллельно тянулись двѣ настоятельныя работы, и чтобы не спутаться и не растеряться въ своихъ научныхъ интересахъ и не раздвоить своего вниманія, я принялъ издаваемыя мною монографіи за матеріалъ, изъ котораго извлекалъ свои лекціи для цесаревича. Потому, если желаете знать, что̀ и какъ я преподавалъ ему, прошу васъ просмотрѣть хотя бы оглавленія обоихъ томовъ моихъ „Историческихъ Очерковъ“; а если заглянете тамъ же въ перечень лицевыхъ рукописей, откуда взяты снимки, то составите себѣ понятіе о тѣхъ художественныхъ памятникахъ, которые я приносилъ ему на свои лекціи. Никогда не забуду, съ ка-

имъ наслажденіемъ читалъ я ему объ Остромировомъ евангеліи, ъ изборникѣ Святославовомъ и о великолѣпныхъ миніатюрахъ йскаго евангелія по драгоцѣннымъ рукописямъ, которыя были ставляемы намъ для лекцій изъ петербургской Публичной библіо- ки, московской Синодальной и съ далекаго Сѣвера, изъ Сій- аго монастыря.

Само собою разумѣется, порядокъ и планъ моихъ лекцій лъ совсѣмъ не тотъ, что въ „Историческихъ Очеркахъ". сновнымъ принципомъ преподаннаго мною курса была идея о ликомъ призваніи, для котораго готовилъ себя мой слушатель. долженъ былъ предложить ему изъ своей науки то, что по- баетъ вѣдать будущему царю Россіи!

Для выполненія такой трудной задачи, сколько хватитъ у ня силъ и способностей, я вознамѣрился расширить объемъ торіи русской литературы изъ тѣсныхъ предѣловъ такъ на- ваемой изящной словесности, а въ методѣ преподаванія пред- очелъ общимъ обозрѣніямъ и поверхностнымъ характеристикамъ чное знакомство учащагося съ литературными произведеніями, іобрѣтаемое внимательнымъ ихъ прочтеніемъ.

Чтобы дать вамъ понятіе о разнообразіи интересовъ, воз- жденныхъ въ умѣ цесаревича моими лекціями, для примѣра ивожу вамъ слѣдующее офиціальное письмо ко мнѣ Ѳ. А. ома, отъ 1 мая 1861 г., черезъ четыре мѣсяца по оконча- и моихъ занятій съ его высочествомъ.

„М. Г., Ѳедоръ Ивановичъ. Въ библіотекѣ Государя На- ѣдника Цесаревича оказались, между прочимъ, слѣдующія при- длежащія вамъ книги:

„1) О Россійскихъ Святыхъ, рукопись въ древнемъ пере- летѣ. I т.

„2) Регламентъ духовной коллегіи. I т.

„3) Исторія русской церкви, Макарія, епископа Винниц- аго, т. III. С.-Пб. 1857 г.

„4) Памятники великорусскаго нарѣчія. С.-Пб. 1855 г.

„5) Владимирскій Сборникъ, Тихонравова. Москва 1857 г.

„6) Древній Боголюбовъ городъ и монастырь съ его окрест- остями, Доброхотова. Москва 1852 г. I т.

„7) Уложеніе царя Алексѣя Михайловича. I т., въ листъ.

„До отправленія этихъ сочиненій къ вамъ, м. г., мнѣ ка- ется необходимымъ покорнѣйше просить васъ почтить меня вѣдомленіемъ, не поднесены ли нѣкоторыя изъ этихъ книгъ

въ даръ Его Императорскому Высочеству съ тѣмъ, чтобы остальныя за симъ немедленно возвратить вамъ.

„Письмо это адресую въ университетъ, по указанію вашему; о томъ же, куда слѣдуетъ послать книги, ожидаю извѣщенія вашего.

„Въ субботу, 29 апрѣля, Государь Наслѣдникъ переѣхалъ въ Царское Село; поговаривали было объ отъѣздѣ 9-го мая въ Москву, но еще неизвѣстно, состоится ли это предположеніе; если суждено будетъ и мнѣ при этомъ случаѣ побывать въ Бѣлокаменной, то, конечно, не премину навѣстить васъ".

Въ этомъ письмѣ, по счастливой для меня случайности, сохранился до сихъ поръ образчикъ, или — какъ бы сказать — маленькій отрывокъ каталога книгъ, какія могли тогда интересовать Августѣйшаго ученика и его наставника. Тутъ и неисчерпаемыя сокровища народной безыскусственной словесности въ пѣсняхъ, сказкахъ, пословицахъ и въ разныхъ другихъ формахъ наивнаго творчества; тутъ и древніе храмы, монастыри и всякія монументальныя урочища по далекимъ концамъ нашего отечества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и житія русскихъ угодниковъ; тутъ наконецъ и законодательные кодексы церковнаго и гражданскаго содержанія.

Изъ приведеннаго въ письмѣ перечня три книги были поднесены мною въ даръ государю наслѣднику, именно: одна рукописная „О Россійскихъ Святыхъ", и двѣ печатныя: „Уложеніе царя Алексѣя Михайловича", въ первомъ изданіи XVII вѣка, и позднѣйшая перепечатка „Духовнаго регламента".

Въ перечнѣ не названа одна рукопись, которую я тоже подарилъ Цесаревичу, и вѣроятно, потому, что была помѣчена имъ самимъ, какъ его собственность. Когда я читалъ ему лекціи о раскольничьей литературѣ, коснулся между прочимъ необузданныхъ увлеченій и крайностей безпощаднаго изувѣрства старообрядцевъ и для иллюстраціи своей характеристики принесъ на лекцію принадлежащую мнѣ лицевую рукопись съ миніатюрами самаго злостнаго ухищренія этихъ сектантовъ. При этомъ я вовсе не имѣлъ въ виду возбудить къ нимъ ненависть, а желалъ только позабавить балаганными карикатурами, въ которыхъ вполнѣ обличается тупое и пошлое невѣжество, когда оно дерзаетъ глумиться надъ святочтимыми предметами. Рукопись эта такъ понравилась Цесаревичу съ перваго же раза, какъ только онъ пересмотрѣлъ въ ней миніатюры, что я съ величайшимъ удовольствіемъ ему подарилъ ее. Его радость была

самою драгоцѣнною для меня наградою. Съ тѣхъ самыхъ поръ мнѣ не случилось увидать эту курьезную рѣдкость. По памяти я не могъ бы теперь рѣшительно ничего сказать о ней въ подробности, если бы въ каталогѣ своихъ рукописей не нашелъ слѣдующаго ея описанія:

„*Книга о седми небесахъ, о сотвореніи Адама и Еввы*“. Цѣлая раскольничья поэма. Начинается апокрифическими разсказами о первыхъ человѣкахъ; затѣмъ объ искупленіи; далѣе, отличіе вѣры старой отъ новой, или Никоновой; потомъ повѣсти изъ патериковъ; далѣе, слово о человѣкѣ въ отличіе его отъ животныхъ, отъ золота и другихъ металловъ и проч. Вся рукопись въ миніатюрахъ; при каждой миніатюрѣ объяснительный текстъ. Письмо поморское XVIII вѣка, въ четвертку. Рукопись рѣдчайшая, единственная въ своемъ родѣ“.

Полюбивъ науку, его высочество полюбилъ и относящіяся къ ней рукописи и книги, а вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ охоту составлять свою собственную, кабинетную библіотеку, по своему личному выбору и вкусу. Однажды, читая о великомъ значеніи древнихъ монастырей въ исторіи просвѣщенія нашего отечества, я принесъ на лекцію точную копію, снятую литографически съ великолѣпной лицевой рукописи XVI вѣка, содержащей въ себѣ житіе преподобнаго Сергія и хранящейся въ библіотекѣ Троицкой лавры. Въ иконописной мастерской этого же монастыря былъ изготовленъ и печатный снимокъ въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ, но по очень умѣренной цѣнѣ, всего по семи рублей[1]). Въ обдуманно сочиненныхъ и довольно изящно выполненныхъ миніатюрахъ изображенъ старинный русскій бытъ въ мельчайшихъ подробностяхъ, начиная отъ церковной службы и келейной молитвы, отъ школы съ учениками и учителемъ и до мелочей домашняго обихода, какъ мелютъ муку, какъ мѣсятъ тѣсто, пекутъ просвиры, а вмѣстѣ съ тѣмъ и великія событія, сопряженныя съ Мамаевымъ побоищемъ, и мирное водвореніе источниковъ просвѣщенія для малограмотной еще въ то время Москвы и ея пустынныхъ окрестностей, въ построеніи значительнаго количества новыхъ монастырей по мысли преподобнаго Сергія и трудами его благочестивыхъ учениковъ, довольно образованныхъ по тому времени, предпріимчивыхъ и даровитыхъ, какъ напримѣръ самый лучшій изъ всѣхъ нашихъ,

---

[1]) За такую же литографированную копію съ пражской лицевой рукописи Апокалипсиса я заплатилъ сорокъ рублей.

иконописцевъ, знаменитый Андрей Рублевъ, который даже и представленъ на одной изъ миніатюръ, какъ онъ пишетъ икону надъ воротами Андроникова монастыря: все это и многое другое привело Цесаревича въ такое восхищеніе, что онъ тотчасъ же порѣшилъ пріобрѣсти и для себя такой же экземпляръ копіи. Немедленно было послано въ Троицкую лавру, и черезъ нѣсколько дней къ великой радости получилъ онъ желанную драгоцѣнность.

Изъ того, что я теперь вамъ разсказываю, вы сами можете заключить, какъ неосновательны были мои тревожныя опасенія, когда я только что началъ читать курсъ исторіи русской литературы государю наслѣднику. Не болѣе, какъ черезъ три мѣсяца послѣ того мои ревностныя старанія сдѣлать самое лучшее, что только могу, были вознаграждены такимъ нежданнымъ и невообразимымъ для меня успѣхомъ, который превзошелъ всякую мѣру самыхъ свѣтлыхъ надеждъ и мечтаній, казавшихся мнѣ прежде несбыточными.

Это было на святой недѣлѣ. Въ страстную субботу, возвратившись съ лекціи домой, я порѣшилъ на цѣлые восемь дней, отъ Свѣтлаго Воскресенія и до „Красной Горки“ сбросить съ плечъ всѣ заботы срочныхъ трудовъ и обязанностей, отвести душу на полной свободѣ и запастись свѣжими силами. Но не долго пришлось мнѣ лелѣять заманчивые планы льготныхъ досуговъ. Въ понедѣльникъ на святой недѣлѣ, когда я сидѣлъ за полуденнымъ завтракомъ со своею семьей и съ пріѣхавшими изъ Москвы моими друзьями, Викторовымъ и Котляревскимъ, сверхъ всякаго чаянія является изъ дворца курьеръ съ увѣдомленіемъ, что его высочество государь наслѣдникъ будетъ слушать мои лекціи въ продолженіе всей святой недѣли, т,-е. во вторникъ, въ четвергъ и въ субботу. Что было дѣлать и какъ мнѣ быть? Къ завтрашнему дню приготовиться я не успѣю, и потомъ — что сталось съ моими праздничными мечтаніями! А пуще всего я боялся наскучить Цесаревичу своими лекціями, полагая, что насъ обоихъ какъ бы приневоливаютъ трудиться по лютеранскому календарю. Не медля ни минуты, выскочивъ изъ-за стола, лечу стремглавъ на первомъ попавшемся извозчикѣ къ графу С. Г., впопыхахъ говорю ему, что всю эту недѣлю я думалъ отдыхать и сегодня не готовился къ завтрашней лекціи, а теперь ужъ два часа, пишу же я ее цѣлый день съ утра до поздней ночи. Графъ обѣщалъ немедленно побывать во дворцѣ, а потомъ дать мнѣ знать. Вечеромъ получаю отъ него записку слѣдующаго содержанія:

„Во вторникъ будетъ ваша лекція у Наслѣдника. Если вы не приготовили лекціи, можно употребить этотъ часъ на репетицію въ видѣ разговора“.

Итакъ, на другой день, въ девять часовъ утра, мнѣ суждено было явиться къ Цесаревичу безъ лекціи — съ пустыми руками и съ повинною головою. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что это все равно, что онъ радъ меня видѣть и похристосоваться со мною, что ему такъ пріятно начинать свои учебные часы моими лекціями. Столько обрадованъ былъ я такимъ лестнымъ для меня признаніемъ, что въ отвѣтъ ничего другого не могъ сказать, какъ только выразить мою усерднѣйшую готовность доставлять ему это удовольствіе не только три раза въ недѣлю, но и всѣ семь дней, не исключая и воскресенья, если бы это было возможно. Проведя цѣлый часъ въ откровенной бесѣдѣ, мы не имѣли времени для репетиціи пройденнаго. Тогда же рѣшено было, чтобы я передалъ государю наслѣднику всѣ листы прочитанныхъ мною лекцій въ его собственность, а слѣдующіе за тѣмъ не бралъ бы съ собою назадъ и навсегда оставлялъ ихъ у него. Такимъ образомъ, весь мой рукописный курсъ исторіи русской литературы и остался въ библіотекѣ его высочества.

Въ 1860 г., императорская фамилія перемѣстилась въ Царское Село 19 апрѣля и оставалась тамъ до первыхъ чиселъ декабря, а къ Николину дню возвратилась въ столицу, чтобы праздновать тезоименитство покойнаго государя наслѣдника. Въ тотъ годъ весна была такая холодная, что я могъ перебраться на свою дачу не раньше, какъ въ половинѣ мая, и потому цѣлый мѣсяцъ долженъ былъ ѣздить по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Царское Село и обратно. Много было сутолоки въ этотъ промежутокъ времени, но она меня развлекала и даже забавляла, когда я воображалъ себя въ положеніи маятника съ широкими взмахами на разстояніи сорокаминутнаго мыканья взадъ и впередъ. Въ день лекціи вставалъ я въ шесть часовъ, безъ четверти восемь былъ въ вокзалѣ царскосельской желѣзной дороги и около половины девятаго пріѣзжалъ въ Царское Село; съ девяти до десяти читалъ лекцію Цесаревичу, потомъ завтракалъ на станціи желѣзной дороги и къ полудню возвращался домой.

Когда я переѣхалъ со своимъ семействомъ въ Царское Село, въ экономіи моего дня прибыло по малой мѣрѣ три часа, которые я терялъ въ продолженіе цѣлаго мѣсяца на переѣзды

по желѣзной дорогѣ. Дачу мы нанимали на Колпинской улицѣ въ томъ ея концѣ, гдѣ подходитъ она къ дворцовому парку, или, какъ говорилось во времена Пушкина, къ царскосельскимъ садамъ.

Въ день моей лекціи государю наслѣднику я выходилъ изъ дому въ восемь часовъ утра и прогуливался цѣлый часъ, чтобы къ девяти явиться къ его высочеству. Поперекъ перешедши улицу, идущую вдоль парка, я тотчасъ же входилъ подъ тѣнь его густыхъ аллей, направляясь къ такъ называемому Николаевскому дворцу, по имени императора Николая Павловича, который обыкновенно проводилъ въ немъ все время, назначенное для пребыванія въ Царскомъ Селѣ; оттуда я сворачивалъ направо къ арсеналу или къ фермѣ, потомъ, обращаясь назадъ, шелъ мимо китайскихъ домиковъ и черезъ нѣсколько минутъ входилъ въ огромный полукругъ двора, образуемый сплошнымъ рядомъ каменныхъ зданій для разныхъ службъ и для квартиръ придворныхъ чиновъ. Середину діаметра этого полукруга занимаетъ задняя сторона дворца. Именно на этотъ дворъ, или, вѣрнѣе сказать, на эту площадь, выходили окна нижняго этажа и наружное крыльцо тѣхъ комнатъ, которыя занималъ во дворцѣ Цесаревичъ. Расположены онѣ были почти такъ же, какъ въ его эрмитажномъ отдѣленіи: изъ передней входъ въ залу и прямо дверь въ кабинетъ, который даже разстановкою мебели походилъ на эрмитажный. Ближайшій путь ко мнѣ на дачу былъ съ крыльца направо мимо этихъ оконъ, а потомъ, миновавъ церковь и зданіе бывшаго царскосельскаго лицея, выйдешь изъ воротъ на улицу.

Чтобы говорить теперь о моихъ занятіяхъ съ государемъ наслѣдникомъ въ Царскомъ Селѣ, мнѣ слѣдуетъ мѣсяца за два воротиться назадъ. По окончаніи лекціи о народной поэзіи въ связи съ преданіями и обычаями, приступая къ письменнымъ памятникамъ древне-русской литературы, я долженъ былъ сначала ознакомить своего слушателя съ ихъ византійскими источниками и образцами. Когда слѣдовало мнѣ говорить о кіево-печерскомъ патерикѣ, предварительно я вошелъ въ нѣкоторыя подробности вообще о патерикахъ византійскихъ, издавна составлявшихъ любимое чтеніе нашихъ предковъ, разумѣется, въ церковно-славянскомъ переводѣ. Эти назидательныя произведенія въ формѣ старинныхъ сборниковъ новеллъ и повѣстей, раздѣленныя на небольшія главы, предлагаютъ самое занимательное и разнообразное содержаніе въ отдѣльныхъ, иногда не

связанныхъ между собою разсказахъ о подвижничествѣ древнехристіанскихъ отшельниковъ и пустынножителей, какъ они въ молитвѣ и безмолвіи спасаются въ необозримыхъ песчаныхъ степяхъ, пріютившись въ тѣсныхъ пещерахъ, каждый самъ по себѣ въ одиночку, въ дальнемъ разстояніи отъ другихъ; какъ иногда они сходятся между собою и бесѣдуютъ, но больше пребываютъ въ сообществѣ съ дикими звѣрями, укрощаютъ ихъ и берутъ себѣ на служеніе и въ товарищество; какъ изрѣдка встрѣчаются съ проѣзжими купцами цѣлаго каравана или съ забѣглыми разбойниками, и отъ тѣхъ и другихъ узнаютъ, что̀ дѣлается на бѣломъ свѣтѣ; какъ исповѣдуютъ приходящихъ къ нимъ грѣшниковъ или утѣшаютъ несчастныхъ, — а то приводятъ язычниковъ въ христіанскую вѣру, при чемъ иногда, за отсутствіемъ воды, совершаютъ таинство крещенія сыпучимъ пескомъ.

По принятому мною обычаю приносить на лекцію самый памятникъ литературы, о которомъ идетъ рѣчь, на этотъ разъ я взялъ съ собою старопечатную книгу въ малую четвертку, подъ заглавіемъ: „Лимонарь, сирѣчь Цвѣтникъ, премудрыми киръ Іоанномъ, Софроніемъ и инѣми различными преподобными отцы сочиненъ“, — и оставилъ этотъ патерикъ Цесаревичу для просмотра. Его высочество такъ былъ заинтересованъ имъ, что, прочитывая страницы по двѣ въ день, внимательно изучалъ это интересное литературное произведеніе въ теченіе всего великаго поста и святой недѣли, и столько дорожилъ имъ, какъ онъ самъ сказалъ мнѣ потомъ, что взялъ его съ собою въ вагонъ, когда отправился въ Царское Село. Это была первая старопечатная книга, которую онъ прочелъ всю сполна. Какъ драгоцѣнную реликвію, я берегу ее вмѣстѣ съ письмами моей матушки и гр. С. Г. Строганова. На послѣднемъ ея листѣ моею рукою означено: „19 апрѣля 1860 г., во вторникъ, эта книга была перевезена изъ Петербурга въ Царское Село государемъ наслѣдникомъ Николаемъ Александровичемъ въ его собственномъ портфелѣ. Петербургъ, 24 апрѣля 1860 г.“.

Къ этимъ дорогимъ документамъ моего прошедшаго я присоединилъ еще два: книгу въ большую четвертку и брошюру въ восьмую долю листа.

Книга содержитъ въ себѣ „Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ. Москва 1818 г.“. Ее читалъ Цесаревичъ и отмѣтилъ карандашомъ nota-bene слѣдующіе стихи, въ которыхъ какое-нибудь изреченіе остановило на себѣ его

вниманіе, а именно: 1) изъ былины о Потокѣ Михаилѣ Ивановичѣ: „*до люби* я молодца пожалую“, стр. 216; „по его по *щаски* (т.-е. счастки) великія“, стр. 216; „заскрыпѣли полосы булатныя“, стр. 217; „провѣщится ему лебедь бѣлая“, стр. 217; 2) изъ былины о Добрынѣ Никитичѣ: „купатися на Сафатъ-рѣку“, стр. 346; „пойдешь ты, Добрыня, на Израй на рѣку“, стр. 346; „надѣвалъ на себя шляпу земли греческой“, стр. 346; „свою онъ любимую тетушку, тоя-то Марью Дивовну“, стр. 349; 3) изъ былины о поѣздкѣ Ильи Муромца съ Добрынею: „а втапоры Илья Муромецъ Ивановичъ глядючи на свое чадо милое“, стр. 363; „поклонитися о праву руку до сырой земли; онъ по роду тебѣ батюшка, старой козакъ“, стр. 264, и проч.

Брошюра содержитъ въ себѣ скорбный помянникъ, пріобрѣтенный мною позже, въ Ниццѣ, 9 мая 1875 года, подъ заглавіемъ: „Chapelle commémorative de S. A. I. le Grand-Duc Césarewitch Nicolas Alexandrowitch, à Nice“.

Изъ этого сцѣпленія фактовъ изъ различныхъ эпохъ, которые теперь сливаются для меня въ одно нераздѣльное цѣлое, я долженъ высвободить ваше вниманіе и остановить его на томъ, какъ въ Царскомъ Селѣ проводилъ я лѣто 1860 г.

Для подкрѣпленія здоровья Цесаревичу слѣдовало купаться въ морѣ, и для того отправился онъ въ Либаву со своею свитою, въ которой были графъ С. Г. Строгановъ, флигель-адъютантъ Рихтеръ, Ѳ. А. Оомъ и лейбъ-медикъ Шестовъ. Эта санитарная поѣздка рѣшительно не удалась. Въ теченіе іюля мѣсяца, проведеннаго государемъ наслѣдникомъ въ Либавѣ, было пасмурно и холодно; море хмурилось и бурлило. Бо́льшую часть времени приходилось проводить у себя въ комнатахъ, читать и бесѣдовать. Графъ передавалъ мнѣ, что Цесаревичъ взялъ съ собою мои лекціи и по вечерамъ иногда читалъ вслухъ своимъ спутникамъ съ профессорскою интонаціею и съ внушительными паузами, будто съ каѳедры университетской аудиторіи. „И какъ это было хорошо, — говорилъ графъ, — совсѣмъ по-студенчески! Студенты любятъ изображать изъ себя своихъ преподавателей и мечтать объ ожидающей ихъ профессурѣ“.

Что касается до меня, то для работы по изготовленію моихъ „Историческихъ Очерковъ“ эти четыре недѣли стоили цѣлыхъ четырехъ мѣсяцевъ. Первый томъ былъ уже отпечатанъ и часть второго, такъ что я могъ теперь легко справиться съ дополненіями и передѣлками своихъ монографій, чтобы къ декабрю выпустить въ свѣтъ оба тома.

Теперь я намѣренъ разсказать вамъ о событіи, какъ громъ поразившемъ тогда меня, — о великомъ бѣдствіи, которое могло грозить гибельными послѣдствіями. Однажды въ августѣ мѣсяцѣ прихожу читать лекцію государю наслѣднику. Мнѣ говорятъ, что онъ боленъ и еще не выходилъ изъ спальной. Я отправился къ графу Строганову, который, когда пріѣзжалъ въ Царское Село, помѣщался тутъ же, въ нижнемъ этажѣ дворца. Онъ говоритъ, что случилась большая бѣда. Вчера, вмѣстѣ съ государемъ, Цесаревичъ выѣхалъ верхомъ на скаковой кругъ и — не знаю, при какихъ обстоятельствахъ — упалъ съ лошади навзничь. Боялись, не повредилъ ли онъ себѣ спину, но опасенія по свидѣтельству врачей оказались напрасны. На другой день мнѣ дано было знать, что завтра Цесаревичъ будетъ слушать мою лекцію. Онъ показался мнѣ въ этотъ разъ совсѣмъ не тѣмъ, что былъ всего три дня назадъ. Всегда бодрый, ясный и веселый, теперь онъ какъ-то отуманился, будто утомился отъ непосильной устали, будто изнемогъ послѣ тяжкой болѣзни. Такъ было мнѣ горестно и жалко. Моя лекція развлекала его, и, прощаясь со мною, онъ попрежнему привѣтливо улыбнулся. Черезъ нѣсколько дней здоровье Цесаревича вполнѣ возстановилось, и все приняло обычный порядокъ, будто ни въ чемъ не бывало.

По осени вдовствующая императрица Александра Ѳеодоровна прибыла изъ-за границы въ Царское Село и заняла Николаевскій дворецъ. Она была уже безнадежно больна и вскорѣ скончалась (20 октября). Въ ея многочисленной свитѣ была одна особа, съ которой я непремѣнно долженъ немножко познакомить васъ. Это былъ Гриммъ, человѣкъ очень образованный и ученый, и состоялъ нѣкогда гувернеромъ или воспитателемъ великаго князя Константина Николаевича; покончивъ возложенную на него обязанность, съ почетомъ и щедрою пенсіею онъ воротился въ свое отечество и долго проживалъ тамъ до тѣхъ поръ, пока въ пятидесятыхъ годахъ не былъ вызванъ въ Россію на вторичную службу къ императорскому двору въ качествѣ наблюдателя или инспектора классовъ при покойномъ государѣ наслѣдникѣ Николаѣ Александровичѣ.

Когда для его высочества былъ составленъ университетскій курсъ, обязанности Гримма прекратились сами собой, и онъ опять уѣхалъ въ Германію, награжденный удвоенною пенсіею.

Теперь, какъ я уже вамъ сказалъ, онъ прибылъ въ Царское Село въ свитѣ императрицы Александры Ѳеодоровны. Я съ нимъ

познакомился еще до его отъѣзда за границу. Однажды встрѣчаетъ онъ меня въ царскосельскомъ паркѣ, недалеко отъ Николаевскаго дворца, и вмѣсто обыкновеннаго привѣтствія накинулся на меня съ жестокими укоризнами. Припомнить въ точности слова его я теперь не могу, но общій смыслъ ихъ глубоко залегъ въ моей памяти. Онъ говорилъ, что послѣ опаснаго потрясенія, какое постигло государя наслѣдника, требовалось тотчасъ же прекратить всѣ его учебныя занятія и ни о чемъ другомъ не помышлять, какъ только объ его здоровьѣ, а вмѣсто того — какое непростительное ослѣпленіе, какая пагубная оплошность! Эти зловѣщія опасенія я приписалъ тогда мстительности оскорбленнаго человѣка, который никакъ не могъ забыть, что по распоряженію графа Строганова онъ былъ удаленъ изъ придворной службы.

Когда осенніе дни стали значительно короче, Государь Наслѣдникъ пригласилъ меня приходить къ нему по вечерамъ пить чай. Я могъ исполнить его желаніе только въ дни моихъ лекцій, потому что наканунѣ я готовился къ нимъ съ утра до поздней ночи, о чемъ, кажется, я уже вамъ говорилъ. Вечера эти проводили мы обыкновенно вдвоемъ; только изрѣдка приходилъ къ намъ О. Б. Рихтеръ, да раза два протопресвитеръ Рождественскій; что же касается до графа Строганова, то онъ вовсе не бывалъ, хотя на моихъ лекціяхъ въ теченіе всего года неизмѣнно присутствовалъ.

Сидѣли мы за большимъ обѣденнымъ столомъ у самовара; Цесаревичъ самъ заваривалъ чай и разливалъ въ чашки. Чтобы постоянно удовлетворять воспріимчивой любознательности моего августѣйшаго собесѣдника, наши разговоры сами собою настроились на серьезный ладъ. Этому, между прочимъ, не мало способствовало и данное мнѣ графомъ указаніе воспользоваться этими вечерами, чтобы ознакомить его высочество съ идеями, взглядами и направленіями современной образованной или вообще читающей публики по болѣе интереснымъ выдержкамъ изъ журнальной беллетристики и по такимъ газетнымъ статьямъ, которыя почему-либо возбудили всеобщее вниманіе и надѣлали много шуму.

Чѣмъ больше заинтересовывался Цесаревичъ бойкимъ движеніемъ тогдашней періодической литературы, тѣмъ живѣе обнаруживалось въ немъ желаніе составить себѣ ясное и точное понятіе о ея главнѣйшихъ дѣятеляхъ, объ отличительныхъ качествахъ каждаго изъ нихъ, о нравѣ и обычаяхъ и вообще о

той обстановкѣ, въ которой они живутъ и дѣйствуютъ. На первомъ планѣ были для него не нумеръ журнала, не газетный листъ, а живые люди, которые ихъ сочиняютъ и печатаютъ для распространенія въ публикѣ своихъ убѣжденій, мечтаній и разныхъ доктринъ. Чтобы удовлетворить такому разумному желанію, я долженъ былъ входить въ біографическія подробности о журналистахъ и ихъ сотрудникахъ, прозаикахъ, поэтахъ и критикахъ не только новѣйшаго времени, но и прежнихъ годовъ — поскольку это находилъ нужнымъ и полезнымъ. Я разсказывалъ о журнальныхъ партіяхъ въ ихъ междоусобной борьбѣ, объ ожесточенной враждѣ, съ какою критика встрѣчала произведенія нашихъ великихъ писателей — Карамзина, Пушкина, Гоголя; говорилъ о западникахъ и славянофилахъ, о „Библіотекѣ для Чтенія“ и о пресловутомъ баронѣ Брамбеусѣ, о „Сѣверной Пчелѣ“ Булгарина и Греча, о „Москвитянинѣ“ Погодина и о критическихъ статьяхъ Шевырева, объ „Отечественныхъ Запискахъ“ Краевскаго, и о Бѣлинскомъ, о „Современникѣ“ Панаева, и о Некрасовѣ, Добролюбовѣ и о многихъ другихъ.

Въ эти досужіе вечера много говорилось всякой всячины, но о чемъ именно и какъ, все это представляется мнѣ теперь смутно, отрывочно и перепутанно, можетъ быть, потому что вниманіе мое было больше сосредоточено на собесѣдникѣ, нежели на предметахъ разговора. Впрочемъ, изъ немногаго, что̀ удержалось въ моей памяти, передамъ вамъ кое-что. Однажды зашла у насъ рѣчь о старинныхъ деревянныхъ постройкахъ, которыхъ теперь уже такъ мало осталось въ нашемъ отечествѣ, и о важномъ ихъ значеніи для опредѣленія характеристическихъ особенностей вполнѣ русскаго архитектурнаго стиля. По этому случаю Цесаревичъ разсказалъ мнѣ одинъ любопытный фактъ изъ исторіи нашей областной администраціи, который сообщилъ ему графъ Блудовъ или кто другой изъ членовъ государственнаго совѣта. Лѣтъ за двадцать назадъ, во времена императора Николая Павловича, для предохраненія святыни Божьихъ храмовъ отъ опустошительныхъ пожаровъ было предписано упразднить и сломать въ селахъ деревянныя церкви, а взамѣнъ ихъ соорудить каменныя. Но такъ какъ во многихъ мѣстахъ нехватало средствъ для такой цѣнной перестройки, то православные крестьяне оставались нѣсколько лѣтъ безъ церковной службы. Этою неурядицей удачно воспользовались окольные сектанты и мало-по-малу ихъ всѣхъ переманили въ свои раскольничьи молельни. Изъ своихъ разсказовъ хорошо помню

только два маленькихъ анекдотца, и то, вѣроятно, по той причинѣ, что они касаются нашихъ лекцій. Сердобольные пріятели мои, о которыхъ я говорилъ вамъ прежде, не переставали заботиться обо мнѣ и въ Петербургѣ. Они распустили слухъ, будто я, ступая во дворцѣ по паркету, поскользнулся и свихнулъ себѣ ногу: это надо разумѣть, что на лекціяхъ я потерпѣлъ фіаско. Потомъ пронеслась молва, будто я прочелъ наслѣднику цѣлую лекцію объ отмѣнныхъ достопримѣчательностяхъ крестьянской избы. Надъ этими выдумками нехитраго остроумія мой собесѣдникъ много смѣялся.

Около того времени, какъ возвратились мы къ Николину дню изъ Царскаго Села въ Петербургъ, мои „Историческіе Очерки“ вышли въ свѣтъ, и для меня было изготовлено нѣсколько роскошныхъ экземпляровъ. Первый изъ нихъ я представилъ своему августѣйшему ученику, а другой — графу Строганову. Принявъ отъ меня оба тома, его высочество прежде всего просмотрѣлъ ихъ оглавленіе, потомъ сталъ перелистывать, останавливаясь на иныхъ страницахъ по нѣскольку минутъ, и при этомъ изъявлялъ свое удовольствіе, что встрѣчаетъ извѣстные для него предметы, о которыхъ онъ слышалъ на моихъ лекціяхъ. Особенно льстило его самолюбію видѣть въ обоихъ томахъ изданные для публики снимки съ миніатюръ изъ такихъ лицевыхъ рукописей, которыя были уже у него подъ руками.

Дня черезъ два онъ сказалъ мнѣ, что государыня императрица изъявила желаніе получить экземпляръ моихъ „Историческихъ Очерковъ“. Это было немедленно исполнено черезъ посредство Цесаревича, а вслѣдъ за тѣмъ онъ сообщилъ мнѣ о намѣреніи ея величества быть у насъ на слѣдующей лекціи, которая на этотъ разъ съ утренняго часа была переведена на вечернiй. Мы оба ожидали ее не въ кабинетѣ, а въ залѣ. Цесаревичъ волновался больше моего, потому что былъ такъ доволенъ и радъ, приведя къ исполненію задуманный имъ планъ. Когда появилась государыня, онъ куда-то исчезъ, и я остался одинъ передъ ея величествомъ. Она остановилась у двери, которая тотчасъ же была затворена. Я стоялъ среди залы и не зналъ, что мнѣ дѣлать: итти навстрѣчу государынѣ, или оставаться на мѣстѣ и ждать, но она медлила, и я мгновенно рѣшился на первое. Когда я подошелъ къ ней, она изъявила мнѣ милостивую благодарность за поднесенную книгу. Въ эту минуту Цесаревичъ уже стоялъ рядомъ со мной. Лекція удалась

какъ нельзя лучше, потому что меня воодушевлялъ и ободрялъ своимъ веселымъ, радостнымъ настроеніемъ августѣйшій ученикъ мой.

Послѣднюю лекцію читалъ я Цесаревичу 31 декабря 1860 г., а передъ отъѣздомъ въ Москву былъ у него вечеромъ 16 января 1861 года. Изъ всего, что тогда говорилось, помню только немногія его слова, искреннія и задушевныя, которыя глубоко и навсегда вкоренились въ моемъ сердцѣ. Рѣчь шла о нашихъ теперь уже покончennыхъ занятіяхъ. Сначала онъ спросилъ меня, какою отмѣткою оцѣнилъ бы я его свѣдѣнія и успѣхи, если бы онъ держалъ экзаменъ вмѣстѣ съ другими моими слушателями въ университетѣ. Я сказалъ, что онъ былъ бы однимъ изъ самыхъ лучшихъ. И какъ обрадовался наслѣдникъ такому отличію! Потомъ, послѣ небольшой паузы, будто отвѣчая на чей-то вопросъ, онъ тихо промолвилъ: „Да, теперь я знаю, какъ мнѣ воспитывать и учить своихъ дѣтей, если Господь Богъ благословитъ меня ими“. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ предстанетъ въ моихъ мечтаніяхъ и думахъ прекрасный образъ царственнаго юноши, слышатся мнѣ эти вѣщія слова. Такъ и остались они не разгаданы, вмѣстѣ съ его свѣтлыми надеждами и помыслами.

Чтобы не заподозрѣлъ меня кто въ пристрастіи, не буду вдаваться въ голословныя, бездоказательныя похвалы, а вмѣсто того приведу вамъ въ заключеніе нѣсколько выдержекъ изъ газетныхъ сообщеній[1]) о путешествіи государя наслѣдника лѣтомъ 1861 года по Волгѣ на нижегородскую ярмарку и оттуда въ Казань. Прочитывая эти отрывки, безъ сомнѣнія, вы не разъ подумаете, какимъ бы сталъ въ зрѣломъ возрастѣ этотъ безподобный, несравненный юноша, которому было тогда всего восемнадцать лѣтъ.

„Изъ мельницы его высочество отправился на находящуюся вблизи хлѣбную пристань. Взойдя на коноводную машину купца Блинова, онъ сначала осмотрѣлъ устройство ея, потомъ спустился въ люкъ, нагруженный 60 тысячами пудовъ муки, и разспрашивалъ о способѣ нагрузки и разгрузки, о томъ, какъ суда паузятся на меляхъ, какъ содержатся судорабочіе, какую получаютъ они плату и т. п. Онъ ласково и привѣтливо говорилъ со многими изъ судорабочихъ о разныхъ предметахъ, относящихся до ихъ быта, о ихъ занятіяхъ и заработной платѣ, зашелъ

---

[1]) См. „Московскія Вѣдомости“ 1861 г., №№ 193, 194, 195, 196.

въ устроенную на машинѣ комнату приказчика, въ подробности осматривалъ ея устройство и убранство и ласково разговаривалъ съ приказчиками. Послѣ того машина была приведена въ движеніе и пошла взадъ и впередъ по нѣсколько саженъ. Въ это время его высочество разспрашивалъ хозяина и рабочихъ о пріемахъ ихъ работы, изъявилъ желаніе узнать разные термины и особыя слова, употребляемые при судоходномъ дѣлѣ, а послѣ того перешелъ на баржу, нагруженную пшеницею „насыпью“. Здѣсь, спустившись въ мурью вмѣстѣ съ флигель-адъютантомъ Рихтеромъ, статскимъ совѣтникомъ Мельниковымъ и купцомъ Блиновымъ, его высочество прошелъ вдоль баржи (35 саженъ) по колѣни въ пшеницѣ. Видъ громаднаго количества золотистой бѣлотурки произвелъ на его высочество сильное впечатлѣніе, и онъ съ жаркимъ любопытствомъ разспрашивалъ о нашей нижневолжской пшеницѣ, о способахъ ея нагрузки и разгрузки, о торговлѣ ею, о мѣстахъ размола и продажи. Въ это время зашла рѣчь о разгрузкѣ хлѣба въ куляхъ, отъ 9 до 12 пудовъ вѣсомъ каждый, и государь наслѣдникъ, узнавъ, что эти кули перетаскиваютъ на себѣ рабочіе, пожелалъ видѣть такихъ силачей. На караванѣ судовъ въ это время находилось болѣе пятисотъ рабочихъ. Вышли впередъ, по вызову его высочества, двое красивыхъ, прекрасно сложенныхъ молодцовъ и бросились въ мурью за кулями. Одного звали Дмитріемъ, другого Артемьемъ, оба крестьяне нижегородскаго уѣзда. Съ живостью опустился за ними въ мурью и государь наслѣдникъ, и они, взваливъ на плечи девятипудовые кули, быстро пошли, почти бѣжали по неровной поверхности нагруженныхъ кулей. Его высочество отъ души любовался русскими молодцами и каждому изъ нихъ пожаловалъ изъ своихъ рукъ по полуимперіалу. Восторгъ Дмитрія и Артемья былъ неописанный; они вызывались взвалить по 12 пудовъ на плечи и носить такую тяжесть, но было уже довольно поздно, и его высочество вышелъ на берегъ, пробывъ на судахъ среди рабочихъ болѣе часа. Громкое „ура!“ раздалось по Волгѣ и Окѣ, когда наслѣдникъ прощался съ судорабочими и сходилъ на берегъ. „До всего доходитъ! Все самъ знать хочетъ! Любитъ мужика царевичъ!“ раздавалось среди пришедшаго въ восторгъ рабочаго народа. „Вотъ молодецъ, такъ молодецъ! — говорили по сторонамъ: — хочетъ съ сѣрымъ мужикомъ ознакомиться. Вотъ ужъ прямой царевичъ!

„Съ хлѣбной баржи государь наслѣдникъ отправился въ ряды съ тулупами, армяками, кафтанами и другою крестьянской од-

ждой, останавливался въ нѣсколькихъ лавкахъ, разспрашивая хозяевъ о мѣстахъ производства, о цѣнахъ на одежду, о томъ, долго ли она носится, и купилъ для себя армякъ изъ верблюжьяго сукна, который тутъ же и взятъ былъ въ коляску. Остановился государь наслѣдникъ и у сложеннаго кучами на землѣ поношеннаго и зачиненнаго крестьянскаго платья, покупаемаго бѣдняками, и разспрашивалъ о цѣнахъ и о томъ, долго ли бѣднякъ можетъ проносить такую одежду.

„Его высочество заходилъ въ курени разныхъ хозяевъ, отвѣдывалъ хлѣбъ черный и бѣлый, разспрашивалъ о цѣнахъ на хлѣбъ, сравнивалъ цѣнность этого перваго предмета продовольствія съ цѣнностью заработковъ рабочаго класса, осматривалъ склады хлѣба, квашни, опару; ему разсказанъ былъ весь процессъ печенія хлѣба, и когда подошли къ печамъ, изъ которыхъ вынимали только что испеченные хлѣба, онъ взялъ лопату, вынулъ одинъ за другимъ три хлѣба и ловко выкинулъ ихъ на прилавокъ. Нельзя описать восторга хлѣбопековъ и столпившагося вокругъ куреня простонародья. Видя, что наслѣдникъ русскаго престола раздѣляетъ честный трудъ съ рабочими, народъ, котораго около куреней собралось до нѣсколькихъ тысячъ, не закричалъ „ура“, но зато многіе безмолвно перекрестились, и у всѣхъ лица были такъ свѣтлы, такъ радостны! Ласково простившись съ хозяевами и приказчиками куреней, его высочество пошелъ въ „обжорный рядъ“ и простыя харчевни. Онъ былъ въ двухъ такихъ харчевняхъ, осматривалъ ихъ до послѣднихъ подробностей, ходилъ въ кухни, смотрѣлъ посуду, припасы, приготовленныя народныя кушанья, въ одной харчевнѣ нѣсколько минутъ простоялъ у печки, когда кухарь пекъ гречневые блины, въ другой изволилъ спросить меду и выпилъ стаканъ.

„Въ мыльныхъ рядахъ государь наслѣдникъ осматривалъ склады мыла, начиная отъ высшихъ сортовъ яичнаго казанскаго до простого жирового, употребляемаго простонародьемъ и для стирки бѣлья. Привѣтливо разговаривая съ торговцами, его высочество съ особенной заботливостью разспрашивалъ, увеличивается ли и притомъ до какой степени продажа мыла низшихъ сортовъ, и получивъ утвердительный отвѣтъ, изволилъ замѣтить, что было бы весьма желательно, чтобы мыльное производство у насъ какъ можно болѣе распространилось, потому что это было бы вѣрнымъ доказательствомъ того, что русскій народъ, большею частію неопрятный, сталъ заботиться о чи-

невозможность слушать университетскія лекціи по причинѣ бѣдности. Государь наслѣдникъ тотчасъ же приказалъ выдать г. Головачеву 150 рублей и впредь выдавать ему такую же сумму изъ доходовъ его высочества въ продолженіе четырехъ лѣтъ, если онъ будетъ своевременно переходить изъ курса въ курсъ. При этомъ объяснено было его высочеству положеніе бѣдныхъ студентовъ, которыхъ особенно много въ казанскомъ университетѣ. Съ большимъ участіемъ слушалъ государь наслѣдникъ о молодыхъ людяхъ, которымъ бѣдность препятствуетъ пользоваться первѣйшимъ благомъ на землѣ — просвѣщеніемъ, подробно разспрашивалъ онъ о взаимной помощи казанскихъ студентовъ другъ другу, объ учрежденной ими кассѣ и принялъ на свой счетъ содержаніе пяти бѣдныхъ студентовъ въ продолженіе всего ихъ курса. Вообще казанскій университетъ произвелъ на государя наслѣдника самое пріятное впечатлѣніе: и въ Казани, и послѣ отъѣзда изъ этого города, онъ часто вспоминалъ о пріятныхъ и съ тѣмъ вмѣстѣ поучительныхъ часахъ, которые онъ провелъ на студентской скамейкѣ. Вообще можно сказать, что во все время пребыванія въ Казани государя наслѣдника занимали почти исключительно утромъ университетскія и академическія лекціи, а вечеромъ — заводы. Изъ университета 18 августа его высочество отправился въ духовную академію, гдѣ выслушалъ двѣ лекціи: профессора Порфирьева — о началѣ письменности у славянъ, и профессора обличительнаго богословія, архимандрита Хрисанфа, о взглядѣ евреевъ на христіанство. По окончаніи лекцій его высочество изволилъ осматривать Соловецкую библіотеку, состоящую изъ значительнаго количества старинныхъ рукописей и переведенную сюда изъ Соловецкаго монастыря во время войны 1853—1856 гг.

„Послѣ обѣда его высочество съ тѣми же лицами, которыя сопровождали его поутру въ университетъ, отправился въ Ягодную слободу для обозрѣнія кожевеннаго производства на заводѣ, принадлежащемъ товариществу и устроенномъ въ обширныхъ размѣрахъ. Управляющій заводомъ, почетный гражданинъ г. Котеловъ, объяснялъ его высочеству весь процессъ кожевеннаго производства, начиная съ моченія сырыхъ кожъ до окончательной ихъ выработки. Послѣдовательно переходя изъ одного отдѣленія завода въ другое, государь наслѣдникъ изволилъ разспрашивать въ подробностяхъ о кожевенномъ дѣлѣ, узналъ въ то же время и о заработной платѣ рабочимъ въ каждомъ отдѣленіи. Въ строгальнѣ, гдѣ производится самая трудная работа, госу-

дарь наслѣдникъ на колодѣ мастера Лазаря Аѳанасьева строгалъ кожу, очищая ее отъ мездры“...

Въ послѣдній разъ видѣлъ я Цесаревича въ іюнѣ 1864 г. Возвращался я тогда съ своимъ семействомъ изъ чужихъ краевъ. Нашъ поѣздъ на цѣлый часъ былъ задержанъ на прусской таможенной станціи въ Эйдткуненѣ, потому что здѣсь остановился для завтрака наслѣдникъ Цесаревичъ, который ѣдетъ за границу. Не медля ни минуты, я бросился въ вокзалъ, насилу протискался сквозь толкучую давку нѣмецкой публики къ отвореннымъ дверямъ залы, гдѣ за столомъ съ своею свитою онъ завтракалъ. Но войти я не могъ. Въ дверяхъ стояли сплошнымъ рядомъ жандармы прусской пограничной стражи. Я просилъ ихъ пропустить меня, совалъ имъ свою визитную карточку для передачи кому-нибудь изъ сидящихъ за столомъ, увѣряя, что всѣ они знаютъ меня отлично — ничто не помогало: стоятъ себѣ, не шелохнутся, какъ истуканы, и только время отъ времени пропускаютъ офиціантовъ, которые снуютъ взадъ и впередъ, прислуживая за столомъ. Мнѣ оставалось только одно средство достигнуть цѣли. Я повернулся назадъ и остановилъ офиціанта, который несъ блюдо съ кушаньемъ, и до тѣхъ поръ не пускалъ его, пока онъ не взялъ мою карточку.

Онъ передалъ ее ближайшему изъ сидящихъ за столомъ, но такъ какъ была она напечатана нѣмецкими буквами, то мою фамилію сначала не разобрали, и карточка пошла изъ рукъ въ руки. Кому же придетъ въ голову, чтобы могъ я очутиться въ Эйдткуненѣ? Наконецъ, Цесаревичъ громко назвалъ меня по имени, жандармы передо мною разступились, и я вошелъ въ залу. Онъ очень обрадовался и во все время завтрака не переставалъ говорить со мною. Когда мы вышли на платформу, веселое оживленіе исчезло съ его прекраснаго лица, и разставаясь со мною, онъ промолвилъ взволнованнымъ голосомъ: „Какъ мнѣ грустно, какъ тяжело мнѣ разставаться съ родиною!“

XXVIII.

Ни одно изъ моихъ изданій ни прежде ни послѣ не имѣло такого успѣха въ періодической печати, какой выпалъ на долю моимъ „Историческимъ очеркамъ русской народной словесности и искусства“. И въ мелкихъ рецензіяхъ, и въ объемистыхъ статьяхъ одни смѣхотворно надо мною издѣвались и всячески

порицали меня, другіе восхваляли и усердно защищали отъ злостныхъ нападокъ. Первые смотрѣли на русскую старину и народность, на вѣковѣчные, исконные преданія и обычаи, составлявшіе предметъ моихъ монографій, какъ на дрянной, никуда не годный хламъ, который надобно выкинуть за окно; ихъ противники утверждали, что вопросъ о народности съ ея старобытными устоями есть одинъ изъ самыхъ важныхъ и существенныхъ въ виду совершающихся передъ нашими глазами эмансипацій. Такимъ образомъ между газетами и журналами разныхъ оттѣнковъ зачалась оживленная и задорная полемика. Я, разумѣется, торжествовалъ. Плохо, когда въ газетахъ о книгѣ молчатъ, какъ это не разъ бывало съ другими моими учеными и литературными работами. Пускай себѣ на здоровье бранятся: чѣмъ больше станутъ меня допекать и топтать въ грязь съ одной стороны, тѣмъ выше — съ другой — будутъ меня поднимать, хотя бы и не въ мѣру моихъ заслугъ. Впрочемъ, эти два увѣсистыхъ тома моихъ „Очерковъ“ принесли и существенную пользу. Во мнѣ признали дѣльнаго профессора и образованнаго человѣка. Академія Наукъ именно за эти два тома почтила меня званіемъ ординарнаго академика, а совѣтъ московскаго университета возвелъ въ степень доктора русской литературы.

Не долго однако суждено было мнѣ чувствовать себя въ веселомъ и спокойномъ настроеніи духа. Въ лѣтописяхъ московскаго университета означилось въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ небывалое событіе. Въ незлобивой, миролюбивой и смиренной Москвѣ, на площади, противъ генералъ-губернаторскаго дома, разразилось „дрезденское побоище“, отмѣченное такимъ эпитетомъ по гостиницѣ „Дрезденъ“, выходящей на ту же площадь.

Въ тотъ же день нашъ университетъ былъ закрытъ на неопредѣленное время. Ни объ этомъ плачевномъ событіи, которое тогда называли битвою при Дрезденѣ, или „избіеніемъ младенцевъ“, ни о послѣдовавшихъ затѣмъ неурядицахъ и смутахъ — разсказывать вамъ не буду. Можете сами обо всемъ этомъ читать въ газетахъ, и въ тогдашнихъ, и въ позднѣйшихъ, отъ разныхъ годовъ. Вспоминать о томъ, что такъ хотѣлось бы забыть навсегда, у меня не достаетъ ни духу, ни силъ.

На первый разъ охватило меня отчаяніе, а потомъ, мало-по-малу, оно стало затихать въ тупомъ унынiи. Я потерялъ голову и не зналъ, что дѣлать и какъ мнѣ быть. Ничего лучше не могъ я придумать, какъ бѣжать со своимъ семействомъ изъ Москвы. Мнѣ стыдно и боязно было показаться въ люди, и я

спрятался въ монастырской гостиницѣ Троицкой лавры, будто обличенный въ тяжкомъ преступленіи. Въ полнѣйшемъ уединеніи прожилъ я тамъ недѣли двѣ, упорно избѣгая встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь изъ коротко знакомыхъ мнѣ профессоровъ духовной академіи. Наконецъ я успокоился и обдержался въ безмятежномъ однообразіи монастырскаго обихода, — сталъ похожъ самъ на себя.

По возвращеніи въ Москву мнѣ вздумалось устроить у себя домашнія лекціи или privatissima германскихъ профессоровъ, только, разумѣется, безплатныя. Я кликнулъ кличъ, и студентовъ набралось на цѣлую аудиторію. Будто ни въ чемъ не бывало, я продолжалъ имъ читать лекціи, внезапно прерванныя „дрезденскимъ погромомъ“, и не переставалъ до тѣхъ поръ, пока не открылся, съ разрѣшенія правительства, нашъ университетъ. Но дѣла пошли уже на новый ладъ. Ровное и мирное теченіе университетской жизни взбаламутилось и теперь не скоро уляжется въ тишь и гладь. Кромѣ идеальныхъ интересовъ науки, въ которыхъ дружно соединялись между собою профессора и студенты, возникли многіе другіе уже реальнаго свойства и выдвинулись на первый планъ въ силу новыхъ стремленій, которымъ открывала широкое поприще недавно обнародованная эмансипація. Въ университетѣ пошли совсѣмъ другіе порядки.

Еще чуялось смутное броженіе молодыхъ умовъ, и чтобы не дать ему взволноваться, университетская администрація, потерявъ голову, стала прибѣгать къ разнымъ мѣрамъ, или, точнѣе, къ полумѣрамъ, къ уступчивымъ сдѣлкамъ на требованія молодежи, къ робкому заискиванію и безсильной податливости, и чѣмъ больше обнаруживалась постыдная трусость однихъ, тѣмъ настойчивѣе выступала требовательность другихъ. Мнѣ было гадко и тошно смотрѣть на все это, и я рѣшился бросить и университетъ, и профессорство, и Москву, но, не посовѣтовавшись съ графомъ Строгановымъ, я не могъ и не зналъ, какъ бы мнѣ устроиться получше. На мое письмо вотъ что отвѣчалъ онъ мнѣ изъ Петербурга, 4 января 1862 г.:

„Любезный Ѳедоръ Ивановичъ! Письмо ваше произвело на меня самое грустное впечатлѣніе. Неужели мы дожили до того времени, когда истинные труженики науки готовы бѣжать отъ университетовъ, и когда мѣста образованія юношества должны опустѣть или обратиться въ политическія арены, въ вертепы разврата? Печально, очень печально! Но едва ли мы дѣйствительно, находимся въ такомъ безвыходномъ положеніи. Я увѣ-

ренъ, что само общество вызоветъ спасительную реакцію: слѣдовательно оставлять поле сраженія въ такое рѣшительное время значило бы не имѣть вѣры въ правоту своего дѣла — быть поборникомъ за просвѣщеніе. Когда дѣйствительно пойдетъ такъ дурно, что вамъ нельзя будетъ спокойно оставаться въ Москвѣ, я всегда къ вашимъ услугамъ. Не дожидаясь и этого крайняго случая, я постараюсь узнать, не найдется ли для васъ полезной дѣятельности при Академіи Наукъ, гдѣ, какъ я слышалъ, готовится преобразованіе россійскаго отдѣленія, или при Археографической комиссіи. Прошу только ни съ кѣмъ объ этомъ не говорить.

„Увидимъ, какъ поведетъ дѣла свои новый министръ[1]). Откровенно сказать, я мало ожидаю отъ него прока. Онъ, сколько я могъ замѣтить, гонится за эффектами, выискиваетъ новыя блестящія учрежденія; думаетъ, что до него ничего не было, и что духъ новаго поколѣнія лучше прежняго. Его здѣсь называютъ краснымъ, а я полагаю, что онъ честолюбивый эгоистъ. Представьте себѣ, что онъ вызвалъ редакторовъ извѣстныхъ журналовъ содѣйствовать ему къ устройству и водворенію мира между литературой и правительствомъ. Это опасная игра, какъ вы видите, Ѳедоръ Ивановичъ. Все это не очень отрадно. Конечно, дай Богъ, чтобы мои опасенія не сбылись, но мнѣ кажется, что болѣзненное состояніе общества вызоветъ само общество на сильное противодѣйствіе, и тогда люди благонамѣренные и съ талантомъ найдутъ себѣ кругъ дѣйствій самый полезный.

Что вы печатали въ концѣ прошлаго года и чѣмъ вы занимаетесь? Мнѣ казалось, что вы хотѣли взяться за ученый трудъ для докторской диссертаціи[2]). Ради Бога, не пренебрегайте этимъ дѣломъ: ученый авторитетъ намъ такъ же нуженъ, какъ нуженъ авторитетъ верховной власти. Мы еще такъ необразованны, что Россіи угрожаетъ распаденіе отъ невѣжества. — Наслѣдникъ часто о васъ вспоминаетъ“.

И теперь, какъ всегда, я безпрекословно подчинился совѣтамъ и увѣщаніямъ графа и тѣмъ охотнѣе, что почувствовалъ въ себѣ самомъ наклонность къ примиренію. Бѣда стряслась надъ нами не въ первый разъ: такъ утѣшалъ я себя. Лѣтъ десять тому назадъ она нагрянула снаружи, извнѣ, такъ сказать, съ олимпійскихъ высотъ могучаго громовержца, а теперь хлы-

---

[1]) Головнинъ, давшій университетамъ новый уставъ, къ которому впослѣдствіи графъ относился благосклонно.

[2]) Графъ тогда еще не зналъ, что я получилъ степень доктора за свои „Историческіе очерки“.

нула изъ самой сердцевины нашего все же милаго университета. Не велика важность — болѣзнь къ росту: зубы рѣжутся у этого столѣтняго младенца, пробуетъ онъ впервые встать на дыбки; не мудрено, что на первомъ шагу спотыкнулся. Авось новый уставъ на своихъ помочахъ какъ ни на есть выведетъ его на гладкій путь разумнаго самоуправленія. А между тѣмъ, въ ожиданіи будущихъ благъ, я чувствовалъ настоятельную потребность подкрѣпить свои силы, надломленныя переполохомъ, освѣжить свою голову, забыться на долгій срокъ совсѣмъ въ другой обстановкѣ, однимъ словомъ — улизнуть на цѣлый годъ за границу. Отпускъ получилъ я безпрепятственно, но польскія смуты задержали меня до декабря 1864 г.

Чтобы совсѣмъ обновиться и спахнуть съ себя налетный дымъ отечества, который, говорятъ, впрочемъ, такъ сладокъ и пріятенъ, я рѣшился тряхнуть стариною и, распростившись съ спеціальными работами для своихъ лекцій, воротиться къ интересамъ и любимымъ занятіямъ моей молодости. Я опять принялся за изученіе исторіи искусства, чтобы пополнить пробѣлы въ своихъ свѣдѣніяхъ, а вмѣсто классическихъ древностей, которымъ такъ ревностно предавался въ началѣ сороковыхъ годовъ, увлекся теперь изслѣдованіями по иконографіи и орнаментикѣ византійскаго, романскаго и готическаго стилей. Для регулированья своихъ занятій и успѣховъ я положилъ себѣ время отъ времени давать отчеты въ видѣ корреспонденцій. Онѣ печатались въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, равно какъ и многія другія изъ послѣдовавшихъ затѣмъ моихъ странствій въ чужихъ краяхъ. На мой взглядъ болѣе удачныя изъ этихъ корреспонденцій я перепечаталъ въ первомъ томѣ „Моихъ Досуговъ“.

Въ Берлинѣ я познакомился съ двумя спеціалистами по исторіи искусства, отъ которыхъ многому научился. То были Пиперъ, профессоръ монументальнаго богословія, и Ваагенъ, директоръ берлинскаго музея изящныхъ искусствъ. Первый въ теченіе многихъ лѣтъ издавалъ популярный „Евангелическій Календарь“, въ которомъ ежегодно помѣщалъ свои ученыя монографіи, а второй, авторъ извѣстнаго учебника исторіи нѣмецкой живописи, отличался замѣчательно тонкимъ эстетическимъ вкусомъ въ распознаваніи настоящихъ оригиналовъ отъ старинныхъ копій и позднѣйшихъ поддѣлокъ.

Монументальное богословіе имѣетъ своимъ предметомъ церковныя древности и иконографію въ связи съ ученіемъ отцовъ

церкви и съ еретическими отъ него отклоненіями. Пиперъ читалъ лекціи будущимъ пасторамъ евангелическаго исповѣданія въ одной изъ залъ древне-христіанскаго музея, который онъ самъ основалъ и устроилъ въ стѣнахъ берлинскаго университета. Подробности объ этомъ оригинальномъ музеѣ я сообщалъ въ корреспонденціи, которая потомъ вошла въ первый томъ „Моихъ Досуговъ“. Въ ней же разсказываю я и о томъ, какъ Ваагенъ водилъ меня по картинной галереѣ берлинскаго музея и особенно заинтересовалъ объясненіемъ высокихъ достоинствъ старинной голландской живописи, которая до тѣхъ поръ была мнѣ мало извѣстна. По его совѣту, чтобы ознакомиться съ произведеніями Ванъ-Эйка, Мемлинга и другихъ мастеровъ голландской школы, я посѣтилъ Брюссель, Гентъ, Антверпенъ и Брюжъ, или Брюгге.

Меня радовало и забавляло, что я такъ легко и скоро успѣлъ перестроить себя изъ учителя и профессора въ прилежнаго и внимательнаго ученика и студента. Еще у себя въ Москвѣ я читалъ съ особеннымъ увлеченіемъ археологическій журналъ Дидрона и его книгу объ иконографіи Господа Бога (Histoire de Dieu). Теперь мнѣ захотѣлось лично познакомиться съ самимъ авторомъ, поразспросить его о многомъ, поучиться у него, какъ вести дѣло, а также и сообщить ему кое-что изъ своей византійско-русской старины, которая была ему мало извѣстна. Значитъ, надобно было ѣхать въ Парижъ. Въ этомъ городѣ я еще не бывалъ. Благо, за одинъ разъ познакомлюсь съ знаменитымъ археологомъ и своими глазами увижу сокровища искусства, которыя я зналъ понаслышкѣ и изъ книгъ или изъ копій: въ Луврѣ увижу Венеру милосскую, Діану версальскую, „Плѣнниковъ“ Микель-Анджела, фонтенблоскую Діану Бенвенуто-Челлини, а въ историческомъ музеѣ Клюньй — золотыя короны вестготскихъ царей, алтари и церковную утварь романскаго и готическаго стилей, средневѣковыя одежды, старинные ковры съ затѣйливыми изображеніями, майолики съ изящными рисунками Рафаэля и его учениковъ и многихъ другихъ. Я забылъ вамъ сказать, что по принятому мною маршруту я попалъ въ Парижъ и въ Бельгію уже на возвратномъ пути изъ Италіи.

Особенно благотворно оказалось для меня пребываніе во Флоренціи. Въ то время въ ней сосредоточилось патріотическое движеніе всѣхъ областей Апеннинскаго полуострова. Весною 1865 г. въ ея монументальныхъ стѣнахъ будетъ праздноваться шестисотлѣтній юбилей дня рожденія Данта Аллигіери. Теперь

сѣ готовились къ этому великому національному празднику, оторый долженъ ознаменовать ту идею, что непреложное завѣаніе, данное геніальнымъ поэтомъ отдаленному потомству, наонецъ приводится въ исполненіе. Италія сбрасываетъ съ себя ужеземное иго и соединяетъ свои разрозненные члены въ одно ераздѣльное государство подъ свѣтскою властью итальянскаго ороля. Повсемѣстному воодушевленію и восторгамъ, планамъ проектамъ, глубокомысленнымъ замысламъ и остроумнымъ ыдумкамъ не было конца: всякій хотѣлъ заявить свой патріоическій энтузіазмъ, вложить свою лепту въ общій итогъ. Дантъ его произведенія были главнымъ предметомъ литературы и еріодической печати; чтобы подготовить Италію къ предстоящему юбилею, издавались спеціальныя газеты двоякаго рода: олѣе серьезнаго содержанія — для образованной публики, и опулярныя — для простонародья. Въ этой дантовской атмосферѣ вновь переживалъ свои молодые годы, когда Божественная омедія была для меня настольною книгою.

По возвращеніи въ Москву я сообщилъ подробности объ томъ юбилеѣ въ журнальной статьѣ, которая потомъ вошла въ Мои Досуги". Но отдѣлаться отъ нахлынувшихъ на меня жиительныхъ интересовъ такъ легко и мимоходомъ я не могъ и о хотѣлъ. Мнѣ жалко было разставаться съ ними и войти въ роторенную колею моихъ прежнихъ работъ и ученыхъ предріятій. Я долженъ былъ во что бы то ни стало уберечь въ ебѣ и продлить спокойное и ясное настроеніе, которое вывезъ ъ собою изъ Италіи. Съ этой цѣлью одновременно съ лекціями о исторіи русской литературы я вознамѣрился читать студентамъ филологическаго факультета спеціальный курсъ о Дантѣ ъ теченіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ. Я началъ съ общаго обозрѣія церковнаго, политическаго, общественнаго и семейнаго быта реднихъ вѣковъ въ связи съ литературой и наукою, а окончилъ подробнымъ изложеніемъ и разборомъ Божественной Коедіи, на которую употребилъ цѣлый годъ. Чтобы понять, какъ лѣдуетъ это великое произведеніе, обнимающее въ себѣ всѣ ущественные интересы средневѣковой жизни въ ихъ разнобразныхъ оттѣнкахъ, надобно предварительно многое знать, адобно свыкнуться съ чуждою нашему времени средою и переестись въ дантовскій вѣкъ. Только тогда краткіе намеки на азныя мелочи въ Божественной Комедіи будутъ для моихъ слуателей не досадными камнями преткновенія, а энергическими мѣткими указателями цѣлыхъ эпизодовъ изъ исторіи европей-

ской цивилизаціи, каковы, напримѣръ: схоластическія тонкости въ богословіи Ѳомы Аквинскаго, Франциск Ассизскій съ его монашескими обѣтами, съ импровизованными проповѣдями и восторженными гимнами, живописцы Чимабуэ и Джіотто, Бертранъ Дель-Борніо, Сорделло и другіе провансальскіе и итальянскіе трубадуры съ Гвидо-Кавальканте, товарищемъ и другомъ самого Данта, вообще историческія подробности о лицахъ и фамиліяхъ, которыхъ касается поэтъ въ своей Божественной Комедіи, и географическое обозрѣніе многоразличныхъ мѣстностей по всей Италіи, на которыя онъ такъ часто намекаетъ, и которыя для неподготовленнаго читателя тормозятъ вниманіе и заслоняютъ смыслъ цѣлаго эпизода.

Чтобы быть въ Москвѣ до начала лекцій и хорошенько къ нимъ приготовиться, я долженъ былъ воротиться изъ чужихъ краевъ въ іюнѣ 1864 г., когда, какъ вы уже знаете, я въ послѣдній разъ видѣлъ покойнаго наслѣдника Цесаревича.

Въ Москвѣ ожидала меня новая обязанность, которая давала широкій просторъ моимъ замысламъ, планамъ и симпатіямъ, а въ случаѣ бѣды и передряги въ университетской сутолокѣ могла отвлечь мое вниманіе въ другую сторону и по малой мѣрѣ хотя нѣсколько утолить мои печали. Когда я былъ за границею, извѣстный уже вамъ мой товарищъ въ работахъ и неизмѣнный другъ Алексѣй Егоровичъ Викторовъ, хранитель рукописей Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музея, и Юрій Дмитріевичъ Филимоновъ, завѣдующій тамъ же иконографическимъ отдѣленіемъ, основали при этомъ музеѣ общество древне-русскаго искусства при дѣятельномъ участіи извѣстнаго писателя пушкинскихъ временъ и меломана, князя Одоевскаго, который былъ тогда сенаторомъ еще не упраздненнаго московскаго сената. Въ это-то общество заочно и безъ моего вѣдома я былъ избранъ въ секретари. На первыхъ порахъ дѣло пошло у насъ живо, складно и ладно. Въ одной изъ залъ музея еженедѣльно по воскресеньямъ устраивались наши засѣданія, открытыя и для публики, которая интересовалась разнообразіемъ предметовъ, входящихъ въ кругъ занятій нашего общества, а именно: по иконографіи и орнаментикѣ, по византійскому и древне-русскому зодчеству, по исторіи церковной музыки и по народнымъ напѣвамъ. Изъ чтеній, которыя предлагались въ этихъ засѣданіяхъ, очень скоро составился объемистый сборникъ, который подъ редакціею Филимонова былъ напечатанъ въ большой in-quarto, въ 1866 г. Я служилъ свою секретарскую службу усердно,

сносился съ разными спеціалистами, прося ихъ о вкладѣ статей въ нашъ сборникъ, какъ, напримѣръ, съ знаменитымъ ученымъ и профессоромъ московской духовной академіи, что въ Троицкой лаврѣ, съ Александромъ Васильевичемъ Горскимъ, дружбою котораго я всегда пользовался до самой его кончины. И самъ я для сборника работалъ прилежно и такъ много, что не могу понять, какъ на то у меня хватало времени при срочныхъ занятіяхъ по составленію лекцій. Кромѣ мелкихъ статей, числомъ около десятка, разнообразнаго содержанія, начиная отъ затѣйливаго барельефа на наружной стѣнѣ пармскаго баптистерія въ связи съ одною миніатюрою изъ русской рукописной псалтыри и до краткихъ выдержекъ иконописнаго содержанія изъ житій русскихъ святыхъ, я помѣстилъ въ сборникѣ цѣлую монографію страницахъ на ста объ источникахъ и характерѣ русской иконописи въ ея отличіи отъ искусства западнаго.

Къ сожалѣнію, музейное общество процвѣтало недолго; оно заглохло и изсякло, потому что не могло соперничать въ энергіи и стойкости съ другимъ обществомъ той же спеціальности, которое одновременно съ нашимъ было основано графомъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ Уваровымъ подъ названіемъ „Археологическаго“.

Когда я воротился въ Москву, новый университетскій уставъ былъ уже обнародованъ и приведенъ въ дѣйствіе. Онъ вполнѣ согласовался съ духомъ времени и обѣщалъ въ будущемъ счастливые результаты. Впрочемъ, о немъ такъ много было говорено и печатано въ газетахъ, что я ничего новаго для васъ прибавить не умѣю. Скажу только, что лично для меня онъ былъ хорошъ. Онъ способствовалъ успѣхамъ въ наукахъ, раздѣливъ преподаваніе по нѣсколькимъ спеціальностямъ каждаго предмета, и такимъ образомъ умножилъ число преподавателей. Я читалъ свои лекціи спокойно и безпрепятственно, не стѣсняясь придирчивыми формальностями, безъ всякаго опасенія соглядатайной опеки. Что же касается до университетской администраціи, которая по новому уставу была ввѣрена совѣту, состоящему изъ профессоровъ всѣхъ факультетовъ подъ предсѣдательствомъ ректора, то она нисколько меня не интересовала. Всякіе протоколы, отношенія, резолюціи и другія канцелярскія бумаги были для меня тарабарскою грамотой, и я ни разу не соблазнился административною почестью декана или ректора, вполнѣ довольствуясь званіемъ только профессора, который отвѣчаетъ самъ за себя и ничего другого не хочетъ знать. Признаваясь вамъ въ этихъ взглядахъ и поступкахъ, я вовсе не желаю ихъ

оправдывать и хвалиться ими, будучи увѣренъ, что многіе изъ васъ меня не одобрятъ. Но что же будешь дѣлать! У меня не хватало гражданской доблести. Вѣроятно, я смѣшивалъ ее съ чиновничествомъ, которое было мнѣ не по нраву. Я могъ сколько умѣлъ служить университету только своею наукою; другихъ талантовъ за собою не зналъ. Первымъ дѣломъ въ организаціи университетскаго самоуправленія было рѣшить, кого избрать предсѣдателемъ въ засѣданіяхъ совѣта. Вопросъ этотъ на первыхъ же порахъ сдѣлался яблокомъ раздора въ профессорской корпораціи. Одни хотѣли имѣть ректоромъ Соловьева, а другіе — Баршева, и такимъ образомъ желанное единогласіе для общей пользы было нарушено и распалось на двѣ враждебныя партіи — на Соловьевскую и Баршевскую. Первая была гораздо малочисленнѣе послѣдней; потому ректоромъ былъ избранъ Баршевъ и оставался въ этой должности нѣсколько трехлѣтій сряду.

Принадлежать къ какой-либо партіи было противно моему нраву и обычаю. Вы уже знаете, что я умѣлъ сохранить свою независимость въ борьбѣ славянофиловъ съ западниками; точно такъ же оставался и потомъ въ нейтральномъ положеніи между консерваторами и либералами. Я думалъ, что если какой-нибудь принципъ разлагается на двѣ противоположности, то каждая изъ нихъ легко можетъ дойти до безсмысленныхъ и зловредныхъ крайностей. Потому я сочувствовалъ многому, что̀ находилъ существеннымъ и цѣннымъ въ убѣжденіяхъ и взглядахъ обѣихъ враждующихъ партій, устраняя отъ себя безразсудныя и опрометчивыя увлеченія той и другой. А если дѣло касалось до избранія лица въ представители учрежденія, раздѣленнаго на партіи, то надобно было согласоваться съ пристрастіями и разсчетами избирателей. Во всякомъ случаѣ пришлось бы записаться въ рядовые, стать подъ знамя ватаги и носить на себѣ ея ярлыкъ. Впрочемъ, мои симпатіи клонились къ Соловьевской партіи, потому что къ ней принадлежали лучшіе изъ моихъ товарищей, хотя къ нимъ же относилъ я своего пріятеля Леонтьева, который собственно и былъ коноводомъ партіи враждебной, а Баршевъ — только подставною фигурою.

Ожесточенная вражда, не умолкавшая въ стѣнахъ университета, наконецъ опротивѣла мнѣ донельзя. Она вредила и общему дѣлу, и была гибельна для отдѣльныхъ лицъ. Однажды въ засѣданіи совѣта Соловьевъ, въ качествѣ декана, горячо защищалъ какое-то предложеніе или заявленіе филологическаго факультета отъ злостныхъ и грубыхъ нападокъ со стороны враж-

дебной партіи и до того былъ оскорбленъ и раздраженъ нахальствомъ и дерзостью своихъ противниковъ, что совсѣмъ изнемогъ, а воротившись домой, въ тотъ же день слегъ въ постель и цѣлыя шесть недѣль прохворалъ въ нервной горячкѣ. Другой случай совѣтской передряги завершился еще горестнѣе. Между приверженцами Баршева самымъ ревностнымъ и преданнымъ былъ профессоръ юридическаго факультета Никольскій, молодой человѣкъ, пылкій и рьяный; когда, бывало, онъ раззадорится — не говоритъ, а кричитъ благимъ матомъ, руками размахиваетъ. При Баршевѣ онъ состоялъ и пажомъ, и оруженосцемъ, и приспѣшникомъ; въ засѣданіяхъ совѣта всегда сидѣлъ около своего патрона и милостивца, всегда наготовѣ храбро защитить его, огрызался направо и налѣво. Впрочемъ, былъ онъ человѣкъ добрый, даже милый, потому, можетъ быть, и любилъ Баршева такъ горячо. Разъ въ засѣданіи совѣта онъ черезчуръ раскипятился, геройствовалъ и зычно голосилъ напропалую, и представьте себѣ — какая жалость! — дня черезъ три скончался отъ нервнаго удара.

Не мнѣ одному претило такое тягостное положеніе въ средѣ профессорской корпораціи. Нѣсколько молодыхъ профессоровъ Соловьевской партіи изъ самыхъ даровитыхъ и любимыхъ студентами, утомившись въ напрасной борьбѣ, покинули московскій университетъ. То были Дмитріевъ, Капустинъ, братья Рачинскіе, Чичеринъ.

Не думайте, пожалуйста, что я разсказываю вамъ все это для того, чтобы бросить тѣнь на университетскій уставъ 1863 г. Люди — всегда и вездѣ люди. Общительность есть главное отличительное ихъ качество, снабженное даромъ слова; потому не перестанутъ они никогда дружиться и ссориться, собираться въ толпу и дѣлиться на партіи. И до новаго устава бывали въ нашемъ университетѣ ссоры и раздоры, которые оканчивались бѣдами. Былъ у насъ профессоромъ всеобщей исторіи Ешевскій, очень дѣльный и даровитый преподаватель, но человѣкъ раздражительный и пылкій. Однажды въ совѣтѣ горячо повздорилъ онъ съ бывшимъ тогда ректоромъ Альфонскимъ, а когда оставилъ залу совѣта, сильно взволнованный, и только что вышелъ за ворота университета, — повалился на мостовую, мгновенно пораженный параличомъ; прохворалъ около года и померъ.

Весною 1867 г. Москва торжественно праздновала славянскій съѣздъ изъ представителей нашихъ одноплеменниковъ, населяющихъ австрійскія области. Это небывалое доселѣ событіе,

ыхъ лѣтъ и до старости посвящалъ свои досуги стихотворству, слѣдуя знаменитому Мерзлякову, который былъ вмѣстѣ и профессоромъ русской словесности, и поэтомъ.

Впрочемъ, я уже не разбрасывался въ своихъ ученыхъ и литературныхъ замыслахъ такъ далеко и широко, какъ мои предшественники, и не вдавался въ публицистику; но все же со новаго устава 1863 г., по которому русская литература и иностранная раздѣлились на двѣ особыя каѳедры, я обязанъ былъ читать лекціи обоихъ этихъ предметовъ. Чтобы сосредоточить свои силы и намѣренія въ опредѣленной группѣ занятій, я увлекся одною господствующею идеею, которую стремился открывать и разрабатывать въ изслѣдованіяхъ русской старины и народности по сравнительному методу въ связи съ изученіемъ иностранныхъ литературъ, въ которыхъ ограничился только народностью же и средневѣковою стариной. Такъ, напримѣръ, я читалъ цѣлый курсъ о русскомъ богатырскомъ эпосѣ и потомъ такъ же подробно знакомилъ своихъ слушателей съ испанскими романсами о Сидѣ и съ древне-французскою поэмою или пѣснію о Роландѣ (Chanson de Roland). Монографіи, извлеченныя изъ лекцій объ этихъ трехъ предметахъ, въ недавнее время были перепечатаны отдѣльнымъ сборникомъ въ изданіяхъ трудовъ императорской Академіи Наукъ.

Учрежденіе въ нашихъ университетахъ особой каѳедры общей литературы давало спеціалистамъ широкій просторъ для изученія этого предмета и открывало новые пути для сравнительнаго метода въ изслѣдованіи раннихъ литературныхъ источниковъ, которые съ далекаго Востока, изъ Индіи, при посредствѣ персовъ и аравитянъ, вошли въ византійскую литературу и оттуда распространялись по всей западной Европѣ, а также и особенно у насъ на Руси и у нашихъ соплеменниковъ славянъ. Византійщина, такъ долго остававшаяся въ загонѣ, была наконецъ оцѣнена по достоинству и получила узаконенныя права гражданства въ изслѣдованіяхъ ранняго періода въ средневѣковой исторіи европейской цивилизаціи. Задаваться этимъ новымъ для меня дѣломъ не хватало уже моихъ силъ. Я предоставилъ его молодому поколѣнію ученыхъ, между которыми любовался на своихъ учениковъ. Мнѣ стало очевидно, что я начинаю старѣть, что пѣсенка моя спѣта. Однако, не воображайте себѣ, что я унывалъ духомъ; напротивъ того, я радовался, что мои ученики опережаютъ меня, со славою ведутъ дѣло, начатое мною; значитъ, не дурной былъ я учитель, когда умѣлъ взлелѣять та-

кихъ учениковъ. Въ этомъ я находилъ себѣ оправданіе и награду своей университетской дѣятельности.

Отъ тяжелаго бремени многолѣтнихъ ученыхъ трудовъ я вынесъ съ собою не главную суть дѣла, а только ея прикладъ, который долго казался всѣмъ шелухою и только послѣднее время былъ оцѣненъ спеціалистами. Говорю о своихъ работахъ по археологіи и древне-русскому искусству. Впрочемъ, для очищенія своей ученой совѣсти я читалъ лекціи въ семидесятыхъ годахъ о новомъ направленіи сравнительнаго метода въ изученіи миѳологіи, преданій, народнаго быта и литературы. Изъ этого курса я извлекъ нѣсколько монографій и въ популярномъ изложеніи напечаталъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, а потомъ одну изъ нихъ внесъ во второй томъ „Моихъ Досуговъ“, именно о странствующихъ, или перехожихъ, повѣстяхъ и разсказахъ...

Однако, я слишкомъ далеко завелъ васъ впередъ, покинувши послѣднюю нить своихъ воспоминаній. Усердное и энергическое участіе, принятое мною въ музейномъ сборникѣ 1866 г., дало окончательный переворотъ моимъ ученымъ занятіямъ и задушевнымъ интересамъ, которые я теперь, почти исключительно, навсегда сосредоточилъ на археологическихъ изслѣдованіяхъ по русской иконографіи и орнаментикѣ и преимущественно въ такъ называемыхъ лицевыхъ рукописяхъ, т.-е. на подробномъ изученіи миніатюръ въ связи съ текстомъ, который онѣ объясняютъ и дополняютъ и служатъ ему истолкованіемъ, составляя вмѣстѣ съ нимъ одно нераздѣльное цѣлое. Въ этомъ отношеніи наши лицевыя рукописи, согласуясь съ ранними образцами византійскими, имѣютъ неоспоримое превосходство передъ западными, въ которыхъ уже съ XIII вѣка миніатюра становится только украшеніемъ, а не толкованіемъ текста.

Правду сказать, къ окончательному результату этого утвержденія я пришелъ уже потомъ, послѣ многихъ и долгихъ разысканій и кропотливыхъ изслѣдованій; но и въ концѣ шестидесятыхъ годовъ идея о нормальномъ отношеніи миніатюры къ тексту меня сильно занимала и тянула меня впередъ по избранному мною пути. Я долженъ былъ удостовѣриться и достигнуть цѣли.

Въ Страсбургѣ, въ библіотекѣ при знаменитомъ готическомъ соборѣ была латинская рукопись XII столѣтія, громадный фоліантъ, подъ названіемъ Hortus Deliciarum (садъ или — по старинному — вертоградъ удовольствій). Это благочестивое произведеніе назидательнаго и повѣствовательнаго содержанія написала

украсила множествомъ замѣчательно изящныхъ миніатюръ аб-
тиса одного изъ прирейнскихъ монастырей. Я зналъ о пре-
асной страсбургской рукописи изъ исторіи искусства Шназе
отъ берлинскаго профессора Пипера, и теперь мнѣ необхо-
мо нужно было ее видѣть и основательно изучить для того,
обы дать себѣ наглядное понятіе объ отношеніи рукописной
люстраціи западной къ византійской.

И стала эта рукопись моею любимою мечтой и мерещилась
нѣ радужными цвѣтами своихъ миніатюръ, какъ въ сказкахъ
романахъ знакомая незнакомка. Во что бы то ни стало, а
до спѣшить за границу и непремѣнно въ Страсбургъ, и въ маѣ
870 г. я отправился въ дальній путь съ женою и съ сыномъ
адимиромъ, который тогда только что перешелъ съ третьяго
рса на четвертый по филологическому факультету[1]). Чтобы
ло для васъ понятно послѣдующее, я долженъ вамъ сказать,
къ я распорядился со своими деньгами, ассигнованными на
рогу. Я раздѣлилъ ихъ на двѣ половины: одну оставилъ при
бѣ въ сторублевыхъ бумажкахъ, которыя вездѣ можно было
змѣнять на иностранныя деньги, а другую черезъ московскій
етный банкъ перевелъ — не помню, къ какому банкиру —
Парижъ, гдѣ намѣревался въ публичной библіотекѣ работать
дъ византійскими лицевыми рукописями. Меня особенно инте-
совали двѣ: Григорій Назіанзинъ IX вѣка и Псалтырь X в.
иніатюры той и другой были мнѣ извѣстны только по немно-
мъ фотографіямъ.

Въ Берлинѣ я видѣлся не разъ съ профессоромъ Пиперомъ,
ечталъ вмѣстѣ съ нимъ о страсбургской рукописи и привезъ
му московскій гостинецъ — пять маленькихъ иконъ на доскахъ
изображеніями легендарнаго и отчасти апокрифическаго житія
ресвятой Богородицы, для его древне-христіанскаго музея.
тѣмъ пробыли мы нѣсколько дней въ Дрезденѣ; утромъ по-
щали картинную галерею, а по вечерамъ слушали концерты
Брюлевой террасѣ. Оттуда черезъ Гёттингенъ направились
Касселю, но по дорогѣ остановились дня на два въ Лейпцигѣ.

Въ этомъ торговомъ городѣ мнѣ вздумалось пополнить свой
пасъ нѣмецкихъ денегъ размѣномъ сторублевой ассигнаціи.
рихожу въ банкирскую контору — не мѣняютъ; иду въ дру-
ю — опять тоже. Спрашиваю: почему? Отвѣчаютъ: на русскія

---

[1]) Въ настоящее время директоръ серпуховской прогимназіи московскаго учеб-
го округа.

деньги нѣтъ биржевого курса. Это меня озадачило, но не могло надоумить, потому что газетъ я не читалъ и, стало-быть, не думалъ, не гадалъ, какая у нѣмцевъ съ французами заваривается каша. Только по дорогѣ изъ Касселя во Франкфуртъ-на-Майнѣ узнали мы, и то невзначай, самую суть дѣла. Великая бѣда нахлынула, какъ снѣгъ на голову. Въ одномъ купе́ съ нами, какъ сейчасъ вижу, направо отъ меня сидитъ у окна очень презентабельный нѣмецъ среднихъ лѣтъ и читаетъ газету; вдругъ встрепенулся, будто его что̀ ошеломило, вскочилъ на ноги и крикнулъ: „война, объявлена война!“ Къ вечеру еще засвѣтло мы пріѣхали во Франкфуртъ и узнали, что завтра начнется мобилизація германскихъ войскъ къ берегамъ Рейна. Итакъ, мы очутились на рубежѣ, куда стягиваются войска двухъ великихъ державъ, вступающихъ въ ожесточенную борьбу. Сообщеніе пассажировъ по желѣзнымъ дорогамъ будетъ прекращено, и на другой же день намъ слѣдовало бѣжать изъ Франкфурта. На дебаркадерѣ вокзала была страшная давка — все публика элегантная, расфранченные кавалеры и дамы торопятся съ минеральныхъ водъ въ Швейцарію. Громадный поѣздъ тащился нескончаемо долго. Изъ Франкфурта мы выѣхали часовъ въ шесть пополудни, а въ Базель прибыли на другой день къ позднему обѣду. По дорогѣ останавливались чуть не каждую четверть часа, чтобы не сталкиваться съ поѣздами, доставлявшими германскіе полки къ мѣстамъ ихъ назначенія. Можете себѣ представить, какъ было мнѣ грустно ѣхать мимо Кельскаго моста, перекинутаго черезъ Рейнъ на ту сторону, у самаго Страсбурга, гдѣ ожидала меня драгоцѣнная рукопись, къ которой я такъ стремился.

И въ Базелѣ встрѣтила насъ тревожная суматоха. Черезъ этотъ городъ уже началось передвиженіе отрядовъ швейцарскаго войска къ границамъ обоихъ враждующихъ государствъ, чтобы охранять страну вооруженнымъ нейтралитетомъ. Дня черезъ два въ Базель пришла вѣсть, что война вспыхнула именно у того самаго Кельскаго моста, который былъ взорванъ, и нѣмцы бомбардируютъ Страсбургъ, разрушаютъ зданія и предаютъ пламени пожаровъ.

Послѣ я узналъ, что въ тотъ день сгорѣла и знаменитая рукопись. Профессоръ Пиперъ въ засѣданіи спеціалистовъ почтилъ ея память похвальнымъ словомъ, а лѣтъ черезъ пять потомъ страсбургскіе археологи предприняли изданіе снимковъ, которые въ разное время были дѣланы съ миніатюръ этой руко-

писи, но оно почему-то пріостановилось. Первыми его выпусками я воспользовался въ своей монографіи о русскомъ лицевомъ апокалипсисѣ, напечатанной въ 1884 г., и въ приложенномъ къ ней альбомѣ рисунковъ помѣстилъ нѣсколько изображеній изъ той рукописи.

Биржевая паника, о которой дано было намъ знать въ Лейпцигѣ, напрасно насъ взбаламутила. Мы мѣняли свои ассигнаціи на золото и во Франкфуртѣ, и въ Базелѣ, и въ другихъ городахъ Швейцаріи, только съ громаднымъ убыткомъ, получая за рубль не больше полтины. Такъ перебивались мы день за день мѣсяца полтора до тѣхъ поръ, когда, наконецъ, я могъ сноситься съ Москвою, чтобы въ надлежащемъ порядкѣ время отъ времени пополнять такъ быстро оскудѣвающій при мнѣ запасъ русскихъ сторублевокъ.

Въ Швейцаріи пережили мы и перечувствовали всѣ грозные моменты франко-германской войны, начиная отъ взрыва Кельскаго моста и до рокового Седана. Что бы съ нами было, думалось мнѣ, если бы Луи-Наполеонъ поколотилъ нѣмцевъ и съ своими войсками нахлынулъ бы на Германію? Вѣдь онъ непремѣнно, по слѣдамъ своего дяди, великаго забіяки, двинулся бы на Россію, взбудоражилъ бы австрійскихъ славянъ противъ нѣмцевъ, а поляковъ противъ насъ. И запропастились бы мы гдѣ-нибудь въ Альпійскихъ горахъ безъ куска хлѣба, перебиваясь кое-какъ вспомоществованіемъ отъ заѣзжихъ соотечественниковъ. Теперь вы поймете, какъ обрадовались мы, когда французскій императоръ былъ взятъ въ плѣнъ и заключенъ въ замкѣ Wilhelmshöhe.

Еще такъ недавно, когда были въ Касселѣ, мы любовались на этотъ загородный дворецъ, который высоко поднялся на одной изъ горъ, замыкающихъ на далекомъ небосклонѣ широко раскинувшуюся равнину.

Впослѣдствіи по одному случаю мнѣ привелось въ веселую минуту вспомнить объ этой „Вильгельмовой Высотѣ“ и позабавить себя. Во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ мой добрый пріятель, милый человѣкъ и прелюбопытный чудакъ, профессоръ петербургскаго университета Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ, издалъ громадную книгу объ Ильѣ Муромцѣ. Она представлена была въ Академію Наукъ на премію. Отзывъ о ней поручили составить мнѣ. Въ своемъ разборѣ, между прочимъ, я обратилъ вниманіе на слишкомъ общій, пустопорожній принципъ, который Миллеръ постоянно проводитъ въ объясненіи

миѳологическихъ и баснословныхъ сказаній. Вездѣ онъ видитъ борьбу добра со зломъ, свѣта съ мракомъ, Ормузда съ Ариманомъ и затѣмъ примиреніе этого дуализма въ благополучномъ сочетаніи обѣихъ противоположностей; въ примѣръ приводитъ греческую Иліаду, финскую Калевалу, у нѣмцевъ Нибелунги, у насъ былины о Добрынѣ Никитичѣ, объ Ильѣ Муромцѣ. Въ своемъ разборѣ я замѣтилъ, что такимъ образомъ можно всякую войну въ исторіи народовъ возвести въ миѳъ о борьбѣ двухъ противоположныхъ началъ, а про себя тогда же подумалъ, какъ бы складно и ладно можно было возвести въ такой же миѳъ франко-германскую войну. Ормуздъ-Вильгельмъ идетъ съ свѣтлаго востока на темный западъ, чтобы покорить Аримана-Наполеона, беретъ его въ плѣнъ и въ знакъ примиренія сливается съ нимъ воедино, — возводитъ его до своей „Вильгельмовой Высоты“.

Однако, я черезъ-чуръ заговорился. Пора мнѣ вернуться отъ милаго Ореста Ѳедоровича и отъ его воздушныхъ замковъ въ Базель. Въ немъ пробыли мы дня три и поспѣшили въ живописную глубь прекрасной Швейцаріи, чтобы въ ея раздольяхъ спрятаться подальше отъ треволненій, разгромовъ и бѣдствій опустошительной войны. Швейцарія не богата памятниками старины и произведеніями изящныхъ искусствъ. Было слишкомъ мало поживы для моихъ спеціальныхъ работъ. Оставалось пробавляться мелкими развлеченіями заурядnаго туриста. Отъ нечего-дѣлать я присматривался къ нравамъ и обычаямъ обывателей въ городахъ и мѣстечкахъ, входилъ въ подробности ихъ житья-бытья; за отсутствіемъ монументальныхъ зданій, которыя я такъ любилъ изучать въ Нюренбергѣ или во Флоренціи, теперь я прилагалъ свой эстетическій масштабъ къ изученію крестьянскихъ хижинъ, этихъ деревянныхъ домиковъ, извѣстныхъ подъ именемъ швейцарскихъ chalets. Меня особенно интересовала ихъ безпримѣрная угодность по отношенію плана всей постройки къ гористой мѣстности и ко всевозможнымъ удобствамъ домашняго и сельскаго хозяйства. Этимъ нераздѣльнымъ согласованіемъ, такъ сказать, пріятнаго съ полезнымъ я объяснялъ себѣ художественный стиль швейцарской архитектуры. Разумѣется, мы побывали и въ Интерлакенѣ, на этомъ всесвѣтномъ гульбищѣ, куда каждое лѣто отовсюду съѣзжаются богачи и высокопоставленныя особы сорить деньгами, подышать живительною прохладою и любоваться на снѣжныя вершины Юнгфрау; дѣлали мы также и экскурсіи къ глетчерамъ

и къ водопадамъ, къ Гиссбаху и къ Штауббаху, о которомъ я мечталъ еще въ Пензѣ, будучи гимназистомъ, когда читалъ „Письма русскаго путешественника“. Замѣчу кстати, что въ эту же поѣздку я въ первый разъ видѣлъ Рейнскій водопадъ и сличалъ видѣнное съ описаніемъ Карамзина, которое, конечно, зналъ наизусть.

Говорятъ, что въ злосчастныя годины народныхъ бѣдствій и гибельныхъ переворотовъ мечтательные умы по врожденному инстинкту самосохраненія вдаются въ идиллическое настроеніе духа, чтобы хотя минутно забыться и уйти въ свѣтлый и безмятежный міръ фантазіи отъ горькой дѣйствительности. Когда въ XIV столѣтіи во Флоренціи свирѣпствовала чума, небольшое общество молодыхъ людей, три дамы и семеро кавалеровъ бѣжали изъ города и скрылись въ уютной виллѣ, чтобы спастись отъ заразы и позабыться въ самомъ веселомъ и беззаботномъ препровожденіи времени. Вы знаете изъ Боккачіева Декамерона, какъ они распѣвали любовныя пѣсенки, придумывали разныя игры, танцовали и ежедневно забавляли себя затѣйливыми и смѣхотворными разсказами. Такъ и я, пока разгоралась и бушевала франко-германская война, настрочилъ свою идиллію подъ названіемъ „Бурдорфъ“, небольшой городокъ въ Эмменской долинѣ (Emmenthal), и эту корреспонденцію послалъ въ „Русскій Вѣстникъ“, а въ 1886 году перепечаталъ въ „Моихъ Досугахъ“.

Когда стали обнаруживаться результаты войны, мы направились къ Женевскому озеру въ Лозанну, а оттуда черезъ Симплонъ въ Италію. Но и тамъ былъ свой переполохъ, новая сумятица. Людовикъ-Наполеонъ побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ; теперь некому охранять Пія IX и его священную курію французскими солдатами. Долой свѣтскую власть папы! Викторъ-Эммануилъ долженъ итти съ войскомъ на Римъ, взять его съ бою и сдѣлать столицею объединенной Италіи, а въ противномъ случаѣ свергнуть его съ престола. Такова была программа митинговъ, которые собирались повсюду въ городахъ и малыхъ мѣстечкахъ, чтобы подвигнуть короля къ немедленному дѣйствію и принятію рѣшительныхъ мѣръ; одинъ изъ нихъ мы застали въ Миланѣ, устроенный въ театрѣ Радегонды городскими жителями средняго и высшаго общества, другой — въ Болоньѣ, простонародный, въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, въ публичномъ саду, а недѣли черезъ двѣ на площади св. Марка уже торжественно праздновали мы вмѣстѣ съ венеціанцами побѣдо-

носное вступленіе короля Италіи въ стѣны Вѣчнаго Города.

Само собою разумѣется, въ такой коловратной сутолокѣ мнѣ было не до того, чтобы усидчиво заниматься своимъ дѣломъ. Я невольно увлекся потокомъ событій, мчавшихся съ неимовѣрною быстротою передъ нашими глазами, и сталъ мало-помалу втягиваться въ современную политику. Внимательно прислушивался къ толкамъ и спорамъ въ кофейняхъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ; гуляя по улицамъ, покупалъ у разносчиковъ летучіе листы съ карикатурами, иллюстрированныя газеты съ пасквилями и каламбурами въ стихахъ и въ прозѣ. Отъ нечего-дѣлать я составлялъ изъ этого смѣхотворнаго матеріала корреспонденціи для „Московскихъ Вѣдомостей“, а потомъ перепечаталъ ихъ въ „Моихъ Досугахъ“ подъ заглавіемъ: „Итальянскія карикатуры во время франко-прусской войны“.

Иногда нельзя обойтись безъ общихъ мѣстъ, хотя и знаешь, что они всѣмъ надоѣли. Говорятъ, напримѣръ, что исторія человѣчества есть не что иное, какъ забавная трагикомедія громадныхъ размѣровъ. Намъ привелось быть зрителями одного крошечнаго изъ нея отрывочка, всего изъ двухъ явленій. Теперь, когда я воспоминаю съ вами о великихъ переворотахъ въ судьбахъ Германіи, Франціи и Италіи, эти грозныя и торжественныя событія сокращаются для меня въ живописныя группы мелкихъ фигурокъ, игривыхъ и затѣйливыхъ, въ тѣхъ потѣшныхъ листахъ, по которымъ я составлялъ свои газетныя корреспонденціи, напримѣръ: вотъ сидятъ за столомъ германскій императоръ Вильгельмъ и Бисмаркъ. Они обѣдаютъ; оба, по филистерскому обычаю нѣмцевъ, завѣсили себя салфетками, какъ завѣшиваютъ за столомъ дѣтей. На столѣ стоятъ два пирога, — на одномъ подписано: Лотарингія, на другомъ: Эльзасъ — и двѣ бутылки съ виномъ, одна съ рейнвейномъ, другая съ Lacrimae Christi; подписано: на первой Рейнъ, на второй — Lacrimae Napoleone (т.-е. слезы Наполеона). Бисмаркъ налилъ въ бокалъ рейнвейна Вильгельму. Вильгельмъ поднялъ свой бокалъ и собирается его выпить. У стола, отворотившись отъ пирующихъ, стоитъ французская императрица Евгенія и вытираетъ полотенцемъ тарелку, между тѣмъ какъ горемычный Джиджи (т.-е. Луиджи Наполеонъ), трактирный половой, съ салфеткой на плечѣ, преусердно откупориваетъ еще бутылку, съ ярлыкомъ: Шампань. Около него на полу стоитъ цѣлая корзина съ пробками, которыя онъ успѣлъ уже откупорить отъ бутылокъ другихъ провинцій Франціи. Тутъ же всенижайше

прислуживаетъ мальчикъ, судя по орлиному носу — дѣтище неутомимаго откупорщика, который свою неблагодарную работу сопровождаетъ горючими слезами.

Впрочемъ, я успѣлъ кое-чѣмъ дѣльнымъ заняться и въ эту злосчастную поѣздку. Въ Миланѣ разсматривалъ древнія лицевыя рукописи Амброзіанской библіотеки, латинскія и греческія. Въ Пармѣ нашелъ также много для себя интереснаго и полезнаго въ тамошней городской библіотекѣ, и между прочимъ славянскую рукопись на пергаментѣ, XIV вѣка, апокрифическаго содержанія, нѣчто въ родѣ Громовника, составилъ подробное ея описаніе и отправилъ въ „Журналъ министерства народнаго просвѣщенія“; сверхъ того лично познакомился съ самимъ библіотекаремъ Одориджи, котораго до тѣхъ поръ зналъ и уважалъ по составленному имъ превосходному описанію христіанскихъ древностей Брешіанскаго музея, въ которомъ онъ прежде занимали мѣсто директора. Изъ Болоньи мы съѣздили дня на три въ Равенну. До тѣхъ поръ я не былъ въ ней ни разу. И съ какимъ же восторгомъ посѣщалъ я мавзолей Теодорика Великаго и его дворецъ, превращенный въ монастырь, усыпальницу Галлы Плацидіи и эти безподобныя византійскія церкви временъ императора Юстиніана съ драгоцѣнными мозаиками!

Въ концѣ сентября мы воротились въ Москву. Поѣздка эта для задуманныхъ мною предпріятій во всѣхъ отношеніяхъ была неудачна. Страсбургская рукопись сгорѣла; если что̀ и видѣлъ хорошаго, то просмотрѣлъ нàскоро, мимоходомъ; въ Парижъ не попалъ. А тамъ мнѣ необходимо было нужно войти въ сношенія съ двумя археологами, которыхъ изданія по иконографіи имѣли для меня авторитетное значеніе, именно съ директоромъ іезуитскаго коллегіума, монсеньёромъ Шарлемъ Кайэ, авторомъ монографій по древне-христіанскому и средневѣковому искусству, и съ Полемъ Дюраномъ, знатокомъ византійской архитектуры и иконописи. Итакъ, надежды мои не оправдались. Ничего не успѣлъ я собрать для своихъ спеціальныхъ работъ и воротился домой съ пустыми руками, попрежнему въ такомъ же шаткомъ раздумьѣ, что̀ мнѣ дѣлать и на чемъ остановиться, съ тѣми же неразгаданными стремленіями, по какому пути и къ какимъ цѣлямъ мнѣ направить свои изслѣдованія по древнерусской иконографіи и орнаментикѣ. Покамѣстъ мнѣ ничего больше не оставалось, какъ читать студентамъ исторію народной и древне-русской литературы и усиленно догонять опережавшую меня науку, какъ объ этомъ я уже говорилъ вамъ.

Не буду вспоминать о томъ, какъ тягостно и смутно жилось тогда въ нашемъ отечествѣ, — все это такъ подробно излагалось въ тогдашнихъ газетахъ, что отъ себя прибавить ничего не имѣю. Буду говорить только о самомъ себѣ. Странное дѣло: отъ той поры, какъ воротились мы домой, цѣлые четыре года совсѣмъ изгладились въ моей памяти, — не то слились въ одну точку, не то протянулись узенькой полоской сѣрой бумаги, на которой не написано ни единаго слова. Отъ этого непробуднаго забытья я очнулся лишь по веснѣ 1874 года, когда въ маѣ мѣсяцѣ выѣхалъ вмѣстѣ съ женою изъ Петербурга за границу на цѣлый годъ.

XXX.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ мы были уже въ Римѣ. Чтобы дать вамъ понятіе о тогдашнемъ расположеніи моего духа, привожу слѣдующее письмо мое къ милому Викторову отъ 29 октября[1]).

„По пріѣздѣ сюда на другой же день получили мы ваше любезное письмо, дорогой Алексѣй Егоровичъ, и только теперь, послѣ двухнедѣльнаго пребыванія здѣсь, успокоившись отъ массы впечатлѣній и усѣвшись на осѣдломъ житьѣ, собрался я съ духомъ писать къ вамъ.

„Легко сказать! Я опять въ Римѣ, черезъ безконечные 33 года, когда я, наконецъ, сдѣлался тѣмъ, о чемъ я въ молодости мечталъ, гуляя по этимъ холмамъ, по этимъ узенькимъ улицамъ и широкимъ, великолѣпнымъ площадямъ съ громадными фонтанами и бассейнами, сидючи на этомъ самомъ щебнѣ вѣковыхъ развалинъ Форума и Колизея, съ Винкельманномъ и Тацитомъ или Гораціемъ въ рукѣ, откуда я жаждалъ набраться силъ и вдохновенья, чтобы со временемъ быть профессоромъ и литераторомъ. И вотъ я опять пришелъ въ Римъ; тѣми же молодыми мечтами пахну́ло на меня съ его краснорѣчивыхъ твердынь, и въ отвѣтъ на нихъ принесъ я зрѣлые результаты, дѣятельно проживъ эти 33 года, для которыхъ тѣ мечты были вдохновеніемъ и руководящею нитью. Видите, что Римъ мнѣ не чужой городъ; это часть моей жизни, это та моя молодость, свѣжая и бодрая, когда запасаешься силами на всю жизнь.

---

[1]) Письмо это сообщилъ мнѣ хранитель рукописей Московскаго Публичнаго музея Дмитрій Петровичъ Лебедевъ, который по смерти Викторова пріобрѣлъ разныя его бумаги, въ числѣ ихъ и нѣсколько моихъ писемъ.

„Все это для меня стало воочію ясно только теперь, когда мы попали сюда. Римъ меня не поразилъ новизною; я не прыгалъ съ радости и не волновался, что, наконецъ, сбылись мои планы, что вотъ опять передо мною все то, что̀ такъ глубоко вошло во все мое нравственное бытіе. Напротивъ, точно будто мы воротились въ Москву, или еще лучше, будто я очутился на своей родинѣ, въ Пензенской губерніи, въ городѣ Керенскѣ. Потому что дѣйствительно Римъ та же родина для моего нравственнаго существованія, какъ Керенскъ — для физическаго.

„Итакъ, пріѣздъ въ Римъ — это не путешествіе, а возвращеніе въ родныя мѣста, гдѣ каждая мелочь запечатлѣна воспоминаніями, гдѣ на самыхъ камняхъ античной мостовой чувствуются слѣды тѣхъ животворныхъ прогулокъ, которыя вмѣстѣ съ лучшими радостями въ жизни никогда не забываются.

„И оказалось на повѣрку, какъ же славно знаю я Римъ и до сихъ поръ какъ хорошо его помню! Я узнавалъ мѣстности и зданія не только съ лицевой стороны, но и съ задней, такъ сказать — съизнанки. Идемъ по улицѣ, вдали выступаетъ зданіе, и по его характернымъ линіямъ я мгновенно догадываюсь, что̀ по другую его сторону. Или ѣдемъ по узенькой улицѣ (я давно забылъ ея названіе); издали вижу: она упирается въ какую-то церковь, одну изъ сотенъ римскихъ церквей; но положеніе этой церкви мгновенно рисуетъ мнѣ цѣлую площадь, на которой она стоитъ и куда непремѣнно приведетъ та узенькая улица, по которой мы ѣдемъ.

„Но чтобы такъ тряхнуть стариной, надобно было непремѣнно водвориться въ Римѣ на осѣдлое житье, по малой мѣрѣ мѣсяцевъ на шесть. Такъ мы и сдѣлали, устроившись въ меблированной квартирѣ, въ лучшей части города, между Monte Pincio, piazza di Spagna и piazza Barberini, на Via Sistina, т.-е. на Сикстинской улицѣ. Такъ какъ мы знаемъ всѣ прелести Парижа, Версаля, Фонтенбло и другихъ увеселительныхъ знаменитостей, то вы можете повѣрить намъ съ женой, если Monte Pincio представляется намъ лучшимъ во всемъ мірѣ гуляньемъ. Это — гора, заросшая тѣнистыми аллеями изъ лавровъ, кипарисовъ, олеандровъ, съ цѣлыми полянами розановъ, которые теперь во всемъ цвѣту, и съ громадными кактусами, алоэ, юками, понтанусами и пальмами, которыя высоко надъ лаврами и другими деревьями поднимаютъ свои громадные листья и топорщатъ свои неуклюжіе поросты. Пальмы и кактусы такъ велики, что достигаютъ 2-го и 3-го этажа зданій и высоко

тянутся надъ стѣнами. На эту гору (Monte Pincio) поднимаются съ двухъ площадей, на которыя выходятъ самыя бойкія и самыя великосвѣтскія улицы. Во-первыхъ, съ Piazza del Popolo откосными подъемами, зигзагомъ по склону горы, для экипажей. По сторонамъ подъемовъ — опять пальмы и кактусы съ алоями и цвѣтущіе олеандры; уступы же подъемовъ, какъ стѣны террассы, выложены мраморомъ, съ углубленіями въ родѣ гротовъ и съ выступающими павильонами, которые такимъ образомъ громоздятся одинъ выше другого, увѣнчиваясь на горѣ красивымъ казино съ кофейнею, около которой на огромномъ кругу ежедневно играетъ музыка. И все это, и спуски, и аллеи, и зданія украшены мраморными рельефами, бюстами и статуями, которые живописно выступаютъ свѣтлыми пятнами на темной зелени южной растительности. Другой подъемъ на ту гору — только для пѣшеходовъ — съ Piazza di Spagna, по колоссальной мраморной лѣстницѣ, расходящейся надвое широкими разводами, которые сходятся на площадкѣ и опять расходятся и вновь на другой площадкѣ сходятся. Все это вы лучше поймете, когда, Богъ дастъ, воротившись въ Москву, мы будемъ вамъ объяснять и показывать по гравюрамъ. Что касается до насъ, то мы ходимъ на Monte Pincio (гдѣ обыкновенно гуляемъ), не поднимаясь наверхъ, потому что живемъ на самой этой горѣ и всего въ пяти минутахъ ходьбы отъ гулянья.

„Живя здѣсь по-московски, т.-е. какъ обыватели, а не путешественники, мы не торопимся осмотрѣть всѣ достопримѣчательности вдругъ, а наслаждаемся Римомъ и его живописными окрестностями исподволь, гуляючи.

„Если вамъ интересно знать, какъ мы попали сюда изъ Савойи, откуда я писалъ вамъ послѣднее письмо, то вотъ вамъ нашъ маршрутъ. Возьмите карту и читайте слѣд.: Mont-Cenis (съ громаднымъ тоннелемъ), Туринъ (остановка 5 дней), Генуя (тоже пробыли 5 дней), берега Средиземнаго моря, Sestri Levante, на берегу моря (ночевали), Пиза (1 день), Флоренція (около мѣсяца), Сіена (4 дня), Орвіэто (1 день) и наконецъ Римъ. Столько въ этомъ пути интереснаго, столько прекраснаго и въ природѣ и въ искусствѣ, что перомъ не написать. Коль не на шутку собираетесь за границу, выѣзжайте-ка къ намъ на встрѣчу: тогда увидите сами.

„Берега Средиземнаго моря съ горами, поднимающимися за облака, и съ гранитными утесами, отвѣсно спускающимися въ море, — вамъ напомнятъ нашъ Крымъ. Только прибавьте

къ этому дороги по головокружительнымъ стремнинамъ, окаймленныя кактусами и алоэ, да лимонные и апельсинные сады. Генуя понравилась Людмилѣ больше Венеціи, а Флоренція — еще болѣе Генуи. Я во Флоренціи уже четвертый разъ; теперь она мнѣ еще милѣе и дороже. Весь городъ — музей, и все это великолѣпіе художественное не занесено извнѣ, какъ въ петербургскомъ Эрмитажѣ или въ парижскомъ Луврѣ, а все оно доморощенное. Всѣ эти великіе художники, отъ XIV и до XVI в., тутъ родились, тутъ жили и исподволь украшали свой родной городъ. Чтобы вполнѣ понять исторію искусства, чтобы насладиться изящнымъ, какъ необходимымъ, существеннымъ элементомъ жизни, надобно пожить во Флоренціи.

„Изъ ученыхъ во Флоренціи я познакомился и сошелся только съ профессоромъ De Gubernatis, короткимъ знакомымъ Александра Николаевича Веселовскаго. Comparetti и другихъ профессоровъ во Флоренціи не было: всѣ въ разъѣздѣ на каникулы. Здѣсь же въ Римѣ успѣлъ познакомиться только еще съ однимъ знатокомъ Данта, съ старымъ герцогомъ Сермонета, который извѣстенъ и въ Германіи своими сочиненіями о Дантѣ. Это одинъ изъ знаменитыхъ патриціевъ римскихъ княжескаго рода Каэтани, къ которому еще въ XIII вѣкѣ принадлежалъ папа Бонифацій VIII, помѣщенный Дантомъ въ Аду. Старинный palazzo герцога на площади Каэтани знаютъ всѣ извозчики въ Римѣ.

„Вамъ, можетъ быть, пріятно будетъ узнать, какъ привѣтствовала меня итальянская пресса. Въ ноябрьской книжкѣ „Rivista Europea“ найдете обо мнѣ нѣсколько симпатичныхъ строкъ. Журналъ этотъ выписывается въ московскомъ университетѣ.

„Сверхъ того, счастливая неожиданность встрѣтила меня въ Римѣ. Въ молодости я учился и читалъ въ Ватиканѣ итальянскія рукописи съ однимъ тамошнимъ библіотекаремъ, Francesco Masi. Я его давно уже потерялъ изъ виду и думалъ, что онъ давно умеръ. Представьте же мою радость: онъ не только живъ, но и благоденствуетъ, и много работаетъ по литературѣ. Въ настоящее время его въ Римѣ нѣтъ, но онъ скоро вернется. Все же я нашелъ его квартиру и видѣлъ его жену-старушку, которая, какъ услышала мое имя, тотчасъ вспомнила меня и разныя подробности нашихъ дружескихъ отношеній съ ея мужемъ. Тогда она была еще молоденькая женщина, а теперь у ея старшей дочери до 10 человѣкъ дѣтей.

„По этимъ образчикамъ можете судить, что мнѣ въ Римѣ живется какъ дома.

„Пишите къ намъ чаще, адресуя попрежнему poste restante".

Охватившая меня въ Римѣ живительная обстановка такъ удачно сложилась изъ цѣлаго ряда благопріятныхъ случайностей, что, помимо моихъ мечтательныхъ воспоминаній, воплотившихся теперь въ дѣйствительность, мнѣ посчастливилось сызнова переживать многое изъ тѣхъ двухъ лѣтъ моей ранней молодости, которыя я провелъ въ Италіи.

Во-первыхъ, мы съ женою поселились на углу Сикстинской улицы и площадки Capo-le-Case въ томъ самомъ домѣ, въ которомъ жилъ въ 1840 и 1841 годахъ мой хорошій пріятель, художникъ Іорданъ, изготовлявшій тогда, какъ я уже вамъ говорилъ, свою знаменитую гравюру. Мы занимали въ третьемъ этажѣ квартиру какъ разъ надъ его тогдашней мастерской. Выходя отъ себя на улицу, я тотчасъ же шелъ мимо дома, въ которомъ нѣкогда жилъ при семействѣ графа Строганова, и очень часто останавливался, присматриваясь къ балкончикамъ у оконъ верхняго этажа, чтобы угадать тотъ изъ нихъ, на который я выходилъ изъ своей комнаты любоваться, какъ утреннее солнышко живописно озаряетъ куполъ св. Петра.

Потомъ, по странному и вовсе непредвидѣнному столкновенію разновременныхъ обстоятельствъ, мнѣ привелось въ Римѣ и на этотъ разъ давать уроки въ фамиліи графовъ Строгановыхъ. Во время оно́ я училъ здѣсь графа Григорія Сергѣевича, которому было тогда двѣнадцать лѣтъ. Теперь онъ жилъ опять въ Римѣ съ своей женою, будучи сорока-пятилѣтнимъ отцомъ взрослой дочери и сына Сережи, лѣтъ двѣнадцати. Въ своей семьѣ мальчикъ слышалъ разговоръ только французскій, потому по-русски говорилъ плохо, дѣлалъ грубыя ошибки въ выборѣ словъ, въ склоненіяхъ и спряженіяхъ и почти что не зналъ русской грамматики, которой его училъ гувернеръ, полунѣмецъ. Сережа очень мнѣ понравился. Онъ былъ уменъ, любознателенъ, энергиченъ и пылокъ характеромъ, страстно любилъ Россію и все русское, хотя жилъ и выросталъ при отцѣ и матери въ чужихъ краяхъ, и непремѣнно стремился на родину. Мнѣ его было такъ жалко, я его такъ полюбилъ и сталъ давать ему уроки русскаго языка по одному часу въ недѣлю: больше не могъ я урѣзать отъ моего драгоцѣннаго римскаго времени.

Къ Рождеству пріѣхалъ въ Римъ на цѣлые пять мѣсяцевъ самъ графъ Сергій Григорьевичъ, а вслѣдъ за нимъ и два его сына — Павелъ Сергѣевичъ съ своею женой и Николай Сергѣевичъ, уже вдовецъ. Когда въ 1841 г. мы жили на углу

'регоріанской улицы и площадки Саро-le-Case, первому было ıестнадцать лѣтъ, а второму всего три года; теперь оба они озмужали и постарѣли больше, чѣмъ на цѣлую четверть столѣтія.

Графъ Сергій Григорьевичъ остановился въ гостиницѣ на Іспанской площади, близёхонько отъ насъ. Раза два въ нелю, послѣ завтрака, онъ заѣзжалъ за мною, чтобы вмѣстѣ осѣщать и осматривать, что̀ его особенно интересовало, а по ечерамъ я часто бывалъ у него, и мы вдвоемъ бесѣдовали о омъ, гдѣ были и что̀ видѣли, а также и замышляли, куда еще лѣдуетъ намъ направить свои разслѣдованія и наблюденія. Онъ ралъ меня съ собою на публичныя лекціи въ германскомъ рхеологическомъ институтѣ, въ капитолійскомъ и ватиканскомъ узеяхъ, даже на самой вершинѣ крѣпости Святого Ангела, ъ залахъ, расписанныхъ учениками Рафаэля. Въ ватиканскомъ ельведерѣ Гельбигъ, секретарь германскаго археологическаго нститута, прочелъ намъ лекцію объ Аполлонѣ Бельведерскомъ , между прочимъ, сравнивалъ его по фотографіи съ той броновой статуэткой, которую, какъ вы уже знаете, графъ прібрѣлъ отъ князя Юрія Алексѣевича Долгорукова при моемъ ѣятельномъ участіи. Въ древнехристіанскомъ отдѣленіи того же узея знаменитый итальянскій археологъ де-Росси показывалъ амъ и подробно объяснялъ самые рѣдкіе и драгоцѣнные по лубокой старинѣ экземпляры крестовъ, потировъ и другой церовной утвари первыхъ вѣковъ христіанства. Такимъ образомъ, бозрѣвая римскія примѣчательности подъ руководствомъ графа ергія Григорьевича и постоянно пользуясь его мѣткими укааніями, я вновь переживалъ свои молодые годы, когда въ Неполѣ подъ его наблюденіемъ и по книгамъ, которыя онъ давалъ нѣ, я изучалъ классическія древности Бурбонскаго музея. И еперь, какъ тридцать три года назадъ, онъ часто бывалъ тамъ же моимъ учителемъ и наставникомъ: такъ, напримѣръ, ъ Кирхеріанскомъ музеѣ іезуитскаго коллегіума онъ объяснялъ нѣ историческое значеніе и стиль бронзовыхъ издѣлій Этруріи и въ своей восьмидесятилѣтней старости еще настолько ылъ дальнозорокъ, что посвящалъ меня въ мельчайшія подробности этрусскихъ орнаментовъ. Но и я въ своей спеціальности, о византійско-русской иконографіи, уже настолько опередилъ воего учителя, какъ и меня въ то время опережали во многомъ мои ученики, что могъ иной разъ сообщить графу кое-то новое и для него интересное. Такъ, напримѣръ, въ криптѣ, или подземной церкви собора св. Климента, папы римскаго, гдѣ

похороненъ славянскій первоучитель Кириллъ, я объяснялъ графу очевидные слѣды византійскаго стиля въ римскихъ фрескахъ XI столѣтія, изображающихъ житіе Алексѣя Божьяго человѣка и перенесеніе мощей св. Климента.

Впрочемъ, обо всемъ этомъ и о многомъ другомъ, что я въ Римѣ видѣлъ и слышалъ и гдѣ бывалъ, говорить вамъ не буду, потому что ничего особеннаго, новаго или занимательнаго не могу прибавить къ тому, что подробно изложилъ я въ своихъ газетныхъ корреспонденціяхъ, которыя потомъ перепечаталъ въ первой части „Моихъ Досуговъ“, подъ заглавіемъ „Римскія Письма 1874—1875 гг.“.

Прежде чѣмъ водвориться въ Римѣ, я долженъ былъ непремѣнно выполнить давно задуманный мною планъ — познакомиться и войти въ сношенія съ тѣми двумя археологами, до которыхъ въ 1870 г. я не могъ проникнуть въ Парижъ, осажденный тогда германскими войсками. Зато теперь я былъ вполнѣ вознагражденъ за тогдашнюю неудачу. Сначала я познакомился съ Полемъ Дюраномъ. Скромнѣе его, благодушнѣе, любезнѣе и угодливѣе я никого не зналъ изъ иностранныхъ ученыхъ. Онъ самъ привелъ меня къ Шарлю Кайэ и отрекомендовалъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ.

Монсеньёръ Кайэ жилъ въ іезуитскомъ коллегіумѣ, по ту сторону Сены, за Пантеономъ, и занималъ въ бельэтажѣ очень оригинальное помѣщеніе. Это была только одна громадная зала, какъ есть библіотечная. Ее раздѣляли на нѣсколько комнатъ съ переходами высокіе шкафы съ книгами; передняя комнатка назначалась для просителей и подчиненныхъ, являвшихся къ монсеньёру по дѣламъ службы; одна изъ заднихъ была его спальнею, съ кроватью и съ дверью для прислуги; середину этого лабиринта занималъ кабинетъ хозяина съ рабочимъ его столомъ, у камина съ широкимъ жерломъ, у котораго онъ всегда сидѣлъ и время отъ времени въ него поплевывалъ на кучу золы, которая замѣняла ему песокъ въ плевальницѣ. Тогда онъ насчитывалъ себѣ лѣтъ семьдесятъ, потому что въ 1815 г. былъ онъ мальчикомъ лѣтъ десяти, когда со страхомъ и трепетомъ глядѣлъ на русскихъ солдатъ, маршировавшихъ по улицамъ Парижа подъ музыку съ барабаннымъ боемъ. Несмотря на преклонныя лѣта, былъ онъ замѣчательно моложавъ: высокъ ростомъ и тонокъ, но не худощавъ; строенъ и гибокъ, быстръ въ движеніяхъ; держался прямо, будто испробовалъ на себѣ военную выправку. По уставу своего ордена — обритъ; сѣдые

густые волосы — гладко подстрижены; правильныя черты лица украшались широкимъ и высокимъ лбомъ, безъ единой морщинки, большими выразительными глазами и полными губами, по которымъ мелькаетъ легкая улыбка, то добродушная, то насмѣшливая. Дома онъ всегда былъ одѣтъ въ черномъ подрясникѣ и подпоясанъ широкимъ ремнемъ.

Общіе обоимъ намъ интересы по одной и той же спеціальности въ изученіи иконографіи и церковныхъ древностей очень скоро сблизили насъ другъ съ другомъ, и я въ теченіе цѣлыхъ двухъ мѣсяцевъ каждую недѣлю раза по два приходилъ къ нему, всегда послѣ его ранняго монастырскаго обѣда, и бесѣдовалъ съ нимъ часовъ до трехъ. Онъ былъ очень сообщителенъ и любилъ поговорить; видя во мнѣ внимательнаго и хорошо подготовленнаго слушателя, онъ охотно передавалъ мнѣ свои разнообразныя и обширныя свѣдѣнія, свои взгляды и замыслы по изслѣдованіямъ средневѣковой старины. Все это было для меня ново и поучительно, но и я съ своей стороны приносилъ ему пользу, дополняя и завершая его знанія любопытными фактами изъ русской иконописи. Наши ученыя бесѣды велись вотъ въ какомъ порядкѣ. Предварительно онъ приготовлялъ для меня нѣсколько отдѣльныхъ рисунковъ изъ своихъ монографій и подробно объяснялъ мнѣ каждый изъ нихъ, а на разставаньѣ отдавалъ ихъ мнѣ въ мою собственность, такъ что всякій разъ я возвращался домой съ порядочнымъ запасомъ рисунковъ, отъ десяти до двадцати. Изъ нихъ я составилъ потомъ для своей библіотеки цѣлый альбомъ точныхъ копій съ рѣдкихъ произведеній ранняго средневѣкового искусства.

О Полѣ Дюранѣ и моихъ сношеніяхъ съ нимъ говорить вамъ не буду, потому что подробно разсказалъ я все это въ своей корреспонденціи, которую потомъ перепечаталъ въ первой части „Моихъ Досуговъ“, подъ заглавіемъ: „Шартрскій соборъ“.

По осени 1875 г. мы съ женой воротились въ Москву. Я уже имѣлъ случай обстоятельно сообщить вамъ, что въ эти послѣдніе годы, отказавшись отъ самостоятельныхъ изслѣдованій по русской народности и по нашей старинной литературѣ, я сосредоточилъ свои силы на изученіи миніатюръ и орнаментовъ въ нашихъ рукописяхъ. Единственнымъ и ревностнымъ пособникомъ въ этомъ дѣлѣ былъ для меня мой милый Алексѣй Егоровичъ Викторовъ. Никто лучше его не зналъ нашихъ рукописныхъ и старопечатныхъ сокровищъ, разсѣянныхъ по всѣмъ концамъ Россіи въ публичныхъ, монастырскихъ, церковныхъ,

частныхъ и во всякихъ другихъ библіотекахъ. Для основательнаго и подробнаго изученія этого предмета онъ предпринималъ нѣсколько разъ свои ученые объѣзды и на югъ до Кіева, Почаева, Острога, и на дальній сѣверъ до Сійскаго монастыря, Архангельска и Соловокъ. Онъ былъ великій библіоманъ, и по тщательно собраннымъ имъ свѣдѣніямъ, приведеннымъ въ систематическій порядокъ въ его записныхъ книжкахъ, онъ могъ легко наводить справки для всякаго желающаго, гдѣ и что именно слѣдуетъ ему искать. Что же касается до печатныхъ каталоговъ, рукописныхъ и старопечатныхъ коллекцій, то онъ зналъ ихъ какъ свои пять пальцевъ. Я постоянно обращался къ нему за указаніями, и онъ всегда не только найдетъ, что мнѣ нужно, но и выпишетъ для моего пользованія ту рукопись въ Московскій Публичный и Румянцевскій музей, въ которомъ онъ завѣдывалъ рукописнымъ отдѣленіемъ.

Такъ и теперь онъ выписалъ для меня изъ библіотеки Троицкой лавры рукописную псалтырь съ возслѣдованіями XV столѣтія. Эта единственная въ своемъ родѣ рукопись, хотя и безъ миніатюръ, отличается необычайнымъ изяществомъ безконечнаго числа орнаментовъ и разнообразіемъ въ почеркахъ письма, которые иногда нѣсколько разъ мѣняются на одной и той же страницѣ.

Свои изслѣдованія объ этой рукописи я изготовлялъ не спѣша, исподволь, одновременно съ разными другими работами.

Въ 1877 г. извѣстный ученый и архитекторъ Віоллѐ-ле-Дюкъ, по заказу Виктора Ивановича Бутовскаго, директора Строгановской школы техническаго рисованія, и на средства, ассигнованныя русскимъ правительствомъ, издалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: „L'art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir", надѣлавшее въ то время много шума и возбудившее противорѣчивые толки. Особенно оно понравилось нашимъ архитекторамъ, но нѣкоторые изъ ученыхъ спеціалистовъ смотрѣли на него другими глазами. Изъ нихъ первый поднялъ свой голосъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ въ своей монографіи съ рисунками, подъ заглавіемъ: „Русское искусство Віоллѐ-ле-Дюка и архитектура въ Россіи отъ X по XVIII вѣкъ, 1878 г.". Газетная критика, заступаясь за французскаго архитектора, разнесла эту монографію напропалую, и тѣмъ язвительнѣе и безцеремоннѣе, что графъ не означилъ своего имени. Я не вытерпѣлъ и рѣшился доканать Віоллѐ-ле-Дюка, сколько хватитъ у меня знаній и силъ, и составилъ

объемистую рецензію, которую напечаталъ подъ заглавіемъ: „Русское искусство въ оцѣнкѣ французскаго ученаго“, въ „Критическомъ Обозрѣніи“, издававшемся тогда профессорами московскаго университета. Главное, на что я напиралъ, были наши рукописные орнаменты и византійско-русская иконопись, т.-е. такіе предметы, которые плохо зналъ Віоллѐ-ле-Дюкъ. И меня не пощадила газетная критика, издѣвалась надо мною, топтала меня въ грязь. Это очень забавляло меня: и теперь я раздѣлялъ съ графомъ ту же участь отъ газетныхъ нападокъ и порицаній, какъ во время оно, когда въ 1844 г. окатили меня бранью въ „Библіотекѣ для Чтенія“ за мою книгу „О преподаваніи отечественнаго языка“. Полемику, поднятую въ газетахъ сочиненіемъ французскаго архитектора, Бутовскій заключилъ цѣлою книгою, изданною въ 1879 г. подъ заглавіемъ: „Русское искусство и мнѣніе о немъ Віоллѐ-ле-Дюка, французскаго ученаго архитектора, и Ѳ. И. Буслаева, русскаго ученаго археолога“.

Пока въ Москвѣ шла эта ожесточенная война изъ-за русскаго національнаго искусства, въ Петербургѣ князь Павелъ Петровичъ Вяземскій и графъ Сергій Дмитріевичъ Шереметевъ основали и устроили Общество любителей древней письменности. Тогда же избрали и меня въ почетные члены этого Общества. Викторовъ познакомилъ меня съ княземъ Вяземскимъ, и мы порѣшили, что я составлю для любителей древней письменности изслѣдованіе объ орнаментахъ и почеркахъ упомянутой выше троицкой псалтыри XV вѣка, которое будетъ издано отъ Общества со множествомъ снимковъ письма и орнаментовъ, воспроизведенныхъ красками и золотомъ.

Кромѣ того, тогда же, по настоятельнымъ увѣщаніямъ и совѣтамъ Викторова, я обѣщалъ князю изготовить для Общества подробное описаніе принадлежащихъ мнѣ двухъ лицевыхъ Апокалипсисовъ XVI столѣтія, особенно замѣчательныхъ по древнѣйшимъ редакціямъ рисунковъ и по изяществу ихъ исполненія. Когда я принялся за эту работу, оказалось, что для ясности въ опредѣленіи особенностей ранняго стиля мнѣ надлежало касаться и редакцій позднѣйшихъ, къ которымъ относятся еще четыре другихъ лицевыхъ Апокалипсиса моей библіотеки. Викторовъ рѣшилъ, что для полноты обозрѣнія мнѣ необходимо имѣть подъ руками великолѣпный, такъ называемый подносный экземпляръ лицевого Апокалипсиса XVII вѣка въ библіотекѣ московской духовной академіи въ Троицкой лаврѣ, и выписалъ

его оттуда для меня. Затѣмъ понадобился мнѣ Апокалипсисъ XVI столѣтія Соловецкаго монастыря, перенесенный оттуда вмѣстѣ съ другими рукописями въ библіотеку казанской духовной академіи. Потомъ понадобилось и то, и другое, и третье. Викторовъ наводитъ справки въ своихъ записныхъ книжкахъ и отовсюду выписываетъ для меня рукописи. Такимъ образомъ накопилось къ моимъ услугамъ до шестидесяти лицевыхъ Апокалипсисовъ, и вмѣсто описанія только двухъ рукописей я предпринялъ многосложную работу обширныхъ размѣровъ.

По мѣрѣ того, какъ я приводилъ въ извѣстность свои домашніе, русскіе матеріалы, все живѣе чувствовалъ настоятельную потребность въ ихъ сравнительномъ изученіи съ источниками иноземными. Особенно необходимо было мнѣ увидѣть и изучить знаменитый лицевой Апокалипсисъ X столѣтія, находящійся въ бамбергской библіотекѣ, не изслѣдованный еще спеціалистами. Лѣтомъ 1880 г. я отправился вмѣстѣ съ женою на четыре мѣсяца за границу и недѣли три провелъ въ Бамбергѣ, просиживая ежедневно по пяти часовъ въ тамошней библіотекѣ надъ знаменитою рукописью. Она превзошла мои ожиданія. Хотя текстъ Апокалипсиса латинскій, но миніатюры, великолѣпно исполненныя, отличаются очевидными признаками той далекой старины, когда западная иконографія пользовалась еще византійскими основами и принципами. Такимъ образомъ бамбергскій Апокалипсисъ я положилъ краеугольнымъ камнемъ въ сооруженіи громаднаго изслѣдованія о редакціяхъ апокалипсическихъ изображеній по русскимъ рукописямъ отъ XVI столѣтія по XVIII-е. Кромѣ того, я работалъ у профессора Пипера въ его древнехристіанскомъ музеѣ при берлинскомъ университетѣ, а также въ публичныхъ библіотекахъ, мюнхенской и вѣнской. Двѣ журнальныя корреспонденціи того времени изъ-за границы я перепечаталъ въ первомъ томѣ „Моихъ Досуговъ“, подъ заглавіями: „Бамбергъ“ и „Регенсбургъ“. Эту заграничную поѣздку я величаю про себя „апокалипсическою“...

Немедленно послѣ 1 марта 1881 г. я покинулъ университетъ и вышелъ въ отставку съ двумя не вполнѣ оконченными работами, предназначенными для Общества любителей древней письменности, съ малою и большею. Первая, объ орнаментахъ и письмѣ троицкой псалтири XV вѣка, была изготовлена въ литографіи Бегрова къ декабрю 1881 г., и по приглашенію

князя Павла Петровича Вяземскаго и графа Сергія Дмитріевича Шереметева я долженъ былъ отправиться въ Петербургъ, чтобы поднести экземпляръ этого изданія государю императору [1]).

Второй экземпляръ только что отпечатанной моей монографіи объ орнаментахъ и почеркахъ троицкой Псалтыри XV вѣка я принесъ графу Сергію Григорьевичу Строганову.

Въ это двухнедѣльное пребываніе мое въ Петербургѣ, въ концѣ 1881 г., я долженъ былъ по его желанію ежедневно обѣдать у него и всякій разъ оставался потомъ часовъ до девяти вечера.

Это были прощальные дни нашего послѣдняго на землѣ свиданія. Онъ скончался въ заутреню Свѣтлаго Христова Воскресенія 1882 года, неожиданно и незамѣтно для домашнихъ, одинъ-одинёхонекъ въ своемъ безподобномъ кабинетѣ, вамъ уже хорошо знакомомъ изъ моихъ воспоминаній. Бережно и чинно прилегъ онъ у своего рабочаго стола и, скрестивъ руки на груди, заснулъ вѣчнымъ сномъ безболѣзненно и мирно.

Въ 1884 г. Общество любителей древней письменности издало въ свѣтъ на иждивеніе графа Сергія Дмитріевича Шереметева мое изслѣдованіе „О русскомъ лицевомъ Апокалипсисѣ“ съ альбомомъ рисунковъ. Этотъ многолѣтній трудъ посвятилъ я памяти графа Сергія Григорьевича съ слѣдующимъ объясненіемъ, помѣщеннымъ въ предисловіи:

„Посвящая это археологическое изслѣдованіе незабвенной для меня памяти графа Сергѣя Григорьевича Строганова, я желалъ выразить, сколько могъ, благоговѣйную признательность за все, чѣмъ я обязанъ руководствованію и совѣтамъ этого въ высокой степени просвѣщеннаго государственнаго человѣка, не только въ моей учебной, ученой и литературной дѣятельности, но и вообще въ воспитаніи и образованіи умственныхъ и нравственныхъ убѣжденій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и любви къ искусствамъ и археологіи“.

Этимъ я закончу и мои воспоминанія...

---

[1]) См. въ „Правит. Вѣстникѣ“, 15 декабря 1881 г., № 279, сообщеніе о засѣданіи Общества любителей древней письменности, 10 декабря 1881 года.

Цѣна 1 р. 50 к.

To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below

FOR USE IN
APR 7 1966 LIBRARY ONLY
MAY 26 1966
AUG 19 1966
JUN 1999
JUL 1 2002
JUN 3 0 '00

STANFORD LIBRARIES

PG 2064 B8 A3
Moi vospominaniia AMD8413
Hoover Institution Library
3 6105 082 433 215